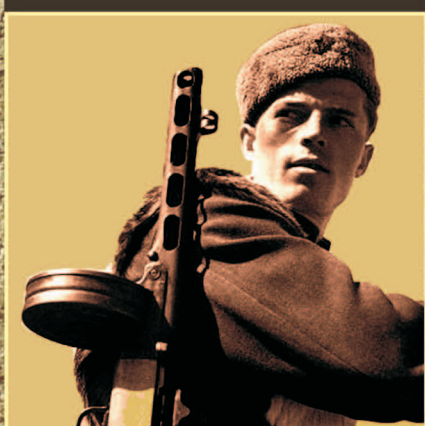


НАША
ВЗЯЛА



СБОРНИК
ПРОЗЫ

AK

НАША ВЗЯЛА

СБОРНИК ПРОЗЫ (О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)

БАРНАУЛ 2015

Книга издана на средства краевого бюджета
по результатам краевого конкурса
на издание литературных произведений

НЗ7 **Наша взяла** : сборник прозы (о Великой Отечественной войне) / Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова ; сост. А.В. Кирилин. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. – 558 с. – (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).

ISBN 978-5-98550-362-3

В книгу включены рассказы, повести, отрывки из романов, авторы которых – уроженцы или жители Алтайского края, в большинстве – фронтовики. Их имена навсегда вошли в историю воинской славы, а произведения – в историю литературы Алтайского края и России.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ББК 84 (2 Рос – Рус) 6-4

ISBN 978-5-98550-362-3 © А.В. Кирилин, редаKTуpa,
составление, 2015
© КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова», 2015

ПОМНИ ВОЙНУ!

Участник войны, наш земляк, кандидат исторических наук Василий Ильич Казанцев вспоминает: «Последние два года Великой Отечественной войны мне пришлось служить воздушным стрелком-радистом в дальнеразведывательной авиации Тихоокеанского флота. В ночь на 9 мая 1945 года после очередных учебных полетов мы почистили пулеметы и на рассвете ушли спать. Разбужены были далеко не уставным криком вахтенного: «Братцы, война кончилась!» Наши чрезмерные восторги по этому поводу быстро остудило командование. На объявленном тут же общем построении из кратких слов командира мы поняли: не расслабляться! Для нас война еще впереди. На стене штаба уже висел написанный от руки броский лозунг: «Помни войну!». Эти слова известного русского флотоводца С.О. Макарова, содержащие предостережение и призыв, предопределили характер нашей дальнейшей службы...».

Книга «Наша взяла!» выходит в год семидесятилетия Победы над фашистской Германией. Среди авторов сборника есть один не писатель, но невозможно обойти вниманием его как личность и написанную им книгу «Гвардейцы в боях». Речь идет о боевом генерале Несторе Дмитриевиче Козине. «...Он был настоящим сибирским самородком, тактиком, – так характеризовал его военные способности маршал, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков. И добавлял: – Что ни пекло, там и Козин». Большинство же авторов сборника –

рядовые участники Великой Отечественной войны. За каждым из них – свой солдатский подвиг, пусть не всегда отмеченный высокими наградами. И книги их всех – и генералов, и рядовых – неповторимые документы, проникнутые личностным отношением к небывалой в истории человечества битве, длившейся долгие четыре года и унесшей десятки миллионов жизней.

За весь период новейшей истории вряд ли возможно насчитать несколько месяцев, чтобы на Земле не было войн, вооруженных конфликтов, боевых столкновений. История мало чему учит нас, и всё никак не возобладает в наших головах осознание жизни человеческой как самого ценного, что есть в мире...

Все живущие сегодня – дети и внуки Великой Победы, и нельзя забывать, какой ценой досталась она нашим дедом и отцам, отстоявшим страну в страшной бойне. И этот сборник будет еще одним напоминанием об их подвиге.

...Помни войну!

Анатолий КИРИЛИН

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕГОРОВ

Родился 28 декабря 1923 года в селе Тюменцево Алтайского края. В юности работал грузчиком, трактористом, шофером.

Во время Великой Отечественной войны командовал взводом конной разведки, участвовал в Сталинградской битве, боях под Курском, на Кубани. Демобилизовался в 1944 году после тяжелого ранения.

Работал в газетах Солтонского и Романовского районов, в краевом радиокомитете, краевой газете «Алтайская правда». В течение 20 лет (1968–1988) являлся уполномоченным Литературного фонда СССР по Алтайскому краю.

В 1963 году вышел в свет первый роман Г.В. Егорова «Солона ты, земля!», выдержавший семь изданий. Книга «На земле живущим» (продолжение романа) по цензурным соображениям пролежала в столе до 1988 года. Еще одно крупное произведение, «Книга о разведчиках», тоже выдержало несколько изданий, в том числе в Москве. Изпод пера писателя вышли также повести «Крушение Рогова», «Горсть огня».

За документальные очерки о советской милиции Г.В. Егоров удостоен диплома Министерства внутренних дел и Союза писателей СССР.

Г.В. Егоров – заслуженный работник культуры РСФСР (1984).

Член Союза писателей СССР с 1967 года.

ГЛАВЫ ИЗ «КНИГИ О РАЗВЕДЧИКАХ»

В ГЛУБОКИЙ ТЫЛ

С первого дня пребывания в разведке я мечтал о вылазке в глубокий вражеский тыл. Очень романтичной виделась мне эта вылазка. Должно быть, привлекало то неизведанное, что всегда кажется заманчивым до тех пор, пока оно недосягаемо. Мне, например, казалось тогда, что на такое дело способны люди особого склада, люди необычные, и вся атмосфера этой операции должна быть необычной. По наивности думалось, что стоит лишь перейти немецкий передний край, как сразу же начнется захватывающий детектив: из-за каждого куста будешь видеть все, что надо твоему командованию – скопища войск и военной техники, склады и фортификационные укрепления, а «языки» будут буквально ходить у тебя под носом, и тебе останется только одна трудность – какого из них выбрать, чтобы не ошибиться...

Может быть, утрированно, но приблизительно в таком духе представлял я тогда подобные операции.

Несколько раз нашему взводу выпадало задание проводить через линию фронта и диверсионные, и разведывательные группы. Но как-то так получалось, что делал это кто-то другой, а мне не доводилось – то я в это время дежурил на НП, то только что возвратился с задания и должен был отдыхать. А однажды, помню, когда привели этих ребят, сидел в землянке и жгутиком из стерильного бинта выколупывал из рук и лица мелкие осколки, пока в горячах не было больно, и размышлял: идти в санчасть или наплевать, зарастет так.

Их было трое: два парня и девушка-радистка. Неторопливо окинули взглядом интерьер нашей землянки, сели на лежанку. Неразговорчивые, сосредоточенные и спокойные, они за полдня не проронили ни слова.

Девушка была худенькой, курносенькой, с мелкими крапинками веснушек. Парни тоже ничем внешне не выделялись. Но в то время они мне казались былинными

витязями. Их молчаливость была таинственной, многозначщей.

Хотя к тому времени я вроде бы уже и привык к молчаливости разведчиков перед выходом на операцию, но тут было совсем другое, тут передо мной были по меньшей мере полубоги.

Очень хотелось спросить их о многом: о том, как попасть в такие разведчики, что чувствует человек там, на чужой земле, о том, почему они идут к немцам в нашей армейской одежде, а не в немецкой или, в крайнем случае, не в гражданской. Но я знал, что перед серьезной операцией нельзя отвлекать человека, нельзя – с ним разговаривать. Он должен быть наедине с собой как художник в минуты наивысшего творческого подъема.

Наши разведчики увели, этих ребят под утро. В ту ночь никто не спал. Все сидели в землянке, и каждый занимался каким-либо делом: чистили оружие, пришивали подворотнички, проверяли завязки на маскхалатах, кто-то точил финку и пытался побрить ею пушок на верхней губе, кто-то заряжал диски, не спеша, тщательно устанавливал каждый патрон – кто знает, может, этот патрон сегодня кому-нибудь из ребят жизнь спасет.

Часа в три ночи пришел наш лейтенант в белом халате, с автоматом в руках. Обвел всех взглядом. Молча сел у двери. Посидел минуту-две. Потом поднялся. Поднялись все. Мы, кто не уходил с ними, вышли проводить. После освещенной землянки ночь показалась непроглядно темной – в двух метрах не видно было ни зги. Хорошая ночь! Ребята стали вытягиваться цепочкой на тропинку, ведущую от штаба полка к переднему краю. И растворились все. Никогда не видел я их больше и ничего о них не слышал. Но не растворилась моя мечта. Она стала манить меня еще больше.

И вот летом сорок третьего на Брянском фронте мы впервые ходили в тыл за «языком». Ходили днем. Брянский дремучий лес. Болота. Сплошной линии фронта не было ни у нас, ни у немцев. С неделю готовились. В хозчасти сшили нам тапочки. Старшина принес дисков запасных по дюжине на каждого. Но особенно долго спорили о продуктах – чего сколько брать. Прикидывали по нормам,

потом эти нормы удваивали на предстоящую большую трату энергии, потом прибавляли, исходя из принципа: идешь на день – бери на неделю. Создалось впечатление, что собираемся не за «языком», а на пикник. Даже спирт предусмотрели. Старшина бегал на ПФС (продуктово-фуражный склад) и добывал все согласно нашим заявкам.

Но когда стали укладывать вещмешки, каждый невольно старался положить побольше патронов и гранат и поменьше еды. Старшина стоял над нами и качал головой, и когда из вещмешков снова на плащ-палатку перекочевали последние пачки сахара и консервные банки, он вздохнул, растолкал всех и решительно скомандовал:

– Отставить пижонство! – Хватал килограммовые банки тушенки и совал каждому в его мешок. – Не к теще идете. Что жрать-то будете? Ног не притащите!

Ребята сначала удивились этакой прыти всегда поклядистого и добродушного старшины, а потом упали на траву и расхохотались.

– Ржете! – ворчал он. – Потом спасибо скажете.

Но спасибо говорить не пришлось. Прав оказался он лишь в одном: ноги, действительно, едва приволокли. За трое суток если по сухарю съели, то это хорошо. В горло ничего не лезло. И патроны все принесли обратно, и гранаты, и тушенку. Без единого выстрела сходили и «языка» привели. Но страху, откровенно сказать, натерпелись. Не мы за каждым кустом видели немецкие части, а казалось, что за нами из-за каждого куста следят немцы. И никакой там тебе романтики, никакой недосыгаемости – все до примитива обыденно вокруг: тот же лес, те же птицы. Больше того, мы даже не заметили, когда линию фронта перешли.

Весь день шли туда. Потом день сидели в засаде на какой-то проселочной дороге, до звона в ушах вслушиваясь в тишину брянского леса. Наконец услышали тарыхтенья брички. Затрепыхались наши сердца – кого же судьба несет нам?.. А судьба подсунула нам ездового – пожилого немца с брюшком. Сопротивляться он и не думал. Он вообще, наверное, ничего не понял – за добрый десяток километров от передовой вдруг какие-то парни в пятнистых халатах налетели, связали, засунули кляп в рот, заставили

бежать... Бежал до посинения. Потом уж догадались вынуть кляп – пусть, мол, вздохнет, а то еще умрет по дороге. Столько переживаний – и все окажется понапрасну.

Немного успокоились сами. Коней стало жаль: не догадались их выпрячь, отвернули с дороги, опрокинули бричку и бросили.

Обратно выходили сутки. Заплутали. Чуть ли не у каждого был компас, и чуть ли не каждый компас показывал север в свою облюбованную сторону. И лишь много лет спустя после войны меня осенила вдруг догадка: а не Курская ли аномалия действовала?..

Сутки потом беспробудно отсыпались от той романтики.

После ходили в тыл еще раз, еще и еще. Но особенно впечатляющей была многодневная вылазка на Львовщине, когда я находился уже в конном взводе разведки.

Задание получили от штаба армии: не просто взять «языка», а нанести на карту строящиеся где-то на подступах ко Львову укрепления. Километров на сорок-пятьдесят предполагалось проникнуть в глубь обороны немцев.

Как когда-то наши ребята делали проходы во вражеской обороне и проводили по ним диверсионные группы, так на этот раз для нас две стрелковые роты прорывали линию фронта на стыке немецких частей. Отдушину сделали минут на тридцать-сорок. За это время под прикрытием большого тумана мы галопом проскочили в тыл. И пошли от лесочка к лесочку.

Нас было восемнадцать человек с тремя ручными пулеметами – сила немалая.

К концу первого же дня взяли «языка». Но как мы его ни спрашивали, он об интересующих нас укреплениях, видимо, на самом деле ничего не знал.

Ночь рыскали по дорогам в поисках более языкастого «языка», но безрезультатно – немцы, видать, ночью совсем здесь не ездили. А войти в какое-либо село мы не рискнули – это чревато осложнениями: бродячего не сразу хватятся, а взятого из избы, даже бесшумно, утром же начнут искать.

На заре, едва мы прикорнули в молодом березняке, дежуривший Колька Виноградов разбудил меня.

– Понимаешь – смылся...

– Кто смылся?

– Немец.

Я не сразу понял, о каком немце идет речь, думал, что вообще фрицы отступили.

– Понимаешь, привязал я его к дереву, чтоб не уполз, а сам пошел на опушку посмотреть, что и как. Вернулся, а его тю-тю...

ТЬфу! Не хватало еще, чтоб этот наш «язык» привел сюда своих и застал нас спящими!

– Вот тебе и тю-тю... Разинул рот...

Может, Колька и не очень виноват – не было еще такого, чтоб связанный «язык» сбегал. Видно, на самом деле верткий попался.

– Буди всех. Уходить надо в другое место, пока совсем не рассвело.

Метнулись километров на десять в сторону по фронту, на юг. И, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло – угодили как раз в район строительства этих укреплений. Тут лес сплошной, старый. Новых дорог, которых у меня на карте нет, уйма. А по ним, как на проспекте, машины в оба конца непрерывным потоком. Нас сначала даже отороπή взяла: как же тут «языка»-то брать? Потолковали-потолковали, решили устроить засады на двух-трех проселках, где не такое интенсивное движение. Уходившим на эту операцию группам я наказал:

– Ездовых не брать. Постарайтесь мотоциклиста заарканить. Может, окажется связным.

– А если не связной – отпустить?

Кто-то вставил:

– Кольке отдай. Он его привяжет...

Ребята засмеялись, хорошо так, свободно. Даже Николай Виноградов улыбнулся, не обиделся. Я облегченно вздохнул: значит, напряжение первого дня прошло. Теперь каждый стал самим собой. И я тоже почувствовал, как появляется во мне уверенность. Твердость во всем почувствовал: и в голосе, и в движениях – и вообще душа встала на место.

Вот теперь-то начинается самое интересное.

Часа через два привели мотоциклиста, и причем именно связного. Он вез пакет командиру части, руководивше-

му строительством укреплений. В приказе ему предлагалось ускорить работы ввиду поступивших сведений о скором наступлении русских.

Я расстелил прихваченную в запас немецкую карту и попросил пленного показать место, куда он ехал. Он долго лазил пальцем юго-восточнее Львова, наконец наткнулся на кружочек с длинным названием – километрах в тридцати южнее нашего местонахождения. Ничего больше сказать он не мог. Говорит, ехал туда впервые, что там делается – не знает.

Пришел помкомвзвода, привел остальные две группы с пустыми руками – не удалось никого взять. Опустился рядом со мной на траву, положил облезлый от длительного пользования автомат. Насупленный. Вижу, что-то хочет сказать.

– Слушай, не нравится что-то мне атмосфера вокруг нас, – покрутил головой, цикнул уголками губ. – Заглянули сейчас на шоссе... и, понимаешь, чем-то обеспокоены немцы, насторожены. Бронетранспортеры патрулируют. Утром этого не было. Уж не нами ли интересуются? Как ты думаешь, младший лейтенант?

– Вполне допускаю, – как можно равнодушнее ответил я. – А что ты удивляешься?

– Да я не удивляюсь. Только хреново все это... Ну, что-нибудь сказал пленный?

Я подозвал поближе ребят, пересказал содержание захваченного пакета (каждый должен знать все – мало ли что может случиться, еще неизвестно, кто из нас вернется в полк), командиры отделений отметили на своих картах место строящихся укреплений – тоже неизвестно, какой карте из четырех наших и одной немецкой суждено попасть в штаб армии.

Посоветовались. Решили, что тут мало надежды взять нужного нам «языка», поэтому надо по возможности ближе продвинуться к строящейся линии.

Кто-то из ребят со вздохом сказал:

– Пожрать бы хоть раз по-человечески за двое суток.

– Что ты имеешь в виду – «по-человечески»?

– Ну, то есть не по-собачьи, не на ходу, не всухомятку. Тушенку бы разогреть, чайку вскипятить.

Колька Виноградов перевалился на спину, потянулся.

– Блажь все это. Налопаясь, потом скажешь: поспать бы минут шестьсот. Колька, мол, разиня, не дал утром доспать.

Хорошие разговоры. Очень хорошие. Не об опасности говорят, а о еде, о крепком обеде.

Ехали осторожно, не приближаясь к дорогам, строго по карте. Наши с помкомвзвода лошади шли рядом, Иван поковырял ложкой в банке, тихо сказал:

– Что-то в глотку не лезет. – Выбросил банку кусты.

Мой рыжий Мишка беззаботно мотал головой и норовил поиграть с помкомвзводовским гнедком, пытался ущипнуть его за шею. Тот тоже скалил зубы. Бездумные животные, ничегошеньки же они не понимают в человеческой психологии...

За три часа прошли километров пятнадцать. Расположились на полянке. Старший сержант сразу забрал помкомвзвода и пошел к тракту.

Этот день казался нам бесконечно длинным – столько событий! А солнце было еще высоко.

Вдруг на шоссе началась стрельба. Все насторожились, вскочили. Не иначе, машину подбили. Сейчас должно все затихнуть... Но стрельба разгоралась. В общем гвалте отчетливо начали прослушиваться немецкие пулеметы – их скорострельность больше нашей, а автоматы, наоборот, наши скорострельнее. Значит, бой завязался. Я послал еще пять человек туда со вторым пулеметом.

Потянулись минуты неведенья, длинные и томительные. Пальба нарастала. Наши два пулемета захлебывались длинными очередями. Бой не на шутку разыгрывался. Наконец прибежал связной, доложил: подбили легковую машину, не успели вытащить барахтающегося в ней офицера, как показался бронетранспортер с солдатами.

– Кольку Виноградова наповал убило. Помкомвзвода слегка царапнуло в голову! – сообщил он.

– Сейчас же бегом обратно, немедленно всем отходить!

Кони, слыша приближающуюся стрельбу, прядали ушами, беспокойно переступали.

Вскоре появились ребята. Они несли троих убитых и двоих раненых. Старший сержант – замыкал. Над головами уже щелкали пули. Я скомандовал:

– По коням!

Не мешкая, тронулись. По лесу начали рваться снаряды – вразброс, неприцельно. Скакали долго, петляя. Преследования не опасались – в лесу ни бронетранспортер, ни танк не пройдет, а кавалерии у них, конечно, нет. Да и вообще они леса боятся.

Но вот выехали на большой холм, у подножья которого вилась речушка.

– Давайте здесь похороним ребят. На этом вот взгорке.

Я отыскал на карте это место – высота 121,6. Застучали лопаты. Разведчики копали попеременно, быстро. Я достал три пулеметных патрона, вынул пули, вытряхнул порох. Написал три записки: «Николай Виноградов, 1925 г., разведчик. Погиб 15 апреля 1944 года», «Михаил Варавский, 1920 г., разведчик...» и «Иван Самшин, 1923 года...». Вложил их в гильзы, заткнул пулями заостренным концом внутрь. Эти своеобразные жетоны положили в карманы гимнастерок погибших. На дне могилы постелили плащ-палатку, опустили на нее тела, прикрыли другой. По русскому обычаю бросили по горсти земли.

– Прощайте, друзья... Мы не забудем вас...

Ребята стояли молча над раскрытой могилой. Может быть, каждый думал о том, что у этих троих есть матери, которые в пеленки их пеленали, от насморка лечили, кашей кормили, ждали с войны, и для которых теперь уже уготованы слезы до конца дней их; а может, вспоминали, как вместе не раз лазили за «языком», пили из одной каски, ели одной ложкой; а может, думал каждый о том, где его самого настигнет смерть, где ему самому суждено лежать и суждено ли быть вот так заботливо похороненным – на войне всякое бывает.

– Закапывайте, – распорядился помкомвзвода.

Я снова достал карту и на ней отметил крестиком место могилы. Наверное, карты, подобные моей, не уничтожались в войну. Из штаба армии она, может быть, попала с другими документами после войны в архив и лежит сейчас где-нибудь в пронумерованной папке.

С наступлением темноты мы снова двинулись к этому же шоссе: контрольный пленный нужен был до зарезу, и именно с этого участка. Да и вообще мы почти ничего не знали о самих укреплениях: ни длину их, ни характер сооружений. Предстояло хоть всем лечь, а сведения добыть! Время работало против нас. Поэтому надо торопиться. Немцам теперь известно, где мы, и они знают, что нам надо. Они наверняка уже досконально обшарили место нашей последней стоянки. И сейчас ждут нас по соседству с этим районом – мы непременно должны появиться. Правильно они думают. Но вряд ли им придет мысль, что мы появимся вновь на старом месте. Это было бы нелогично. А мы нарушим логику.

К двенадцати часам ночи мы оседлали шоссе между двумя поворотами, выставив с обеих сторон усиленные заслоны. Несколько раз мимо проследовал бронетранспортер – он явно патрулировал этот участок шоссе. Но мы были нахальные ребята. Мы сидели и ждали «своего». И вот он пожаловал, «наш» долгожданный обер-лейтенант, штабист.

Когда загрохотал бронетранспортер, привлеченный стрельбой, мы уже отходили в лес, уводя с собой хорошего «языка». Штабные офицеры у разведчиков называются «длинными языками». Этот был особенно «длинным».

Теперь главное – не напороться нечаянно на немцев. И мы пошли петлять по лесу, на этот раз тщательнейшим образом стараясь не двигаться по старому маршруту, старательно обходить места, где уже были.

В лесу тихо, по-летнему тепло. Все молчали. Только иногда тишину нарушал слабый стон раненого, которого везли на самодельных носилках из молодых березок. У второго раненого была повреждена нога, но он крепился и сам держался в седле. Связанный обер-лейтенант тоже ехал верхом. А лошадь помкомвзвода пришлось бросить – шальная пуля задела ей заднюю ногу чуть выше бабки. Он забинтовал своему гнедку рану, снял седло, узду и пустил в лес. Сам же пересел на лошадь Кольки Виноградова...

Это была моя последняя вылазка в тыл и вообще за «языком». Три дня мы выходили к своим. Потом меня во-

зили в штаб армии с добытыми документами. Вернувшись, двое суток беспробудно спал. А еще через день на рекогносцировке местности мы впятером напоролись в тумане на два немецких пулемета...

ТРИ КАПИТАНА

С капитаном Калыгиным впервые я встретился на станции Тетерев на Житомирщине в ноябре сорок третьегого. А перед этим произошло вот что.

После контузии и ранения на Курской дуге я несколько месяцев лечился в Ессентуках в госпитале для контуженных. Втайне питал надежду, подогреваемую соседями по палате, что мне по тяжести моего ранения дадут отпуск домой хотя бы на несколько дней. Но меня выписали в действующую часть.

Приехал в Краснодар. А оттуда в станицу Крымскую, в ту самую действующую часть, наступающую в сторону Азовского моря. И надо же быть такому совпадению – это оказалась 316-я стрелковая дивизия, в которой я принял свое боевое крещение осенью сорок второго года под Котлубанью на Сталинградском фронте.

Конечно, никого из тех, с кем по невероятной жаре ползали по полям и лежали под бомбежкой, в дивизии уже нет. И вряд ли можно по документам установить, как, например, выбыл из дивизии мой взводный лейтенант Пачин – не возит же дивизия с собой весь свой архив.

Словом, зачислили меня стрелком в первый батальон 1075-го полка. Начало ноября в тот год на Кубани было теплым, даже жарким. Знаменитую немецкую «Голубую линию» у станицы Крымской прорывала кадровая (то есть сформированная до войны из красноармейцев срочной службы) дивизия пограничных войск НКВД. Наполовину легла она у бетонированных укреплений, усеяв степь зелеными фуражками. Но укрепленную линию прорвали. А в прорыв пустили нас.

Я видел эту «Голубую линию» – железобетонные укрепления, соединенные крытыми бетонными переходами,

сзади укреплений проложена узкоколейная железная дорога, по которой доставлялись боеприпасы.

Ничто не удержало. Все было разрушено нашей артиллерией и авиацией.

Мы наступали по направлению на Темрюк. После Крымской занимали станицу за станицей – немцы уже не могли задержаться, «голубых» линий больше не было. Наконец жаркий, стремительный бой за город Темрюк.

Приказом Верховного Главнокомандующего нашей 316-й стрелковой было присвоено наименование Темрюкской. Мы отсалютовали залпами Азовскому морю и повернули назад, к железной дороге. Тут-то я и развернул бурную деятельность – стал искать полковых, разведчиков. Но солдат на марше привязан к своему взводу, к своей роте. Он не может ступить в сторону ни шагу – а я был солдат, рядовой солдат. Поэтому я из строя рыскал глазами по проходящим мимо, по пробегающим из конца в конец колонны связным, надеясь заметить черную финку на поясе. На привалах отпрашивался у взводного поискать однополчан-сталинградцев и шел от одной кучки солдат к другой. Но разведчиков не было. Не попадались они мне. И так до самой погрузки в эшелоны на ст. Крымской. Тут я увидел группу ребят с черными финками на поясе. Обрадовался им, как родным.

Когда рассказал, что я тоже разведчик и что воевал в Сталинграде и на Курской дуге, ребята схватили меня и потащили к взводному. Тот, тоже очень молодой парень, тискал меня в объятиях, звякал моими медалями и говорил:

– Сейчас пойду скажу капитану – и все будет в порядке. У нас капитан – во-о парень! – показывал он большой палец. – Завтра же все будет решено. Так что считай себя уже разведчиком...

– Мы бьемся – не хватает разведчиков, а там в батальоне держат тако-ого разведчика!.. В общем, считай, что ты с завтрашнего дня уже у нас.

Но ночью наш полк погрузился в вагоны и поехал. Выгрузились в Киеве и дальше – марш на исходные рубежи, до станции Тетерев, где наш батальон был выдвинут на высокий песчаный берег реки Тетерев и занялся рытьем траншей.

Тянулось все это больше месяца. За это время меня назначили комсоргом роты. Командир батальона, капитан Зубарев, что-то стал уделять усиленное внимание моей персоне. Длинный, как коломенская верста, придет, сядет около моей ячейки, предложит закурить, потом начнет расспрашивать, где воевал, трудно ли брать «языка», как настроение в роте и вообще чем занимаюсь в свободное от рытья окопов время. Я сразу догадался, что неспроста это он, – значит, не забыли обо мне разведчики, значит, отбивают меня. Подолгу сидеть, однако, некогда было комбату. К тому же говорун из него никудышный: сидит, скажет слово – молчит. Курит, задаст вопрос и опять молчит, наверное, соображает, что еще бы спросить. А сам время от времени так внимательно глянет на меня и тут же отвернется. Потом поднимется, отряхнет песок с брюк и молча уйдет. Чего ему надо? Не отпустить меня к разведчикам? Для этого не надо ходить и курить около моего окопа. Приручить меня – чтобы я сам отказался от разведки? Это тоже, наверное, не так делается.

А вообще-то он мужик, видать, хороший, распоряжается в батальоне без суеты, без крика. На марше мне довелось несколько раз наблюдать за ним, он ехал верхом сбоку колонны, – глаза острые, внимательные, от колонны не отрываются. Каким в бою он будет? Самое-то главное – в бою... Хотя мне в бой с ним не идти: я непременно переберусь к разведчикам.

Вот что у меня записано в дневнике по этому поводу 19 декабря 1943 года:

«Слава богу – свершилось! Вчера перешел в разведку! Произошло это так.

Полк занимал оборону далеко в тылу, не то в пятом, не то в шестом эшелоне на станции Тетерев...

...Я целыми днями жду командира взвода разведки. Еще до прихода в Тетерев мне передали, что начальник разведки капитан Калыгин уже несколько раз был у начальника штаба полка по поводу моего перевода, но мой комбат уперся и ни в какую меня не отпускает. Начальник разведки будто бы говорит, что дойдет до штаба дивизии, а своего добьется. Такое развели, будто речь идет не о рядовом солдате, а о каком-то крупном специалисте.

Видно, нашла коса на камень, схлестнулись два моих капитана.

И вот вчера, окончательно изнервничавшись, я решил пойти сам к разведчикам, самовольно – чутье мне подсказывало, что вот-вот полк снимется отсюда. А на марше опять дело застопорится.

Забрав из вещмешка наиболее ценные личные вещи (а самое ценное из всего моего скарба этот дневник), я, чтобы не вызывать подозрений, оставил вещмешок, винтовку, подсумки с патронами в шалаше, где размещалась наша рота, сказал ротному, что пошел в штаб батальона по комсомольским делам. Тот кивнул головой и еще показал мне, в какую сторону идти. Командный пункт батальона я разыскал быстро. Но оттуда до штаба полка должно быть куда дальше (а кругом лес). Опыт разведчика подсказал, что найти штаб легче всего по телефонной нитке. Спросил у связистов, какой из множества проводов идет к штабу, взял его в руку и пошел. До станции Тетерев дошел быстро. А в селе провод пошел по огородам, через речушку, по крышам домов и притонов – словом, прокладывали напрямую. Пришлось идти по улочкам и переулкам, издали следя за проводом. А темнело с каждой минутой.

Штаб полка оказался на противоположной стороне села, около бора, – там, где он и должен быть на случай подхода немцев, в самом неуязвимом месте. Спросил у часового, где размещаются разведчики. Он показал на соседний дом. Зашел туда. Ребята встретили шумно, обрадованно, будто сидели и ждали меня.

– А где лейтенант? – спросил кто-то.

– Какой лейтенант?

– Наш.

Я удивленно поднял плечи.

– Не знаю. Я его не видел.

– Как не видел? Разве ты без него пришел? А он за тобой отправился в батальон.

– Понятия не имею.

Меня усадили за стол, принесли полный котелок перловой каши с мясом. И пока я ел, ребята, стоя вокруг меня, рассказывали, как они добивались, чтобы меня перевели.

Здесь впервые за много недель (с самого наступления холодов) я разделся и сидел в одной гимнастерке.

Старшина принес автомат, уже припасенный для меня, финку, гранаты, несколько запасных дисков. И я опять стал самим собой, опять находился дома, в привычной мне стихии веселых, немного бесшабашных и в то же время заботливых и чутких разведчиков. Как вороны на всем белом свете серые, так и разведчики, во всех полках одинаковые.

Немного погодя, в сенях послышались голоса – не иначе, как вернулся лейтенант. Меня впихнули в горницу, а лейтенанта обступили шумной, возбужденной ватагой, расспрашивали, смеялись, разыгрывали его. Все это – сам воздух, сама обстановка – до того было родным, что у меня от волнения в носу защипало...

Потом лейтенант рассказывал, как он искал меня. В роте ему сказали, что я ушел к комсorghу батальона. Лейтенант, конечно, не поверил. Выстроили батальон. Меня нет. Он закатил там скандал. Потом пришел комбат, узнал в чем дело, опять запротестовал.

В эту ночь полк снялся и пошел по направлению к фронту.

(Нетерпеливый читатель уже, наверное, недоумевает: где же те три капитана, обещанные в заголовке? Автор о себе да о себе. Все будет. И капитаны будут. А пока я цитирую свой дневник.)

Полк продвигался к фронту. Разведчики шли, как всегда, небольшими группами. И тут вдруг налетел комбат. Как он на меня закричал:

– Ма-арш в ро-оту!!

Я, конечно, и не подумал идти. Он выхватил пистолет. Я взвел автомат. Говорю:

– Слушай, капитан, надвое разрежу очередь, пока буду падать от твоей пули... Успею...

И все это на виду у проходящей колонны. Тут подбежали разведчики. Комбат вызвал своих солдат, приказал им обезоружить меня и арестовать. Разведчики окружили меня, оцетинились автоматами. Прибежал наш лейтенант. Стали лаяться с комбатом, дошли до матюгов.

На шум подъехал командир полка подполковник Пономарев. Узнав, в чем дело, махнул рукой комбату.

– Ладно, – говорит, – потом разберемся.

Комбат, грозя, убежал. Мне лейтенант сказал, чтоб я не отбивался от ребят.

Так с сегодняшнего дня я опять настоящий разведчик».

На этом запись заканчивается.

Вскоре подъехал на лошади начальник разведки полка капитан Калыгин. Небольшого роста, жилистый, очень подвижный, он с открытым интересом смотрел на меня сверху вниз. Я опустил руки по швам.

– Это ты самый и есть? – спросил он тихо. – Ну и заварил кашу. У тебя хоть в книжке красноармейской записано, что ты разведчик?

– Конечно.

– Ну-ка давай, – протянул он руку. – Покажу командиру полка.

Он полистал поданную мною книжечку и поехал в голову колонны.

Первое боевое дело, в котором мы столкнулись с капитаном Калыгиным, было под Радомышлем дня три спустя. Надо было нанести на схему огневые точки противника. Мы стояли на НП первого батальона и изучали в бинокли немецкий передний край. Тут же был комбат. Капитан Калыгин подробно расспрашивал его о немцах. Тот коротко отвечал, без лишних подробностей. А капитан выводил именно подробности. На меня комбат не смотрел, будто мы и не знакомы. Я тоже не поминал о недавней потасовке, в разговор не вступал, пока не спрашивают. И когда капитан спросил всех, стоявших тут: «Что будем делать?» – я, еле сдерживая восторг от своей находки, сказал:

– А вон из того танка можно всю их оборону до самого Берлина просматривать.

Начальник разведки глянул на меня пристально – конечно, все видели подбитый танк, стоявший у самых немецких траншей, и я ничего оригинального не открыл.

– Вот ты и пойдешь туда, – сказал капитан.

– Хорошо, – согласился я. – Вдвоем.

– Конечно.

Наступила длительная пауза. Все смотрели на танк. Капитан несколько раз оглянулся на меня – не мог понять,

наверное: или я шибко храбрый, или просто «с приветом» – считай, прямо в пасть к немцам лезть назвался.

Комбат тихо сказал:

– В этом танке днем немецкий снайпер сидит.

Меня несло. Отступить было некуда.

– Потеснить можно его... Места всем хватит.

Все это начинало попахивать бахвальством. Я становился противен сам себе.

– Ну, а если серьезно, – сказал я, – немца же можно на самом деле выкурить оттуда.

Никто ничего мне не ответил – чего болтать языком. Разведчики всюду одинаково малоразговорчивы, когда речь идет о предстоящем деле.

Вечером мы вдвоем с Петром Денисовым подползли к танку. Долго лежали около гусениц, не шевелясь и почти не дыша – ждали: если снайпер в танке, то должен же как-то подать признаки жизни. Но танк был мертв – значит, фриц ушел восвояси ночевать. Полезли через нижний люк внутрь. Холодище в танке. И жутко. Никогда я в танке не бывал. Стали обшаривать внутренности машины. Всюду банки из-под консервов. В основном пустые. Чиркнули спичку, осветили мрачные, отдающие леденящим холодом стены. Зажгли еще одну, заглянули во все закоулки, огляделись.

Ночь показалась нам ужасной – длинной и холодной. Мы очень боялись прозевать приход снайпера. Если он подползет к танку вплотную, тогда его ничем не возьмешь. А с расстояния можно одиночным выстрелом тюкнуть по темечку – никто и внимания не обратит. Чем ближе к утру, тем больше мы волновались.

Снайпер в это утро не пришел – его счастье. Может, до сих пор живет. Утром наша артиллерия начала обстрел вражеских позиций. Обстрел был сильным – почти как артподготовка перед наступлением. Снаряды рвались совсем рядом с нами. Танк гудел, как колокол. Того и гляди прямым попаданием влепят по башне. Немцы начали отвечать. В это время мы и засекали их огневые точки, делали отметки на карте наблюдения.

Часа два длилась артиллерийская дуэль. Мы с Петром, как в аду – над головой гудят снаряды, и наши и немецкие,

бушуют взрывы, пулеметы трещат, пули и осколки по броне бесперебойно грохают.

Наконец обе стороны уgomонились. Теперь бы дождаться ночи и благополучно выбраться отсюда, принести командованию карточку с отметками.

Через два дня, 24 декабря, по нашим отметкам артиллеристы в пух и прах разнесли большинство огневых точек немцев. Потом по сигналу с КП полка батальоны пошли в наступление.

Перед самой атакой я столкнулся в узком ходе сообщения с комбатом. Остановились, глядя друг другу в глаза. Я чувствовал себя в какой-то мере героем дня. Ему – еще только предстояло им стать. По всем требованиям военного этикета я должен пропустить офицера, а для этого мне надо отступить шага на три-четыре назад в нишу. Но вместо этого я одним прыжком вымахнул на бруствер и зашагал вместе с наступавшим батальоном, хотя еще минуту назад и не собирался это делать.

Я входил в азарт. Побежал. Немецкие минометы, как из мешка, веером трясли мины. Чтобы выйти из-под обстрела, надо – вперед. И пехота-матушка рванулась. Я был налегке, с одним автоматом и в белом маскхалате, надетом на телогрейку, поэтому обгонял солдат. К тому же увидел бежавших слева от меня ребят: чего ради разведчики пошли в атаку? Мы кричали, махали друг другу руками. Таким образом, сами того не желая, мы оказались во главе атакующих и первыми вбежали в город Радомышль. Немцы уже просто не успевали удирать, мельтешили на пустынных улицах.

Мы длинными очередями очищали улицы, словно из брандспойтов смывали грязь.

В одном из переулков наткнулись на немцев, вытаскивающих застрявшую груженую бричку – она зацепилась задней осью за столб в воротах.

– Эй вы, помочь, что ли? – крикнул Денисов. – А ну – хэндэ хох!

Немцы испуганно подняли руки.

Слева от нас на город наступала какая-то другая часть. Но она только еще подходила к городу.

Вдруг откуда-то появился наш начальник разведки. Он был возбужден (как, между прочим, и все мы). С ним

три или четыре разведчика. Он подошел ко мне, дружески хлопнул по плечу.

– Молодец. Я видел, как ты поднимал батальон. Правильно, пусть комбат знает наших...

Вот как, оказывается, легко можно попасть в храбрецы – по простому стечению обстоятельств: не будь два дня назад на НП комбата, я не высунулся бы с предложением насчет подбитого танка; не столкнулся опять же с этим капитаном в траншее, не поперся бы с пехотой – не моя это забота возглавлять атакующих. А теперь хочешь не хочешь, а надо держать марку.

Мы шли по улице без опаски – кругом уже шныряли наши солдаты. Нас догнал комбат со свитой порученцев и связистов, тянувших за ним телефонный провод.

– Опаздываешь, капитан, – крикнул ему наш ПНШ. – К шапошному разбору еле-еле поспел.

Таким возбужденно-веселым я не видел нашего капитана. Правда, во взводе-то я всего лишь неделю. Он держался с нами на равных, шутил, угощал, чем мог.

– Комбат, угостись конфетами, – крикнул он вдогонку капитану.

У комбата по столь бескровному взятию Радомышля тоже было веселое настроение. Он вернулся к нам. Закинул на плечо автомат, освободив таким образом обе руки, подставил пригоршню под конфеты.

– Ого, на сколько ты рассчитываешь.

– Нас же много.

– А если много, значит, проворнее надо быть.

– Более проворных трофейщиков, чем разведчики, я не знаю...

– У твоих проворности не хва...

Выстрелы – один, другой, третий – грохнули почти в упор. Нас всех как ураганом разнесло. На месте никого не осталось – значит, ни в кого не попал. А стрелял кто-то из-за угла дома, возле которого мы остановились. Не знаю, кто из нас где очутился, я, например, под самой завалинкой дома, из-за которого стреляли. Снова выстрел недалеко от меня, за углом. Я кинулся кругом, с противоположной стороны. Осторожно, но быстро обежал дом, выглянул со двора за угол и увидел прямо перед собой

немца с парабеллумом в руке. Он стоял ко мне спиной и из-за выступа методически стрелял в появлявшихся на улице. Но стрелок, видать, он был плохой – ни в кого не попал.

Я дал короткую очередь повыше его затылка и закричал:

– Хэндэ хох!!

Он испуганно бросил парабеллум, еще не оглянувшись, поднял руки.

Иногда нет-нет да и вспоминаю я эту сценку в только что освобожденном Радомышле и всегда с удовольствием ловлю себя на мысли, что у меня не было желания опустить автомат чуть пониже и всадить очередь ему в затылок. Я даже боялся, что, если он не бросит пистолет и обернется ко мне вооруженным, мне придется вторую очередь выпустить в него без предупреждения. Мне жаль было стрелять в него. Не знаю, почему. Может, настроение было хорошим – кругом удачи, меня несла волна, а может, потому, что каким-то жалким был он – такой разиня – и убежать не успел вовремя, и стрелять толком не умеет...

С ним оказалась полевая сумка с какими-то картами и документами. Утром, уже на марше по дороге на Житомир, кто-то из ребят сказал, что начальник разведки написал на меня представление к ордену Красной Звезды за радомышльский бой и за пленного с документами. Забегая вперед, скажу: ордена этого я не получил. Начальник разведки несколько раз обещал отыскать концы, но все было недосуг. А вообще-то он не очень придавал значения наградам, не то что сталинградский наш начальник разведки ПНШ-два Сидоров. Тот о наградах не забывал.

Для контраста несколько слов о Сидорове. Это был высокий, грузный человек. С нами Сидоров был всегда корректным, сдержанным и уравновешенным, никогда голоса не повышал, но и никогда не выходил из своей землянки хоронить погибших ребят: боялся убитых. Между нами и Сидоровым постоянно было какое-то пустое пространство. А с Калыгиным мы чувствовали себя просто, свободно. Этого слова «между» здесь вообще не существовало. Калыгин был с нами, хотя мы ни на минуту не забывали, что он – помощник начальника штаба полка.

Он был не только нашим начальником, но кумиром нашим. А кумиру многое прощается. Калыгин мог в пылу закричать на нас. Даже под горячую руку можно было от него матюга схватить. Но ни у кого не оставалось после этого обиды, недоброго чувства. Вроде бы наоборот – даже гордились. Вернется из штаба кто-нибудь красный, но не злой, а как-то странно улыбочивый.

– Ты чего? – спросят.

Помнется – вроде хвастать неприлично.

– Причастие сейчас принимал. От капитана.

– А-а... – все понимающе качали головой.

Время от времени он сам ходил с нами за «языком».

И тогда вылазка превращалась в наглядный пример классического поиска. Ходили мы с ним из Любара в деревушку Карань – правда, на этот раз пример получился не совсем классическим... Мы много раз ходили в Карань, одни или с командиром взвода, и почти всегда с нашего левого фланга. Это было удобно во многих отношениях. Там мы почти до самой середины нейтральной полосы – а полоса километра полтора – шли в полный рост по ложбине, которую немецкие пулеметы не простреливали. Мы знали там все огневые точки противника, знали его минные поля, имели в них свои коридоры. А на этот раз капитан сказал, что пойдём не на передний край, как всегда, пойдём в самую деревню, и не с левого фланга, а с правого – почти из расположения нашего правого соседа. И мы пошли.

Здесь к селу примыкала цепочка высоких пирамидальных тополей.

– Вдоль этой цепочки и пойдём, – сказал капитан на рекогносцировке. – А вы хоть поняли, почему именно здесь будем брать?

Мы похлопали глазами. Кое-кто к этому еще и плечом дернул.

– Во-первых, потому что там, на левом фланге, вы уже надоели немцам. Сколько оттуда перетаскали «языков»?

– Ну, штуки три, наверное, четыре.

– И говорят они одно и то же.

– Мы за это не отвечаем – чего они говорят.

– Во-вторых, больше на ваше излюбленное место соваться нельзя ни в коем разе – теперь уж наверняка там

ловушка поставлена. А в-третьих, в селе стоит какой-то штаб – вот туда мы и пойдём.

– В шта-аб? – ахнули мы.

– А что, мы – не разведчики?

– Конечно, разведчики...

– Вот и попробуем. С сегодняшнего дня – по два человека: наблюдать за деревней с нашего энпэ, в четыре глаза. Засечь избу, в которой штаб, определить, какой штаб. Конечно, штаба дивизии тут нет, а полковой – может быть. Тщательно изучить все подступы к штабу и отходы от него. Вплоть до нашего переднего края.

Неделю наблюдали. Почти каждый день на нашем наблюдательном пункте перед немецким минным полем сидел и капитан, согнувшись в три погибели, часами не шевелясь, глядел в стереотрубу. Он все умел и все стремился делать сам. Может, потому, что войну в сорок первом начал рядовым красноармейцем и вот дошел до начальника разведки полка. Сколько у него было наград, по-моему, никто не знал – он никогда их не носил. Ходил он в фуфайке и ватных штанах, увешанный ремнями (любил кавалерийскую шлейку) и в кирзовых сапогах почему-то с короткими голенищами.

На штаб пошли всем взводом, разбившись на две группы. На долю нашей группы досталась самая что ни на есть черная и невидная работа – обеспечить подход группы Калыгина к штабу, охранять этот штаб, пока ребята переворачивают в штабе все с ног на голову, потом пропустить их с пленными и ценными документами через себя и отойти за ними, прикрывая их огнем своих автоматов и гранатами. Так капитан распланировал накануне, так утвердил «военный совет» взвода, и так все началось.

Все шло как по-писаному: мы бесшумно сняли часового у крайней избы, превращенной в дзот, взяли в избе двух пулеметчиков вместе с пулеметом – это чтоб вдогонку нам при отходе не вздумали стрелять, и вообще пленные никогда у разведчиков лишними не бывают... Пропустили группу Калыгина к самому штабу, дождались, пока она перевернула там все вверх тормашками и вышла оттуда, да... с пустыми руками. Заведение, к которому с утра и до вечера подъезжали верховые, подкатывали брочки,

прибегали посыльные, оказалось не штабом, а всего-навсего интендантством.

– Кто бы мог подумать, – смеясь, сокрушался в блиндаже у комбата капитана Зубарева начальник разведки капитан Калыгин. – Кому в голову могло прийти, что в сотне метров от своего переднего края расположится интендантство! Во все времена место интендантов было в тылу.

– Ты хоть понял, ради чего они выперлись к передовой? – спросил капитан Зубарев.

– Теперь-то – конечно! Там огромные колхозные погребя. Они их загрузили.

– «Загрузили» или они были загружены?

Капитан Калыгин молча, пристально посмотрел на комбата – как всегда смотрит, когда ему говорят что-то интересное, стоящее внимания.

– Вот это я упустил, комбат, не слазил, не проверил, – без улыбки ответил капитан. И непонятно было, с подковыркой он это сказал или на самом деле сожалел. – Но мы это проверим по документам, которые захватили с собой. Кстати, попутно определим, какие части и в каких масштабах пользуются этими складами. Что не поймем, нам объяснит кладовщик. Мы его захватили на всякий случай...

Мы долго курили в комбатовском блиндаже – часть разведчиков во главе с лейтенантом ушла в наше расположение и увела с собой пленных, а нескольких ребят, которые больше других околачивались в первом батальоне, капитан Зубарев пригласил выпить чайку в его теплом и даже уютном блиндаже.

В том числе пригласил и меня. Мы уже перестали коситься друг на друга. Говорили – о том, о сем – в основном, капитаны, а мы слушали и пили вприкуску с колотым сахаром черный, как деготь, чай.

– Слушай, я давно присматриваюсь к твоим ребятам и завидую тебе. Хорошие у тебя ребята. И вообще разведка – это, наверное, очень интересно.

– Ребята, конечно, хорошие. Плохих не держим. – Капитан шумно прихлебывал чай и пристально и весело смотрел на комбата. – Плохих к тебе отправляем, если попадают...

И вдруг неожиданно спросил:

– Ты начальником разведки полка пошел бы?

Комбат долго и серьезно молчал.

– Откровенно? – спросил он.

– Конечно.

Капитан Зубарев еще помолчал – будто что-то проверял и перепроверял.

– Честно говоря, не потяну я.

– Ну да-а, – оживился вдруг наш капитан. – А почему все-таки не потянешь?

Калыгин спрашивал тоном старшего, хотя не был старше Зубарева ни годами, ни по званию, ни по должности, батальон – это третья часть полка! Это не взвод разведки!

Так думал я, прислушиваясь к неторопливому и вроде беспредметному разговору капитанов.

– Почему не потяну? – переспрашивал Зубарев, и было видно, что делал это только, чтоб протянуть время и еще раз обдумать свой ответ. – Потому что самостоятельности не хватит.

– Ну-у, это уж ты брось.

– А ты, поди, думал, что смелости не хватит? Смелости наскребу. А вот легкости твоей нету. Тяжел я. Надо стоять и держать – я буду стоять и держать оборону. И ни разу не оглянусь назад. Я знаю рубеж, я знаю свои огневые силы, и я сумею расставить их так, что все будут держать внатяг, никому послабления не будет, и никому неподсильно не будет, никто не надломится. Согнется, но не сломится. – Голос у комбата твердел, начинал звенеть. И вдруг накал спал. Он как-то разом остыл и внезапно тихо закончил:

– А вот так, как ты, залезть туда, к ним в логово, и орудовать там – когда у тебя ни тыла, ни фронта, – не могу. У меня рассеивается внимание...

– Знаешь что, комбат, этот разговор я затеял не праздности ради. – Калыгин отставил кружку с чаем и полностью повернулся к Зубареву. – На прошлой неделе начальник штаба устроил с нами такую репетицию: собрал своих помощников и спросил, кто какую замену себе имеет на случай, если выйдет из строя. Знаешь, кого я предложил вместо себя?

– Уж не меня ли?

– Да, именно тебя. Ты был бы начальник разведки полка лучше, чем я. Но ребята тебя любили бы меньше.

– Чем тебя?

– Да, меньше, чем меня.

В землянке наступила тишина. Перестали сосать сахар и швыркать горячий чай.

– Почему?

– Ты очень собранный и всегда здраво рассуждаешь. Ну... суховат, что ли. А разведчики – народ увлекающийся, азартный и, что греха таить, даже бесшабашный в какой-то степени...

На эту тему говорили до самого рассвета. Когда уходили из комбатовского блиндажа, Зубарев подошел ко мне и по-дружески положил руку на плечо.

– Зря ты тогда ушел от меня, – проговорил он мягко.

– Сейчас бы ты уже носил офицерские погоны, командовал бы взводом. Поднабил бы руку, через месячишко, глядишь, роту бы получил.

Я затряс головой. У меня были свои взгляды на офицерские погоны. Надень их – а потом, после войны, ребята все поедут домой, а ты – офицер, ты служи. А зачем мне это? Я тогда не знал, что офицеру можно тоже уволиться в запас...

Капитан Калыгин подтолкнул меня к выходу, а комбату сказал:

– Конечно, каждый мой разведчик мог бы быть у тебя взводным... А что касается внимания, не рассеется оно, если прижмет.

И он словно в воду глядел – через полтора месяца, восьмого марта, комбата прижали немцы.

Полк наш развивал наступление от Любара на юго-запад, на Проскуров. В течение трех суток мы прошли больше шестидесяти километров по раскисшей в весеннюю распутицу дороге. Почти вся артиллерия далеко отстала от пехоты. От НовоCONSTANTИНОВА полк повернул на Копытинцы. В Копытинцах батальоны форсировали Южный Буг и заняли село Антоновку и несколько железобетонных дотов бывшей нашей третьей линии укреплений на старой государственной границе. Уже подходили к Летичевскому лесу, когда вдруг на нашем левом фланге загудели танко-

вые моторы. Командование направило уши – на этом направлении наших танков не было. Капитан Калыгин велел мне послать конного разведчика на левый фланг и узнать, в чем дело, – к этому времени я был уже младшим лейтенантом и командовал взводом вновь созданной конной разведки. Петр Денисов моментально смотался туда и обратно.

– Немецкие танки! – закричал он, кубарем слетая с коня на землю.

– Чего кричишь, дубина? – шикнул Калыгин. – Где они? – И, не дослушав ответ, позвал: – Комбат! Иди сюда. – Когда тот подошел, тихо сказал ему: – Слышишь – танки? Отрезают нас от переправы.

Комбат встрепенулся, закрутил головой, словно прихиваясь поверху.

– Только этого мне не хватало, – пробурчал он. – Командир полка еще на том берегу. Связи с ним нет. И ни единой пушки.

– Занимай круговую оборону. Без тыла будешь воевать. Вон смотри, уже началось.

В третьем батальоне, наверное, уже увидели немецкие танки и, наверное, тоже поняли, что без пушек танки не остановишь. Там уже начали поворачивать назад, к Антоновке.

– Задержите их! – закричал вдруг комбат мне. – Задержите во что бы то ни стало! Иначе будет мясорубка.

Мы поскакали наперерез отступавшему батальону, еще издали крича:

– Сто-ой!!

– Сто-ой! Куда бежите?! Так-растак... Сзади река!

– Река сзади! Постреляют всех!

– Занимай оборону здесь!

– Здесь оборону занимай!!

Нам с комбатом-три удалось завернуть часть батальона к Зубареву. Начало быстро смеркаться. Уже слышен ляг гусениц. Кругом гомон, шум. И в нем я различаю голос нашего капитана:

– Внимание! Я – помощник начальника штаба полка. Я – старший по должности. Беру командование на себя! Слушать и исполнять мои приказы! Всем занять оборону!

Всем рыть окопы! Из пэтээр стрелять по танкам только по команде, стрелять только наверняка. Беречь патроны...

В наступивших сумерках ко мне подбежал комбат-три, стал теребить за ногу.

– Младший лейтенант, рота потерялась. Восьмая рота. Она была крайней. Будь другом, проскочи на конях со своими ребятами к берегу, может, она там. Заверни ее сюда.

Конников при мне чуть больше десятка. Поскакали искать восьмую роту. Темнота густела. Проскакали поскотино. Прислушались. Гвалт на улицах. Кинулись туда. А в Антоновке не только восьмая рота, какие-то еще солдаты. Все бегут по берегу. А следом, от Копытинцев – немецкие танки.

– Отходи от берега!! – кричу, что есть мочи. – Давай, вперед! Первый, третий батальоны круговую оборону заняли. Давай, товарищи, вперед!.. Единственное спасение – вперед! Вперед!

Ребята, взвода два, кинулись за мной. Но тут же за селом мы наткнулись на немецкие танки – они уже отрезали нас от зубаревской группы. Первый и третий батальоны оказались полностью окруженными.

Теперь я не знал, что делать с теми людьми, которые оказались в Антоновке. В село уже входили танки. Тут я впервые подумал: каково было в сорок первом, когда не такой вот паршивый десяток, а сотни, лавина немецких танков перли на отступающие роты и батальоны?

Восьмая рота и, видимо, часть второго батальона пошли уже вплавь через речку. По всему берегу слышны крики командиров. Но что командир сделает с кучкой разрозненных, потерявших уверенность солдат?

Начали теснить танки и нас. Они уже охватили село полукольцом и двигались к реке. А у нас ни одного противотанкового ружья! Нечем даже пугнуть их. Роты отходили к реке. Я еще надеялся проскочить по берегу на Копытинцы, к мосту через Буг: не по самому же берегу идут танки. Но попытка не удалась: танки шли по самому берегу и щедро поливали берег из пулеметов.

Полукольцо сжималось. Сзади нас уже доносились всплески – люди кидались в реку и плыли в ледяной воде. Кто-то уже тонул – доносились вскрики. Я понял: нам тоже

не миновать ледяной купели. Рыская по берегу, начал уже подыскивать место для подхода к воде. Но всюду у берегов был лед. Я повел своих разведчиков вверх по течению, ближе к окраине села.

Мы спешили в конце какого-то огорода. Отпустили подпруги – жаль было седла бросать – и повели лошадей по забережному льду. Кони сделали несколько шагов и остановились. Не просто остановились, а уперлись – ни в какую.

Танки надвигались.

– Расседлать коней! – приказал я.

Но кони не пошли в воду и расседланные, как ни хлестали мы их. Они понимали, что река – это гибель, что доплыть до того берега – они доплывут, дотянут и нас за собой, но на берег им уже не выйти. Кони это понимали, а мы – нет. Они были умнее нас, им природа подсказывала; а мы – люди, существа цивилизованные, от природы отошедшие...

А танки уже шарили фарами по берегу. И правильно я сделал, что отвел своих разведчиков в сторону. Мы пока оставались в тени.

– Бросай, ребята, коней. Пошли вплавь.

Два танка выдвинулись на берег ниже нас по течению, повесили над рекой осветительную ракету и начали поливать плывущих из пулеметов.

– Не сбивайся кучей! Быстро, ребята, быстро.

Ребята один за другим, сбрасывая на бегу сапоги и телогрейки, кидались в черную, свинцовую воду и исчезали, как в омут уходили. Я был последним. Спустил под лед автомат, похлопал на прощанье коня по шее, скинул сапоги, фуфайку, шубную безрукавку и побежал босиком по льду, держа в руках зачем-то пистолет и гранату. С каждым метром от берега лед был все тоньше и тоньше. Слева от нас было светло, как днем. Кажется, уже три танка стояли на берегу и расстреливали плывущих. Лед подо мной треснул. Я с головой ухнул в ледяную воду. Душа будто выскочила из меня вон и от холода взвилась черт-те куда. Когда вынырнул, в руках у меня не было ни пистолета, ни гранаты, и моя любимая черная мерлушковая кубанка плыла по течению. Я встряхнулся, огля-

делся – отсюда, снизу, виднее. Кони наши жмутся кучкой на берегу, седла валяются, сапоги, телогрейки. Чтобы окончательно не заоченеть, я стал саженками мерять к противоположному берегу, которого не видно в кромешной тьме. Намокшие ватные брюки тянули вниз, что-то болталось в ногах, мешало. Пошарил рукой – пистолет на ремне. Заткнул его за пояс и без передыху торопливо поплыл дальше.

Плыл долго. Несколько раз пулеметные очереди проскакивали и к нам – пули гулко чмокали поблизости, взбивая фонтанчики. Казалось, конца-краю нет этой реке – неужели я повдоль угодил, а не поперек?.. Да нет не я один, все плывут в ту же сторону...

Наконец послышалось бульканье. Я наткнулся на остро отточенную водой кромку льда. Ухватился – она обломилась. Я снова – опять не держит. Ломал, ломал до тех пор, пока не добрался до крепкого края. Добраться добрался, а вылезти на лед уже не могу – сил нет. Повис на локтях, не отдышусь никак. А ноги течением так и тянет под лед, зазеваешься – того и гляди всего уволокет.

Напрягся из последних сил – не ждать же, когда замерзнешь тут окончательно, – напрягся, аж искры из глаз посыпались, выполз на лед. Перевернулся на спину отдышаться. Слышу: кто-то шебаршит там, где я только что выбрался. В темноте не рассмотришь, а спросить силы нет, но не немец же, подал руку. Кое-как вытащил.

– Эй, ребята, кто еще в воде? Давай сюда, к нам.

Появилась одна голова, другая, немного погода – третья. Вдвоем мы сравнительно легко повытаскивали ребят, уже вконец обессилевших.

– Не задерживаться, – крикнул я. – Всем бегом по избам.

Антоновка раскинулась на обоих берегах Южного Буга, и мы, переплыв реку, остались в том же селе. Босиком, в громяющей, как жесьть, одежде припустили что было духу через огороды, через какие-то пустыри к темневшим на взгорке хатам. Первая изба оказалась брошенной, в ней гулял ветер, как в плохом сарае, и вторая и третья... И только выше на бугре нашлось несколько еще жилых изб. Глядя на нас, сердобольные теткы вываливали

все, что у них было из одежды: всевозможные кожушки, валенки, сапоги, шапки.

– За вещи не беспокойтесь, – утешали мы. – Вернем.

– Как только старшина выдаст обмундировку, так и вернем.

– Та хиба ж мы говорим шо. Хай вона сказыться, ця одежда. Попростужаетесь ведь...

До сих пор удивляюсь: после такого ледяного купания никто из нас не только не схватил что-нибудь вроде воспаления легких, но не кашлянул и не чихнул даже никто – вот это нервное напряжение было! Утром увидели в бинокль лежащего на льду около седел человека. После длительного наблюдения установили, что человек жив – он слабо, но шевелился. От него до ближайшей избы было не меньше полутора метра. Пока мы совещались, как спасти человека, от избы отделился старик с санками. Подошел к раненому, это был или Петр Денисов, или Гриценко – их мы не досчитались, положил его на санки и повез к себе.

Неделю спустя остатки моего взвода вновь были посажены на мобилизованных в округе лошадей. Командир полка приказал нам переправиться ночью на левый берег на плотях с конями, пробраться к Летичевскому лесу, отыскать там первый и часть третьего батальонов под командой двух капитанов – Калыгина и Зубарева – и установить с ними связь.

– А попутно доставьте им сколько возможно боеприпасов, – сказал он в заключение. – У них, конечно, не густо.

И мы тронулись. Переплыть реку вдали от села в непроглядную ночь на больших плотях никакой трудности не представляло. Трудность была в том, чтобы причалить в облюбованном месте – там, где минометчики разрушили днем лед у берега. Но все обошлось хорошо. Кони в основном вели себя спокойно и тем не менее, когда спрыгнули на твердую землю, зафыркали удовлетворенно.

Немцы были только в Антоновке. За селом их нет. Мы наблюдали за ними всю неделю. Вечером усиленные конные патрули проедут по берегу в ту и другую сторону от села; рано утром – опять. Надеются на естественную водную преграду.

Мы перекинули выюки на седла и пошли рыскать от перелеска к перелеску. По всем расчетам, два капитана должны быть в десятке километров от Антоновки по направлению на местечко Летичев – в Летичевских густых лесах. Туда мы и направились.

К утру, когда темень особенно густая, непроглядная, наткнулись у опушки на немцев. Головной дозор открыл пулеметный огонь, чтобы пробить брешь в немецком оцеплении и главным образом – подать сигнал двум капитанам (так их теперь называли в штабе полка). Тотчас же над лесом взвились ракеты.

Немцы долго не упорствовали, расступились, и мы вошли в кольцо и провели с собой полтора десятка навьюченных лошадей.

Капитанов я узнал только, когда они подали голоса. При тусклом освещении маленького костерка на меня смотрели худые заросшие мужики. Никогда не подумал бы, что за неделю можно так зарастить.

– Что привез? – сразу же ухватился за меня наш капитан.

– В основном боеприпасы – патроны и гранаты. Ну и немного перекусить.

– Перекусить мы найдем, – сказал капитан-комбат и засмеялся. – Ты отсюда пойдешь пешком. Коней мы твоих съедим. Сколько их у тебя, пятнадцать?.. Если даже по полкило в день мяса на каждого, и то на полмесяца хватит.

– А ты чего тут собираешься полмесяца делать? – спросил я. – Велено передать: послезавтра на рассвете полк форси...

– Полк – здесь! – перебил меня капитан Зубарев. – Здесь больше двух батальонов. А там – там только штаб и командир полка... Ну, так что послезавтра?

Передо мной был совсем другой комбат Зубарев – решительный, уверенный военачальник.

– Там пришло пополнение, несколько рот...

Капитан опять перебил меня резко:

– Сколько – «несколько»?

– Это не мое дело – считать, сколько прибыло, – тоже повысил голос я. – Мое дело следить за противником, а не за тем, что у нас делается в тылу... Так вот, велено пере-

дать: послезавтра на рассвете полк форсирует Южный Буг на плотках и на лодках. Немцев в Антоновке очень мало, и к полудню полк будет здесь. Вам приказано не возвращаться назад.

– А мы и не собираемся возвращаться. Тут не немцы нас держат, а мы их возле себя... Ты противотанковых ружей хоть парочку привез?

– Привез, четыре штуки.

– Вот и прекрасно. И патронишки к ним?

– Конечно.

– Великолепно. Слышь, капитан, – окликнул он Калыгина. – С нас ведь причитается твоему разведчику...

– Я не возражаю... если он привез.

– Это называется с вас? Я-то привез три баклажки спирту.

Начальник разведки оживился.

– Ты представляешь, комбат, – привез и молчит?!

– Это старшина выдал на случай, если придется вплавь по ледяной воде перебираться, – слабо сопротивлялся я.

– Совсем никакой логики, – засмеялся комбат. – То передает приказ не возвращаться, а тут же «если по ледяной воде вплавь». Концы-то с концами не того...

– Все «того». Не возвращаться – это приказ командира полка. А спирт я брал у старшины. А его я сориентировал на ледяную воду...

Капитаны долго хохотали. Комбат, вытирая слезы, тихо и душевно так сказал:

– Ребята, возьмите меня к себе в разведку, а?

Этого было достаточно, чтобы наш капитан сел на своего любимого конька:

– У нас каждый человек – личность! – поднял он указательный палец.

– Я что, значит, не подхожу, да?

– Не-ет. Ты очень даже подходишь. Только одна беда – должности для тебя нету...

– А мне должности не надо.

И вдруг серьезно спросил у меня:

– Немцев много между нами и рекой?

– Нету. Совсем нету. В селе немножко стоят да тут, около вас.

Комбат переглянулся с начальником разведки.

– Ведь мог же он сюда приехать, – комбат отодвинул мятую алюминиевую кружку. – Тут же ведь почти весь полк. Оставил полк на двух капитанов, а сам сидит там.

Речь шла, конечно, о командире полка.

Днем, когда мы лежали в шалаше на душистых сосновых ветках, наш капитан брился привезенной мною бритвой, а капитан-комбат был на передовой, Калыгин с непривычной для него открытой нежностью заговорил о Зубареве:

– За неделю он вырос от комбата до командира полка. Вот что значит самостоятельность. Самостоятельность и, конечно, талант. А я понял, что не смогу командовать большими массами людей. Я – все-таки разведчик.

Помню, я тогда подумал: сколько в армии капитанов, и нет двух одинаковых – все разные. Кстати, читатель вправе спросить: а где же, наконец, третий капитан, обещанный в заголовке. Третий капитан – это я, автор. Но сначала – кончить о тех двух.

Когда полк соединился, капитан Зубарев был награжден орденом Александра Невского, и его тут же отозвали в штаб дивизии. Говорили, что присвоили ему очередное воинское звание и назначили командиром какого-то полка.

Наш капитан, лихой и отчаянный Калыгин, до нашего с ним ранения был в разведке – в своей стихии. Что касается третьего капитана, то в личном деле у меня значится должность редактора дивизионной газеты. Но я никогда не был редактором дивизионной газеты (и, надеюсь, теперь уж и не буду) – разведчик, плохой ли, хороший ли, однако до сих пор даже во сне вижу себя разведчиком. Как-то приснилось мне, что я снова попал во взвод разведки. И первое, что меня разволновало, – как я буду теперь со своим «гражданским» животиком ползать? Говорю: я же под колючей проволокой не проползу, и вообще, без колючей проволоки даже два десятка шагов едва ли осилю по-пластунски... А мне вроде бы взводный говорит: беда с тобой – рядовому не положено брюшко иметь. И тут только я вспомнил: я не рядовой, я, говорю, капитан. А он так отмахнулся: ты

капитан ненастоящий. Настоящий, это тот, который на фронте капитаном был...

Конечно, сон есть сон – что с него возьмешь, с этого взводного, который приснился.

Жизнь уходит. Капитаны военных лет сейчас могут быть кем угодно – даже генералами, профессорами, заслуженными артистами – и все равно то время, когда они носили зеленые полевые погоны с маленькими звездочками, вспоминают с прежним юным волнением.

Мне бы очень хотелось, чтобы и капитан Зубарев, и капитан Калыгин были живы. Пусть даже они и не вышли в генералы, им все равно есть что вспомнить на старости лет. Они были хорошими капитанами, настоящими капитанами – это куда лучше, чем быть, например, плохоньким... ну, допустим, полковником... Под лучами их славы и я погреюсь – третий, не совсем, может, настоящий капитан...

А фамилия того деда, который на санках вывез со льда в свою избу раненого Петра Денисова, не то Кравченко, не то Харченко Филимон Михеевич. Старожилы села Антоновки должны помнить его. Он выходил и вылечил нашего Денисова. Другой наш разведчик Гриценко – неделю лежал у деда Филимона в сенях под полом. По ночам он выпускал его на несколько минут размяться, потом тот снова укладывался в свое прокрустово ложе, на котором даже повернуться на бок нельзя было.

Петра Денисова немцы вывезли в Староконстантинов буквально накануне нашего прихода.

Сколько людей на войне было, столько и судеб, непредвиденных, негданных.

МИШКА

Мишка – это мой буцефал, рыжий, косматый, с маленькой змеиной головкой. Мишка – трофей. Бывший хозяин наверняка звал его иначе. Но у меня он был Мишкой, откликался на этот зов, слушался. И вообще любил меня, а я любил его.

Достался он мне при неожиданных обстоятельствах.

Немцы отступали торопливо. Наши полки не успевали их преследовать: грязь по колено, дороги разбиты, артиллерия застревала надолго. Конному взводу разведки был приказ: висеть на плечах противника и ежедневно коннонарочным сообщать в штаб полка о продвижении. Направление – на Копычинцы (это было в Тернопольской области, на Украине). Коннонарочных я отправлял ежедневно, а возвращаться они не успевали – просто не могли угнаться за нами.

И вот, когда мы почти добрались до самых Копычинцев, на какой-то машине-вездеходе догнал нас связной командира полка с приказом повернуть круто на юг, на город Чертков – полку дали другую задачу, а в связи с этим и другое направление.

Карта, которую, я получил в штабе полка, обрывалась Копычинцами, и Чертков нам предстояло разыскать по расспросам местных жителей. Пока мы выбирались из села, все время уточняя у встречных направление на Чертков, наступили сумерки. Неожиданно началась сильная метель. После мы узнали, что даже самые древние из старожилов Западной Украины не помнят таких буранов в апреле. Сырой, липкий снег повалил хлопьями и буквально за несколько минут преобразил окружающую степь, завалил дороги.

Я вел взвод по компасу строго на юг. Надеялся лишь на одно: села здесь расположены густо, на какое-нибудь непременно набредем.

Когда уже окончательно стемнело, мы наскочили на какой-то хутор (после узнали – хутор Михайли). В первой хате спросили, нет ли немцев, и поехали дальше – решили не останавливаться с краю хутора, чтобы не каждый на тебя натыкался в случае чего.

Разместились мы в трех избах в самой середине хутора. Измученных лошадей расседлали.

Двое суток кружила метель, не видно было ни зги, за окном – белесая муть. Покидать хутор мы не торопились, знали, что ничейная полоса почти не сокращается: наши едва ли продвигаются в такую погоду, немцы тоже наверняка отсиживаются.

По-мирному уютно жили мы эти двое суток. Если бы не автоматы, составленные в кучу около дверей, ничто

не напоминало бы о войне. Гостеприимные дед с бабушкой, чем-то похожие на Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, а может, просто мне, еще со школьными представлениями о мире, лишь почудилось это сходство: потрескивающие в печи дрова, занавески на окнах, гора подушек на кровати – так быстро мы освоились с этой мирной обстановкой, что буквально на следующее утро уже почувствовали себя «цивильными» людьми...

На третьи сутки рано утром мы проснулись от ошеломляющей тишины – уже не хлопали и не скрипели ставни, не гудел ветер в трубе. Глянули в окно: белизна аж до рези в глазах. Мы выскочили во двор, стали обтираться снегом, играть в снежки.

Когда бабушка начала собирать на стол завтрак, а мы, разгоряченные, взбодренные, вытирались полотенцами, в дверь постучали. Вошли двое. У обоих наши, советские, автоматы на шее. Один из вошедших – в немецкой зеленой шинели, но в русских кирзовых сапогах и в нашей армейской шапке; другой в белом военном полушубке, тоже в кирзовых сапогах и в нашей армейской шапке с красноармейской звездочкой. Все это я схватил глазом мгновенно.

– Мы – партизаны. Наш отряд выходит из тыла и идет на отдых.

У меня с детства особая симпатия к партизанам. Все партизаны для меня – герои. Мы, фронтовики, воюем, не оглядываясь назад, тыл наш обеспечен. А каково им? Кругом враги!..

Видимо, не один я так думал. Мы обрадованно начали приглашать гостей за стол. Дед достал из шкафчика графин спирту (в соседнем селе немцы бросили совершенно исправный спиртзавод с большим запасом изготовленной им продукции). Нам очень хотелось сделать приятное партизанам. Но парни твердо не отходили от двери и не снимали с шеи автоматы. Лишь попросили:

– У вас свежие газеты есть? Дайте, пожалуйста. Мы очень отстали.

Газета недельной давности в наступлении считалась очень свежей.

Пока мы завтракали, они сидели у порога и читали газеты, то и дело посматривая на нас, иногда бросая взгляд

на составленные в углу у двери наши автоматы. Я расспрашивал их, откуда они родом, давно ли в партизанах. И никаких подозрений в эти минуты у меня не возникло. Хотя, правда, их твердый отказ раздеться и позавтракать с нами был неприятен, вызвал чувство досады и недоумения.

Вдруг они поднялись.

– Вон наш отряд идет, – кивнули они за окно и, попрощавшись, быстро вышли.

По улице двигался конный отряд чуть побольше нашего взвода. Впереди командир на высоком, но коротком, вислозадом коне с длинной шеей и маленькой головкой. Я почему-то обратил внимание на этого голенастого, неуклюжего и косматого коня. В середине колонны двигалась тачанка со станковым пулеметом.

Мы завтракали долго и основательно, потому что обеда у нас не предвиделось, и вообще невольно старались продлить наше беспечное житье в домашней обстановке. А когда начали седлать коней, в ограду вбежала растрепанная плачущая женщина. Она бросилась к нашему старшине Федосюку, приняв его по дородности за главного начальника.

– Бандеры ограбили!.. Товаришочки, помогите... Защитите от бандеров...

Кое-как выяснили: она поповна, живет с отцом, священником православной церкви, на дальнем конце хутора. Проходивший сейчас отряд бандеровцев забрал у них все, что можно. Корову тоже увели.

Смотрели ребята на меня и улыбались – дескать, хоть и поповна она, а давай сделаем благородное, доброе дело...

За хутором мы увидели ехавших кучками бандеровцев – то ли они на ходу делили добычу, то ли, уверенные в своей безнаказанности, просто разговаривали, но явно не торопились. Гикнув на коней, мы рассыпались цепью, припали к конским гривам, и засвистел ветер в ушах. А сердце! Сердце от восторга готово было вырваться наружу. Первый и единственный раз ходил я тогда в конную атаку. С детских лет по кинофильмам и книгам любил кавалерию, особенно Первую Конную. И, кажется, не только я. Ребята, не раз видевшие смерть глаза в глаза, в эту минуту играли в войну и очень жалели, что не было у нас

клинков – не снабдил начальник боепитания этим видом оружия, посчитал его, наверное, для нас лишним. Уж хотелось по-чапаевски помахать шашкой – двадцатилетние лейтенанты порой и на войне оставались мальчишками!

Бандеровцы не ожидали нападения. Они точно знали, сколько нас, знали, что их больше. И все-таки растерялись и кинулись наутек. Поповская корова была привязана к тачанке и мешала не только стрелять, но и удирать. Наконец пулеметчик догадался отрезать бечевку. Лошади рванули. Пулеметчик запустил по нам длинную очередь. Но левая пристяжная угодила в глубокую яму, присыпанную свежим снегом, завалилась, тачанка передком ткнулась следом за ней. Пулемет с неимоверно задраным стволом превратился чуть ли не в зенитный. Пулеметчик ничего не мог сделать. Он соскочил с тачанки и... полез под нее.

Не выдержали нервы и у остальных. Оставшись без пулеметного прикрытия, бандеровцы начали останавливать лошадей, бросать оружие и поднимать руки.

Их оказалось двадцать два здоровенных мордатых парня. Полхутора сбежалось потом смотреть на бандитов – их тут уже знали, они не раз наведывались сюда.

Завладев трофеями, мы решили часть своих коней заменить. Я, правда, не собирался менять гнедка, но дед-хозяин, внимательно осматривавший лошадей, подошел ко мне.

– Начальник, бери вот этого. Добрый конь!

И я узнал того голенастого, короткого, с вислым задом коня, на котором утром ехал по селу главарь банды. Я подошел к коню. Он прижал уши, и голова его стала особенно похожей на змеиную. Половина банды обернулась и смотрела на меня и на коня. Я понял, что они ждут зрелища, надеются, что просто так он мне не дастся. Наездник я был не ахти какой, поэтому не удовлетворил их любопытства – отложил более близкое знакомство с конем «на потом»...

До последнего дня пребывания на фронте я добрым словом вспоминал того деда с хутора Михайли. Коня я окрестил Мишкой, кормил его из собственных рук, часто чистил. В банде его ни чисткой, ни купанием не баловали, а ему очень нравилась эта процедура.

На фронте не только люди быстро знакомятся, но, видимо, и животные привыкают к людям быстрее, чем в обычных условиях. А может, это просто так кажется. Во всяком случае мы очень быстро подружились с Мишкой. Я потакал ему в его слабостях: он любил сахар и терпеть не мог, когда его привязывали – до тех пор будет натягивать повод, даже на костреч сядет, пока не порвет. Оторвется и тут же будет стоять, шага не отойдет. Когда я это понял, не стал привязывать. За доверчивость он платил тоже доверчивостью – ни разу не ушел с места, на котором его оставлял.

Бегал Мишка быстрее всех лошадей в полку – я не раз состязался и всегда выходил победителем. О Мишкиной резвости и внешней удивительной неказистости его дошел слух до командира дивизии полковника Охмана. Говорили, что Охман калмык, знал толк в лошадях. И когда однажды он увидел меня на моем Мишке, остановился, удивленно уставился на Мишку, поманил меня пальцем. Я подскакал, доложил, как положено: командир конного взвода разведки такого-то полка прибыл по приказанию... А он не слушал меня, смотрел на Мишку, смотрел и качал головой.

– Ну и ну... – И снова качал головой. – А ну, дай пробежку...

Мне, конечно, хотелось блеснуть всеми статьями моего любимца, но я понимал, чем это может кончиться: просто-напросто заберут его у меня и все, заберут, если он понравится. А не понравиться понимающему человеку он не мог. Когда Мишка бежал, он преображался, совершенно исчезала его неуклюжесть, он не казался таким коротким и высоким. Он становился красавцем.

Когда я после пробежки снова подъехал к полковнику, он еще с большим удивлением и любопытством смотрел на Мишку. Потом глянул на меня. Человек, любящий лошадей, конечно, не мог не уважать это чувство у других. А он с первого взгляда понял, что я люблю Мишку. Улыбнулся, сказал:

– Ну так что, разведчик, махнем? – и подмигнул кому-то из своей свиты.

– Ваш конь лучше, товарищ полковник, – промямлил я, холодея.

– Я не на своего. Вот на любого из этих, – указал он назад.

Две трети свиты составляли связанные полков спецподразделений, какие-то штабные работники – словом, те, кому по должности не положено иметь коня лучше, чем у комдива. И так мне стало жалко своего Мишку, так защемило сердце, что я на какое-то мгновение позавидовал своему коню: хорошо, мол, тебе – ты скотина и понятия не имеешь о военной субординации. И я взмолился:

– Товарищ полковник, в бою добыл коня... жизнь спас он мне... – не соврал, а, как говорят в армии, «нашелся» я. – У вас же конь добрый...

Видимо, жаль стало полковнику меня, а может, просто не хотел портить настроение своему разведчику – на войне и так людям не мед, только ничего не сказал больше, тронул шпорами своего полукровного донца и поехал дальше. Я остался на обочине дороги, не зная, радоваться или досадовать. Кто-то из замыкающих в свите в накинутой на плечи плащ-палатке, проезжая мимо, дружески сказал:

– Повезло тебе, парень. Запросто мог лишиться коня... По лошадиной части полковник дока.

А меня грызло другое: вдруг спросил бы комдив; как спас конь мне жизнь. Что бы я ответил?

Позднее Мишка действительно спас меня от смерти. Через несколько дней после встречи с командиром дивизии мы, пятеро разведчиков, напоролись на немецкие самоходки, замаскированные на опушке леса. Увидели их уже в какой-то сотне метров. Тут только резвость коней могла выручить. С полдюжины снарядов выпустили по нам из самоходной пушки. Но не успели пристреляться. Мгновенно вынес меня Мишка из зоны прицельного обстрела за бугор.

Но чаще вспоминается другой очень неприятный, а точнее сказать, постыдный для меня эпизод.

Теперь уже не помню, откуда и куда я ехал в то утро. Но помню, что дорога тянулась около озера и была пустынная. Вдруг откуда-то вывернулся «мессершмитт», и тут же донеслась пулеметная трескотня. Я сначала не обратил на это особого внимания. Но когда после второго захода

около меня зацокали пули, я понял, что летчик охотится за мной. Я насторожился. И едва лишь «мессер» начал снова разворачиваться над дальним леском, соскочил с седла и кинулся к берегу под огромную корягу. Только-только успел нырнуть под разлапистые корни, как по озерной глади рядом прошла очередь, потом пули зачвыкали по песку, взбивая маленькие фонтанчики. Коряга, может, не такое уж и надежное укрытие, но – все-таки. Через полминуты – снова вой пикирующего истребителя, татаканье пулемета. И вдруг в минутную паузу слышу, кто-то бежит ко мне – значит, не по одному мне палит немец.

Топот прекратился, и вижу перед своим укрытием ноги Мишки. Высунулся, а Мишка наклонил голову и заглядывает ко мне под навес корней. И показалось мне, что в глазах его столько упрека и жалости, сколько, наверное, не всегда бывает в человеческом взгляде. Почудилось мне, что Мишка хочет сказать: «Разве поступают так друзья? Я – животное, но ты-то – человек!..».

Я вылез из своего укрытия, обнял Мишку за шею и мы побрели по берегу – я виновато, а он обрадованно и доверчиво.

Недели две спустя после этого эпизода командир нашего полка подполковник Пономарев прислал своего ординарца с приказом забрать коня. Комполка не был любителем лошадей, и мой Мишка ему понадобился наверняка для того, чтобы похвастать в штабе дивизии, удивить людей. Я очень хорошо знал своего командира полка, чтобы пытаться что-то доказать ему.

Мишку повели без седла, голенастого, косматого, неохотно подволакивающего сухие задние ноги. В чужих руках он показался мне заспанным, неприбранным долговязым подростком. Сначала Мишка шел спокойно: привык к тому, что дневальный водил на водопой. Заоглядывался и забеспокоился он, когда был уже далеко, когда понял, что его уводят от меня. В конце улицы он закрутился, начал вырываться.

Дальше я не стал смотреть, ушел в дом, лег на солому и приказал себе заснуть – ночью предстояла вылазка за «языком», надо было отдохнуть. Война-то продолжалась...

Мишка прибежал вечером с оборванным поводом (конечно, его там привязали) и заржал. Весь взвод выскочил из избы. Обступили его, кто совал кусок хлеба, кто сахар – Мишку любили все и сейчас жалели. Не вышел только я – просто не было сил у меня еще раз смотреть, как его поведут.

Втайне я лелеял маленькую надежду: думалось, что за Мишку, может, заступится начальник разведки полка капитан Калыгин. Но надежде моей не суждено было сбыться. Через несколько дней вместе с Калыгиным я был тяжело ранен.

С передовой везли меня на повозке мимо штаба. Я лежал на соломенной подстилке и смотрел в яркое весеннее небо. Я чувствовал, что уже отвоёвался, что мой путь теперь лежал домой, прощался с ребятами, с которыми прошел под пулями не одну сотню километров. Старшина Федосюк принес мои документы, вещмешок. Спросил:

– Мишку привести?

Я потерял много крови и находился в состоянии этакое полубезразличия, поэтому отрицательно качнул головой – дескать, не до сентиментальностей. И мы поехали в госпиталь. Вдогонку послышалось тревожное ржание. Мишка меня почуял?

А может, мне показалось?

Но уходят годы, и мне все больше кажется, что это был голос Мишки. И порой становится неимоверно жалко, что не попрощался я тогда с ним.

ОФИЦЕРСКАЯ ПАЛАТА

Бричку швыряло на колдобинах. Меня кидало из стороны в сторону на ворохе соломы, било о дробины. Старшина Федосюк одной рукой старался придержать мое беспомощное, не сопротивляющееся тело, а другой нахлестывал лошадей. С боков брички и сзади нее скакали конники. Все торопились – я потерял много крови, и меня надо было как можно скорее доставить в госпиталь. Это – им надо было, моим разведчикам, они боялись, а я был равнодушен, меня не волновало ничего, я никуда не торо-

пился. Мне было бы куда лучше, если бы ехали шагом, и я ощущал бы на лице своем лучи ласкового апрельского солнца. Но мне не давали забытья – Федосюк гнал лошадей, не разбирая дороги.

На крыльце госпиталя меня встретила толпа медиков. Два санитаря с носилками сразу же подскочили к бричке. Им кинулись помогать еще несколько человек в белых халатах. Тут же, как изваяния, стояли двое разведчиков – и только ветерок слегка шевелил у забрызганных грязью сапог витые ременные хлысты, свисавшие у каждого с кисти правой руки. Со своей брички сквозь дробины я видел только ноги стоявших. Было тихо. Раненые, столпившиеся у крыльца, с любопытством смотрели на всю эту процедуру: как встречает меня медицина, как прощаются со мной разведчики.

– Что-то на генерала не похож, – обронил разочарованно кто-то из стоявших неподалеку.

Я все слышал и, казалось, все понимал. Только мне очень хотелось спать, хотелось покоя.

Но покоя не давали – куда-то понесли, потом начали снимать с меня обмундирование, разувать, затем началась перевязка. Тут, когда перевязывали, я наконец-то уснул. Уснул, как в омут опустился, – сразу и глубоко.

Проснулся уже на кровати, окруженный белыми халатами. Мне показалось, что эти люди перенесли меня из перевязочной сюда, неосторожно положили на кровать и этим разбудили. Но они посмотрели друг на друга, облегченно вздохнули и начали расходиться. Осталась девушка. Она сидела на табурете рядом с кроватью и смотрела на меня. Я отвернулся. И мои глаза уперлись в соседа по койке. Вижу: наш начальник разведки капитан Калыгин лежит и глазеет на меня.

– Ты что, концы, что ль, отдавать собрался? – спросил он.

– Нет. А ты откуда взялся, капитан?

– Следом за тобой прибыл. Только не с такой помпой, как ты.

– Какой помпой?

– Начальник госпиталя жаловался. Тебя еще везли где-то, а Козуб с Носковым прискакали сюда и подняли тут та-

рамам: чтоб перевязочную освободили и чтоб врачи были наготове на случай операции – словом, чтоб встречали, как генерала... Жаль, что нескоро вернусь в полк, а то бы я им...

– Ла-адно. Они хорошие ребята... – У меня еле шевелился язык, и сами собой закрывались глаза. – Ляшенко где?

– Ляшенко погиб. Сейчас, ночью, ребята полезли за ним. Принесут.

– А что, разве уже ночь? Было же утро...

Действительно было раннее утро, когда мы – начальник разведки, командир пешего взвода лейтенант Ляшенко, я и сопровождавшие нас двое разведчиков Козуб и Сапунов – пошли на рекогносцировку местности.

Накануне немцы отступали и, по сообщению моих конных разведчиков, остановились на подступах к селу Большие Базары, окопались.

Утром мы пришли на нашу передовую, спросили, далеко ли немцы.

– Кто их знает! – ответил командир пехотной роты. – Мы вечером пришли сюда, всю ночь траншеи рыли. А их не слышать. Наверное, далеко. Близо были бы – стреляли бы. А то молчат всю ночь.

Начальник разведки, решительный и отчаянный капитан Калыгин, покрутил ротного за пуговицу на испачканной в глине шинели, сказал:

– Мы сейчас пойдем туда, посмотрим. А ты вот что, предупреди своих. Когда пойдем обратно, чтоб не приняли за немцев, не постреляли.

– Хорошо, товарищ капитан, это мы организуем... Может, подождали бы, когда туман рассеется, а то напореться.

– Ничего. Не впервой. – И кивнул нам. – Пошли.

И мы окунулись в густой туман, как в огромную банку с молоком. Шли, раскинувшись цепочкой, тихо переговариваясь. По всем правилам военной тактики немцы не должны бы окопаться в низине – а мы пока шли по озимым вниз, под гору. Значит, до немцев еще далеко. Идти было тяжело. Намокшая пахота налипала на сапоги.

И вдруг подул ветер – ощутимо заходил туман. Минута-две – и уже появились прорехи в тумане. Мы опешили: прямо перед нами, буквально в полусотне шагов, немецкие траншеи, кишачие фрицами. Один из них увидел нас. Тоже замер от недоумения. Но тут же пришел в себя, кого-то окликнул и стал показывать на нас пальцем. Это длилось всего лишь секунду-две. И тут же ударили два пулемета – справа и слева. С первой же очереди вокруг меня защелкали разрывные пули. Ударило по правой руке. Я упал и отполз за навозную кучу, вывезенную, видимо, еще осенью на удобрение. Сразу захотелось пить.

– Все живы? – спросил начальник разведки.

– Меня ранило, – ответил я. И тут же успокоил: – В руку.

– Меня – в шею, – донесся голос Козуба. – Тоже так, слегка царапнуло.

– Ляшенко! Ты чего молчишь? Живой?

– Я без ноги остался, – тихо и буднично сказал командир пешего взвода.

Возле меня появился Сапунов. Он мой земляк, алтаец, мы всегда старались быть поближе друг к другу.

– Младший лейтенант, сильно ранило? – спросил он. И тут же удивился: – Ух, как кровища хлещет!

– Ага, хлещет. Перетяни, пожалуйста, повыше локтя... Наверное, артерию задело.

– Кто может двигаться, выходите самостоятельно, – приказал капитан.

Хорошо, когда есть старший, – он принимает решения, на нем и ответственность за жизни людей.

– Товарищ младший лейтенант, – заторопил меня Сапунов, – вам надо быстрее добираться к нашим. Крови много потеряли. Давайте я вам помогу.

– Не надо. Помогите лейтенанту Ляшенко. Он в ногу ранен. А я – сам... Капитан! Я подамся перебежками. А то ослабею.

– Давай.

И я вскочил. Зажав правый локоть, стремительно кинулся по своему же следу. Два пулемета ударили по мне сразу, словно сторожили, когда я поднимусь. Одна очередь... вторая... третья. Ждал с мгновенья на мгновенье

– вот сейчас... вот сейчас резанет по спине (почему-то по спине, а не по голове, не по ногам – может, потому, что уже был ранен однажды в спину, знал, как это больно). На ногах, как пудовые гири, комья земли. К тому же бежать надо в гору. Из последних сил еще рывок – а мы ведь метров триста прошли, не меньше, за три пулеметных очереди не добежишь обратно. На пути окопчик. Не задумываясь – бултых туда. Откинулся на спину. Сердце в горле полощется. Язык во рту, как высохшая подметка. Разинутым до предела пересохшим ртом хватаю и не могу нахвататься воздуха. Слышу голоса:

- Парень, а ну нажми еще.
- Немного осталось, давай.

Я понимаю, расслаживаться мне нет резона. Выскакиваю из окопа и снова броском. Секунда... вторая... третья. Не стреляют. Последнюю стометровку – уже не в гору, по ровному месту – не помню, как и добежал. Свалился в траншею на чьи-то руки.

- Пи-ить...

Мне подали котелок воды. Я припал к нему с алчностью.

Один раз в жизни я хотел так пить. Осенью сорок второго под Сталинградом, когда повар в первый день по прибытии накормил роту вволю – у кого сколько душа приняла – пересоленным гороховым пюре из брикетов. Не сообразил, дурень, что в брикетах соль заложена в расчете на суп, а он сделал погуще, посытнее. Накормил – а воды ни капли весь длиннейший и знойнейший день. Едва стемнело, мы и ринулись ползком к болоту в балке. А балка простреливалась немецким пулеметом. Но никакой пулемет не в состоянии был тогда остановить нас. Доползли. А к воде не подступиться – весь берег завален трупами (видать, наша рота не первой кидается сюда утолять жажду). Я раздвинул трупы, припал к воде и пил, пил, пил.

С такой же жадностью припал я и здесь к котелку. Знал, что нельзя пить, – сразу же ослабнешь. И все-таки не сдержался – при большой потере крови на человека наваливается совершенное безразличие ко всему, в том числе и к самому себе. Полкотелка выпил. И, конечно, подняться

больше уже не поднялся; то есть поднялся, но лишь через месяц в Сумской области...

По траншее меня несли на носилках. Я слышал, кто-то у телефона надрылся:

– Разведчиков побило на нейтралке... Алло, алло... Разведчиков, говорю... Алло... Разведчиков...

В конце траншеи в ложбинке стояла лошадь, запряженная в бричку. На ней меня и повезли в госпиталь. Как Козуб с «нейтралки» попал раньше меня в госпиталь и поднял там «тарарам» – представить не могу.

– Тебя-то когда ранило, капитан?

– Когда и тебя. Той же очередью.

– Сильно?

– Три пули в правую ногу.

– Ого! Тут от одной не могу очухаться.

– Но у меня кость не задета.

– Все равно. Кто тебя вытащил? Сапунов?

– Нет, сам. Сначала полз, а потом вижу, что и к обеду не доберусь, поднялся и пошел.

– Как поднялся?

– Поднялся, оперся на автомат и пошел. Вгорячах можно и не такое. Я видел однажды, как у одного комдива осколком руку оторвало, когда он ею указывал в сторону противника. Напрочь отлетела. Он посмотрел на нее и говорит: «Снимите часы, подарок командующего, а руку похороните...». А триста метров пройти при неповрежденной кости вгорячах... – И вдруг без перехода: – Ляшенко жалко. Глупая смерть. Бестолковая.

– А Сапунов где?

– Он около тебя был. Разве он не вышел с тобой?

– Нет. Я послал его к Ляшенко. Ты откуда взял, что Ляшенко убит?

– Козуб сказал.

– А может, он живой?

– Откликнулся бы. Ну, в общем, ребята поползли туда. Скоро вернутся, доложат.

И действительно, к полуночи появились... Ляшенко и Сапунов. Лейтенант чуть живой. Целая пулеметная очередь прошла ему левую ногу, искромсала ее, раздробила. Он оказался ближе всех нас к немцам, и они решили

захватить его живым. Пристреляли вокруг него место. Только он начинал ползти, как пули впивались в землю около него. А когда к нему подполз Сапунов, то и он попал в это кольцо. Так и пришлось им лежать под дулами двух пулеметов целый день. А когда стемнело, к разведчикам поползли и от немцев, и от нас. Немцы хотели захватить русских, явно заблудившихся и забредших к самым немецким траншеям. Они видели – их отделяло каких-то три десятка метров, – что русские живы. Наши же разведчики поползли затем, чтобы вынести тела и захоронить... Короче говоря, забросав гранатами подползавших немцев, ребята под покровом темноты вытащили израненного лейтенанта.

Вместе мы пробыли только одну ночь. Всю ночь медики возились с Ляшенко. К утру, как и меня сутки назад, его привели в относительно нормальное состояние, он узнал нас с капитаном, слабым голосом произнес:

– Ну, кажется, выкарабкался... Думал – все... Значит, еще поживем.

Утром мы распрощались. Навсегда. Меня с другими ранеными погрузили на автомашину и отвезли в Копычинцы, а оттуда на санлетучке через Гусятин, Волочаевск – в город Проскуров. Эта перевозка длилась два дня. И два дня ни на минуту не затихала у меня боль в пальцах. Никак не мог понять: ранение около локтя, а боль в пальцах! Что я только не делал, как только не приспособливал, не пристраивал почерневшую правую кисть – и вверх ее поднимал, и качал, и мял, и давил, и массажировал легкими движениями, – боль ни на секунду не прекращалась. Она изнуряла, она выматывала последние силы. Все эти двое суток – и днем, и ночью – от меня не отходили сестры, спрашивали осторожно про самочувствие. Какое там к черту самочувствие... Несколько раз подходил врач, внимательно осматривал повязку, щупал пальцы, успокаивал:

– Ничего страшного. Терпи, молодой человек.

В Проскурове меня выгрузили и отвезли в госпиталь. В эту же ночь, 24 апреля, положили на операционный стол. Голому на высоком холодном столе было неуютно. Слева от меня через стол такой же бедолага лежит, как и я,

только он уже под наркозом. Эскулап ножовкой пилит ему ногу. Ножовка скрипит. Подошла сестра, красивая, черноглазая (почему обратил внимание на красоту – потому что лежал перед ней голым), взяла мою голову в свои ладони, повернула.

– Нечего туда смотреть.

– Думаете, нервы не выдержат? Не такое видел.

– Ладно, ладно. Храбрый какой...

Появился хирург с растопыренными руками... А сзади меня ножовка доскрипывает уже. И вдруг – бултых – в таз упала отпиленная нога. Так захотелось посмотреть, как он, бедный, без ноги. Но сестра твердо держит, не дает повернуть головы.

– Начнем, – сказал хирург.

Сестра поднесла к моему лицу маску, выпустив при этом из рук мою голову, я оглянулся – тот, соседний, хирург торопливо, через край зашивал кожу на культе. Сестра наклонилась, тихо сказала:

– Сейчас наркоз дам. Дышите глубже. Считайте до ста. – И прижала маску к лицу.

Дыхнул раз глубоко, второй, третий... Стало душно. Очень душно. Хоть бы глоток свежего воздуха. Но сестра крепко держит маску. Я решил схитрить – затаил дыхание. Сестра забеспокоилась. Ага, думаю, ты сама не шибко храбрая... Она приподняла маску, заглянула под нее. Я успел вдохнуть воздуха. Полные легкие набрал. Сестра тут же прихлопнула маску у меня на лице. А мне стало легче. Уже не так душил этот проклятый эфир. В голове зазвенело. Все звуки операционной начали удаляться и с легким звоном расплываться. Руки на маске ослабли. Сестра сказала кому-то:

– Парень-то с характером...

Мне очень хотелось сказать, что я слышу, о чем они говорят. Но язык не шевелился, и все перекашивалось в голове и искажалось, как в кривом зеркале.

Проснулся я, когда меня везли в палату. Та черноглазая сестра заботливо укрывала меня простыней, шла рядом. Мне было весело, как пьяному. Я пел песни и пытался размахивать левой здоровой рукой. В палате меня ждала какая-то высокая установка с баллончиками-скляночка-

ми и длинными резиновыми шлангами. Начали вливать кровь. И сразу же меня зазнобило, залихорадило. Понатащили отовсюду одеял, халатов и все это навалили на меня, а я все равно дрожал, зуб на зуб не попадал. И все-таки сквозь зубную стуковень я спросил, чью кровь мне вливают. Сестра заглянула на банку и прочитала имя и фамилию девушки и город, в котором она живет. Я долго помнил все это, но записать сразу в дневник не мог (правая рука у меня «не писала» долго), а потом с годами забыл. И сейчас очень жалею об этом.

Через два дня во время перевязки у меня вдруг сквозь бинт фонтаном ударила кровь, причем не оттуда, где пуля прошла – ниже локтя, а на самом сгибе в локте. Мне наложили жгут и снова покатали в операционную. Снова та же черноглазая накрыла мне лицо маской. Снова я задыхался и снова так же схитрил. Только после операции я уж больше не пел.

Три дня лежал пластом, не шевелясь, в полузабытьи. На четвертый день, в канун Первого мая, вечером налетели немецкие бомбардировщики и начали бомбить железнодорожную станцию и город. В госпитале погас свет, поднялся гвалт. Ходячие устремились в подвал. А мы лежали с вытаращенными в темноте глазами. Помню, прощаясь, капитан Калыгин сказал: «Ты, по всему виду, отвоевался. Домой поедешь». Вот лежу и думаю: доедешь тут, если так будут сопровождать. На следующий день бомбардировщики прилетели снова. Третьего мая после обеда начали грузить санитарный эшелон для эвакуации тяжелораненых в глубокий тыл. Возили нас до самого темна. А потом долго не отправляли. Все волновались – с минуты на минуту должны появиться бомбардировщики. Наконец наш санитарный поезд тронулся. Едва он вышел за станционные стрелки, сзади раскатились взрывы – немцы, как всегда, пунктуальны, бомбометание начали минута в минуту. Наш эшелон стоял на перегоне с погашенными огнями – впереди горело и сзади тоже...

Утром, когда вагоны убаюкивающе покачивало, и что-то свое выстукивали на стыках колеса, прошел слух, что минувшей ночью, когда мы стояли на перегоне, одна из бомб угодила в наш госпиталь, и прямо в операционную...

Из головы никак не выходила черноглазая сестра – неужели в это время она была в операционной?

Последние взрывы Великой Отечественной войны для меня раздалась седьмого мая сорок четвертого года, когда наш санитарный поезд вечером отправлялся со станции Дарница, а немецкие самолеты начинали ее бомбить – тоже в последний раз.

И наступила тишина и успокоенность – в самом деле, для меня война окончилась. Я смотрел в окно вагона и уже с трудом представлял, что где-то далеко-далеко идут бои, что мои разведчики по-прежнему лазят за «языком». Еще неделю назад я считал свой взвод вторым домом – даже иной раз был он мне ближе, чем родной дом. А теперь, из вагона, он почему-то показался мне таким неуютным и далеким, этот мой родной, выпестованный мною конный взвод лихих разведчиков. Поезд шел неторопливо. Если бы у меня беспрестанно не болели пальцы на раненой руке, я бы считал, что живу в раю: никуда не надо торопиться...

И вот однажды ночью эшелон остановился на тихой какой-то станции. Он и раньше останавливался по ночам, я и раньше не спал до утра – все нянчился со своей рукой, но эта остановка была чем-то не похожей на все предыдущие. Сразу же началась суета около вагонов. Потом эшелон тихо, осторожно и долго толкали. И только к утру все затихло на какие-то час-два. А когда я стал, наконец, засыпать, началась выгрузка – оказывается, мы добрались до своего конечного пункта, на станцию Ахтырка.

Офицерская палата была одна на весь госпиталь. А в палате семь человек: два младших лейтенанта, я и Саша Каландадзе, раненный в пятку, старший лейтенант, загипсованный чуть ли не с головой, пехотный капитан с оторванным указательным пальцем, щуплый, подвижный, неунывающий, и майор-артиллерист, высокий, грузный. Еще двух других помню смутно: лейтенант и старший лейтенант, молчаливые, уставшие от войны тридцатилетние мужчины.

Первый день я помню хорошо. Длинным он показался мне – пока вымыли, переодели, принесли, уложили.

Меня принесли последним, поэтому кровать мне досталась крайняя к двери. Потом стали кормить завтраком. И все утро сестры одна за другой в палату шмыг да шмыг. (Потом уж, когда освоились, рассказывали, что прибегали смотреть прибывших офицеров.)

Первые дни палата жила тихой, настороженной жизнью – каждый прислушивался к своим ранам, к новой жизни за окнами госпиталя. Сестры по-прежнему то и дело забегали к нам, были не просто внимательны, а душевны и до мелочей предупредительны – госпиталь давно уже повыписывал своих раненых, и девчата стосковались по заботе о людях слабых и поэтому выливали ее теперь на нас безудержно.

Через неделю, отоспавшись и понемногу привыкнув к своему новому положению «ранбольного», мои товарищи по палате начали уже заводить первые романы. И удивительно, открыл эту «кампанию» пехотный капитан, человек, которому тогда было уже далеко за сорок – ровно столько, сколько моему отцу в то время. По моим тогдашним представлениям, он был уже в разряде если не окончательных стариков, то, во всяком случае, людей, не способных на какие-то чувства к женской половине человечества.

Это случилось в одну из ночей. Я, как всегда, не спал – сильно болели пальцы, и я все пытался найти удобное положение для своей укутанной в гипсовые лангеты руки. Перекладывал ее на новое место, боль будто бы затихала, но не успевал я вздохнуть облегченно, как она, ноющая, мозжащая, подступала снова к почерневшим трем пальцам – к большому, указательному и среднему. К утру я все же засыпал – может, боль все-таки притихала, а может, потому, что изматывался к утру окончательно и сон брал верх над болью. И вот в одну из таких ночей, когда я уже слабо реагировал на все внешние и внутренние раздражители, вдруг услышал за окном окрик часового:

– Стой! Кто идет?

И тут же донеслись торопливые шаги около колонн.

– Стой! Стрелять буду!..

Судорожное шебаршание. Скрип оконных створок, и на подоконнике появилась темная фигура. Мне было все

равно, кого там несет, – не вор же это и не диверсант. Фигура замерла в простенке, тяжело дышала. Часовой еще долго ворчал, ходил под окнами. Потом там затихло. Фигура отделилась от простенка и, сопя и вздыхая, стала перелезать через кровать старшего лейтенанта, стоявшую у окна. Не снимая халата и, по-моему, даже не разуваясь, капитан – теперь я уже видел, что это был он, – юркнул под одеяло и притаился, как нашкодивший мальчишка.

По палате потянуло сивушным перегаром.

Утром я, как всегда, спал часов до одиннадцати. К удивлению всех, в палате не поднимался с койки и капитан. Сначала решили, что он приболел. И лишь во время обеда я вдруг вспомнил о ночном происшествии и торжественно, предвкушая всеобщую потеху, начал рассказывать, как часовой с полуночи и до утра гонялся за капитаном-донжуаном, приняв его за немецкого диверсанта, как, в конце концов, скомандовал «хэндэ хох!», положил донжуана посреди лужи, а так как часовые здесь, в тылу, – нестроевщина, устава караульной службы не знают, этот недотепа-часовой не догадался вызвать караульного начальника выстрелом вверх, а может, пожалел, не стал положить раненых, а пошел за ним, то есть за караульным начальником, сам; капитан тем временем сбежал из лужи сюда, в палату... Словом, я городил, что взбрело в голову, несколько не заботясь о правдоподобности.

– Вот поэтому он и не может встать в таком белье, – закончил я среди общего смеха.

И к моему изумлению – это выяснилось немного позже – я был не так уже далек от истины!

После обеда капитан позвал сестру-хозяйку, о чем-то с ней пошептался (в палате, кроме загипсованного старшего лейтенанта и меня, никого не было), и та принесла ему свежее белье. За ужином я безо всякой задней мысли сообщил и эту свежую новость – вот, мол, если кто не верил. После этого капитан в упор меня не видел: он не принял шуток товарищей. Бывают же люди без чувства юмора. На этом, может, все и кончилось бы, но капитан через день снова ушел, в «самоволку» и в палату опять явился под утро, а еще ночь спустя – снова. Притом каждый раз возвращался под градусом. Но, в конце-то концов, не та-

кая уж это большая неприятность для палаты – дело его личное. Противно было другое: утром он гадко и грязно говорил о женщине, с которой встречался, выкладывал нам некрасивые подробности. И сиял от удовольствия, чувствовал себя героем.

Первым поднимался и уходил Саша Каландадзе. Он еще неумело пользовался костылями и с большим трудом протискивался через одну створку двухстворчатой двери, злился, негодовал – то ли на неудобную дверь, то ли на капитана.

Потом молча поднимались молчаливый комбат и лейтенант-танкист. Майор вытаскивал из тумбочки газету и начинал старательно ею шуршать, сгибая и перегибая ее во всевозможных направлениях, вроде бы приспособившись читать. Минуту-две смотрел в газету, потом, кряхтя, вставал с кровати и, придерживая рукой забинтованный живот, медленно и плавно шагал к двери. Оставались мы со старшим лейтенантом. Тот вообще молчал в своем углу – был полностью поглощен собственными ранами, а меня капитан презирал (я его – тоже, притом неизвестно, кто кого больше). Капитан замолкал. Не снимая халата, ложился на свою кровать, закидывал забинтованную руку на лоб, и долго еще блудливая циничная улыбка не сходила с его лица – он смаковал детали минувшей ночи. Я поглядывал искоса, все удивлялся – это надо быть таким...

К концу первой недели, когда капитан принялся расписывать свои успехи уже у третьей женщины, уборщицы санпропускника, майор вдруг резко поднялся на кровати – так, что под его грузным телом жалобно закрипели пружины, и жестким тоном старшего по званию закричал:

– Слушайте, капитан! Вы постыдились бы ребятишек – они же вам в дети годны, эти младшие лейтенанты. А вы при них всякую мразь свою выворачиваете!

Капитан испуганно вытаращился на майора, подбравшись весь, словно готов был вскочить и вытянуть руки по швам. Но, кажется, сообразив, где он, снова откинулся на подушку. И тут же поднялся, уставился немигающими нагловатыми глазами на майора.

– А что я такого сказал? Ничего особенного... А они, не беспокойтесь, товарищ майор, они еще нас с вами поучат в этих делах...

Зря капитан клеветал на нас – любовь мы знали пока только по книгам. Мы тосковали по любви – чистой, возвышенной. Поэтому-то нас особенно коробило от смачной пошлости этого человека.

В течение нескольких дней после резкой вспышки майора наш донжуан ходил с непонимающим обиженным лицом – с чего, мол, набросились на меня, что я кому плохого сделал? Или он на самом деле не понимал, или, может, прикидывался. Я думал об этом, и мне казалось, что он все-таки действительно не видел ничего дурного во всем, что он делал. Впрочем, теперь я склонен думать, что он все отлично видел и понимал, но жил одним днем, считал тогда: война все спишет...

Его теперь уже открыто презирала вся палата, им просто брезговали. Он это, кажется, чувствовал. Но особо не тяготился этим и не переживал. Он вроде бы нашел себе слушателей в другой палате. Выспавшись к обеду, уходил туда. И еще. Часовой теперь уже не гонялся за ним – они нашли общий язык. Капитан был некурящим, но регулярно получал папиросы, положенные офицерам в госпитале, и отдавал их охране.

Моя кровать была хорошим наблюдательным пунктом: одним взглядом с нее «просматривалась» вся палата, а если немного приподняться, то и половина улицы за окном, с другой же стороны в дверь я видел большую часть коридора, поэтому был очевидцем многих «коридорных» событий. Видел, как наш капитан обхаживал санитарку. Особенно смешно было: она несет судно из соседней палаты, а он за ней таким гоголем то с одной, то с другой стороны. Потом они шушукались в углу. Еще не старая, но замордованная жизнью, оттого, наверное, какая-то неприметная, она как-то вдруг смущенно, но счастливо заулыбалась – и разом помолодела, будто похорошела. Потом капитан ушел вечером и вернулся утром с помятым лицом – явно с похмелья. Еще раз или два отсутствие капитана совпадало с выходными днями санитарки.

Дальше капитан переметнулся на кухню к посуднице, рослой, упитанной женщине примерно одних лет с ним. (Она три раза в день обходила палаты, собирала грязную посуду.) А бедная наша санитарка поминутно заглядывала к нам в палату, высматривала капитана, но тот всячески избегал встречи с нею. И вот однажды он бегом пронесся по коридору, юркнул в халате и тапочках под одеяло с головой. Потом высунулся оттуда и попросил старшего лейтенанта:

– Я заболел. Скажи, чтобы меня не беспокоили.

– Знаешь что-о! – сквозь зубы зло процедил старший лейтенант. – Катись-ка ты... знаешь куда...

Санитарка заглянула в палату, увидела на кровати капитана, облегченно вздохнула и начала... подтирать пол, хотя уже подтирала его всего лишь час назад. Особенно старательно вытирала она в проходе между кроватями ее капитана и старшего лейтенанта. Полдня пролежал капитан, закрывшись с головой, и полдня бедная женщина крутилась около нашей палаты. Наконец он понял, что объяснений не миновать, охая и вздыхая, поднялся и пошел в коридор. Разговаривали они прямо за дверью, хоть и тихо, но отдельные фразы долетали до меня.

– Понимаешь, этот разведчик, с краю который лежит, как сыч, не спит по ночам. Привык там... по ночам шариться... К начальству уже вызывали...

– А чего таиться-то, Вань? Пойдем да и скажем: так, мол, и так...

Потом о чем-то бубнил он – я не слушал, я залез под подушку с головой. Пригрелся и задремал. Что было у них дальше, не знаю, но проснулся я от шума: санитарка, вся в слезах, причитая, жаловалась старшей медсестре:

– Жениться собирался... У меня ребяташки. Я привела его, сказала им... водкой поила из последнего, угощала. А он три дня походил и сбежал... Что я ребяташкам своим скажу?..

Старшая медсестра успокаивала ее, что-то ей говорила. Подошел наш майор, держась обеими руками за живот, спросил, в чем дело. Короче говоря, через несколько дней в госпитале состоялся суд чести. Кроме нашей палаты, на нем присутствовали офицеры-врачи. Мы со стар-

шим лейтенантом не были. Ребята пришли, рассказывали, что суд решил просить командующего Харьковским военным округом понизить капитана в звании за аморальное поведение, за то, что он объедал и опивал бедных одиноких женщин.

Капитан пришел в палату перед самым отбоем – дал нам возможность потолковать. А говорили мы долго. И, как ни странно, не о нем. Говорили о ней. Она, конечно, дура. Без сомнения. Но ведь и каждой дуре хочется своего счастья...

Забегая вперед, скажу: когда через полгода глубокой осенью меня выписали из госпиталя и я приехал в Харьков в Отдельный полк резерва офицерского состава, то первым, кого там встретил, переступив порог проходной, был наш капитан, уехавший сюда еще два месяца назад. Одной звездочки на погонах у него не хватало – осталось только темное пятнышко. Но он и тут не оставлял своего занятия – втолковывал дежурному на проходной:

– Скажи ей, что, мол, уехал на фронт. Нету, мол, его тут. – И, повернувшись ко мне, пояснил: – Вот дура! Месяц с ней прожил, зарегистрирова... А-а, это ты, младший лейтенант! Явился, значит? И тут не будешь по ночам спать? Будешь следить за мной, да? Воспитывать меня?

– Где штаб? – спросил я у дежурного. – Куда документы сдавать? – Но не утерпел, повернулся к капитану: – А штамп о регистрации ты, конечно, поставил на продаттестате, так ведь?

Он захохотал.

– А ты откуда знаешь?

– На большее у тебя фантазии не хватит...

И вот тогда я подумал, что война – это не только когда убивают. Нет, не только. Война, оказывается, это еще и такие вот проходимцы. Они тоже убивают... Душу калечат... На всю жизнь.

А о любви мы и на фронте мечтали, ждали ее. Потому-то, наверное, так обожгли меня жгуче-черные с синеватой поволокой глаза перевязочной сестры Розы. Напомнила мне Роза ту операционную сестру в проскуровском госпитале, которой, может, уже и нет в живых. А может, другое – просто она первой так вот близко наклонилась ко мне и

заглянула в глаза не с казенной участливостью, не из сострадания к моим ранам.

Не ведаю, откуда кто узнал (а скорее всего на лице моем все было написано), но стоило только Розе зайти к нам в палату, как все поглядывали на меня сочувственно и подбадривающе, тут же объявлялось у каждого какое-либо неотложное дело. Друг за другом «ранбольные» поднимались торопливо и уходили. Не мог уйти только старший лейтенант. Он закрывал лицо газетой и начинал сопеть, показывая нам изо всей силы, что ничего не слышит. Роза пристраивалась на моей кровати и начинала перебирать мои волосы, гладить меня по лицу. Как-то она удивленно воскликнула:

- Слушай, да ты седой!
- Старый я, Роза, потому и седой.
- Старый... Сколько тебе?
- Третий десяток уже.
- Десяток он длинный. Правда, сколько?
- Через полгода будет двадцать один.
- Ну, тогда, коне-ечно, уже старый...

Мы смеялись тихо, зажимая рот ладонью и оглядываясь на старшего лейтенанта.

Как-то, когда мы оказались в палате вдвоем, старший лейтенант сказал мне, словно между прочим и с несвойственным ему этаким напускным ухарством (умный, тактичный человек, он таким тоном никогда не разговаривал):

– Вы... это самое... вы целуйтесь при мне. Я все равно ничего не слышу под газетой. – И, уже засмеявшись, просто сказал: – Попробуй накройся газетой и посопи там – такой резонанс она дает, что ничего не слышать извне: так что не стесняйтесь...

Но мы не целовались. Я просто не умел. Целоваться мы стали позже, когда я уже поднялся и начал ходить. Роза устраивала меня в перевязочное кресло, разматывала наполовину бинт на моей руке, сама шустро взбиралась ко мне на колени. Голова моя кругом шла. Но стоило кому-то зашебаршить за дверь, как Роза вскакивала и начинала мотать бинт – иногда заматывать, а иногда, наоборот, разматывать. Однажды врач, пришедшая за какой-то склянкой в шкафу, не оборачиваясь, спросила не без тени иронии:

– Вчера этому молодому человеку ты перевязывала руку, а сегодня – снова. Случилось что-то?

– Нет, ничего не случилось. Бинт размотался.

– А-а. Ну, если только размотался, тогда другое дело. Заматывать надо лучше.

– Учту. Замотаю.

– Но смотри, чтобы самой же потом не пришлось разматывать, – с каким-то скрытым смыслом сказала врач и посмотрела на нас взглядом человека, умудренного жизнью.

Теперь я с нетерпением ждал обеда, когда Роза закончит перевязки. А до этого времени я лежал на своей койке – на своем НП – и не спускал глаз с двери перевязочной в конце коридора. Роза поминутно открывала дверь, строила мне рожицы, показывала на пальцах, сколько еще осталось ей делать перевязок. А когда заканчивала последнюю, выскакивала из перевязочной, безапелляционным жестом пальчика сбрасывала меня с моей кровати, и мы шли куда-нибудь. Неважно куда, лишь бы подальше от людей, от любопытных глаз.

Казалось, счастливей нас нет людей. И это длилось – все это вспоминается теперь и бесконечно длинным, и в то же время мгновенно коротким, – длилось это все-таки не больше двух-трех недель. Когда мы с майором стали уже довольно активными бродячими, тут все и рухнуло.

Однако все по порядку. Нашего майора осенила идея: сходить всей палатой в местный театр. Конечно, в сопровождении сестер как более молодой и более мобильной части медицинского персонала. Сестры охотно согласились. А Роза сказала, что не пойдет в театр. Я не принял это всерьез – как это она не пойдет, если я пойду!

После обеда начали собираться. Девчата принесли нам новое обмундирование, стали подшивать подворотнички. Нас с Сашей Каландадзе готовила к выходу в большой свет (малым светом мы считали наш госпитальный клуб) сестра-массажистка Вера Москалева. Она гладила наши гимнастерки, брюки, пришивала погоны. И без умолку щебетала. Говорунья она была отменная. Помню, с первого взгляда Вера показалась мне почему-то не слишком красивой – может, действительно у нее черты лица не

совсем правильные, – но через несколько минут я был буквально ею очарован. У нее очень подвижное, одухотворенное лицо, умные серые глаза. Недаром Саша по часу «лечит» у нее свою ногу. Вера называла нас с Сашей ласково младшенькими лейтенантиками и говорила, что мы чем-то похожи между собой – оба черные, оба длинные и худые.

– Ты вот что, – сразу же перешла она со мной на «ты», – если хочешь, чтобы Роза пошла в театр, иди заранее уговаривай ее. – И, подавая мне обмундирование, добавила. – Только она все равно не пойдет.

– Это почему же?

– Не пойдет и все.

– Вообще-то ты очень логично объясняешь, – заметил Саша, разглядывая начищенный до блеска сапог. И спросил у меня. – Тебе почистить сапоги?

– Я ему почищу потом сама. А сейчас пусть одевается в форму и идет покорять блеском погон Розу.

– Я пойду в пижаме – это быстрее.

– Вот уж не советую. В пижамах вы тут все примелькались. А явишься в погонах да в ремнях, не устоит. Я бы не устояла. Иди.

И я оделся и пошел. Домой к Розе пошел. Долго ее уговаривал. Сердился. Брался за дверную скобку, собираясь уходить, предупреждая при этом, что больше уж никогда не вернусь. И она сдалась. Согласилась. Неохотно, обреченно стала собираться. Она собиралась словно на эшафот – столько было тоски в ее глазах.

Мы пришли в палату, когда там уже все были в сборе. Девчата без своих традиционных и привычных для нас белых халатов были ослепительны даже в простеньких цветастеньких платьишках. Я не удержался:

– Боже мой! Откуда вы такие взялись?

Одна только Роза не сияла. Девчата посматривали на нее с любопытством и с каким-то непонятным для меня затаенным выжиданием (это я потом припомнил). Но без сочувствия. Сочувствовали они, кажется, больше мне...

– Пора выходить, – скомандовал майор и подхватил под руку старшую по возрасту среди сестер сестру-хозяйку Аллу Сергеевну, направился первым по коридору.

Мы вышли на замечательную, улицу – зеленую, мирную, не по-военному тихую. Еще было светло. Мы шли по тротуару – по дощатому, по щелястому. Боже мой, сколько я лет не ходил по тротуару! Кажется, вечность. Товарищи мои не меньше меня радовались и этой пошехонской улице, заросшей травой-муравой, и тихому ясному закату, в который не надо всматриваться, по привычке отыскивая знакомые контуры вражеских штурмовиков. Мы были в восторге от того, что вот мы живы, и через час будем живы, и завтра будем живы, и через неделю непременно будем живы. Разве можно жить и не восторгаться такой уверенностью!

Оказывается, как это здорово – жить!

От сознания, что ты живой и возле тебя – рука в руку – симпатичная девушка, хотелось заплакать. Никогда такого за собой не замечал. Подумал: развежился я в госпитале, раскис, как... В общем, расслюнявился. И только позже понял, что тогда мы, двадцатилетние, разучились уже плакать от горя, мы жили рядом со смертью и не плакали, когда теряли своих самых близких, но, может быть, поэтому стали мы слишком чувствительными к нежности, к красоте.

Я не помню, каково здание театра в Ахтырке, хотя, наверное, это был первый театр, который я посетил в своей жизни. Шла оперетта на украинском языке. «Весилля у Малиновци». Украинский язык всегда казался для меня нарочито искаженным русским и поэтому смешным. А тут зал буквально покатывался от смеха. Мы хохотали после всех – пока переведем реплику с украинского на русский да сообразим, что к чему, только тогда вдогонку хохочем.

Но, видимо, всегда так в жизни бывает: в самый разгар веселья является беда.

В первом антракте к Розе, стоявшей около Веры с Сашей (она все время от меня обособлялась), вдруг подошел рассвирепевший молодой человек с черной кудрявой шевелюрой, что-то сказал ей резкое, дернул ее за руку и пошел обратно. Роза, опустив голову, обреченно побрела за ним.

Я не сразу сообразил, что произошло. Кинулся было следом. Но передо мной очутилась Вера, зашептала мне в лицо:

– Тихо... тихо... тихо. – Приблизилась ко мне совсем вплотную, ухватила незаметно для окружающих цепко меня за здоровую руку. – Тихо... Все идет, как и следовало ожидать... Тебе говорили.

Что мне говорили? Кто мне говорил?..

До половины второго действия сидел я, как оглушенный: кто он, этот неполноценный (все полноценные – в армии), какие у них с Розой отношения? Не терпелось все выпытать у Веры.

И вдруг неожиданно я почувствовал, как становлюсь спокойнее. Подобрался весь, словно внутри меня закрутили пружину. И будто сдернули с меня колпак – я стал все видеть и все слышать, как перед выходом на боевое задание, – уже ничто не проскальзывало мимо меня. Со стороны Веры с Сашей уловил фразу: «Да их не поймешь – разошлись или не разошлись...».

Наш ряд уже не хохотал так над Яшкой-артиллеристом, как в первом действии, – я понятно, почему, а остальные устали в духоте переполненного зала. Переоценили видно, свои силы. Уже потихоньку расстегнули воротники гимнастерок, распустили ремни и портупее, обмахивались пилотками. И тут с левого фланга от майора по ряду передали шепотом приказ:

– Закругляйся... Слева по одному короткими перебежками из зала – за мной, на свежий воздух марш...

Хохотнул наш ряд несколько невпопад с действиями на сцене и покинул зал. На улице было темно и приятно свежо. Мы уже не щеголяли перед нашими дамами новенькими негнушущимися погонями, шитыми желтым шелком, и хрустящими портупееями. (В этот вечер, кстати, я впервые надел офицерские погоны, на фронте в маскхалатах мы ходили без погон. А портупеею у нас носили и рядовые разведчики, не для форса носили, для удобства – поддерживала поясной ремень, на котором у разведчика навешано с полпуда всяких железок...) «Кавалеры» напрочь порасстегивали гимнастерки, а к концу пути совсем снимали их – мельтешили в темноте белыми нижними рубашками. Теперь уж не они вели сестер под руку, а сестры волокли их. Один я самостоятельно вышагивал впереди, но никто никак это не комментировал, не подтрунивал надо мной.

В палату входили «театралы» по-разному: Сашка Каландадзе чуть ли не вприскок на одной ноге, опираясь на плечо Веры, танкист – подволакивая раненую ногу, держа снятую гимнастерку под мышкой. Он сразу от двери запустил ее, глаженую, с белоснежным воротничком, под кровать. Комбат вошел неторопливо, но было видно, что из последних сил, положил скомканную гимнастерку на тумбочку и, не снимая сапог, плюхнулся на кровать, свесив ноги на пол. Только один майор, подойдя вместе со всеми к воротам госпиталя, сказал, что он проводит свою даму домой.

Ужин стоял на тумбочках. Кто-то из сестер спросил:

– Может, разогреть?

Никто не удостоил ее ответом – не до того было. Сашка заглянул под салфетку.

– А почему так мало? – протянул он разочарованно. – Вера, пошарь там в тумбочке и все, что там есть, вытаскивай.

Я ел молча, ни на кого не глядя. Но чувствовал, что на меня посматривают соблезнующе. Подошла Вера, наклонилась, как над больным, положила руку мне на голову.

– Наплюй ты на все это.

– Уже сделал. Разве ты не видела?

Вера по-дружески потрепала меня по щеке и отошла к Сашке – кормит его заботливо, как маленького:

Спали все в эту ночь мертвецки – как пулеметом покошенные. Один я глазел в темноте. Уже успокоившийся, внутренне собранный, так сказать, отмобилизованный, я анализировал наши взаимоотношения с Розой, вспоминал все мелочи. Действительно, по вечерам мы почти никогда не встречались. Как ни просил я, она всегда находила какие-либо отговорки, чтоб только не прийти. Значит, это неспроста, значит, по вечерам она встречалась с ним, с тем... неполноценным. Оказывается, он актер местного театра.

Мои исследования прервали осторожные шаги по коридору. Дверь в палату тихо отворилась, и на пороге появился майор. Он окинул взглядом койки – все «театралы» спали. На цыпочках подошел к своей тумбочке, взял зеркальце и так же осторожно вышел в коридор, оста-

вив дверь приоткрытой. Мне было видно, как он зыркнул в оба конца коридора, повернулся к лампочке и стал внимательно рассматривать в зеркальце свои губы. Он рассматривал тщательно и неторопливо. И вдруг где-то скрипнула дверь. Майор проворно сунул зеркальце в нагрудный карман кителя и с деловой, озабоченной миной на лице повернул в палату. Эта мгновенная метаморфоза показалась мне до того смешной, что, когда он, приседая на носки, проходил мимо моей кровати, я шепотом спросил его:

– Ну и как?

Он вздрогнул от неожиданности и так же шепотом спросил:

– Чего тебе?

– Я говорю, помада не осталась?

Майор остановился у меня в ногах. Постоял немного, привыкая к сумраку.

– Слушай, а ты случайно, в самом деле, не лунатик?

Мне стало совсем весело. Я ему ответил:

– Я разведчик, товарищ майор... А еще могу бесшумно ходить и по-пластунски быстро ползать. Вы это тоже учитите...

Майор перегнулся через спинку моей кровати.

– Мы, наверное, выселим тебя из палаты. В другую.

– Вы думаете, в другой не будет таких, за которыми нужен глаз да глаз, а?

– Мы тебя – в одиночку.

Утром я никому ничего не сказал. Майор это оценил. А после обеда сестра-хозяйка подошла ко мне, когда я с комбатом играл в шахматы, осмотрела критически мою пижаму.

– Она у тебя не грязная?

Я оглянулся. Глаза у нее были полны смеха и... счастья.

– Нет, Алла Сергеевна, не грязная. И... не тесная. И даже – не велика...

Мы захохотали откровенно, сразу оба. Комбат в удивлении откинулся на спинку стула. Она мягко толкнула ладонью меня в лоб и, все еще смеясь и оглядываясь на меня, пошла по коридору. Комбат долго, задумчиво смотрел ей вслед. Вздохнул, когда она зашла за поворот.

– Хорошая женщина. Кому-то достанется после войны такое счастье: и симпатичная на личико – обрати внимание, какие у нее глаза выразительные...

Теперь частенько можно было слышать заливистый смех сестры-хозяйки и рокочущий басок майора.

Мои сердечные дела закончились «великолепной» (прямо как в плохом романе) демонстрацией: через день после похода в театр я подошел к Розиной сестре, стоявшей после работы с подругами у главного корпуса, резко надорвал Розину фотокарточку, которую она мне дарила недавно, и протянул ее ей.

– Передайте Розе, – сказал я беззаботно.

Сестра вспыхнула, как кумач, но карточку взяла. Что-то хотела сказать мне, даже подалась всем корпусом на встречу, но я повернулся, гордо ушел. А вечером ко мне подошел Саша Каландадзе и, глядя куда-то мимо меня, сказал:

– Пойдем. Вера велела привести тебя.

С этого дня мы вдвоем ходили за Верой: Саша и я. Я старался приходить к ней, когда там был Саша, чтобы никаких кривотолков не возникало. Но, откровенно говоря, вместе у нас как-то не получалось. Он сидел молча. Я – тоже. Говорила Вера. Правда, она могла говорить и за двоих, и за троих, но что от этого толку. И хотя она чаще всего обращалась ко мне и рассказывала мне, я сам, добровольно, держался на втором плане. Она обоим нам нравилась. Несомненно, она это чувствовала. Но Сашка, конечно, с ней целовался, а я так... в пристяжных ходил.

Наконец мне врач прописала массаж раненой руки, и теперь я посещал Веру на законном основании. Приходил я обычно последним. Она укладывала меня на кушетку, сама садилась рядом и начинала гладить мою руку. Мне было хорошо с ней, приятны были ее прикосновения. Она без умолку говорила, я был идеальным слушателем. О чем она говорила? Да разве в том дело – о чем? Важно – как она говорила! Голос ее до сих пор я помню – сочный, мягкий, ласкающий.

Однажды Вера показала мне пачечку фотографий.

– Сейчас от фотографа, получила вот.

Я с напускной бесцеремонностью взял одну фотокарточку и протянул ей обратной стороной, чтоб подписала. Она задумалась в нерешительности.

– Чего тут думать?

– Саша сейчас просил. Я ему не подписала.

– Вот уж мне никакого дела нет до твоего Саши. Подпиши. Скоро уеду – память увезу с собой.

И она подписала.

Придя в палату, я, не подумав и даже неожиданно для самого себя, взял и показал карточку всем – лицевую и обратную стороны – и еще произнес:

– Во-о!

Сашка лежал на кровати. Вскочил и пулей вылетел из палаты. Произошла неловкая заминка. Майор укоризненно посмотрел на меня и даже покрутил пальцем около виска – дескать, соображать же надо. Я пожал плечами – мол, откуда знал, что он так это воспримет.

– Ты знаешь, какие они ревнивые, грузины, – вмешался комбат. – Он сейчас пойдет и ее зарежет...

– Ну, уж прямо и зарежет.

– А что ты думаешь? – подал голос из гипса старший лейтенант. – Грузины они народ такой.

– Да какой он грузин! Он вырос среди русских. У него даже акцента нет, – отбивался я на всякий случай.

– Акцента нет, – настаивал старший лейтенант, – а традиции они соблюдают. Это все-таки национальные традиции. Они живучие.

Но Сашка Веру не зарезал. Напрасно ребята переживали. А Вера на следующий день чуть ли не с ножом к горлу подступила ко мне – требовала, чтобы я вернул фото. Я не вернул и доказал ей, что Сашкина ревность – это национальный предрассудок, с которым надо бороться. Эта фотокарточка хранится у меня до сих пор в одном из старых семейных альбомов. Вера на ней молодая, девятнадцатилетняя, с пышными белокурыми волосами, длинношеяя.

Сашку вскоре выписали на фронт, и он уехал. Вера несколько дней до его отъезда и после была молчаливой и непривычно грустной – все-таки она его любила, хотя о нем никогда мне ничего не рассказывала.

Розу я видел лишь несколько раз, и то издали – из нашего отделения она перевелась в другое и теперь бегала в соседний корпус. Она не искала встречи со мной, хотя бы для объяснения, наоборот – избегала меня, и мне от этого было вдвойне обидно. Если бы она что-то объяснила! Хотя – нет, это я сейчас так думаю, что я понял бы и простил. А тогда – нет. Молодость, как известно, решительна и бескомпромиссна.

До глубокой осени, пока не выписался из госпиталя, я все свое свободное время проводил у Веры. Мы говорили обо всем. Но ни разу вслух не вспомнили о Сашке Каландадзе. И ни разу – ни с той, ни с другой стороны – не было попытки переступить некую грань в наших отношениях, хотя и нравились мы друг другу, он ежеминутно стоял между нами, черноглазый грузин.

К концу лета палата наша стала убывать. За Сашкой Каландадзе выписали танкиста, а потом комбата. А немного погодя проводили мы и майора-артиллериста. Я выписывался предпоследним. Оставался один старший лейтенант. Правда, с него уже сняли гипс, и он начинал потихоньку учиться ходить с костылями.

Вернувшись домой, на Алтай, я еще около года переписывался с Верой. А потом переписка постепенно заглохла – жизнь брала свое, кружила каждого по-своему. Годы шли, меняя все. Менялись и меняемся все мы.

Прошло лет двадцать. Как-то однажды листал я свой военный дневник и наткнулся на адрес, написанный не моей рукой: станция Абдулино Оренбургской железной дороги... Никогда я в этих местах не был. Откуда адрес с женской фамилией? И вспомнил – Вера Москалева. Записала на всякий случай свой домашний адрес, по которому живут ее родители. Я тут же написал в Абдулино, что, дескать, по этому адресу в войну жили родители Веры Москалевой, не знают ли нынешние жильцы, где она сейчас.

Надежды я никакой не питал – ведь столько лет прошло! И вдруг получаю письмо от Веры. Правда, не из Абдулино, а совсем из другого места. Письмо было небольшое. Вера сообщала, что работает по-прежнему сестрой-массажисткой в больнице, с волнением вспоминает Ахтырский госпиталь. И больше о себе – ничего. Как у нее сложилась

семейная жизнь – замужем, есть ли дети? Вернулся ли с войны Саша Каландадзе? Я написал Вере большое письмо. Но ответа на него не получил. А настойчивости не проявил. Так мы снова потерялись друг для друга.

Сейчас нередко встречаешь в больницах и поликлиниках медицинских сестер, которые на этой работе с войны. И мне как-то не по себе бывает, когда называют их пожилыми женщинами. Нет, они не пожилые. Им просто не подходит это состояние.

Молодой осталась для меня Вера. Не представляю ее другой: с морщинами, с усталыми, выцветшими глазами. Нет, не могут годы и десятилетия отнять у человека дорогое, давнее, заслонить его окончательно. Не могут – как бы человек ни менялся.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДВОРЦОВ

Родился 19 декабря 1917 года в селе Куриловка Саратовской области. Учился в школе колхозной молодежи, работал табельщиком полевой бригады, затем – техником-нивелировщиком. В 1940 году после окончания Саратовского учительского института преподавал в средней школе русский язык и литературу, заведовал учебной частью. Был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

В годы Великой Отечественной войны участвовал в Иранской военной операции советских войск, с декабря 1941 года – в боях под Таганрогом, Лозовой и Барвенково. В мае 1942 года при освобождении Харькова попал в плен, до конца войны содержался в рабочем лагере под городом Берген в Норвегии. В 1943 году в лагере организовалась подпольная группа, членом которой стал и Н.Г. Дворцов.

С 1947 года Н. Г. Дворцов жил на Алтае. Работал начальником оперативного отдела краевого управления сберкасс, корреспондентом комитета радиоинформации и газеты «Сталинская смена», заместителем редактора краевой газеты «Молодежь Алтая», корреспондентом «Учительской газеты», редактором альманаха «Алтай». Дважды избирался ответственным секретарем краевой писательской организации.

Первый сборник «Мы живем на Алтае» вышел в Алтайском книжном издательстве в 1953 году. Несколько раз массовыми тиражами издавался роман «Море бьётся о скалы», в основе которого лежат достоверные факты о стойкости советских людей в фашистском лагере военнопленных в Норвегии. Пять изданий выдержал роман «Дороги в горах» о целинных годах на Алтае. Также Н.Г. Дворцовым созданы повести «Наше счастье», «Опасный шаг», «Два дня и три ночи», «Двое в палате», «Пуговицы», рассказы. Книги издавались в Москве, Новосибирске, Барнауле, рассказы и очерки печатались в газетах, альманахах «Алтай», «Золотые искорки», передавались по радио.

Н.Г. Дворцову присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Он награждён орденом «Знак Почёта».

Член Союза писателей СССР с 1955 года.

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА «МОРЕ БЬЕТСЯ О СКАЛЫ»

* * *

Советская Армия, освобождая город за городом, вышла на Днепр и форсировала его. Англичане и американцы, помимо «ковровых» бомбежек, активнее зашевелились на юге Европы. В оккупированных странах народы все смелее и сплоченнее боролись за свою свободу.

Гитлер не находил себе места. Он призывал нацию стоять, стоять до последнего. «Последним на фронт пойдешь!» – кричал фюрер с пеной на губах.

Немецкая пропаганда, стараясь воодушевить немцев, доказать, что все идет как по маслу, то и дело впадала в нелепые противоречия. Так, Геббельс и его подручные уверяли, что отступление немецких войск на Восточном фронте не является отступлением, а всего лишь сокращением линии фронта в стратегических целях. «Мы сильны, как прежде! Мы победим!» – уверяли «Фелькишер Беобахтер» и другие газеты. Но в этих же номерах самыми черными красками описывались ужасы, которые постигнут нацию в случае победы большевиков: «Сталин уготовил для всех немцев ледяную Сибирь!»

Верхом всей этой нелепости было заявление Геббельса в одном из своих многочисленных выступлений. Колченогий «доктор», которого газеты и журналы выдавали за самого примерного семьянина Германии, сказал, что немецкая армия отступает для того, чтобы солдатам было ближе ездить зимой в отпуск!

Фашистские заправилы, стараясь спасти свои шкуры, пошли на неслыханное еще в истории вероломство: они решили заставить воевать за себя советских людей. Тех самых советских людей, которых они с безумием и упрямством одержимых подвергали самым гнусным унижениям, морили голодом, жгли в печах крематориев.

Спешно велась психологическая обработка пленных. Начала выходить газета «Заря» на русском языке. Почти в

каждом ее номере печатались портреты генерала Власова. В немецкой шинели с иголки, в фуражке с высокой тульей и просевшим верхом, он снимался то в рост, то анфас, то в профиль. Маленький новоявленный фюрер по примеру большого бесконечно произносил речи. Слова у обер-предателя были разные, но смысл сводился к одному: немцы – самые верные друзья, а Гитлер – истинный борец за свободу: вступайте в ряды «русской освободительной армии», чтобы плечом к плечу с доблестными войсками Германии бороться за освобождение родины от большевизма.

* * *

К возвращению пленных с работы кто-то заботливо раскладывает по нарам свежие номера «Зари». Впрочем, свежесть газет – понятие довольно условное. Английская авиация и морской флот так усложнили связь с Германией, что газета попадает в Норвегию только спустя восемь-десять дней после выхода.

«Заботливые руки» не скупятся: один экземпляр приходится на двоих или, в крайнем случае, на троих. Расправясь с баландой, пленные приступают к дележу газет. Дунька, получив свою долю, каждый раз досадует, что толстовата бумага.

– А ты хотел тонкую? – с серьезным лицом спрашивает Васек. – Вот чудак! Разве тонкая выдержит такую брехню? Ее надо на листовом железе печатать.

Большинство комнаты газеты не читает, но охотно слушает, как это делает Васек. Почти каждую фразу он сопровождает своими комментариями, которые нередко вызывают хохот или раздумье слушателей. Выходит, он не читает газету, а сражается с ней. Рассматривая портрет Власова, Васек спокойно замечает:

– Ничего себе морда, справная... На брюквенной баланде такую не нажрать. Ну, послушаем, что ты настроил под диктовку колченогого? Ага... «С бескорыстной помощью великой Германии мы, русские патриоты, приведем корабль своей родины в тихую гавань. Настанет счастливая и свободная жизнь. Но счастье и свобода сами никогда не приходят. За них надо бороться»... Понятно, – с иронической усмешкой тянет Васек. – Каждая паскуда

спекулирует родиной. Мало ему было предательства на фронте... А ведь не дурно все задумали фрицы, честное слово... Дескать, пленные настолько дураки, что попрут на своих отцов и братьев, а после будут гнуть на нас горб. Зачем Гитлера понесло в Россию? За жизненным пространством, за рабами...

Дунька пытается что-то возразить, но на него набрасываются в несколько голосов.

– Замолчи!

– Одна у тебя пластинка...

Почти каждый вечер в бараке появляется унтер. Приспосабливаясь к новой обстановке, унтер старается держаться с пленными просто, на равной ноге. Похохатывая, ловко жонглируя грязными словами, он заводит речь о довоенной жизни в России. За унтером, точно телохранители, следуют Яшка Глист или Лукьян Никифорович, а иногда оба сразу.

Зайдя как-то в угловую комнату, унтер, чтобы завести разговор, спрашивает у Васька:

– Откуда?

– Я? – Ваську почему-то не хочется называть свое родное село около Балаково. Каждой сволоте открываться... Васек встряхивает головой, улыбается. – С Волги-матушки... Пензяк толстопятый...

– Вон как! – удивляется унтер. – Земляки, выходит? Одной водой умывались. Я в Вольске жил. Слышал такой?

– Слышал... – лениво отзывается Васек.

– Да, прижимали вас большевички. В такой богатой стране надо было жить по-царски, а вы с голоду подыхали.

Васек, круто выставив лоб, говорит:

– Не знаю... Не видал, чтоб умирали...

– Память отшибло? – Унтер щерится, а из-за его спины вкрадчиво выступает Лукьян Никифорович. Он укоризненно качает головой, дескать, что мелешь, и не стыдно тебе. Лукьян Никифорович намеревается что-то сказать, но его опережает невысокий, широкой кости пленный. Теребя ус цвета свежеструганного дерева, он певуче говорит:

– Дозвольте, господин унтер? Я тоже с Волги... И постарше Васька – хорошо все помню. Трудно приходилось, это правильно. Но кого тут винить? Вот вопрос... Советскую

власть? Она сколько живет, столько от врагов отбивается. И кто только не насакивал. И свои враги, и заграничные... С тридцать четвертого дела пошли на поправку. Не знаю, как где, а вот в нашем районе хлебушка получали по восемь-десять кило на трудодень. Так вот опять война... Не Россия ее затеяла.

Унтер сердито крутит каблуком сапога пол.

– Ты что же, депутатом в районном Совете состояял?

– Зачем так, господин унтер? – На лице пленного обида. – Какой из меня депутат? Я с самой коллективизации около верблюдов. Вот умственная скотинушка, а! И скажи, как дорогу понимает!.. Буран страшный, а он домой обязательно приведет.

– Значит, довольны? – Унтер улыбается.

– Не знаю, кто как, а я не в обиде, господин унтер. Да и на кого обижаться?

– Темнота! Забили вас! Вы не видали, как живут люди.

Вот у нас, в Германии...

Степан исподтишка наблюдает за своим другом. Сейчас он вяжется, что-нибудь режет. А унтеру это на руку. Затем и ходит сюда...

Степан жмурится, деланно позевывает и предлагает Ваську:

– Пойдем на воздух. От таких разговоров в сон тянет.

Васек не отвечает. Он будто не слышит. Исподлобья смотрит то на унтера, то на его оппонента.

Унтер закуривает. Сделав несколько затяжек, он протягивает сигарету Ваську. Тот вскидывает голову.

– Спасибо. Не курю, бросил...

Унтер удивлен. Он привык к тому, что пленные ни от чего не отказываются. А лицо Васька расплывается в глуповатой улыбке. Говорит он притворно, врястяжку, с легким заиканием.

– Вот если бы це-целую... Сами с-сказали, что мы с вами одной водой умывались. Сначала, значит, я, а потом вы... Там, в Вольске...

Унтер забывает, что должен улыбаться. Но лишь на мгновение, а в следующее он кривит тонкие губы, подает Ваську сигарету.

– Держи, землячок. Дерзковат ты. Старших не уважаешь.

Васек все с тем же простодушно-глуповатым выражением на лице бережно закладывает сигарету за отворот пилотки.

– Спасибо, господин унтер-офицер. Полпайки хлеба... В России-то мы так наголодались, что тут никак не наедемся.

Унтер делает шаг к Ваську. В другое время он хлестнул бы субчика так, что тот забыл бы, как зовут отца с матерью. Но теперь нельзя. Даром, конечно, сопляку не пройдет. Он припомнит... Таких не убирать – ничего не добьешься...

– Возмутительно! Как у тебя только язык поворачивается? – гусаком шипит Лукьян Никифорович.

* * *

Беседа унтера с пленными первой комнаты обеспокоила Бакумова. Он решил посоветоваться с врачом (Федор эту неделю работал в ночной). Вечером Бакумов зашел в приемную.

Санитар мыл пол. Чтобы не возиться с тряпкой, не гнуть в три погибели спину, дошлый Иван смастерил что-то похожее на швабру – между двумя дощечками зажал гвоздями разрезанный вдоль резиновый шланг, приделал черенок. И теперь, обильно смочив пол, Иван без особого труда сгоняет грязь в угол.

Услыхав звук открываемой двери, Иван выпрямился, кивнул на приветствие Бакумова.

– Нэма. С Глистом кудаś пишлы.

– С Глистом? – удивился до растерянности Бакумов.

– Да не лякайся, – успокоил Иван. – Там стилько балачки... Як браты... – Иван опять принялся драить пол. Гонит грязь прямо в ноги Бакумова и ухмыляется. Бакумов отступает за порог.

– Шутишь, что ли, хохля?

– Правду кажу, не шуткую.

Санитар действительно не «шутковал». Выйдя из ревира, Бакумов увидел Садовникова и Глиста. Прогуливаясь по двору, они оживленно беседуют. Вот остановились, смотрят друг на друга. Глист увлеченно жестикулирует. Его руки с растопыренными пальцами то

описывают полуокружности, то стремительно рубят воздух.

Бакумова разбирает любопытство. Он не может отказать себе в том, чтобы не пройти мимо. Делает вид, что направляется в кладовую, около которой толпятся желающие обменять обувь или одежду. За несколько шагов от беседующих Бакумов, приняв задумчивый вид, опускает голову, будто не замечает их.

– В «Демоне поверженном» какая-то магическая сила!.. Я не могу смотреть без содрогания! Да, Врубель – гигант!

– Своеобразный художник, – соглашается Садовников и тут же оговаривается, что он не знаток искусства.

Глист перебивает:

– Не надо быть особенным знатоком, чтобы понять... А ведь затерли... Бродский – художник, а Врубель так себе... А что сделали с Сережей Есениным? Возмущения не хватает. Зато Маяковского вознесли...

Постояв около кладовой, Бакумов возвращается. Глист и Садовников, прощаясь, жмут руки.

– Заходите, – приглашает Садовников. – В шахматы сыграем.

– Спасибо. Я не особенный охотник... А поговорить зайду.

Врач уходит в ревир. Некоторое время спустя туда же заходит Бакумов. Прикрыв поплотнее дверь приемной, Никифор удивленно разводит руками.

– Что ты затеял, Олег? Нашел друга...

Олег Петрович лукаво подмигивает в пустой ободок очков.

– Ничего страшного, Никифор... Врагов надо знать. А как же? Я вот думаю подослать Степана к Лукьяну Никифоровичу. Учителя, найдут общий язык. Узнать, чем тот дышит, не вредно. И проболтнуться может... Иван, тащи шахматы!

И вот они опять склонились над шахматной доской. Выслушав Бакумова, Олег Петрович задумчиво крутит в руках пешку.

– Эта чертова власовщина осложняет наше положение. Приходится бороться на два фронта.

– Но так нельзя бороться. Это не борьба, а самоубийство. Они вот выявят наиболее активных и уберут их. Им это

ничего не составляет. Не поможет – еще уберут... Два-три десятка расстреляют – остальным ничего не останется...

– Такого, пожалуй, не случится... Не сдадутся... Хотя... – размышлял вслух Садовников. – Вот положение... Молчать нельзя. С власовщиной надо бороться всеми силами, но не такими методами... Да, так не годится, ты прав...

– А знаете, что говорит Егор? «Только бы за проволоку вырваться, получить винтовку, а там посмотрим»...

– Демагогия! Надувательство! – Возмущенный Олег Петрович шарит по карманам. Ему хочется курить. – Егора кто-то научил. Сам такого не сообразит. Только запишись, тогда все... Немцы не дураки... Ловушка захлопнется... Все доводы власовцев надо разбивать. Конечно, не в открытом споре, а потихоньку. Надо действовать через командиров взводов. Пусть те подберут наиболее грамотных ребят...

– Это дело, – соглашается Бакумов. – Думаю, и Федор поддержит.

– Федор? Он никак не может отвыкнуть от прямолинейных действий.

Бакумов улыбается.

– Отвык, Олег Петрович... Федор только с нами хорохорится. А в яме ведет себя по-другому. Я не раз присматривался...

– Да?.. – Садовников задумывается... Плохо, что все время он вынужден сидеть в ревира. Даже в барак лишний раз не зайдешь. Яму же знает только по рассказам. А ведь там все...

– Олег Петрович, Федор и я должны знать всех командиров взводов. Иначе нельзя. Вот Федор в ночной... Потом, вдруг с одним из нас что-нибудь случится?

– Правильно, но предосторожность...

– С этим считаться не приходится. Я на своих людей надеюсь. И Федор...

– Если так, я не возражаю...

* * *

Что с Ингой? Жива, или?.. Только не это. Нет, нет! Надо же было случиться... Хотя он, он во всем виноват. Забыл всякую осторожность, забыл, где находится. Старший бака!.. Ведь говорили... Дурной... И сам влип...

Так думал Андрей. Думал и днем, когда бросал в вагонетку камни, и ночью, когда под разноголосый храп товарищей смотрел широко открытыми глазами в потолок и не видел его.

После того трагического случая Куртов неузнаваемо изменился. Он осунулся, щеки запали, заострился подбородок, а все лицо почернело, точно обуглилось. Нередко случались дни, когда Андрей не произносил ни одного слова. Молча работал, молча шел в колонне, молча съедал баланду и молча ложился. Не надо было быть особенным психологом, чтобы понять: человек окончательно пал духом, надломился.

Федор Бойков, вопреки советам Олега Петровича, несколько раз пытался откровенно поговорить с Куртовым.

– Что скис? Хочешь в ревир? Отдохнешь малость.

Андрей отмалчивался. Но однажды сказал хрипло:

– Мертвому припарки не помогают. А я мертвый... Можно дышать, двигаться и быть мертвым. Живой труп... Представляешь?

– Представляю... Чего же не представить... – У Федора холодно блеснули глаза. – За такие разговоры хочется по уху свистнуть. Честное слово!.. Ведь в бездействии и железо ржавеет. Замкнулся... Думаешь только о себе да об этой девчонке... И все. Больше не хочешь ничего замечать. Чудак!.. Надо не киснуть, а бороться. Уж немного осталось...

– Возможно, ты прав. Да... Без «возможно» прав, но всему бывает конец. Не могу я больше так... Не могу! Понимаешь?

– Ну и дурак! Придумал любовь. Ведь она просто жалеет тебя...

Федор ушел, не попрощавшись. Но Куртов, кажется, не придавал этому значения. Он лежал и думал. Думал об Инге, о себе. Она жалеет? А он? Что у него – негасимая любовь или жажда иной, настоящей жизни? А разве можно отделить одно от другого? Эта яма, штыки, камень... Нет! Он больше не может! Жить или умереть! Эх, если бы увидеть Ингу, хоть на несколько секунд, одним глазом.

И он увидел ее.

...Угрюмый октябрьский день незаметно перешел в насыщенные водяной пылью сумерки. После двух налетов авиации норвежцы выселились из прилегающего к стройке района, и колонна движется улицей среди кладбищенского безмолвия. Справа и слева жутко чернеют в темноте груды разбитых домов. Вот разрез школы – немое свидетельство ужасов войны.

Колонна уходит вниз, огибая лагерь. Дорога становится все уже и уже. Слева – отвесно отесанная скала, справа – обрыв. Андрей идет крайним слева. Идет с неотвязным грузом раздумий...

Дорога настолько сужается, что пленным приходится прижиматься друг к другу. Конвоиры или смешиваются с пленными или, приотстав, собираются в хвосте колонны.

– Андре!..

Андрей выпрямляется, как от сильного удара в спину. Что это? Галлюцинация? Неужели он сходит с ума?

– Андре!

Товарищи молча подталкивают его. В двух шагах от себя он с трудом различает две черные тени на черной стене. От тонкого аромата духов у Андрея кружится голова, рвется на части сердце, и он, кажется, теряет рассудок.

– Инга! Инга! – шепчет он, а больше сказать ничего не может.

Андрей находит ее узкие теплые ладони, крепко сжимает их и чувствует ответное пожатие... Если бы увидеть ее глаза...

Они стоят, а колонна бережно обходит их.

От внезапной вспышки фонаря девушка прижимается к стене.

– О, красотки! Фридрих! Вот чудо! Сюда! – конвоир пытается облапить Ингу. – Стой, милая! Не уйдешь!

Инга вырывается, ловко проскальзывает под руку конвоира. За ней – подруга. Они убегают. Их преследуют с нарочитым топотом, улюлюканьем и свистом, а после долго хохочут.

– Как их сюда занесло?

– Кажется, неплохие...

– Надо было крепче держать, Отто!

Лишь какие-то считанные секунды лицо Инги оставалось освещенным, но в памяти Андрея запечатлелась каждая черточка. Пожалуй, это произошло помимо его воли, автоматически. Никогда он не видел так близко Инги, и она оказалась куда лучше, чем он полагал, лучше той фотографии, которую порвал Федор. Как мгновенно страх в ее необыкновенных глазах сменился ненавистью, стремлением постоять за себя. Инга! И духи... Какой волнующий аромат. Ведь он артист, тонкая натура, умеет понимать и ценить прекрасное. И нельзя его равнять с другими. Он не может, как другие, месяцы и годы жить по-скотски. Не может! Нет!

* * *

На самой вершине горы, над деревьями в багряной листве, над развалинами домов, над морем стоит человек. Он поднялся для встречи с простором. Со dna лагерной ямы силуэт человека на фоне неба казался маленьким, но гордым. Андрей любовался им и тоскливо завидовал ему. Почему люди без крыльев? Вот подняться бы над проволокой, над горами...

– Что? Невесело?

Уголком правого глаза Андрей видит остановившегося сбоку унтера. Его присутствие неприятно.

– Сохнешь по зазнобе?

Андрей молча продолжает смотреть на вершину горы. Если бы можно было оказаться возле того человека!

– Пойдем!

Унтер за хорошим не приглашает, но Андрей почему-то не чувствует ни волнения, ни страха. Ему почти все равно. Лишь при мысли об Инге он ощущает легкое покалывание в сердце. Пронюхал, подлец! Ну и пусть. Унтер ничего не добьется. Андрей не видел Инги, не встречал.

– Пойдем! – унтер кивает головой, загадочно ухмыляется.

Андрею ничего не остается, как безропотно подчиниться.

Они минуют барак, подходят к воротам лагеря.

– Со мной! – бросает унтер, и часовой услужливо открывает калитку.

«Как просто все! – удивляется Андрей, выходя за проволоку. – Куда же? Неужели в гестапо?» В Андрее рождается страх. Он растет, растет. Андрею становится душно, жарко, а ноги не слушаются. «Да нет же, – старается успокоить себя Андрей. – Уже вечер, воскресный вечер... Хотя они, как филины, орудут ночами»...

Идут рядом. Со стороны можно подумать, что они старые приятели. Унтер косится на Андрея. Ему приятно, что Андрей трусит. Это вселяет уверенность в осуществлении задуманного.

Слева, глубоко внизу, остается стройка. В этой части города Андрей впервые. Здесь нет разрушений. Андрей с завистливым любопытством смотрит на встречных норвежцев, на уютные домики с большими светлыми окнами. Улица, спускаясь вниз, упирается в море. На тихой розовой воде посапывает в ожидании пассажиров белый пароходик.

Унтер критически оглядывает Андрея.

– Вид у тебя неказистый, зарос весь... Зайдем в парикмахерскую.

– Зачем? – удивляется Андрей.

– Пойдем! Пойдем! – настаивает унтер.

И вот Андрей полулежит в вертящемся кресле. Оно почти в точности такое же, как в зубоврачебных кабинетах. Мастер-норвежец в белом халате любезно хлопочет над ним. Андрей с ног до головы закутан в белое. Он смотрит на себя в зеркало. «Какой я страшный... Даже самому противно. А когда-то девушки заглядывались на меня»...

Мастер, закончив стрижку, намыливает клиенту густую бороду. Намыливает не кистью, а руками. Это очень приятно. Андрей смежает от удовольствия глаза, а когда открывает их – встречается в зеркале со взглядом унтера, который сидит на диване.

– Компресс, массаж, одеколон! – приказывает унтер.

«Зачем эта канитель? Что ему надо? – думает Андрей в то время, когда мастер закрывает ему лицо парящей салфеткой. – Ух, черт, какое блаженство! Индивидуальная обработка? К кнуту добавлен пряник?»

Парикмахер массирует Андрею лицо. Профессиональная любезность в глазах мастера сменяется насторожен-

ным недоумением. Он не может понять, почему все русские сидят за проволокой, а вот этого водят по городу, бреют, одеколонят. У мастера рождаются недобрые подозрения. Он с небрежностью брызжет в лицо Андрея одеколон, срывает салфетку.

– Битте!..

Унтер расплачивается, и они уходят.

– Вот теперь другое дело... Если сменить обноски на доброе обмундирование – ни одна норвежка не откажется... – Штарке подмигивает и хохочет.

– Определенно. В лагерь даже пожалует, – иронизирует Андрей.

– Зачем в лагерь? У кого имеется голова, тот может гулять на свободе. Теперь совсем иные времена...

– Да, времена не прежние, – соглашается Андрей.

В маленьком павильоне у самой воды продают билеты на парходик. Здесь же стоят красные весы-автомат.

– Становись! – Унтер подталкивает Андрея на площадку весов, роется в карманах. На десятиоревую монету весы отвечают прямоугольным жетоном.

– Сорок один четыреста, – говорит унтер. – А было?

– Семьдесят шесть с граммами...

– Ого! Но при желании ты можешь восстановить свой вес за один месяц, даже быстрее. Станешь таким молодцом.

– Каким образом?

Унтер не отвечает. Он вертит в руке картонный жетон, подносит его к глазам.

– На каждой билетике у них имеется пожелание. На твоём вот о счастье... Как это перевести?.. «Не упускай возможности счастья». Хочешь познакомиться с центром города? Сходим в кино. У них без сеансов. В любое время заходят.

Андрей давно уже понял, куда клонит унтер. Старается, чтобы он продался. Почему именно ему предлагает? Считает слабее других? Кусок хлеба и относительная свобода в обмен на честь, родину? Ничего себе сделка. И как хватает совести предлагать?.. Считают русских за баранов.

– Ты с другими себя не равняй. Ты – артист, совсем иная натура... Я понимаю, как тебе трудно. Ты что думаешь? Я все понимаю...

– Я слесарь! – возражает Андрей.

– Брось! – досаждает унтер. – Я знаю больше, чем ты думаешь. В личной карточке можно все написать, бумага...

Пароходик, сделав рейс, снова причаливает. По трапу сбегает три девушки, сходит женщина с ребенком, мелкими чопорными шажками семенит высокий сухой старик в черном котелке и с тростью-зонтом в руке.

– Господин унтер-офицер, идемте в лагерь, – предлагает Андрей.

Унтер поджимает тонкие губы.

– Не желаешь в кино? А водки хочешь? Русской водки? Мне это ничего не стоит. Слушай!.. Ты можешь повидаться с той девчонкой... из белого дома. Я помогу...

– Напрасно стараетесь, господин унтер-офицер. Я не подхожу вам. Сломано ребро, и вообще я весь изуродован. Неужели этого мало?

Унтер заметно веселеет. Ему кажется, что не все еще потеряно. Если хорошо постараться, то этот идиот спасует. За ним потянутся остальные...

– Чепуха!.. – смеется унтер. – Капитально подремонтируем. И ребро, между нами говоря, очень кстати. Тебе не придется думать о фронте. Будешь в караульной службе прохлаждаться. Немца заменишь.

– Да, это заманчиво... – Андрей после тяжелого вздоха добавляет: – Идемте в лагерь!

Унтер, щурясь, смотрит на противоположный берег неширокого залива.

– На площади, вон за тем зданием, памятник Григу. Недурная работа. Что же, пойдем в лагерь.

Теперь Андрей идет впереди, а унтер чуть приотстает. Впрочем, Андрей не замечает этого. Он думает об Эдварде Григе и слышит мелодию. Как чудесно она сочетается с дикими скалами, фиордами, соснами, Ингой... Да, чтобы хорошо понять Грига, надо видеть Норвегию.

К лагерю они подходят, когда уже совсем темнеет. Вот то место, где Андрей встретил Ингу с подружкой. До чего смела. Ни с чем не считается.

– Стой! – приказывает унтер. – Знакомое место, а? Вот давай и поговорим тут. Конечно, не так любезно. Хотя это зависит только от тебя.

Андрей рассеяно смотрит в темноте на унтера и слышит не его, а тихое задумчивое журчание ручья, отзвуки горного эха, видит скалы и сосны. Сосны... Под напором ошалелого ветра они лишь слегка клонят вершины и возмущенно шумят, шумят... «Пер Гюнт!» – догадывается Андрей. – Да, там такая музыка...»

– Ты онемел?! – Штарке зло дергает Андрея за рукав. – Завтра ты вступишь в освободительную армию! Утром мне отдашь заявление! При всех отдашь, на построении. Сделаешь, говори?..

Андрей слышит, как унтер расстегивает кобуру, и ему становится немного смешно. Конечно, унтер берет его на испуг, шантажирует. «А если нет?..» – думает Андрей и все равно не ощущает страха. Удивительное спокойствие. Мысли работают четко, как хорошие часы.

– Господин унтер-офицер, вы так стараетесь, будто я в одиночку могу спасти всех вас. Это не по моим силам, честное слово! Я понимаю, что поступаю неблагодарно. За трехлетние издевательства, за сломанное ребро, за выбитые вами зубы не соглашаюсь отдать вам свою голову. Да, я очень неблагодарный. Но что поделаешь, так уж воспитан. Родители виноваты и Советская власть...

Унтер молча сопит. Сопит под самым ухом. Почувствовав тошнотворный перегар табака и водки, Андрей делает шаг назад, попадая как раз на то место, где они стояли с Ингой.

– Обнаглел! Надеешься, не решусь? Пожалее?

Андрей поднимает голову. Что это? Ветер зашумел соснами на пригорке, или ему кажется? И ручей!.. Откуда он взялся? Как звенит!..

Выстрел заглушает звон ручья в ушах Андрея. А через секунду ручей опять звенит. Но звенит все тише и тише и, наконец, совсем смолкает...

* * *

В 1940 году, вскоре после оккупации фашистами города, французский самолет потопил легкий немецкий крейсер. Выскочив ранним утром из-за горы, бесстрашный экипаж на бреющем полете сбросил над бухтой всего одну бомбу. Она взорвалась в машинном отделении. Гово-

рят, не потребовалось и минуты, чтобы крейсер, перевернувшись вверх килем, скрылся под водой.

Немцы вспомнили о крейсере лишь три года спустя, вспомнили, очевидно, потому, что до зарезу потребовался металл. С помощью понтонов крейсер подняли, завели в военный порт, подтянули к берегу. И теперь здесь каждый день копошатся пленные.

В команду из тридцати двух человек угодили Цыган и Степан Енин. Цыгану, как и прежде, покровительствовал земляк, а за Степана замолвил словечко кладовщик Лукьян Никифорович.

Никифор Бакумов, передав Степану просьбу врача, посоветовал, как лучше сблизиться с Каморной Крысой.

Первое знакомство состоялось в кладовой, когда Степан попросил заменить пантуфли.

– Подошвы совсем раскололись... Ходить невозможно... Посмотрите, Лукьян Никифорович.

Такие просьбы почему-то всегда раздражают Лукьяна Никифоровича. Не оборачиваясь, он метнул к порогу пару сцепленных пантуфель, из которых левый оказался намного больше правого.

– От этого проклятого дерева ноги распухли. Нет ли помягче, Лукьян Никифорович... Уважьте, коллега, так сказать, из чувства профессиональной солидарности... А слушатся сигареты...

Лукьян Никифорович в глубине полутемного склада живо повернул к Степану острое подвижное лицо.

– Что, педагог?

– Да, трудился на ниве народного просвещения.

Лукьян Никифорович, подойдя к дверям, поинтересовался, откуда Степан, что и где преподавал, сколько времени. Степану пришлось на ходу импровизировать. Он сказал, что родом из Воронежской области (ближе к Украине), что после окончания учительского института изъявил желание поехать на Алтай (романтика!). Там преподавал математику (она дальше всех от политики).

Лукьяну Никифоровичу понравилось, что Енин воронежец. Он улыбнулся, обнажив мелкие и острые зубы.

– Оказывается, соседи. Доводилось бывать в Воронежской области. И не раз... А вот выговор у тебя не воронежский. Ничего похожего. Удивляюсь...

Степану стало холодно, будто он попал на сквознячок. «Начнет допытываться... Дернуло меня»...

– С Бернардом Шоу, конечно, знакомы? – Лукьян Никифорович неожиданно перешел почему-то на «вы». – Читали? Помните, у него есть пьеса?..

– По-разному говорят, – с излишней, пожалуй, поспешностью перебил Степан. – Вы вот с Украины, а говорите чисто по-русски. А у меня мать хохлушка, отец русский. Гибрид. – Степан рассмеялся. – А когда учился, много пришлось потрудиться над своим языком. Я упорный.

Лукьян Никифорович сбочил седоватую голову, поскреб указательным пальцем щетинистый подбородок.

– Да, труд – великая сила. Ромен Роллан считал труд дыханием нашей жизни. Конечно... Кстати, какой носишь размер?

– Сорок первый, Лукьян Никифорович.

– Посмотрим... Посмотрим... Труд... Труд – это, молодой человек, сердце человечества, – бормотал Лукьян Никифорович, заглядывая на полки. – Без труда люди не отличались бы от стада баранов. Труд – радость. Конечно....

– Несомненно! – угодливо вторил Степан, а про себя думал: «Болтун! Когда посылали в яму, так ты от этой радости увертывался, как собака от палки. А теперь запел»...

Лукьян Никифорович продолжал заглядывать на полки, поворошил ногой в углу кучу пантуфель и с нескрываемым сожалением на лице достал откуда-то пару ботинок.

– Только для коллеги. Да, придется ли еще войти в класс? Вы-то понимаете, что это значит. Вспомните первое сентября. Сколько радости, торжественности! Незабываемо!..

Кивая согласно головою, Степан крутил в руках ботинки. Это были советские пехотинские ботинки, аляповатые, из толстой кожи, на толстой подошве. Невольно подумалось о том, кто их носил. Где он теперь? На каких дорогах необъятной России служили ему эти ботинки, как расстались с хозяином? Сколько и кому служили еще? И теперь с заплатами, с набойками на носках они готовы исполнить до конца свой долг!

Обувшись, Степан встал, притопнул. Ботинки при-
шлись впору.

– Не знаю, как и благодарить вас, Лукьян Никифорович.

– Да чего уж там? Ладно... Чувство профессиональной солидарности... Вы, кажется, из первой комнаты? Там этот белокрысы паренек... Васек, кажется?..

– Есть такой. А что?

– Он ужасный. Невозможный грубиян.

– Молодой, мальчишка... Какой с него спрос? Говорит, не отдавая себе отчета...

– Нет, это не так, конечно... Ошибаетесь, дорогой, или берете под защиту. У него вредные мысли. Он... Он... – Распаленный Лукьян Никифорович неожиданно смолк, а через секунду кисло улыбнулся. – Простите... Гибель Тараса Остаповича меня травмировала. Я стал таким раздражительным. Какая нелепая смерть! До сих пор не могу смириться...

Степан сочувственно вздохнул.

– Заходите. Кстати, после гибели друга я начал курить.

На следующий день Степан передал Бакумову весь разговор с кладовщиком, а вечером принес Лукьяну Никифоровичу две сигареты.

– О, коллега! – обрадовался Лукьян Никифорович и многозначительно посмотрел на Степановы ботинки. – Взбирайтесь сюда. У нас как раз интересный разговор. Обсуждаем, какой будет жизнь в нашей матушке России, когда она станет свободной.

– Да, это интересно, – Степан улыбнулся и полез на средние нары,

Записавшихся во власовскую армию в лагере иронически называли «спасителями». Их набралось около полутора десятков: Яшка Глист, Лукьян Никифорович, Егор, Дунька. По приказанию унтера «спасителей» поселили в отдельной комнате, им выдавали двойную порцию хлеба и баланды, определяли на лучшие работы, лучше одедали. Унтер обращался со «спасителями» с подчеркнутой учтивостью, угощал сигаретами.

При встрече с матерым преступником всегда хочется найти в нем то главное, что отличает его от нормального

человека. И Степану тоже хотелось разгадать души предателей. Впрочем, эта загадка оказалась не такой уж трудной. Дунька помешался на частной собственности. Он спит и видит собственную землю, лошадушек. К тому же на Дуньку неотразимо действовала двойная порция хлеба и баланды... Егор тоже погнался за «жратвой». Ему лишь бы набить желудок сегодня, а что будет завтра – он не задумывается. Яшка Глист и Лукьян Никифорович ослеплены ненавистью к Советской власти. Они поступили логично. Кто сказал «А», тот должен говорить и «Б». Куда денешься?

«Спасителей» бесило то, что из пятисот с лишним пленных никто не захотел последовать за ними, и они оказались жалкими отщепенцами. Больше того, их ненавидели, презирали.

– Коллега! Вот вы там все время, среди людей. Скажите, какое настроение? Что говорят? Откровенно!.. – просил Лукьян Никифорович. Чтобы расположить к себе Степана, он прикурил сигарету, но после первой затяжки сморщился, закашлялся до слез.

– Возьмите. Так что же говорят?

Степан понимал, что с Лукьяном Никифоровичем надо держать ухо востро.

– А я особенно не прислушиваюсь, Лукьян Никифорович.

– Ну как же? Раз с ними, то невольно слышишь. Ты не беспокойся... Мне просто интересно. Конечно...

– Я понимаю, Лукьян Никифорович, что без всякого умысла. Ну, что говорят?.. Все ждут окончания войны.

– Как? – встрепнулся Лукьян Никифорович. – Ждут капитуляции Германии? Не бывать этому! Германия еще покажет себя. За ней весь цивилизованный мир. Ты думаешь, Америка и Англия заинтересованы в победе большевизма?

– Откуда мне знать, Лукьян Никифорович. Ведь мы живем, как телята в загоне. Я и дома больше интересовался уравнениями. А тут совсем не до политики.

Лукьян Никифорович заволновался, схватил Степана за отворот френча.

– Нельзя быть таким, дорогой коллега. Неужели ты не видел ужасов большевизма? вспомните! вспомните хо-

рошенько! Большевизм – ужасная язва на здоровом теле русского народа. Большевиков надо уничтожить! Уничтожить всюду, без всякой пощады!

В ярости Лукьян Никифорович жарко дышал в лицо Степану, брызгал слюной. Степан, охваченный чувством брезгливости, незаметно отстранился от кладовщика. А тот, спохватясь, замолк, с тяжелым вздохом попросил извинения.

– Нервы, дорогой. Мне думается, вы, коллега, честный человек. Я считаю своим долгом помогать честным. Вам надо выбраться из ямы. Я постараюсь. У господина Штарке чуткая душа.

Так Степан угодил в команду военного порта.

* * *

В зеленоватой воде ржавая коробка крейсера напоминает тушу огромного кита. Четыре укрепленные на берегу лебедки натужно скрипят, наматывая на барабаны тросы. Каждый трос толщиной почти в руку. Натягиваясь, как струны, они извиваются.

Сутулый немец с подслеповатыми слезящимися глазами заполошно бегает от лебедки к лебедке.

– Давай! Арбайтен! Бистро!

Здесь же на берегу стоят два вахтмана – сегодня Пауль Буш и косоплечий недавно присланный из Дойчланда, старик. На вид старику давно перевалило за шестьдесят. Голова у него все время трясется. Трясется так, что на сухом, обложенном в елочку морщинами носу прыгают очки с толстыми стеклами.

Закинув за плечо карабин, старик с безучастным видом ковыляет на согнутых ногах мимо пленных. Посмотрев в его спину, кто-то заметил с сожалением: «Старику давно пора в богадельню, а его вот мобилизовали, винтовку повесили. Не от хорошей, видать, жизни такое»...

Степану новое место совсем не по душе. Он уже не раз проклинал покровительство Каморной Крысы. В яме было куда свободней. Там Федор, Никифор, Васек. Там он почти ежедневно получал от Людвига новости.

А тут, как на приколе. Шагу не ступишь. Знай крути и крути лебедку. Крути вместе со «спасителями». Они, чер-

ти, не очень ретивы в работе, больше стараются выехать на других. Егор при желании один сможет за восьмерых крутить лебедку, а он положит лапы на рукоятку и все, таскай его руки. Дунька вовсе увертывается от помощи своим лучшим друзьям. И каждый из «спасителей» так...

Цыган терпел, терпел и лопнул, устроил три дня тому назад скандал.

– Стой! К ядерной бабке такое дело! Хлеба, значит, и баланды в двойном размере, а работать дядя за вас, я и он. «Спасители»!

– Закрой хайло! – рявкнул Егор. – Или я сам заткну!

Цыган оказался не из трусливого десятка. Ласково-ехидным голосом он заметил:

– Кончилась масленица, настал великий пост. Было время – затыкал, а теперь вот мантуль, продажная тварь, на союзников, спасай!

– Гляди! Да ты очумел, господь с тобой! Мы не работаем! Наговор! Истинный господь, наговор! Ишь, воду мутит. Привыкли там! Зависть заела! – фальцетил Дунька, предосудительно прячась за широкую спину Егора.

– Что за крик? Почему не работаете? – строго спросил мастер. – Работать!

Подошел Пауль Буш. Выслушав Степана, он, покачивая головой, горько усмехнулся и предложил соломоново решение: поставить добровольцев на отдельную лебедку. Мастер тоже усмехнулся и согласился.

– Вот так-то лучше, – удовлетворенно ворчал Цыган. – Пусть там как хотят... Не было, говорят, у кумы забот, так обзавелась поросенком. Так и я с земляком маюсь. Сует он меня, разнесчастного, в каждую дыру. Сюда вот пхнул. А что тут? Ни пуха, ни шерсти. Не будь Никиша – давно бы богу душу отдал. Никиш мой спаситель, а не те вон. Позорят, подлецы, весь русский народ.

...Степан вместе со всеми крутит лебедку и время от времени посматривает на Буша. Что с ним сегодня? Пауль сам не свой. Головы не поднимает. Вот, закурил и сел на чугунную тумбу, хотя сидеть конвоиру строго запрещено. Не на фронт ли его отправляют? Сколько уже отправлено. Судя по оставшимся тут теперь немцам, можно подумать, что вся Германия заселена дряхлыми

старцами да уродами. Да, невеселые, кажется, у фюрера дела. Но что же с Паулем? Неспроста он такой. Что-то случилось.

– Ребята, я прогуляюсь в уборную?

Цыган соглашается:

– Давай, а потом я прошпацирую. Хорошие, видать, ребята, эти французские летчики, но пожалели еще одну бомбу. Тогда бы нам не пришлось морочиться...

Хотя лебедки не останавливаются, мастеру не нравится, что пленные без конца ходят в уборную. Протирая тыльной стороной большого пальца слезящиеся глаза, он что-то бубнит, потом с легкой досадой машет рукой, дескать, вечная история, проваливай.

Степан подходит к Паулю, который по-прежнему сидит на чугунной тумбе.

– Гер вахман, латрин.

Пауль медленно поднимает голову. В глазах тоска.

– Что сказал?

Степан вполголоса сообщает, что под предлогом уборной он отпросился поговорить с ним.

– Поговорить...

Пауль медленно встает, поправляет за плечом карабин.

До уборной не меньше двухсот метров. У причала щуками вытянулись две подводные лодки, за ними зеленоватой глыбой покачивается эсминец. Где-то бойко стучит катер. Справа – приземистые и длинные строения неизвестного Степану назначения. На пригорке повсюду торчат стволы зениток.

– Что случилось, Пауль?

Пауль не отвечает.

Степан придерживает шаг, и Пауль почти равняется с ним. У него кривятся побелевшие губы, а глаза наполняются слезами. Сдавленным, чужим голосом Пауль говорит:

– Я остался один... Ни жены, ни сына... Чего боишься, то обязательно приходит.

Пожалуй, нет ничего труднее, как мужчине утешать мужчину. Что скажешь? В такие минуты все слова кажутся пустыми, никчемными.

– Зачем теперь жить? Какой смысл? – На небритую щеку Пауля медленно выкатывается слеза. – И никому нет дела. Ужасная машина этот фашизм. Гильотина...

Степан оглядывается, не грозит ли откуда опасность. Кажется, нет: безлюдно и тихо. Степан правой рукой крепко сжимает левую Пауля.

– Нельзя так, Пауль! Крепись! Силы нужны для борьбы.

– Я думал – не переживу эту ночь. Столько думал, что и теперь голова разрывается. Меня скоро должны отправить на фронт. Там я сразу пойду к русским. Хватит!

* * *

Денщик чистит на крыльце сапоги унтера. Они до самых ушек заляпаны грязью. «Где его черти носили?» – ворчит про себя Аркадий. Он плюет на щетку, в ярости усиливает взмахи, но капли жидкой грязи так присохли, что денщика вскоре пробивает пот.

Тяжело вздохнув, он опускает щетку, с ненавистью смотрит на сапог, вздетый на левую руку. Что за бурые пятна? Это не грязь. Аркадий подносит сапоги к глазам. Кажется, кровь. Кровь! Откуда? Вон оно что! Теперь понятно, почему унтер чистил утром пистолет...

Увидев Зайцева, Аркадий с усердием набрасывается на сапог, трет его и весело насвистывает.

Антон подходит к крыльцу медленно и, кажется, нерешительно.

– Господин комендант! – Аркадий приветственно потрясает над головой щеткой. – Наше вам! Что-то давненько не заглядывали.

На такое бурное приветствие Антон отвечает сдержанно, даже холодно. Он, кажется, не получает удовольствия от того, что Аркадий навеличивает его «господином комендантом».

– Унтер-офицер у себя?

– Там, господин комендант, у себя...

Антон, опустив голову, проходит в коридор. Аркадий еще некоторое время трет сапог, потом осторожно проходит в свою комнату. Плотно прикрыв дверь, он, не снимая с руки сапога, тихо присаживается на топчан, припадает ухом к переборке.

– Ты что глаза все время прячешь? – спрашивает унтер спокойным, почти дружеским тоном.

– Нет, я ничего... – увертывается Антон.

– Смотри на меня! Вот так! Что, совесть нечистая?

Антон молчит. Аркадий не видит Антона, но представляет его. Трусит он, поджилки дрожат...

– Да, кстати!.. – спохватывается унтер. – Не слышал, что говорят о Куртове? Куда делся твой землячок?

– Не знаю... Говорят, вчера вы вместе пошли из лагеря.

– Хм... Правильно говорят... Все знают... – удивляется унтер и спокойным голосом добавляет: – Нет твоего землячка. Подлец оказался, большевик. Глаза! Глаза сюда! Финтишь! Перекраситься задумал, пустая башка? Не выйдет! Ты еще в Польше сжег за собой мосты. Думаешь, большевики простят политрука? Иль ты забыл? Но большевики не забудут, будь покоен. Понял? Они не забудут никогда!

Антон молчит. Молчит и унтер. Так длится несколько секунд.

– Закуривай, – дружеским тоном предлагает унтер. – Слушай, Антон, ты когда пил водку?

– Не помню... На фронте...

– Так я угощу... Сейчас, айн момент... Где Аркашка? Хотя ладно, я сам...

Аркадий слышит, как открывается дверца буфета, как звякает стекло.

– Ты, конечно, стаканом? Все русские так... Антон, я хорошо вижу грань между русскими и большевиками. У меня тонкий нюх. Давай! За счастье!

Они пьют, крикают и, чавкая, чем-то закусывают.

– Люди иногда похожи на слепых щенят, не видят своего счастья. Честное слово! В нашей армии обер-лейтенант фигура, да какая фигура! А ты, кажется, обер-лейтенант?

– Я, кажется, пьянею... – язык Антона заметно заплетается. – Давно не пил... Вот вы сказали, господин унтер-офицер, земляк... А какой он мне земляк? Да пошел он к черту, морда! Ничего общего... И вообще ничего общего... Ни с кем... Все они, морды, меня ненавидят. А я ненавижу их. А что мне больше остается?

Унтер снисходительно улыбается. Он помогает Антону сойти по ступенькам.

– Иди ложись! Не болтайся!

– Слушаюсь! – Антон попытался козырнуть, но, безнадежно махнув рукой, тоскливо затынул: – Вот умру я, умру я, похоронят меня...

– Здорово набрался, – заметил денщик так, будто завидовал Антону.

– Да, набрался... – Штарке задумчиво смотрел на уходящего к бараку Антона.

Обернувшись к денщику, он сказал. – Пойдем-ка поговорим.

Аркадий не понял, а скорее почувствовал, что унтер намеревается продолжить разговор, начатый с Антоном. Настает то страшное, чего денщик в последнее время боялся. Боялся так, что вскакивал по ночам и, сидя на жесткой постели, подолгу думал. Тесная комнатка с низким потолком казалась ловушкой. Что делать, как увильнуть от проклятой власовщины? За отказ определенно заплатишься жизнью. А товарищи? Олег Петрович говорит, что теперь именно он нужен, как никогда, и он сам понимает, что нужен. Да, он оказался припертым к стене. Не выкрутиться...

На столе – недопитая бутылка, стакан, рюмка и тарелка с несколькими кусочками бледной колбасы.

– Аркаша, я хочу тебя порадовать. – Унтер выливает остатки из бутылки в стакан. – Ну-ка, выпей. Отвозился ты со шваброй и сапогами. Скоро поедешь в Германию. Свобода, девушки и все прочее.

– Вот замечательно! – Денщик весь сияет. – На фронт, господин унтер-офицер?

– Подучитесь, а потом на фронт.

– Господин унтер-офицер, а Железный крест можно получить? Или только для немцев?..

– Почему для немцев? Всякий может получить. Железным крестом награждают за большие дела. Надо здорово отличиться.

– Да! – вздыхает денщик. – Попробуем. Я ведь такой: грудь в крестах или голова в кустах! Не примите, господин унтер-офицер, за хвастовство. Честное слово! Вот если бы нам вместе на фронт, сами убедились бы.

В прищуренных глазах унтера ласково-снисходительная усмешка. Мальчишка что надо. Наивный, восторженный... Такие много не думают.

– Возможно, и случится, что вместе будем, Аркаша, большевиков громить.

Унтер подвигает денщику стакан.

– Так выпей. Я тоже к тебе привык. Держи! Пей!

Денщик отхлебывает из стакана, морщится, трясет головой, зажимает рот, чем вызывает улыбку унтера.

– Аркаша, замечательный ты парень, а вот задание мое плохо выполняешь.

Денщик ставит на стол стакан, непонимающе смотрит на унтера.

– Сколько я тебе говорил, чтобы ходил в барак, прислушивался...

– Вон вы о чем! – догадывается, наконец, денщик. – Не могу, господин, унтер-офицер. Увольте. Я же говорил вам... Как я пойду, если все меня ненавидят, косятся, как на черта. Не умею я, вот как хотите. Воевать – пожалуйста, а по этой части способностей нет. Поручите кому-нибудь еще, Лукьяну Никифоровичу или Яшке.

– А как ты думаешь, Садовников кто такой?

– Как – кто? – Денщик удивленно разводит руками. – Врач. А вы думаете, господин унтер-офицер, самозванец? Не похоже...

– Да не о том я... – слегка досадует унтер. – Настроение у него какое? Большевик?

– А-а, – тянет денщик. – Этого я не знаю. Настроение ведь не рубашка. По-моему, нет, не большевик. Врачи сроду держатся от политики на километр. Да что рассказывать, вы сами жили в России, знаете.

– А Бойков?

– Федор? – Денщик, задумываясь, морщит лоб. – Это тип еще тот. Любит обратить на себя внимание. Карьерист. Антону, кажись, не уступит. Они два сапога пара.

Унтер похлопывает денщика по плечу, дескать, глупый ты, как теленок.

– Напиши ты, Аркаша, заявление.

– Какое заявление?

– Ну, заявление... о том, что вступаешь в русскую освободительную армию. Обязуешься стойко бороться с большевизмом.

– Понятно. Чтобы все законно?

– Такой порядок.

– Понятно. С удовольствием. Вот ведь до чего дожили, а! Вместе с немцами воевать! Плечом к плечу, если выражаться высоким штилем. Бумажки бы и карандаш. У вас есть?

Унтер хлопает себя по карманам, смотрит на подоконник, потом залпом выпивает остатки шнапса из стакана и, крякнув, говорит:

– Видал как? Ладно, успеется... Потом напишешь.

– Потом, так потом, – покорно соглашается денщик. – А можно и сейчас. Интересно, господин унтер-офицер, какая у нас форма будет? Немецкая?

– Почему немецкая? Своя, особая.

– И все новое, с иголки?

– Ну, конечно, не старье же. Хотел бы я посмотреть на тебя в полной экипировке.

Денщик заводит под лоб глаза и счастливо улыбается.

* * *

Пришла еще одна военная зима, хлюпкая, промозглая, как и предыдущая. Она внесла немалые перемены в лагерную жизнь.

Не стало в лагере обер-лейтенанта Керна. Пленные искренне сожалели о нем.

Еще в начале октября старик получил отпуск. Аркашка помогал обер-лейтенанту собраться в дорогу. Денщику бросилось в глаза, что Керн забирает все до последней мелочи. Даже старые, стоптанные домашние туфли он велел завернуть в газету и сам положил их в чемодан. Керн захватил старый френч, ремень, сжег какие-то бумаги.

– Варум, гер обер-лейтенант?.. Этвас никс цурик?*

Керн промолчал. Он недолюбливал денщика, считал его в душе недотепой, восторженным балбесом. Старик

* Почему, господин обер-лейтенант? Разве не вернетесь? (искаженно).

тяжело вздохнул, вспомнив в подробностях свою последнюю аудиенцию у главного инженера.

Брандт и на этот раз улыбался. Только улыбался ядовито. Сигарой не угостил, а в разговоре старательно избегал называть Керна господином.

– Из уважения к вашим прошлым заслугам, – Брандт четко выделил слово «прошлым», – я проявил непозволительное для моего положения терпение. Да, обер-лейтенант, я терпеливо ждал. И ничего не дождался! – Брандт сердито бросил на зеленое сукно стола толстый цветной карандаш марки «Лебедь». – Жалкие полумеры!.. Русские работают отвратительно! У вас там не лагерь пленных большевиков, а нечто похожее на пансион. Не найдется ли и мне там местечка? На выходной...

У обер-лейтенанта Керна задрожали побелевшие губы.

– Господин Брандт! Такой тон... Я не позволю! Я делал все, что мог... И не старайтесь перекладывать своих обязанностей на меня. У вас достаточно мастеров...

Брандт не привык к возражениям людей, стоящих ниже его. От удивления он хлопнул обеими ладонями по подлокотникам кресла, зло нахмурился.

В тягостном молчании прошло несколько долгих секунд. Керн думал о том, что теперь не оберешься неприятностей.

– А где ваш сын?

– Сын? – Керн слегка растерялся, опустил голову. – Сын пропал без вести. Так сообщило командование...

– В России?

– В России.

– Да...

По тону, которым было сказано это «да», Керн понял, что его действия здесь главный инженер тесно связывает с судьбой сына в России.

Брандт встал. Сухой и стройный, уставился в зеленое сукно стола.

– Сожалею, что не нашли общего языка.

В этот день обер-лейтенанта вызвали в штаб и с холодной вежливостью вручили отпускные документы.

Унтер, проводив Керна, принялся рьяно исполнять обязанности коменданта. Уже на второй день в лагере

провели еще один обыск. Унтер сам неотступно следил, как солдаты перетрясали гнилое тряпье пленных, «прощупывали» миноискателями полы и стены барака, ревир-а, умывальника, уборной.

Как в прошлые раза, вместо оружия собрали целую кучу инструмента для изготовления колец, портсигаров и всевозможных фогелей. Унтер из себя выходил. Натренированное чутье подсказывало ему, что оружие есть. Но где оно, черт возьми?

Злость унтера доставляла немалое удовольствие денщику. Он был совершенно уверен, что Штарке, хотя и опытен, не откроет его тайника, в котором накопилось уже семь пистолетов и около двух десятков гранат. Не придет ему мысль искать в немецкой уборной. Ни в жизнь!

Как-то в середине ноября денщик, пользуясь веселым настроением подвыпившего унтера, сказал:

– Загостился господин обер-лейтенант. Полтора месяца...

– И не дождешься, Аркадий... – Штарке отхлебнул из маленькой чашечки рыжего ячменного кофе. – Керн давно воюет...

– Как это? – искренне удивился денщик.

– Очень просто. Там он нужней оказался. Для нас, немцев, интересы родины превыше всего. Тебе это, Аркадий, не мешает запомнить. – Унтер добавил в кофе сахара и неторопливо размешивал его. Тонкая, просвечивающая чашечка мелодично позванивала. – Скоро и твоя очередь... Поедешь...

– Скорей бы... – вздохнул денщик. – Кажется, не дождешься...

– Дождешься. Вот как наберем партию побольше... Человек так двести...

– Ого! Двести! Так это не скоро... Приедешь к шапочному разбору, когда не с кем воевать...

– Скоро, Аркаша, скоро... – успокаивал унтер расстроившегося денщика. – Вот посмотришь... Мы форсируем...

Уйдя к себе, Аркадий долго сидел на топчане, курил до тех пор, пока во рту не одеревенело.

Всю осень и зиму Аркадий живет в постоянной тревоге. По предложению унтера он давно написал заявление.

Больше ничего не оставалось. Всунул голову в петлю... Если в скором времени десанта не будет – петля затянется. Придется ехать... Он повоюет. Фрицы надолго запомнят его!

Ночами Аркадий больше бодрствует, чем спит. Чуть задремав, открывает глаза, прислушивается. Ведь десант должен спуститься с самолетов. А если появятся самолеты, то непременно застонут сирены, захлопают зенитки.

Аркадий уже в который раз продумывает свои действия до каждой мелочи. Ему должен помогать повар Матвей. Но если тот почему-либо не подоспел, он управится один. Обезвредить унтера, снять часового на воротах немецкого блока, передать товарищам оружие... Все это надо сделать быстро и бесшумно, не вызвав преждевременной тревоги.

Стараясь отогнать безотвязную дремоту, Аркадий выходит. Могильная тишина. В темноте, чуть-чуть разреженной маленькой лампочкой под глубоким абажуром, маячит у ворот часовой. В накинутой поверх шинели плащ-палатке он кажется неуклюжим, похожим на копну.

Аркадий спускается с крыльца к часовому. Они закуривают. Немец курит опасно, из рукава. Аркадий смотрит на него. Только бы не забыть потом впопыхах его винтовку и подсумки с патронами. Скорей бы... Как томительно ждать.

Не спится в это глухое время и подпольному штабу. Федор после короткого забытья выходит проверить дежурных. Их назначают на каждую ночь командиры взводов. От угла ревира Федор видит около жилого барака две черные тени. Но стоило Федору сделать несколько шагов, как тени исчезли. Будто не было их.

В коридоре барака ни единой души. «Вот дьяволы!..» – улыбается Федор. Он проходит мимо первой комнаты, второй, третьей... Из приоткрытых дверей доносится забористый разноголосый храп.

Когда Федор возвращается, из первой комнаты появляется Степан. Он трет кулаком заспанные глаза и, выйдя из барака, ждет там Федора.

– Всполошили моих дежурных. Чего, говорят, он шляется? Спите, – советует Степан. – Если что, разбужу...

Придя в свою комнату, Федор, не включая света, осторожно пробрался к постели. Поправил хрустящую, набитую стружками подушку и лег, не снимая брюк.

– Ну как? – спросил Садовников.

– Не спишь? Порядок.

– Какой тут сон? – Садовников сбрасывает с себя одеяло, садится.

– Только сейчас обратил внимание на огнетушители, – сказал Федор. – Ведь это оружие. Если ударить струей в лицо... Надо придать их группам особого назначения.

– Идея, – соглашается Олег Петрович. – Толькождемся ли мы чего? Сдается мне – союзники сюда не полезут. Нет резона...

Федор тоже с каждым днем теряет веру в десант. Но, чтобы ободрить друга, он уверенно говорит:

– Придут! Ведь там король Норвегии, генеральный штаб...

– А что король? Ему ни холодно ни жарко...

Оба задумались. Каждый хорошо понимал, что обстановка в лагере накаляется. Зайцев после «душевной» беседы с унтером встряхнулся, принялся энергично подбивать пленных на предательство. Он сам разносит по комнатам газеты, беседует с отдельными пленными, оклеивает стены барачных плакатами. В них министерство пропаганды не очень ловко выворачивало наизнанку общеизвестные теперь факты. Ясно, что немцы не ограничатся полумерами. От не приносящей им пользы агитации они вот-вот перейдут к решительным действиям.

* * *

После двухмесячной отлучки Яшка Глист и Лукьян Никифорович появились в лагере в новенькой военной форме. От немецкой ее отличала лишь ромбовидная нашивка на рукаве с тремя буквами: РОА.

Вместе с ними приехал молоденький лейтенант – «спаситель». Высокий, статный, с античным профилем лица, он презрительно смотрел на пленных из-под черных полуопущенных ресниц. Вскоре от денщика Аркадия стало известно, что Серж (так звали лейтенанта) – сын

русского графа-эмигранта. Он ненавидит пленных всеми фибрами души, называет их за глаза большевистскими ублюдками.

Жили они все трое в городе, в расположении немецкой части, а в лагерь приходили лишь для проведения вербовочной работы.

Лукьян Никифорович в первую очередь навестил своего подшефного – Степана Енина. Как ни противна Степану была эта встреча, он улыбнулся, подал руку.

– Лукьян Никифорович! Вы так поправились. Просто не узнать...

– Да? Кормили нас хорошо, коллега. Военный паек, – Лукьян Никифорович то и дело поглядывал на свой френч. На маленькой сутулой фигурке военная форма сидела не только мешковато, но до смешного нелепо. Тем не менее, Степан сказал:

– У вас такой солидный вид. Форма так идет вам...

Лукьяну Никифоровичу такие слова казались музыкой. Долго не колеблясь, он передал «приятелю» бумажный сверток и, как бы между прочим, несколько раз подчerkнул, что в свертке продукты.

Лукьян Никифорович вкрадчивым шепотком поделился со Степаном привезенными из Германии новостями. Оказывается, готовится великая сила из русских и немецких патриотов. Она ликвидирует натиск с Востока. «Уже натиск, а не сокращение линии фронта», – отметил про себя Степан. Под большим секретом Лукьян Никифорович еще сообщил, что в летнем наступлении этого года Германия использует новое сокрушающее оружие.

– Дорогой коллега! – продолжал Лукьян Никифорович. – Настал решительный момент. Немцы очень великодушны. Каждому из нас они предоставляют возможность исправить в своей жизни ошибку.

– Какую ошибку? – недоумевал Степан, прикидываясь простаком.

– Пора нам жить так, как мы хотим, а не по указке.

– Это да, – согласился Степан.

Лукьян Никифорович схватил Степана за отворот френча, потом за пуговицу, начал ее крутить.

– Дорогой коллега, я желаю вам только добра. Вступайте в освободительную армию. Это долг каждого.

Степан не растерялся. Он давно ждал такого предложения.

– Коллега! – Степан в ответном душевном порыве взял Лукьяна Никифоровича за руки. – Я всем сердцем с вами, но вступить, понимаете, не могу. Религиозные убеждения... Я баптист. Понимаете?.. Там меня силой заставили воевать, а тут свобода вероисповедания. А так я всей душой...

– Да ведь речь идет о борьбе с большевиками, злейшими врагами цивилизации.

– Все равно не могу. Нет, отец проклянет меня. Он такой пацифист...

Лукьян Никифорович загорячился. Он совсем не ожидал провала. За такую работу могут на фронт отправить. В два счета...

Облизывая кончиком языка внезапно пересохшие губы, Лукьян Никифорович начал доказывать, что на всякое зло следует отвечать злом.

– Нет, так не по учению Христа, – стоял на своем Степан. – Не могу. Только не обижайтесь, пожалуйста...

– Да ты послушай, коллега... Конечно, свобода вероисповедания...

Неизвестно, сколько продолжался бы этот разговор, если бы не шум в соседней комнате, который Степан не преминул использовать для того, чтобы отвязаться от своего «приятеля».

– Что там такое?

Распахнув дверь, Степан увидел Яшку Глиста и Васька. Окруженные жильцами комнаты, они стояли один против другого в проходе между нарами. У Глиста позеленели теперь уж не только втянутые щеки, и сам он весь так трясся от злости, что не попадал зуб на зуб. Васек же напоминал бодливого бычка, готового с секунды на секунду ринуться на своего врага.

– Не пугай, – цедил сквозь зубы Васек. – Самому, видать, страшно – так и других пугаешь. Конечно, в России по тебе веревка плачет. Давно плачет... А нас за что на Колыму?

– За что? Присягу нарушил? Родине изменил? Вот тебе и Колыма...

– Там разберутся, как и почему нарушил... А вот кто портреты Гитлера рисовал – тому не сдобровать...

– А я не собираюсь в Россию. И вам не советую.

– Иди вот Лукьяну Никифоровичу посоветуй, а нам нечего...

– Брось бузить! – загудел Егор, вступаясь за Глиста. – Заткнись, пока я из тебя мокрого места не сделал!

Несколько человек возмутилось:

– Попробуй тронь!

– На кулаки все надеешься?

– У нас тоже есть кулаки...

Не ожидая такого отпора, Егор смолк. Яшка же с досадой плюнул, достал трясущимися пальцами сигарету.

– И тебе России не видать, как своих ушей. Попомни меня!..

Яшке надо было идти в следующую комнату, но он поспешно зашагал в немецкий блок.

– Господин унтер-офицер, не могу я больше... Рта раскрыть не дает. Так и ходит по пятам...

– Кто?

– Васек, беленький такой, из первой комнаты...

– Распустили!.. Курносого паршивца я давно приметил. Думаете, он со своего голоса поет? Нет, за его спиной стоят.

Удивительным парнем был этот Васек. Надвигающаяся победа над фашизмом, казалось, пьянила его, и он окончательно расстался со всякой осторожностью. Васек действительно ходил по пятам за «спасителями» и говорил им то, что думал. Никакие увещевания друзей не помогали.

Вот и сейчас Степан, после стремительного, не обещающего ничего доброго ухода Глиста, отвел Васька в сторону.

– Что ты делаешь, сумасшедший? Ведь расстреляют...

Васек насупился и зло отрубил:

– Плевал я... Всех не перестреляют. На моих братьев петлю набрасывают, а я должен молчать, да? Да пошли они!..

Вот и предостереги его.

В воскресенье из коридора слышится команда Антона:
– Строиться! Выходи! Живо!

Командиры взводов, проинструктированные штабом, потихоньку сообщают, что предстоит агитация. Что бы ни говорили – молчать. Ни звука!

Пленные лениво выходят на апельплац, становятся по четыре. Всем досадно от мысли, что предстоит долгая выстойка. И потому никто не обращает внимания на Антона, который, бегая вдоль строя, требует выровняться, «убрать» животы.

Пленные мрачно наблюдают, как Лукьян Никифорович и Егор устанавливают под флагштоком небольшой стол. А когда Яшка Глист приносит стул, а потом графин с водой и стакан – пленные переглядываются. Что за комедия? Васек кривит в злой усмешке губы, а Цыган многозначительно хмыкает и тянет:

– Будем посматривать, как говорил мой знакомый грузин...

Из немецкого блока выходят трое. Идут в ногу, твердо печатая шаг. Издали слышно, как хрустит под сапогами щебенка. Крайний справа – унтер, слева – лейтенант – «спаситель» Серж. А в середине – высокий, пожилой гауптман. Поджарый и прямой, будто аршин проглотил, смотрит сквозь толстые стекла очков высокомерно.

– Смирно! – командует Антон.

Гауптман небрежно машет рукой в белой перчатке, дескать, вольно.

– Вольно!

Гауптман садится на стул, унтер и лейтенант почтительно стоят по бокам.

– Я очень корошо знать Россия.

Этим запас русских слов у гауптмана, кажется, истощился. Чтобы хоть как-нибудь слепить следующую фразу, гауптману нужно время. Он сосредоточенно морщит лоб, жует толстыми губами.

– Крупный специалист по России! Знаток!..

Фраза нравится русским. Ее передают по рядам, пересмеиваются. Кто-то подозрительно долго кашляет. Унтер хорошо понимает, с какой целью это делается: неуваже-

ние начальства, своего рода саботаж... «Большевицкие выродки!..» – думает унтер. Взгляд его становится холодным и острым, и, как всегда в таких случаях, начинает подрагивать в колене левая нога.

– Я видеть, как жить мужики старая Россия. Очень хорошо жить. Филь свинья и баран. Етцт нет свинья и баран...

– Сам ты свинья и баран! – шепчет Васек Цыгану, а тот, прыская в руку, передает соседу, и вскоре весь строй смеется. Смеется почти в открытую.

Гауптман в замешательстве. С недоумением на лице он оборачивается к унтеру. Тот с быстротой, которой позабывал бы спринтер, срывается с места.

– Молчать! Смирно! Ждете Красную Армию?! Не дожидетесь! Ложись! Встать! Бегом! Ложись!

Вгорячах унтер забывает отделить от колонны «спасителей», и они вместе со всеми брякаются в лужи, вскакивают, бегут и опять брякаются...

Так продолжается не менее двух часов.

* * *

Тучи. Черные и лохматые, они с нахальной уверенностью вываливаются из-за острых горных вершин, несутся над лагерем, щедро расплескивая воду. От нескончаемых дождей лагерь опять превратился в сплошное мутное болото.

Федор Бойков только что вернулся из ночной. Он промок до последней нитки...

Разбросив на лавке тяжелую шинель, Федор пьет мелкими глотками кипяток, греет о котелок руки с негнущими пальцами.

– Вот зарядил... Всю ночь без передышки...

Садовников, опустясь на одно колено, толкает в печку короткие чурки.

– Сейчас я тебя согрею. Что слышно?

– А где услышишь? Норвежцев ночью нет. Анекдот вот слышал. Гитлер взобрался на крышу флаг свой фашистский устанавливать. И сорвался. Катится и кричит: «Не упаду! Ни за что!» Орал – пока не шмякнулся.

– Похоже – так и будет... Упрямый, дьявол. – Олег Петрович смотрит, как с шинели каплет на пол вода. Капли,

сливаясь, образуют лужицу. – Странно... Обманывает немцев на каждом слове, а те продолжают верить.

– Не все, Олег... Продолжают верить те, кому больше ничего не остается...

Дверь внезапно приоткрывается. Денщик, всунув голову между дверью и притолокой, окидывает взглядом комнату.

– Одни?

– Как видишь... – бросает Садовников, по-прежнему занимаясь печкой.

Денщик захлопывает дверь и подпирает ее спиной так, будто в комнату ломятся. На нем нет лица.

– Спокойней, друг, спокойней. – Олег Петрович встает и с чуркой в руке не спеша подходит к Аркадию. – Что случилось?

– Беда, товарищи! Расправа... Список составили... Федор первый, а дальше не знаю... Не удалось... Унтер едет в гестапо...

– Расскажи толком. Возьми себя в руки! – говорит Олег Петрович, хотя сам внезапно чувствует колючий холод. Он сковывает все тело, замораживает мысли. Нужна немалая сила воли, чтобы решительно сбросить с себя жесткие путы страха, этого союзника врага.

Аркадий, держась за ручку двери, сбивчиво рассказывает;

– Ночью совещались. Серж был, Антон, Яшка Глист, Лукьян Никифорович... Я слушал через переборку. «Хватит! – сказал унтер. – Так мы ничего не добьемся. Давайте, кого?..» Антон назвал вон Федора, потом вас, Олег Петрович. Но за вас вступился Глист. Врача, говорит, прошу не трогать. Он нейтральный... Я готовлю его... «Главное, – сказал Антон, – убрать, а кого, это большого значения не имеет». Унтер не согласился, сказал, что надо самых зябдлых. Дальше такой шум поднялся. Поминали Васька, санитар... Вас, Олег Петрович, кажется, не записали...

«Спасти Федора! Любой ценой!»... – думает Садовников и смотрит на Федора. Тот остается внешне спокойным. Он по-прежнему держит у котелка иззябшие руки.

– Дневная ушла? – Садовников, увидев в руке чурку, бросает ее к печке.

– Нет еще, – Аркадий трясет головой. – Строятся...

– Убирайся отсюда! Сию минуту уходи!

Аркадий ныряет в коридор.

Садовников немного ждет и тоже выходит.

Федор отодвигает котелок. Он думает о том, что скала, которая все время угрожающе висела над их головами, рухнет. Уже рухнула. Его уже нет, он раздавлен. Кого же еще придавит эта глыба? Олега Петровича? Нет, не должно... Кого же? Васька? Да, от него обязательно избавятся. Эх, баламут! Зачем так было? Глупый Васек! Глупый... А сам? Мало чем отличался... Сколько Олег предостерегал...

Возвращается Садовников. Он садится перед печкой, открывает дверцу.

– Прогорело... – Садовников подкладывает дров. – Хорошо, что в ночной... Сегодня уйдешь. Я предвидел... Договоренность давно есть. Бросаешься за развалины школы. Там тебя будут ждать. Никифор предупредит Людвига... Возьмешь пистолет.

Садовников не говорит, а приказывает, смотрит на Федора. Тот, облокотясь на стол, сидит недвижимо, с окаменевшим лицом.

Так проходит несколько минут. Дрова разгораются, и маленькая комнатка наполняется благодатным теплом. А по окнам хлещут потоки воды. Вода журчит, булькает... Ветер сердито шипит, брякает стеклом.

– Курить! – точно очнувшись, говорит Федор чуть хрипловатым голосом. – А что, если поднять лагерь? Хотя нет, погубим без толку людей. Что же делать? Эх, морда!.. Вот стерва! И союзники эти!..

Федор ожесточенно трясет головой. Олег подает другу прикуренную сигарету. Тот жадно затягивается.

– Только бы до вечера не взяли. Уйдешь. Уверен. А на прощанье прихлопнешь несколько фрицев. Там свяжешься с партизанами, поможешь нам.

Федор встает, ходит по комнате.

– Не очень ты мудро придумал, Олег.

– Почему?

– Так... Даже обидно... Сколько вместе и так плохо думаешь обо мне.

– Ты пойми, Федор!.. – горячо перебивает Садовников.

– Я все понял... Бросить товарищей? Дезертировать под огнем? Нет! Я останусь! Распорядись насчет пистолета. Пусть сейчас же принесет. Могут нагрянуть каждую минуту. Живьем в руки не дамся.

На протяжении дня Садовников несколько раз заводит разговор о побеге. Он всячески старается доказать, что оставаться Федору в лагере неблагоприятно, даже глупо.

– Ну что это даст? Погибнешь попусту.

Федор молчит. Он лежит на топчане, засунув под голову руки.

– Решайся, Федя. – Садовников подсаживается на топчан.

– Гибель бесполезна, говоришь? Ошибаешься, друг. Смерть никогда не бывает, бесполезной, если, конечно, она принята с достоинством, честно. Постараюсь показать, как умирают советские люди.

Олег Петрович в душе согласен с Федором. Но жаль друга. А конец войны недалек...

– Федя, давай вместе... – Олег Петрович кладет на грудь Бойкова руку. Тот отстраняет руку, встает.

– Нет! Можешь остаться. Вполне... Ты нужен лагерю. Уходи отсюда, Олег. Прошу. Иди в ревер.

Федор почти насильно выталкивает Садовникова в коридор, запирает на задвижку дверь и опять ложится. Пальцы греют в кармане холодную сталь пистолета. Пусть сунутся. Он ударит в упор, без промаха...

Чутко прислушиваясь, он думает о своей жизни. Короткая она и ужасно нескладная... В сущности, ничего не сделано. А ведь человек рождается на большие дела. В мае исполнится двадцать семь. Девятнадцатого мая... Мать в этот день пекла сладкий пирог, а отец выпивал. И мать не перечила ему, потому что было «законно» – именины. Да... Интересно – после, взрослым, он не встречал ничего вкуснее слоеного пирога матери... Почему так, а? Впечатления детства?

Вечером Федор собирается на построение. Он побрился, подтянулся и положил в карман шинели пистолет.

– Олег! Простимся на всякий случай...

Они жмут друг другу руки. Олег охватывает шею Федора, попеременно целует его в щеки, в губы. Потом врач

снимает очки и кусочком марли, заменяющей носовой платок, усиленно трет стекло. Глаза у него влажные, он часто моргает. Федор смотрит в пол.

– Адрес не забудь. Пусть дети узнают... И жена... – говорит он глуховатым голосом.

Слегка кивнув напоследок другу, Федор выходит из комнаты. Перед воротами, где строятся пленные, он встречается со Штарке.

– Здравия желаю, господин унтер-офицер! – Бойков ловко козыряет.

Штарке улыбается. Сразу видно – он в чудесном настроении. Унтер дружески хлопает Федора по плечу.

– Как дела?

– Как всегда, господин унтер-офицер.

– Знаешь, Федор... В ночной очень тяжело... Я ведь понимаю... Ты отдохни сегодня. Обойдутся... Отоспись. Возьми вот сигарет.

– Вы так заботливы, господин унтер-офицер...

Унтер еще раз хлопает Федора по плечу.

– А как же?.. О людях надо заботиться. Что ваш Сталин говорил? Он говорил, что к людям надо относиться бережно, как хороший садовник к деревцу.

– У вас замечательная память, господин унтер-офицер, – льстит с улыбкой Федор. – А я вот не помню...

Унтер доволен. Он говорит с нотками хвастовства:

– На память не обижаюсь. Конечно, это были пустые слова, красивые фразы. У большевиков слова всегда расходятся с делом. А вот наш фюрер что говорит, то и делает. Правильно?

– Мне трудно судить, господин унтер-офицер... Значит, можно отоспаться?

– Да, да... Конечно...

– Благодарю. Ауфвидерзеен!

Козырнув, Федор четко поворачивается и уходит.

* * *

В полночь, когда усталые и назябшиеся пленные крепко спали, к лагерю тихо, точно крадясь, подкатил грузовик с брезентовым верхом. Черные гестаповцы не успели еще выпрыгнуть из кузова, как открылась дверь караульного

помещения. В прямоугольнике света на какую-то секунду появился унтер, а за ним Антон.

Пока Штарке вполголоса разговаривает с гестаповцами, шофер разворачивает у ворот машину, глушит мотор, и дождь снова становится полновластным хозяином ночи. Он остервенело хлещет плащи фашистов, камни, крышу и стены караульного помещения, скользит каплями по колючей проволоке.

Часовой распахивает калитку, и Штарке первым заходит в лагерь. За ним бочком поспешно проныривает Антон, потом один за другим идут гестаповцы. Черные, едва различимые тени скользят по склону, вдоль стены барака.

У Штарке все продумано. Сейчас они возьмут Бойкова, потом этого паршивца Васька и санитаря. Унтер хорошо представляет впечатление, которое произведет ночной арест, а затем расстрел... «Пуля – лучшее средство агитации», – думает он. А с врачом Штарке расправится сам, без гестапо. Большевик он или нет, а Зайцев прав – лучше убрать его из лагеря. Спокойней, воздух чище... В тридцати километрах отсюда есть крошечный безлюдный островок. Там сорок русских офицеров добывают для стройки песок. Пусть поработает с ними и врач. Штарке уже договорился...

Немцы заходят в коридор. Штарке толкает дверь. Она оказывается закрытой изнутри. Тогда Штарке кивает Антону, уступает ему место. Антон стучит кулаком в дверь.

– Откройте! Федор! Олег!

Антон старается возмущаться, но голос дрожит. Он трусит. Вечером, после работы, Антон даже не решился зайти в комнату. И теперь его неудержимо колотит дрожь. Но он все-таки продолжает стучать и кричать:

– Оглохли, что ли? Откройте!

Гестаповцу, с лицом, напоминающим перезрелую дыню, надоедает эта канитель. Он отталкивает Антона и с маху ударяет плечом в дверь. В это же мгновение лопается выстрел, и гестаповец, сгибаясь, утыкается головой в открытую им комнату. От второго выстрела Антон тонко взвизгивает и, поворачиваясь налево, валится.

Немцы баранами шарахаются из барака. В дверях образуется пробка, Федор из темной глубины коридора посылает в эту гуцу еще несколько пуль.

Вывалясь наружу, гестаповцы палят наобум в коридор. С дальней вышки всполошенно строчит пулемет. Строчит наугад, куда придется. В темноте тонко и жутко посвистывают пули. В перерывах между очередями слышатся крики, ругань и топот в немецком блоке.

Гестаповцы очумело сбиваются за угол барака, приседают.

– Доннер-веттер! – стонет кто-то из них в темноте. – Разнести все!.. Камня на камне не оставить! До чего дошло...

Унтер первым догадывается, что следует зайти Федору в тыл. Махнув зажатым в руке пистолетом, он приказывает:

– Двое за мной! Сейчас мы его...

Пригнувшись, они крадутся под стеной, поочередно заскакивают в умывальник. Сдерживая дыхание, перебегают к закрытой двери. Стоят несколько секунд. Слушают. За дверью тишина.

По кивку унтера все трое бьют из пистолета в дверь. Бьют примерно на уровне груди человека. Прекратив стрельбу, снова прислушиваются. Уловив сдавленный стон, бросаются к двери. Толстый, кулеобразный изо всех сил дергает ручку, колотит ногами в филенку. Дверь с треском распаивается, и кулеобразный, стремительно отлетев, падает спиной на бетонный пол. Второй гестаповец проворно заскакивает на порог.

Федор лежит вниз лицом. Жизнь покидает его. Он уже не может поднять головы, но рука с крепко зажатым пистолетом то неуверенно поднимается, то падает на пол.

Гестаповец ударом ноги выбивает пистолет, с наслаждением всаживает кованый каблук в затылок Федора, потом вскакивает ему на спину и месит. Месит деловито, с натужным кряканьем и зубным скрежетом. Ему помогает унтер.

– Готов! – тяжело выдыхает унтер. – Сакрамент! Где он достал оружие?

С противоположного конца коридора врывается еще несколько гестаповцев. Каждый из них считает своим неременным долгом пнуть безжизненное тело.

После Федора гестаповцы хватают санитара и Васька. Искровавленных, их волокут к машине. Туда же, к машине, бережно уносят убитых и раненых. Их пятеро: четыре гестаповца и Антон...

Садовникова унтер отправляет в карцер, а часа два спустя, когда в лагере снова все затихает, два солдата открывают тяжелую скрипучую дверь карцера...

- Паус!

За воротами Олег Петрович оглядывается на лагерь и спокойными шагами уходит в темноту.

* * *

Какая бы тяжесть ни была на душе, как бы ни ныло сердце, а лебедку крути. И Степан крутит. Длинная, отполированная ладонями рукоятка достигает самого трудного места – верхней мертвой точки, под нажимом рук уходит вниз и опять вверх. Так весь день. Так завтра и послезавтра...

Степан слышит пыхтенье Цыгана, видит, как в тумане, его мрачный профиль.

Свободной рукой Степан смазывает на лбу едучие капли пота. Ох, как тяжело, невыносимо... На ум приходят галеры с преступниками на веслах... Васек отмучился свое...

Васек!.. Не пришлось парню вернуться на Волгу. Вчера расстреляли... Васька и санитара... Расстреливали на этот раз по-новому – за городом.

Четверо больных, взятых наугад из ревира, присутствовали при расстреле. Они же по приказанию гестаповцев закопали тела товарищей.

По рассказам «кранков» Степан, в который раз уже, представляет, как все происходило.

«Кранков» загнали под брезент машины, туда же бросили четыре лопаты. В темноте больные не сразу узнали товарищей.

– Что, разбогатели? – насмешливо спросил Васек.

– Говорить не можно! – закричал тут же сидевший немец с автоматом.– Ферботен!*

* Запрещено!

– Плевал я теперь на твой ферботен! Гады! Мало вас Федор уложил...

Немец, стервенея, ткнул Ваську в бок автомат.

– Шизен! Пук!

– Стреляй! Какая разница, где...

– Не замай, – спокойно посоветовал санитар. – Хиба це людына?

Под высокой скалой их заставили раздеться до нижнего белья. Васек сорвал с себя френч и, смяв его в комок, бросил в старшего из гестаповцев.

– На, гад! Подавись своим барахлом! Я вчера в латрин ходил. Можешь подобрать...

Гестаповец, бледнея, крикнул на подчиненных, и те повернули обреченных лицом к скале.

– Заслабило? – Васек обернулся. – Нервы не выдерживают? А вот у меня выдержали бы!..

Санитар тоже обернулся лицом к врагам.

– Стреляйте! Стреляйте, пока я не вцепился вам в горло! – Сжав кулаки и пригнувшись, Васек двинулся на старшего гестаповца. Худое, все в синяках и с разбитой губой лицо Васька пылало ненавистью. Да и сам он весь сгусток такой неистребимой ненависти, что многоопытный в делах истязаний гестаповец опешил. Забыв, что под боком стоят шестеро с автоматами, он попятился, схватился за пистолет.

– Хлопцы, держись! – сказал больным санитар. – Смерть краше измены.

...Налегая из последних сил на рукоятку, Степан думает о санитаре. Кто он, этот разбитной паренек? Кажется, всякий может стать героем, если он знает, за что борется. Да, главное знать, иметь ясную цель. Вот Федор, Васек... А что случилось с его земляком, Олегом Петровичем? Куда его дели? Сколько он спас людей...

– Хальт! – машет руками подслеповатый мастер.

Команду повторять не приходится. Как приятно опустить онемевшие руки, распрямить спины, вдохнуть полной грудью влажный солоноватый воздух.

– На такой баланде долго не накрутишь. – Цыган дышит, как запаленная лошадь. – Голимая вода... Даже брюквы жалеют.

– У «спасителей» вчера мучная была... Ложка устоит, честное слово!.. И мясо... Егору вон три куса влетело. Большие...

– Так иди к «спасителям»! – злобится Цыган на хилого, узкогрудого пленного.

– Да что я, дурной?

– Ну, а чего же тогда?.. – ворчит Цыган. – Мясо! Конина фронтовая, дохлятина...

– Говорят, хлеб сбавят. Буханку на десятерых...

Пленные замолкают.

На поверхность бухты чертом выскакивает водолаз, крутит головой за круглыми толстыми стеклами и вскоре опять скрывается. Водолазы перевязывают тросы. Еще немного – и крейсер встанет в свое исходное положение, начнется откачка воды. Интересно, что в нем осталось?

– Хотя бы подольше они повозились с тросами. – Цыган садится на камень. Остальные тоже садятся. «Спасители» сидят отдельно. Легкий ветерок приносит от них дразнящий запах табака: им выдают теперь, как и солдатам, по три сигареты в день.

Бухтой проходит эсминец. Волны от него бьются о ржавую коробку крейсера, о берег...

Маленький черный буксир осторожно заводит в порт плоскую железную баржу. На барже одиноко стоит моряк с автоматом. «Что он охраняет?» – думает Степан.

* * *

Вечером в бараче появляется унтер, лейтенант-«спаситель» Серж, Яшка Глист и Лукьян Никифорович. Они заходят в угловую комнату.

– Ну, как суп? – спрашивает унтер.

Пленные молчат. Всем понятно, что унтер издевается. Какой суп? Даже ничего похожего... Вода с крохотными блестками вонючего рыбьего жира.

– Не то еще будет, – грозит унтер, поглядывая почему-то на Степана. – Большевиков выведем, ни одного не оставим! Найдем дружков Бойкова! Не беспокойтесь!

Пленные еще ниже склоняются над котелками. Унтер многозначительно хмыкает и выходит. За ним тянутся лейтенант и Яшка Глист, а Лукьян Никифорович остается.

Комната продолжает безмолвствовать. Никто ни слова. Тягостное до жути молчание. Для Лукьяна Никифоровича оно грознее любых слов. Он мнетса, то засунет руки в карманы мешковатого френча, то подтянет сползающие брюки.

Прикашлянув, Лукьян Никифорович угодливо предлагает.

– Друзья! В газете довольно любопытная статья. Хотите послушать?

Все продолжают молчать. Молчат так, будто не замечают присутствия Лукьяна Никифоровича, не слышат его слов.

– Гм, как хотите... Бойкот! – Лукьян Никифорович обиженно передергивает плечами, обращается к Степану: – Коллега, можно вас на минутку?

Они выходят в коридор, потом на апельплац.

– Удивительное отношение! – возмущается Лукьян Никифорович. – Вы видели? Да, конечно, видели.

«Что ему надо от меня? – думает Степан. – А что если спросить об Олеге Петровиче? Он знает, скотина. Только бы не навлечь подозрений...»

– Как состояние Антона? – интересуется для начала Степан.

– Антон? Он в немецком госпитале. Там крупные специалисты. Надо полагать, спасут. Прострелено правое легкое. Вот каким оказался Бойков. Кто мог подумать? До чего дошло. Позор нам всем. Ведь немцы могли жестоко покарать. Несомненно... Но еще раз показали свою гуманность. Согласитесь, коллега?

Верный своей привычке, Лукьян Никифорович хватает Степана за пуговицу френча, начинает усилено ее крутить. Степан будто невзначай прикрывает ладонью пуговицу.

– Простите! – спохватывается с виноватой улыбкой Лукьян Никифорович. – Вот не могу избавиться...

– О чем вы? – Степану будто невдомек. – Мне очень трудно, Лукьян Никифорович. Вы знаете – я убежденный противник всякого насилия и крови. Я не могу...

– Подождите, подождите! – спешит Лукьян Никифорович, точно Степан убегает. – Считаете, напрасно этого Васька и санитара?.. Вряд ли... Они ничем не отличаются от Бойкова. Да, несомненно. И, если говорить откровенно, вам предстоят большие неприятности.

– Мне? – удивился Степан. – Вы не оговорились?

– Нет, дорогой коллега... Ваши религиозные убеждения – блеф, маскировка. Прикрываетесь?!

Степан чувствует, как у него громко бьется сердце. А Лукьян Никифорович, вскинув голову, нацелился в лицо Степана пытливым взглядом.

– Шутите, Лукьян Никифорович? – Степан не без усилий улыбается.

– Нет, я вполне серьезно.

Степан возмущается. Это нетрудно. Тут уж не приходится играть. Укоризненно качнув головой, он сердито отворачивается, потом смотрит в упор на Каморную Крысу.

– Вот этого я не ожидал, Лукьян Никифорович. Ведь вы культурный человек. Простительно кому-нибудь другому. Не считаться с убеждениями, брать на подозрение человека. Да как можно?.. Поставить знак равенства между политическими взглядами и религиозными убеждениями...

Лукьян Никифорович смущен. Он извиняюще притрагивается к локтю Степана.

– Нет, я не отождествляю большевизм с баптизмом. Но ведь борьба, коллега. Стоять в стороне от нее – значит, помогать врагу. Да, да, коллега! Кто не с нами, тот против нас. Конечно...

– Как я могу помогать врагу? Странные суждения. Не ожидал такого... Вы поборник свободы. Сами говорили...

Лукьян Никифорович, изворачиваясь, строчит без умолка, хлеще любого автомата. Степан смотрит на него с брезгливой ненавистью. Подлая тварь! Забрался в яму и тащишь других за собой.

* * *

Ночью Степан проснулся от рокота мотора. Машина! Неужели гестаповцы? Опять!.. Приподняв голову, Степан напряженно прислушивается. Кажется, ушла... В немецкий блок... Носит их по ночам...

Сон улетел вспугнутой птицей. Степан думает и думает... Вот здесь, под боком, лежал Васек... Лежал... Нет Федора, и неизвестно, что с Олегом Петровичем. Оставшиеся в живых растерялись, притихли. За Васьком могут взять его, Никифора, каждого могут... Все рухнуло с одного сокрушительного удара. А возможно, не рухнуло? Так рухнет...

И не только Степан мучается... Если теперь незримо пройти по комнатам, можно заметить, что многие не спят. Сгрудясь по двое и трое на нарах, пленные тихо, с оглядкой перешептываются. Как быть?

Фашисты яростно атакуют... Уже третий вечер пленные один по одному заходят в приемную ревира. Там лейтенант Серж, Антон, Яшка Глист и Лукьян Никифорович беседуют «по душам». Вызывают на выбор, в первую очередь, очевидно, тех, кого считают менее стойкими.

Вчера Степан видел, как сутулый, чахоточного вида пленный из третьей комнаты, выйдя из ревира, расплакался навзрыд, по-детски.

– Что, струна лопнула? – зло спросил кто-то из дождавшихся очереди на «прием».

Пленный, опустив голову, ушел.

Спустя несколько минут Степан заглянул в третью комнату. «Доброволец» хныкал на средних нарах. В ногах у него стоял, очевидно, земляк.

– Я им покажу... Я навоюю...

– Себя только тешишь, больше ничего. Тут не показал, а там и подавно... Перемешают и не поймешь, кто чем дышит... Будешь как милый постреливать в своих. Может случиться, и в брата пальнешь иль односельчанина...

– Да они ведь силком, под наганом!..

– Ладно нюнить! – оборвал земляк. – Глядеть тошно... Забирай матрац и отправляйся. Там хлеба и баланды от пуза.

Степан слазит с нар, всовывает ноги в ботинки, не связывая их, выходит в коридор. Двигает ботинки, стараясь сильно не бухать. За дверями стоят двое.

Светаёт. Сквозь поредевшую темноту проступают силуэты гор. Двое тихо разговаривают.

– В первой половине апреля у нас сеют. Какая бы весна ни была – все одно...

– Это где?

– Курский я...

– А я северней, Псковская область... Да, детишек, понимаешь, жалко... О себе я не думаю... Там погибают, а мы что, святые?... А вот детишек жалко. Четверо... Один одного меньше...

Степан с недоумением прислушивается. Дежурные? Кажется, они? Значит, не рухнуло, все идет по-прежнему? Он сам растерялся, а не другие...

Степан возвращается, ложится, но уснуть не может. Услышав осторожные шаги, Степан подымает голову. Посреди комнаты стоит Бакумов и манит его пальцем.

Они не спеша идут в уборную. Бакумов молчаливей обычного, смотрит мрачно в ноги.

– Не вызывали?

– Нет еще...

– Меня тоже...

Степан, чуть приотстав, передает разговор с Каморной Крысой.

– Шантажирует, – заключает Бакумов. – Какие у них основания подозревать тебя? А евангелие есть?

– Зачем? – удивляется Степан.

– Какой же ты баптист без евангелия? Достанем. Цитаты вызубри. Чтобы честь честью. Вызовут – стой на своем. Евангелие прихвати...

– Да, так, пожалуй, убедительней будет, – соглашается Степан.

– Сегодня баржу в порт не заводили? Не замечал?

– Баржу? Кажется, была.

– Тише! – Бакумов оглядывается.

– Была, была... – Степан послушно сбавляет голос. – Железная... Часовой...

– Она, значит... Взрывчатка... – Бакумов задумчиво потирает крутой с горбинкой нос. – Сегодня девятнадцатое?

– Да, уже...

– Завтра день рождения фюрера. Неплохо бы отсалютовать. Представляешь?

– Что-то не очень... Не понимаю, как?..

– Подумать надо... Только бы не убрали ее. Заманчивая возможность.

Утром пленные затащили по трапам на рыжую палубу крейсера два тяжелых насоса, и теперь по толстым шлангам хлещет за борт вода. Шум ее сливается с гудением двух электромоторов. А на берегу высится под серым брезентом пирамида черных гробов. После откачки воды пленным предстоит извлечь из ржавого нутра коробки членов экипажа. Каждому понятно, во что превратились за четыре года бранные останки рыцарей «третьей империи». Не очень-то приятное дело...

Но Степана Енина беспокоит совсем иное. Вторые сутки он не живет, а, кажется, горит на медленном огне. Нервы напряжены до предела, сердце колотится с удвоенной силой. Взорвать! Непременно взорвать! Хоть не в полную меру рассчитаться с врагами... Но как это сделать? Как, черт возьми?!

Вчера Степан разведал, что баржа стоит напротив складов. И сегодня она там. Это метров на семьдесят дальше латрина. Пленные туда не ходят. Им нечего там делать. Любой немец задержит в том месте пленного. Но если даже удастся чудом проскочить, что дальше? Ведь на барже часовой. Как подступиться к нему?

Вечером Степан долго советовался с Бакумовым, а ночью, когда все спали, Цыган принес ему полуторалитровый котелок.

– Баланды землячоч подкинул. Тебе оставил немного, – сказал Цыган, лукаво подмаргивая. – Не забудь помыть котелок.

Степан поставил котелок в изголовье, накрыл шинелью, налег грудью на шинель. Бакумов предупредил, что в котелок норвежцы вмонтировали магнитную мину. Передвижением почти незаметной кнопки включается часовой механизм, и через тридцать минут мина взрывается:

Мина радует и страшит Степана. Вот то, о чем он так долго мечтал. В помятом солдатском котелке сконденсирована смерть, и завтра он, уподобясь волшебнику, выпустит ее на головы врагов. Степан сделает это с великим наслаждением. Расплата, господи фашисты! Расплата!.. А ведь погибнут не только враги... Да, да, если удастся, взрыв будет ужасным. Никифор говорит, что в барже око-

ло трехсот тонн взрывчатки. А рядом склады боеприпасов...

Смерть... Сколько дней и ночей она неотступно кружилась около, холодно дышала в затылок, но Степану удавалось как-то увернуться от нее. А теперь не увернешься. Теперь он видит ее отчетливо, ясно... Они стоят один против другого на узкой тропе, как тогда с Егором. Встреча неизбежна...

Готов ли он к ней? Ведь смерть – итог жизни. Как жил человек, так и умирает. Федор и Васек умерли мужественно. А он как? Неужели он сомневается в своих силах? Нет! Он готовит себя. Федор тоже, конечно, думал, готовился. И Васек... Иначе не может быть. Легко и бездумно умирают только герои плохих романов.

...Вода хлещет за борт, грязно пенится. У пленных – чего никогда не бывало – свободное время. Они сидят на берегу. Солнце то нырнет с разлета в облака, то выскочит, усмехнется. Детскими голосами кричат чайки.

У Степана под шинелью на старом солдатском ремне висит котелок. Степан все время чувствует его тяжесть. Рядом Цыган. Сегодня он неотступно следит за Степаном и волнуется, кажется, не меньше того. Он достает из кармана алюминиевый портсигар, осторожно трет его о рукав шинели.

– Разве сходим? – Цыган косит блестящими глазами на Степана. – Авось клюнет...

– Дождемся обеда. Теперь скоро.

– Подождем... – соглашается Цыган, а через минуту шепчет: – Терпенья, понимаешь, не хватает. Вот так со мной было в партизанах. Когда собирался на первое задание, места не находил. А потом привык. Шел, как на обыкновенную работу. Честное слово... Сплю себе, пока не растолкают.

– Без пяти час, – говорит Степан. – Видишь, тронулись.

Мимо спешат в столовую немцы. Идут группами по три-пять человек. Возбужденно разговаривают:

– Сегодня сосиски и пиво.

– Откуда такие данные?

– А вот увидишь. Вечером будет шнапс.

– Чудесно! Напьемся так, чтобы фюрер прожил еще пятьдесят пять.

Неожиданно подходит автомашина. Из кабины не спеша выбирается унтер.

Степан инстинктивно щупает через шинель котелок, смотрит в лицо Цыгана. Неужели провал? Тогда все. Мучительный и бесславный конец. Цыган тоже встревожен. Настороженный, он следит через плечо за унтером. Унтер пожимает руку Егору, Дуньке и всем остальным «спасителям». Каким добряком стал!

– Друзья! У всего немецкого народа сегодня большой праздник. Сегодня нашему фюреру исполняется пятьдесят пять лет. Возьмите вон суп...

Взгляды «спасителей» жадно тянутся к стоящему на машине бачку.

– Сохрани его, господь, дай здоровья на долгие годы, – бормочет Дунька, устремляясь вслед за Егором к машине.

Бачок схватывает больше, чем надо, рук. Его оттаскивают в сторону. И почти сразу вспыхивает ссора.

– Так не по-божески, Егорушка, – канючит Дунька. – С самого дна... Вот отдай мне свой котелок.

– Отстань! А то дам так – не возрадуешься!

Унтер зло крикает и садится в машину. Сквозь стекло ему видно, как Дунька лезет с головой в бачок, собирая пальцем со стен и дна остатки супа.

Когда унтер уезжает, Пауль Буш подходит к Степану.

– Вы без супа?

– Слишком дорогой у фюрера суп.

Пауль с горечью усмехается.

– Держитесь. Осталось немного. Уверен, что у Гитлера последние именины.

Цыган внимательно прислушивается к разговору, но почти ничего не понимает.

– Говори, чтобы проводил... Самый раз... – он нетерпеливо дергает Степана за рукав. – Развел антимию... Момент надо ухватывать. Соври что-нибудь. Скажи – договорились...

– Дай портсигар!

Степан показывает вахтману портсигар.

– Пауль, нас хотят взять голодом. Убавили хлеб, а вместо супа вода. Мы с товарищем сделали портсигар. Моряк

с баржи заказал. Вот отнести надо... Помоги, Пауль... Моряк обещал пять сигарет. Это две пайки хлеба.

– Где баржа?

Степан показывает.

– Гер вахтман... – стонет Цыган с мольбою в глазах.

Такое обращение не доставляет удовольствия Паулю.

Он с досадой двигает плечом.

– Пошли! Я доведу вас до уборной, а там сами...

В уборной Степан снимает с ремня котелок и, засунув руку в прорванный карман шинели, держит его под полой. Он старается делать все спокойно, но мыслимо ли это? У Степана пересохли губы. Он облизывает их, но и язык кажется сухим.

– Кнопку сейчас передвинуть?

– Нет, потом... Встанешь за меня... Только не дрожи, – советует Цыган.

Но сам он тоже дрожит, и глаза горят не меньше, чем у Степана, и губы сухие.

– Слушай, а может, сказать Паулю?..

– Да ты спятил? – удивляется Цыган.

– Он надежный...

– Все одно немец. Я им теперь ни одному не верю.

Столько натворили...

Вот и баржа. До нее не больше двадцати метров.

– Хальт! – Моряк на барже вскидывает автомат. – Цурюк!*

Друзья останавливаются. Цыган показывает заранее приготовленный портсигар.

– Зер гут!

– Ферботен!**

В голосе моряка уже нет прежней строгости. Он оглядывается и как-то не очень решительно манит пальцем пленных. Степану с Цыганом только того и надо – они ментально подсакивают.

У моряка под нахально вздернутым носом топорщатся черные усики а ля фюрер. Глазки хитро поблескивают. Кажется, он немного навеселе.

* Назад!

** Запрещено!

Цыган уважительно протягивает портсигар. Моряк рассматривает его, а Степан тем временем становится за спину товарища и передвигает кнопку. Все! Механизм включен, хотя работы его не слышно.

– Шен! – нахваливает портсигар Цыган.

– Да, да, – поддерживает друга Степан, становясь на самый край причальной стены. До баржи около метра. Вот сюда, в этот промежуток, надо спустить котелок.

– Вифиль?* – спрашивает моряк.

– Фюнф сигарет. – Цыган для убедительности показывает пять пальцев.

– Цуфиль**.

– Наин, никс цуфиль, – стоит на своем Цыган.

– Столько работы... Две ночи не спали. – Степан как можно больше выдвигается над стенкой и разжимает пальцы. Котелок стремительно вылетает из-под полы, шлепается на воду.

– Вас? Вас махтс ду? – всполошенно орет моряк.

Степан сокрушенно разводит руками. А немец, увидев приставший к барже котелок, смеется, крутит около виска пальцем, дескать, глупый ты, растяпа. Степан всем своим горестным видом покорно соглашается с таким определением.

Часовой опускает в карман портсигар и хватается за автомат. Лицо его мгновенно становится жестким, колко топорчатся усики.

– Ап! Цурюк!

Друзья пятятся.

– Сигареты... – слезно стонет Цыган.

– Марш, унтерменьш!***

Друзья поспешно уходят. Часовой смотрит на них с довольной ухмылкой.

Пауль Буш, узнав, что часовой присвоил портсигар, бледнеет от возмущения.

– Нахал! Минутку... Я скажу ему! Мне терять теперь нечего.

– Пошли, – упрашивает Степан. – Он фашист!

* Сколько?

** Много.

*** Марш, низкий человек!

– Подавись он... – добавляет по-русски Цыган. – Бог даст – улетит вместе с портсигаром...

Они возвращаются. Здесь все идет по-прежнему. Плещется за борт вода. Ветер приподымает угол брезента, обнажая черные гробы. «Спасители» старательно вылизывают свои котелки.

Степан садится под берег, говорит Цыгану:

– Зови наших.

Пленные собираются. Подходит и Пауль.

– Понимаете, какое дело случилось, – начинает не спеша Цыган.

А Степан краем глаза неотрывно смотрит в ту сторону, где стоит баржа. Сейчас... С минуты на минуту... Неужели не сработает?!

Заметив лавину взметнувшейся вверх воды, Степан с криком «Ложись!» бросается Паулю в ноги. Тот падает на Степана. Их настигает грохот. Ни с чем не сравнимый грохот!

Кажется, горы и море опрокинулись навзничь. И все летит! Летит к черту!

* * *

Взрыв превзошел все ожидания. Начисто снесло столовую с обедающими немцами, склады боеприпасов и продуктов, ремонтные мастерские, разметало суда.

Вот какая сила оказалась в помятом котелке русского солдата! Даже месяц спустя пленные нет-нет да и поймают в волнах то банку консервов, то бутылку ягодного сока, то кусок прессованного хлеба. Степан ел такой хлеб...

Порядком досталось при взрыве и «спасителям»: трое без задержки отправились к праотцам, многих контузило. Среди них – Дунька и Егор.

Степан ждал, что вот-вот его схватят. Ведь немцы – они дотошные, обязательно докопаются, пронюхают... Но прошел день, неделя, две... Вот уже вернулись из госпиталя Егор и Дунька. И ничего. Все спокойно. Оказывается, не такие уж дотошные и всемогущие немцы. Их можно перехитрить...

Как-то вечером Бакумов сказал Степану:

– Теперь нам надо сообща все обмозговывать. Ты, Цыган и я... Вот поговаривают об отправке «спасителей».

– Ну и скатертью дорога...– зло буркнул Степан. – Хоть от Луки отвяжусь. Ох и надоел...

– Так-то оно так... – задумчиво продолжал Никифор. – Наш человек среди них. Оружие у него в немецком блоке... Куда его теперь?..

Степану трудно было скрыть удивление. Вон оно что! Аркашка! А он думал: «Куда спрятали оружие?» Ведь после гибели Федора весь лагерь вверх дном подняли. Да и теперь редкая неделя обходится без обыска. А Цыган скрытен, даже словом не обмолвился о земляке...

Бакумов, Цыган и Степан, как ни ломали головы, но придумать что-либо толкового не могли. По всему видно, что десанта уже не дожждаться. Но оружие все равно может пригодиться. Не оставлять же его в немецком блоке.

Выход нашел повар Матвей.

За кухней, около самой проволоки, отделяющей лагерь от немецкого блока, стоит невысокое дощатое помещение. День и ночь в нем сипит локомотив. Буроватый дым лениво вьется из железной трубы над односкатной потемневшей крышей.

Локомотив варит еду для русских и немцев, подает горячую воду в душевые, отапливает жилые помещения в немецком блоке.

Машинистом работает старый и добродушный немец, а кочегарят двое русских. К повару кочегары относятся с почтительным уважением – Матвей не обижает их баландой. А повару из двух кочегаров больше по душе Сашка, низкий, кривоногий, в блестящей от масла одежде и с вечно чумазым лицом. Сашка, кажется, сметлив, рассудителен и умеет держать язык за зубами. Вот ему-то и предложил Матвей спрятать оружие.

– Можно... – легко согласился Сашка. – Шлаку-то вон сколько... Закопаю...

Аркадий, передав повару оружие, сказал, что оставил себе пистолет и две гранаты.

– В дорогу...– у денщика нервно дернулись губы.

«Спасителей» отправляли в субботу. Освобожденные от работы, они целый день лежали в комнате или бес-

цельно слонялись по лагерю. Настроение не отличалось бодростью. Не унывал только Дунька. Он все время где-то чего-то добывал. Заскочив впопыхах в комнату, Дунька с довольным видом притопнул, стараясь привлечь внимание окружающих к ботинкам, которые он с трудом выклянчил в кладовой.

– Ничего себе, прочные... – И Дунька еще раз притопнул.

Все в латках, ботинки были настолько огромными, неудобными, так они уродливо сидели на ногах, что мало кто удержался от улыбки.

– Циркач ты, Дунька! Клоун! – Егор свесил с нар кудлатую голову. – На кой они тебе хрен сдались? Воевать босиком не пошлют.

– Э, Егорушка, жди, когда дадут... Теперь бы их деготьком. От дегтя любая обувка становится шелковой, право слово...

После обеда в лагере появились Яшка Глист и Лукьян Никифорович. Оставив в комнате волосатые ранцы из телячьей кожи, Глист и Лукьян Никифорович сбегали в немецкий блок, побывали на кухне, вернулись в барак, а через несколько минут опять крупно зашагали в немецкий блок. Они хлопотали, суетились, пытаясь хоть немного заглушить этим большую тревогу в душе.

В то время, когда писали и подписывали заявления о добровольном вступлении в «освободительную армию», да и после, мало кто из «спасителей» серьезно задумывался о том, что придется самим брать винтовку. Казалось, что дело до этого никак не дойдет. Немцы настолько сильны, что сами сумеют справиться со всеми врагами, а они, влаовцы, ловко используя момент, избегают голода и сохраняют привилегии на жизнь при «новом порядке». А если, в крайнем случае, и заставят воевать, так не их, а тех, кто находится в Германии.

Но предположения не оправдались. Теперь приходится лезть в огонь, да еще в какой огонь. Говорят, пока отсюда доберешься до Германии – так не раз можно богу душу отдать. А в самой Германии все кипит, ни днем, ни ночью не бывает покоя от бомбежек.

«Спасители» оживились лишь тогда, когда Антон позвал их получать на дорогу продукты.

Унтер проявил на этот раз щедрость, которая превзошла все ожидания отъезжающих. По его распоряжению Матвей совал из дверей кухни каждому по две буханки хлеба, по две пачки изрядно подопревших сигарет, а каждому четвертому – пачку маргарина.

Матвей не удержался от того, чтобы не сделать на смешливого напутствия Дуньке:

– Смотри, не подгадь! Воюй как положено...

Дунька, будто не слыша, схватил дрожащими руками булки, сигареты и отбежал. Там, взвесив на ладонях буханки, он распустил в счастливой улыбке морщинистые губы.

– А где маргарин? – всполошился Дунька. – С кем я?..

– Тут. Не ори! – осадил Дуньку Егор.

«Спасители» спешат к бараку, у которого толпятся только что вернувшиеся с работы пленные. Они встречают власовцев колкими взглядами и насмешками. Те, прижимая к груди буханки, пытаются поскорее пронырнуть в барак, но толпа не расступается. Кто-то двигает плечом Дуньку, кто-то ядовито замечает:

– Ого, отвалили!.. Да за такое можно родную мать прикончить.

Подходит Аркадий. Он только что распрощался с унтером. Тот угостил своего денщика стопкой шнапса, дал сигарет, пачку табаку и небольшую пачку сыра. «Пусть помнит... – думает Штарке, расхаживая по комнате. – Приманка всюду нужна. Без нее не обойдешься».

– Спасибо... – У растроганного вниманием Аркадия влажно поблескивали глаза.

– Э, чего там... Пустяки... Надеюсь, напишешь?..

– Конечно, господин унтер-офицер... Получите весточку... Как только представится случай...

Штарке, описав правой ногой дугу, круто повернулся напротив Аркадия.

– Я с тобой откровенен, Аркаша. Я понимаю... Есть неудобство... Русский против русских... Так пусть это тебя не смущает... Главное – идея... Мало ли было среди немцев коммунистов. Мы их вывели.

– Меня, господин унтер-офицер, ничего не смущает. Я знаю, за что иду воевать.

Унтер доволен. Парень глуп больше, чем он полагал. Унтер подал Аркадию ладонь.

Тот крепко сжал ее обеими руками, признательно заглянул в лицо.

– Счастливо! Как это у вас говорят? Да, ни пуха ни пера...

– А вам счастливо оставаться.

Выйдя за дверь, Аркадий мгновенно становится самим собой. Слегка наклонив голову, он задерживает шаг. А что если решить эту собаку? Вот вернуться и прикончить? За Федора, за всех... Ну, а потом что? Нет, так дешево он жизнь свою не отдаст.

К бараку Аркадий подходит веселым. Его лицо напоминает майское небо в солнечный день. Подбрасывая на ладони буханку, Аркадий насвистывает.

– Земляк! – От толпы отделяется Цыган. Ему жаль парня, больно с ним расставаться.

– Дядя Семен! До свиданья, земляк! На вот хлеба.

– Да зачем? Тебе ведь самому...

– Бери! Вот сигареты, вот сыр. Бери! Скажи там, дома, если угодишь. Скажи, – Аркадий окидывает взглядом пленных, – скажи, что погиб за родину.

В толпе слышится смачный плевок.

– Так бы и съездил в морду. Пакость!..

– Да ладно тебе... Не дури, – упрасивает Цыган.

Аркадий ухмыляется.

– Разойдись! Чего столпились? – чуть не со середины двора приказывает Антон.

Степан заходит в коридор. Он мысленно пытается поставить себя на место Аркадия. Тяжело, невероятно тяжело. Чужой среди своих... Если бы можно было пожать руку этому пареньку, сказать теплое слово. А почему нельзя?..

– Иди сюда, – приглашает Степана Бакумов. Стоя у окна, он наблюдает за происходящим во дворе.

Пленные разошлись, и Цыган с земляком разговаривают под самым окном. До них не более двух метров. Бакумов слегка барабанит пальцами по стеклу. Аркадий поднимает глаза, кивает. Его лицо бледнеет, губы плотно сжимаются.

К воротам проходят конвоиры с ранцами и винтовками за плечами.

– Отъезжающие, строиться!

Аркадий, в последний раз кивнув, прикрывает на секунду ладонью глаза и стремительно уходит.

– Жаль... – Бакумов крикает, водит пальцем по стеклу. – Привет от Олега.

– Что? – Степан чувствует себя так, будто его крепко ударили по голове. Жив Олег! Жив!.. Жив!..

– Что слышал... Норвежец с самоходки передал... Худо им там... Голодно...

– Надо помочь.

– Постараемся.

* * *

Штарке завтракал, когда солдат принес почту – иллюстрированный журнал и «Фелькишер Беобахтер» за целую неделю.

Унтер не спеша, с чувством доел овсянку, выпил кофе, закурил, а потом уже принялся за газеты. И чем больше читал, тем сильнее портилось настроение. Там, в Берлине, бодрятся, а дела, в сущности, швах. И откуда у русских такая техника, такие людские резервы? Столько территории брали, столько перебили, а они прут и прут.

Штарке раздраженно отодвигает развернутые газеты. В ту войну в дураках остались и теперь... А эти англичане с американцами форменные идиоты. Кому помогают? Большевикам! Ну, подождите, господа, спохватитесь, да поздно будет. Прижмут вас...

Штарке выходит на крыльцо. В широкую распахнутую дверь кухни видно, как около красных котлов хлопочет повар. Ишь ты, шмид! Прилип к теплому местечку. Ждет... Все они ждут. Ждут и радуются. А ведь рановато радуется, «товарищи». Можете не дожидаться! Красная Армия далеко, а он, Штарке, рядом...

Длинный телефонный звонок заставляет унтера вернуться в комнату.

– Штарке? – кричит трубка.

Унтер сразу узнает гауптмана из гестапо.

– Яволь, господин гауптман! – Унтер прищелкивает каблуками. А трубка хрипит, захлебывается от ярости:

– Чем вы там занимаетесь? Штарке! Оглохли? Кого набираете в эту освободительную армию? Большевиков набираете! Бандитов! Да еще расхваливаете...

– Го... господин гауптман... Господин гауптман, я не могу понять.

– Я тоже не могу... Похоже, что большевики обратили вас в свою веру.

– Господин гауптман... Вы говорите такое...

– Что лепечете? Болван! Откуда у вашего денщика гранаты и пистолет?

– Гранаты?! Пистолет?

– Да, да! Не прикидывайтесь дурачком, Штарке!..

Трубка продолжала хрипло браниться, оскорблять, но Штарке уже ничего не слышал. Кровь бросилась в лицо, в ушах зашумело, застучало в висках.

Когда унтер, опомнясь, приложил к уху трубку, она уже молчала. Унтер свалился на диван. Щенок! Подлый щенок! Обдурил! Ох, как обдурил. Теперь все. Не оправдаешься, не докажешь...

И снова кровь бросилась в лицо, снова прерывистый шум и гул в ушах. Унтер заметался по комнате, выскочил во двор.

На апельплаце унтеру встретился Антон. Не замечая красных остекленевших глаз унтера, он подобострастно вскидывает руку для приветствия и тут же валится от удара в скулу. Крякая, матерясь, унтер пинает Антона.

– Скоты неблагодарные!

* * *

Утро, серое и тусклое, как давно невымытое оконное стекло.

Степан Енин идет на эстакаду песчаного запаса. Идет, опираясь на лопату, жадно хватая ртом воздух. Ох и трудно подниматься в гору. Каждый шаг забирает до конца силы. Очень уж ноги непослушны. Они невероятно тяжелы и до того толсты, что с трудом влазят в башмаки. И сам он весь опух. Бакумов опух. Его круглые глаза превратились в щелочки. Да разве только они?.. Многие опухли...

По деревянному настилу Степан выходит в конец эстакады. Отсюда все видно, как с самолета.

Устало дремлет укрытое туманом море. Вон смутно вырисовывается гора, с которой пленные нетерпеливо ждали сигнала. Так и не дождались...

Слева – прямоугольник тяжело осевшей в камень базы. Толстые трубы смачно выхаркивают на плоскую крышу бетон. Фашисты не жалеют бетона. Уже метров на восемь залили. Какое упрямство. Кому это нужно теперь?

Опираясь на лопату, Степан смотрит вокруг и думает. Хорошо или плохо живется человеку, а время идет. Летят дни, недели, месяцы... Вот уже кончился апрель, настал май. Май сорок пятого...

Год прошел после взрыва в порту. Год! Многие изменилось с тех пор. Советская Армия выбросила фашистов за порог своей Родины, освободила другие народы и теперь бьется где-то под Берлином. Вчера Степан случайно услышал обрывки разговора Овчарки с Капустой. «Гаупштадт!* Казачи!..» – тревожно повторил несколько раз Овчарка. Капуста вздрогнул, будто ему за шиворот спустили ледяшку, и побежал. А Овчарка остался. Он здорово изменился: мрачный и почти никогда не подымает головы. Так и смотрит вниз, точно ищет что-то потерянное...

Тяжелые бои ведет Советская Армия в северной Норвегии. Об этом говорят плакаты, обильно расклеенные в городе и даже здесь, на стройке. Советские солдаты изображены похожими на горилл. Они забрызганы кровью, за спиной у них бушуют пожары. Не жалеют фашисты грязи. Только норвежцев не проведешь. Они давно поняли своих врагов и друзей.

Многое изменилось и в лагере. Всех удивил денщик унтера. Этот сорвиголова устроил такой тарарам. О взрыве в порту, кажется, столько не говорили. Да и не могли говорить. Там все обошлось без последствий. А денщик заварил кашу...

Возможно, пленные не узнали бы подробностей, если бы не Антон. Обиженный унтером, он кому-то проболтался. Слух пополз, стал достоянием всего лагеря.

* Столица.

Оказывается, по пути на сборный пункт Аркадий бросил гранаты в окна офицерского вагона встречного поезда. Произошло это где-то на небольшой станции. Аркадий пытался уйти в горы, но его окружили. Он упорно отстреливался, а последнюю пулю пустил в себя.

Фашисты в долгу, конечно, не остались. Снова в лагерь нагрянули черные униформы. Гестаповцы были уверены, что есть соучастники Аркадия. Иначе как мог он, не выходя за проволоку, достать английский пистолет и гранаты?

Первым забрали Цыгана. Забрали, очевидно, только потому, что Цыган приходился земляком Аркадию, дружил с ним. Цыгана взяли утром, а под вечер в шлаке откопали оружие. Это послужило основанием для ареста обоих кочегаров.

Степан тогда здорово тухнул. Он решил, что пришел конец. Ему и Бакумову... Ведь не секрет, что они дружили с Цыганом. А главное – Цыган может не выдержать. Кто знает, не от него ли вырвали признание о том, где спрятано оружие. Да, многое думалось... Каждую минуту могли взять Матвея. А повар знает Бакумова...

Но пронесло и на этот раз, и теперь Степану неудобно оттого, что он усомнился в товарище. Не такой Цыган, чтобы выдать...

Их расстреляли там же, под скалой, где до этого расстреляли Ваську и санитаря. Тогда же бесследно исчез Штарке. Похоже, что присланная денщиком «весточка» оказалась роковой для карьеры, а возможно, и для жизни унтера.

Комендантом назначили лейтенанта Функа, коренастого, хмурого, носящего левую руку на черной перевязи. При Функе расстреливали еще и еще. Но это почти не прибавило единомышленников Антону, который еще с большим подобострастием, чем раньше, тянется перед новым начальством, лебезит с пленными и втихомолку пакостит.

Потерялась в неизвестности судьба Пауля Буша. При взрыве в порту его контузило. После лечения Пауля отправили, говорят, на фронт. Погиб или осуществил свою мечту – перешел к русским?..

Степан медленно возвращается к месту разгрузки пещи. Похоже, подвоза сегодня не будет. Капуста послал его сюда для того, чтобы избавиться. Ему лишь бы растолкать людей по местам работы. Без того недалекий, мастер теперь совсем потерял голову.

Внимание Степана привлекает присыпанный пещком бумажный сверток около рельса. Что это? Степан пытается нагнуться, но деревянный настил уходит из-под ног. Качнувшись, Степан оседает на корточки, учащенно моргает, трясет головой, стараясь прогнать из глаз туман.

В свертке оказываются вареные картофелины и куски копченой селедки. Развернув на коленях пакет, Степан ест. Ест жадно, не ощущая вкуса, а лишь чувствуя режущую боль в желудке.

Проглатывая картофелину, Степан вспоминает Бакумова. Он не менее голоден. Надо оставить. Легко подумать «оставить», а как это сделать? Желудок никак не хочет подчиняться рассудку. Он требует. Ему надо в десять раз больше этого пакета. Он вообще не знает меры...

Все-таки Степан находит в себе силы засунуть сверток в карман. Он тяжело встает, спускается с эстакады.

Норвежцы! Вот кто всеми средствами старается облегчить участь русских. Людвиг рассказывал, что в городе создан комитет по оказанию помощи русским. Возглавляет его старушка, жена кузнеца. Собирая продукты среди населения, она не считается ни с опасностью, ни, тем более, с хлопотами. Старушку называют Матерью русских. Это ее, Матери, пакет нашел Степан. В последнее время таких пакетов много. Незаметно от немцев норвежцы рассылают их по местам работы русских.

Людвиг нашел общий язык с норвежцем, владельцем самоходной баржи, который передал тогда привет от Садовникова, рассказал, как трудно приходится русским на маленьком безлюдном острове. Теперь почти каждый раз, отправляясь за песком, норвежец увозит с собой продукты...

В первые минуты Степану кажется, что внизу все идет по установленному немцами порядку. Как всегда, громыхают бетономешалки, пленные выкатывают из разворо-

ченного бомбой склада платформу с мешками цемента. Старая, надоевшая картина...

Но вскоре, отыскивая Бакумова, Степан замечает, что норвежцы ведут себя слишком уж независимо. Никогда такого не бывало. Они не только не работают, но собрались вместе, громко переговариваются, ободряюще подмигивают русским.

Среди норвежцев – Людвиг. Увидев Степана, он вскидывает над головой сцепленные руки и потрясает ими. И все это на глазах Капусты. В другое время мастер обязательно бы запыхтел, забурчал, а теперь отвернулся, будто не видит. В чем дело? Что происходит?

Теряясь в догадках, Степан нерешительно подходит к норвежцам. Но в это время откуда-то из глубины двора выскакивает человек. Высокий, с растрепанными белокурыми волосами, он бежит со всех ног, беспорядочно машет руками и кричит:

– Криг шлюсс! Криг шлюсс!

Конец войны! Степану кажется, что человек сошел с ума. Степан смотрит на окружающих – они тоже в каком-то оцепенении. Но вот все срываются с места, обнимаются, жмут руки. Норвежца подбрасывают. Он потешно взлетает над головами.

Степан целует Бакумова и всех, кто попадает под руки. У Бакумова по черным щекам катятся слезы. Не замечая их, Никифор говорит:

– Выстояли! Друзья!

– Выстояли, – повторяет Степан.

Его глаза тоже полны слез, и он тоже не замечает их.

* * *

Взявшись за руки, Степан и Никифор идут по стройке.

«Конец, – думает Степан. – Всего пять букв. А сколько за них отдано жизнью, сколько пролито крови, слез»...

В первый бокс то и дело ныряют подводники с охапками каких-то бумаг. Степан и Никифор тоже заходят за железобетонные стены. В полумраке возвышается огромный бумажный ворох. Двое немцев плещут из канистр бензин.

От бурного пламени немцы отступают, заслоняют ладонями глаза.

– Раус! – кричит главный инженер, заметив у стены русских. Брандт кричит грозно, но Степану и Бакумову теперь совсем не страшно.

Они идут к морю.

Около пушек еще цокает железными подковами сапог часовой.

Они садятся. Море плещется. Плещется мягко, с легким шорохом. Зеленоватая вода почти касается ног.

Из-за толстенной завесы облаков вырывается солнце. Большое, чистое, оно смеется и смеется. Солнце выбросило на море нетонушие монеты свежей чеканки.

– Просто не верится...

Степан и Никифор смотрят друг на друга и смеются. Смеются вместе с солнцем и морем...

Всполошно звенит рельс.

– Строиться!

* * *

Русские уезжают домой.

Чистая привокзальная площадь забита. Людей столько, что, как говорят, негде упасть яблоку. Сплошь люди и сплошь солнце. Оказывается, есть в этой стране солнце. Норвежцы называют его поэтическим словом «зюль». Сегодня «зюль» все свое горячее внимание отдает русским камрадам. Солнце зажгло трубы духового оркестра, букеты цветов. Солнце в сердцах и головах. И русские, точно опьянев, поют «Катюшу». Им помогают на своем языке норвежцы. Получается не совсем ладно, но тепло, душевно. А это главное.

Людвиг крепко стискивает плечи Степана.

– Привет Москве, Штепан! Большой привет! Не забудь навестить Ленина, нашего Владимира Ильича.

Степан смотрит сияющими глазами в лицо норвежца. О, друг! Тебя не узнать сегодня. Ты чисто выбрит и почти совсем нет морщин. Ты помолодел минимум на пятнадцать лет. И Ленин тебе дорог так же, как и нам, советским людям.

Уже на третий день после окончания войны Степан побывал у друга. Он живет в маленьком домике высоко на склоне горы. Тогда Людвиг первым делом показал Степану Ленина, пять томов в алом переплете. Обложка одной

из книг поблекла и покоробилась. Людвиг объяснил, что в черные дни оккупации книги пришлось прятать. «Ленин вместе с нами уходил в подполье, вместе с нами боролся с фашизмом», – сказал Людвиг.

– Мама!.. Родная!..

Это Матвей пробивается к Матери русских*. Седенькая старушка окружена плотной стеною людей. Она буквально завалена цветами. Из цветов видна зеленая шляпка да верхняя часть лица. Старушка растрогана до глубины своей доброй души. Она плачет и смеется сквозь слезы.

– Мама! Поедем с нами! Русланд! Москва! – Матвей машет неопределенно рукой.

– Москва! – с восхищением повторяет старушка, кивая головой.

А вот Инга. Она подает Степану толстую тетрадь и карандаш.

Тетрадь наполовину уже исписана автографами русских.

– Скривен...**. – Инга указывает пальцем в тетрадь, а Степан смотрит в ее глаза и думает о жене, сыне...

* * *

В дверях вагона сидит, свесив ноги, Олег Петрович. От Садовникова не осталось и половины того, что было. Он то и дело сухо покашливает, и тогда на его запавших щеках играет румянец.

Олег Петрович смотрит на все и растроганно улыбается, поправляет пальцем очки, те самые старенькие очки с одним стеклом.

– По вагона-а-м!

Гремит оркестр, летят вверх цветы, и длинно гудит паровоз. Прощайте, верные друзья!

Вокзал, залив, полустанки, станции, маленькие деревушки, леса и горы – все уходит назад. Только пережитое не может уйти. Оно едет в эшелоне. Сердце человека ничего не забывает!..

* Мария Эстрем написала книгу «Дневник русской Мамы», была вместе с мужем в СССР. Супруги Эстрем награждены орденами Отечественной войны.

** Писать.

Олег Петрович, Степан, Бакумов и Матвей лежат на полу и смотрят в широко открытую дверь.

– Мне нравится гор дикий излом, на горы легли облака...

– Стихи? – спрашивает Садовников.

Бакумов утвердительно кивает.

– Хочется написать сильно, а пороху, кажется, не хватает.

Степан уверен, что пороху хватит. Только теперь, после войны, вполне открылся Степану этот человек. Оказывается, он работал начальником политотдела МТС, редактором районной газеты, секретарем райкома...

– Мало мы сделали, – говорит Бакумов. – До обидного мало....

– Не согласен, – возражает Садовников. – Борьба, Никифор, это не только затопленный пароход или взрыв в порту. Выдержать все, не запачкать совесть – разве не борьба? Тоже, брат...

Олег Петрович, прикрыв ладонью рот, закашлялся. Степан, Бакумов и Матвей переглядываются. У каждого в глазах тревога за товарища.

– Олег Петрович, тебе надо больше есть. Ешь через силу. Пища, она все глушит. Хочешь тушенки? – Матвей берет за вещевой мешок.

– Потом... – Садовников, тяжело дыша, сплевывает в белую тряпицу. – Только бы до Сибири добраться. Там я пойду...

Они говорят, а позади них, в углу вагона, сидит Зайцев со связанными за спиной руками. Щеки Антона одрябли и позеленели, глаза злые.

...Поезд мчится, стучат и стучат колеса. Этот стук будто вспугивает мысли. Они, пытаясь опередить время, то полетят вперед, то вернуться в недавнее прошлое.

Степан вспоминает, как сразу после окончания войны спешили они в лагерь. Очень уж хотелось захватить там Функа, Зайцева и лейтенанта Сержа. Но их как ветром сдуло. Такая досада!

На второй день русских взяли под опеку норвежские партизаны. Добрые, распорядительные парни. Они немедленно переселили камрадов в лагерь немецких мастеров, привезли из немецких складов горы продуктов и даже вина. Почти в каждой комнате немецкого общежи-

тия оказались портреты Гитлера. Русские вытаскивали их во двор, ставили к стенке и расстреливали из автоматов (хотя небольшое, но утешение).

В первые же дни свободы русские отыскивали могилы своих братьев. Их хоронили в мокрой долине далеко за городом. Степан долго всматривался в размытые дождями цифры на крохотной дощечке. 86927? Да, Жорка, однополчанин... Вот где нашел последнее пристанище. А сколько таких дощечек вокруг...

Они не забыли тех, кто оказался сильнее смерти, кто своей смертью спланировал на борьбу живых. Стоит Степану чуть прикрыть глаза – и он видит строгий обелиск из белого камня и сотни людей со склоненными головами: русских, норвежцев и даже несколько английских моряков.

Под бронзовой пятиконечной звездой на обелиске бронзовые слова: «Расстрелянные фашистскими извергами советские товарищи». Первым стоит имя капитана Федора Бойкова, за ним еще одиннадцать... Среди них – Андрей Куртов, санитар Иван, Васек, Цыган. Внизу, под фамилиями, почти у самого пьедестала, опять бронзовые слова: «Мать-родина вас не забудет!»

...За спиной кто-то со смехом рассказывает:

– Видали, как Овчарка тротуар подметал? Под винтовой норвежца. Не видали? Умора! Я кричу ему: «Вот так! Давай! Бистро! Шнель!». Молчит, стерва.

– Наказание тоже!.. – Бакумов зло хмыкает. – Его повесить мало... Столько погубил нашего брата.

Закурив, они вместе вспоминают праздник весеннего солнцестояния. Издавна в Норвегии отмечается день торжества света над тьмой. В этом же году тьма приобрела конкретное значение: каждый норвежец понимал под ней фашистских оккупантов. Поэтому праздник справляли с бурной радостью.

На берегу залива, у самой воды, заранее соорудили огромную пирамиду из старых, разошедшихся бочек. И когда наступила полночь 24 июня, подросток с факелом ловко взобрался на пирамиду, поджег верхнюю бочку. И пошло полыхать. Ветерок слегка колышет причудливое сплетение золотых лент. А вокруг взлетают разноцветные раке-

ты, вокруг поют и пляшут. И нет, кажется, ночи. Отступила, ушла.

По странному стечению обстоятельств в ту праздничную ночь поймали Зайцева. В добротном цивильном костюме, в шляпе, он любезно вел под руку полную норвежку не первой молодости...

Тогда в людской толчее Степан потерял Никифора и один вышел на примыкающую к площади улицу. Здесь было почти безлюдно, тихо.

Степан проходит квартал, а на втором из-за угла на встречу ему опрометью выскакивает девушка. Модная прическа растрепана, лицо – белое пятно страха. Вслед вываливает орава подростков и парней. Топот, крики, улюлюканье.

Девушку настигают почти рядом со Степаном. Толпа растет, как снежный ком. К подросткам присоединяются женщины и мужчины. Все, работая локтями, стремятся протолкнуться в центр.

Вот с криком торжества девушку поднимают для общего обозрения. Ее не узнать. Пышная прическа безобразна, ступеньками обрезана и выдергана.

– Что случилось? – спрашивает Степан у молодого норвежца.

Тот, жадно заглатывая дым сигареты, объясняет, что девушка щедро делилась своими чувствами с немцами.

* * *

Финляндский пароход идет из небольшой шведской гавани на Ленинград.

Степан смотрит с палубы, как тонет в море солнце. И там, где оно тонет, вода алая, точно кровь... Так проходит полчаса, час. Море постепенно блекнет, легкие светлые сумерки застилают его.

Степан спускается в трюм, ложится на широкую деревянную лавку. Уснуть бы, чтобы скорей шло время.

Только разве уснешь? От мысли, что утром предстоит ступить на родную землю, Степану делается жарко. Только после чужбины бывает понятным до конца огромный смысл короткого слова «Родина»...

Степан думает о доме. Как там? Живы ли после вихря войны братья? Жена? Сын?

На соседней лавке спит со сладким до зависти похрапыванием Матвей. У Бакумова глаза закрыты. Спит или думает с закрытыми глазами. А Зайцев не спит. Ворочается с боку на живот, с живота на бок. Вот сел, закуривает (на пароходе ему развязали руки). Курит, не отводя глаз от пола.

Степан отворачивается, подкладывает под ухо ладонь, а второй прикрывает глаза. В таком положении ему удается забыться.

Неизвестно, сколько проходит времени, и вдруг гулкой удар, от которого Степан оказывается на ногах. Он видит, как сверху летит чешуя ржавчины.

Степан первым бросается к лестнице. На пустынной палубе возле якорной лебедки неприметно лежит Зайцев. Вокруг красной головы накапливается лужа крови. Он недвижим. «С мачты бросился», – догадывается Степан.

Все высыпают на палубу. На Зайцева смотрят издали, с равнодушным любопытством.

– Собаке – собачья смерть!

Вслед за этим холодным заключением раздается восторженный крик:

– Братцы! Гляди!

Вдали из утренней дымки проступали берега.

Родина!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ СТАРЦЕВ

Родился 12 июля 1923 года в городе Барнауле.

Призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию в 1942 году. Был рядовым стрелком, разведчиком. С боями прошел Украину, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. Награжден орденом Красной Звезды и медалями.

После демобилизации работал с 1947 года контролером, а затем контрольным мастером на барнаульском заводе «Трансмаш», с 1954 года – машинистом-компрессорщиком на комбинате «Химволокно».

Первый рассказ «Водолазы» опубликован в 1958 году в многотиражной газете «Прогресс». Первая книга «Черемушка» издана в 1960 году в Алтайском книжном издательстве, затем вышли в свет книги «Весной», «Серебряные острова», «К родным берегам», «Первый снег», «Рядовой», «Светлые родники», «Шумели грозы», «Повести и рассказы», «Берег детства».

Член Союза писателей СССР с 1975 года.

В ПОДВАЛЕ

Повесть

Батальон шел размеренным походным шагом, и булыжное шоссе глухо гудело. Иногда из-под чьего-нибудь кованого сапога высекалась искра, чертила короткую дугу и гасла. Время от времени от головы колонны слышалась команда:

– Подтянись!

Идущие в хвосте прибавляли шаг, и снова гул и чирканье подков о камень. Впереди, далеко на краю темного горизонта, вспыхивали отсветы: там шел ночной бой, а во время привалов можно было услышать орудийную канонаду, похожую на грозвые раскаты.

Размеренный шаг, тьма и усталость действовали на всех усыпляюще. Случалось, от колонны отделялся какой-нибудь дремлющий солдат, ноги его начинали заплетаться, и он оступался в придорожную канаву. Упавшая на грудь голова испуганно вскидывалась вверх, солдат недоумевающе оглядывался и бегом возвращался в строй. По рядам пробегал короткий смешок, все на минуту приободрялись, на ходу сворачивали самокрутки, пряча в рукав светлячок папиросы, затягивались крепким махорочным дымом.

Идущий во главе взвода сержант Кряжев, услышав смех, сходит на обочину.

– Не дремать, хлопцы, скоро привал, – подбадривает он. Солдаты выпрямляют уставшие спины, равняют ряды.

Взвод замыкает рослый ефрейтор Зудиллов, второй номер пулеметчика. Ему всех тяжелей: кроме винтовки, Зудиллов еще несет коробку пулеметных дисков. По тому, как громко стучат в коробке диски, нетрудно догадаться, что он основательно устал.

– Давай поднесу... – предлагает Кряжев.

– Да чего там... – Но тотчас облегченно вздыхает. – Ух ты, гора с плеч!

Больше они не разговаривают. Разговор в походе тоже тяжесть.

Во время очередного привала Кряжев ложится поперек придорожной канавы и чувствует ноющее покалывание – это отливает кровь от уставших ног. Мимо проходят командиры, кучкой сбиваются вокруг начальника штаба.

– Есть! Есть! – долетает до Кряжева, и он, подумав, что вместо желанного отдыха, видимо, придется выполнять новое задание, мгновенно засыпает. Пять минут... Как они коротки и дороги на привале! Ни движений, ни разговоров, только сон – и в этом спасение. Ударь над головой орудие – боец не проснется. Но сказанное вполголоса «становись!» заставляет немедленно вскакивать на ноги.

И снова ремень автомата охватывает натертую шею, а подсумки гирями оттягивают пояс, бьют по ногам, мешают шагать.

Неожиданно батальон сворачивает с шоссе, и гул затихает. Под ногами вместо твердого камня – податливая сырая почва. В конце колонны чавкает перемешанная, как тесто, земля. Легкий уклон кончается у кромки воды, и, к удивлению Кряжева, командиры входят в нее первыми, идут прямо в матово-отсвечивающую мутную ширь. На миг закрадывается сомнение, что командиры задремали и не могут проснуться.

Обгоняя колонну, брызгая водой и шурша маскхалатами, проходит вперед группа разведки.

– Аразов! Азимут тридцать градусов, – вполголоса напоминает начальник штаба, и тот приглушенно отвечает:

– Есть, азимут тридцать градусов!

Холодные струйки воды уже заливаются в голенища сапог, неприятная дрожь пробегает по икрам ног, щекочет спину. По колонне ползет недовольный ропот.

– Не разговаривать! Идем в тыл...

Дно опускается все ниже и ниже, и то один, то другой солдат сдерживает невольный вскрик, внезапно оступаясь по пояс.

Вот уже подсумки и оружие подняты до уровня плеч, а разливу по-прежнему не видно конца. Кто-то споткнулся, упал, фыркает и отбивает зубами дробь. Наконец, вода начинает убывать, и все облегченно вздыхают.

- Ребята, у кого махорка сухая?
- Нельзя курить, слышал – в тыл идем.
- Да я втихую, закоченел...

Чиркает зажигалка. Голубоватый снопик искр на миг озаряет посиневшие губы солдата и пляшущую в пальцах самокрутку.

- Не курить! Противник близко...

Темное осеннее небо затянуто низкими тучами. Пробегает предрассветный ветерок, спокойная до того поверхность воды морщится темной рябью. Холодно и немного жутко. Неизвестно, что это? Осенний паводок или специально воздвигнутая противником преграда? Об этом могут знать только в верхах, а каждому из солдат ясно одно: разлив нужно пройти – и пройти как можно быстрее, пока маневр не разгадан противником.

– Батяка мне про Сиваш рассказывал, – слышит Кряжев позади себя осипший голос комсорга Пенькова, – раз сто, наверное, его слушал и мечтал: «вот бы мне такое совершить», а сейчас только вспомнил...

«А ведь похоже», – спохватился Кряжев и то, что в этом переходе есть сходство с историческим Сивашем, заставляет его взглянуть на события как бы со стороны, по-настоящему оценить и себя, и промокших до нитки товарищей по оружию. В груди вдруг разгорается согревающий огонек, растопляет холодную дрожь, ноги теперь не так расплзаются по глинистому дну, и ветерок кажется не таким уж холодным.

«Надо напомнить об этом людям», – решает Кряжев и оборачивается, но напоминать нет необходимости. Взвод идет скученно, солдаты двигаются без всплесков, стараются не пропустить ни одного слова.

– Ну, и как, перешел отец-то? – нетерпеливо спрашивает молодой солдат Симонов из пополнения.

– Вот голова, не перешел бы – так и меня на свете не было...

На минуту забыты вода и холод, все приглушенно смеются над незадачливым новичком, но тот и не думает обижаться.

– Раз они прошли, то и мы пройдем, – говорит он с таким убеждением, точно решил про себя очень трудную задачу, и все, не сговариваясь, прибавляют шаг.

Впереди далеким, темным пятном проступают контуры города, глаза солдат сверлят мглу ночи, стараясь рассмотреть невидимое. Вот уже различаются крайние здания. Город притаился на крутом берегу островка, и Кряжеву невольно вспоминается заколдованный град Змея Горыныча из сказок бабушки. Она почему-то любила рассказывать шепотом. Звуки из ее беззубого рта выходили шипящие, страшные:

«...Вдруг проснулся змей, полыхнул во тьму огненными глазами, изрыгнул из пасти обжигающее пламя. И вспенилось и забурило море-океан, а над городом раздался зловещий хохот...» – вспоминается ему.

Кругом вода, и не зароешься, не прильнешь к земле, чтобы собраться с духом перед тем, как кинуться на штурм и бросить в глаза смерти всегда ликующее и грозное «ура». Впереди ни огонька, ни звука.

– В цепь!..

Из-за лохматой, уродливой тучи неожиданно выглянула полная, лупоглазая луна, повисла, разглядывая враждующий, темный мир. Холодным, неживым светом блеснули стекла зданий. Все невольно пригнулись к воде, остановились. Кряжев услышал, как учащенно забилося сердце: «Вот, сейчас!» Солдаты с тревогой и ненавистью следят за ныряющим в облаках светлым глазом, пока он не зарывается в лоскутья большой темной тучи.

Перед самым берегом Кряжев с головой оступился в канаву. Вынырнув, вцепился руками за чахлый кустик на берегу и, только выйдя из воды, нехотя разжал пальцы. Он почти не умел плавать, и всякий раз, когда приходилось форсировать водный рубеж – будь то широкая река или узенькая безымянная протока, – он испытывал страх, стыдился этого и огромным усилием воли заставлял себя кидаться в воду одним из первых.

Да и как иначе, если за тобой идут еще необстрелянные юнцы из пополнения, если тебя, пусть временно, назначили командиром взвода, если на груди завернутый в трофейный целлофан из-под концентратов лежит партийный билет?

Первый выстрел заставляет вздрогнуть. Рикошет пули шмелем буравит чуть просветлевшее небо. Хлюпающая сапо-

гами, подходит командир роты, лейтенант Кравцов, на- скоро ставит задачу.

Близкая пулеметная очередь заглушает слова. Ее про- вожает довольный смех:

– Проспали, куреды...

Из-за угла здания тенью появляется разведчик. Что он докладывает комбату, Кряжев уже не слышит: команда «вперед!» срывает с места, бросает в сумрак города. Уз- кая, как каменный коридор, улица наливается грохотом выстрелов, топот ног усиливает каждый звук, многократ- но отражает его, путает привычное представление о ка- либре и количестве оружия.

Противника еще не видно, а беспорядочная стрельба из окон и подъездов говорит о том, что он застигнут вра- сплох. Маневр удался.

Перебегая улицу, Кряжев мельком увидел взмахнув- шую из-за угла руку, и впереди что-то упало на мостовую.

– Ложись! – услышал он.

Рядом полыхнул взрыв, следом искорками вспыхнуло на камне несколько фонтанчиков. «Дзю, дзю», – тонко и зло пропели пули, и тотчас за спиной Кряжева кто-то дал короткую очередь. Он поднял голову, осмотрелся. В се- ром рассвете утра улица показалась ему совершенно пу- стынной и потому враждебно настороженной, только на углу, метрах в тридцати, рядом с убитым немцем еще по- качивалась зеленая каска.

– Жив, сержант? – на бегу окликнул его боец в маскха- лате, тот самый, что докладывал о чем-то комбату.

– Жив, разведка, жив.

Кряжев броском пересек улицу, прижался к стене здания. Мимо промчался рой трассирующих пуль, неко- торые из них гасли на лету, другие, коснувшись мосто- вой, взмывали высоко вверх. «Фейерверк», – мелькнуло в голове.

Один из светлячков наткнулся на пробежавшего бой- ца, погас, и тот упал. Кряжев скрипнул зубами и выглянул. Ручеек огоньков лился из ворот соседнего здания. Он, не торопясь, прицелился и нажал на спусковой крючок. Светлячки метнулись вверх, в сторону, и прекратились. Переждав несколько секунд, махнул своим. От дома к

дому начали перебегать бойцы, только тот, на середине улице, не пошевелился.

«Значит, совсем... Кто же это?»

Разведчика Кряжев догнал через несколько кварталов, когда уже рассветало. Он лежал за каменной тумбой, торопливо заряжал диск.

– Ты что, впереди всех прешь? – отдышавшись, спросил Кряжев.

– А как же? – недоумевающе приподнял тот густые сросшиеся на переносице брови. – Я разведчик, все первым слышать, видеть надо, такое задание.

И он хитро прищурил черные, и без того узкие, глаза.

Впереди, точно из-под земли, выскочила легковая машина, круто развернулась и понеслась обратно.

– Бей! – крикнул разведчик.

Кряжев опорожнил по ней весь диск и выругался:

– Упустил, черт возьми...

– Мерседес это, броня. А немца видел?

– Где?

– За машиной выбежал и спрятался, а мне языка вот как надо...

Он приподнялся, готовый кинуться вперед. В это время застучал немецкий пулемет, и Кряжев успел одернуть разведчика.

– Куда! Видишь, сыплет?

– Чего держишь, сержант? – сверкнул глазами тот. – Аразов не мальчик...

Взрыв снаряда неподалеку заставил обоих плашмя распластаться на камнях. Бой разгорался. Немцы, боясь окружения, бросили оборону на перешейке перед городом и теперь старались прорваться к шоссе. Было слышно, как на соседних улицах гремели гусеницы танков, рвались гранаты, несколько раз вспыхивало и терялось в ожесточенной трескотне выстрелов дружное «Ура-а». Своем понесли навстречу снаряды: позади Кряжева накапливалась пехота.

– Вперед, ребята, вперед! – услышал Кряжев знакомый голос командира роты и подтолкнул разведчика. Аразов быстро пробежал до того места, откуда выскочила машина и куда-то исчез. Переждав пулеметную очередь, вско-

чил Кряжев. Он чуть было не упал, когда перед ним неожиданно открылась выемка – это был въезд в подвальное помещение. Разведчика нигде не было видно.

Тяжелые железные ворота подвала были полуоткрыты, и Кряжев приготовился дать туда очередь. Он едва сдержался, когда в темном проеме мелькнула пятнистая тень маскхалата.

– Аразов?! – обрадовался Кряжев. – Ну, что там? Фрицев нет?

Разведчик отрицательно помотал головой и сунул в руку Кряжева кусок колбасы.

– Сбежал язык, однако, кушай!

Кряжев подозрительно отвел руку.

– А если отравлена?

Сквозь природную смуглость лица разведчика проступила бледность. Он застыл с разинутым ртом.

– Чего пугаешь, друг? Я целый каралька съел...

– Брось! – настаивал Кряжев.

– Жалко, сержант, сутки не кушал. – И вдруг весело махнул рукой: – Говорят, на тот свет дорога длинный, как голодный пойду? – Он вонзил в колбасу белые плотные зубы. Выглянул из выемки.

– Шибко бьет, черт его бабушке, ждать своих надо...

Кряжев уловил дразнящий запах, и у него засосало под ложечкой. Рука сама собой потянулась за колбасой и замерла на полпути. Уши сверлил знакомый нарастающий свист. Из-за обгоревших стен многоэтажного здания медленно выплыла девятка «Юнкерсов». От нее, чуть видимые, отделялись черные капли, и вот уже город тяжело охнул и застонал, а здание над подвалом угрожающе качнулось.

Оба, не сговариваясь, бросились в подвал. Страшный взрыв оглушил и швырнул их в темную пасть ворот.

Кряжев приходил в себя медленно. Сначала он услышал тонкий, мелодичный звон в ушах, потом далекий с акцентом голос. Голос почему-то раздражал, мешал слушать этот чудесный усыпляющий звон. Невесомость и удивительная душевная легкость растаяли.

– Эй, сержант, где ты?

Кряжев медленно открыл глаза, но ничего не увидел. Шевельнулась первая, неповоротливая мысль: «Ослеп, что ли?»

Кто-то назойливый обшаривал его, тормошил, вот коснулся левой руки, и Кряжев слабо вскрикнул. Чиркнула зажигалка. В короткой вспышке мелькнуло озабоченное лицо разведчика. Наконец, зажигалка нехотя разгорелась, видимо, бензин в ней был на исходе. Аразов захлопотал.

– Терпи маленько, сержант, терпи...

Вскрыв пакет, начал неумело бинтовать разбитую осколком ладонь.

Кряжев стонал, кусал губы. В голове шумело, должно быть, он сильно ударился о стену.

– Вот и все... Ничего, друг, жить будешь, – успокаивал Аразов, – госпиталь тебя отправлю, лежи пока.

Аразов взял зажигалку и пошел к воротам. Кряжев слышал, как он толкнул их, потом ударил всем телом и выругался:

– Ах, черт его бабушке! – Еще несколько раз кидался на дверь, стучал прикладом. – Э-эй! Помогите открыть! Кто там есть? Эй! – Подвал глухо откликнулся: – Э-э-эй. – И все замерло.

Огонек приближался.

– Дверь завалило, сержант, слышно, камень падал... Что делать?

– Пить, – попросил Кряжев.

– Где воды взять? Баклажка пустой. Лежи, смотреть буду.

Огонек поплыл в глубь подвала. Кряжев то следил за ним, то закрывал глаза, слушал гулкие шаги и силился припомнить, что же с ним произошло. Почему темно? Сколько времени прошло, как он ранен? И где он? Постепенно память воскресила цепочку черных крестиков в небе и на этом оборвалась: «Дверь завалило... камень падал», – только теперь дошли до сознания слова разведчика.

– Сержант, где ты, – донеслось из глубины подвала. Кряжев открыл глаза. Огня не было, слышны только неуверенные шаги. С трудом разомкнул сухие, горячие губы.

– Сюда...

– Ага, слышу... Темно, черт его бабушке, как под овчинкой... Чего-чего нет. Шибко склад богатый, – рассказывал Аразов. – Спички есть, сержант?

Вытащил из кармана Кряжева коробок, потряс его.

– Мало спичка.

– Масло поищи, плошку сделай, – посоветовал Кряжев.

– Комбижир видел, – обрадовался Аразов и снова ушел.

Прошло несколько минут, и в дальнем углу подвала за светился слабый огонек.

– Есть огонь, сержант, не горюй, друг, – закричал Аразов и сильно обо что-то ударил. – Ого-го! Вот это вода! – громче прежнего закричал он. – Пей, друг, хоть целый бурдюк пей, много бочек есть.

Кряжев жадно припал к горлышку фляжки и, только оторвавшись от нее, понял, что пил виноградное вино.

– Спасибо, Аразов... теперь полегче... пожалуй, и встану.

– Зачем вставать? Лежи!

Разведчик еще несколько раз уходил и возвращался с полными руками продуктов, принес несколько кусков брезента, уложил Кряжева.

– А теперь смотри фокус-покус. – Он хлопнул в ладоши и поставил перед Кряжевым бутылку. – Пить будешь?

Кряжев покачал головой.

– Тогда разрешите мне, товарищ сержант? – Аразов снял маскхалат, шинель, и на груди его звякнули ордена и медали.

– Крепкая водка, – крикнул разведчик. – Шнапс, наверно... – Вытащил из-за голенища нож, ловко вскрыл несколько банок консервов. Облизав ложку, причмокнул губами.

– Замечательный ужин. Старшина, черт его бабушке, редко так кормил, жадный. Ну теперь отбой, сержант, жалко – наши вперед пойдут. Где, скажут разведчик, сержант Аразов? Пропал, видно, Аразов? А я, как мышка, в погреб, ну дела...

Уснул он быстро, едва голова опустилась на ложе автомата. Кряжев не спал, ныла раненая рука. Все еще шумело в голове.

Он прислушивался к слабым отзвукам боя наверху, вспоминал бойцов своего взвода, вспомнил и того, что упал на середине улицы, и привычное беспокойство за подчиненных вкралось в сердце. Как они там? Все ли живы? Отстал от фронтовых друзей. А столько пройдено и пережито с ними! От Москвы до этого чужого города каждый шаг давался с трудом и кровью. Берлин был почти рядом, еще один-два удара – и конец войне. Неужели не придется увидеть того, о чем мечталось и в бою, и на отдыхе, – красный флаг над Берлином?

– Ничего, – успокаивал себя он, рана, кажется, пустяковая, а завтра попытаемся отсюда выйти.

Должно быть, от выпитого вина боль в руке немного утихла, и он то дремал, то просыпался, когда боль возвращалась. Раз он вздрогнул от шороха, было похоже, что в подвале завозилась крыса, потом все стихло. Через некоторое время, сквозь дремоту, ухо уловило слабые, крадущиеся шаги. Кряжев замер. Не открывая глаз, слушал приближение шагов, старался понять, кто ходит. Вот шаги стихли. У Кряжева появилось беспокойное чувство, словно кто-то недобро и пристально смотрит из темноты. Сдерживая удары сердца, чуть приоткрыл глаза. В неверном свете затухающего огонька площадки увидел смутное очертание чужого лица и два, будто замороженных, немигающих глаза. На стене колебалась готовая к прыжку тень незнакомца.

– Хальт! – успел крикнуть он сорвавшимся голосом и здоровой рукой рванул к себе автомат. В этот момент тень метнулась, огонь погас.

– Стой! – еще раз крикнул Кряжев и наугад дал длинную очередь. Подвал наполнился грохотом. Вскочившему разведчику казалось, что стреляют не из автомата, а, по крайней мере, из крупнокалиберного пулемета, он тоже открыл огонь по невидимому противнику.

– Подожди, – остановил Кряжев. – Стреляй на звук.

Они прислушались.

– Кого стрелял, сержант? – шепотом спросил Аразов.

– Фрица видел...

– Много?

– Одного.

– Убил, наверно, смотреть надо.

– Не знаю... Одной рукой стрелял.

– Я разведка пойду... – Аразов с ножом в руке бесшумно пополз туда, куда указал Кряжев. Через минуту издали слабо пискнула мышь. Кряжев понял, что разведчик дает сигнал, и растерялся: что означает этот писк, как ответить? Прошло еще несколько минут, и Кряжев вздрогнул от прикосновения.

– Никого нет, сержант, – прошептал Аразов.

Рука разведчика ощупала лицо Кряжева, остановилась на лбу.

– Чего ты?

– Жар, нету... Может, показалось?

Кряжев отрицательно покачал головой.

– Видел, видел, – уверял он.

Некоторое время молчали, слушали.

– Огонь зажечь надо, подвал смотреть, – решил Аразов.

– Нельзя, – запротестовал Кряжев. – Побьют, как кроликов, а впрочем, делать нечего. Давай спички да отползи в сторону.

– А ты? Мишень будешь?

– Поддержишь... В случае чего. Иди.

Аразов отполз.

Кряжев взял коробок в зубы, чиркнул спичкой, высоко поднял руку. Огонек отбросил темноту всего лишь на несколько шагов, а дальше был по-прежнему беспросветный, жуткий мрак, и оттого, что этот мрак с секунды на секунду может озариться вспышкой выстрелов, Кряжев весь внутренне напрягся.

Спичка догорела и погасла. В первый момент Кряжев даже не почувствовал боли в обожженных пальцах. Зажег вторую и облегченно вздохнул. Немец убит или куда-то сбежал. Фитиль плошки разгорался медленно, сердито потрескивал и, наконец, запылал, как факел. Кряжев повесил на шею автомат, взял плошку и пошел в глубь подвала. Вдоль стен рядами тянулись штабеля ящиков с ярлыками на всех языках Европы. Были и с русскими. «Карамель», «галеты», «печенье», – читал Кряжев и усмехался.

– Понаграбили, да подавились...

На многоярусных стеллажах с немецкой аккуратностью расставлены банки, коробки, бутылки. Рядами лежали бочки, одна из них с выбитым дном. Аразов был прав: склад оказался богатый. Внимательно осматривая его, заглядывая за ящики и бочки, Кряжев невольно отметил, что здесь не было ни пыли, ни мусора. В понятии Кряжева чистота неизменно сочеталась с внутренней порядочностью, и когда однополчане-новички восторгались этой чистотой, Кряжев злился:

– Да уж чистоплюи – убьет ребенка и руки вымоет.

Дойдя до конца подвала, Кряжев остановился. Немца нигде не было. «А уж не приснилось ли мне в самом деле?» – на миг усомнился он. Подошел Аразов.

– Голова морочит, сержант. Где немец?

Кряжев только пожал плечами. Он уже собрался повернуть обратно, когда взгляд его случайно остановился на двух отодвинутых от стены нижних ящиках, верхние были ближе к стене.

– Симметрии нет, видишь?

– Какой такой симетри? – не понял Аразов.

– Порядка, говорю, нет...

Аразов кошкой прыгнул к ящикам, рывком сбросил верхние из них, и Кряжев снова встретился с испуганными глазами недавнего привидения. Глаза были так неестественно и широко открыты, что казались неживыми, и только мелко дрожащие поднятые руки подтверждали, что в этом человеке еще теплится жизнь. Всегда неприятно встречаться вот так близко с глазами врага, в такие мгновения время словно останавливается, и секунда кажется бесконечно длинной.

Однажды Кряжеву уже приходилось столкнуться лицом к лицу с вооруженным немцем. Это произошло при разведке населенного пункта – и так внезапно, что оба буквально остолбенели. Сколько они тогда простояли, глядя в глаза один другому, этого Кряжев не мог бы сказать и сейчас, может, секунду, может, пять минут, но показалось очень и очень долго. Оружие применить было невозможно – для этого надо было отступить, – и они попросту схватились в обнимку, как борются на празднике деревенские парни. Видевший эту сцену земляк Зудилов

уверял после: «Честное слово, я подумал было, что Кряжев встретил приятеля, так мирно они стояли рядом, да еще и обнимались...»

Сейчас то ли оттого, что в руках немца не было оружия или Кряжев был подготовлен к этому, он спокойно командовал:

– Встать!

Немец не пошевелился.

– Иди сюда! – повторил Кряжев.

И опять ни один мускул не дрогнул на лице немца.

– Он помер от страха, – засмеялся Аразов и тряхнул пленного за плечо.

– Гитлер капут, – забормотал тот.

– По-русски понимаешь? – спросил Кряжев.

Пленный замотал головой.

– Гитлер капут – это они теперь знают, – заметил Аразов.

– Капут, капут, – обрадовался немец.

Кряжев знал по-немецки лишь то небольшое, что не успел забыть еще со школьной скамьи.

С трудом, подбирая слова, начал допрос:

– Ты один?

– Да, один...

– Оружие есть?

– Нет.

Аразов обыскал немца, но, кроме перочинного ножа, часов да ключей от склада, ничего не нашел.

– Вот тебе и язык, Аразов.

Разведчик с ног до головы осмотрел мешковатую низкорослую фигуру пленного, кисло поморщился:

– Такой язык чего знает? Мне офицер надо...

– Что же делать с ним? – вслух подумал Кряжев.

– Как что делать? Стрелять его к чертовой бабушке, и все.

– Пока не за что. Он в плен сдался.

– Как не за что? Немец он...

– Этого мало, Аразов.

– А как я теперь спать буду? Усну, он, как барашка, резать начнет.

– И все-таки нельзя.

– Ты какой-то такой мне начальник? – Разведчик приблизил к лицу Кряжева засверкавшие, как там еще, перед броском, глаза. – Ты – сержант, я – сержант, ты не хочешь, я хочу. – И резко повернулся к немцу.

Тот, безмолвно наблюдавший эту сцену, при виде взятого на изготовку автомата попятился, и даже в полутьме можно было увидеть, как лицо его подернулось налетом мертвенной бледности.

– Да подожди ты, кипяток, – Кряжев решительно локтем отвел автомат разведчика.

– Ну, чего жди?

– Ты думаешь, что он мало знает? Ошибаешься. У них все части на довольствии стоят, даже, сколько в какой людей, сказать могут. – И, видя, что Аразов недоверчиво на него косится, добавил: – А из подвала выходить, может, через подкоп будем, а я какой работник? – кивнул он на забинтованную руку.

Аразов нехотя опустил автомат.

– Ладно, сержант, но смотреть сам будешь.

Кряжев согласно кивнул, и только теперь снова почувствовал боль в раненой руке.

Идя к двери, он словно сам для себя говорил:

– Убить человека, да еще безоружного – просто. Нажал на собачку – и нет его. А человек разве муха?

– Немца, как фаланга, как скорпион, душить надо, – перебил Аразов, – укусит...

– Так ведь и немцы разные бывают. Ты о Тельмане слышал?

– Маленько слышал, – неуверенно проговорил разведчик.

– Вождь ихний, революционер, в тюрьму Гитлер посадил его.

– Боится?

– Вот именно. Освободим, его, может, и увидеть придется. За такого человека я на последний штурм пойду, а ты заладил – немец, немец...

– Этот, почем знать, какой? – кивнул на идущего впереди пленника Аразов, – воевать пошел...

– А может, заставили?

– Ладно, Шмаков разберет. Спать не дал, черт его бабушке, – ворчал Аразов, снова укладываясь на брезент. Кряжев прилег, долго разглядывал пленного. Он стоял в трех шагах от площадки, безвольно опутив руки, не шевелясь. По чисто выбритому полному немолодому лицу скользили тени от вздрагивающего огонька, и от этого лицо его, казалось, то хмурилось, то на нем появлялись светлые проблески. Выражения глаз не было видно: немец смотрел вниз, он, должно быть, думал свои невеселые думы. Кряжев начал расспрашивать:

– Дети есть?

Пленный от неожиданности вздрогнул, поднял светлые навывкате глаза, ответил не сразу – точно обдумывал, что сказать.

– Да, трое...

– На фронте сыновья есть?

– Нет, нет, – ответил пленный чуть испуганно и торопливо. «Врет, – подумал Кряжев, – боится».

– Как звать?

– Вилли, Вилли Герман.

Помолчали. Запас слов почти кончился. Вилли начал переминаться с ноги на ногу.

– Садись, – знаком показал Кряжев.

Пленный опустился на пол, зябко повел плечами, которые были туго обтянуты поношенным темно-зеленым кителем: в подвале было прохладно. Кряжев потянул из-под разведчика кусок брезента. Аразов поднял голову, непонимающим взглядом проследил за брошенным немцу брезентом, тряхнул головой, помянув чью-то бабушку, и повернулся на другой бок.

Кряжев занялся повязкой. Во время суматохи она размоталась, и он никак не мог завязать узел. Посматривая на немца, заметил его участливый взгляд и смело протянул руку. Вилли, стараясь не касаться руки, завязал, торопливо отодвинулся на свое место. Теперь он смотрел на Кряжева чуть недоумевающе, с любопытством, точно старался понять этого плечистого, с добрыми серыми глазами уже немолодого русского. То, что он так доверчиво протянул раненую руку, дал брезент и, как видно, заступился за него, невольно располагало к нему Вилли Германа. Лицо

его несколько оживилось, во взгляде исчезло тупое выражение, которое бывает у людей, обреченных на смерть и нетвердых духом.

Аразов спал крепко и долго. Тишина подвала нарушалась лишь похрапыванием разведчика да изредка потрескиванием фитиля в плошке. Немец дремал сидя. Временами он вздрагивал, широко открывал глаза и смотрел на огонек, на обоих русских и, видимо, успокоившись, что все по-прежнему и опасности для него пока нет, снова клевал носом. Кряжев не спал. Глухой болью ныла раненая рука, приходили невеселые мысли. Он искал выхода из создавшегося положения, и не находил. Тревожило и присутствие немца – кто знает, что у него на уме.

Конечно, пленного можно просто-напросто связать, но это значило показать ему, что они боятся его, и, кроме того, Кряжев надеялся, казалось, на невероятное – найти в нем порядочного человека, который должен понять их великодушие и стать, хотя бы временно, в связи с обстановкой, их союзником.

Наконец Аразов проснулся. Он посмотрел на Кряжева, на немца, на часы, покачал головой.

– Ай, ай! Свинья Аразов, наверно, сам спит – друг не спит! Ложись, сержант, потом выходить будем!

Проснулся Кряжев от звука пробки, вышибленной из бутылки. Аразов приготавливал завтрак, Вилли по-прежнему сидел, закутавшись куском брезента, и, казалось, неодобрительно посматривал на сервировку стола. Заметив, что Кряжев проснулся, он повеселел, показал на бутылку и консервы:

– Очень плохо, – разобрал Кряжев из его слов. Немец указывал куда-то в темноту подвала, пощелкивал языком.

– Сходи с ним, он что-то хочет принести, – догадался Кряжев.

Вилли вернулся с бутылкой какого-то неизвестного вина, несколькими банками и головкой сыра. Потом, захватив пустую банку, направился к воротам, в угол. Кряжев услышал бульканье воды из крана, обрадованные возгласы Аразова. Вилли вернулся первым, разведчик долго плескался водой, фыркал. Подошел посвежевший,

веселый. Первым Аразов заставил выпить самого немца. Тот плеснул в банку несколько глотков, выпил. Видимо, понимая, что ему не доверяют, попробовал из каждой банки консервов, отрезал кусочек сыра. Вино и закуска вернули Кряжеву хорошее настроение. Аразов дружелюбно похлопывал пленного по плечу.

– Повар будешь у нас, понял? Повар. Эх, немчура. Черт твою бабушку, не понимает. Пойдем-ка еще бутылочка возьмем...

После трех причастий немец заметно повеселел:

– Товарищ... русский... хороший, – только и понял Кряжев.

После завтрака все трое пошли к воротам. Кряжев долго осматривал и выстукивал их, но даже в створе почти не было щели.

– Тоже с немецкой аккуратностью, – обозлился он. Клепаное железо было не менее пяти миллиметров толщиной. Видимо, взрывная волна плотно захлопнула ворота, а рухнувшее здание засыпало выемку обломками кирпичей.

– Будем вести подкоп, – решил Кряжев.

– Лом нет, лопат нет – чем копать? – спросил Аразов.

– Поискать надо...

Вдруг Аразов оживился:

– У сержанта сколько гранат?

– Две, а что?

– У меня тоже две. Хватит, наверно.

– Да зачем тебе?

– Э, не понимай. Дверь рвать надо.

Кряжев задумался. Он взвесил на руке легкие гранаты «РГ» и покачал головой.

– Не возьмут, а вот потолок как бы не рухнул...

– Ах, черт бабушке, – выругался Аразов.

– Копать будем, – обратился Кряжев к немцу. – Лом давай, лопату.

Вилли пожал плечами, повел к стеллажам. Он достал ломик-гвоздодер для вскрытия ящиков, молоток, гвозди.

Разведчик только сердито сплюнул.

– Да, немного, – покачал головой Кряжев и подошел к стенке. От первого удара выдергой осталась лишь лег-

кая царапинка, попробовали молотком – не лучше. Вилли недоумевал. Неужели они вздумали пробить стену такой техникой, уж не сошли ли с ума эти русские? Он на метр развел руками и безнадежно махнул, давая понять, что пытаться пробить стену, пустая затея. Аразов сердито отодвинул его плечом, закусив губу, ударил в стену ломиком. Кусочек бетона, величиной с горошину, упал к его ногам, но он, словно не заметил его, продолжал долбить изо всех сил. Минут через пять Аразов сбросил шинель, потом гимнастерку и, обессилев, передал ломик немцу. Тот повертел его в руках, пожал плечами, неумело ударил в стену и затряс рукой. Разведчик зло сверкнул глазами, отчего пленный как-то съежился, и начал работать усерднее.

За обедом молчали. Вилли и Аразов дружно навалились на консервы. Даже бутылка изысканного вина никому не развязала языка. Только после того, как Вилли раскурил трубку, а Кряжев затянулся махоркой, Аразов поднял выдергу, внимательно посмотрел ее затупившийся конец.

– Ломик, сержант, не хватит, стенка весь скушает...

– Молотком долбить будем: капля и то камень долбит...

– Сколько лет долбить? Сто? А мне столько взять где, сержант? Мне комбат разведку Берлин хотел поручить – спешить надо. Эй, Виля, начнем.

Немец, разглядывавший свои покрытые свежими мозолями руки, подавленно вздохнул и поднялся.

И опять глухие размеренные удары слышались в подвале по несколько часов подряд. Кряжев, лежа рядом с работающими, по часам следил за сменами, началом и окончанием работы. Он же вел счет дням, отмечая их зарубкой на ящике, который приспособили как стол. Три площадки освещали место работы, четвертая находилась на столе рядом с часами.

Аразов горел в работе, Вилли же работал без особого желания. Во время отдыха он прикивал ухом к створке ворот, слушал и, должно быть, терялся в догадках. Снаружи не было слышно ни выстрелов, ни взрывов. Фронт отдалился. Но куда? Любой исход боя за город не сулил

Вилли ничего радостного. Если город занят немецкой армией – его обвинят в измене. Разве в гестапо поймут, что русские сохранили ему жизнь не за предательство, а в силу каких-то не понятных еще ему побуждений? «А почему ты не убил русских?» – спросят его. Они знать того не захотят, было ли у него оружие или нет. Если же город взят русскими, начнутся допросы. Хорошо, если русские окажутся такими, как этот пожилой воин с добрыми глазами. А если нет? Выбирая одно из двух, Вилли больше почему-то склонялся к последнему. Тут еще можно было на что-то надеяться. Будь он на месте русских, не ударил бы палец о палец, а предоставил бы событиям разворачиваться своим чередом. Здесь ждать вполне можно. Ну, чего им еще не хватает? Лучшие вина и кушанья, спокойный отдых. Чего желают они на земле, разоренной, сгорающей в огне войны?

Как-то так само собой получилось, что обязанности повара выпали на долю Вилли. Захватив плошку, он отправлялся за продуктами один. Стараясь не вызвать подозрений, быстро возвращался, разогревал на огоньке консервы, смешивал их, даже ухитрялся на отрезанном днище банки состряпать что-то наподобие блинов. За обедом лучшие куски подкладывал Кряжеву, наверное, видя в нем начальника и своего защитника, а может, просто потому, что тот был ранен.

К концу недели Кряжев почувствовал себя совсем плохо. Раненая рука воспалилась и сильно болела. Поднялась температура, лицо и все тело точно жгли огнем, он начинал бредить. Во время отдыха немец подсаживался к больному, делал ему компресс, подавал пить, перевязывал. В его глазах можно было прочесть простое человеческое участие, а временами и страх. Он, должно быть, боялся, что в случае смерти Кряжева придется остаться один на один с Аразовым.

В одну из перевязок Кряжев долго рассматривал опухшую руку, трогал почерневшие кончики пальцев, потом надавил на них, но боли не почувствовал. «Гангрена», – мелькнула в голове страшная догадка. От этой мысли на лбу выступила испарина.

– Плохая рука, госпиталь надо, – подтвердил Аразов.

Стиснув зубы, он вкладывал в удары всю свою силу, ловкость, нетерпение.

– Друга выручать надо, – толковал он Вилли и тот, казалось, понимал и работал с не меньшим упорством.

Кряжев приподнимался, смотрел на стену и снова ложился. Ему было ясно, что когда пробьют стену, его, Кряжева, уже не будет.

Он успокаивал себя тем, что честно выполнил свой долг и не его вина, что умереть придется не на поле боя, а в глухом подвале от пустяковой раны; но все в нем возмущалось против этой покорности; лихорадочные, возбуждающие мысли искали спасения. «Взорвать дверь?» Но как ни желал этого Кряжев, отбросил этот вариант. «Но что же, что можно еще сделать?»

Взгляд его скользнул по столу, задержался на ноже...

«Конечно! Как это не догадался сразу. Нужно отрезать руку – ампутировать!»

– Аразов! – позвал он.

– Слушаю, сержант, – отозвался разведчик.

– Точи нож, хорошо точи...

– Зачем, сержант?

– Операцию делать будешь...

– Аразов, какой доктор? Не могу я тебя резать, сержант.

– Ты что хочешь, чтобы я умер?

– Зачем такое слово, друг? Живи...

– Будешь резать, – твердо сказал Кряжев. – Сейчас разложи костер да вскипяти масла.

В подвале запылал костер, послышалось чирканье ножа о цемент пола. Поняв для чего ведутся эти приготовления, Вилли искал в глазах Кряжева хоть проблеск страха, но не находил и очень этому удивлялся. Решиться отрезать руку ножом, доверить операцию солдату, не имея ни наркотиков, ни даже йоду, – это было уж слишком храбро и рискованно.

Когда все приготовления были окончены, Кряжев отстегнул ремень автомата и наложил тугий жгут выше локтя.

– Старайся по суставу, Аразов, – отдавал последние распоряжения Кряжев. – А потом обмакни руку в масло,

понял? Может, я и сознание потеряю, так ты все равно об-
макни, обязательно.

– Обжечь можно, больно будет, – не понял Аразов.

– Это для дезинфекции, древний способ.

– Эх, дела, как барашек, – засучив рукава, вздохнул
разведчик. – Держи свет, Виля!

– Налей чего-нибудь покрепче, – попросил Кряжев.

Выпитое обожгло в груди, но голова осталась ясной,
незатуманенной.

– Начинай, – твердо сказал Кряжев и отвернулся.

Плошка мелко задрожала в руке Вилли.

Аразов прикрикнул:

– Свет! Свет давай, черт твоя бабушка!

Он тяжело сопел носом, то и дело смахивая с лица
обильный пот. Изредка взглядывая на Кряжева, он заме-
тил, как из-под крепко сомкнутых век просочились и за-
стряли в морщинках две капли. Кряжев не стонал, не охал,
только все плотнее прижимался к прохладной цементной
стенке. Наконец, что-то мягко шлепнулось на пол, и они
услышали подавленный вскрик немца. Выронив плошку,
он отступил в темноту.

– Баба! Черт! – завопил Аразов и схватил банку с ма-
слом. Зашипело. Кряжев вскрикнул, приподнялся.

– Кончал... ложись, друг... – выдохнул разведчик,
ослабляя жгут.

В эту «ночь» Вилли совсем не спал – следил за огнем,
ловил каждый звук, каждое движение Кряжева, готовый
тотчас помочь чем-нибудь. Аразов, все еще недоверяв-
ший немцу, спал беспокойно, то и дело поднимал голову,
подозрительно косился на него и плотнее прижимал к
боку автомат.

Кряжев начал поправляться. Теперь, когда кончалось
рабочее время, все трое располагались вокруг стола, и
Кряжев начинал занятия по изучению немецкого языка.
Он пальцем показывал на какой-нибудь предмет и вопро-
сительно смотрел на немца. Вилли отвечал, и Кряжев не-
сколько раз повторял слово вслух, заставляя повторять и
Аразова. Разведчик коверкал слово, возмущался:

– Зачем у языка язык учить? Приведу Виллю в штаб,
Шмаков все спросит. Прошу, сержант, не морочь голова...

Но Кряжев был неумолим. В следующий урок он спрашивал пройденное, и разведчик озадаченно чесал затылок.

– Как по-виллиному человек? – повторял он вопрос.

– Человек, э-э, дело темно, дело темно. Вот беда с тобой, сержант.

– Ну, какая со мной беда, я-то знаю, – добродушно посмеивался Кряжев.

– Шибко тарабарский язык, – Аразов хитро щурил глаза и переводил разговор на другое. – Зачем разный язык на земле, сержант?

Уловка обычно не удавалась, и Аразов, наконец, вспоминал слово, страшно коверкая произношение. Вилли смеялся. Разведчик начинал злиться.

– Зачем смешным ставишь? Вилли совсем бояться не стал.

– А зачем бояться?

Аразов широко открыл глаза:

– Он плен попал, как не бояться?

– Все мы в плену, – кивнул Кряжев на стенку. – А знай мы язык, рассказали бы ему о нашей жизни. Он ведь не капиталист, а, наверно, рабочий, и понял бы, да еще и сам строил бы новую Германию. А, не зная языка, что расскажешь?

– Верно, сержант, ну, давай спрашивай.

А Вилли действительно перестал бояться, шутил, смеялся над разведчиком во время уроков и тоже твердил русские слова.

– Вина хочешь? Кушать хочешь? – надоедал он по-русски и, подражая Аразову, к делу и не к делу ругал «чертову бабушку».

Наконец, когда Кряжев насчитывал уже двадцать зарубок, стенка была пробита.

Маленькое, величиной с пятак, отверстие очень обрадовало Аразова. Радовался и Кряжев, только Вилли сразу как-то присмирел и зачастил в глубь подвала, где подолгу задерживался. Однажды после работы Кряжев и Аразов прилегли отдохнуть. Минут через пятнадцать Вилли тихонько поднялся, взял одну плошку и, оглядываясь, на цыпочках скрылся за стеллажами.

Не спавший Кряжев открыл глаза и встретился с настороженным взглядом разведчика. Не сговариваясь, оба взяли автоматы, поползли вслед за немцем. В самом дальнем углу, где складывались пустые ящики и банки, светил огонек. Немец, согнувшись над чем-то, чуть слышно звякал металлом. Они подошли близко и, скрытые темнотой, затаились. Сначала не поняли, что делал Вилли, и только когда он выпрямился и, повернув к ним взволнованное лицо, стал прислушиваться, они увидели у ног его небольшой сейф с каким-то фамильным гербом на дверке. Он был наполовину уже завален бутылками и банками.

Успокоившись, Вилли снова принялся за работу.

Кряжев кашлянул. Вилли отскочил от сейфа, словно его укололи, виновато опустил глаза.

– Что делаешь? – выходя на свет, спросил Кряжев.

– Сейф... офицер... – забормотал Вилли.

Вспомнился бронированный мерседес, выскочивший из выемки, очевидно, приезжали за сейфом, и стала понятной причина, почему вовремя не убежал из подвала Вилли. Аразов с трудом поднял железный ящик и понес к дверям.

– Хитрый, черт, как увидел дырка в стене – спрятать хотел, – посмеивался Аразов. – А может, там золото? – Аразов потряс сейф, и в нем действительно что-то посыпалось, забрякало.

Часа два он бился над замком, стараясь открыть, и плюнул.

– Шмаков откроет, у него ключи есть.

Теперь работа пошла быстрее: с краев бетон откалывался кусками, и скоро в подвал посыпалась сырая, податливая земля. Через два дня в отверстие можно было уже пролезть. Куча земли у стены росла на глазах, а еще через день Аразов вылез из подкопа мрачнее подвальной ночи.

– Еще стена, сержант. Почему такое?

Кряжев не поверил, полез посмотреть сам. Подкоп наклонно поднимался вверх, и скоро копящий язычок площадки коснулся такой же бетонной стенки, на этот раз горизонтальной. Очевидно, это был пол соседнего здания. Когда Кряжев выбрался обратно, Аразова нигде не было. У стеллажей раздался мягкий удар – и послышалось

бульканье. «Пьет, – догадался Кряжев. – Как бы не наделал глупостей».

– Неси и мне, чего прячешься?! – крикнул он Аразову.

Разведчик подошел. Его заметно покачивало из стороны в сторону. Присел на пятки, налил всем, пьяно пожаловался.

– Не могу больше, сержант, видишь рука?.. Наши, наверно, разведку Берлин ведут, а я сижу тут.

– Ты отдохни, Аразов, заживут руки, начнем опять долбить, все равно выйдем, – уговаривал Кряжев.

– Зарубок сколько уже? Вот видишь, двадцать пять. Неужели еще сидеть столько? Я невесте письмо не написал... Ты знаешь, какая невеста? – Аразов, хвастливо пощелкивая языком, достал вложенную в комсомольский билет помятую фотографию девушки в национальном узбекском костюме, подал Кряжеву. – Что думает невеста? Забыл, скажет, жених... – и помрачнел. – Ну, скажи, сержант, когда теперь выйдем?

– Надо набраться терпения, – уклончиво ответил Кряжев.

Аразов зло и длинно выругался, залпом опрокинул в рот полную банку шнапса, ткнувшись лицом в брезент, затих. Кряжев еще раз слазил в подвал, долго выстукивал молотком новое препятствие. Звук был заметно звонче, чем у стены в подвале: «Значит, перекрытие тоньше, – решил он. Попробовал долбить и сразу же засорил глаз. Пока протирал его, подкоп наполнился дымом от плошки, дышать стало нечем. Дунул на огонек и ощутил себя живо погребенным. Тьма полная, до звона в ушах тишина и тяжелый могильный запах задохнувшейся под бетоном земли усиливали это ощущение.

– Долбить! Долбить! – приказал он себе, а через несколько минут уже не мог поднять руки, ломик казался страшно тяжелым. Появились ленивые, несвязные мысли о ненужности и тщетности его усилий, дыхание становилось все тяжелее. Захотелось лечь и закрыть глаза. Он почти не помнил, как выполз в подвал, и, только отдышавшись, подумал: «Как это до смешного просто и глупо – лечь и закрыть глаза. А они даже не проснулись бы».

Круг за кругом описывала часовая стрелка, росло количество зарубок на ящике, но Кряжев больше не торопил разведчика, ждал, когда заживут руки. Занятиями, разговорами старался отвлечь его от мрачных мыслей.

Аразов заметно упал духом: уже не слышно было его заразительного, на весь подвал, веселого смеха; неприкрытой неприязнью горели глаза, когда он смотрел на немца, точно тот был причиной постигшей всех неудачи.

Как-то, направляясь к стеллажам, Аразов запнулся за сейф и, вспыхнув, высоко поднял его, швырнул об пол. Внутри зазвенело, посыпалось. Он осмотрел чуть помятый угол крышки, позвал Кряжева:

– Смотри, сержант.

От удара из-под краски заметно обозначились заклепки.

– Разобьем?

– Работы и так хватит, отдыхай лучше.

– А вдруг там золото?

Аразов тряхнул сейф, прислушался к звону.

– Да зачем оно тебе?

– Э, зачем. Зуба вот нет у тебя – вставишь.

– Я и так проживу.

– Посмотреть надо – какое оно.

– Да ну его к черту, надсадишься поднимать.

Но Аразов уже загорелся, ожил. Опять поднял сейф, бросил. Заклепки обозначились резче. Через полчаса он дышал, как загнанная лошадь, но глаза горели упрямством. Кряжев больше не отговаривал, даже подбадривал, давал советы. «Лишь бы не хандрил», – решил он.

– Виля, кушать давай, – распорядился Аразов, – да больше неси, золота дам.

– Одна минут, – отозвался Вилли и пошел к стеллажам.

Очередной удар, звон и крик Аразова: «Смотри, смотри, сержант!» – заставили его обернуться.

Из-под наполовину отскочившей крышки на пол высыпалось содержимое – куча желтых и матово-белых вещей. Среди них от света поднесенной плошки искрились, блестели радужные точки. Вилли подошел поближе, в сердце его шевельнулся страх за несохраненный сейф. Они, конечно, обойдут его при дележке, а разве он не имеет право на какую-то долю? Долю?.. Нет, все это богатство

должно принадлежать уж если не хозяину, то только ему. Вилли чувствует, как тяжелеет в руке ломик. «Подкрасться сюда и...»

Он рукавом вытирает выступивший на лбу холодный пот. «Нет, подождать. Сейчас они кинутся делить и наверняка подерутся».

Он стоит не дыша, не шевелясь, а те двое, словно застыли над сейфом, и не торопятся с дележкой. Он видит, как грузно, точно постарев, поднимается на ноги Кряжев, носком сапога сдвигает в кучу раскатившиеся вещицы, мрачно и повелительно зовет:

– Вилли!

От неожиданности Вилли вздрагивает, роняет ломик и выходит на свет.

– Видишь?!

Да, он видит теперь агатово-черные нитки жемчуга, броши, серьги; все, наверное, очень дорогое, есть и золотые монеты, и столовое серебро. Он прикидывает, что всего этого хватило бы на жизнь и ему, и его детям. Ведь даже эта самая маленькая крупинка, похожая на орешек, стоит хороших денег.

Вилли наклоняется ниже, чтобы рассмотреть эту крупинку, отшатывается. Зуб! И не один, их много тут, совсем новых, блестящих и стертых, есть даже дырявые. Может, хозяин обер-лейтенант Мюллер, что сдал ему на хранение сейф, складывал коронки своих зубов? Но нет, Вилли помнит, что у него были свои крепкие, похожие на лошадиные, зубы. Так чьи же эти?

– Понял? – сурово спрашивает Кряжев.

Вилли отводит глаза. Он боится встретиться с зелеными, злыми глазами Аразова, боится взглянуть в прямые, открытые глаза Кряжева, точно не Мюллер, а он сам рвал из ушей женщин эти дорогие серьги, выбивал эти дырявые коронки.

– Гад! Кара крут! – срывается с места разведчик. Он так трясет за грудки Вилли, что мясистые побелевшие щеки того, кажется, вот-вот оторвутся.

Вилли не сопротивляется. Он вытягивает руки по швам. Он понимает, что у русских теперь есть все основания презирать его, даже лишить жизни.

Аразов, стиснув зубы, продолжает неистово трясти немца, отшвыривает его, хватается за автомат.

– Сколько?! Сколько людей убил?! – кричит он в лицо немца.

– Никс, никс, – догадывается и пятится Вилли.

– Стой, Аразов, так допрос не снимают, – вмешивается Кряжев. – Сядь! – И первым садится на ящик.

– Вилли, чей это сейф? – спрашивает Кряжев. Из многословного ответа немца, который вдруг забыл все выученные по-русски слова, можно понять, что сейф не его, а его начальника, обер-лейтенанта.

– Фамилия?

– Отто Мюллер, из Баварии.

Эта распространенная среди немцев фамилия ничего Кряжеву не говорит, но он не подает виду.

– Вот, видишь, не его сейф, выходит. Вилли, иди готовь обед.

Немец, опасливо поглядывая на автомат, пятится в темноту.

– Ну и горяч ты, Аразов. Черт знает, до чего горяч. Все дело мне портишь. Выйдем – доложу комсоргу, чтоб наложил на тебя взыскание. Ну, разве так людей перевоспитывают?

– Врет немец, наверно, а ты ухом хлопаешь, – не сдается тот.

– Да посуди ты, откуда у солдата сейф, и это? И по глазам видно. Теперь вот опять бояться нас будет.

Во время отдыха Вилли долго не мог уснуть. Он лежал лицом к стене и привычно чувствовал на своем боку голову узкоглазого унтера. То, что он служил подушкой, насколько не угнетало – это в конце концов куда лучше, чем быть связанным, да к тому же и теплее. Вилли перебирал в памяти все поступки русских, начиная от первой встречи, и старался понять, почему до сих пор они не убили его.

Если оставили, чтобы использовать его как рабочую силу, то он не может пожаловаться, что его заставляют делать больше, чем делают сами. Если по каким-то другим причинам туманного порядка – тоже не совсем понятно. Война есть война, – рассуждал Вилли. – Убей врага или враг убьет тебя. Какая уж тут гуманность! Но тогда почему

безрукий унтер вот уже дважды отводит от его груди дуло автомата? Почему в ту первую ночь он дал брезент, доверил перевязать руку, наконец, что уж совсем непонятно, учит русскому языку. Как-то во время урока унтер долго толковал о жизни после войны, и Вилли до сих пор не уверен, правильно ли он понял, что русские и немцы должны стать братьями. Где, когда так было, чтобы победитель посадил за свой стол побежденного, назвал братом, да еще, если тот первым напал на него?

Однажды Вилли ездил в командировку в Россию за продуктами и видел руины русских городов. Неужели они смогут простить нам это? О! Для этого надо быть очень великодушным. Вот таким, как этот безрукий русский.

Голова узкоглазого унтера беспокойно шевелится, устраивается удобней, он, должно быть, тоже не может уснуть. За спиной слышно спокойное дыхание второго русского, который почему-то никогда не использует его как подушку; по стене лениво ползают тени от огня плашки, Вилли все не может уснуть, думает.

Неожиданно унтер поднимает голову, сидит несколько минут неподвижно, потом идет к столу. Вилли облегченно вздыхает, теперь можно повернуться на другой бок, размять онемевшую руку. Засыпая, он еще видит, как что-то шепчут губы Аязова, один за другим загибаются на руках пальцы, должно быть, опять считает зарубки; и вот на заросшем первым пушком смуглом лице начинается все шире и шире растекаться теплая, хорошая улыбка, такая же, какая появляется, когда он тайком смотрит на фотокарточку своей невесты.

– Эй, сержант, проснись! – громко и как-то радостно зовет Аязов.

– Ну, чего еще? – Недовольно поднимается Кряжев. – Что за тревога? И когда ты, Аязов, к распорядку привыкнешь?

– Вставай, говорю, праздник сегодня.

– День твоего рождения, что ли?

– Конечно, день рождения. Только не мой, – Аязов торжественно поднимает вверх палец. – А революции! Понял?

– Врешь! – разом вскакивает Кряжев.

– Зачем врешь, – сам считай.

– А я-то сюрприз готовил, думал пятое сегодня, – смущенно говорит Кряжев, пересчитав зарубки.

– И я тоже готовил, – посмеивается Аразов. – Эй, Виля, вино давай, гулять будем, – распоряжается он.

– Революций? О, большой день!

С обедом Вилли сбился с ног. Разложив в стороне небольшой костер, что-то стряпал, ежеминутно бегал к стеллажам, а когда все уже было готово, его тоже заставили выпить. Кряжев с Аразовым чокнулись.

– За 27 годовщину.

– За победу.

– А у нас на Алтае, сейчас, наверное, первый снежок выпал, – проговорил Кряжев. – Такой пушистый и белый-белый. Бывало, запряжем десяток троек, лошади в лентах, и с ветерком – до района. Вернемся, а село уж шумит, заливается музыкой – самое свадебное время...

– А у нас хлопок убрали, виноград убрали тоже – большой праздник. Джигиты, наверное, собрались, скачки будут. Тепло у нас, солнца много-много. Эх, хорошо!

– Только нет сейчас свадеб, – некого женить, все парни в армии, – заключил Кряжев.

– Да, нет дома джигитов, нет скачки, – соглашается Аразов.

Через несколько «дней», вернее зарубок, зажали руки Аразова. Начали пробивать верхнюю стенку. Вилли, не жалея себя, просиживал в подкопе дольше, чем Кряжев и Аразов. Зато Аразов заметно начал сдавать. Больше всего его угнетала работа без огня, вслепую.

– Куда бьешь – не видишь. Чего будет? – спрашивал он с раздражением.

Однажды он вылез из подкопа раньше обычного, швырнул в темноту ломик и долго протирал запорошенные цементом глаза.

– Не буду долбить больше, хватит, – заявил он.

– Ну, что ж будем ждать, когда нас откопают, – согласился Кряжев.

– А я ждать не хочу, дверь рвать буду. – Аразов выхватил из подсумка гранату.

– Положи! Ты что, пьян?

– К чертовой бабушке!

Вилли, увидев, как Аразов торопливо вталкивает в гнездо запал, боком отодвинулся от него, спрятался за спину Кряжева.

– Положи, говорю! – Кинулся Кряжев к разведчику...

Аразов хотел отбежать в сторону, но Кряжев успел хватить его здоровой рукой поперек туловища.

– Вилли, сюда!

Немец подскочил на помощь, неуверенно взял Аразова за руки, но тут же отлетел в угол.

– Эх! – Крутнулся разведчик и легко вырвался. Сжимая кулаки, пошел на Кряжева.

– Почему не хочешь дверь рвать? Сидеть в подвале хочешь, пока война есть? Ты – дезертир!

– Замолчи! – Они сошлись лицом к лицу. Стараясь сдерживать закипевший гнев, Кряжев веско бросил. – Не забывай, что ты комсомолец и подчиняешься мне, как коммунисту, понял?

Разведчик, готовый наброситься на Кряжева, вдруг обмяк, руками потер голову, бессильно опустился на постель вниз лицом.

Ощупывая под глазом синяк, подошел Вилли, зажег угасшую во время борьбы одну из четырех плашек, глубоко задумавшись, долго смотрел на огонек.

– Ты – коммунист? – спросил он.

Кряжев кивнул головой.

– О! – Немец посмотрел на сержанта как-то по-новому, с еще большим любопытством и уважением. Теперь ему стало ясно, почему непобежденный силой узкоглазый унтер вдруг сдался от одного этого слова.

Коммунисты – это были непонятные для Вилли люди, перед которыми два года назад впервые дрогнула великая армия фюрера. И оттого, что они оказались обыкновенными людьми, вроде этого пожилого воина с добрыми серыми глазами, они стали близкими для Вилли и совсем не страшными. Вилли усмехнулся при мысли, что сам, того даже не подозревая, не однажды называл этого коммуниста своим другом.

Когда Кряжев начал укладываться спать, Вилли на этот раз лег в его изголовье. (Все эти дни Аразов использо-

вал его вместо подушки. Малейшее движение пленного тотчас будило подозрительного разведчика.) Но Кряжев отрицательно покачал головой, похлопал рядом. Вилли охотно переменял место. Полежав с полчаса, он приподнялся на локоть, заглянул в глаза Кряжеву. Ткнув пальцем вверх, спросил:

– Гитлер капут?

И хотя Кряжев сомневался, что война уже кончилась, ответил утвердительно.

– Я работай, – по-русски сказал Вилли.

Захватив плошку и ломик, он скрылся в подкопе. Через минуту донеслись глухие удары.

«Нет, это не удары. Это падают с крыши полновесные капли. Кап, кап, значит, весна?» Кряжев задремал. Он не видел, как осторожно приподнял голову Аразов, взял что-то и бесшумно скрылся за чертой темноты. Нет, лучше бы не спать ему, Кряжеву, в эту беспокойную ночь, сидеть бы и сторожить сон этого беспокойного человека. Проснись скорей, видишь, он уже связал все четыре гранаты, вставил запалы в них, отнес одну из плошек к воротам! Кряжев открывает глаза, но поздно – разведчик уже стоит со связкой в руке, готовый к броску.

– Ты что, Аразов, опять пьян? – как можно спокойнее спрашивает Кряжев.

– Аразов не пьян, сержант, Аразов хочет выйти! Не мешай, сержант!

– Дурак ты, Аразов, вот кто! Положи связку.

– Уходи в подкоп! – Упрямо мотнул головой разведчик. – Уходи! – и взялся за кольцо предохранителя.

– Да подожди ты, давай обсудим все. – Приподнялся Кряжев, лихорадочно обдумывая, как бы заставить разведчика отдать связку. – Ты и гранаты неправильно связал, давай покажу, как надо... – Кряжев шагнул к разведчику, но Аразов, видимо, понял – отскочил, широко размахнулся.

– Берегись!

В наступившей тишине громко щелкнул запал. Кряжев кинулся к подкопу.

– За мной! – крикнул он вылезшему немцу.

И едва успел втиснуться в узкое отверстие, как его толкнуло вперед. Взрыв встряхнул весь подвал, рушились

штабеля ящиков, сыпались со стеллажей бутылки и банки. Когда Кряжев выбрался из подкопа, в подвале было тихо. Огня не было. Едкий дым, смешанный с пылью, заставил лечь на пол и дышать сквозь рукав гимнастерки.

– Аразов! Вилли! – позвал Кряжев. Ему откликнулось лишь глухое эхо.

Кряжев пополз к стеллажу, где в последнюю минуту стоял разведчик, и скоро наткнулся на распростертое тело. Рядом валялась тяжелая железная банка с джемом. Отброшенная воздушной волной, она, видимо, и ударила разведчика.

Аразов лежал вниз лицом, жесткие волосы его слиплись от крови, он чуть слышно стонал.

Кряжев торопливо стянул с себя нижнюю рубашку, забинтовал голову Аразова. Долго шарил вокруг себя, искал плоску, последней спичкой зажег свет. И хоть не верил в затею Аразова, побежал к дверям, ощупал вмятину, приник к маленькой щели, появившейся в створе.

Только теперь вспомнил о немце. Где он? Нашел его в нескольких метрах от подкопа у самой стены, обшарил и не нащупал ни одной раны. Припал к груди, но в ушах еще стоял звон после взрыва, и он решил: убит.

Аразов умирал. Только один раз он пришел в себя и, узнав Кряжева, зашептал:

– Скажи, друг... как дверь?

Кряжев покачал головой.

– Прости... не слушал... напиши... – Он потянулся к карману гимнастерки, но руки уже не поднимались. – Покажи...

Кряжев достал фотографию, поднес к лицу разведчика. Аразов смотрел на карточку долгим, тоскливым взглядом, из уголков глаз торопливо выкатывались крупные слезы. Губы его шептали, должно быть, самые ласковые слова, выражение лица смягчилось. Кряжев не понял ни слова. Аразов прощался на своем языке. Вот он потянулся к фотографии и откинулся навзничь.

Долго еще Кряжев сидел неподвижно, держа на коленях голову разведчика.

В подвале установилась мучительная, звенящая тишина, какая бывает только в глубоком каменном скле-

пе. Коптил огонек плошки, и Кряжев смотрел на него не отрываясь. Огонек начал гаснуть. Кряжев поправил его, опустил на постель. Торопливо тикали часы, и он обрадовался им, как живому существу.

Вдруг резкий удар в подвале подбросил Кряжева с места. Мелькнула мысль, что через неизвестный ему лаз кто-то проник в подвал.

– Кто там?! – невольно крикнул он сорвавшимся голосом.

Не сразу понял, что со стеллажа упала банка или бутылка. Опрокинутая взрывом, она, видимо, лежала на краю доски, пока не преодолела тонкое, как волосок, волокно дерева.

«Начинают сдавать нервы... – думал он. – Надо лечь и уснуть. Похоронить этих и во что бы то ни стало выйти».

Проснулся от какого-то внутреннего толчка – что-то случилось. Неестественно громко, точно стенные, стучали часы. Открыл глаза – огня не было. И хотя помнил: свет зажжен последней спичкой, долго еще прощупывал в коробке пальцем. «Почему погас свет? Неужели кто-то погасил его?»

Плошка стояла около часов, и Кряжев протянул на звук руку. Палец ткнулся в пепел фитиля. Значит, выгорело масло... Что теперь делать? Вспомнилось, как с ружьем за плечами он по упавшей сосне перебирался через говорливую, горную речушку. На середине дерева подопревшая кора предательски скользнула под ногой, и он упал в ледяную воду. Пока вылез на берег, сильно продрог, а спички безнадежно отсырели. Над глухой алтайской тайгой задергивался темный, осенний полог. Но Кряжев не растерялся тогда, как сейчас: залитые воском патроны не могли отсыреть, а около ворота фуфайки нашелся под вспоротой подкладкой клочок сухой ваты. Кряжев забил его вместо пыжа и выстрелил. Разжечь от тлевшей ваты огонь было делом одной минуты...

«Да, да это же очень просто, вместо ружья есть автомат», – обрадовался Кряжев, обыскивая вещмешки. Но ни ваты, ни марли в них не оказалось. Припомнил, что последний индивидуальный пакет был израсходован еще при операции.

Кряжев начал по ниточке обрывать подол гимнастерки. Раскрутить нитки, растеребить их одной рукой было почти невозможно. И он промучился несколько часов. Хорошо растеребить нитки так и не удалось. Еще с полчаса ушло на то, чтобы извлечь из патрона пулю, и когда все было готово, Кряжев, затаив дыхание, нажал на спусковой крючок.

Из дульного среза выскочил язычок огня. Кряжев жадно всматривался перед собой, искал хотя бы крохотный светлячок искры, и не находил. Через некоторое время короткая вспышка выстрела снова рвала липкий мрак – и подвал вздрагивал.

Выбившись из сил, Кряжев забылся в беспокойном сне. То слабый, чуть видимый огонек, то целое море света терзали больное воображение. Сон так и не принес отдыха.

Теперь Кряжев решил добыть огонь трением. Он откалывал от ящиков куски дерева, взвешивал их на ладони, стараясь определить породу. Выбрав легкий и тяжелый куски, он один из них прижимал коленом к полу и начинал яростно тереть об него другой кусок.

Дерево нагревалось слабо, лишь иногда он улавливал запах гари, но огня по-прежнему не было. Силы одной руки явно не хватало.

После взрыва прошло, наверное, больше суток – пора было хоронить разведчика и немца, а огня Кряжев так и не зажег. Каждый раз, проходя мимо стеллажа, он прижимался к самой стене, боялся невзначай наступить на разведчика или немца. Безмолвные, они постоянно заставляли думать о том, что им надо отдать последний долг.

Хоронить их Кряжев решил в подкопе, хотя этим лишил себя надежды выбраться из подвала своими силами.

Завернув Аразова в шинель и брезент, Кряжев с трудом втащил его в отверстие подкопа, взялся за немца и вздрогнул – ноги были странно податливы, точно у живого.

Замирая от какого-то неприятного, почти суеверного чувства, дотронулся до лица и отдернул руку. Показалось, ладонь пощекотали ресницы глаз. Через несколько секунд он опять дотронулся до лица. Под пальцами затре-

петали брови, ладони Кряжева коснулись сухие, горячие губы. Кряжев уловил чмокающий звук. Еще не веря себе, закричал:

– Живой! Да ты хоть слово, слово скажи!

Припал к груди. «Контужен!» – догадался Кряжев и побежал за водой. Бережно охватив шею, он приподнял Вилли, напоил.

И снова все стало на свои места.

– Я не один, – радостно повторял он. – Не один!

Теперь он почти не отходил от больного. Едва ли какая мать так ухаживала за своим ребенком, как это делал Кряжев.

Снова регулярно заводил часы и, сняв стекло, пальцем определял время, делал зарубки, каждый раз пересчитывая их.

Много времени уходило на поиски бинтов и ваты. Кажется, Кряжев ощупал каждый сантиметр пола, и все же ничего не нашел.

Часто, затаив дыхание, сидел у створки ворот, ловил редкие, слабые звуки извне. Иногда ему удавалось услышать шум мотора, сигналы машин, похожие на комариный писк.

В таких случаях он стучал в дверь молотком или делал несколько выстрелов и опять принимал к створке. Но шум удалялся, и только тикали часы, да обороты стрелки говорили о движении времени. В щель проникала слабая струя воздуха, и он стал замечать, что она делается все холоднее и холоднее, видимо, наверху наступила зима.

Когда надоедало сидеть около неподвижного немца или у ворот, Кряжев, машинально отсчитывая шаги от одной стены до другой, воскрешал в памяти давно пежитое.

Вот дом с замшелым, просевшим хребтом деревянной крыши и маленькими темными сенцами. Изрубленное, но чисто вымытое крыльцо с тремя ступеньками. Он, Сашка Кряжев, еще маленький, загорелый носится по двору...

Иногда он видел себя за штурвалом комбайна рядом с Зоей среди неохватного моря пшеницы. Она часто забежала «по пути». Ветер играет ее светлыми, как лен, волосами,

бросает их на щеку. От простора, от ветра, от синих глаз в груди Кряжева гулко забьется сердце...

...А вокруг тьма, беспросветный мрак – ни одного проблеска. Кажется, весь мир погрузился в черную пустоту. Тишина, нарушаемая лишь равномерным дыханием Вилли.

Как-то Кряжеву показалось, что кто-то заговорил. За месячный срок он привык к тишине и теперь не сразу понял, что заговорил Вилли.

– Ты... что-то... сказал? – волнуясь, спросил он немца.

– К... ку... шать, – отдельно, но ясно произнес тот.

– Вот молодец! По-русски заговорил! – воскликнул Кряжев. – А я уж думал, ты совсем говорить не будешь, а ты заговорил, да еще по-русски... Кряжев с удовольствием ощущал свой голос, а потом попросил:

– А ну, еще что-нибудь скажи!

– П... пить.

– Значит, и слышишь. Сейчас дам и пить, и есть, только поправляйся скорей.

– Огонь н... нет?

– Огня, брат, нет. Потух. Встанешь – добудем.

Кряжев больше не отходил от немца. Разговаривать в темноте было гораздо труднее. Раньше они дополняли значение слова мимикой, жестом, теперь этой возможности не было.

Но оказалось, что если держаться рука за руку, объясняться гораздо легче.

Кряжев долго не мог узнать, чем занимался Вилли раньше, а узнать это для Кряжева было очень важно.

– Я тракторист. – Кряжев воспроизвел звук работающего трактора, крутил воображаемую баранку. – Трактор? Понял, – пожимал он руку Вилли. – А ты?

Вилли говорил непонятные слова, в которых часто упоминалось «ресторан».

– Хозяин ресторана? – уточнял Кряжев.

– Да, ресторан.

«Собственник, черт бы его побрал», – огорчился Кряжев.

– Пить будешь, кушать будешь? – с какой-то заученной, любезной интонацией повторял Вилли. Кряжев вспомнил, с какой ловкостью Вилли вскрывал консервные банки, подавал на стол.

– Официант?..

– Официант, – гордо повторил Вилли.

У Кряжева отлегло от сердца. Однажды Вилли задал неожиданный вопрос:

– Гитлер капут, все солдаты капут?

– Такие, как ты, тут ни причем, а Гитлеру, Гимmlеру и прочим капут, – подтвердил Кряжев.

– Германия Совет?

– Не знаю. То сами смотрите.

– Совет – не война, наци – война.

– Вот то-то же. Понял, значит?

– О да, товарищ Кряжефф. – И пожал ему руку.

В одну из таких бесед они услышали звуки извне и насторожились. Было похоже, что где-то скребется мышь. Кряжев припал ухом к стене и долго слушал. Звуки рождались в конце подвала, исчезали на несколько часов, потом доносились снова. С каждым разом они раздавались все ближе и ближе, а дня через три послышалось звяканье железа. Стало ясно: копают люди.

«Наконец-то! – И тут же задавал себе вопрос: – Почему копают не от ворот?» А звуки все усиливались. Но поступать или подать голос Кряжев не решался, словно боялся спугнуть работающих.

Когда работы прекращались, Кряжев тяжело вздыхал, а когда начинались, радовался и почему-то настораживался. У него появилась мнительность. В долгие часы раздумий он решил – война уже на исходе, и все же то обстоятельство, что подкоп ведется не от ворот, заставляло быть начеку.

Часами просиживая у стенки, Кряжев понял, что подкоп ведут всего два-три человека. Шум за стеной начинался и заканчивался в одно и то же время.

Но вот и со стороны ворот начали раздаваться внятные звуки работ. Теперь, как только люди бросали работу в конце подвала, Кряжев переходил к воротам, и через час-полтора до слуха доходил первый удар железа о камень. Здесь удары слышались чаще, вразнобой, но подвигались медленно, видимо, завал был большой.

Кряжев на всякий случай почистил автомат: кто знает, как и каким путем предстоит выходить?

Неожиданно работы у ворот пошли быстрее, наверное, рабочие добрались до выемки.

Уже слышались голоса людей. Впервые за время боя Вилли поднялся, вдоль стены добрался до двери, долго подслушивал, а потом, волнуясь, сообщил, что война еще не кончилась, бои идут под самым Берлином.

Последнюю ночь Кряжев и Вилли провели совсем без сна у задней стены. Эти, в подкопе, видимо, знали о расчистке у ворот и торопились. На стену непрерывно сыпались удары. Кряжев приложил к стене руку и почувствовал, как она содрогается.

В следующее мгновение отвалился большой кусок цемента. В подвал ворвался луч света.

По ту сторону радостно загалдели два голоса по-немецки. Один из них звучал нетерпеливо, властно.

– Кто там?! – крикнул Кряжев.

За стеной смолкли, свет погас. Рядом, заикаясь, зашептал Вилли:

– О...ото-то... М-мюллер.

«Обер-лейтенант? За сейфом», – понял Кряжев и шагнул ближе к пролому, чтобы дать очередь. Что-то упало под ноги, покатилося. «Должно быть отвалился кусок цемента», – отметил Кряжев.

В этот момент позади рвануло. Он почувствовал, как что-то тяжелое и жгучее впилось в голову и спину. «Они бросили гранату», – успел подумать он, падая. В проломе опять появился свет, он шарил из стороны в сторону.

Кряжев силился поднять автомат, и не мог. Свет скользнул по лицу, ослепил и замер. В это время автомат схватил Вилли и тотчас послал в пролом очередь.

Свет, мелькая, выкатился на пол... Все стихло.

В этот день в наряд по охране пленных, разбиравших завал, опять попросился пулеметчик Зудилов. Легко раненный во время взятия города, он несколько недель провалялся в госпитале. Когда вышел, его зачислили в коммандантский взвод.

Это место у подвала запомнилось ему хорошо. Здесь в то памятное утро он прикрывал из пулемета разведчика и Кряжева, которые, добежав до выемки, вдруг скрылись из

глаз. Он хотел броситься за ними, но вой падающей бомбы приковал его к месту.

Из выемки вдруг вырос конус огня и дыма, а в следующее мгновение качнулась и рухнула стена многоэтажного здания.

Забыв об опасности, он кинулся вперед. Когда облако дыма и пыли рассеялось, увидел вокруг только битый кирпич и торчащие из него балки...

Теперь, стоя над выемкой, он, как и все эти дни, внимательно наблюдал за работой пленных.

Когда отваливали какой-нибудь большой кусок стены, Зудиллов страшился увидеть останки сержанта и разведчика и каждый раз облегченно вздыхал, убеждаясь, что там ничего нет.

Исковерканное взрывом дно выемки очистили, и Зудиллов понял: смельчаков накрыло прямым попаданием...

Пленные поглядывают на него, толпятся у наглухо закрытых ворот.

– Открывайте! – приказал он.

Скрипнули на ржавых петлях тяжелые створки.

Зудиллов присел, заглядывая внутрь.

Из подвала потянуло затхлой сыростью.

Пленные смотрели во тьму подвала и о чем-то тревожно переговаривались. Некоторые указывали туда пальцами.

Зудиллов спрыгнул вниз.

Из мрака к нему двигалось что-то живое.

Зудиллов передернул затвор автомата, шагнул на встречу.

Двое медленно подвигавшихся на свет мало походили на военных.

Худой, обросший рыжей бородой немец, подергивая, как паралитик, головой, шатаясь, вел поседевшего, без пилотки русского сержанта. Голова его была забинтована, на волосах запеклась кровь. Правой рукой сержант сжимал шейку автомата, обрубок левой положил на шею немца.

Оба они, как видно, были готовы принять бой. Немец тоже держал в руке автомат. Они смотрели на Зудилова выжидательно и хмуро, щурясь от света, старались понять, кто перед ними.

На Зудилова пахнуло еще не забытым запахом пота, пороха и крови.

– Кто вы? – спросил он.

Сержант рванулся к нему.

– Зудилов, ты?! Да я же это... Не узнаешь?

– Саша?!

Пленные, столпившиеся у дверей, вдруг увидели, как их строгий, обычно сдержанный часовой смахнул что-то со щеки и бережно прижал к себе русского сержанта.

По щекам Кряжева покатались слезы. Возможно, они были вызваны резким изменением света. Но разве может не дрогнуть сердце при такой встрече с фронтовым другом?

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОРОВСКИЙ

Родился 12 февраля 1933 года в селе Чесноковка (ныне – город Новоалтайск) Алтайского края. Учился в средней школе села Павловск. В 1959 году поступил во ВГИК на кинооператорский факультет.

Служил в военной авиации, участвовал в корейской войне.

Работал в газете «Молодость Сибири» в Новосибирске. Почти 30 лет проработал специальным корреспондентом журнала «Вокруг света», публиковался также в журналах «Искатель», «Смена», «Сельская молодежь», «Молодая гвардия». Исколесил всю страну и многократно совершал зарубежные поездки. Об этом и многом другом повествуют его книги «Орлиный услышишь там крик...», «Повесть об алых снегах», «Из жизни облаков», «Секреты рыбьих стай», «Свежий ветер океана». В соавторстве с А.Н. Ефремовым написаны книги «Беспокойная прямая» (1962) – о путешествии по 60-му меридиану от Ледовитого океана до иранской границы (на оленях и пешком, на плотах и самолетах, на верблюдах и в поезде они преодолели больше семи тысяч километров. Поход свой авторы книги посвятили столетнему юбилею журнала «Вокруг света»), «Сто друзей, сто дорог» (1964) – о Дальнем Востоке. Роман Е.П. Федоровского «Посылка от Марта» (1968) написана на документальной основе.

Член Союза писателей СССР с 1976 года.

ХЛЕБ И ПОРОХ

Рассказ

Мы с Генкой Воробьевым ни за что не согласились бы везти хлеб на этих клячах, если бы не властвовала над нами мечта бежать на фронт. В Барнауле начиналась железная дорога, там формировались составы, оттуда уезжали на войну все наши.

У Генки отец охотился и рыбачил, в туго набитом Генкином мешочке лежали вяленая рыба, шмат сушеной лосятины, порох и дробь. У меня отца убили уже, и запаса я только сухарями, сырой картошкой и комком каменной соли, которую выудил прямо из-под пестика, когда бабушка стала ее толочь. Зато под ремешком у меня мозолил ребра «поджиг» – самодельный пистоль с дулом из латунной трубки.

Пистоль мы взяли на случай, если для нас не найдется на фронте лишней винтовки.

Ненависть к фашистам копилась, как накипь в самоваре – медленно и цепко. Война вырвала нас из детства и заставила делать то, чем раньше занимались старшие. Слишком много забот легло на наши плечи. Мы работали на прицепах, сеялках, косилках, сгребали и копнили сено, гоняли скот, озлобляясь на диких коров, которые норовили прорваться к хлебам.

Мы рано начали курить, чтобы как-то уравниаться с ушедшими на фронт отцами, поскольку выполняли их работу. И ко всему этому прибавлялся голод. Нет ничего страшней постоянного ощущения голода.

Помнили мы пряники и конфеты, хмельный запах настоящего печеного хлеба, только что выхваченного из печки, пенку с молока. Теперь же всего этого не было. Хлеб заменили «драники» – смесь отрубей с картофельными очистками, вместо чая с сахаром пили морковный отвар. И потому мы все острее и острее ненавидели фашистов.

Самым трудным препятствием для нас была дорога от Павловска. Здесь каждый встречный – поперечный мог нас поймать и вернуть домой. На этой дороге перехватили немало нашего брата. Чаще всего ловил беглецов одноглазый милиционер Иконников. Это происходило в Шахах, на полпути от Павловска до Барнаула, когда ноги уже гудели от усталости. Он собственноручно драл пацанов и отправлял назад без конвоя. Никто его не послушался. Хоть и лишился глаза у Дубосекова под Москвой, зато один видел вдвое острее и зорче: и что вокруг, и под землей на два аршина.

Теперь же мы могли провести бдительного Иконникова. Мы везли хлеб на элеватор под началом старшего. Попробуй прицепись.

Старшой – Коля Серских – ехал на первой подводе. Из-за своего Гнедка я видел лишь его флотскую черную шапку да сбоку коричневую деревянную ногу с резиновым набалдашником. Протезы мастерили такие же калеки, как Коля, у нас в столярке Райпотребсоюза.

Коля старше нас был лет на шесть. В сорок третьем ему шел семнадцатый год. На фронт его год еще не брали. Но в ту пору легко было прибавить лишний год в метриках, и военком смотрел на это сквозь пальцы.

Коля попал в морскую пехоту. От Волги до Прибалтики он шел пешком, а обратно его везли без ноги...

Село наше окружал огромный сосновый бор. Но кое-где он подступал к домам вплотную, сначала шла холмистая пустошь – лога. Весной в этих логах шумели ручьи, на склонах еще держался серый снег, а на буграх уже выступала зелень, в том числе съедобные желтые цветочки «кандыка» и лепестки щавеля.

Как-то в воскресенье попросил нас Коля сводить его в Кошачий лог. Ему захотелось посидеть на солнце. С собой Коля прихватил баян, огромный, как бабушкин сундук. Баян несли по очереди, Коля скакал впереди – на костылях он быстро бегал.

Коля закурил папиросу, отсыпал нам табаку.

– Из вас кто-нибудь море видел? – спросил он, когда докурил.

– Откуда?

– И мне не пришлось...

Пробегали его пальцы по перламутровым пуговкам баяна:

*По курсу норд-ост, по курсу норд-ост
Под kloкочущим паром
На северный берег Советской земли,
Крыты броней, с суровым товаром
Сквозь шторм и туман, сквозь шторм и туман
Идут корабли...*

Эту песню сейчас забыли. Может быть, только те помнят, кто видел английское военное кладбище в Мурманске, где лежат моряки из караванов, что ходили к нам через Атлантику с военными грузами.

Допел песню Коля, как оборвал:

– А море было рядом. Наш полк уже, было, на берег выскочил, а тут контратака началась. Зарылись мы в окопы, а ветер с севера солью пахнет – морем... В этот момент подумал я, уж если выйду из боя живым, стану матросом. Пойду по разным странам, людей посмотрю. Ну, уж если не моряком, то какую-нибудь ходячую профессию выберу... Да вот не получилось ни того, ни другого. – Он посмотрел на свою деревянную ногу и отвернулся.

– Миной, как бритвой.

Все лето мы работали на прополке в колхозе. Этот колхоз тянул свою родословную от одного корня – деда Кижваткина. Он пережил четырех царей, был очень старый и теперь собирался умирать. Никто из близких больно не сокрушался. Рассуждали мудро – свое пожил, пора...

Один лишь человек горевал по-настоящему – председатель колхоза, правнук Кижваткина. Он приходил к деду, садился на кровать и смотрел в пол. Так сидел час, а то и больше. Иногда поднимал глаза под пучком выгоревших бровей, встречался с осмысленным еще взглядом старого Кижваткина. В этот момент ждали, вот что-то скажет, но он ничего не говорил и, вздохнув, уходил.

И только когда дед вдруг напрягся, вздыбил тощую грудь, вытягивая ноги, вырвалось у младшего Кижваткина: «Без тебя-то как?»

Дед поглядел на него с минуту и тихо сомкнул веки – ничего, мол, как-нибудь обойдешься...

Лишь позднее поняли горе председателя. В деревне умирал последний земледelec. Дед был носителем той крестьянской мудрости, к которой прислушивался народ и за которой шел. Пройдя через лавину лет, он понимал землю так, как хороший мастеровой – металл. Он был не просто пахарем или жнецом. Дед отобьет косу, так она звенит! Стянет обручами бочку, так не протечет ни капли. Откует лемех, так навек. Дед знал множество примет. Скорее интуитивно, как грач находит свое гнездо, он отбирал из них верные, более подходящие для своей земли, и мог точнее любой науки назвать сроки сева или уборки, предсказать погоду, определить виды на урожай. Он умел слушать голос земли, хорошо знал то дело, которое зовут сейчас агротехникой. Возьмет в ладонь горсть земли, прижмет ко лбу и скажет, можно ли сеять или еще рано. Поэтому и думалось правнуку, что со смертью старого Кижваткина все пойдет прахом...

После прополки нас переключили на сенокос, а поздней осенью, когда на поля уже ложилась жесткая снежная крупа, послали копать картошку. Ребятишки поменьше – из третьих и четвертых классов – собирали колоски. Рассыпанные по полям, оброненные с комбайнов, не срезанные литовками колоски председатель Кижваткин отдавал школе прямо «на корню». Каждый год школа собирала и сдавала это зерно государству в «фонд обороны».

Удивительно, но с совершенно голых полей, по которым скакали только перекасти-поле да мела снежная мелочь, мы собрали колосков и намолотили зерна на целый обоз! На трех подводах лежали сто пятнадцать с половиной пудов! Привычные к разного рода вычислениям, наши головы вывели, что хлебом из этого зерна можно кормить целую роту два месяца.

Колю послали потому, что просто некого больше было. Мы, втайне надеясь Колю обмануть, никакого угрызения совести не испытывали. Он же ведь тоже прибавил лишний год в метриках.

Когда подводы преодолели подъем, нас, понятно, охватило волнение. Мы въезжали в неведомую для нас зем-

лю, и такие названия сел, как Шахи, Михайловка, звучали примерно так же, как Борнео и Мадагаскар. По обе стороны дороги, чуть поднятой над степью, тянулись колки и голые, местами заснеженные пашни. На них стояли побуревшие скирды соломы.

К Шахам подъехали в сумерках. Первым, кого встретили, был одноглазый Иконников – длинный и сутулый милиционер в синей шинели и валенках, обшитых кожей. Он поздоровался за руку с Колей Серских и подошел к нам.

– Эти куда? – хрипло спросил Иконников.

– Со мной едут, – ответил Коля.

– Езжай ночевать к Любушкину, – подумав, сказал милиционер.

Любушкин запричитал: и изба у него тесная, и ребятишки беспокойные, по ночам орут... Он катался, как колобок, от телеги к телеге, пока мы въезжали в большой двор, крытый, как у всех хозяйственных чалдонов, жердями и соломой. Краснорожий, с рыжей щетиной и бесцветными, слезящимися глазами Любушкин держался в тылу «на брони». Не знаю, какой незаменимый был он специалист.

Мы поздоровались, сели на лавку у печи. Хозяйка в ответ буркнула что-то, а трое младших Любушкиных устали на нас, оторвавшись от чашек, и смотрели долго, будто мы явились с того света, пока отец, сердито грохнув табуреткой, не уселся за стол и не прикрикнул на них.

Коля стал возиться с деревянной ногой. Ремни натерли ему культю.

– Вот ездют, ездют, куда, на что... – ворчал Любушкин, принимаясь за картошку с жареным салом, по-нашему «тухманку». – Тебя вот, товарищ золотой, за ногу на пенсию посадили? Посадили. Живи и пользуйся. А эту шантрапу на что в город? Насмотрятся и сами воровать начнут. Бывал я на рынке. Эвакуированные натащили черт-те что. Так ворья развелось, как тараканов.

Любушкин выскреб остатки картошки, икнул. Хозяйка убрала тарелки, вытерла стол, смахнула невидимые крошки:

– Чай будете?

Коля, кряхтя, подскочил к столу со своим узелком, мы тоже достали еду, которую дали нам в дорогу.

– Не знаю, за что на меня Иконников взъелся. Встречного-поперечного ко мне шлет, – заговорил Любушкин, доставая кiset с самосадам. – А у меня что? Постоялый двор? Добро бы платили чего, а то отсыпят меру – будто от своего оторвут...

Утром в сенях застучал деревяшкой Коля. Я тоже проснулся, прошмыгнул мимо, стал будить Генку.

Мы наскоро поели и пошли запрягать лошадей. Любушкин тоже вскочил, вытащил из кладовки окованную медными шинами бадю, легонько толкнул ею Колю.

– Ты чего? – не понял Коля.

– Мера вот. За постой. У Коли ото лба лицо стало покрываться пятнами. Медленно подтянул он Любушкина за грудки:

– Ничего я не дам тебе, дядя. Изжогой измаешься. Этот хлеб ребятишки по зернышку собирали. По зернышку! – вдруг голос сорвался на крик.

Любушкин отскочил назад, за телегу:

– Сдурел?

– Отпирай!

По дороге от Михайловки до Барнаула чаще встречались грузовики и подводы, а справа, по-над бором, который лентой тянулся от Рубцовки, был аэродром. Нахохлившись, стояли «кукурузники», уткнув носы в брезентовые чехлы. В сравнении с «дугласами» они казались крошками. Иногда эти самолеты пролетали над Павловском. Они уходили куда-то в степь. А раз самолет сбросил листовки. Все думали, что кончилась война, но листовки призывали отдать все силы для победы и утверждали, что на нашей улице будет праздник.

Въехали в город затемно. Рассыпая голубые искры, неслись по улицам с грохотом и звоном красные трамваи. Крякали пассажирские автобусы, набитые людьми, в небо тянулись дымы заводов. Эти заводы появились недавно.

Пробираясь переулками, избегая людных улиц, добрались до элеватора. Серым, слепым бастионом возвышался он над Обью. У берега стояли вмерзшие в лед пароходы и баржи, не успевшие уйти в затон.

Подвод у хлебоприемника скопилось много. Коля занял очередь и велел распрягать лошадей. Ясно, зерно

сдадим только завтра днем. В нашем распоряжении была ночь.

В доме для приезжих при элеваторе на полу и лавках спали люди, жарко топилась печь, пахло смолой и прелыми портянками. Коле как инвалиду нашлось место сразу. Какой-то старик освободил половину деревянного дивана.

– Коль, у меня тетка недалеко живет, мы у нее заночуем, – сказал я и затаил дыхание.

– Какая тетка?

– Родная. Отцова сестра.

Видать, Коля, как чувствовал, не хотел отпускать. Он бы пошел с нами, но за мешки побоялся. Хоть приезжие выбрали сторожей, но и свой глаз был нужен.

– Утром здесь будем, – заверил я поспешно.

– Ладно, – наконец разрешил Коля и стал сооружать из своей котомки подушку.

От элеватора до вокзала было километра четыре. Казалось, ноги сами несли нас. Предчувствие свободы, дальней дороги, грохочущего фронта, жажда подвига и, конечно, громкой славы гнало нас по темным, рано уснувшим улицам.

Вокзал был залит огнями. Сколько помню, толкотня здесь не кончалась ни днем, ни ночью. Особняком держались инвалиды, недавно выписанные из госпиталя. Как наседки, на узлах громоздились бабы, мелюзга путалась под ногами. Полно было стриженных новобранцев. Окруженный свитой просителей, невозмутимо расхаживал дежурный в фуражке с малиновым верхом и голову держал, как знамя.

На вокзале делать было нечего, мы выскочили на перрон. Здесь тоже толпился народ, стремился попасть на местные поезда – в Бийск, Черепанове, Рубцовск. Нам же нужен был воинский эшелон, который прямым ходом шел на фронт. Вскрикивали паровозы, пуская облака пара, остро пахло горевшим каменным углем. Вдали темнел состав. Мы побежали к нему. Под брезентом на платформах горбились танки.

– Назад! – из темноты выросла фигура в овчинном тулупе с винтовкой наперевес.

Мы бросились к передним вагонам. Из одной теплушки шел дым, сквозь щели проникал свет.

– Стучи! – шепнул я Генке.

Но тут появился другой часовой. Он заметил нас и, клацкнув затвором, медленно подходил к нам.

Бежать было поздно.

– Кто такие?

Часовой был молодой, но Генка льстиво назвал его «дяденькой».

– Возьмите с собой, дяденька...

– Куда это взять? – часовой пытался рассмотреть нас в темноте.

– Вы же на фронт едете, мы туда же.

– А ну, отсюда бегом марш! – вдруг закричал он.

В этот миг, скрипнув ржавыми валиками, отодвинулась створка, и в освещенном проеме появился боец в гимнастерке.

– Кому это ты, Пестунов?

– Да вот, шляются всякие, товарищ сержант.

Мы подошли к вагону.

– Куда и зачем путь держите, земляки? – спросил сержант.

– На фронт, – сказал я.

– Понятно. Садитесь, – он протянул нам руку и помог подняться в вагон.

Там было даже жарко, хотя вверху держался иней. На багровой чугунной печке кипел чайник. Освещал вагон подвешенный к потолку фонарь. Сержант кивком показал на ящик у печки.

– Стало быть, воевать собрались? – улыбнулся он, шевельнув усами.

Тут мы поняли, что и сержант решил пошутить, уныло опустили головы. Почему они не хотят помочь нам? Мы бы не стали им в тягость, не объели и не стеснили. Нас бы устроил крошечный уголок в вагоне.

– Вы откуда?

– Из Павловска.

– И вправду земляки! Я же из Ребрихи!

О Ребрихе мы слышали, туда ходили машины по Павловскому тракту, но для нас она была так же далека, как дорога до Луны.

– Желонкиных не знаете?

– Нет.

– Тоже родня. Я вот даже телеграммы матери дать не успел. Не знал, что мимо дома поеду, – сержант замолчал, почему-то погладил Генку по голове.

– Дядя, возьмите нас с собой, – всхлипнул я.

Он отодвинул Генку от себя, помолчал.

– Мы что хотите для вас будем делать...

– Видишь ли, паря, пока мы с восточной границы ехали, к нам на каждой остановке такие вот, как вы, просились. А что немец подумает, если вы все на фронте соберетесь? Скажет, в России и мужиков не осталось, – приободрится. А кто дом держать будет? Кто армию накормит?

Из кармана комбинезона он вытянул кисет, завернул папироску, сунул в печурку щепку, прикурнул.

– Сейчас хлеб и порох воюют вместе. Вы хоть и маленькие еще, но такие же солдаты. Мы там без вас долго не протянем.

– Мы вас не объедем, – проговорил я, подтянув на колени свой мешочек.

– Да ведь не в том дело! – обиделся сержант. – Уедете вы, станете как бы вроде бегунков, дезертиров...

Он поискал глазами ящик, приподнял крышку и достал огромную рыбину – горбушу. Ее мы никогда не видели. Она блеснула золотисто-синим боком, ударила в нос маслянистым запахом дыма.

– Берите-ка на память и дуйте, пока старшина не увидел.

Мы спрыгнули с подножки. Снег завизжал под ногами. Над станцией, вагонами, паровозами висел тяжелый туман. Он приглушал звуки – металл не звенел, а стучал глухо, словно через резиновую прокладку. К вокзалу подошел «пятьсот веселый», и толпа схлынула.

Подрагивая, мы стояли меж путей, не зная, что делать. Мороз брал за грудки.

Со стороны Оби замаячил еще один поезд. Глухой протяжный свисток вырвался из мрака. Загудели рельсы. Веник искр заметался над паровозной трубой. Тугой ветер ударил в лицо. Понеслись освещенные теплушки воинского состава. Не сбавляя хода, торопясь, он промчался через станцию, на прощанье мигнув красным огоньком заднего вагона.

Воинские эшелоны шли без расписания. Иногда проходили товарняки, но они направлялись в другую сторону. Мы бегали от состава к составу, коченели больше и больше, постепенно теряя веру в успех.

Уже под утро пришел поезд с курсантами. На платформах стояли пушки и грузовики, покрашенные в грязно-белый камуфляжный цвет. Курсанты бегали в буфет за кипятком, точили лясы с девушками на вокзале. Но мы выжидали в сторонке, уже боясь обратиться к кому-нибудь. Потом и этот поезд укатил.

– Пойдем, Генка, к Коле, – сказал я.

– Пойдем, – согласился Генка. И мы пошли назад.

Хлеб уже принимали. Коля, тяжело стуча деревянной ногой, подтягивал мешки ближе к весам. Никто не мог ему помочь. Старики, которых послали с хлебом, себя-то едва таскали. Коля взмок и злился:

– Явились?

Мы молча кинулись к возам. Решили ни о чем ему не рассказывать, и вообще никому никогда не говорить о нашей попытке удрать на фронт. В нас нуждались здесь.

...И, уже став взрослыми, мы могли еще глубже понять сущность хлеба. Он для нас был больше, чем пища. Это все равно что воздух, мать, родина. Нечто похожее мы чувствовали и в слове «порох». Не аммонал, не тротил, не нитротолуол, а порох – тоже физический и нравственный – воплощал силу нашего народа, выстоявшего перед таранным натиском фашизма. Как говорил нам сержант, они, хлеб и порох, созидатель и разрушитель, в то далекое время шагали вместе.

* * *

Трудно объяснить, отчего рождается мечта. Только кажется, что вот такие люди, как Коля Серских или сержант с воинского эшелона, когда-то затронули твое сердце, и ты впервые понял и грусть, и радость первого знакомства с миром. Не так давно от ребят школы, где мы когда-то учились, пришло письмо – исторический кружок разыскивал бывших учеников. «Старики» откликнулись на письма ребят из кружка. Писали они с Арктики и Цейлона, с Дальнего Востока и Крыма, с Урала и совсем неизвестного по-

селка Келлога в среднем течении Енисея. Оказалось, что почти все те, кто собирался весной на холмистые луга и слушал Колины песни, выбрал себе работу, так или иначе связанную с дорогой. И невольно подумалось – пошли ли мои сверстники по сквознякам житейских дорог или свернули на обочину, удовлетворившись устоявшимся покоем? И захотелось найти своих друзей, где бы они ни были...

Так уж вышло, что первой встречей оказалась встреча с Гришей Просековым, хотя путь к нему был далеко в стороне от объезженных трасс. В школе, помню, Гриша не отличался особой удалей. Рос маленьким, хилым, часто пропускал уроки, потому что у него не было валенок. Отца убили на фронте, мать работала в колхозе дояркой, приходила поздно и отдавала ему свои валенки. Тогда он бегал к кому-нибудь из нас и спрашивал, что задавали на дом. На другой день Гриша появлялся в школе, выучив все уроки.

Он мечтал быть трактористом, а стал инженером участка на строительстве дороги от Урала к низовьям Оби.

В дощатом домике ему полагался кабинет, но он уступил его многосемейному рабочему, перенес свой стол к счетоводу. Стол был запылен и пуст. Гриша начисто отрицал бумажную канитель, все вопросы решал среди дорожников на месте работ. В рост Гриша так и не вышел, но стал кряжистый и энергичный, застоявшаяся в детстве энергия вдруг вырвалась наружу.

– Поедем, покажу наши места. Ахнешь! – Растроганный встречей Гриша вскочил в «газик» и рванул машину по ухабистому проселку. – Дел столько навертели – глазам страшно!

В глазах его плясали лукавые огоньки, из-под кепки смешно топорщился белый чуб, руки в масляных пупырышках отчаянно крутили баранку.

– Видишь синюю горку? Так это Медведь-гора. На ней стоял Ермак и вдаль глядел.

– Вдаль глядел царь Петр у Пушкина.

– Не важно, главное, вдаль глядел. Медведь-гора покато скатывалась к Азии, а к Европе обрывалась крутым уступом. Она и вправду напоминала медведя, уткнувшее-

гося мордой в океан сибирских лесов. По подножью обросла гора березовыми рощами, а по склону – соснами. Видно, здесь разбивали казаки Ермака свои шатры, на кострах заваривали толокняную кашу и колбу, а на березах, таких старых, что кора почернела и стала корявой, как плохо отесанный камень, вешали бердаши и длинноствольные пищали, вводившие в ужас кучумских лучников. А сам Ермак, утомившись от долгого пути по сердитым уральским речкам, входил на гору и гадал – далеко ли до сердца кучумского царства?..

Гриша, легко перепрыгивая с камня на камень по обмелевшей Медведке, добежал до другого берега и нетерпеливо оглянулся, поторапливая меня. Цепляясь за прутья и сосновые ветки, мы поднялись на гору по сыпучей щебенке, и тут захватило дух от неожиданно открывшейся дали. Она потрясла своей синью и бесконечностью. Даль будто приподнялась над землей и тихо покачивалась в невидимых воздушных потоках. Она показалась молчаливой и безлюдной, лишенной всякой жизни. Но Гриша видел в ней другое:

– Видишь, ниточкой легла на тайгу просека? Так это железная дорога Ивдель – Обь. Потом дорога уходит на север к Сургуту, к тюменской нефти...

Пожалуй, ни в каком другом краю, кроме здешнего, не строилось более прямых путей. Кратчайшее расстояние между двумя точками, как учил отец геометрии Эвклид, – прямая. Эта истина доказательств не требует. Она очевидна. Признают ее и специалисты по строительству железных дорог. Однако в поисках кратчайших трасс они никогда не избирали прямых линий. Да и сам Эвклид, если бы ему пришлось прокладывать дорогу через буераки и косогоры, отказался бы от своей аксиомы.

Дорожники знают, что есть препятствия, которые выгоднее обойти стороной. На карте железнодорожных магистралей есть лишь одна прямая дорога, та, что соединяет Москву и Ленинград. Но своей прямизной она обязана непролазным топям.

Вряд ли кто из путейцев не мечтал, чтобы идеальные условия местности позволили спроектировать абсолют-

но прямую дорогу, тогда полностью оправдалось бы выражение «дорога прямая, как стрела».

И вот дорога прямая, как стрела, появилась. Она началась в городке Ивделе на Урале и своим острием уперлась в величавую Обь. Неужели на всех четырехстах с лишним километрах между Ивделем и Обью не было ни одного болота? Гор, действительно, не было. А болот? Все пространство между отрогами Уральских гор и Обью — необозримое таежное болото. Его не обойдешь стороной. На сотни километров влево и вправо все та же разбавленная водой и заросшая тайгой земля. Поэтому из всех возможных трасс можно выбрать самую короткую, а такой линией между двумя точками, учил Эвклид, является прямая.

– Машинисты, которые ведут по новой магистрали эшелоны, довольны прямизной пути, – объяснил Гриша, – но мы, строители, предпочли бы горы и буераки, лишь бы местность не была столь однообразно непроходима.

...Еще раз он окинул взглядом сибирскую сторону и сказал:

– Знаешь, дорога – это жизнь ко всему. Как на плечах сапера вся война держится, так и на плечах дорожников – все новостройки...

Потом, помолчав, добавил:

– Закончим здесь, подамся на Хантайку. ГЭС там строят и рядом целый город в громадном стеклянном доме... Хорошо в таком пожить, как на Юге. И тебе мандарины, и персики...

– Только долго не усидишь, опять куда-нибудь потянет.

– Пожалуй, не усiju, – согласился Гриша. – Веришь ли, так много хочется успеть!..

* * *

А потом занесла меня судьба в Келлогу – поселок в приенисейской тайге. Отбиваясь от комаров еловым лапником, пассажиры ждали рейсового самолета на Туруханск. Стояла неимоверная жара. В этих местах зима – морозная и вьюжная, а лето – во всю солнечную ярь. Издалека донесся рокот мотора. Скоро из-за сосен вынырнула «Аннушка» и плюхнулась на поле. Из пассажирской кабины выпрыгнул Леша Семынин, в прожженном комбинезоне,

брезентовом шлеме с потрескавшимися летными очками. Пилот подал ему парашют, он взвалил его, как мешок, и направился к пассажирам. Значит, мою телеграмму получил, но встретить не смог из-за каких-то срочных дел. Его взгляд остановился на мне, веснушчатая, курносая физиономия расплылась в улыбке. Узнал, прибавил шагу.

– Не верил, старик, что приедешь! – закричал Леша, хлопая по спине огромным кулачищем. – Ты уж прости меня. На пожар летал и напоролся на неприятность...

Семья у Леши живет в Туруханске, но в Келлоге при леспромхозе у него есть комнатка, которую он надежно обжил.

– Как видишь, живу не на колесах, а на крыльях. Летом почти не бываю дома, – переодеваясь, рассказывал Леша. – Я аэроклуб закончил, отслужил армию в парашютно-десантных войсках. Вернулся и пошел в воздушные пожарники. Летом или охотник костер оставит, или молния подождет – займется пожар. Патрульный летчик увидит и сбрасывает нас на парашютах, чтобы его задушить в самом зародыше. А как же иначе?! Если пожар всюду разойдется да с ветерком – тысячи гектаров леса скосит подчистую, только пни оставит. Вот и сейчас жара. Тайга, как порох. Сегодня утром недалеко от Енисея увидел патруль огонек и за мной прилетел. Прыгнули мы с огнетушителями, лопатой и топорами, с взрывчаткой... Прыгнули... Напарник далеко от меня ушел. Лечу, подтягиваю стропы, чтобы сесть на лужайку да поближе к огню. На точность приземления до чемпиона я не дотяну, но с мастером смогу потягаться. И надо же! Ветерок у земли как наддаст и посадил прямохенько на сосну. Хоть вой! Вишу на ремнях, а огонь бежит к сосне по хвойному валежнику. Дотянуться до ствола нет никакой возможности. Ну, думаю, крышка тебе, Лешка. Суждено на пятисотом прыжке шашлыком зажариться. Огонь уже по стволу лезет. А взрывчатка-то в рюкзаке, мать моя мамочка! Сбросить ее нельзя – разнесет в клочья. Стал я раскачиваться на лямках, чтобы до ствола дотянуться. Веришь, подошвы коробиться стали. Все же ухватился за ствол, стянул один огнетушитель и струю по своему дереву направил, сам потихоньку вниз спускаюсь. А пена,

как мыло, – скользко. И прыгать опасно – все же было метров десять...

Леша убежал во двор и стал обливаться из ведра водой, крикая, как селезень. Потом из-за пояса выдернул мохнатое полотенце и прибежал обратно.

– Ну, пожар я, понятно, потушил. А как же иначе?

Накрывая стол, Леша рассказал и про то, как он столкнулся с глазу на глаз с косолапым таежным хозяином и отбивался от медведя тем же огнетушителем. Хорошо, что прыжок был не «пожарный», а профилактический, можно было обойтись и без огнетушителя.

– Медведь сам очумел. Он и в жизни не видел такого оружия, – смеялся Леша, нарезая душистые, домашней выпечки, хлебцы.

– Как же ты додумался до такой профессии? – спросил я.

Леша неопределенно повертел в воздухе ножом:

– В общем, поди, от наших боров, от наших костров, от Колиных песен... Жив он?.. А жаль, что помер, а то бы к себе выхлопотал...

Мы вспоминали и Генку Воробьева, и Гришу Просекова, и других ребят – каждый нашел в жизни свое место. От малого детского костра они двинулись за пределы родного села большой дорогой, не хоронясь от ветров, не ища легких путей.

НЕСТОР ДМИТРИЕВИЧ КОЗИН

Родился 28 октября 1902 года в селе Бурково-Покровское (ныне – Новопокровка) Татарского района Новосибирской области. Батрачил с 12 лет, затем трудился черноработчим на станции Татарская. Получил образование на курсах по ликвидации безграмотности.

В 1924 году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, окончил полковую школу младших командиров, Омскую пехотную школу. С 1939 года служил в Бийске, где командовал батальоном 586-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии.

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года по май 1945 года. В августе 1941 года назначен на должность командира 85-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. Участвовал в Ельнинской наступательной операции в сентябре 1941 года, в обороне восточнее Белгорода, в декабре 1941 года – в контрнаступлении под Москвой; в Сталинградской битве командовал дивизией. Принимал участие в Прибалтийской наступательной операции, Висло-Одерской и Восточно-Померанской операциях, в Берлинской наступательной операции.

Генерал-майору Н. Д. Козину присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжал служить в Советской Армии, уволен в запас в 1954 году по состоянию здоровья. С 1955 года жил в Барнауле.

Н. Д. Козин написал книгу мемуаров «Гвардейцы в боях», которая вышла в 1975 году в Алтайском книжном издательстве.

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ГВАРДЕЙЦЫ В БОЯХ»

И НАСТАЛ ПОБЕДНЫЙ ЧАС

Над поработенными народами Западной Европы за- нялась зря освобождения.

С каждым днем советские полки приближались к гит- леровской столице – Берлину. С его падением связыва- лось завершение войны в Европе.

Теперь уже многие немцы не верили, что можно от- стоять Берлин и привести гитлеровскую авантюру к бла- гоприятному исходу. Но фашистское командование во- преки здравому смыслу считало, что еще не все потеряно, надеялось на сепаратный мир с нашими союзниками.

30 января 1945 года Гитлер в одной из самых истери- ческих своих речей вопил о том, что над селами, деревня- ми и городами на Востоке навис «страшный рок», и грозил самыми ужасными карами тем из своих подданных, кто прекратит сопротивление войскам Красной Армии.

В этой же речи он пугал советской угрозой и западные державы, подталкивая их к разрыву с Советским Союзом:

– Я повторяю свое пророчество: Англия не сможет укротить большевизм и сама станет жертвой этой разла- гающей болезни.

Стремясь оттянуть страшный конец, гитлеровцы стя- гивали к Берлину отборные части и соединения. Лихо- радочно возводились оборонительные сооружения. На непосредственных подступах к городу гитлеровцы созда- ли три рубежа обороны: внешнюю заградительную зону, внешний и внутренний оборонительные обводы.

Перед решающим наступлением в частях и подразде- лениях обсуждалось обращение Военного Совета 1-го Белорусского фронта. В нем говорилось: «Пришло время нанести врагу последний удар и навсегда избавить нашу Родину от угрозы войны со стороны немецко-фашистских войск. За нашу советскую Родину – вперед на Берлин!»

На обращение Военного Совета фронта в частях и подразделениях 52-й дивизии прошли митинги, на которых бойцы горячо, искренне говорили: «Добьем врага в его собственном логове и водрузим знамя победы над Берлином!»

Командир 5-й роты 155-го гвардейского стрелкового полка капитан М.С. Крошкин заявил: «Коммунисты и беспартийные моей роты в обращении Военного Совета фронта видят конкретную реализацию программы Коммунистической партии. Выполним наказ с честью и оправдаем высокое звание советской гвардии».

Митинги, проведенные перед боем, со всей убедительностью показали исключительно высокий наступательный порыв, охвативший волной дивизию, готовность бойцов с честью выполнить долг перед Родиной.

С таким настроением и мыслями шла на штурм Берлина 52-я дивизия. Вместе с другими и нам, сибирякам, пришлось быть участниками завершающего разгрома немецко-фашистской Германии. Нас, воинов, четвертая весна войны встречала в тяжелом и опасном труде.

Перед нами – линии обороны, набитые дотами, дзотами, все покрыто минно-взрывными полями, танками и орудиями, выставленными для стрельбы прямой наводкой.

От Кюстрина до Берлина нам оставалось пройти еще 70-80 километров, а везде и всюду говорили о нем и только о нем. Нам предстояло прорвать зону мощных оборонительных рубежей, чтобы достичь Берлина, одного из крупных городов мира, растянувшегося с запада на восток на 45, а с севера на юг – более чем на 38 километров.

Характерной чертой рельефа Берлина является пересеченность города большим количеством каналов. Поэтому в городе так много мостов. Городские наземные дороги проходят по стальным эстакадам высотой до десяти метров.

После крупных поражений основных сил немецко-фашистской армии в междуречье Вислы и Одера, в Восточной Померании, Силезии, Венгрии над фашистской Германией нависла неотвратимая катастрофа. 3 апреля руководство националистической партии дало войскам

такую директиву: «В скором будущем нужно ожидать большого наступления большевиков на р. Одер. Для укрепления духа и возбуждения фанатизма необходимо в период с 5 по 8 апреля провести беседы в частях. Основой для этих бесед даны следующие указания.

Война решается не на Западе, а на Востоке, и именно на участке нашей (9-й) армии.

Предстоящее большое наступление противника должно быть отбито при всех обстоятельствах.

Наш взор должен быть обращен только на Восток, независимо от того, что будет происходить на Западе.

Удержание Восточного фронта является предпосылкой исхода войны».

Все это говорило о том, что битва за фашистскую столицу будет тяжелой, кровопролитной.

Изучая план Берлина, мы рассчитывали свои возможности выполнения приказа. Как с наименьшими потерями в числе первых войти и приступить к штурму логова фашистской Германии.

Два слова – «штурм Берлина», а как много таилось в них. Все ожидали конца войны, все надеялись на скорую встречу дома с дорогими сердцу людьми!

Когда гитлеровская армия, отшлифованная в двухгодичных боях на полях побежденной Европы, подходила к Москве, к Волге, к Кавказу, именно тогда у нас зародилась мечта о штурме гитлеровской столицы. И вот заветная мечта стала близкой. Широко развернулась партийно-политическая работа под лозунгами «Вперед на Берлин!», «Взятие Берлина – это конец войне!»

За два дня до начала наступления войск 1-го Белорусского фронта, 14-15 апреля, на направлении главного удара была проведена разведка боем: предстояло уничтожить отдельные группировки врага, определить уязвимые места его обороны.

52-я дивизия вела разведку в полосе наступления ее в направлении Рефельд. В разведку выделялась рота батальона Шалыгина 155-го полка, усиленная минометной батареей, батареей противотанкового дивизиона при поддержке двух артиллерийских дивизионов. Справа вел разведку батальон 33-й дивизии, а слева –

батальон 94-й дивизии. Местность, на которой предстояло наступать стрелковой роте старшего лейтенанта М.П. Колобова, была пересеченной, это давало возможность врагу скрытно осуществлять маневр огневыми средствами и накапливать силы для контратак. Первая позиция состояла из трех траншей с ходами сообщений и убежищ.

Начальник штаба дивизии подполковник Я.Д. Емельянов разработал план подготовки и проведения разведки боем. 13 апреля с личным составом участников разведки были проведены занятия на тему «Прорыв обороны противника и бой в глубине его обороны». Особое внимание уделялось преодолению инженерных заграждений, четкому взаимодействию пехоты с артиллерией, саперами и управлением боя.

С рассветом 14 апреля была проведена рекогносцировка с командирами полков, офицерами штаба дивизии и командирами. На рекогносцировке уточнили исходный рубеж атаки, артиллерийского обеспечения.

В ночь на 14 апреля саперы в минных полях проделали проходы. А в 16 часов, после огневого артналета, 1-я стрелковая рота М.П. Колобова успешно атаковала. Солдаты ворвались в траншею и овладели ею. Введение в бой 2-й и 3-й рот для развития успеха не принесло желаемого результата. Тогда было приказано командиру 155-го полка подполковнику В.Р. Козарезу повторить артналет по вновь выявленным огневым точкам врага. Только после него 2-я и 3-я роты, развивая успех первой, овладели 2-й траншеей, а к 4 часам 1-й батальон при содействии взвода лейтенанта А.В. Балабанова с тыла овладел пунктом Зофиенталь.

Используя успех первого батальона и соседа слева, 2-й батальон капитана Н. И. Лискунова совершил обходной маневр в направлении станции с юго-востока и в 10 часов 15 апреля ударом с тыла сбил противника с железной дороги и соединился с 1-м батальоном.

Таким образом, поставленная перед 52-й дивизией задача по захвату опорных пунктов Зофиенталь-Рефельд, ликвидации выступа обороны противника была выполнена.

Нельзя умолчать о мужестве и героизме солдат, офицеров в этом бою. 14 апреля при разминировании вражеского минного поля саперный взвод младшего лейтенанта Н.И. Волохина попал под артоналет врага. Волохин был ранен, но продолжал руководить людьми. При повторном артоналете осколками мины его ранило в обе руки, пробило комсомольский билет и удостоверение личности офицера. Только благодаря документам осколок фашистской мины не достиг сердца.

Бесстрашен и самоотвержен наш солдат. Ранен, искалечен, но из последних сил ползет и выполняет поставленную задачу. И как всегда, пример показывают коммунисты и комсомольцы. Таким был и офицер комсомолец Волохин. За мужество его наградили орденом Отечественной войны. Билет и удостоверение личности офицера находятся в краеведческом музее г. Гомеля.

Взвод лейтенанта А.В. Балабанова проник в тыл врага, выбил его из третьей траншеи и решительными действиями оказал помощь батальону в овладении опорным пунктом врага Рефельд. За умное управление взводом и личное мужество старший лейтенант А.В. Балабанов был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Командир орудия противотанковой батареи старший сержант А.Ф. Иванов уничтожил танк и пушку. Снайпер младший сержант Иван Данилов уничтожил офицера, пять фашистов. Снайпер сержант Фаина Александрова уничтожила двух офицеров и четырех рядовых гитлеровцев. Отличился наводчик полковой батареи К.П. Тюхтеев, старший сержант И.В. Пашков. Мужество и смелость проявил рядовой таджик Гани Вахидов. Он уничтожил около 10 фашистов, был ранен, но не покинул поле боя. Вахидов удостоен ордена Красного Знамени. Это была его вторая награда: орден Славы III степени он получил в сентябре 1944 года.

С разрешения командира корпуса я решил: используя успех 155-го гвардейского стрелкового полка, в активные действия ввести и 2-й батальон майора В.Н. Малютина 151-го гвардейского стрелкового полка. Батальон Малютина, двигаясь за батальоном 155-го полка, в районе Фрейгута обогнал его боевые порядки и, тесня противни-

ка, к 14 часам 30 минутам достиг изгиба шоссе в одном километре восточнее города Лечин, но был остановлен огнем артиллерии и зенитных установок.

Однако батальон добился значительных успехов. Решительно действовала рота старшего лейтенанта Анатолия Михайловича Дашковского. Рядовой С.П. Корчан уничтожил семь гитлеровцев, бойцы батареи старшего лейтенанта Носова уничтожили два противотанковых орудия, пулеметчики роты старшего лейтенанта А.Е. Косьяненко – до двух взводов контратакующей пехоты. Отличились бойцы и сержанты взвода лейтенанта Виктора Степановича Гришина.

2-й эшелон 151-го полка вышел на рубеж севернее сахарного завода и обеспечивал левый фланг дивизии. 153-й полк вышел на ранее занимаемый участок обороны 151-го полка Зофиенталь-Зидовсвизе. 61-й гвардейский саперный батальон майора Лущина частью сил нес службу на переправах Одера, а частью готовил проходы в минных полях противника.

Из показания пленных было установлено, что в полосе наступления дивизии оборонялся двухбатальонного состава полк «Великая Германия» дивизии «Берлин». Батальоны в свою очередь были пятиротного состава, из них одна - тяжелого оружия. Моральное состояние немецких солдат было невысоким. Они знали о нашей подготовке к большому наступлению и очень боялись артиллерии, ударов танков и авиации.

Вот и наступила темная, тревожная ночь.

Противник, как всегда, вел редкий ружейно-пулеметный, артиллерийский огонь, авиация до двух часов ночи бомбила переправы на Одере и осевые порядки наших войск на плацдарме.

16 апреля 1945 года. Рано, в 5 часов по московскому времени, началась великая Берлинская операция, которую осуществляли войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. За две минуты до окончания артподготовки в полосе нашей 3-й ударной армии были включены 20 прожекторов большой мощности, при ярком свете которых пехота и танки перешли в атаку. Впечатляющее это было зрелище! Ослепляя врага и выхватывая из

темноты объекты атаки, прожекторы способствовали точным и решительным действиям наших танков и пехоты. Земля содрогалась от залпов нескольких тысяч орудий и минометов. С рассветом над полем появились наши штурмовики и бомбардировщики.

Как потом стало известно, артиллеристы фронта 16 апреля произвели 1 миллион 236 тысяч выстрелов. Это 2450 вагонов снарядов, или почти 98 тысяч тонн металла.

Ничто не могло остановить нашего наступательного порыва. 52-я гвардейская дивизия 15 апреля, успешно выполнив задачу, должна была двигаться за 33-й стрелковой дивизией. К 6 часам 16 апреля 33-я дивизия потеснила противника и вышла северо-восточнее города Лечин, но, встретив сильное огневое сопротивление врага, дальнейшего успеха не имела. Почти на прежних рубежах, ведя тяжелый бой, осталась и 94-я гвардейская стрелковая дивизия. Это еще более усугубило положение 33-й дивизии, так как ее левый фланг оказался открытым. В то же время 23-я гвардейская стрелковая дивизия, действуя в западном направлении севернее Лечина, вырвалась вперед.

В силу сложившейся обстановки командир корпуса генерал А.Ф. Казанкин ввел в бой 52-ю дивизию. Используя успех 23-й дивизии, решено было командиру 151-го полка полковнику И.Ф. Юдичу во взаимодействии с 33-й дивизией ударом с юго-запада и северо-востока овладеть городом. 151-й полк вместе с дивизионом 124-го полка, батареей 76-миллиметровых самоходных установок и ротой 61-го саперного батальона после 20-минутной артподготовки к 8 часам с боем достиг восточной окраины города.

3-й батальон при поддержке артиллерийско-минометного огня овладел домами северо-восточной окраины. В это время 2-й батальон майора Малютина, прикрывшись с юга огнем 4-й стрелковой роты капитана И.М. Щербинина и взводом полковой батареи 124-го артполка, атаковал противостоящего противника с севера.

В результате целеустремленных действий 52-я гвардейская и 33-я дивизии, разбив ослабленные части 309-й пехотной дивизии «Берлин», к 15 часам овладели городом Лечин.

В этом бою хорошо действовали солдаты 33-й дивизии, 2-й и 3-й батальоны 151-го гвардейского полка 52-й дивизии. Особенно отличились 4-я стрелковая рота И.М. Щербинина, артиллеристы 124-го гвардейского полка подполковника Н.И. Бигоненко.

В боях за город Лечин 52-я дивизия уничтожила более 200 солдат и офицеров, 10 взяла в плен, захватила большие трофеи: 12 орудий, 18 минометов, 47 пулеметов, 2 бронетранспортера, 250 автоматов и винтовок, 12 автомашин и 4 склада с продовольствием и медикаментами.

К 21 часу 16 апреля части дивизии вышли западнее г. Лечин. Для развития успеха и наращивания темпов наступления вводятся танковые части. В полосе наступления нашей дивизии действовала 108-я гвардейская танковая бригада 2-й гвардейской танковой армии. Танкисты начали наступление в 16 часов 30 минут 16 апреля. Их задачей было: обогнать пехоту и нанести удар в общем направлении в обход Берлина с севера. Однако к вечеру танкисты встретили сильное сопротивление противника и вынуждены были остановиться.

17 апреля на рассвете началось совместное наступление наших передовых частей пехоты и танков. К 10 часам утра 23-я и 33-я дивизии 12-го гвардейского стрелкового корпуса сбили противника с занимаемой позиции и в упорных боях овладели крупными населенными пунктами Груббе, Нейфридланд, Нейфельд, вышли на восточный берег канала Фридландерштром, преодолеть который удалось лишь к 19 часам. А ко второй половине ночи был взят и опорный пункт Готтесгабен.

52-я дивизия с утра 18 апреля выслала усиленный передовой отряд в составе 3-го батальона капитана И.Т. Обушенко с полковой батареей, минометной ротой, дивизионом 124-го артиллерийского полка и саперной ротой. Отряд, возглавляемый командиром 153-го полка подполковником С.П. Зубовым, должен был захватить переправы в районе Кепеля и восточнее и не дать фашистам возможности взорвать их. Отряд выступил в направлении Каппендорфер, но вскоре наткнулся на усиленную оборону вражеской роты, которую сбил с ходу. Овладеть же населенным пунктом он все-таки не смог. Зубову было

приказано действовать обходом с северо-востока, в результате чего передовой отряд к 13 часам достиг переправы. Но она была взорвана! Необходимо было захватить переправу восточнее. Командир 1-го батальона капитан И.Я. Тоткайло переправил 3-ю стрелковую роту старшего лейтенанта И.К. Левыкина вплавь, а под ее прикрытием переправились остальные, и стремительным рывком им удалось захватить две переправы восточнее Нейфельда.

С подходом 3-го батальона капитана И.Т. Обушенко и остальных подразделений полк Зубова занял оборону по рубежу Готтесгабен-Кепель и Нейфридланд. Тем самым он обеспечивал проход главных сил и составил второй эшелон дивизии.

В течение трех дней войска 3-й ударной армии в упорных боях овладели городами Грум, Предиков, Блюмберг, Нойн-Линденберг и рядом других населенных пунктов, представляющих мощные опорные пункты вражеской обороны, и подошли левым флангом к Боцлаву.

Рубеж обороны проходил по высотам. Местность в глубине обороны имела много лощин и оврагов и позволяла врагу осуществлять маскировку и скрытый маневр сил, что делало оборону более устойчивой. На окраинах Боцлава были вырыты противотанковые рвы, надолбы, размещены минные поля и другие заграждения.

Днем овладеть Боцлавом 23-й гвардейской и 33-й стрелковым дивизиям не удалось. Не дал положительных результатов и повторный артналет и залп 23-й минометной бригады реактивной артиллерии. Овладеть Боцлавом и высотами севернее его командир корпуса решил вводом в бой 52-й гвардейской дивизии. Дивизии была поставлена задача наступать из-за правого фланга корпуса севернее Боцлава.

Но после рекогносцировки с командирами частей, когда подразделения заканчивали подготовку к наступлению, я получил приказ наносить удар не из-за правого, а из-за левого фланга, то есть в стык 23-й и 33-й стрелковых дивизий. Для этого дивизии надо было сначала сделать рокировку и произвести всю работу по подготовке для наступления. К тому же этот маневр, считал я, займет много времени – не менее 6-8 часов – и, возможно, будет

стоить потерь и физических сил солдата. А экономия времени и умелое, бережливое расходование сил солдатского запаса энергии – это тоже своего рода оружие.

Я предложил генералу А.Ф. Казанкину оставить в силе первое решение, однако предложение на сей раз принято не было.

Выполнив маневр, 52-я дивизия после 30-минутной артподготовки во взаимодействии с другими в 23 часа перешла в атаку.

Бой носил ожесточенный характер и продолжался до 4 часов утра 19 апреля. Только утром частям 52-й, 23-й и 33-й стрелковых дивизий удалось окончательно сломить врага. В 5 часов утра город Боцлав был взят.

Продолжая теснить врага, 151-й полк со средствами усиления во взаимодействии с 23-й дивизией к 7 часам овладели населенным пунктом Рейхенов, а к 13 часам вышли на рубеж 1-2 километра северо-восточнее Предикова, где огнем противника были остановлены.

155-й полк с батареей самоходных установок, 2-м дивизионом 124-го полка, 124-м минометным полком, ломая сопротивление арьергардов врага, к 13 часам вышел на рубеж юго-восточнее Предикова, где, наткнувшись на противотанковые и противопехотные минные поля, прикрываемые артиллерийским и пулеметным огнем, был задержан.

До 18 часов в полках велась подготовительная работа, доразведка вражеских позиций; саперы готовили проходы в минных полях.

После этого 155-й полк возобновил атаку Предикова с юга, а 151-й – с северо-востока. После часового натиска населенный пункт был очищен от врага.

К 8 часам 20 апреля 151-й полк вышел на западную опушку леса Вилькендорфер, а 155-й – на южную опушку этого же леса, где были встречены артиллерийско-минометным, ружейно-пулеметным и огнем штурмовых орудий и танков. Но они не смогли продвинуться дальше. Не увенчались успехом и следующие две попытки. В это время 5-я стрелковая рота капитана Крошкина, нащупав слабое место у противника на правом фланге 155-го полка, уверенно продвинулась вперед. Используя этот успех,

155-й полк сделал обходной маневр и, сбивая вражеские группы прикрытия, к 10 часам 20 апреля вышел в район севернее Вилькендорфа – на озеро Херрен.

153-й полк преследовал противника в направлении населенного пункта Вилькендорф.

Стремясь преодолеть физическую и моральную подавленность войск, развивающуюся по мере роста неудач на фронте, Гитлер подписывает бредовые воззвания, отдает приказы, строит планы, явно не соответствующие реальности. В одном из обращений к солдатам фюрер вещал: «Если каждый из вас выполнит свой долг на Восточном фронте, последний штурм азиатов будет сорван... В эти часы на вас смотрит весь мир... Только благодаря вашему мужеству, смелости, упорству и фанатизму большевистское нашествие мы можем затопить в крови!»

На Восточный фронт были переброшены все стратегические резервы гитлеровской ставки. Словом, на защиту своего логова Гитлер бросил все и вся. Но не помогло и это.

Советский солдат рвался к Берлину, он жил мечтой войти в него и там закончить победное сражение. Теперь каждый день, каждый час приносил нам успех. И как бы ни было трудно, какой бы жестокий бой с врагом мы ни вели, но шаг за шагом продвигались к заветной цели.

Чтобы еще более ускорить успешное продвижение войск 3-й ударной армии, командующий фронтом в полосе наступления 12-го стрелкового корпуса 19 апреля ввел новый 9-й гвардейский танковый корпус, который эффективно помог в наступлении и 52-й дивизии.

Значительное продвижение 52-й дивизии было обеспечено смелыми и решительными действиями 108-й танковой бригады подполковника В.Н. Баранюка и передового отряда 153-го полка С.П. Зубова, 124-го артполка. Особенно отличились батарея лейтенанта Сенько, которая своим метким огнем подавила минометную батарею, и подбила штурмовое орудие, а также батарея капитана Н.И. Евтухова 151-го стрелкового полка, отразившая две контратаки и уничтожившая танк и противотанковое орудие.

Немало образцов отваги и мужества показали воины стрелковых подразделений. Вот один из примеров. Расчет станкового пулемета 1-й пулеметной роты младшего сержанта Павла Иосифовича Кулькова при совершении 155-м стрелковым полком обходного маневра прикрывал его левый фланг. Отражая атаки противника, расчет уничтожил более взвода вражеской пехоты. А снайпер младший сержант А.П. Федюхин выбил из строя трех фашистских офицеров.

Чтобы удержать последнюю полосу обороны перед Берлином, гитлеровское командование бросало в бой все, что только могло. Пленные, которых было взято более двухсот человек, принадлежали 11-й моторизованной дивизии СС и бригаде истребителей танков. Гитлеровские части были усилены бригадой штурмовых орудий, тяжелой артиллерией, зенитными подразделениями, используемыми для стрельбы по наземным целям.

Что из себя представляла бригада истребителей танков? Она состояла из четырех батальонов, сформированных из 16-17-летних юношей, призванных по тотальной мобилизации. Вооружены они были фаустпатронами – ручными противотанковыми гранатами. Этот вид оружия ближнего боя фашисты особенно активно применяли в Вилькендорфском лесу и в населенных пунктах.

– Таких сосунков в пекло суют, – вздохнул полковник В.Е. Горюнов.

– Ты погляди, что у него, – В.Т. Широкоумов кивнул на тупую головку фаустпатрона, которая была видна из-под руки фолькштурмиста. – Не сосунок, раз такую штуку взял...

– Не своим умом взял, – вздохнул начальник политотдела Горюнов. – В руки сунули... задурили голову – вот и взял.

С начала берлинского наступления условия боевых действий непрерывно менялись, приходилось перестраиваться на ходу, менять тактику. Если в первые два дня – 16–17 апреля – наши усилия были направлены на преодоление укрепленной обороны в условиях труднопроходимой приодерской поймы, а затем бои развернулись на проселочной местности за овладение опорными

пунктами и господствующими высотами, то теперь перед частями дивизии на подступах к Берлину с северо-востока сплошной стеной стоял лес Вилькендорф. Все просеки и дороги, идущие через лес, имели завалы, заминированные участки, которые прикрывались противотанковыми и зенитными орудиями для стрельбы прямой наводкой и многочисленными группами «фаустников». Бои в лесу принимали самый ожесточенный характер, продвижение наших войск вперед было чрезвычайно затруднительно.

Обстановка заставляла нас быть особенно бдительными, непрерывно вести наблюдения, активную разведку. Лучшим проявлением бдительности и боевой готовности мы считали активные действия. Группами добровольцев и снайперами мы не давали врагу покоя.

Гитлеровцы вынуждены были принимать срочные меры, чтобы обезопасить свои тылы и связь, на ходу организовываясь в сводные отряды. С вводом в действие свежего полка «Данемарк», до трех батальонов фольксштурма, поддержанных артиллерийско-минометным огнем и танками, врагу удалось задержать наступление 23-й и 52-й гвардейских стрелковых дивизий.

Однако, уточнив обстановку, подтянув тылы, наладив взаимодействие с танками и подразделениями 23-й стрелковой дивизии, 52-я – после массированного 10-минутного артиллерийско-минометного налета, поддерживаемая танками и огнем артиллерии, перешла в решительное наступление. Прорвав оборону противника и преследуя его, гвардейцы 52-й дивизии с частями 108-й гвардейской танковой бригады с боями прошли 27 километров и к 23 часам 20 апреля достигли рубежа: 151-й полк – Вильгельминенхов, 155-й – берегов озера Хаусзее, 153-й полк вышел во второй эшелон дивизии.

Необходимо сказать, что на левом фланге корпуса из-за отставания 94-й гвардейской стрелковой дивизии – нашего левого соседа – создалась напряженная обстановка. Опираясь на укрепленные районы Штраусберг, противник мог нанести удар в северо-восточном направлении и выйти в тыл 12-го гвардейского корпуса. Поэтому 33-я дивизия, находившаяся во втором эшелоне корпуса, держалась ближе к левому флангу. Мне тоже пришлось 153-й

полк Зубова, свой резерв и подвижной отряд заграждения держать ближе к левому флангу.

На следующий день, 21 апреля 1945 года 12-й корпус получил задачу: к четырем часам захватить Ленберг, Кла-рахе и выслать в Берлин сильные передовые отряды.

Берлинский вопрос не сходил со страниц газет и журналов, в том числе и в частях 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Берлинский вопрос «жгуч». И если думать о нем сегодня, память невольно воскрешает тревожно-веселые, отчаянно-буйные весенние дни сорок пятого года.

А когда в сознании воскрешаешь картины штурма Берлина, прокопченные черным дымом лица солдат, то переживаешь те события с такой силой, будто все это снова происходит сейчас.

Вспоминаю, на подходе к Берлину дивизия приближалась к одной из просек. На этой просеке, на открытом месте, мы смотрели вправо и влево от автострады, и на всем протяжении этой лесной дороги, насколько хватает глаз, видели одно и то же – кашу, в которой перемешаны грузовики, танки, штурмовые орудия, бронетранспортеры и скрюченные в невероятных позах трупы вражеских солдат и офицеров.

В час ночи командующий 3-й ударной армией генерал-полковник В.И. Кузнецов лично поставил перед 52-й дивизией задачу прорвать оборону противника, наступать в направлении Линденберг, пригорода Берлина Вейсензее и к 4 часам 21 апреля захватить узел дорог автострады Блумберг-Берлин.

Обстановка к этому времени была такая: правый сосед – 23-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора П.М. Шафаренко, находясь на уровне 52-й дивизии, вела бой с сильным противником; левый сосед – 94-я стрелковая дивизия – по-прежнему отставала. Взвесив все плюсы и минусы, я принял решение поставленную задачу выполнить силами 151-го и 153-го полков, имея во втором эшелоне 155-й полк. Чтобы сократить время на доведение задачи, я выехал в 153-й полк, а начальник штаба полковник Я.Д. Емельянов – в 151-й. Надо сказать, что в то трудное время, особенно при штурме Берлина,

мы с Емельяновым хорошо узнали друг друга, и, какой бы сложной ни была обстановка, у нас почти никогда не было расхождений во мнениях относительно планов действий. Яков Денисович умел быстро подхватить решение командира и четко провести его в жизнь.

Главный опорный пункт немцев Блумберг решено было брать обходным путем: 151-й полк частью сил активными действиями сковывает противника с северо-востока, а остальными силами наносит удар с севера, 153-й полк частью сил прикрывается с юго-востока, а главный удар наносит с юга, 155-й полк следует за левым флангом 153-го полка.

В два часа ночи после артиллерийско-минометной подготовки дивизия начала наступление. 151-й полк прорвал оборону восточнее города, но, как сообщил начальник штаба Емельянов, сильным огнем противника был остановлен. Тогда было принято решение: частью сил 151-й полк прикрывается от Блумберга-северного, а главными силами сковывает Блумберг-южный с востока и юго-востока и тем самым способствует выполнению задачи 153-м полком, который, не ввязываясь в бой за город, захватывает автостраду Блумберг-Берлин, прочно удерживает узел дорог до подхода 155-го полка. С приходом полка Козарева последний одним батальоном содействует полку Юдича овладеть Блумбергом-южным.

К 6 часам Зубов свою задачу по захвату узла дорог успешно выполнил. Это был крупный успех. Вот что пишет в книге «Наступает ударная» бывший начальник оперативного отдела 3-й ударной армии, ныне генерал-лейтенант Георгий Гаврилович Семенов: «На рассвете 21 апреля гвардейцы 52-й дивизии генерал-майора Н.Д. Козина и бойцы 171-й стрелковой дивизии полковника А.И. Негоды первыми пересекли берлинскую кольцевую автостраду и устремились в пригород Большого Берлина. Эта радостная весть быстро разносилась по частям армии. 3-я ударная переступила порог фашистского логова».

Командующий армией генерал-полковник В.И. Кузнецов сказал о 52-й гвардейской стрелковой дивизии: «Я верил. И если материальные и людские потери врага не так велики, то моральный удар безусловно большой. Но

отмечать успех нам пока рановато. Самое главное – впереди».

– И самое трудное, – добавил я.

Выход 153-го полка на автостраду Блумберг-Берлин при содействии 2-го батальона 155-го полка атакой с юго-запада позволил 151-му полку овладеть Блумбергом-южным.

Наступательный порыв гвардейцев был настолько велик, что самоотверженность и решительность проявлял каждый сражающийся с врагом. На подступах к городу с юго-востока противник оказал упорное сопротивление, создалась очень тяжелая обстановка. Командир стрелковой роты первого батальона 151-го полка старший лейтенант В.С. Трошин, зная, что от действий его роты зависит успех батальона, первым бросается на врага и увлекает за собой бойцов роты. Стремительность и дерзость солдат дезорганизовали гитлеровцев, и они, стараясь избежать рукопашной схватки, начали отходить. Вместе с ротой Трошина в город ворвался батальон майора В.М. Малютина и завязались уличные бои.

За умное управление ротой и проявленную личную храбрость старший лейтенант В.С. Трошин, ранее награжденный орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Александра Невского, был удостоен звания капитана и ордена Кутузова III степени.

К семи часам в наших руках был Блумберг-северный, а вскоре и Блумберг-южный. Эти успехи еще более воодушевили гвардейцев дивизии.

Город Блумберг – узел дорог на подступах к самой немецкой столице. И овладение им имело большое оперативное значение: город занимал ключевое положение, потеряв его, противник вынужден был отходить на внутренний городской обвод. Из показаний пленных было известно, что, стремясь удержать опорный пункт Блумберга, гитлеровцы стянули сюда основные силы и тем самым ослабили свои фланги. Тогда я принял решение ввести в бой второй эшелон дивизии – 155-й стрелковый полк Козарева, задачей которого было: развивая успех 153-го полка в направлении Вейсензее, овладеть пригородами Бланкенбург и Мальхов.

Уничтожая отдельные очаги сопротивления на высотах и опушках леса, полк имел успех, но когда из-за укрытия враг силою батальона пехоты и роты танков с юго-западной окраины Ной-Ланденберг контратаковал, продвижение полка было задержано. Только вводом второго эшелона полка с дивизионом противотанковой артиллерии капитана Н.В. Познякова и огня артиллерии контратака противника была отбита.

ШТУРМ БЕРЛИНА

21 апреля в 12 часов 2-й дивизион майора А.Л. Дубицкого 124-го артполка с северо-восточной окраины Кларахе произвел первый залп по центру Берлина. 153-й и 155-й полки решительной атакой прорвали вражескую оборону и, преследуя отходящего врага, к 14 часам захватили Вартенберг.

Пехотный батальон противника, рота танков при поддержке сильного огня артиллерии из района пригорода Мальхов предприняли контратаку. 153-й полк Зубова, прикрывшись с востока 7-й стрелковой ротой капитана А.П. Ерошкина и взводом 3-й пулеметной роты лейтенанта Костина, главными силами с северо-востока и во взаимодействии со 155-м полком, 108-й танковой бригадой с юго-запада при поддержке артгрупп разбили контратакующего врага.

В этом бою врагу был нанесен значительный урон: было убито и ранено более 250 солдат и офицеров, 188 взято в плен, захвачены трофеи: 7 штурмовых орудий, 31 зенитное орудие, 9 пушек, 3 танка, 6 тракторов, 50 автомашин и другое военное имущество.

Хорошо действовали танкисты 108-й танковой бригады, 124-й артполк и гвардейцы 153-го полка. Особенно отличилось отделение противотанковых ружей сержанта Скобликова, которое уничтожило танк и бронемашину; саперный взвод лейтенанта Кирзунова обеспечил движение танков через минное поле; блестяще выполнил свою задачу штурмовой взвод секретаря партийной организации сержанта Степанова. Этот взвод уничтожил в камен-

ном здании два пулемета, орудие и гранатомет, которые не смогла подавить артиллерия.

Противник вновь пытался контратаковать, но воины стрелковой роты старшего лейтенанта А.М. Шингалова при поддержке батареи старшего лейтенанта В.В. Жилинского успешно отразили натиск.

Враг потерял более роты пехоты, четыре танка. Этот успех был закреплен воинами 151-го полка и 23-й дивизии, которые в 11 часов овладели Ной-Лондербергом.

Поблагодарить гвардейцев за успешные боевые действия приезжал командир 12-го корпуса генерал-лейтенант А.Ф. Казанкин. К сожалению, на обратном пути он был тяжело ранен. 30 апреля его заменил генерал-майор А.А. Филатов.

Во второй половине дня 21 апреля 151-й и 155-й полки со 108-й танковой бригадой, прорвав сильно укрепленный рубеж обороны, проходивший по северной и северо-западной окраинам Вейсензее, в 20 часов ворвались в Берлин и завязали уличные бои. Входя в Берлин, я подумал: «Аукнулось под Москвой, а откликнулось в Берлине». Орудие, которое использовалось в боях за Смоленск, Сталинград, Минск и многие другие города Советского Союза, ударило по логову фашизма – Берлину.

Вести бои в городе всегда трудно, а тем более в таком, как Берлин, в котором все прочные дома были превращены в крепости с многоэтажными подземными бункерами.

Противник в большом количестве применял фаустпатроны – грозный вид оружия ближнего боя. Из этого оружия можно было стрелять из подвала, с чердака, из блиндажа, из любой щели.

22 апреля из тюрем были выпущены уголовники, которых привлекали к обороне города. Общая численность гарнизона к этому времени превышала 300 тысяч человек, но фашистов ничто уже не могло спасти от неминуемого разгрома. Мощная лавина советских войск неудержимо двигалась к центру города, к рейхстагу – имперской канцелярии.

В Берлине мы действовали штурмовыми отрядами (взвод, рота), усиленными орудиями, танками, самоходно-

артиллерийскими установками, химиками, огнеметами «фоги» и саперами.

В результате решительных действий отрядов в 11 часов 800 солдат и офицеров врага сдались в плен.

Командир 153-го полка С.П. Зубов использовал образовавшуюся брешь в обороне. Преодолевая сопротивление разрозненных групп противника, отряды полка устремились вперед. Только второй батальон 151-го полка майора Сутягина во взаимодействии с полковой батареей капитана Н.В. Евтухова при поддержке 2-го дивизиона 124-го гвардейского артполка майора А.Л. Дубицкого 22 апреля отразили пять яростных атак. Особенно отважно дралась 1-я стрелковая рота старшего лейтенанта П.Д. Алексешикова. Эта рота в каждом бою отличалась храбростью. Например, в Померании в первых числах марта 1945 года рота П.Д. Алексешикова за один день уничтожила более 400 вражеских солдат и офицеров, 260 взяла в плен, захватила крупные трофеи: 6 минометов, 2 пушки, 4 зенитных орудия, 20 автомашин, 2 танка и много имущества.

Смело, решительно эта рота действовала и при форсировании Одера. И вот теперь в боях на улицах фашистского логова бойцы во главе со своим командиром продвигались в числе первых. Бойцы равнялись на своего командира, гвардии старшего лейтенанта П.Д. Алексешикова – человека храброго, мужественного. Недаром он закончил войну, имея на груди десять правительственных наград.

Или вот другой командир. В момент отражения жестокой атаки врага командир 5-й батареи старший лейтенант коммунист Владимир Васильевич Жилинский заметил, что машина начальника политотдела полковника В.Е. Горюнова вот-вот попадет в расположение немцев. Жилинский, не разбирая дороги, с группой в 12 человек помчались наперерез. Офицер считал своим долгом спасти полковника, а раздумывать о том, опасен или не опасен поступок, на который он с бойцами своей батареей шел, было некогда. Не думал он о смертельной опасности и тогда, когда вступил в рукопашную схватку. В схватке 6 фашистов были уничтожены и 3 взяты в плен. Начальник политотдела дивизии был спасен.

Артиллеристы 124-го артполка, находясь непосредственно в боевых порядках пехоты, прямой наводкой уничтожали огневые средства и живую силу противника. Расчет младшего сержанта А.Н. Гусейнова только 22 апреля подавил минометную батарею, уничтожил 14 ручных и тяжелых пулеметов, 2 пушки и до 40 фашистов... На следующий день в жарком бою погиб весь расчет, в живых остался лишь один командир, который продолжал вести огонь, обеспечивая продвижение пехоты. Он лично уничтожил три укрепленных точки и около 20 фашистов. За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, младший сержант Али Наджимович Гусейнов был награжден третьим орденом Славы, став полным кавалером самого почетного солдатского ордена.

22 апреля фашисты в боях с гвардейцами 52-й дивизии потеряли убитыми и ранеными 450 солдат и офицеров. Нами были захвачены трофеи: 560 автомашин, 6 тракторов, 11 бронетранспортеров, 4 самоходных установки, 16 зениток, 13 пушек, 3 прожектора, 22 железнодорожных вагона, 2 паровоза.

22 и 24 апреля дивизия во взаимодействии с 79-м тяжелым танковым полком вела ожесточенные бои на берлинских улицах – Шефлиссерштрассе, Холмелштрассе, Хрубинштрассе, Пекарнен Сильва, Шефельбенштрассе и других. Особенно упорно фашисты сопротивлялись в парках, церквях и угловых домах, приспособленных к круговой обороне с подвижной системой огня. Пришлось огневые точки выжигать огнеметами «фоги».

Гитлеровцы в бой бросали все, что только могли: учебные полки, роты фольксштурма, жандармские батальоны, зенитные дивизионы. Но гвардейцы, тесня врага, шаг за шагом продвигались к центру Берлина. Яростные контратаки пехоты, танков и штурмовых орудий противника успешно отражались.

Командиры орудий первого дивизиона старший сержант Магды Султанович Султанов и старший сержант Василий Иванович Баранов, несмотря на ливень вражеского огня, выкатили свои орудия на прямую наводку и в упор расстреливали фашистов. Расчет Султанова подавил самоходно-штурмовое орудие, три укрепленных точки панцер-фауст, разрушил первый этаж каменного здания и

уничтожил в нем пулеметные точки и 15 солдат и офицеров. Старший сержант был тяжело ранен, но продолжал вести огонь из пулемета и уничтожил еще 20 фашистов. Такой же героизм проявил и старший сержант Баранов. Оба командира, а также бойцы их расчетов были награждены орденами и медалями.

Смело действовали танкисты 108-й танковой бригады подполковника Василия Никифоровича Баранюка, минометчики первой минометной бригады, саперы 15-го саперно-инженерного батальона.

В боях 23-24 апреля, отражая атаки и контратаки врага, 52-я дивизия с приданными ей средствами усиления вывела из строя 1150 фашистов, 144 взяла в плен. Захватила трофеи: зениток разного калибра – 48, пушек – 23, минометов – 13, самоходно-штурмовых орудий – 5, танков – 6, железнодорожных вагонов – 23, складов с продовольствием и горючим – 26.

Потери нашей дивизии за 21-23 апреля составили 69 убитых (в том числе пал смертью храбрых заместитель командира по политчасти 153-го полка майор Педанов), 352 раненых, в их числе командир 151-го полка полковник Иван Федорович Юдич. Полк принял мой заместитель полковник Сергей Федорович Лясковский.

Командир взвода 2-й стрелковой роты лейтенант Д.Е. Кармаца вспоминает: «24 апреля тяжелый бой вел первый батальон 153-го полка полковника Зубова. В этом смертельном бою, отражая атаки и контратаки, пали смертью храбрых в рукопашных схватках мои боевые друзья – командир 2-й роты лейтенант А.М. Федоров, командир взвода лейтенант Н.М. Казаков. Командир взвода М.А. Данилин был тяжело ранен».

Все они – двое посмертно – были удостоены правительственных наград.

С каждым днем нарастал наш натиск к центру фашистского логова. Лица мирных жителей выражали растерянность и недоумение. Один пожилой немец не выдержал, подошел к нам.

– Откуда у вас такая сила? – спросил он. – Ведь нас уверяли, что русские разбиты, держатся уже из последних сил.

Что можно было ответить этому немцу? Он сам теперь все видел своими глазами: мы не только выдержали, но пришли в Берлин и завершаем свое правое дело.

Двигаться по улицам Берлина было опасно, и опасность часто подстерегала там, где ее вроде бы не должно быть. В эти дни затишья не было, да и не могло быть, так как наши позиции впереди, справа и слева находились от немецких на расстоянии броска гранаты, а то и через стену.

Особенно в этом смысле досаждали нам снайперы и террористы. Не складывала свое оружие и геббельсовская пропаганда: гитлеровцы разбрасывали разного рода листовки, и на стенах домов, заборах, прямо на асфальте белой краской или мелом писали лозунги, призывавшие свои войска и берлинцев бороться до конца. Но все попытки поднять дух армии и населения успеха не имели. Берлин горел, его гарнизон сдавал позиции.

25 апреля в центре Германии на Эльбе произошла историческая встреча двух союзных армий – советской и американской. Гитлеровские войска оказались разорванными на две части – северную и южную. Но это не облегчило положение наших войск.

В следующие дни дивизия вела тяжелые бои с противником в районе парка Гумбольдт-Хайн. Фашисты превосходящими силами предпринимали одну контратаку за другой. Вот уже отбито две. Выдвинув вперед штурмовые орудия и зенитную артиллерию для стрельбы прямой наводкой, гитлеровцы пошли в третью. Перед 155-м стрелковым полком в районе Глеймштрассе – Свюнемюндештрассе создалось серьезное положение, особенно на участках 5-й стрелковой роты капитана Крошкина и 9-й батареи капитана Ковалья. Гитлеровцы отдельными группами пытались в обход прорваться на позиции артбатареи. Но Коваль, развернув одно орудие, начал в упор расстреливать просочившихся фашистов, 5-я стрелковая рота одним взводом также открыла огонь по пехоте, наступающей во фланг и тыл. Ранило наводчика и заряжающего. Их место занял сам командир батареи. Но вскоре и он был смертельно ранен, однако продолжал вести огонь. Уже окончательно истекая кровью, он успел навести ору-

дие и прямым попаданием уничтожить штурмовое орудие врага. Атака фашистов была отбита, рубеж удержан.

За храбрость и мужество А.П. Коваль был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, многие бойцы награждены орденами и медалями.

В этот же день, 26 апреля, противник группой 25 человек предпринял с улицы Папель-Аллее атаки и на орудие в районе перекрестка улиц Вносерштрассе и Штайхельдерштрассе. В завязавшемся бою расчет был выведен из строя, остался один командир сержант Чарнита. Телефонист управления дивизиона и связные заняли круговую оборону. Гитлеровцы забрасывали орудия фаустпатронами. Сержант Чарнита был ранен, но не оставил поле боя, продолжал отражать атаки врага. Были ранены связист Бурлаков, санинструктор Шавали, повозочный Дудко. Они также не прекращали вести огонь, 10 фашистов уничтожили, 8 взяли в плен. За мужество все были награждены правительственными наградами.

Атаки фашистов не прекращались ни днем, ни ночью. Тяжело было смотреть, когда твои товарищи проливают кровь.

Вспоминает лейтенант Е.П. Корнеев: «Вскоре центр огненного удара и яростных атак переместился к нам. Только в первый час две атаки мы отбили огнем, третью гранатами, а четвертая началась массовым нажимом фолькштурмовцев и берлинской жандармерии с фронта, с севера и юго-востока. Пришлось вступить врукопашную нам, а затем ротам 3-го батальона капитана И.Т. Обушенко. От артиллерийского, минометного, пулеметного и огня орудий прямой наводки враг истекал кровью, но бросался в атаки».

Заместитель командира по политчасти майор С.И. Множин (заменивший павшего в бою майора Педанова) докладывал: «Мне пришлось разъяснить людям, что положение у соседей не лучше. Для нас сейчас большая опасность со стороны парка Гумбольт-Хайн, завода № 47 и насыпей железных дорог с севера и востока».

С рассветом враг повторил артналет, появились четыре танка и штурмовое орудие, за ними шла пехота. Тут же два вражеских танка подбили артиллеристы лейтенанта

Н. Александрова, а сержант Я.А. Грознов из трофейного гранатомета «фаустпатрон» уничтожил штурмовое оружие.

Да, все попытки врага прорваться и разобщить 153-й со 151-м полком не достигли успеха. И сейчас отрядно вспомнить мастерство штурмовых групп в использовании незаменимого вида оружия в городском бою – гранат Ф-1 и РГД, противотанковых ружей и гранат «фаустпатрон».

А наши снайперы, такие, как комсомолка Муза Яковлевна Десятова и коммунист Тамара Константиновна Алферова и другие, приучили гитлеровцев ползать гадюками по берлинской земле. О снайперах дивизии говорили с гордостью. Их мы ставили в пример не только за отвагу и боевой счет, но и за чувство коллективизма, за стремление передать свои знания и опыт другим стрелкам.

Со второй половины 27 апреля бои переместились в самое сердце Берлина – центральный сектор, где размещались все руководящие и правительственные органы Германии, штаб обороны города и сам Гитлер. Кольцо вокруг окруженной группировки немцев сжималось. Вражеская группировка растянулась узкой, не более 3-5 километров, полосой с востока и на 16 километров на запад.

Все попытки гитлеровского командования оказать помощь Берлину извне провалились. Политико-моральное состояние фашистских войск резко упало, участились случаи массового дезертирства.

52-я гвардейская стрелковая дивизия, отвоевывая метр за метром, продвигалась вперед. Штурмовые отряды действовали мелкими группами, проникая через проломы в стенах зданий, проходные дворы, вели бои в подвалах, на лестничных площадках, на чердаках.

26 апреля подразделения дивизии уничтожили 365 фашистских солдат и офицеров, 27 взяли в плен, в том числе одного полковника. Крупными оказались и трофеи: 25 паровозов, 2 500 вагонов, 200 автомашин и другое военное имущество.

Из допроса пленных и показаний местного населения было установлено, что в полосе наступления дивизии насчитывается 2700-3000 обороняющихся фашистов, воору-

женных, в основном, пулеметами, автоматами и фаустпатронами.

Подступы к центру столицы и рейхстагу враг оборонял тяжелой артиллерией, кочующими и врытыми в землю на перекрестках улиц танками, штурмовыми орудиями.

27 апреля после артналета наступление штурмовых групп 153-го и 155-го стрелковых полков возобновилось. Все делалось под прикрытием дымовой завесы, которая под огнем врага ставилась воинами 58-й роты химзащиты.

Большое мужество проявили химики, выполняя свою задачу. Один из многих примеров. 27 апреля ездовой роты химзащиты Таран, доставляя химсредства на передний край, попал под сильный пулеметный огонь. Шашки загорелись, но Таран не растерялся: поставив впереди себя дымовую завесу, он вынес шашки, которые потом доставил по назначению, тем самым обеспечив действие штурмовых групп. За свой подвиг он был награжден орденом.

Смело и решительно действовали и огнеметчики, помогая штурмовым группам продвигаться вперед. 1-я и 2-я роты минометного батальона сожгли пять зданий – опорных пунктов большой мощности – и несколько орудий, находившихся в подвалах каменных домов.

Умело руководили действиями в бою командир полковой батареи старший лейтенант П.Т. Симоненко, командир 51-го истребительно-противотанкового дивизиона капитан Н.В. Позняков, начальник штаба 3-го батальона 153-го стрелкового полка старший лейтенант Иван Ильич Батлук.

Нельзя не сказать добрых слов о водителях 400-й роты автоподвоза капитана Михаила Афанасьевича Ковзуна, начальника артиллерийского снабжения и начальника автослужбы старшего лейтенанта Я.Г. Позенко. В очень сложной обстановке они обеспечили бесперебойное снабжение полков и подразделений боеприпасами и всем необходимым в тяжелых боях.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений 153-го и 155-го стрелковых полков во взаимодействии со средствами усиления к 15 часам 27 апреля дивизия овладела несколькими кварталами восточнее завода № 47.

В это время 2-я гвардейская танковая армия нанесла сильный удар в южном и юго-восточном направлениях. Продвинувшись на два с половиной километра, она овладела значительной частью Шарлоттенбурга. Учитывая сложившуюся обстановку, командующий 3-й ударной армией генерал-полковник В.И. Кузнецов решил перегруппировать основные силы 12-го стрелкового корпуса к правому флангу армии, в район Ведлинга, оставив на всем остальном участке – Гезундбруннен – Пренцалдерштрассе – лишь 52-ю дивизию. Главными силами армии развернуть наступление из Ведлинга на юго-восток в общем направлении на рейхстаг с целью соединения в этом районе с 8-й гвардейской армией и рассеяния окруженной вражеской группировки на две части. Не очень-то был доволен личный состав 52-й дивизии, узнав о приказе перехода дивизии к обороне, хотя и активной: гвардейцам хотелось наступательных действий и штурма рейхстага. Желание бойцов было вполне понятным. Но в сложившейся обстановке решение командующего армией было обоснованным: не тащить же 52-ю дивизию через боевые порядки 33-й стрелковой дивизии. Это потребовало бы много времени и могло привести к значительным потерям. Водрузить Знамя Победы над рейхстагом, как планировал штаб армии, должен был 79-й корпус. К 10 часам 28 апреля дивизия заняла оборону с целью не допустить прорыва врага в северном направлении и уничтожить диверсионные группы в полосе Гаупштрассе – Принцекалле – Визенштрассе – Бодштрассе.

Резерв командира дивизии – учебный батальон майора И. Тимошина и подвижной противотанковый заградотряд – состоял из двух стрелковых рот, батареи истребительно-противотанкового дивизиона, саперного взвода на автомашинах ГАЗ-АА.

Но что значило занять оборону в Берлине – логове фашизма? В данном случае оборона – понятие относительное. Мы ежечасно вовлекались в активные боевые действия.

К 28 апреля положение окруженной в Берлине вражеской группировки еще более ухудшилось. Территория, которую она занимала, значительно сократилась.

Шансы на деблокаду уменьшились. В результате ударов советских войск с севера и юга расчленение на три части становилось все ближе. Удар по рейхстагу наносился 79-м стрелковым корпусом с северо-запада, откуда его менее всего ожидали гитлеровцы. «Горловина» между группировками врага, зажимаемого в кольцо северо-восточной части Берлина и южной части Шарлоттенбурга и Халензее (парк Тиргартен), сузилась до 1200 метров, между южной и группировкой в районе Вестенда и Рулебена – до 500 метров. Однако сети подземных путей сообщения позволяли фашистскому командованию маневрировать резервами, перебрасывать их с одного участка на другой и даже появляться в тылу наших подразделений. И чем больше положение фашистов ухудшалось, тем больше они стervenели. И все-таки положение вражеской группировки стало уже настолько тяжелым, что командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг 28 апреля в 22 часа счел необходимым предложить Гитлеру план прорыва войск из Берлина. В своем докладе он указывал, что войска могут воевать еще не более двух дней, так как останутся без боеприпасов. Прорыв предполагалось осуществить тремя эшелонами. Первый эшелон предлагалось усилить основной массой танков, штурмовых орудий и артиллерии. Гитлеровская ставка для большей безопасности должна была выходить со вторым эшелонам. Это мне стало известно от пленных: генерала СС фон Хаймберга и генерала СС Герума. «Если прорыв даже и в самом деле будет иметь успех, то мы просто попадем из одного котла в другой. Он, фюрер, тогда должен будет ютиться под открытым небом, или же в крестьянском доме, или в чем-либо подобном и ожидать конца. Лучше уж он останется в Имперской канцелярии». Таким образом, фюрер отклонил мысль о прорыве.

Вечером 29 апреля генерал Вейдлинг вновь предложил прорываться на запад. Гитлер и на этот раз не принял определенного решения. Попытки 12-й немецкой армии прорваться к Берлину и помочь группировке, а равно и попытки самой группировки вырваться кончались безрезультатно. Катастрофа стала неотвратимой.

Советские воины видели, что полный, окончательный разгром гитлеровцев – это вопрос дней. Но все чувства, которые волновали и которыми жили наши солдаты и командиры в преддверии победы, не лишали их высокого гуманизма. Именно гуманизм, человеколюбие руководили ими, когда они, рискуя собственной жизнью, спасали немецких детей, выносили из огня пожаров, прятали от пуль и снарядов.

...Горит четырехэтажный дом, из которого доносится детский плач. Не раздумывая, в горящее здание бросается наша русская девушка-связистка Настя Олехова. И вот она уже осторожно спускает ребенка, снова скрывается в огне, спешит вынести второго малыша.

И таких примеров можно было бы привести множество.

С утра 30 апреля, когда положение окруженной группировки стало совсем безнадежным, гитлеровское командование во главе с генералом Вейдлингом начало разрабатывать план прорыва из Берлина, который намечался на 22 часа того же дня. Но этому плану не суждено было осуществиться. К исходу дня группировка врага оказалась расчлененной на четыре изолированные части. В стане врага началась паника. Не действовали никакие призывы к армии гросс-адмирала Деница, по завещанию Гитлера ставшего главой правительства, «драться до последнего патрона, до последнего солдата».

30 апреля 52-я дивизия вела бои в районе парка Гумбольдт-Хайн и спортплощадки, которые находились в 300–400 метрах северо-восточнее рейхстага. В парке имелись две крепости, особенно прочной была северная. Парк и крепость были хорошо подготовлены к обороне в противотанковом, противоартиллерийском и противопехотном отношениях: траншеи с пулеметными площадками и зенитной артиллерией прямой наводки по наземным целям соединялись ходами сообщения с многоэтажными подвалами северной крепости.

Бои носили самый ожесточенный характер, доходили до рукопашных схваток. В одну из очередных атак основной удар пришелся по второму батальону, и тогда коман-

дир 4-й роты капитан Илларион Михайлович Щербинин поднялся, крикнул:

– Бойцы! За мной! Вперед!

Увлеченные личным примером своего командира, гвардейцы при поддержке артогня решительно контратаковали врага. Только взвод лейтенанта И.И. Батыля в рукопашной схватке уничтожил до взвода фашистов. Сержант Берестнев один уничтожил пятерых.

В тот же день враг силою до батальона при поддержке танков и огня всех видов только с 7 до 10 часов предпринял пять атак на боевые порядки 153-го стрелкового полка полковника Зубова. Но и здесь он успеха не имел. В боях за фашистскую столицу сказались богатырская сила советского народа и его солдата. Чем больше сатанел враг, тем упорнее и отважнее дрались наши гвардейцы. С 22 часов 50 минут 30 апреля над рейхстагом развевалось советское знамя. Это было последнее знамя войны и первое знамя мира.

1 мая в 3 часа начальник штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс по договоренности с командованием Советской Армии перешел линию фронта в полосе 8-й гвардейской армии на участке 35-й гвардейской стрелковой дивизии в районе Потсдамского вокзала и был принят генерал-полковником В.И. Чуйковым. На командный пункт вскоре прибыл заместитель командующего Белорусским фронтом генерал армии Соколовский, который вел переговоры с Кребсом от имени советского командования. Кребс официально сообщил о самоубийстве Гитлера и образовании нового правительства.

В ходе переговоров Кребсу было заявлено, что прекращение военных действий возможно только при условии безоговорочной капитуляции немецко-фашистских войск. После этого генерал Кребс убыл для доклада Геббельсу. В 18 часов 1 мая Геббельс и Борман ответили, что отклоняют требование о безоговорочной капитуляции.

Тогда мы получили приказ возобновить боевые действия.

Части 3-й ударной армии, наступавшие с севера к центру, вскоре соединились южнее рейхстага с частями 8-й гвардейской армии В.И. Чуйкова, наступавшими с юга. Вой-

ска 2-й гвардейской танковой армии встретились в районе Тиргартена с 1-й гвардейской танковой армией. Остатки Берлинского гарнизона были разрезаны на отдельные изолированные группы. Противнику не оставалось ничего другого, как сложить оружие. И действительно, в 00 часов 40 минут 2 мая была перехвачена радиограмма на русском языке из 56-го немецко-фашистского танкового корпуса с просьбой прекратить огонь. В 6 часов перешел линию фронта и сдался в плен командир корпуса генерал Вейдлинг, который одновременно являлся комендантом Берлина.

В это время 52-я гвардейская стрелковая дивизия вела тяжелые бои. В 2 часа 30 минут 2 мая после массированного артналета на 151-й полк пошли вражеские танки и штурмовые орудия. Сосредоточив усилия, фашисты ворвались в расположение 4-й стрелковой роты и овладели железнодорожным мостом. Через 15-20 минут подошли еще 7-8 танков, несколько штурмовых орудий, 5-6 бронетранспортеров с пехотой, стремясь прорваться севернее у железнодорожной станции Гезундбруннен. Все их действия были строго согласованы, хорошо продуманы. Именно в это время противник активно сковал огнем и мелкими атаками 153-й полк. К тому же полк был изолирован от 155-го и 151-го полков и не имел связи с командиром и штабом дивизии. Все это не позволяло помочь 151-му полку в ликвидации вклинившегося на его участке противника.

К 6 часам гитлеровцам удалось частью прорваться и выйти в район огневых позиций 1-го дивизиона 124-го артполка. К счастью, там находился, командир полка полковник Н.И. Бигоненко, который лично возглавил управление боем. В этом ожесточенном бою он был ранен, но продолжал руководить действиями дивизиона. Враг, потеряв 8 танков, несколько бронетранспортеров и более роты пехоты, дальше продвинуться не смог.

За умелое руководство в бою и мужество гвардии полковник Н.И. Бигоненко был удостоен звания Героя Советского Союза.

Противник, хорошо зная город, подземные ходы сообщения, появлялся там, где мы не всегда его могли встретить подготовленным огнем и контратакой. Положение

дивизии осложнялось еще и тем, что она не имела сильного противотанкового подвижного резерва – все средства усиления, за исключением 125-й отдельной танковой роты, с 29 апреля были взяты из дивизии на главное направление удара армии.

Только благодаря решительным действиям личного состава учебного батальона, 82-го батальона связи, 56-й разведывательной роты, роты 61-го отдельного саперного батальона, 58-й роты химзащиты, резерва командира дивизии враг получил отпор. Из допроса пленных мы узнали, что они принадлежали подразделениям, не подчинившимся приказу сложить оружие и сдаться в плен. В этой ударной группировке насчитывалось 2000 солдат и офицеров. Посаженные на танки, бронетранспортеры, штурмовые орудия и автомашины фашисты пытались прорваться на соединение с северной группировкой. Однако успеха не имели и были разбиты. Нашим гвардейцам, стоявшим насмерть, этот разгром врага достался немалой кровью. Трудный был для дивизии бой. А тут еще вскоре произошла досадная неприятность. В штабе 1-го Белорусского фронта стало известно, что якобы через боевые порядки 3-й ударной армии из Берлина прорвались немцы. Маршал Г.К. Жуков приказал командующему 3-й ударной армией В.И. Кузнецову разобраться и доложить. Вскоре в дивизию прибыли два офицера из штаба армии и один из штаба фронта. Подозрение, что противник прорвался в полосу 52-й дивизии, отпало. Оказалось, что фашисты численностью до 17 тысяч с 80 танками и штурмовыми орудиями прорвались на участке 125-го стрелкового корпуса 47-й армии и устремились к Эльбе. Вскоре они были уничтожены в лесах северо-западнее Берлина.

Не сдавались и фашисты, засевшие в северной крепости парка Гумбольдт-Хайн. Они всячески пытались вырваться из «котла». Надо было найти вражеское командование и предложить ему прекратить бессмысленное сопротивление. На эту миссию добровольно вызвалась старший лейтенант Зинаида Петровна Степанова, работавшая в штабе дивизии разведчицей-переводчицей.

И вот на штабном вездеходе оперативная группа, в которую, кроме Степановой, входили подполковник П.И. По-

пов и радист Семен Федорович Калмыков, направилась к крепости парка Гумбольдт-Хайн, где располагался командный пункт врагов. К парламентарам вышли два генерала. Вначале они категорически отказались капитулировать. Но после убедительных аргументов, одним из которых был рев моторов наших самолетов над Берлином, генералы приняли наш ультиматум.

В штабе мне представились: начальник полиции Берлина генерал-майор СС фон Хайнберг; президент полиции Берлина генерал СС Герум; командир десантной дивизии, кавалер железного креста с бриллиантами полковник Гарри Герман; командующий артиллерией этой дивизии, командующий запасными войсками Германии... Передо мной сидели с грубыми, будто вырубленными из твердого дерева лицами, типичные представители прусской военной касты, думающие медленно, но, я бы сказал, обстоятельно, пытающиеся представить себя невиновными – просто они «выполняли волю других».

...Адъютант, старший лейтенант А.М. Трехалов докладывал: «Товарищ генерал, шестая тысяча складывает оружие». Так закончилась для 52-й гвардейской дивизии война. К 15 часам 2 мая 1945 года сопротивление Берлинского гарнизона прекратилось, к исходу дня город был занят советскими войсками.

Вереницы пленных во главе с когда-то чванливыми офицерами и генералами брели по улицам столицы. За 2 мая советскими войсками в Берлине было взято в плен 135000 человек. А всего с 16 апреля по 7 мая, то есть в Берлинской операции, советскими войсками взято в плен 480 тысяч солдат и офицеров противника, захвачено 1500 танков, 8600 орудий, 4500 самолетов.

Замечательный вклад в разгром врага внесла и 52-я гвардейская дивизия. В боях за город в период с 22 апреля по 2 мая 1945 года, преодолевая сильное сопротивление врага, дивизия прошла по Берлину свыше 20 километров, заняла более 120 кварталов и 3 мая вышла на правый берег реки Шпрее.

В результате наступательных боев дивизии с приданными средствами усиления с 16 апреля по 3 мая 1945 года было убито и ранено 3186 и пленено 7260 фашистских

солдат и офицеров, в том числе 2 генерала и 4 полковника. Уничтожено и захвачено большое количество боевой техники и военного снаряжения. За это же время дивизия потеряла убитыми 439, ранеными 1761 солдата и офицера.

Верховный Главнокомандующий в приказе от 2 мая 1945 года войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, завершившим разгром Берлинской группы войск, объявил благодарность. Частям и соединениям, наиболее отличившимся в боях за овладение Берлином, в их числе и 52-й гвардейской дивизии, было присвоено наименование «Берлинской». Дивизия была награждена третьим орденом – Кутузова II степени.

Ради торжества Победы люди шли в огонь, бросались в атаку и храбро умирали, завещая радость Победы тем, кто остался в живых. Алое знамя над рейхстагом было окрашено кровью героев, всех, кто пал, защищая Москву и Сталинград, кто сражался на Курской и Белгородской земле, кто штурмовал Берлин, кто остался в братских могилах на всем пути войны.

Как ни страшно на войне, но все же временами человек озабочен не опасностью смерти. Он смиряется с ней. Но, живя, он ищет бессмертные дела, которому служит. Нельзя, чтобы люди забыли, какой ценой достигалась наша Победа.

Победа! Как ждали этого момента солдаты и командиры, весь советский народ! И они пришли к этому победному часу, отстояв свободу и счастье своей Родины, освободив народы Европы от коричневой чумы фашизма.

...Закончена война. Берлинская тишина нас как-то оглушила – настолько непривычной она показалась! Трудно передать то душевное состояние, в каком находился советский воин-победитель. Гордость, торжество и ликование переполняли сердце каждого. То тут, то там раздавались оружейные залпы – каждый полк, каждое подразделение салютовали в честь одержанной Победы.

Узкими улицами, маневрируя среди развалин, битого кирпича, начальник политотдела В. Е. Горюнов, начальник штаба дивизии полковник Я.Д. Емельянов и я на автомашинах едем к центру города, в район бывших правительственных учреждений фашистской Германии. И вот мы у

здания Имперской канцелярии. Здесь уже полно наших солдат и офицеров.

Через проем двери входим в здание, занимавшее целый квартал. Ходим час, другой – ни одной уцелевшей комнаты. Толстые стены пробиты снарядами тяжелых пушек, в железобетонных перекрытиях зияют огромные дыры.

– Где же последнее время жил Гитлер? – спрашивают солдаты друг друга.

Знающие отвечают:

– Здесь же, но под землей.

Выходим на площадь и попадаем в Имперскую канцелярию с боковой стороны. Еще раз огибаем здание и попадаем в другой отсек подземелья из нескольких этажей. Нам говорят, что последние несколько дней здесь жили Гитлер, Геббельс, Риббентроп.

В тот же день мы побывали в рейхстаге, разрушенном не меньше, чем рейхсканцелярия. Все уцелевшие части стен уже были испещрены надписями наших воинов.

...Как-то звонит мне командир 12-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор А.А. Филатов:

– Товарищ Козин! Торжество Победы старший офицерский состав корпуса решил отметить в вашей дивизии как в первой, вошедшей в Берлин.

– Возражений нет, товарищ генерал-майор.

На это торжество прибыли командир 23-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор П.М. Шафоренко, командир 33-й стрелковой дивизии генерал-майор В.И. Смирнов, их заместители и другие старшие офицеры.

После второго тоста адъютант старший лейтенант А.М. Трехалов вручает генерал-майору А.А. Филатову телеграмму. Тот прочитал, встал:

– Товарищи офицеры! Эта телеграмма от командующего нашей 3-й ударной армии генерал-полковника В.И. Кузнецова. В ней говорится: «Командир .52-й гвардейской стрелковой дивизии Нестор Дмитриевич Козин с группой своих гвардейцев направляется в Москву на Парад Победы».

Читатель легко поймет мое состояние, мои чувства, которые я испытывал после сообщения, – быть участником Парада Победы в Москве на Красной площади!

От каждого фронта и флота на Парад посылались по одному сводному полку, в который включались герои из героев.

По одному полку от фронта! Это совсем не много. Ведь героев, бесстрашных и смелых воинов, были тысячи, десятки тысяч. И тем выше была честь стать участником этого исторического торжества.

И вот 24 июня 1945 года. Столица нашей Родины Москва встречала и чествовала своих воинов-победителей, воинов-освободителей.

Утро выдалось по-осеннему хмурым, небо заволочло низкими свинцовыми тучами, накрапывал мелкий дождь. Но даже такая погода не могла испортить нам парадного настроения.

К 8 часам утра улицы Москвы были запружены ликующим народом. Квадратами на гранитной брусчатке Красной площади в строгом порядке разместились сводные полки фронтов и Военно-Морского Флота. Они выстроились в той последовательности, как располагались фронты в ходе войны с севера на юг. Над головами воинов алым морем плескались боевые знамена.

9 часов 59 минут. Взоры каждого участника Парада устремлены на ворота Спасской башни. Кремлевские куранты бьют девять, а на десятом ударе из Кремлевских ворот на белом коне верхом выезжает принимающий Парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, его встречает командующий Парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.

Аплодисменты москвичей и гостей переходят в долго не смолкающие овации. Особенно они возросли, когда Г.К. Жуков произнес:

– Поздравляю вас с победой советского народа и его Вооруженных Сил над немецко-фашистской Германией!!!

По всей Красной площади прокатывается многократное победоносное солдатское «Ура!».

Память о Параде Победы, о встрече с боевыми друзьями, руководителями ленинской партии и правительства никогда не умрет!

Почти сорок лет прошло со времени победоносного завершения Великой Отечественной войны. 40 лет – срок

немалый. Люди, родившиеся уже после того, видевшие войну лишь в кино и читавшие о ней в книгах, сейчас – передовики производства, большие специалисты, отцы и матери семейств.

Для нас, ветеранов, четыре года войны – это не глава в учебнике истории, это годы наивысшего напряжения и большого подъема всех сил – физических и душевных.

В сражениях 1941-1945 годов решалась судьба не только нашей социалистической Родины. Нет, на полях сражений решалось, по существу, будущее всей планеты.

Каких прекрасных людей, защитников Родины воспитала Коммунистическая партия, каких командиров она подготовила для Советской Армии.

– Удивителен ваш русский народ, – говорили офицеры союзных войск. – С каким энтузиазмом советские военные власти взялись за восстановление порядка на немецкой земле!

– Почему вы, – удивлялись они, – торопитесь отплатить добром за все то, что причинили вашей стране немцы?

Этим иностранцам, которые смотрят на все явления жизни с точки зрения законов капитализма, многое было непонятно из того, что делалось вокруг. Не понимали этого и многие немцы.

Настал долгожданный день отправки солдат на Родину, этот незабываемый день расставания с людьми, прошедшими от Москвы до Сталинграда, от Сталинграда до Берлина в жесточайших боях.

Как сейчас помню стоявших в последний раз в строю гвардейцев. На груди каждого сияли награды Родины. Внимательно всматриваясь, на их лицах можно было прочесть все: и гордость за великую Победу, и радость, что остался в живых, и печаль о тех, кто остался лежать вечно на Смоленском, Московском, Сталинградском, Висло-Одерском, Берлинском рубежах.

Разгром фашистской Германии, а затем и милитаристской Японии продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Вооруженных Сил страны социализма.

Великим вождем и полководцем советского народа в войне была Коммунистическая партия. Весь свой организаторский гений и духовные силы социализма партия направи-

ла к единой цели – разгрому фашизма. Не только во имя Советского Союза, но и народов Европы.

Война заставила меня понять то, чего не понимал я до 1941 года. Никогда ни во что я так не верил, как стал верить в человека. Я понял, что нет на свете никого, сильнее советского человека – носителя, защитника бессмертных великих идей В.И. Ленина.

Считаю себя счастливым тем, что с высоты прожитых лет понял, ради чего стоит жить человеку. Я начал уже девятый десяток лет, но мне никогда не хотелось так жить, как хочется теперь.

Как и все советские люди, хочу видеть торжество правды над ложью, добра над насилием, торжество Красного знамени, водруженного в 1945-м над рейхстагом как символ вечного мира.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГУСЕВ

Родился 30 августа 1921 года в городе Омске. В 1941 году окончил Томскую зубо-врачебную школу.

С июля 1941 года по апрель 1945 года участвовал в боях против фашистских захватчиков и японских милитаристов; награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и одиннадцатью медалями.

На фронте стихи А.В. Гусева печатались в армейских газетах: «Красное знамя», «Врага на штык», «Сын Родины». В 1955 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького. С 1986 года жил в городе Барнауле. Всего вышло в свет 15 книг стихов и прозы А.В. Гусева, они изданы в Томском, Омском, Новосибирском, Алтайском книжных издательствах. Поэтические и прозаические произведения также печатались в журналах «Алтай», «Барнаул».

В 2004 году за книгу стихов «Откровенность» писателю присуждена алтайская краевая литературная премия им. Виталия Бианки.

Член Союза писателей России с 2001 года.

ОКРУЖЕНЦЫ

Повесть

1

Нас смяли. Последнее, что я помню, так это высоко-го солдата. У него вместо правой кисти из растрепанного, окровавленного рукава шинели торчали две белых, блестящих кости. Я бинтовал ему культю, а он все твердил: «Гранату не успел бросить». Будто его граната могла что-то изменить в этом бою. Вдруг солдат смолк, лицо его сделалось белым, он стал опускаться на дно окопа.

Я старался удержать его, прижимал к стене, но он все оседал. «Очнитесь!» – крикнул я. «Душно», – прошептал он и повалился набок. Я сломал ампулу с нашатырем, сунул ему под нос смоченный кусок ваты. Он вздрогнул, открыл глаза, стал подниматься. «Санитар, помощи! Кровь хлещет!» – закричал кто-то за изгибом траншеи. Я бросился туда. Близко упал снаряд, окатил меня землей. Еще ближе разорвался другой, а потом еще и еще...

В голове дико зазвенело, она наполнилась чем-то тяжелым, я не мог удержать ее, она клонилась к груди. В глазах потемнело, что-то ударило в спину и стало прижимать к стенке окопа. Я потерял сознание...

Очнулся от холода. Пахнет сырой землей. Темнота с серебристыми точками стоит перед глазами. «Это ж небо! – догадываюсь я. – Значит, ночь!» Так долго пролежал без сознания!.. Пробую пошевелить ногами, – двигаются. Я обрадовался, шевельнул руками, с них посыпалась земля. Чем-то сдавило грудь. Попытался повернуться на бок – тяжесть скатилась с меня. Это был большой кусок земли, отвалившийся от края окопа. Дышать стало свободнее. Надо встать, но я продолжаю лежать, прислушиваясь к своему телу – нет ли где раны?

Это контузия. Она не скоро проходит. Немцы приняли меня за убитого, но и свои оставили. А может, и подбирать было некому...

Сейчас как-то надо выбраться из траншеи. Пытаюсь подняться, шупаю холодную стенку: ухватиться бы за что-то! Удалось встать на колени, но боль, как удар, пронзила голову. Звезды на небе тронулись влево... Лег, стараясь притупить боль в голове. Опять пытаюсь подняться – снова боль. Немного помедлив, пополз...

Выбрался из траншеи на холодную росистую траву. Лежу. Слышатся далекие выстрелы, они становятся все реже и глуше. Бой или затихает, или уходит дальше от меня – понять трудно. Я напрягаю слух, но чем больше напрягаю, тем реже улавливаю выстрелы. А может, их совсем нет, и это только слуховая галлюцинация?

Я испугался. Понял, что оказался в тылу немецкой армии, с наступлением рассвета меня схватят, а там уж, как придется: или в лагерь погонят, или расстреляют. Но ведь расстреливать меня не за что! Я фельдшер. У меня даже нет оружия. Тот пистолет, который мне выдали, я отдал комбату.

«Ты что, воевать не умеешь?» – усмехнулся он. «Мое оружие – в санитарной сумке! – ответил я бодро. – А вам пистолет не лишним будет». «Ну, как знаешь», – он сунул мой пистолет за борт шинели...

Что же я лежу?! Надо идти! Поднялся, сделал несколько шагов и запнулся о винтовку. Она с раскрытым затвором. Думаю: брать или нет? Теперь бинтовать некого, а винтовка может для защиты пригодиться. Поднял. Задвинул затвор, нажал на спусковой крючок – резко щелкнула пружина. Ищу патроны. Валяются пустые гильзы.

Немного прошел – и наткнулся на убитого солдата. Не знакомый ли? Повернул его на спину. Вместо лица – темный провал. Нащупал подсумок с патронами. Надо его как-то снять. Ищу пряжку, чувствую холодное тело. А вот и пряжка, она почти на спине. Расстегнул, вытащил из-под убитого ремень вместе с подсумком. Бросил свой ремень, опоясался чужим, но стало неприятно: вспомнил, что солдаты никогда ничего не брали с убитых –

плохая примета. «Да ничего, сойдет», – успокоил себя и пошел.

Пройдя немного, остановился. В какую сторону идти? Кругом темень, только несколько звезд на небе... Знающий звезды мог бы по ним определить стороны света. А для меня они – лишь мерцающие точки.

Иду с надеждой набрести на какую-нибудь деревню и расспросить о дороге. Попадают места, взрытые бомбами. Стараюсь обойти их. Все-таки угадал в воронку, упал на самое дно – надо как-то вылезти. Земля осыпается под ногами, не за что уцепиться; какая-то ветка чуть не выколола мне глаз... Схватился за нее – оказалась крепкой. Выбрался из воронки, отдышался. Опять иду. Глаза привыкают к темноте, лучше различаю ямы.

Плохо шагают ноги. Видимо, сильно меня контузило. Уверяю себя: это пройдет, хорошо, что не ранило, а то как бы в этой темноте и остался... Выберусь! Начинаю идти быстрее. Опять запнулся за какой-то бугорок, винтовка соскользнула с плеча – тяжелая, бросить бы ее, ведь за мной не числится? Но вдруг пригодится? Поправляю на плече винтовочный ремень...

Неожиданно из-за густого облака выкатилась луна, осветила местность. Обрадовался. Идти стало легче. Вижу дорогу возле темной полосы леса.

Наверное, около часа иду по дороге. Вот далеко впереди появился огонек. Не деревня ли? Не спускаю глаз с огонька. Замечаю, что огонь движется мне навстречу. Догадался: идет машина. Но чья она?! Сошел с дороги, лег в траву.

Растет тревога: что-то должно случиться. Меня колотит дрожь.

Машина все ближе. Теперь на меня смотрят два продолговатых огонька – затемненные фары. Все ярче падает на меня из прорезей свет, еще мгновение – и я вскочу на ноги, боясь пропустить ее. Приподнимаюсь, но что-то удерживает меня. Опять припадаю к земле.

Машина совсем близко. Вижу продолговатый кузов, в нем сидят солдаты в касках Это ж немцы!.. Я ткнулся лицом в землю. Показалось, почти у самой головы пронеслась

машина, обдав меня пылью. Прислушиваюсь: нет ли еще? Луна скрылась, стало темнее, безопаснее.

Что ж это я лежу? Надо идти. Как-то медленно соображаю, мешает непрерывный шум в голове – когда он кончится? Делаю усилие, встаю. Хочу быстрее шагать, но не получается. «Ничего, разойдусь!» – подбадриваю себя.

На дороге опять огни, их много – идет колонна машин. Собрав все силы, бегу в сторону от дороги. Стараюсь спрятаться в кустах, они редкие, но темно, отсижусь. Машины метрах в ста от меня. Я считаю их, а зачем – не знаю. Может, так легче переждать. Промелькнуло десять кузовов, набитых пехотой. Надо уходить с дороги.

Иду к лесу, запинаясь за бугорки – так и на мину можно угадать, их тут немало понасажено в земле. Наткнулся на кусты с колючими ветками, догадался – шиповник. Прогораюсь сквозь него, по лицу бегут капли пота, винтовка давит плечо, санитарная сумка колотит в бок. Чувствую, что совсем обессилел, надо где-то отдохнуть. Скорей бы дойти до деревни! Но как к ней идти – налево, направо или прямо?

Пошел кромкой леса. Луна словно дразнит: то покажется, то скроется. Когда светит, легче идти, но тревожнее; озираюсь, приглядываюсь. Трава – мокрая от росы, сапоги разбухли, скользят. Меня подташнивает, кружится голова, в желудке начинает жечь: я не ел больше двух суток. Вчера утром выпил только полкотелка чаю – знал, что наш батальон вот-вот вступит в бой. А из лекций по хирургии помнил, что при ранении в живот больше шансов на жизнь остается у того, кто с пустым кишечником. Вот из-за этого я не стал есть ту гречневую кашу, которую нам принесли в термосах. Она была с тушенкой, приятно пахла, но я отвернулся, чтобы не соблазниться. А пожилой догадливый солдат сказал: «Ешь, фельдшер, кроме живота есть места, куда пуле или осколку угодить». Я видел, как он проворно орудовал ложкой, слегка причмокивая. Теперь сожалею, что только чаем наполнил свой желудок. Не так бы он меня сейчас донимал. Хорошо, что еще догадался фляжку чаем наполнить, хоть жажда не будет мучить. Останавливаюсь, прикладываюсь к фляжке – чай приятный, и в желудке перестает жечь. Надолго ли?

Упорно иду. Луна показала мне несколько домов – и скрылась. Впереди деревня. Но нет ли в ней фашистов? Пошел осторожнее. Прислушиваюсь – ни звука. Неужели все жители ушли?

Снял винтовку с плеча, подхожу к ближнему дому. И вдруг раздался хриплый крик петуха. Он прокричал два раза, ему никто не ответил. Петух живой, значит – немцев нет! Они ведь курятину любят. Смело иду. Но у самого дома меня снова охватывает страх. Я вижу около пустой собачьей будки цепь с перерезанным ошейником. Куда девалась собака? Не пристрелили ли ее немцы?

Не решаюсь постучать в дверь, но и уйти ни с чем не могу. Держу винтовку наготове, припадаю ухом к двери. Ничего не слышно. Подождав немного, тихонько постучал. Сразу послышались шаги. Колотнулось сердце, направил винтовку в дверь. Звякнул крючок, дверь приоткрылась. Тревожный женский голос:

– Петя, ты?

– Разрешите войти? – я ухватился за фая двери, боясь, что ее захлопнут.

– Думала, муж, – растерянно прошептала женщина и попятилась.

– Мне бы хлеба немного. Окруженец я.

– Проходите.

Я шагнул в темные сени, женщина закинула крючок на дверь. В комнате заплакал ребенок, она кинулась к нему, долго в темноте что-то искала. Ребенок умолк, зачмокал.

– Вот привык к соске. Как потеряет, так и просыпается. Прямо замучилась, – она подошла к шкафу, достала полбулки хлеба, завернула в тряпку, подала мне. Вывалила из чугуночки картошку на стол. – Кладите в карманы. Утром бы сварила суп, но оставаться тут нельзя. Немцы с того конца деревни в домах живут. Патрули ходят. А вы вон еще с винтовкой. Вчера двух наших повесили, на груди табличка «Партизаны». Теперь для них все партизаны. Душегубы!

– А я думал, раз петух поет – немцев нет.

– Да это ж заманка. Петух поет, а вы, окруженцы, сами к ним в руки лезете. Они уже амбар вот такими, как вы, набили. Завтра куда-то погонят. Не деревня, а капкан.

– Муж ваш где?

– Вечером немцы вызвали. Полицаем ставят. Он откачивается. Вот и держат. Хромой он, из-за этого и в армии не служил. А теперь как в петлю попал, на притужальник взяли. Уходите быстрее, а то вдруг патрули. Тогда и вас, и меня расстреляют. Разбираться не будут...

Я положил за пазуху картошку – она еще теплая, радует, успокаивает. Поблагодарил женщину. Закрывая за мной дверь, она облегченно вздохнула: с богом! Понял, что я не просто «окруженец», а человек, несущий в дом несчастье. Вот ведь в каком положении оказался!

Пригибаясь к земле, тороплюсь к лесу. Хочется добежать, пока не показалась Луна – ведь где-то стоят немецкие часовые. Бегу и все жду выстрела.

Запыхался, нет сил. Остановился, передохнул и пошел тихо.

Вхожу в лес. Деревья голые и редкие. С наступлением дня в таком лесу не спрячешься. Углубляюсь в надежде, что будет погуще. Среди берез и осин стали попадаться сосны. Постепенно лес густеет. Зашел в темный угол, где среди деревьев есть частый кустарник. Решил поесть, чувствуя, что картошка остыла, перестала греть.

Снял с плеча винтовку, санитарную сумку, сел на трухлявый пенек, достал из-за пазухи картошку. Думаю – чистить или нет? Откусил с шершавой кожурой – неприятно глотать, стал чистить. Понемногу откусываю, чувствую успокоение в желудке, а с этим успокоением приходит и общее спокойствие. Как быстро голод делает человека беспомощным, подчиняет себе мышление, действия, оставляет одно желание – есть! Выпросил хлеба, картошки – и не стыдно. Желудок здесь, в лесу, сравнял меня с зайцем, с бурундуком. Вот ведь как!

Отчего-то хрустнула ветка. Я вздрогнул, вскочил, картофелина выпала из-за пазухи. Постояв немного, нашарил картофелину в траве, обрадовался, сдунул землю, проглотил и пожалел, что сделал это быстро – надо было подольше жевать. Съел всю картошку, открыл фляжку, сделал не-

сколько глотков, почувствовал, что наелся. Снова пошел. Думаю: не должны же наши части далеко отойти, день-два – и я дойду до них.

Иду лесом, но придерживаюсь дороги, чтобы не потерять направление.

С рассветом на дороге появилось около двухсот солдат на велосипедах. Едут строем, соблюдая небольшую дистанцию – так называемая велопехота. Солдаты едут свободно, переговариваются, курят, смеются, ведут себя, как на прогулке.

Около развилки вижу высокий строганный столб, к нему прибита доска, выкрашенная в черный цвет, формой напоминающая стрелу. Наверное, на ней что-то написано? Иногда на таких указках – названия нескольких деревень, которые расположены по дороге. Постояв немного в нерешимости, стал подходить к столбу, боясь, что в любую минуту на дороге могут появиться гитлеровцы, и я не успею отбежать к лесу.

Убыстряю шаги, перехожу маленькую ложбинку. Вот совсем близко столб. Подбегаю к нему. Белой краской на черной стреле с нажимом написано: «Нах Москау». Они уже уверены, что зайдут в Москву! Я не бывал в Москве, я ее видел только в кино. Выходит, наши части далеко отступили, если уже обозначена дорога на Москву. Но если фашисты так будут давить, как давили на наш батальон, то трудно предположить, что будет через несколько дней.

Наш батальон подбил десять танков, но не остановил их – они раздавили нас. Уцелел ли кто, кроме меня? Ведь я не высывался из окопа, я перевязывал раненых. И только под конец, когда все смешалось, я выхватил из рук убитого винтовку и начал стрелять в зеленоватую фигурку, которая бежала с автоматом к нашей траншее. Не знаю, попал ли я в нее, но она исчезла за бугром и больше не появлялась. Совсем близко кричал раненый, я метнулся к нему. На этом мой военный подвиг и окончился...

Я беру винтовку за ствол, пытаюсь прикладом сбить стрелу, но ничего не получается. Она прибита высоко и большими гвоздями. Боюсь расколоть приклад, толкаю столб плечом, но он стоит, словно каменный. Эта злове-

щая надпись будет взбадривать немецких солдат, приучит к мысли о захвате Москвы!

Стою, опутив винтовку, чувствую свое бессилие против глубоко вкопанного столба.

Вдали поднялась густая полоса пыли, я отбежал от дороги в кусты. Танки. Передние уже хорошо вижу, они идут не быстро, словно принохиваясь к земле, а задние, окутанные пылью, кажется, двигаются сплошной черной стеной.

Надо дальше уходить от дороги. Больше не сворачиваю к ней. Но ведь начну плутать и еще глубже зайду в тыл к немцам. Была бы карта! Я видел, какие точные карты у немцев. На них даже отдельные березки и колодцы показаны. Такая карта была у нашего комбата, он ее взял у убитого офицера. Как они так точно смогли нанести на карту нашу местность? Надо попытаться достать такую карту у связных-мотоциклистов.

Танки прошли. Я подошел поближе к дороге, лег в ложбинку, прикрылся травой, ветками, стал ждать: может, появится связной?

Дорога некоторое время пуста. Но вот опять, чуть не у кромки горизонта, поднимается пыль. Слышу шум машин, плотнее прижимаюсь к земле, сдерживаю дыхание, ловлю каждый звук.

Мысль о карте не покидает меня. Не могу уйти от дороги, рискую, но продолжаю лежать.

Наверное, прошло около двух часов. Я продрог, устал ждать. Сомневаюсь: правильно ли поступаю?

Поднялся и увидел далекую тонкую струйку пыли над дорогой. Она приближалась ко мне. «Едет!» – все во мне дрогнуло. Упал на землю, прижался к прикладу винтовки. Все зависит от меня! Ловлю в прорези прицела мушку, она дрожит. Разве так попадешь! Надо успокоиться, а как? Сильнее прижимаю к плечу приклад, мушка становится неподвижной. «Так, – успокаиваю я себя, – если пропущу, значит, все кончено...» Наклоняю траву, которая лезет в прорезь прицела. Опять ствол винтовки вздрагивает. Черная точка летит на меня, слышу, как работает мотор.

Сухая травинка закрыла мушку, упущено мгновение. Мотоцикл промелькнул. Вскакиваю, стреляю, спина мотоциклиста удаляется от меня. Промахнулся!

Бегу к лесу, задыхаюсь, перед глазами темные круги. Наконец, совсем выдохся, упал духом: опять идти вслепую!

Меня охватывает безразличие. Ложусь, стараюсь успокоиться, забыться, выключаю мысли. И это мне удастся, я даже вижу сон: перехожу быструю речку, вода сверкает, хлещет о мои ноги прозрачными струями, а я все иду, вода бьет мне в грудь, я вздрагиваю – и просыпаюсь.

Надо мной голые ветки берез гнутся от ветра. Значительно похолодало. Иду быстро, стараюсь согреться.

Подошел к деревне, стал за тополь, вижу: пожилая женщина подошла к колодцу, вытщила воротом бадью, вылила воду в ведро и понесла в дом. По ее спокойным движениям понял, что немцев в доме нет. Она скрылась за дверь. Я миг оказался на крыльце, немного подождал, открыл дверь.

За столом сидят две женщины. Они уставились на меня удивленными глазами.

– Покормите...

– Проходи, родной, садись, – засуетилась пожилая женщина, – как раз к обеду. Обед у нас отменный – курятина! Сварили последнюю.. Мы не съедим – фашисты сожрут. Чистят они нас каждый день, как коршуны налетают. Придави их нечистая! Наши-то где?!.. Дезертир ты, что ли? Домой, поди, идешь, отдыхать? Навоевался, значит. Нас, баб, в полон сдали...

Такого оборота я не ожидал. Сначала была приветливой, а вот пришибла. Смотрит на меня гневными глазами, будто один я во всем виноват.

– Наш батальон погиб, – чуть не шепотом сказал я.

– А другие-то что?!.. Почему бегут?!.. – сверкнула она черными глазами и плеснула мне в тарелку супа. Гляжу на плавающие полоски жира, ложка дрожит в моей руке, запах одурманивает.

Женщина, что помоложе, спросила:

– Куда теперь пойдешь, солдат?

– К своим буду добираться.

– Одни слова... Побродишь, да и сдашься. Вчера тут вас таких человек сто, как баранов на убой, гнали. Как палками, в спину автоматами толкали. Один тащился, тащился,

да и лег. Прямо в голову выстрелили, покончили, как с бешеной собакой.

«Что она говорит?! Неужели не понимает, что это оскорбительно? Добивает, что ли, она меня? Как ей доказать, что бои тяжелые, что нас давят гусеницами?..»

А женщина продолжает:

– Хотела хлеба им вынести, да раздумала. Свой не защитили – пусть немецкий жрут. Нас, баб, на распятие оставили. Позорники!..

«Может, и правда, нет нам оправдания? Но я не виноват. Я честно исполнял свой фельдшерский долг и случайно остался живым...»

– Ты ешь, – продолжала женщина, видя, что ложка замерла в моей руке, – на тебя хоть надежда какая-то есть. А фашист придет, съест, да еще и задавит, – она подлила мне супу и положила еще кусок хлеба. – Мясо с собой возьмешь, и хлеба дадим. Молоденький ведь еще. Вон и борода у тебя в три волоска. У матери-то, поди, сердце болит. Оно ведь чувствует, ой, как чувствует. Винтовку не бросай. Может, нас не забудешь. Как вы с нами поступили! – она вдруг заплакала.

«Беззащитные женщины, они боятся фашистов, они ненавидят и нас, отступающих. Они же не видели, как на нас – живых – напоззали хлещущие огнем немецкие танки, как с зажигательной бутылкой идет солдат на эти стальные чудовища. Посмотреть бы им на наши окопы, где лежат вдавленные в землю солдаты».

Встав из-за стола, я увидел свое лицо в простеночном зеркале: лоб поцарапан, синяк во всю правую щеку, реденькие рыженькие волосики на подбородке. Весь грязный, я, наверное, вызывал отвращение у этих женщин.

Мне завернули в тряпку часть курицы, отрезали полбулки хлеба.

– Не знаю, как вас благодарить, – растерянно прошептал я.

– Ешь на здоровье, – сухо ответила женщина и, помолчав, добавила: – Не сдавайся. Иди к своим. Худо нам без вас, – она сняла висевшую на гвозде старую телогрейку и сунула мне в руки. – Одень под шинель, ночи уже холодные.

Я исполнил ее совет.

– Господи, неужели мой тоже вот так где-то мыкается?! Сейчас иди до деревни Вихровка, она в ложбине стоит. В нее не заходи – там немцы. Ты сверни вправо, будет болото, оно неглубокое. Его перейдешь, снова деревня будет – Зябкино. Может, там нет фашистов. Зайдешь в нее и дальше дорогу расспросишь.

Пожилая женщина проводила до огорода, остановилась, пристально поглядела на меня и перекрестила.

– Не гневайся на нас. Мы-то, вишь, как остались... Терзать нас тут будут... – она быстро пошла в дом, словно боялась, что ее кто-то увидит.

Иду быстро, стараюсь не выходить на открытые места. Держусь кустов. Наткнулся на ручей с вязкими берегами, разулся, перешел его и снова, не сбавляя шага, двинулся...

Вижу деревню, про которую говорила женщина, обхожу ее, как капкан. Перешел болото. Только углубился в лес – слышу чьи-то шаги. Насторожился, снял винтовку с плеча. Шаги затихли. Уж не показалось ли мне? Стою, прислушиваюсь. Опять хрустит листва. Кто-то идет прямо на меня. Но вот шаги затихли. Видимо, кто-то остановился и тоже прислушивается. Держу палец на спусковом крючке. Прошел немного вперед вижу: между деревьями идет девушка в шинели, края пилотки отогнуты, она глубоко надвинута набок, прикрывает уши. Я закинул винтовку на плечо и, может, даже улыбнулся, потому что девушка уверенно идет ко мне. Остановилась шагах в десяти.

– Здравствуйте. Я медсестра.

– Ну, а я фельдшер. Из какой части?

– Из стрелкового батальона.

– Сбежала, что ли?

– Тебе б так сбежать. Батальон с землей смешали. Три дня уже по лесу иду.

– А знаешь, куда идти?

– Вон туда, – она махнула рукой вперед.

– А почему туда?

– В ту сторону немецкие самолеты летят с бомбами, значит, наши там.

– Пожалуй, верно.

– Позавчера ночью слышала стрельбу совсем близко. Побежала, думала, что уже передовая. И вдруг все стихло. Наверное, окруженная часть отстреливалась. Вот бы хоть к ней пристать.

– Ну что, вместе пойдем?

– Пойдем.

– Думаю, побродим, поголодаем, а там и в плен сдадимся.

Насчет плена я загнул с хитринкой, чтобы узнать ее мысли. Она настороженно посмотрела на меня, поджав нижнюю губу.

– Лучше вот тут, на березе повешусь. Меньше будет мук, – она коснулась пряжки своего ремня. Я понял, что неуместно сболтнул про плен. «Что же теперь она обо мне подумает?..» Чтобы как-то загладить сказанное, спросил.

– Есть хочешь?

– Да. Была банка консервов, позавчера съела. В деревню хотела зайти, хоть что-то попросить. Но увидела, что там стоят немецкие машины, и свернула в сторону. Из ключа воды попила, желудок еще сильнее заболел.

– У меня есть хлеб и кусок курицы. Отойдем поглубже в лес и поедим.

– Вот спасибо! – обрадовалась она. – Ночью в деревню зайдем, картошки выпрошу. Только бы немцев не было.

Идем рядом. Она почти на голову ниже меня. Черты лица мелкие, красивые. Чем чаще взглядываю на нее, тем она становится обаятельнее. Вот ведь и в таких условиях красота не теряется! Я ее сразу заметил. Из-под пилотки узлом торчит коса, в ней застряли засохшие травинки. Хочется их убрать, но сдерживаюсь. Вдруг ей покажется, что я уже начинаю ухаживать, что вот уже заметил ее косу. Иду и все вижу эти прилепившиеся травинки. Мне радостно, что я не один, исчезла напряженность одиночества.

Девушка старается не отстать от меня. Слышу, как хлябают ее кирзовые сапоги, как ударяются о них полы шинели. Она запнулась, упала и засмеялась поддельным смехом. Помогаю ей подняться, отряхиваю шинель. Прошли немного, и она опять упала. Закрыла лицо руками, плачет. Сажусь возле нее, пусть успокоится. Отнимает руки от заплаканного лица, умоляюще смотрит на меня:

– Не бросай меня. Я очень устала. Отдохну и быстрее пойду.

Я развернул хлеб и частичку курицы:

– Ешь, силы прибавится.

Она села, подобрав под себя шинель. Я пододвинул к ней еду. Дотронулась до хлеба тоненькими пальчиками, отломил кусочек и долго держит во рту, словно боясь проглотить.

– Так нам на неделю этого куса хватит. Можно и в деревню не заходить, – попробовал я пошутить. Она улыбнулась.

– А сам что не ешь?

– Я сегодня уже ел. Боюсь пополнеть.

Она опять улыбнулась. Улыбка тихая, задумчивая. Отломив несколько кусочков хлеба, она завернула оставшийся в тряпку и подала мне.

– Хватит.

– А курицу?

– Ну, разве немножко.

– Ешь все, а то попортится. А нам травиться нельзя. Тебя как зовут?

– Клава.

– А меня Лешкой. Мы с тобой, наверное, одногодки. Мне восемнадцать с кисточкой. А тебе?

– Скоро семнадцать будет.

– Что, завтра, да?

– Нет. Восьмого декабря.

– А почему тебя в армию взяли?

– У меня в метриках год прибавлен. Они были потеряны, пошла на врачебную комиссию, а там так определили.

– Ну, ничего, на пенсию раньше пойдешь. С едой закругляйся. Вот из фляжки чайку глотни, и пойдём.

Долго шли лесом, вышли на опушку. Видим небольшое поле с неубранным хлебом. Совсем близко деревня. Стали за две старых березы. Шагах в сорока от нас гнутся тяжелые темно-желтые колосья, слышится легкое потрескивание – это осыпается зерно. Не убран хлеб – значит, в деревне фашисты. Жители знают: если и уберешь, то все равно отберут. Так уж пусть он на корню осыплется. Нам надо перейти это поле, но выходить опасно.

– Смотри! – Клава указала на стоящий в деревне огромный тополь. Около вершины его что-то чернеет. – Знаешь, что это?

– Нет.

– Немецкий наблюдательный пост. Я уже такой видела в одной деревне. Там площадка из досок сделана, а на ней солдат с ручным пулеметом.

Решили дожидаться темноты, а потом уже переходить поле. Из этого ястребиного гнезда фашист далеко видит.

Подползли к ближним колосьям, стали шелушить их. Крупные зерна пшеницы, кажется, сами сыплются в ладони. Жуют их, чувствуем сытость, насыпаем карманы. До станем посуду и будем варить кашу.

– Надо больше набрать, – говорит Клава, – тогда и в деревни заходить не будем.

Она торопится, зерно шуршит в ее ладонях, уже наполнила им свои карманы.

Стемнело. Перешли поле, обошли деревню, добрались до какого-то леса, углубились в него. Тишина. Иногда под ногами с хрустом ломается сухая ветка. Этот хруст тревожит. Мы останавливаемся, прислушиваемся и снова идем.

Клава остановилась, прислонилась к сосне, выдохнула.

– Не могу больше. Кружится голова, ноги не шагают, я упаду.

Наломал веток, нагреб сухой листвы, чтоб не холодило от земли, и мы сели. Я задремал. Проснулся оттого, что почувствовал вздрагивающую спину Клавы.

– Ты что?..

– Я замерзла.

– Прижимайся ко мне, согреешься.

– Да я уже и так прижалась, но меня колотит.

Мне тепло, под шинелью – старая телогрейка. Спасибо женщине, что догадалась отдать ее мне. Клава дрожит, я не выдерживаю.

– Вставай!

– А что?!

– Ну, так же нельзя! Ты простынешь, – я снял шинель и отдал ей телогрейку. – Грейся!

– Спасибо, Леша. Только бы не заболеть, а то вот тут и останусь...

- Что ты тревожишься? На руки возьму.
- Разве унесешь?..
- Попытаюсь. Ты что, так и не спала?
- Нет. Я страшно мерзла.
- Давай устраивайся поудобнее и спи. Я уже выспался.

Клава согрелась и уснула. Я, посидев немного, встал, прошел в одну сторону, в другую... Лес угрюмый, большой, надежный. В такой немцы ночью не сунутся, можно спокойно спать. Я лег, положив сбоку винтовку, но сна нет.

Прислушиваясь к шелесту сухих листьев, стал думать: мы плуаем, а заблудившийся человек обычно ходит кругами, потому и не может выйти. Не верится, что наши войска так далеко отступили. Надо заходить в деревни и узнавать дорогу. А как заходить? Нарвешься на часового – и пропал... Достать бы Клаве гражданскую одежду. Ведь она, наверное, еще не знает, что Гитлер отдал приказ всех русских женщин в военной форме расстреливать на месте. Меня хоть в плен еще могут взять, какой-то шанс есть выжить.

Наклоняюсь над ее лицом: сон глубокий, дыхание едва уловимо, значит, ей тепло. От ее спокойного сна и мне спокойно, кажется, что я ее давно знаю, что в ней частица моей души. Не отрываюсь от ее лица, вижу очень близко чуть открытые губы. Хочется прижаться к ним. Что ж это я?!.. Ночь, лес, мы в тылу у немцев, а такое лезет в голову!..

Я отодвинулся от Клавы, стараюсь заснуть. Лежу неподвижно, но все думаю о ней. Сна нет, откуда-то потянуло сыростью – где-то близко озеро. Облака идут быстро, сквозь них угадывается Луна. Я плотно закрываю глаза, но чувствую на ресницах свет Луны. Она ведь не даст уснуть!.. Открываю глаза – весь лес залит густым серебристым светом. Лес уже наполовину потерял листву, теперь с каждым днем все быстрее будет обнажаться, и нам труднее станет прятаться.

Как же все-таки уснуть? Как выключить мысли?.. Но, кажется, уже ни о чем не думаю. В голове какая-то легкая пустота. А вот вижу: разорвался снаряд у блиндажа, взрывной волной сбило с солдата пилотку, а он невредим. У него огромные голубые глаза, лицо белое, как лист бумаги, даже исчезли губы. «Счастливым случай – не умереть!

Зачем мне это опять видится?» Проваливаюсь в мягкую сероватую тьму.

Проснулся от озноба. В лесу светло. Клава сидит возле меня. Лицо ее измятое, припухлое. Теперь она выглядит старше своих лет. А вчера показалась мне совсем девчонкой, особенно когда упала и заплакала. Мне стало жалко ее. С ней я чувствую уверенность в себе. Мы обязательно выйдем из окружения.

– Ну как, не мерзнешь?

– Спасибо, Леша. Я так хорошо спала.

– А в меня словно льду натолкали.

– Прости, возьми телогрейку.

– Не надо. Пойдем быстро, и я согреюсь.

– Нет, возьми! – она скинула шинель и подала мне телогрейку. – Будем греться попеременно, ладно?

Я надел телогрейку. Тепло сразу охватило меня. Оно было особенно нежным, казалось, сразу проникло в каждую клеточку тела, задержалось там, отозвалось радостью, хотелось как можно дольше удержать его в себе. Клава смотрит на меня, не понимая моего внутреннего волнения.

– Что с тобой? – настороженно спросила она.

– В телогрейке твое тепло. Оно такое радостное!

– Вот и грейся, – она тронула меня за руку. – Пойдем.

Это прикосновение было приятным, исчезла отчужденность.

– Ну, пошли же, – шепнула она радостными губами.

Надо обязательно выбраться до холодов. Выпадет снег, и нас, как зверей, выследят и поймают.

Идем быстро. Холодные ветки хлещут нас, будто подгоняя, иногда касаются лица. Листва шуршит, липнет к ногам, затрудняет движение. Перешли поляну с высокой сухой травой. Раньше бы ее кто-нибудь выкосил, а теперь никому не нужна – немцы забрали скот...

Полдень. Солнце немного обогрело лес, свистят бойко синицы, перелетают с куста на куст – это они чувствуют холод, летят к жилью, значит, скоро будет деревня. Натыкаемся на большую рябину, сплошь усыпанную ягодами. Клава с поспешностью жует и глотает их. Я остановил ее.

– Не надо так много есть. Заболеешь!

– Я чуточку.

Но я вижу, как горсть за горстью исчезает в ее рту. Схватил ее за руки. Она смотрит на меня умоляющими глазами, в них стоят слезы.

– Нельзя! Пойдем! – крикнул я. – У тебя в карманах зерно. Жуй его, и пройдет голод.

– Оно сухое, не жуеться.

– А ты не сразу горсть закладывай. Не понимаешь?.. Страшен не голод, а болезнь.

Я шел молча, злился. Клава почувствовала это.

– Не сердись. Больше не буду так делать. Забылась, прости...

Опять идем рядом.

3

Мы стоим у проселочной дороги, думаем: идти дорогой или углубиться в лес? В лесу идти наобум, а дорога приведет в деревню.

Решили дорогой. Видим свежие следы от колес. Насторожились. Немного прошли, слышим стук колеса о корень дерева. Бросились в сторону, спрятались в кусты. Клава лежит, уткнувшись в траву. Я стою на коленях, чтобы видеть дорогу.

Из-за поворота дороги показалась большая темно-рыжая лошадь. Блестит сытыми, круглыми боками, идет легко, словно не чувствуя телеги, на которой сидят три немца и курят. Сзади телеги на толстой веревке привязана черно-пестрая корова – она идет неохотно, упирается. Мальчишка лет двенадцати подгоняет ее прутом. Он босоногий, в распахнутой телогрейке. Лицо испуганное, грязное... Он все время подбегает к телеге, придерживая одной рукой спадающие штаны. Немцы смотрят на него и смеются. Я догадался: они обрезали ему все пуговицы (не только на телогрейке, но и на штанах), чтоб не убежал.

Вот они проехали мимо нас, скоро должны скрыться за поворотом дороги. Думаю, опасность миновала. Но не спускаю с них глаз. Вижу: мальчишка за что-то запнулся, выпустил из рук штаны. Солдаты захохотали. Мальчишка

бросил прут, вышагнул из штанов и пустился в кусты – прямо на нас. Я застыл от страха. Обнаружат!..

Они остановили лошадь. Самый молодой солдат соскочил с телеги, поднял брошенный прут, со свистом резанул им воздух, сначала пошел, а потом побежал за мальчишкой.

Мы отбежали, спрятались за две толстых сосны. Мальчишка пронесся мимо нас, сверкая наготой. Немец, покрасневшись, – за ним. Они скрылись за деревьями. Вскоре раздался крик: «Дяденька, не убивай!» Прижимаюсь к сосне, что-то невыразимое творится во мне, смешанное со страхом и гневом. Я дрожу. «Не убивайте, дяденька!» – звучит в ушах. Кажется, схожу с ума, во мне все превратилось в силу, подавляющую и страх, и осторожность. Брошаюсь на крик

Мальчишка катается по траве, закрыв лицо руками. Солдат пинает его, стараясь угадать в лицо, одновременно наносит удары прутом по голым местам. С кипевшей во мне силой я ударяю немца прикладом по каске. Она сверкнула искрой, он пошатнулся. Не помня себя, наношу удары, во мне сила сумасшедшего. Я бью лежащего немца. Клава схватила меня за руки.

– Пойдем! Нас сейчас поймают! – сквозь слезы говорит она.

Очень долго бежим. Я падаю, теряю сознание.

Очнулся от теплой руки Клавы. Она склонилась над моим лицом, гладит мои щеки. Чувствую прикосновение ее губ.

– Леша, надо идти, – шепчет она. Вижу ее глаза, полные слез. – Вот, попей!

Фляжка коснулась губ. Сделал несколько глотков и сел. «Уж не припадок ли случился со мной?» Клава, угадав мою мысль, сказала:

– Это нервный стресс. Успокойся, он уже прошел. Я без тебя пропаду...

– А где мальчишка?

– Вон, у куста. Егорка, иди сюда!

Егорка, запахнув телогрейку, стараясь прикрыть свою наготу ладонью, подходит ко мне. Смотрю на него и не могу сдержать улыбки. Улыбнулась и Клава. А Егорка стоит с сердитым лицом.

- Зачем ты штаны бросил?..
- Побежал бы в штанах они бы сразу в меня из винтовки пульнули. А так подумали: гольшом далеко не убежит.
- А трусы-то где?
- Вместе со штанами бросил. Они из них тоже резинку вытянули.
- Ну, ты и додумался!
- Заставили, вот и додумался. Убить могли.
- Как ты теперь домой пойдешь?
- Я вовсе домой не пойду. Чего там мне делать? Фашисты лютуют.
- С кем ты живешь?
- Один. Папка воюет. А мамки не было.
- То есть как не было?
- Просто не было. Никогда не видел. Так с папкой до войны и жили. Хорошо жили.
- Ты откуда свою деревню найдешь?
- Что ее искать!.. Вот так прямо кустами к озеру выйдешь. В камышах лодка есть. Переплывешь озеро, и до деревни рукой подать.
- Фронт откуда далеко?
- Верст двадцать будет, а может, и больше. Как пойдешь...
- А в какую сторону идти?
- Вон туда! – он махнул рукой.
- Откуда ты это знаешь?
- Третьего дня пленных гнали из-под деревни Веревино.
- Ну, и что говорили?
- Всякое. Побитых много. Смотрел, думал: может, папку увижу. До разве он сдастся! И меня учил: «Нападут двое – одному морду набьешь, а другой сам отстанет». Если бы я не запнулся да не упал, так фриц бы меня сроду не догнал! Я в папку. И веснушки у меня папкины!
- Я удивился: обычно ребята не гордятся веснушками. А вот Егорка горд, потому что такие веснушки и у отца. Он осмелел и, кажется, совсем забыл, что стоит без штанов.
- Как же ты, Егорка, босиком пошел, ведь не тепло?
- Фрицы разули, чтоб не убег. По колючкам-то немного набегаешь. Они тоже соображают.

Появилась новая забота: достать Егорке штаны и ботинки. А где? Видя мою растерянность, Егорка сказал:

– Не озябну. Дойду до деревни, а там выпрошу. Старье у всякого есть.

– Простынешь ведь, Егорка!

– Стерплю!

Клава сняла сапоги и подала Егорке свои шерстяные носки, оставив себе портянки. Он сначала обрадовался, взял носки, но подержав их в руках, вернул:

– Не надо. Испорчу. Так пойду.

– Надевай! – строго сказал я. – Смотреть неприятно. Мы в сапогах, а ты босой. Да еще и без штанов...

– Раз приказываете – выполню, – он охотно надел носки. – Ноги, как на печке – идти будет легче.

Я разулся, отдал ему одну портянку.

– Вот, вместо штанов, завернись в нее. Все теплее будет.

– А вы как?

– У меня вторая есть, разорву на две.

– Не надо. Я так перебыюсь.

– Опять упираешься? Выполняй и не пререкайся! Обули тебя – теперь поведешь нас к фронту, – шутя сказал я, но Егорка, не уловив шутки, ответил:

– Запросто проведу. Я тут все деревни знаю. Не раз с агрономом Федор Федоровичем в район ездил. Он папкин друг был.

Егорка уверенно шел вперед.

– Вот тут, если в сторону взять, то в деревню Грибки попадем.

– А к немцам ты не заведешь?

– Это почему же? – обиделся он.

– Ну, собьешься с дороги.

– Собьюсь, подумаю и опять угадаю. Глаза-то есть...

Егорка походя собирает бруснику, жует, морщится, плюется и опять, найдя ее, жует. Когда попадают ягоды спелые и крупные, он предлагает их нам. Вскоре мы убедились, что он действительно хорошо знает местность. Два раза мы подходили к деревням, о которых он говорил заранее. Но деревни были заняты немцами, и мы уходили от них.

Стало смеркаться. Я решил выбрать поудобнее место и поесть. Но Егорка запротестовал:

– Тут до деревни две версты. А там можно молока попить, да и я себе штаны достану.

– А какая деревня?

– Князево. У самого леса стоит. В ней коров дополна было! Знакомая тетка Марья там живет!.. Мы с агрономом всегда у нее молоко вкусное пили – одни сливки! Вы меня возле леса подождете, а я быстро огородами пройду, никто не заметит.

Мы согласились. Уже прошли не две версты, а все четыре. Егорка все повторяет: «Вот сейчас деревня будет!» Это «будет», как поводок, ведет нас вперед, мы не теряем терпения. Наконец, Егорка вывел нас к опушке леса и пальцем показывает в темноту:

– Вот деревня!

В темноте едва угадываются дома.

– Винтовку мне дайте и ждите!

– Нет, Егорка, винтовку я тебе не дам. Твое оружие – быстрые ноги, осторожность и возраст. Пройди тихо, разумно, все разузнай и вернись.

Егорка опечалился и спросил:

– А что, молоко пить не будете?

– Это после того, как ты скажешь, что оно есть, а немец – нет. Про свои ноги и штаны, я думаю, не забудешь.

Егорка нырнул меж кустов и сразу растворился в темноте.

Ждем, прислушиваемся к каждому шороху. Вечер темный, тихий, собирается идти дождь, он уже чувствуется в воздухе. Тишина и темнота давят нас, время идет медленно. Сели на валявшуюся старую березу и молчим, чтобы не расстраивать себя какими-то неприятными предположениями. Думаю: «Надо было идти самому, напрасно надеюсь на мальчишку. Уж не трусость ли берет надо мной верх? Но ведь он знает деревню и какую-то тетку Марью». Оправдываюсь перед собой.

– Сколько еще идти! – не обращаясь ко мне, задумчиво сказала Клава. – Пройдет дождь, и обязательно похолодает. Снег бы не захватил. Теплый день – случайность. Осень к концу идет. Порой хочется упасть и не подниматься.

– Об этом не смей думать! – оборвал я ее. – Смотри на Егорку, учись у него оптимизму.

– Учусь, да что-то плохо получается. Если б не война, училась бы сейчас в мединституте. Врачом мечтала быть. Я фельдшерскую школу с отличием закончила, проучилась месяц – и в армию призвали. А девчонки, которые окончили десять классов, остались учиться, лекции слушают. А я вот тут...

– Ну, я бы где-нибудь в районе фельдшером работал. В свободное время на рыбалку ходил. Хорошо утром у озера! Сидишь с удочкой, смотришь на поплавок, а он – чуть дрогнул. Ну, и подсекаешь широкого, мясистого карася. Никогда не думал, что у нас будет война. В газете читал, что идет война в Испании. Это было далеко, не думал, что и нас коснется, хотя пели: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к бою готовы». Но ведь эту песню я всерьез не принимал. Мало ли что мы пели!

– А я танцевать любила. В Новый год даже приз получила. Мне мама костюм снежинки из марли сшила, обсыпала блестками, к короне из картона разного цвета стеклышки прилепила. Так красиво получилось! Я подошла к зеркалу и не узнала себя.

– И кавалеров много было?

– Кавалеров не было. У нас на весь курс четыре юноши было. Да и те пришли со своими девушками. Без конца звучала музыка. Было весело, – Клава замолчала, стала прислушиваться. – Слышишь, как жутко шуршит падающий лист?

– Да, это всегда так осенью. Высох, словно жестяным стал.

...Пошел дождь, сначала тихий, шелестящий, а потом – словно что-то прорвалось в черном небе – ударил, густой, крупный, холодный, изо всех сил по земле. Мы забежали под сосну, слышим – перестает. А вот потянуло пронизывающим холодом, тонко засвистел северный ветер в голых ветвях. К утру может выпасть снег. Представляю себе: яркие наши следы на белом поле, а по ним спокойно идут немцы...

– Ну, где Егорка?! Нет никакого терпения.

Кажется, шуршит листва? Вот и шаги слышу. Снимаю с плеча винтовку, прижимаюсь к сосне: всякое может быть...

– Где вы?! Я что-то сбился! – раздался голос Егорки.
– Сюда, Егорка, сюда! – обрадовались мы.
– Чуть не прошел мимо. Тьма страшная, как в саже иду!
– Говори скорее, что узнал?
– Вот тут все! – он скинул с плеча узел. – Принес молока, картошки и – во! – он поднял ногу в сапоге. – Тетка Марья добрая! Как увидела, что я без штанов, слезу пустила, захохла, засуетилась. Ватные брюки дала. Теперь хоть на снегу спи.

– Немцы в деревне есть?

– Дополна. На губных гармошках пиликают, песни поют, хохочут. Но у тетки Марьи их нет. Избушка у нее маленькая, что собачья конура, повернуться негде. Хорошо, что темно, я спокойно прошел.

– Боялся?

– А то как?! Тут ведь, чуть оплошал – и штанов, и сапог не потребуется. Вон какие штаны пришлось бросить, еще бы года два носил..

Егорка для нас – находка. Его неунывающая фигура бодрит нас. Забота о нем исчезла. Он в сапогах, в ватных брюках чувствует себя вполне счастливым.

Отойдя километра два, мы залезли в густые кусты, развернули принесенный Егоркой узел и обрадовались: в двух литровых бутылках – молоко, а в мешочке – теплая картошка. Сто лет тебе жить, тетка Марья, за твою доброту!

Мы плотно поели и как-то особенно почувствовали себя успокоенными. Егорка зевнул и сказал:

– Поспать бы теперь!..

Энергия его, видимо, кончилась, он превратился в тихого, вялого мальчика, начал дремать. Мне стало жалко его. Сколько же он еще будет мотаться с нами?!

– Егорка, а если тебе вернуться к тетке Марье? За внука сойдешь, да и будешь жить до прихода нашей армии. С нами намучаешься!.. Мы выйдем и в часть попадем. А ты куда?

Егорка встревожился. Дремота его пропала.

– Как куда?! Тоже воевать буду!

– Да ты же еще маленький!

– Ну и что? Сила есть, я в разведку ходить буду. Вот сходил в деревню и что надо достал. Разве плохо?

Этого отрицать нельзя. Способность Егорки на виду.

– Тетка Марья меня тоже просила остаться. Да я ей соврал, сказал, что окруженцев выведу – и вернусь.

– Врать нехорошо, Егорка.

– А как поступать, если плачет? Что мне, сидеть в этой деревне? Смотреть, как фрицы курей жрут да на гармошках играют? Я к своим хочу! Если в разведку не возьмут, так где-нибудь пристроюсь, все спокойнее будет. А в этой деревне страху натерпишься.

– Я хочу, чтобы тебе было лучше.

– А мне лучше – с вами. От меня тяжести не будет. Вот бы винтовку достать!..

– Ты и без винтовки разведчик хороший, – решил я похвалить Егорку.

– Нет, винтовка нужна. Да еще бы гранату! Я бы тогда любую деревню зашел.

Глядя на мою винтовку, он попросил:

– Дайте немного подержать!

Я вынул патрон и подал винтовку. Он повертел ее, несколько раз приложил к плечу. Вернул:

– Тяжелая, но привыкнуть можно...

Мы пошли. Немного погодя, Егорка остановился.

– Что-то сапог давит. Портянку впопыхах неловко намотал, – он сел на землю и стал переобуваться. – Во, теперь все гладко, – он поднялся и топнул. – Ноге покойно. Большую портянку тетка Марья дала, не пожалела.

– Ты устал, Егорка? – спросила Клава.

– Не-е, привык я. Как за грибами или за ягодами пойдешь, верст десять отмахнешь, да еще и корзину тащишь.

– А может, все-таки устал? – я почувствовал, что Егорка немного лукавит.

– Что об этом говорить, – буркнул он. – Идти все равно надо. Коня никто не подаст. Трошки устать каждый может. Дорога не гладкая: то кочки, то ямы, да ветки мокрые по морде бьют.

«При Егорке не раскиснешь, стыдно станет», – подумал я.

После дождя идти стало еще труднее. За какую бы ветку ни задел – она отвечает холодными брызгами. Ка-

жется, весь лес наполнился водой. Тьма стала совсем густой. Пройдя немного, наткнулись на три сосны, стоящие кучкой. Под соснами немного суше. Остановились, решили тут скоротать ночь. Почти сразу задремали. Успели уснуть, пока еще были согреты ходьбой. Часа через два я проснулся. Клава и Егорка, прислонившись к сосне, спят. Я придвинулся к ним в надежде согреться, но это не помогло. Темная ночь с резким ветерком леденит меня. Поднял воротник шинели, нахлобучил на глаза пилотку, стараюсь заснуть. Наконец, мне это удастся...

4

Мы подошли к деревне. Немцев не видно. Решили зайти в дом, расспросить о дороге, узнать, какие слухи ходят о наших и немцах. Уж что-то долго мы не слышим ни единого выстрела – это беспокоит. Я стал сомневаться в Егоркиных познаниях насчет дороги. Не верится, что наши части так далеко отошли. Не ходим ли мы по кругу, как всякий заблудившийся человек?

Осторожно, стараясь быть незамеченными, узенькой тропинкой подошли к огороду. Видим маленькую баньку, из открытого окошечка идет пар.

– Кто-то моется, – с завистью говорит Егорка. – Подождите тут, сейчас узнаю.

Он подошел к двери, потянул за ручку, но дверь не открылась. Припал к ней ухом, потом подошел к нам.

– Кто-то там здорово хлещется. Вот бы погреться!

Мы пошли к дому. У крыльца стоит женщина лет тридцати пяти, с румяными щеками, с большими черными блестящими глазами, с яркими, хорошо очерченными губами.

– Никак пленные?! – удивилась она и улыбнулась. – Заходите!

– Мы в плен сдаваться не будем, – недружелюбно ответил Егорка. Я дернул его за рукав, чтобы не грубил хозяйке. Может, что-то нам и отломится.

Вошли в чистую, светлую комнату. Посредине комнаты стол, покрытый белой, хорошо выглаженной скатертью; поблескивают графин с квасом, два граненых стакана. На одной тарелочке лежат маринованные грибки, на другой

– хлеб, нарезанный аккуратными ломтиками. Все это ждет кого-то. Я почувствовал тревогу.

– Седайте, родные, седайте. Я вас сейчас покормлю.

– Да мы тут все запачкаем. Вон какие грязные, – сказала Клава.

– Ничего, все отмоеся, отполощется, отгладится. Не с гулянки идете, – хозяйка кинулась к русской печке, быстро достала чугунок с супом, запеченную на сковороде картошку, предвидя наш аппетит. Она очень спешит нас покормить, видимо, ей хочется поскорее от нас избавиться. «Бойтся немцев», – подумал я и спросил:

– Когда фашисты тут были?

– Да их и не было. Стороной проехали. Тьма целая, и все на машинах. А как танки пошли, так до неба пыль стояла.

– А вы как живете?

– Пока ничего, все есть. Картошка уродилась, в яму сыпала, кабанчик подрос.

– Одна живете?

Она сразу покраснела, но улыбкой сгладила свою растерянность. А улыбка у нее обаятельная, делает лицо красивым.

– Да нет, муж есть. Одной скучно, да и неловко, – румянец не сходит с ее лица, а ямочки на щеках играют.

– Фронт далеко?

– Не слышно его тут. Сначала наши пробежали, потом немцы проехали. А теперь уже давно спокойно. От большака мы далеко, нечего у нас тут немцам делать.

Я подумал: доберутся они и досюда, сожрут кабанчика. У войны глаз зоркий, найдет любой дом.

Мы поели, поблагодарили хозяйку и уже хотели уйти, как открылась дверь и в нижнем белье, накрывшись одеялом, вошел мужчина. У него слегка отросшая черная борода, живые голубые глаза, розовое лицо. Он сначала растерялся, потом улыбнулся и сказал:

– Здравствуйте! Простите, что предстал в таком виде. Угорел, в голову шибануло, – он прошел за занавеску в другую комнату.

Я стою, не верю своим глазам. Это же майор из нашего полка! Месяц тому назад я видел его в блиндаже комбата.

Он был с каким-то капитаном, в фуражке пограничника. «Растяпа, мать твою! – кричал он на нашего комбата. – Не мог дать контрудар, когда немцы выдохлись! Прижал задницу к окопу!» Наш комбат стоял, вытянув руки по швам. Майор взглянул на меня. «Военфельдшер, выйди!» Я был тоже унижен. Потом я видел, как он с капитаном проверял нашу оборону, делал замечания, а комбат повторял: «Слушаюсь!» Эта комиссия принесла нам немало хлопот. В тот день строго-настрого приказали всем побриться. Солдаты, плюя на помазки, скребли притупившимися бритвами свои грязные щеки и ругались на все лады. Вечером комбат мне сказал:

– Комиссия отметила, что солдаты не соблюдают форму, потеряли боевой вид. Пообещали штрафбат, если порядок не наведу. Взвинтились, будто я прохлопал контрудар. А чем его было делать? Пять гранат осталось, да раненых полные окопы. Если бы мы вылезли, то бы в этом окопе уже немцы сидели, а мы, черт знает, куда откатились.

– А вы что молчали?

– Хватит с меня. Наплевался я против ветра. Перетерплю!

Комбат Зуйков погиб. А вот майор – тут. Конечно, тогда он не запомнил меня, я ведь только мелькнул перед его глазами. А у меня память на лица цепкая, взгляну – как сфотографирую.

Клава тронула меня за рукав:

– Пойдем.

Я стою, жду, когда оденется и появится майор. Хозяйка глядит на меня широкими глазами и быстро говорит.

– Вот сейчас выйдете на дорогу. Она проселочная, тихая – и все прямо по ней. Будет деревня, там тоже нет немцев. Да тут кругом спокойно! Ходко пойдете, так скоро и доберетесь до своих военных частей. Этой дорогой прятаться не надо. Германцы тут не ездят. Не теряйте времени – темнеет быстро, предвзвие началось. Идите с богом, дорог каждый час, – в голосе ее тревога: боится, что мы уведем с собой майора. А он не торопится выходить. Вероятно, оделся и стоит ждет, когда мы уйдем. Хозяйка взглянула в окно и с притворной тревожностью сказала:

– Что-то Нюрка бежит!.. Может, что случилось? Ужель немцы?!..

Но увидев, что я не прореагировал, совсем растерялась. Еще сильнее покраснели ее щеки, и на шее появились красные полосы. Я шагнул к двери комнаты, отмахнул занавеску. Майор стоит посредине комнаты в черном, почти новом костюме, в туфлях, свежей рубашке. Бородка придает ему интеллигентный вид. Гражданский костюм ему явно идет. Я смутился: он ли?! Не ошибся ли я? Может, за эти бродячие дни произошел какой-то сдвиг в моей памяти? И все же я твердо спросил:

– Вы меня узнаете, майор?

– Нет, – ответил он тихо.

– А сто двадцатый полк помните? А комиссию в третьем батальоне?..

– Вы меня с кем-то путаете. Я в армии не служил. После большого нервного потрясения, когда у меня утонула дочь, я два года пролежал в больнице, в нервном отделении. А там, знаете, и на головах ходят, и рога у иных отрастают. У меня тоже были рога, большие, загнутые. Я ими все хотел проколоть стену, да врачи уж очень следили

Он как-то стал весь уходить в себя, словно прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри, вроде и не видит меня. Неужели я обознался?.. Он повернулся ко мне спиной и медленно пошел к окну. Я щелкнул затвором винтовки.

– Что вы делаете?! – на меня смотрят испуганные глаза вполне нормального человека. Увидев, что я направил на него винтовку, хозяйка бросилась ко мне, загородила его спиной.

– Не надо, добрый человек, не надо!.. Мы же свои, русские! Не трогайте безоружного. Он больной!..

– Он дезертир! Да еще притворяется сумасшедшим! Ну! – я поднял винтовку, женщина ухватилась за ствол. Глаза большие, страшно сверкают, губы вздрагивают. Мне стало жалко ее. А он спокойно стоит и опять весь уходит в себя, безразлично смотрит на меня из-под полуприкрытых век. Видно, это его прием – казаться сумасшедшим. Испуганная женщина умоляет:

– Не троньте... Я его кое-как выходила. Подобрала у дороги совсем умирающим, в одной нательной рубашке был. Дайте ему тут отдохнуть. Поправится – и пусть идет с богом. Он придет к вам.

– Нет, не придет! Ему тут хорошо!.. Он же комбата Зуйкова материл!.. А тот смерть принял!..

– Пойдем, Леша, пойдем! – тянет меня за руку Клава. Она плачет. Я успокаиваюсь... Мы уходим.

За деревней Егорка сказал:

– А тетка соврала... Я видел в окошко, что девчонка бежала вприпрыжку. Нешто так бегают, когда чего-то боятся?!

– Леший с ними! – ответил я.

А сам все думал об этой встрече. Война обнажила каждого из нас. Разве бы в мирное время я увидел такую подлость?! Прожил бы этот майор со своей душонкой спокойно, а может, и до генерала бы дослужился... Вот уж действительно – чужая душа потемки!..

Я не заметил, как стемнело. Усталыми плетутся за мной Клава и Егорка. С каждым днем нам становится идти все труднее. Теряем надежду, что мы выйдем. Чаще стали отдыхать. Вот сейчас Егорка забежит немного вперед, посмотрит мне в глаза. Я знаю эту его тактику, заговорит об отдыхе, так он уже делал не раз.

– Может, отдыхать будем? – с опаской спрашивает он меня, боясь рассердить. Почему-то и Клава, и Егорка стали бояться меня. Вид что ли, у меня такой стал? Я перестал улыбаться. Наверное, этим и напугал их. Они меня не знают, но я их знаю. Я к ним привык, я часто угадываю, о чем они думают, о чем заговорят.

Я согласился отдохнуть. Сели. Егорка натянул шапку на уши, свернулся калачиком и сразу заснул. Вышибла его война из дому. Где он приживется теперь? Хорошо, если отец останется живым, а если нет, то ждет его – детдом. Нет, этого не допущу! Выйдем из окружения, дам ему свой домашний адрес, пусть едет к моей маме в Томск. Ей будет веселее, да и ему хорошо. Лишь бы только выйти!..

Что же теперь думает обо мне мама? Я ей успел написать всего два письма – и как в воду канул. Она одна

в нашем домике на берегу Томи. Пусто сейчас в нем. Он тремя окнами смотрит на реку. Весной я особенно любил реку – когда она широкая, и плывут по ней редкие последние льдины; она еще дышит холодом, а на дворе уже лежит лодка, пахнувшая смолой... Я всегда рано готовил ее, чтобы поплавать в самое половодье, когда на той стороне реки еще по самые макушки стоит в воде тальник. Эти макушки дрожат от течения...

Что это я раздумался? Зачем растревожил душу? И так нервы на пределе, а реальность – вот она: лес, темнота, мерзнет спина. Конец октября... Клаве тоже холодно. Глаза закрытые, дремлет или спит – трудно понять. Теперь я часто смотрю ей в лицо, иногда замечаю новую милую черточку. Уже люблю... Мне хочется ее поцеловать, но опасуюсь – вдруг обидится. Но ведь она касалась губами моей щеки, когда я потерял сознание?.. Я пошевелился. Клава открыла глаза.

– Что, идти надо?

– Да. Замерзнем. Егорка, вставай! – тронул его за ногу, но он не просыпается. Еще раз тронул, он подобрал под себя ноги и что-то промычал.

– Пусть еще немного поспит, – пожалела его Клава. Мы придвинулись к Егорке, греем его с двух сторон. Еще сидим, наверное, час.

– Может, костер развести? – взглянула на меня Клава.

– А где спички?

– У меня есть коробок, а там пять спичек.

– Так что ты молчала?

– Берегу для больших холодов.

Я обрадовался.

– До больших холодов мы выйдем, я в это верю. Надо найти яму, развести небольшой костер и переночевать. Ночью идти трудно, в два раза больше уходит сил.

Бужу Егорку, он не просыпается. Я поднял его и поставил на ноги.

– А? Что? – вертит он головой, отбиваясь ото сна.

– Остаться тут хочешь?! Мы пошли!

– Ох и сон страшный видел, – вздохнул Егорка, – будто я лежу на печке, а бомба стену выломала, меня леденит. А спина и впрямь замерзла. Кажется, и зубы

замерзли, – он дует в ладони и подпрыгивает, стараясь согреться.

– Пошли, Егорка, найдем скрытое место и костер разведем.

– Это как же?! – удивился он. – Спички где?

– Не твоя беда. Есть спички. Целых пять штук!

– Тогда дрова надо готовить! – обрадовался он. – Сейчас коры березовой надеру, она с треском горит, даже сырье поджигает. Вон тут сколько берез!

Прошли немного и чувствуем, что земля под ногами становится все мягче. Взяли в сторону, но тверже не стало.

– Идем в болото! Надо вернуться!

– Да пройдем, – уверяет Егорка, – уже суше! Давайте я вперед пойду, я легче. Если начну проваливаться – вернемся.

Вскоре стал попадаться кустарник. Мы вышли на небольшую поляну. Впереди поблескивало озеро. Я расстроился: озеро надо обходить.

– Может, лодку найдем? – Егорка полез в кусты. Что-то сломилось, что-то булькнуло. Показался Егорка, подошел к нам, клацая зубами.

– Топко. Провалился, – он по грудь мокрый.

– Эх, Егорка, зачем лез?! Снимай все с себя, надо выжить.

– До костра дотерплю.

– Не разговаривай!

Егорка быстро разделся. Я отдал ему свою телогрейку, выжал брюки, рубаху.

– Как теперь это все надевать? Схватишь воспаление легких, что тогда делать? – я злюсь.

Он дрожит и еле выговаривает.

– Я ведь хотел, как лучше...

– Понятно, «хотел»... А что из этого получается?! Больше без меня ни шагу! Все испортил нам!

– Я ж не нарочно. Думал, лодку найдем, и все переплывем.

– Вот теперь надо быстро костер разжигать. А может, немцы близко, огонь увидят?

– Я уж согрелся, – ответил он, стуча зубами.

– Вижу, как согрелся. Молчи.

Я пошел осмотреть место. Походил вокруг – вроде все спокойно. Нашел ложбинку для костра. Возвратясь, вижу: Клава прижала Егорку к себе, дышит на него, стараясь согреть.

– Нашел место. Пошли.

Они обрадовались и побежали за мной.

Мы наломали сухих веток, нарвали бересты и быстро развели костер. Я закутал Егорку в шинель, а сам остался в телогрейке. Верчу возле пламени его штаны, от них идет пар.

– Не сожгите! – опасается Егорка.

– Да разве они загорят? Вот шипеть, наверное, будут...

С костром стало веселее. Огонь подпрыгивает в маленькой ямке, нежное тепло охватывает наши лица. Пришла сонливость, неотвязная, сильная, начинает закрывать глаза. А это плохо! С ней надо бороться, а как? Она уже завладела всем телом. Вижу маленький язычок костра и, одновременно, красивое лицо женщины-хозяйки – а ведь это уже сон. Лицо женщины совсем близко, его касается язычок костра. Глаза большие, блестящие, они смотрят в упор – и мне даже неловко. Мой подбородок коснулся телогрейки: это уже во сне клонится моя голова. Я упорно не закрываю глаза, еще хватает сознания потряхнуть головой, и сон отступил.

Клава и Егорка спят. Я стараюсь не шевелиться, хотя это, наверное, не разбудит их. Но у меня привычка еще с детства: не будить спящего человека. Это мне передала мама. Она никогда не будила отца, если в этом не было необходимости. Она могла сидеть возле него долго, почти не дыша, и смотреть, как он спит. Какие у нее тогда были ласковые глаза, и вся она была полна благоговения. Мне всегда казалось, что этот сон ей приносит особую радость. Вот эту-то радость она передала и мне...

Одежда у Егорки уже просохла, и надо идти. А мне приятно смотреть на спящих. У Клавы чуть распустились губы, она совсем незаметно дышит. Какие у нее большие ресницы! Нос обострился, щеки впалые, на них две морщинки, брови перышком, словно подбритые.

Егорка спит, прижав голову к плечу, будто чему-то удивляется. Неужели ему так удобно спать? Губы его иног-

да вздрагивают, словно он хочет заговорить. От огня по его лицу пробегают тени и порой кажется, что он тихо улыбается. Шапка натянута до бровей, они у него похожи на высокие стручки гороха... Меня опять одолевает дремота, уже нет сил бороться с ней. Закрываю глаза, чувствую на лице тепло костра. Это тепло начинает проходить в грудь, разливаясь по всему телу. Становлюсь слабым, безвольным. Все куда-то исчезло, как будто растворяюсь...

Мне холодно. Я открываю глаза, смотрю на крохотный огонек – догорает последняя тоненькая веточка. Вот она переломилась, и получилось два огонька... Наверное, я долго спал. Кажется, посветлело небо. Между облаками мерцают звезды. Их мало, можно сосчитать, они не яркие – это хорошо, значит, не будет мороза. «Вызвездило небо – жди холода», – говорил мне отец. Сижу. Прислушиваюсь. Тишина. Егорка сопит. Видимо, все-таки застудился. Не заболел бы! Встаю, подбираю последние сучья и бросаю в костер. Огонь скрылся. Проходит время, из-под сучьев начинают выскакивать красные струйки, сливаются в пламя. Объятая светом, тревожно просыпается Клава.

– Не надо столько огня. Он далеко виден. Я глубоко заснула, будто мертвой была, даже страшно. Пойдем! Я плохое предчувствую, надо уходить!

Я заметил, что вот уже два дня Клава ведет себя тревожно, наверное, сдают нервы. Не каждый выдержит столько дней бродячей жизни!

– Скажи, чего ты боишься?

– Да не могу я здесь больше быть. Все во мне дрожит!

– Напрасно нервничаешь. Тут спокойно.

– Нет, пойдем! – она решительно встала. Проснулся и Егорка. Он зевнул и сказал:

– Ох, спалось! Год бы не просыпался, так хорошо, – он потянулся к висевшим штанам. – Высохли! Теперь живу!

– Пойдем! – опять настойчиво попросила Клава. Мне не хотелось уходить от костра, приятным было его тепло, за много холодных ночей выпал случай поспать у огня. Еще бы подбросить дров! Егорка притих и намеревается уснуть. Клава стоит. Она ждет. Я палкой разгребаю угли костра, они вспыхивают и начинают гаснуть. Трогаю Егорку, он вздрагивает.

– А, что?!

– Идем.

Клава уже шагах в пятидесяти от нас. Что с ней? Она никогда не проявляла такой решительности и беспокойства. Наверное, что-то страшное увидела во сне и еще не может успокоиться. Ее тревога передалась и мне. Убыстряю шаги...

Немного прошли и угадали на проселочную дорогу. Когда я искал место для костра, то не дошел до нее метров сто. Вот тебе и осторожность! Сидели почти у самой дороги. Даже расстроился.

Пройдя с полкилометра, мы услышали шум машин. Легли в холодную траву, притаились. Машины вышли из за поворота и ярким светом озарили кусты. Их три, они идут небыстро. В кузовах сидят немецкие солдаты: курят, разговаривают, кто-то даже попробовал запеть, но не вытянул, умолк. Предчувствие Клаву не обмануло. Огонь костра они бы увидели и не упустили случая поохотиться за нами.

Машины исчезли, мы пошли.

5

Прошло пятнадцать дней. Мы все еще не можем выйти из окружения, отощали, измаялись. Питаемся только картошкой, которую кое-как ухитряемся выпросить в деревне.

Вчера услышали орудийные выстрелы и обрадовались. Эти выстрелы приближались. Мы изо всех сил стремились к ним навстречу. Но они вдруг смолкли. И всю ночь было тихо.

Наступило утро, сухое, морозное. Выпал иней. Раньше я любил такое утро. Оно бодрило, радовало, особенно четко и звонко свистели синицы. Теперь я не вижу красоты утра. Чувствую, как зябнут спина, плечи. Скользят сапоги по траве, покрытой инеем.

– Подождите! – крикнул Егорка. – Слышите?! Пулемет!

Прислушиваюсь. Действительно, где-то далеко стучит пулемет, а вот уловил и одиночные винтовочные выстрелы. Это передовая! Только бы не сбиться, не уйти в сторону!

Мы то бежим, то идем. Что-то слабеют выстрелы... Неужели наши отходят?! Я останавливаюсь, слышу треск веток и торопливые шаги. Не немцы ли?! Держу наготове винтовку.

Из кустов на полянку вышел русский солдат. Подбегаем к нему. Низ левого рукава шинели изорван в клочья, вместо кисти – кровавая портянка. Он прижимает руку к груди, смотрит на нас полными ужаса глазами. Лицо грязное, губы запеклись, белой щетиной отросла борода.

– Попить бы, товарищи?

Подаю фляжку. Он делает несколько глотков и возвращает ее.

– Откуда вы?! – спрашиваю.

– Вон там, слышите, бой. наших убивают. Окружили и не дают головы поднять. Не можем дорогу перейти. Танки на ней, немцы в упор из пушек бьют. Побили страшно много, конец там всем будет. Винтовка-то, как рогатка – что с ней против танка сделаешь?

– Покажите руку!

– Да что смотреть!.. Все пальцы осколком срезаны. Портянку снял – замотал. Вроде стихла, а то хоть вой.

– Давайте, чистым бинтом перевяжу. Я фельдшер.

Это убедило его, и он согласился.

Осматриваю рану. Пальцы раздроблены, но сосуды почти не кровоточат. Стерильным бинтом из индивидуального пакета перевязал рану. Солдат доволен.

– Лишь бы заражения не было, – говорит он. – Так-то заживет. Хорошо, что не в ногу угодило, как бы я сейчас?.. Там много раненых лежит в кустах... Вы куда идете?

– Туда пойдем, где стреляют.

– Зачем туда? Их окружили, добивают. Танки на дороге, а стороной – болото и топь. Не выйти оттуда. Я куда-нибудь в деревню подамся.

– Там же немцы. Сразу схватят.

– Я ж без пальцев. Зачем я им?

– Им твои пальцы не надо. Полицаем сделают.

– Это как полицаем?! – злобно спросил он.

– Просто. Доносить будешь на своих, а там и повысят..

– Ты что, спятил, фельдшер?!

На меня смотрят темные злые глаза.

- Решайте. Мы пошли.
- То есть как пошли? А мне куда?..
- В деревню собрались... Вот и идите...
- Ты брось, фельдшер! С фашистами мне не по дороге.
- Тогда ведите нас туда, где бой. Со своими надо выходить, а то ведь в штрафную роту угодишь.
- Это верно, – согласился солдат, – жить хочется. Чего я только не посмотрелся. Значит, опять туда?..
- А куда же?

Солдат ничего не ответил. Постоял и пошел. Мы последовали за ним. Ведет уверенно, хорошо знает дорогу. Идем болотом, перепрыгиваем с кочки на кочку. Солдат остановился, шепчет:

– Метрах в четырехстах отсюда стоят немецкие танки, прямо на дороге, бьют из пулеметов, не дают подняться. В прошлую ночь человек пятьдесят только проскочили. Остальные не смогли, отползли в лес...

Мы выбрались из болота, прошли с полкилометра. Стали попадаться открытые ячейки, в них – по два солдата с винтовками. Видно, что часть заняла оборону.

– Кто всем этим командует? – спросил я тихонько у солдата.

– Майор Сверидов.

– Нам бы к нему пройти.

– Сейчас спрошу, где он, – солдат подошел к ячейке, где двое энергично орудуют саперными лопатками. – Командир где?

– Зачем он тебе? Что тут ходишь?..

– Товарищи новые пришли, спрашивают, – кивнул солдат на нас.

– Вон в тех кустах, – отмахнулся солдат и начал копать.

Идем по указанному направлению. Дошли до траншеи. Около нее сидит седоволосый, сутуловатый командир лет пятидесяти, в петлицах шинели две яркие шпалы. Он смотрит на карту и что-то отмечает на ней карандашом. Мы остановились. Он поднял голову.

– Разрешите обратиться? – я поднял руку к пилотке.

– Да, обращайтесь, – ответил он, недовольный тем, что его отвлекли от карты.

Я подробно докладываю, кто мы и откуда, сколько дней идем. Он слушает, постепенно недовольство исчезает с его лица. Помолчав немного, он сказал:

– Обстановку нашу видите. Организуйте помощь раненым, – он снова углубился в карту. Я понял, что с нами разговор закончен. Когда отошли немного, Егорка взглянул на меня радостно:

– Про меня ничего не спросил. Я думал – прогонит.

В лесу очень много сломанных деревьев, вывороченный снарядами кустарник оцетинился, колется, преграждает дорогу. Обходим его, встречаем грязных и худых солдат. Узнаем, что уже два дня нет продовольствия. Удрученный всем увиденным иду, уже не глядя в лица солдат.

– Помогите, почему меня бросили?! – надрывно кто-то простонал за кустом.

Видим: на земле лежит солдат. Кровавая гимнастерка прилипла к спине.

– Как вы тут оказались?

– Обстрел был. Сюда меня солдаты принесли. Перевязать было нечем. Позавчера своим индивидуальным пакетом товарища забинтовал... – он закашлял, на губах появилась кровь.

«Легкое задето», – думаю я. Осторожно поднимаю подол гимнастерки. Она чмокнула и отделилась от тела. В спине – отверстие с пятак, из него сочится кровь. Клава придерживает раненого за плечи, я бинтую. Егорка стоит в стороне, сжавшись от страха. Грудь раненого широкая, ушло три бинта. Но повязка легла прочно.

– Теперь, вроде, дышится, – сказал он.

– Идти можете?

– Тут полежу. Легче будет, встану.

Решили сделать так: всех раненых отыскать, перебинтовать, а потом собрать в одно место. Но для этого нужны носилки.

– Егорка, иди ищи топор. Носилки надо делать.

– Сейчас раздобуду, – Егорка убежал.

Увидев мою санитарную сумку, к нам подходят легко раненые. Начали бинтовать. И сумка моя быстро опустела, осталось пять индивидуальных пакетов. Я бросил ее в

кусты, чтоб не привлекать внимание, а пакеты положил в карман.

Идем и натываемся на тяжело раненых, их пятеро, они лежат на небольшой поляне. Склоняюсь над солдатом, раненным в обе голени. Он лежит на сосновых ветках, покрытых травой. Раны не забинтованы, кровь бурыми корками запеклась на обмотках. Лицо солдата страшно бледное, губы почти черные, большие блестящие глаза ввалились. Он боится каждого моего прикосновения. Боль затихла в ранах. И он опасается, как бы она вновь не появилась.

Мне надо узнать, целы ли кости голени. Я не люблю этой проверки, она обязательно сопровождается болью. А что делать? Ведь, если кости повреждены, то надо шинировать, а если нет, то просто перевязать.

Осторожно разматываю обмотку, она сохлась, кровь словно спаяла ее. Делаю небольшое усилие, чтобы разъединить слои обмотки, стараюсь не шевелить ногу. В других бы условиях разрезал бы эту обмотку. А сейчас нельзя этого делать. Чем солдат прикроет свои ноги после перевязки, ведь уже холодно? Продолжаю потихоньку разматывать. Клава помогает мне, придерживая и приподнимая раненую ногу.

Лицо солдата спокойное. Значит, боли нет. У меня появляется уверенность, что кость не задета. Еще мгновение – и я снял обмотку. Вижу пулевое отверстие, пуля прошла сбоку, повредила только икроножную мышцу – кость цела. «Ранение нетяжелое», – говорю я раненому. Лицо его оживает, в глазах радостный блеск. Клава стоит довольная. Забинтовал рану, уже быстрее стал разматывать обмотку на другой ноге. Но знаю, что еще день-два раны будут вести себя спокойно, а потом появится краснота, отек и начнется боль. Их надо хирургически обработать, то есть раскрыть скальпелем, чтобы был свободный отток гноя, – все это надо делать на хирургическом столе.

Хочу перейти к следующему раненому, но солдат коснулся моей руки, смотрит вопрошающе. «Меня не бросят?» – робко спрашивает он. Отвечаю: «А зачем тогда бинтовать?!» Вот ведь чего еще боится! А разве бы я сам не боялся этого? Обстановка-то какая!..

Следующий раненый оказался совсем тяжелым. Осколок пробил брюшную стенку и вышел у позвоночника. Срочно нужна операция. Раненый носовым платком прикрыл рану на животе, а на платке зелеными нитками вышита ласточка.

– Шла кровь, а теперь перестала, – едва шевелит он губами, испытывающе смотрит на меня. Мне не по себе за свою беспомощность. Но молчать нельзя. Он ожидает от меня утешения, верит и убежден, что помогу. И я страшно соврал:

– Вот перевяжу, будет легче. Рана начнет заживать, раз кровь уже не идет. Будет все хорошо...

А рана смертельная, если срочно не сделать операцию. А где и кто ее сейчас сделает?..

– Можно повернуться набок? Я очень устал, – спросил раненый.

– Боюсь, что может появиться боль. А у меня нет лекарства, чтобы сделать укол.

– Что же у вас есть?.. – он вздохнул и прикрыл глаза. Черты лица правильные, красивые. «Кто-то ждет, кто-то любит тебя...» Я перевязал его и подошел к другому раненому.

– Бинтов нет. Что делать? – Клава вопросительно смотрит на меня.

– Будем рвать нижние рубахи.

– Но ведь это не стерильно!

– Сейчас разве об этом...

Из-за кустов выбежал Егорка. Лицо красное, в каплях пота, глаза сверкают.

– Вы здесь! А я вас ищу. Во! – он стал выкладывать из кармана бинты.

– Где ты их взял?

– А там допална! И носилки есть, делать не надо.

– Это где?

– Метров двести от опушки леса лежит санитарная машина на боку. Снарядом ее долбануло.

– Веди меня туда!

– Сейчас нельзя! – Егорка откинул полу своей тужурки.

– Во, видите?

– Это ж пулевое отверстие! – удивился я.

– А то какое же?! Оно самое! Когда из машины вылез, фрицы стрелять начали. Тужурка нараспашку была. Сообразил: упал. Так на брюхе до лесу дополз, не поднимая головы. Ночью туда надо идти.

– Как же ты нашел эту машину?

– Солдат указал. Я у него топор попросил, чтоб носилки делать. А он говорит: «Иди, вон там машина лежит, в ней носилки есть».

– Место запомнил?

– А то как? С закрытыми глазами найду. Сейчас туда не надо показываться, а то фрицы заметят и снайпера посадят, тогда все пропало.

– Ну, Егорка, ты – военспец!

– Научись, если жить захочешь, – серьезно ответил он.

Я взял бинты. Драгоценнее их у меня никогда ничего в жизни не было. Начали перевязку. Егорка не отходит от нас. Он боится ран, закрывает глаза, его ресницы подрагивают, но если что-то надо придержать, делает с усердием, и в эти минуты забывает про свой страх.

Немцы начали обстрел леса. Три снаряда разорвались далеко от нас, а один близко и вздыбил большой куст рябины. На нас посыпались комки земли. Солдаты сидят в ячейках, а мы с Клавой ищем и перевязываем раненых. Не знаю, что думает командир, но ясно, что в таком положении оставаться нельзя, они перебьют нас. Нет продовольствия, нет воды. Раненые просят пить. Что ответить им?! Молчу, сжимаю зубы, стараюсь углубиться в работу, но это плохо помогает. Раненые без конца что-то просят, что-то спрашивают. Им не к кому больше обратиться, они лежат беспомощные, а возле них только мы...

Бойцы готовятся к обороне: копают землю, оборудуют ячейки. Снаряды падают реже, но методично, словно капли на голову, от которых раскалывается череп.

Еще не все раненые перевязаны, а у меня опять кончаются бинты. Куда же девался Егорка?! Надо идти за бинтами. Сейчас израсходую последний и пойду искать. Не стоять же возле раненых, ничего не делая! Разрываю конец последнего бинта, завязываю и стою. А передо мной – раненый в предплечье. Рана забинтована тем-

но-серой от грязи портянкой. Клава растерянно смотрит на меня...

Слышу за спиной торопливые шаги по хрустящей траве, оборачиваюсь. Идет Егорка с узлом в руках.

– Вот, притащил, – он кладет узел у моих ног.

– Что это?!

Молчит. Я стараюсь развязать узел, но он крепко затянут. Шарю по узлу руками:

– Это же бинты!

– Отгадали. Точно, бинты, – с достоинством говорит Егорка. – Все забрал, вычистил машину, пока фрицы по нашему лесу бабахали. Я туда на четвереньках проскочил. Когда из машины вылез, змейкой по траве да в кусты. Там на опушке наши солдаты лежат с винтовками, слышал: ночью наступать будем. Дадим фрицам!..

Эх, Егорка, мне бы твой оптимизм! Не могу я разделить твоего восторга. С винтовками против танков идти – самоубийство...

Уже вечер. Перевязали всех раненых Тяжелых – двенадцать человек, их надо нести. Иду к командиру, чтобы дал людей.

Вижу, на поляне собрались командиры, майор заканчивает совещание. Стою и дожидаясь, когда можно будет обратиться со своей просьбой. Вижу людей, которые должны осуществить прорыв. Среди них и пожилые, и очень молодые. Худые, небритые, с тревожными глазами, с перевязанными руками и головами. Возле меня светловолосый лейтенант, у него забинтована нижняя челюсть. Он прикладывает ко рту платок, стараясь сдержать слюну. «Надо ему сменить намокшую повязку», – думаю я.

Майор уточнил наличие оружия и патронов.

– Всего хватит на один натиск, – сказал он. – Если задержимся, то уже не прорваться. Совсем рядом стоят два немецких танка. Днем они видят наш лес и следят за ним. Они не выпустят нас без боя, они уверены, что мы обречены. Взвод лейтенанта Дубова возьмет все бутылки с зажигательной смесью, подберется к ним и будет ждать моего приказа.

– А если сразу их поджечь? – спросил светловолосый лейтенант, сглатывая слюну.

– Дубов, я вас уже предупреждал! – оборвал его майор. – Ничего не делайте до моего сигнала. Если вы подожжете эти танки, то те, что стоят с боков и сзади, измят нас. Это вам понятно, Дубов?

Лейтенант кивнул головой и вытер слюну платком.

– Для поджога я дам красную ракету. А если случится непредвиденное, – вот тогда действуйте по своему усмотрению. Надо сделать так, чтобы вся часть успела перейти дорогу, не обнаружив себя. Дальше идут болотистые места, и танки завязнут. Прорыв сделаем в два часа ночи. Надо успеть, пока они не подвезли пехоту, а то начнут прочесывать лес. Вы, лейтенант Дубов... – майор не договаривал. Из кустов выбежал запыхавшийся солдат и с дрожью в голосе сказал:

– Товарищ майор, к танкам подошли три машины с пехотой!

Я вижу, как побледнело лицо майора, дрогнула щека, опустилась бровь. Помолчав, он сказал:

– Теперь только грудью... Готовьтесь к бою... У кого есть часы, сверьте. Прорыв в два часа ночи.

Командиры стали расходиться, я тронул лейтенанта Дубова за руку.

– Давайте, я вас перевяжу.

Снял мокрую повязку, челюсть оказалась целой. Осколок пробил щеку, срезал два зуба.

– На излете был, – сказал лейтенант, – я его вместе с зубами выплюнул. Повезло. Вот теперь хорошо, – он пощупал наложенную мной повязку, поблагодарил и ушел.

Майор выслушал меня и сказал:

– Людей дам перед прорывом. За оставленных раненых будете отвечать!

Этого мне можно было и не говорить. Я даже обиделся.

Когда стало темно, мы с Егоркой и еще один солдат решили пробраться к разбитой санитарной машине и взять носилки. Подошли к опушке леса. Егорка указал рукой в темноту и прошептал:

– Вот тут прямо... шагов двести.

– Жди здесь. Мы пойдем, – я тронул солдата за плечо.

– Вы ж не найдете! – Егорка уверенно пошел вперед.

Темнота сгустилась, и уже за десять шагов ничего не видно.

– Стойте, – прошептал Егорка, – тут где-то яма была.

Он прошел немного вправо, постоял, вернулся, взял влево и скрылся из виду. Стоим, прислушиваемся. Темнота такая, будто мешком накрыли. Мне кажется, что Егорка уже очень долго ходит. А вот и он появился черным маленьким столбиком.

– Запутался, кое-как яму нашел, – выдохнул он, – теперь от меня не отрывайтесь. Тут недалеко...

Прошли метров сто. Раздался хлопок, огненной струей метнулась в небо ракета. Мы упали на землю. Ракета превратилась в искрящийся шар и начала гаснуть. С ее угасанием успокаиваюсь и я, чувствую у щеки колючую, сухую траву. Эта ракета улетела далеко, но другая может появиться над нами. Егорка вскакивает на ноги и бежит, мы за ним. Вмиг оказались у лежащей машины.

– Вот тут дверца, – нашарил Егорка в темноте заднюю дверь кузова, и хотел уже залезть туда, но я отстранил его.

Я хорошо знаю, как оборудована санитарная машина: сбоку должны быть носилки. Нашупал крючки, но носилок нет. Лезу дальше. Обшарил другую стенку, задел за что-то ногой. А вот и носилки, они сложены возле стенки. Нашупываю что-то мягкое – санитарная сумка. Больше ничего нет. Наверное, здесь уже побывали немцы. Берем носилки, сумку и быстро уходим.

Клава обрадовалась, увидев нас с носилками.

– А бинтов не принесли?

– Все в сумке.

Пришли солдаты, которых выделил мне майор. Я распределил, кто за кем идет и каких берут раненых, чтобы не было суеты, когда двинемся...

Настали томительные часы ожидания. Когда была работа – они летели, а вот сейчас тянутся. Клава подходит то к одному раненому, то к другому, ободряет, поправляет повязки, помогает повернуться. Ласково звучит каждое слово. Как бы я без нее! Егорка совсем повеселел. «Теперь выйдем! – говорит он. – Вон сколько солдат – прорвемся!» Но реальность – совсем другая...

Нам повезло. Приехавшие немцы не начали проче-ску леса. Возможно, с дороги решили отдохнуть до утра или еще ждут подкрепления? С их стороны нет никаких действий, даже ракеты перестали пускать. Ночью они не воюют, пока их не прижало. Это в нашу пользу. Меня утешает одно: темная ночь. Только она поможет нам. За все блуждания я не видел такой плотной темноты.

Раненые мерзнут. Я слышу, как они дрожат, как чакают их зубы. Укрыть бы их одеялами, согреть грелками, напоить чаем – какое это недостижимое счастье!

Нервы напряжены, совершенно не хочется спать. Сажу на пучке сухой травы, прислушиваюсь к темному лесу, наполненному людьми. Кажется, что тишина вот-вот должна оборваться. Егорка сидит возле меня, тоже прислушивается, но вот поднял воротник, уткнулся головой в грудь, шумно дышит, видимо, старается заснуть. А я думаю: как пойдем, удастся ли прорваться?

Подошла Клава, села рядом.

– Леша, какой-то страх во мне...

– Попробуй уснуть, успокойся. Часа через два пойдем... – беру ее руки в свои ладони. – Ты мерзнешь?

– Нет. Это от страха. Вон Егорка спит. Может, и я усну, – она кладет голову на мое плечо.

– Клава, мне хорошо с тобой...

– О чем ты, Лешенька?.. Господи, помоги нам...

Близка ее щека, слышу ее теплое дыхание. Не грех ли быть счастливым в этом лесу? Тишина становится мягкой, успокаивающей. Вздрогнул от радостного взгляда:

– Вы посмотрите, какие звезды! – это бредит раненый в живот. Он внятно и четко говорит:

– Небо голубое, а звезды черные. Вы мне скажите, почему они черные?

Я молчу.

– Кровь на них. Наша кровь!

Клава подошла к раненому, положила ему на лоб ладонь. Он глубоко вздохнул, пришел в себя и попросил пить. Я подал Клаве фляжку.

– Ему же нельзя... – тихо сказала она.

– Можно...

Клава медлит. Она знает, что при ранении в живот воду не дают. Но ведь жить раненому осталось считанные минуты. Разлитый перитонит был налицо еще днем. Не сдается молодое, крепкое сердце... Тяжело это видеть и знать...

– Пи-и-ть! – опять попросил раненый.

Клава держит фляжку в руке, не может нарушить противопоказание.

– Может, еще операцию сделают? – упорствует она. – Ведь всякое бывает...

– Может... – машинально отвечаю я и думаю: «Если б свершилось чудо, и появилась операционная палатка...»

Раненый потерял сознание, шепчет что-то непонятное... А вот и умолк, умер. Взяли его красноармейскую книжку, сняли с носилок и опустили в вырытую вчера ячейку, загребли землей.

– Отмучился. А я ему воды... – Клава заплакала.

Остальным раненым не угрожает смерть. Их надо только вынести, и через несколько месяцев они снова встанут в строй. Но удастся ли вынести?

Возле нас прошел майор. Я едва разглядел его в темноте и догнал.

– Товарищ майор, нам как теперь?.. – спросил я осторожно.

– Сейчас двинемся. Впереди вас пойдут люди. За ними и следуйте.

При полной тишине мы двинулись. Клава, Егорка и я – идем за последними носилками, сзади нас уже никого нет. «Хоть бы пройти, – услышал я шепот Клавы. – Я так боюсь...»

Идем не прямо, а поворачивая куда-то в сторону, удаляясь от дороги. Углубляемся в тыл к немцам. Видимо, это новое решение майора, первоначально не так было все задумано...

Проходим самое опасное место. Мы между немецкими танками. Заметят – откроют огонь и посекут нас.

Уже идем долго. Ни звука. Черная ночь, как панцирем, прикрыла нас от смерти. Замирает сердце.

Наверное, больше часа мы двигаемся в этой мягкой темноте. Пошел дождь, пахнет деревьями, хочется пить. Ловлю капли дождя губами, чувствую пресноватый вкус...

Начало светать. Мы перешли через большак и снова углубились в лес. Идем, не сбавляя шага. Солдаты, которые несли носилки с ранеными, очень устали, им на смену майор прислал других. Я удивился, что в такое время он еще помнит о нас.

– Вот и пришли! – радостно сказал Егорка. – А я все ждал, что фрицы палить начнут.

– Да мы еще к передовой не подошли.

– Ничего, нас много, проломимся!

Знал бы ты, Егорка, как трудно «проломиться»! Надо еще незамеченными подойти к передовой, чтоб одним броском решить судьбу. Лишь бы не наткнуться на танки. С пехотой еще можно вступить в бой, а против танка винтовка – что рогатка против льва. Скоро должно решиться: или прорыв, или... Но о смерти я думаю как-то легко, то есть не верю в нее, ведь я почти ничего не видел, кроме войны...

Совсем рассвело. Остановились в лесу, поставили чайных. Командиры собрались обсудить обстановку. Решили послать разведчиков, чтобы обследовать местность и дойти до передовой линии. Разведчиков возглавил лейтенант Дубов. Майор приказал занять круговую оборону. Начали врываться в землю. Работа идет медленно, солдаты усталые, голодные, да и лопат мало...

Вечер. Вернулись Дубов с разведчиками. Собрались все командиры. Дубов докладывает результаты разведки. Я удивлен, как этот молоденький, похожий на девчонку лейтенант сумел так тщательно провести разведку. Внимательно слушаю его. Оказывается, мы почти вышли к переднему краю. Немцы сделали только одну линию обороны, да и то оборудовали ее наспех, видно, будут наступать...

– Сейчас у них не густо солдат, – говорит Дубов. – Ночью подойдем и ударим... Здесь – напротив – нет артиллерии, – он ткнул пальцем в карту. – Вот деревня Ольгино. В ней немцы стоят в домах. Немного вправо идут окопы. Метрах в четырехстах от деревни стоят три миномета, бьют через ложбину, значит, там наши. Надо минометы обойти...

Я иду со своими ранеными в середине колонны. Так приказал майор, боясь, что нас могут отсечь от всех остальных.

Ждем броска, и, когда уже притупилась острота ожидания, вдруг впереди ударил пулемет. Все побежали.

Нас еще не могут прижать к земле, красным веером над нами пули. Я совершенно не ориентируюсь в темноте.

Пулемет замолк, с обеих сторон идет винтовочная стрельба. Три снаряда один за другим с подвыванием пронесли над нами и разорвались далеко сзади.

«Наши снаряды, – сказал бегущий рядом солдат, – немецкие так не фыркают».

Начали рваться мины. Это стреляют те минометы, про которые говорил Дубов. Все кинулись врассыпную.

«Клава!» – крикнул я, не видя ее впереди. «Что орешь?!» – оборвал меня хриплый голос. Я бросился обратно. Возле меня бегут последние солдаты. Пробежал метров двести, уже могу наткнуться на немцев. Вернулся, взял немного в сторону.

Вижу лежащую Клаву. Она мертва. Осколок угодил в грудь, вырвал клоч шинели. Поднимаю ее и бегу. Все во мне задервенело...

У блиндажа солдат сказал мне:

– Что ты ее держишь? Клади на землю. Увезем, похороним.

Слышу: Егорка плачет. Голос майора:

– Где лейтенант Дубов?!

Кто-то ответил из темноты:

– Он на пулемет бросился...

Господи, прорвались! А какой ценой!..

СТЕПАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ЗГОРЫШЕВ

Родился 26 ноября 1925 года в посёлке Метеор Благовещенского района Алтайского края. Работал в колхозе с 14 лет, в 17 лет был призван в армию.

Воевал на 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах, был ранен. Участвовал во взятии Берлина, войну закончил в Чехословакии.

После армии четверть века работал в школах Благовещенского района учителем, завучем. Ветеран педагогического труда.

С.Е. Згорышев – автор военных рассказов, повести «Мужская доля», в соавторстве с А.В. Гусевым им написана повесть «Печальный долг».

РАССКАЗЫ

НАШИ МАРУСИ

Из московского госпиталя меня направили в Козельск, в батальон выздоравливающих.

Была сухая ранняя осень, деревья уже начинали желтеть, но все еще по-летнему синело глубокое чистое небо.

Я бродил по полям, опустошенным, убраным до последнего колоса. И встретил там необычный транспорт: на передке от брички закреплена лежащая железная бочка с горючим, и четыре женщины, шагающие в ряд, толкают полусогнутыми руками и грудью кривую суковатую жердь, прикрепленную к дышлу, везут эту бочку к трактору на полосе у дальнего леса.

Смотрю на этих женщин, и тяжелые думы о доме одолевают меня.

Вернулся в казарму, сел на нары и задумался, сердце теснила тяжелая грусть. И не заметил, как рядом со мной очутилась девушка в военной форме, моих почти лет.

Сердце мое окатило радостное волнение. Неотрывно гляжу на ее милое лицо, молодое и свежее, слышу ласковый голос и думаю об одном: подольше бы она посидела тут.

Девушка не уходила. А когда в казарму вошел наш строгий старшина, она предложила:

– Давай спрячемся. – И мы забрались в угол на нижних нарах, где к вечеру совсем стемнело.

Заговорились и забыли обо всем, не пошли на ужин, даже не заметили, как строилась за казармой рота.

Только перед самым отбоем ушла девушка, а я долго мял боками жесткую солдатскую постель, поминутно ворочался и думал о своем неожиданном счастье. Вдруг спохватился и пожалел, что не спросил ее имени. И мне стало страшно: а если встреча не повторится...

Но утром, после завтрака, увидел я в окно, как мимо промелькнула знакомая фигурка. Я выскочил из казармы, боялся, что девушка не зайдет. Но она шла к нам.

Встретились в коридоре. Она сжала мне ладонями щеки и сказала:

– Здравствуй! – Я молчу, боюсь вспугнуть эти мягкие ладони теплых рук, боюсь шевельнуться и смотрю ей в лицо – оно чудно светится в сумеречном коридоре...

Старшина назначил команду собирать грибы для полковой столовой. Одна мысль, что меня могут послать в лес, оторвать сейчас от этой девушки, была ужасна, и я дезертировал с грибного фронта.

Мы взялись за руки и побежали за казарму на пустырь. Сели там на бугре, прикрытом густой травой.

– Я тебя из окна часто вижу, – сказала девушка, – ты целый день за казармой сидишь с книжкой. Мне нравится твое лицо, когда ты читаешь. И волосы у тебя хорошие. Давно хотела с тобой познакомиться, даже однажды подходила к тебе близко, но ты не заметил. И твое имя слышала: старшина тебя часто ругает... А меня зовут Мария. На фронте для всех я – Маша. Дома зовут Мария, и ты меня так зови.

Она говорит, а я молчу и смотрю ей в глаза: они прозрачно-синие, как полоска неба рядом с вечерней зарей в ясный летний день. Говорит и смущается, щеки ее немножко алеют, и тогда глаза кажутся еще прозрачней, еще синей. Смеется редко, и как только собирается засмеяться, губы делают легкое движение в сторону, и в это время улыбка бывает необыкновенно милой и доброй.

Она рассказала, что была на фронте санинструктором, два раза ранена. А медали я и сам вижу.

Марии надоело сидеть, она легла на траву, вытянулась и так скатилась с бугра. Ей понравилась эта забава, и она, сняв неуклюжие кирзовые сапоги, стала кататься по траве.

Вдруг в небе раздался одинокий тревожный крик птицы.

– Что это? – испугалась Мария.

– Журавлик, – ответил я, – видно, отстал от своих, потерялся.

Мария перестала резвиться и долго смотрела на далекую точку. Тихо прошептала: «Жалко его».

Послышалась строевая песня.

– Это наши пошли на обед, – зашпешила девушка, – бежим!

Утро выдалось сегодня пасмурное, ветреное, по-настоящему осеннее, и Мария пришла в новом бушлате.

– Через три дня мы уезжаем на фронт, и ты будешь провожать меня до самой станции. Я только на минутку вырвалась. – Сказала и убежала. Но тут же вернулась и, как вчера утром, сжала мне щеки ладонями, крепко-крепко сжала. И тихо сказала только одно слово: «Милый».

Она уже скрылась за красной стеной казармы, а я стою и думаю: «Как же останусь без тебя тут?..»

В казарме я прямо угодил в грибную команду старшины.

Собирать грибы была мука. Я брал все подряд, а когда пришлось их сдавать старшине, он бросал негодные через мою голову и сердито ругался.

Вечером старшина принес новое обмундирование и зачитал список тех, кто зачислен в маршевую роту. Приказано готовиться.

Утром я встретил Марию и сразу сказал:

– Сегодня в двенадцать наша маршевая рота уходит на станцию.

Она сжимала ладонями мои щеки, но когда поняла смысл моих слов, руки ее ослабли и опустились.

– Значит, я тебя провожу, милый, – говорила она и осторожно гладила нежную кожу заживающего на моем подбородке шрама.

– Ты будешь мне писать? – спросил я.

– Чудак мой, – грустно улыбнулась она, – это ж война. Куда напишу я?

Меня позвали в строй. Мария не пошла в свою казарму, осталась у стены.

Говорили зажигательные речи по случаю отправки на фронт. Я смотрел на маленькую фигурку в бушлате и понимал, какую дала она мне душевную силу для солдатского моего труда.

Покормили нас обедом. Собрали мы свои вещи, построились – и шагом марш!

Мы встали с Марией в последний ряд колонны, шли вместе и молчали. Что тут скажешь, когда сердце разрывается от горя.

На станции ждал и сердился паровоз, бил паром по сырому гулкому воздуху, пыхтел.

Простились мы у старого вагона-теплушки, перевезшего на Запад не одну сотню вот таких же маршевиков. В последний раз Мария ладонями сжала мои щеки, до сильной боли сжала. Я взял ее за руки, тонкие, узенькие ладони приросли, прикипели к моим ладоням – и не разнять, не разорвать бы их никакой силе, если бы не вот этот вагон.

Резко, по самому сердцу, ударил гудок паровоза, выстрелил белым паром, хлынула в вагоны зеленая масса маршевиков...

Прощай, мое короткое счастье. Сколько бы ты ни длилось, все равно будешь только одним мгновением в памяти сердца.

Я рыл окопы на стылом берегу какой-то болотной белорусской речонки и дрожал от холода: мы только что форсировали ее и были мокрые и злые.

На фронте сразу же приблизил меня к себе сержант Фомин, сибиряк из-под Омска. Говорил обрадованно:

– Мы с тобой, паря, одного племени – сибирского, родичи вроде. Вместях и воевать будем. – И лицо скуластое, круглое, и «чо», и «паря», и простая доброта – все наше, родное, сибирское обрадовало меня.

Позавчера, перед этим вот броском за речку, я рассказал сержанту о своей девушке, о которой не переставал думать. Фомин достал кисет, голубой, с красной кружевной оторочкой, собрался закурить, но не закуривал, держал кисет, слушал.

– Мария, говоришь. Богоматерь значит, – вздохнул он. – А ведь у меня баба, жена то есть, тоже Мария. Маруся. – И вспыхнуло радостью обветренное лицо моего сорокалетнего земляка. Стал рассказывать:

– На комбайне я робил, а Маруся штурвальным мне помогала. Бывало, чо делаю, она тут рядом. Если нужна помощь, говорю: «Помогай, Маруся». Поможет – дело скорей сладится. Или в лес за дровами поедем. Вместях тоже. Положу бревно себе на плечо – моего плеча мало: зову Марусю.

До войны я на выставку в Москву ездил. Привез ей голубой материи – юбку себе сшила и мне вот на кисет вы-

делила. В праздник не сходит с круга голубой подол. Вот они какие, наши Маруси. Захочу закурить, паря, достану кисет, и так полоснет по сердцу тоска... – Сержант закурил, но кисет не спрятал, положил на колени, придавил рукой, улыбается, скулы от улыбки блестят и морщинятся. Потом наклоняется и доверяет сокровенное:

– Попали мы раз в окружение. Снопиками валит наших немец, не можем пробиться под минометным огнем. Все, паря, думаю, каюк тебе, Павел Фомин. Про дом вспомнил. Да вдруг меня осенило: «Маруся! Помогай, – говорю, – Маруся, шибко трудно мне, без тебя не выбраться». Как тока вспомнил про Марусю, така злость меня взяла, язви ты в душу, горю весь этой злостью. Кричу: вперед, робята, однова помирать. И чо ты думаешь – вырвались. Не все, конечно, но вырвались. Я и подумал: это Маруся помогла. С того в трудный час к ней обращаюсь. В бога не верю, а в Марусю верю. С начала войны воюю – и жив. Думаю и до логова дойти, до Берлина то есть. И ты, паря, верь и молись своей богоматери. За них и воюем.

Это позавчера был разговор, а сегодня лежу я в сыром окопчике и дрожу весь: застыл совсем.

– Чо, дрожишь? – спрашивает сержант.

– Околеваю, – говорю, стуча зубами.

– Ну, раз дрожать умеешь, отогреешься. – И смеется. – На-ка, вот. – Подает сухую рубаху (он сухим перенес вещмешок через воду).

Немцы бьют, густо рвутся снаряды и мины, и нет уже нетронутого места на маленьком пятачке за речкой. К вечеру в нашей роте человек тридцать осталось.

Собрал Фомин всех и сказал:

– Офицеров в роте уже нет. Командовать вами буду я. Сегодня мы удержали наш плацдарм, приказ выполнили. Завтра будет помощь. Убитых хоронить здесь нельзя: вода могилы размоет. Сложите их у берега, а завтра вырвемся отсюда и похороним повыше. Не робей, робята.

Я долго не мог уснуть. И не потому, что был день страшный и холодной могилы этот сырой илистый окоп. Я думал о своей Марии. До такой степени иногда забывался, задумываясь, что в сумерках сырого вечера мне виделся деви-

чий лик: Мария. Мне хотелось тогда подняться и побежать к ней, пусть протянет она мне свои руки...

И вдруг болью резанула мысль: а что, если меня убьют, как убили вон тех, что лежат за нашими спинами у воды, убьют, и не увидят меня ни мать, ни Мария... И не себя жалко стало мне, я солдат, а тех, кто получит казенную бумагу со штампом воинской части. Этот день для них будет чернее ночи.

Я подумал о женщинах, волокущих на себе бочку по жнивью. Придут они домой после трудного дня, а на столе – похоронка...

Но снова вспомнил свою Марию, и опять вернулось в сердце то счастье, что привез с собой на фронт. И забыл тогда и убитых, и мины со своим смертельным свистом, и вонючий ил на дне болотного окопа... Я живу, я знаю, что такое счастье. Закрываю шинелью левый бок, чтобы прикрыть, не застудить там мое счастливое сердце, где навсегда спрятано одно мгновение моей жизни...

Наутро наши подразделения форсировали речку и погнались немцев. Нас в роте заметно поубавилось – были убитые, раненые. Ранен и сержант Фомин.

Я привел к нему медсестру, он просит:

– Ну чо, Маруся, помогай-ка, бинтуй рану.

– Я не Маруся, товарищ сержант, я Клава.

– Все равно ты хорошая девушка, раз помогаешь нам. – А мне шепнул: – Опеть помогла, паря. И тебе тоже, вот живы. Ишь какие наши Маруси. – Улыбки не получается, только скулы блестят. Говорит с грустью:

– Конечно, на такой войне никакой Марусе не отвести от нас смерти, но ты верь. Оно не так страшно, верь, паря, надо верить. Все же кто-то дойдет до логова, до Берлина то есть...

Бывают у человека сокровенные часы, когда он беседует со своим сердцем. Вспомнил я в такой час свою Марию. Грустно мне стало. Сжал свои щеки ладонями, задумался. И показалось мне, что это не мои ладони, а те, узенькие, теплые ладони моей фронтовой девушки, что подарила мне одно счастливое мгновенье в моей трудной жизни.

Радостно и больно об этом вспоминать. Больно. И радостно.

А ПИСЬМА ИДУТ

Связист пулеметной роты рядовой Сметанин писал письмо домой в Сибирь.

«Здравствуйте, дорогая мама Пелагея Дмитриевна, сестра Соня и младший братишка Анатолий. Шлет вам горячий фронтовой привет ваш сын и брат Григорий Архипович.

Во первых строках сообщаю, что вчера был сильный бой с фашистами. Крепко мы им всыпали и отогнали на пятнадцать километров, это как до Быстрихи. Когда я сматывал кабель телефонный после боя, то видел: много трупов лежало то по одному, то кучами, как шли густо. Наших тоже немало полегло. А мне повезло, и я вышел из боя живой и совсем здоровый.

Сейчас мы разместились в деревенской избенке. Стены здесь внутри не штукатурят, а моют и скоблят большими ножами. Это дивно для нас, клопов и тараканов уйма. Ребята улеглись спать на полу и на полатах, некоторые даже от ужина отказались – так устали. Я тоже уморился шибко, но очень хочется ответить на Сонино письмо.

Свету в избе нет, вечер уже, и я смастерил себе светляк солдатским способом: отрезал кусок кабеля, зажег его обмотку. Висит огонек на гвоздике, мне светит. Ничего, писать можно, только ужасно коптит и забивает нос вонючей сажей.

О войне я вам так скажу: гоним войну мы из Белоруссии прямым ходом в Германию. Скоро очистим свою землю окончательно, выйдем к границе. Интересно посмотреть, как там живут народы. У нас я насмотрелся такого, что вовек не забудется.

Однажды прокладываю связь, догоняю роту. Иду себе по опушке, катушка за спиной тарахтит. И вдруг из-за большой сосны выходят мне навстречу четверо людей. Я опешил, остолбенел и за автомат схватился. Такой у этих людей вид страшный был. Оказалось, что это наши люди, белорусы несчастные. Их деревню еще в марте немцы сожгли, а сейчас лето, все это время прятались в лесу в землянках. Страшно худые, оголодали окончательно. Женщина тут же села, ноги ее не держали. Девочка лет пяти вся

синяя от худобы. Старик снял шапку, поклонился мне и попросил хлеба. Все они в зимнем, как убежали из дому в лес, им не жарко, ибо так они истощали, кожа на костях висит.

Развязал я вещмешок, там нашлось лишь два сухаря, твердых окончательно. Подал старику. Тот один дал внучке, а другой разломил женщинам, себе не оставил. Жалко было смотреть на этих людей: они даже сухари грызть не могли, сил не было. Вот какую долю нашим людям принес Гитлер.

Я вам так скажу: трудно вам дома, а есть люди, которым еще труднее.

Не могу писать больше, глаза слипаются и провод догорел. А завтра допишу».

Уснул он тут же, на полу у ножки стола. Сон был беспокойным, все отмахивал что-то рукой от себя и при этом всякий раз задевал за ребро ножки стола и стонал от боли.

Утром Григорий Сметанин проснулся от того, что полоса солнечного света легла ему на ноги, стало тепло.

Утро начиналось светлое, ясное. Из окошка входила в комнату стена розовато-голубого света. Легкие пылинки плавали в воздухе. Напоминало что-то знакомое, родное, домашнее, крепко потянуло домой. Кто-то богатырски храпел в углу, пожилой солдат прибывал подметку к детскому ботинку.

Григорий обулся, встал. Поморщился и ругнулся от досады: подвернулась и давила рубцом невысохшая портянка. Вышел во двор, и закружилась голова от яркого света и чистого воздуха. У колодца ездовые наливали воду в деревянную колоду. Он вернулся дописать письмо, пока не тронулись дальше.

На столе, на его письме, лежал чей-то противогаз в грязной дырявой сумке. Он швырнул противогаз под стол, достал оттуда табурет и сел писать.

«Есть у меня новость: командир роты сказал вчера после боя, что представил меня к награде, орден дадут.

Мама, ты собираешься выслать мне носки теплые. Не надо высылать, у меня есть уже, подарил товарищ. Я его, раненого, тасил на горбу в медсанбат. Назавтра пошел проведать и вещи его понес, но у него одной ноги уже не

было, отрезали. Отвоевался. Он подарил мне носки, новые, шерстяные.

Братишка Толик, слушайся маму и сестру, а то вернусь и спрошу окончательно строго. К бабке Топчихе не лезь в огород, ей и без того хватает горя. А ты, Соня, учись, старайся, надо кончить семилетку. Вернусь после войны и отвезу тебя в техникум, медсестры всегда нужны, да и маму подлечивать будешь.

Ты, Соня, писала, что Райка, моя зазнобушка, крутит любовь с агрономом. Приеду, накручу ей, как соблюдать верность фронтовику. И ему, черту горбатому, навешаю: не тронь чужое. Ладно, это я от горячки написал, пускай крутят и женятся, мне найдется девушка.

А ты, мама, отдай мои сапоги Тольке, пусть носит и бережет, на дороге они не валяются. Сама попроси деда Потапа сши...»

Кто-то завозился на полатах и стал слезать. Но раньше солдата упала с полатей, вывалилась из сумки ручная граната РГ-42, без ручки. Сначала звякнула о пол светлая пластинка от рычага, который обломился на дырочке от чеки.

Граната стукнулась об пол и подкатилась к сапогу Григория. Щелкнул механизм взрывателя, послышалось тихое шипение запала... До взрыва пять секунд, только пять.

Вот она лежит у носка сапога, меньше кулака размером, на серо-голубом корпусе отражается солнечный зайчик, блестит кольцо чеки, остро торчит остаток отломанного рычага... А до взрыва пять секунд.

Григорий чувствует, как тукнуло и забилося чаще сердце. Но испугаться он не успел, весь его мозг занят одной мыслью: надо выбросить в окно. Он хватается рукой гранату, делает торопливо шаг к окну, размахивается... Но тут же замерла поднятая рука: у колодца ездоровые поят лошадей. Не надо, чтобы они погибли. Крохотная случилась задержка. А секунды тают, их уже не пять до взрыва, может, три или меньше.

От окна он прыжком бросается к двери, толчком открывает ее в сенцы и видит: входит туда со двора женщина с подойником, молодое лицо светится в сумерках сенец... Не надо, чтобы она погибла. И опять заминка, самая малая, но это время из тех пяти секунд до взрыва.

Григорий мгновенно поворачивается к шестку русской печи в углу, там яркое пламя обволакивает черные чугуны. Он знает без раздумья, что взрыв разрушит глинобитные стены печи, но осколки потеряют убойную силу. Рука с гранатой прижата к животу, он наклоняется, чтобы наверняка швырнуть гранату в печь. Еще бы полсекунды, даже меньше... Но смертоносное оружие никому не дает отсрочки... Рука бросить не успела. Раздался взрыв.

Закричала перепуганная насмерть женщина и выскочила во двор. Оглушенные взрывом солдаты, спавшие на полу, вскочили и всполошились, ничего не ведая. Вырванная взрывной волной рама вместе с осколками стекла перепугала лошадей, они выдернули поводья и, зажав, понеслись по улице.

В избу собирались солдаты пулеметной роты. Тело рядового Сметанина вынесли санитары на носилках. Там, где лежал убитый, на полу темнела лужица крови. Полоска золотого света, падавшего из открытого окна, была густо окрашена желтовато-синим дымом, пахло вонючей взрывчаткой.

У стола сидел командир батальона и держал в руке листок не дописанного солдатом письма, тут же лежал конверт с адресом. Капитан вложил в конверт листок, заклеил, прижал ладонью. Движения его рук неторопливы, все смотрят на руки капитана.

– Письмо отослать немедленно, а извещение о смерти попозже. Так чья это граната?

– Смычук у нас растяпа, – ответил лейтенант Квасов, – но вина моя, товарищ капитан.

Капитан был немолодой, усталый, нездоровый. Он смотрел на перепуганного солдата и думал о своей вине, прямой, раз вышел такой случай в его батальоне. Потом стал думать о письме, о матери солдатской, которая получит это письмо, будет читать его, не догадываясь, что сына уже нет...

ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА

Мы идем занимать окопы, из которых прошедшей ночью вывели сильно поредевшие батальоны. Белорусское небо густо валит на нас хлопья мокрого снега. Давно

отяжелела и настыла шинель и промокла насквозь шапка. Холодные капли вместе со снегом с шапки стекают за ворот, хотя и без того тело под мокрой одеждой ооченело от ледяной стужи. Ноги с трудом тащатся и скользят по растоптанному до каши снегу. Наши лица озябли, почернели и кажутся припухшими. Сердце сжимается и болит.

У самой дороги на коне поджидает нас командир полка, рядом с ним капитан Микешин, наш ротный командир. Он мало похож на военного, нигде этому не учился, но здесь, на войне, очень пригодились его природная крестьянская сметливость, трудолюбие и отвага, и он дорос до капитана. Командир полка любит и ценит Микешина, и нам от этого частенько бывает несладко: обход, ночной рейд в тыл противника, главный лобовой удар – все выпадает нашей роте.

Высок и строен командир полка, на коне еще более заметна его военная выправка, и рядом с ним Микешин кажется смешным и несуразным. Но это лишь кажется со стороны, нам же лучшего командира не надо.

Конь нетерпеливо перебирает тонкими ногами, тянет поводья, и полковник ладонью похлопывает его по шее, успокаивает. Конь гнедой, высокий, замечательной красоты и стати, прямо глаз не оторвать, но солдаты на такую красоту смотрят мало, угрюмо плетутся мимо.

Далеко от строя отстал невысокий и на редкость неуклюжий солдат. Он всегда тянется позади роты и часто на ходу спит. Командир видит отставшего солдата и весело и нарочито громко зовет:

– Терещенко!

– Шо? – Солдат вздрагивает и выпрямляется.

– Людям на ноги не наступай.

– Угу, – соглашается солдат и начинает торопиться.

Снег, снег, все снег. Холодная промозглая сырость.

– Когда кончится эта мука, мать ее перемать, – сердито шепчут оледенелые губы молодого солдата Лвшина.

– Не горюй, а то совсем околеешь, – успокаивает его ветеран, – придем на позиции, там нас ждут землянки с печками, у каждой печки дров гора. Сухих.

– Федосеич, а правду говорят, что лошади не боятся простуды, никогда от нее не болеют?

– Не болеют. Да и солдаты вот эти не слабее лошади, тоже простуда не берет. Вишь, какое на нас навалилось, почти сутки. А мы идем. Разве потом это солдату отзовется.

– И все ж когда оно кончится?

– Терпи, характер закаляй, а то пропадешь по слабости.

Идут, молчат. Но Левшин от холода молчать не может:

– В баньку бы сейчас, Федосеич, а?

– Будет и баня, давно банщиков выслал старшина. Тут у нас, брат, так заведено: приходишь на передовую, тут тебе и баня, бывает, и больше одной выходит.

– С паром?

– Пару и жару – хоть отбавляй.

К окопам приблизились в сумерках. До траншей доползли по-пластунски по мокрому снегу, плотному и скользкому.

Сырым земляным холодом обдала нас траншея. Одна стенка ее забита откосно падающим снегом, другая блестит желтой глиной, на дне траншеи местами лужицы, а между ними – грязное месиво.

– Где ж твои землянки? Врал, Федосеич? – ворчит Левшин.

– Вот, черти, не приготовили. Банщиков ленивых послали. Ну уж в другой траншее обязательно будут землянки и печки с дровами. Запасайся терпением.

Капитан Микешин приказал садиться всем потеснее и отдохнуть.

– На рассвете мы ударим немцев с тыла, так что вы тут не шибко замерзайте, скоро пригодитесь, – проговорил он шепотом и пошел к разведчикам.

Сели мы на вещмешки: больше не на что. С шапок все капает и капает за ворот. Прислонился бы к стенке окопа, да шинель тогда пристанет к телу, будет еще холодней. Дремали, скорчившись. Сон сильнее холода, валит он и солдата. Это, конечно, сном назвать нельзя, то была какая-то каменная скованность и отрешенность души и тела, измученных до края.

Перед рассветом разбудил нас капитан Микешин, тряся и толкая. Кое-как проснулись. Но встать сразу не-

возможно, трудно разогнуться. Казалось, что не только легкие, но и вся грудь, и живот, и все члены заполнены холодной пустотой, будто вдохнул ледяного воздуха, да и остался он там, оледенил и омертвил все.

Вставали тяжело, чуть ли не со слезами, с руганью.

Капитан Микешин торопил, мы отряхивались от снега и трогались за ним, ковыляя и побряхтывая. Потом бежали или шли скорым шагом, но никак не могли согреться, ногам стало вроде бы теплее, но по спине бежали холодные мурашки, и в душе не таял лед и была пустота.

Небо надежно прикрывало нас тяжелой сырой темной, и мы продвигались уверенно и быстро.

Подошли к болотцу. Капитан шепотом спросил:

– Терещенко, ты здесь?

– Угу.

– Тогда за мной! – Капитан велел двигаться по одному.

Болотце с ледком и грязью, вонючей и страшно холодной, и, когда бывало выше колен, под грудь подкатывала нестерпимо острая боль.

Прошли болотце, залегли. Надо бы переобуться, переменить портянки, но смена в вещмешках была мокрой и смерзлась комом.

Капитан Микешин объяснил обстановку тихим голосом:

– Мы находимся позади немецкой передовой траншеи. После артподготовки роты полка пойдут левее высоты. Вот тут нам и надо ударить по траншее, потом занять высоту и уничтожить там пулеметные точки. Действуем с тылу, надо быть осторожней, драться умело, наверняка. Командиры взводов места атаки знают.

Сквозь снежную муть жиденько пробивался рассвет. Когда началась артподготовка, немцы в траншее зашевелились. По сигналу мы обрушились на врага.

Согрелись, лбы стали мокрыми, хотелось пить.

После боя собрали раненых, согнали в одно место пленных. Командиры взводов повели группы для захвата дзотов на высоте, откуда били пулеметы во фланг наступающим.

Подвел нас лейтенант к дзоту, приказал приготовиться, сигнала ждать.

Терещенко переползал по крыше дзота к амбразуре, неловко задел за железную трубу, из которой шел горячий вонючий дым. Труба качнулась, загремела и вся опустилась внутрь. Терещенко снял свой вещмешок, закрыл им дыру в крыше и захохотал. Пулемет смолк, послышались кашель и ругань. Тут же скрипнула дверь и открылась. Лейтенант скомандовал: «Бросай!» Мы швырнули гранаты и в дверь, и в амбразуру. Внутри дзота стало тихо. Собрали трофейное оружие и спустились с высоты.

Полк прорвал оборону немцев, далеко потеснил их.

К нам, огибая высоту, скакал командир полка. Спешился, подошел к капитану Микешину, снял перчатку и подал руку, капитан сунул полковнику что-то наподобие граблей – такой неуклюжей от холода была его рука. Он ранен в голову, повязка на ране теснила шапку и та, растопыриваясь, напозала на брови, шинель – в свежей грязи и одна пола укорочена в схватке. Лицо черное и в пятнах окопной глины. Рядом с командиром полка капитан выглядит еще смешнее обычного.

Охрипшим голосом капитан доложил, что рота задачу выполнила. Раненых двадцать восемь. Пленных взято сорок два. Убитых в роте нет.

Полковник посмотрел на наши лица, на изорванную в рукопашной одежду, на наши ноги, топтавшие снег, и сказал:

– Успех полка в наступлении зависел от вашей роты. Действовали вы отлично. Благодарю вас за мужество ваше. Родина знает, что вся война на ваших плечах солдатских держится. Благодарю вас еще раз. Главное – у вас нет убитых. Многие из раненых вернутся в строй, а убитых нет. Молодцы. Капитан Микешин отведет вас вон в тот лесок. Отдохните. Когда понадобится, позовем.

В лесу капитан заставил всех натаскать горы сучьев, сам работал вместе с нами и лишь потом разрешил греться.

Сжалилось все же небо, перестало обсыпать мокротой. Бешено разгорались костры, сокрушая хворост.

Приспособились сушиться. От одежды повалил пар, из носов потекла теплая влага. Рота приняла самый непривычный вид: кто босой стоял на ветках и сушил сапоги,

кто огородным пугалом развесил штаны и подштанники и, прикрывая солдатский стыд, натягивал гимнастерку...

– Федосеич, дай закурить, а то мой табак намок, спрягать было некуда, – отогревшись малость, нахально клянчил Левшин.

– Побирушка ты всем известный, – отвечал старый солдат, – но сегодня я тебе дам с охотой, так и быть.

– За что такая ему милость? – спросил сосед Левшина.

– Фрица штыком заколол. На моих глазах. Правда, после фрица на меня штык направил, да я вовремя ему по скуле смазал, вон и синяк слева.

– Прости, Федосеич, я ведь впервые в рукопашной, да и потемки были.

– Потемки-то у тебя от страха были. На, закуривай. Пока закуривали, у обоих прогорели портянки, дыры больше кулака. Левшин в крайнем огорчении смотрит то на прогоревшую портянку, то на Федосеича.

– Пересушили малость, – осуждающе ворчит старый солдат, – поделом мне: не забавляй пустословием.

Подъехала долгожданная кухня, подворачивала к каждому кострищу.

– Наркомовских сто грамм не забыл, старшина?

– Не забыл. Да еще командир полка приказал выдать вашей роте по второй норме.

– Мы не возражаем, нам стоит.

– Слышь, Левшин, давай махнем на твою стопку мою новую портянку, – предложил сосед.

– Катись ты! Брату родному не уступлю. Ух, как она мне нужна сейчас!

Ели усердно. Уже и еды в котелках не было, а все скребли и скребли по донышку солдатские ложки.

– Я и не знал, что перловка – лучшая каша на свете, – бодрился, согревшись, Левшин. – А ты, Федосеич, ругаешь ее, шрапнелью обзываешь...

Сушились, подремывали, сытые. Одежда сохла плохо, лишь парила.

– Хорошо бы в баньку сейчас, Федосеич, а? – приставал Левшин.

– Скоро поведут в баню, одевайся: вон с приказом ординарец скачет.

Вскоре послышалась хриплая команда ротного:

– Приготовиться к походу!

Натягивали на себя мокрую одежду, тесную и холодную. Разгибали окоченевшие от холода и сидения в неловкой позе руки-ноги. И матерились. Доставалось больше всего богу – и за плохую погоду, и за жестокую войну, и за мученическую участь окопного пехотного солдата...

Построились кое-как, капитан Микешин не запрещал докуривать в строю, и окурки мелькали то тут, то в конце строя.

Командир роты осмотрел строй, сказал:

– Что ж, солдаты, пошли. Шагом марш!

Тронулись. Впереди заковылял наш ротный командир в смешно напыленной шапке. Потянуло морозцем, тут же задубели полы шинелей, морщились и задирались носки сапог. Ноги скользили по наледи...

ЕЛОВАЯ ВЕТКА

В госпитальной палате нас шестеро. Перезнакомились. Каждый рассказал, откуда родом, растут или не растут арбузы в том краю, жива ли мать, как зовут девушку на потертой карточке и какой там до войны хлеб ели...

На угловой койке лежит Василий Шамраев. Лицо его бледное, узкое, губы серые и такого цвета, словно сухой дорожной пылью присыпаны. У него тяжелое ранение в живот. Он лежачий. Говорит мало. Но когда слабеют боли, шепчет нам:

– Я ж тут родился. Всего двести километров. – Он нутжно-мучительно приподнимается и, опираясь локтем о подушку, выдает сокровенное свое желание: – Грибков поесть хочется, тех, что мать наша готовит. Мастерица. Поел бы грибков, враз бы выздоровел, встал бы на ноги. – И в глазах его долго не гаснет радостный блеск надежды.

Изредка получает он письма, и всякий раз сообщает с улыбкой:

– Мать наша сулится приехать. Да где ей, старой, осилить таку дорогу, – говорит он и долго лежит с еле заметной улыбкой на пересохших губах.

– А еще мать наша, – продолжает Василий, – коврижки такие до войны готовила... поднесешь ко рту, тронешь губами – тут же и рассыплется. Не, не приедет она, где там.

И все же приехала мать Василия. В начале зимы однажды утром входит с медсестрой маленькая подвижная старушка, халат белый для порядка на нее накинули поверх старенького пальто с вытершимся воротником.

– Господи! – восклицает она, – все стриженные, все в белом – как своего-то узнать. Где ж мой?

А из угла Василий кряхтит от волнения:

– Мать наша приехала. – Засмеялась старушка да в угол, к сыну.

– Ты, Васятка? – Обнимает, целует и смеется со слезами.

Наобнималась, нацеловалась, наохалась и давай нас всех угощать разной снедью. Угощает и приговаривает:

– Домашнего, материного попробуйте. Ну-тка.

– А грибков привезла? – спрашивает сын, засыпанный подарками.

– Суди старую, сынок, – хлопает себя по щекам мать и кается горько: – Забыла, наготовила, как есть, но забыла, – сокрушается бедная, но, спохватившись, радостно сообщает: – И дед твой тут, поглядеть на тебя приехал. Плох совсем, брать не хотела, да куда там – приехал вот, страх.

– Где ж он? – хочет привстать Василий.

– А вот я. – Входит в палату старичок, тоже с накинутым халатом, идет медленно, тяжело шаркая ногами.

– Игде тут внук мой? – Поздоровался с Василием за руку важно, без суеты, обошел палату и всем нам пожал руку своей озябшей нетвердой рукой. Присел на стул, дышит тяжело – старый до края.

Сходили наши за обедом. Уселись мы за столом вместе с гостями.

Дед отогрелся, отдышался, придвинулся со стулом к столу. Посмотрев с опаской на дверь, толкает руку за пазуху и достает четвертинку водки.

– Как тут у вас, строго? – И поднял на свет розоватую настойку. – Это лекарственная водка, штука лечебная. Клюквы я сюда надавил. У нас ею, понимаешь, от всех болезней пользуются, клюквой этой. А водка, костыль ей в

горло, настоящая, пшаничная, до войны куплена. По ложечке не повредит. Тебе, Васятка, первому.

– Нельзя мне, деда. Дай-ка понюхаю, раз клюквой припахивает.

Мать не притронулась к еде, все не отходила от сына, кормила его. Лишь по его настоянию приняла стакан чаю и не столько пила, сколько руки о него грела.

Дед повеселел, придвинулся еще ближе к внуку, заговорил:

– Прощаюсь с тобой, Василий, може, не увидимся... Помирать мне пора пришла, годов много. А вы все живите. Вот довоюете войну, костыль ей в горло, домой возвратесь. Так вот.

– Меня дождись, деда, – просил Василий, но дед только рукой махнул безнадежно: вряд ли, мол.

Прощаясь, мать пообещала:

– Жива буду, приеду еще. Может, к празднику. Тут рядом, как не приехать.

– Грибков привези, – напомнил сын. – А как там родные?

– Уж не забуду, привезу. А родным что деется? Живут. Да слезы льют, горя всем хватает.

И пошли теперь письма Василию с поклонами «солдатам, твоим товарищам. От матери».

В декабре писем не стало. За это время Василию сделали еще операцию. Но стало ему хуже. А за неделю до Нового года Василий умер. Не кричал перед смертью от болей, только стонал и кусал губы цвета пересохшей пыли. И пить попросил. Пока донесли кружку – он готов.

А наутро принесли письмо от матери. Обещает приехать. Уже в конце, после поклонов, приписала, что схоронила деда, своего батюшку. Болела после того долго. Поправится и приедет.

Очень мы огорчились: что будет, если увидит мать пустую койку сына. Посмотришь в угол – сердце обливается горечью.

Вот и последний день декабря, завтра Новый год. Ждем мать.

Утром она не приехала, как в тот раз, и мы обрадовались: пусть она узнает о смерти сына из казенной бумаги,

может, легче будет прочитать похоронку, чем увидеть вот эту пустую койку.

Но вышло не так: после обеда входит в палату «наша мать». Озябла, бедная, совсем застыла. Хочет весело поздороваться, а губ не разжать.

– С праздником, милые, здравствуйте! – А мы молчим окаменев.

Догадалась она, что неладное тут что-то. Прошла в знакомый угол, а там койка пустая серым солдатским одеялом по-больничному заправлена, никого на ней нет.

– А где ж Васятка, милые? – Спросила таким надрытым голосом, что казалось нам, если не ответить сейчас, то не выдержит напряжения ее сердце, разорвется.

А как сказать? Молчим. Потом один из нас выдавил:

– Нету, мамаша, сына, умер твой сын. Недавно.

Ждали, что старушка закричит от горя, заплачет, бросится на подушку, где недавно лежала голова сына. Но она не заплакала, не закричала. Она стояла и испуганным взглядом искала по очереди на каждой койке своего сына, не верила, не хотела верить тому, что услышала.

Не сразу мы заметили, что в одной руке у матери небольшой горшочек в узелке из старенького платка, а в другой еловая ветка, не сразу почувствовали и запах мрозной смолевой хвои.

Мать машинально присела на табурет, не выпуская из рук ни ветки, ни узелка. Посидела так. Встала. Спросила:

– Он, Васятка, ничего не наказывал? – И тут послышалось нам, будто у нее в груди хлипнуло.

Нет, ничего не наказывал рядовой Шамраев перед смертью, молча оставил он свою мать и деревню, и клюкву за деревней на болотах, и грибочки, которые так ждал.

Мать прошла к выходу, там опомнилась, вернулась к столу, поставила на него горшочек, развязала узелок платка. Сказала:

– Вот грибки привезла, не забыла. Васятка их любил. – Прошла в опустевший угол и положила ветку на белую подушку. Долго гладила одеяло, подушку, ветку еловую. Вернулась к столу, взяла платок, тут же на столе стала его складывать и все прижимала, прижимала, разглаживала

изгибы. А руки дрожали. И так плотно были сжаты губы, что и не видно совсем их, а одна лишь скорбная линия.

Потом прошла к двери. Подшитые валенки двигались так тяжело, будто подшиты они были чугунными плитами.

У самого порога повернулась и посмотрела в последний раз на пустую койку в углу, посмотрела и как-то сразу пригнулась, вышла. И унесла с собой горе, никому не оставила его.

Остался лишь горький смолевым запах еловой ветки.

ПЕРВЫЙ РЕЙС

Мы из Козельска едем за обмундированием для маршевых рот в Киров, небольшой городок Калужской области. Ночью к нам из автобата подошла старая полупортка. Поспешно погрузились, поехали. В кабине с шофером сидит полнощекий лейтенант, начальник нашей экспедиции, а в кузове трясемся мы: старшина и два солдата.

Фронт отодвинулся к самой границе, оставил поредевшие, выщербленные деревни, запущенные поля и до крайности разбитые дороги.

Раскочегарил шофер нашу машину, несется она по ухабам, тарыхтит кабиной и кузовом. Вдруг мотор заглох, машина резко сбавила скорость, покрутила немного ошалевшими от тряски колесами и остановилась.

Шофер выскочил из кабины, со скрипом и грохотом открыл капот, нагнулся к мотору, вися на крыле. Грязная гимнастерка оголила белое тело, и на спине обозначились синими пуговками позвонки.

– Это что? – удивляется старшина, с кузова разглядывая сапоги водителя.

Сапоги были старые, изношенные до последнего своего сапожного предела.

– Где ж он, ухарь, взял такие? На каком воинском складе? – продолжает волновать строгого старшину вопрос о сапогах.

Шофер хлопнул капотом, сел в кабину. Но мотор молчал. Видно, не были они, шофер и мотор, соратниками, не привыкли понимать один другого.

– Как там? – спросил лейтенант.
– Толкнуть бы надо, – робко просит шофер.
– Э, черт тебя задери, – ругается старшина, с трудом разгибает спину и нехотя соскакивает на дорогу вслед за нами.

Уже рассвело. Старшина обошел машину, осмотрел ее и спросил с насмешкой:

– Где ж ты взял такую? Недаром говорят: по Сеньке шапка, по едреной матери колпак. Худшей, видно, не нашлось для тебя.

– А что, – отозвался шофер, – военная техника.

Старшина поморщился и отвернулся.

Толкнули машину, мотор выстрелил и затарахтел. Ехали недолго, остановились. И на крутом подъеме.

– Развернем ее и пустим под уклон, – предложил старшина. – Так легче толкать.

Под уклон машина пошла своим ходом, а мы стали ждать, пока она сделает разворот. Но машина сделала лишь половину разворота и уткнулась ржавым носом в старую сосну. И заглохла.

– Вот охламон! – ругнул шофера старшина.

Пока мы подходили, шофер уже побывал под капотом, уже безуспешно покрутил рукояткой. Теперь поджидал нас.

Тут мы хорошенько разглядели его: неказистый парень, ростом невелик, щупленький, носик остренький, волосенки торчат из-под пилотки в разные стороны, слиплись, все лицо измазано грязным маслом, об одежде и руках и говорить нечего.

– Хорош груздь! – сердится старшина. – Каков! Все обмундирование недавно выдали, а сапоги – позор! Продал, что ли?

– Ага, – подтвердил шофер, – эти вот на сдачу дали.

– Ну и гусь, нечего сказать, – ведет дознание старшина.
– И сколько ж ты ездешь на своей военной технике?

– Это мой первый самостоятельный рейс. После трехмесячной учебы, – отвечает непосредственный шофер.

Старшина хлопнул себя по бедрам и присел от такого неожиданного откровения. Лейтенант засмеялся, я открыл рот, а Сорокин, мой напарник, вытянул длинную шею, разглядывал всех.

– Удачно свела вас судьба, – определил старшина, – ничего себе воинская единица: самая старая во всей армии машина и самый молодой водитель. Да еще раззява. А ну, поехали!

Едем. Толкаем. Ругаемся. Сорокин всю дорогу вразумляет меня:

– Ты молчи, понял? Ты помалкивай: наше дело солдатское, самое крайнее дело. Понял? Пусть начальство разбирается. Служба наша идет – что еще надо? Воздух свежий, птички поют, а в полку сейчас на плацу строевой шаг отрабатывают. Нам же лучше, если дольше проедем. Понял? Этот чумазый парень, видно, на нас работает.

При очередной остановке старшина дал шоферу такую инструкцию:

– Водитель ты никудышный, машина старая, так? А местность холмистая. Как услышишь, что мотор задыхается, остановись на холме, наладь что надо, и мы толкнем, если не заведется. Понятно? Раззява.

Встала машина на горке.

– Что? – спрашивает недовольно старшина.

– Ваша инструкция, товарищ старшина.

– Валяй, она, старушка, может, постарается.

Но старушка пробежала немного и остановилась, выдохлась совсем.

– Эх, – огорчился старшина, но ругаться не стал: сам виноват, а где это было видано, чтобы начальство, да еще такое, как старшина, вину свою признавало...

– Ладно, давайте обедать.

Мы уже доедаем свой сухой паек, а шофер все чинит машину, возится с мотором. Подошел, наконец. Старшина ворчит:

– Кормить тебя не за что, но наркомовский паек для всех. Получай.

Проголодался бедный парень, яростно грызет сухую корку черного хлеба и скрябает ложкой по стенкам банки с тушенкой.

Мимо нас шли люди на базар в Сухиничи и с базара с тощими сумками. Два худеньких мальчика остановились у машины. Машина им не нужна, смотрели они, как ест солдат, ведь он ел настоящий хлеб. Да еще с мясом.

Шофер съел лишь половину своего обеда, но, увидев мальчиков, доедать не стал, даже то, что оставалось во рту не разжеванное, он проглотил неожиданно. Разломил оставшуюся хлебную корку пополам, выскреб ложкой и натрусил на хлеб мяса. Подал малышам. Те взяли и, забыв о благодарности, заторопились догонять своих.

Он встал, вытер рукавом гимнастерки рот и резким ударом ноги забросил пустую банку в траву.

Обмундирование нам не дают: документы неверно оформлены. Лейтенант ушел отбивать телеграмму в часть, старшина осматривает разрушенный город, шофер отправился добывать тормозную жидкость. Мы с Сорокиным лежим на веранде нашей квартиры, и я слышу знакомое:

– Наше дело солдатское – загорай себе. Понял? Значит, и придурковатый писарь, что напутал в документах, тоже на нас работает...

Возвращаемся домой по той же дороге и тем же осторожным способом.

Все-таки распряглась наша машина, не везет. Старшина с досады собирает грибы, добродушно-спокойный лейтенант пишет жене письмо, четвертое за дорогу. Сорокин завалился на тюки дрыхнуть, а мне выпало охранять имущество. Шофер направился в село за три километра за техпомощью.

После полудня послышался отдаленный глухой взрыв. Через некоторое время взрыв повторился.

Вернулся из лесу встревоженный старшина, спросил:

– Что такое? Думал, кто из вас на мину напоролся, их тут немало. А где шофер?

Шофер вернулся не один, привел с собой механика, инвалида на деревяшке.

Механик погладил рукой капот нашей старенькой машины, покачал головой. Снял карбюратор, разобрал, промыл, продул. Исправил бензонасос. Осмотрел еще кое-что. Ему во всем помогал наш шофер и так прилежно совал свой грязный нос во все, будто хотел помешать работе механика, но тому, видно, нравилось такое усердие, и он сам показывал всякие хитроумные устройства маши-

ны ее шоферу, который заново все протирал, продувал и под наблюдением ставил на место.

– Заводи-ка, солдат, – сказал механик, когда все было отремонтировано, достал кисет, свернул сигарку, но прикуривать не стал, подождал, когда затарахтел мотор и наш шофер заерзал на сиденье.

– Можешь ехать до самого Берлина, – улыбнулся механик.

– Спасибо вам. – Рот шофера не закрывается от радости.

– И тебе спасибо, – полуобнял шофера механик, когда тот выскочил из кабины. – Геройский ты парень. Зовут-то как?

– Мишка. Михаил Дубов. Томский я.

Старшина, варивший грибную похлебку, отошел от костра, спросил:

– Где ж это он героичество проявил? Может, стянул что?

– Солдат он настоящий. И русская душа. Словом, молодец!

Михаил пришел в деревенскую кузницу и, смущаясь, попросил о помощи. Но механик отказал: идти далеко на одной ноге, а подводы нет. И побрел солдат обратно с большой досадой.

За речкой услышал взрыв. Видит: люди бегут к мосту. Побежал и он. А там старик держит, не пускает возбужденную женщину, уговаривает:

– погоди, Настя, нельзя туда: пропадешь и ты. Кому польза? В район сообщим, пришлют саперов. А так что ж, гибель одна.

Из разговоров Михаил понял: прибежали испуганные дети и рассказали, что в лесу подорвалась на mine корова, которую гнала домой девочка, а что с девочкой, не знают.

Толкнула в сердце солдата чужая боль, сбросил он сапоги и побежал по дороге. У леса остановился отдышаться и увидел на поляне над травой пестреющий коровий бок. Прошел к лесу. На дорожном песке видны отпечатки коровьих копыт и рядом следы босых детских ножек. Слева высокая густая трава. Вот здесь корова свернула в траву и

срывала ее пучками. У старой сосны почесалась, оставила шерсть на коре. От сосны пошла на поляну, срывая траву.

Он подошел к сосне. Что делать дальше? Может, это уже минное поле, рядом лежат эти мины, которые случайно миновала корова... От сосны пошел на цыпочках, стараясь попадать в коровий след. Потом этот след затерялся в траве. Он опустился на колени и еще осторожней стал пробираться, ощупывая пальцами траву и тыча прутиком в землю.

Приподнялся расправить уставшую спину и увидел девочку: она лежала недалеко от коровы. Позвал ее, и ему показалось, что девочка шевельнулась. Это ж совсем близко. Он приготовился сделать бросок, наметил кратчайший путь. Была не была. Глянул себе под ноги и остолбенел: перед ним всего за полшага натянута в траве ржавая проволока, тонкая, еле заметная. Лежит у самой земли и тянется от ствола березы, за который привязана. Другой конец у мины. Заденешь – и взлетишь выше своего роста. Волосы на голове приподняли пилотку. Но разве они в первый раз так приподнимают, всякое бывало на фронте. Отвязал от ствола конец, затаив дыхание, осторожно высвободил из травы тонкую проволоку. Руки аж горят, словно огнем их жжет, когда прикасаешься к ржавой нитке. Смотал всю, и ржавый моток положил на пень повыше, чтобы видно было. Утер со лба пот. И пополз опять на коленях, приминая траву. Полз к девочке и чем дальше полз, тем осторожней шарили по земле мазутные пальцы. Все! Схватил крохотное тельце и побежал по утопанной самим тропке. У девочки перебита нога, она потому судорожно выгибалась от боли, а солдат бежал и бежал, не чувствуя ни страха, ни колючек под босыми ногами...

Навстречу ему стремились люди и впереди всех – мать в сбившемся платке. Ношу его приняли сразу несколько рук.

На дороге стоял он один. Хотел идти в деревню, но вырос перед глазами моток проволоки на пеньке. Но возвращаться в лес не хотелось, даже нашел утешение: пришлют саперов, раз обнаружено минное поле. И уйти было неловко, получалось так, будто он приготовил для кого-то эту мину, ведь жители не знают, зачем здесь моток проволоки. Скорей всего пострадают ребяташки, они снуют всюду. И вернулся.

Прошел к знакомой березе. Осторожно. Вот он ржавый моток рогатится одним концом. Нагнул ниже стоявшую тут лозину и ободрал кору. Из лыка сделал прочную веревку. Протянул руку к проволоке, а страх так и толкает сердце, холодит. Связал проволоку с веревкой и быстро отбежал, насколько было возможно. Страх не проходил, казалось, что кругом эти мины, что они могут быть рядом, стоит наступить и...

– Ну, была не была. – Сказал и лег. Набрал воздуху для храбрости, уткнул лицо в траву и дернул за свою лыковую веревку. И сразу вздрогнула земля, посыпались на него куски сырого дерна, запахло болотной лесной прелью...

Поднял голову, огляделся: в траве чернела яма, на белом стволе березы налипли грязные куски. Все, можно идти.

Спустился к реке и стал горстями бросать в лицо воду. Долго пил, будто хотел залить то, что еще горело в груди, пекло.

Его окликнули с моста: это механик стоял и скрипел своей деревяшкой.

– Пойдем, солдат, помогу твоей машине.

– Ты что, сапер? – спросил Сорокин.

– Не, я в пехоте воевал, почти год. Это из госпиталя попал на курсы шоферов.

– Ну и черт! – весело удивился старшина и так хлопнул по плечу сидевшего на корточках шофера, что тот упал на спину. И улыбнулся. И тогда мы увидели, что у нашего замурзыканного шофера самая что ни есть девичья улыбка – ясная и необыкновенно милая. И веселые серые глаза.

Утром поехали домой, и наша машина обгоняла ветер.

– Военная техника, – одобрительно сказал старшина, потом восхищенно добавил: – Ну и черт!

РУССКИЕ ДЕВОЧКИ

Мы опоздали на автобус. Вышли на окраину райцентра, рассчитывая добраться домой на попутных. Сидим на обочине, разговариваем, не отрывая взгляда от улицы, откуда выходит дорога.

К большой радости, вскоре увидели мы голубую «Волгу».

– Наша! – не скрывает удовольствия мой коллега.

В машине только двое, заднее сиденье свободно. Нет никакого сомнения, что нас возьмут. Правда, Василий Петрович поднял руку, но это так, просто по дорожной привычке.

Но машина не остановилась, даже не сбавила скорости. Только чуть скосил глаз в сторону шофер, а шеф посмотрел куда-то вверх наших голов, поудобней уселся на мягкой подушке сиденья и зевнул.

Василий Петрович повернулся в сторону умчавшейся машины и долго смотрел на облачко пыли, подголубленное выхлопными газами; облачко рассеялось, рука Василия Петровича опустилась.

– Видел гуся! – сказал коллега. – Это председатель соседнего колхоза. Барина повезли. – В голосе Василия Петровича крайнее удивление, горькое и неожиданное.

Мы снова сидим на кромке кювета. Коллега не может скрыть досады:

– Я ж учу его детей. И он их учит.

Была суббота, выходной день, машины шли редко.

Василий Петрович сидел молча и сухой былинкой ковырял песок. Паутиной прижилась на его висках проседь, темнели морщины на шее. Я знаю, как износила его учительская работа, ради которой он не жалеет себя. За многие годы целый полк людей научил он математике.

– Почему не остановился? – мучил себя вопросом Василий Петрович.

– Не узнал, видно, – хотелось мне утешить товарища.

– Все равно. Почему не остановился? Кто он такой? Не остановился – это полбеды, страшнее другое: если бы вот здесь стояло его начальство, он бы не только остановился, место свое уступил бы и даже открыл дверцу – пожалуйста, мол.

Не имеет права человек проехать мимо человека. Так жить нельзя. Не может человек быть выше человека.

Василий Петрович воодушевился и стал рассказывать:

– Был я ранен в Вильнюсе. На санитарной машине привезли нас в Молодечно, небольшой белорусский го-

родок, в госпиталь. Привезли в полдень, а перед вечером появилась над городом «рама», немецкий самолет-разведчик.

Мы, фронтовики, знали, что это такое, но, будучи вдали от передовой, значения этому факту не придали. А напрасно, ибо в тот же вечер, по их немецкому правилу, прилетели бомбардировщики. Еще не совсем заря догорела, как самолеты повесили осветительные ракеты и стали бомбить город.

Мы еще не все поужинали – какой тут ужин. Кто мог, бросились в бомбоубежище, единственное на территории госпиталя. Тяжелораненые остались в палатах, их куда было вынести.

Когда на человека падает бомба, ему хочется зарыться в землю, чтобы не слышать противного страшного воя. А тут разрыв за разрывом. Две бомбы упали на госпиталь. Вход в убежище завалило землей. Стало тяжело дышать. Мы ждали прямого попадания, но все обошлось. А каково было ждать! Уже на рассвете нам помогли выбраться на воздух.

Эта короткая июльская ночь была самой длинной в моей жизни. Легче самому было перенести бомбежку, чем видеть потом картину разрушения. У самого входа в убежище лежали две девушки-санитарки: их убило, когда они несли ужин раненым. Посреди двора чернели две воронки от бомб. Палата с тяжелоранеными превратилась в груды обломков фанеры, досок и... человеческих тел, живых и мертвых. Да.

Подошла машина с солдатами, стали спасать раненых, увозить их. Но всех увезти не могли, и начальник госпиталя, женщина, поседевшая за эту ночь, раздала нам истории болезни и посоветовала добираться до Минска на попутных.

Приехали в Минск, а там сутолока: «рама» прилетала только что. Нам не надо объяснять, что это за птица, отправились дальше. Вечером, усталый и голодный, я постучал по кабине, попросил остановиться, распрощался с шофером и пошел в деревушку, видневшуюся в стороне. У меня не было денег, никаких вещей, но я хотел есть и надеялся на русское милосердие.

Деревушка небольшая и до крайней степени потрепанная войной. Я шел мимо домов и все никак не мог заставить себя зайти и попросить еды. Понял, что не попрошу, и решил: пересплю натошак, дали бы только ночлег.

Сел у похилившегося тына на лежавшее бревно и тут же был окружен ребятишками, женщинами, даже старенький дед пришел. Я видел, с каким состраданием рассматривали люди молоденького фронтовика с забинтованной головой и челюстью, трогали руками темные пятна засохшей крови на гимнастерке, вздыхали.

Мне хотелось есть, и я ждал, что сердобольные русские женщины принесут что-либо. А они спрашивали о фронте: далеко ли немцы, крепко ли побили их наши... Я разговорился, и как-то само по себе вылилось пережитое в госпитале прошедшей ночью. Женщины еще плотнее сдвинулись около меня, еще громче вздыхали.

Стемнело, сил сидеть у меня уже не было. Я попросил:
– Поспать бы где.

– Да хоть к нам иди, – предложила больше всех вздыхавшая женщина. – Соня, отведи его под навес.

Девочка привела меня под навес, в потемках расстелила сено. Я лег и сразу уснул таким крепким сном, каким может спать молодой человек после бессонной тревожной ночи.

Проснулся поздно утром, когда услышал во дворе голоса. Это из дома вышла Соня, она держала на ладони три испеченных картофелины. К ней подошла такая же беленькая и такая же худенькая девочка, младшая сестра.

– Дай картошки, Соня, я хочу есть, – попросила сестра.

– Нельзя, – ответила старшая, – раненому солдатику несю. – Но девочка жалобно хныкала, ничего не хотела признавать, просила. Тогда Соня выбрала и дала ей самую малую картофелину.

Войдя под навес, Соня поздоровалась со мной, улыбнулась, положила две картофелины на разостланное на сене старенькое полотенце с потускневшими петухами. Подала умыться.

Я смотрел на младшую, сердце мое щемила жалость. Девочка приняла картофелину обеими руками, как редкостный дар приняла, торопливо откусила прямо так, с

кожурой, откусила, но не стала есть, а держала кусок губами и смотрела на меня. Потом вынула изо рта откушенный тот кусок, приложила его к картофелине и стала пальчиками затирать шов. Положила картофелину на ладонь и бережно принесла к нам под навес.

– Вот еще, – сказала она тихо и положила на полотенце картофелину рядом с двумя.

Только сейчас я понял, почему вечером никто не принес мне еды: нести-то было нечего.

Я сидел на сене, знойном и пахучем, а передо мной стояли девочки, крайне истощенные. Хотелось отказаться от еды, отдать назад, но было ясно, что после того, как эта худенькая маленькая кроха отдала свой кусок, вынула его изо рта, не примут они моего отказа. Тогда я сказал:

– Садитесь вот здесь, будем завтракать.

Девочки сели.

– Вы знаете, как солдаты делят хлеб? – Они не знали.

Я спрашивал: кому? Катя называла, отвернувшись. Разделили по-солдатски. Я сделал так, что мне досталась самая малая доля, надкушенная картофелина.

Очистили каждый свою, стали есть. Ели и смотрели: я на них, они на меня.

– Соли у нас нет, – призналась Соня.

– Ничего, – ответил я, – и так вкусно.

Помолчали.

– А вот здесь, – сказала младшая, – нашего дедку убили. – И она показала на старый плетень, прислоненный к бане.

Кусок остановился у меня в горле. Девочка не по-детски вздохнула.

– Не вспоминай, Катя, – укорила сестра, – а то опять во сне кричать будешь.

Я поглядывал на детей и думал о том, какое горькое детство им выпало. Пережитое запало в душу на всю жизнь.

У меня болела голова, дрожью по телу пробегал озноб. Хотелось прилечь и отдохнуть под этим навесом. Но я знал теперь, что снова принесут еду дети, от себя оторвут и принесут. И я решил уйти.

Смотрю на девочек. До чего ж худенькие: на руках и на шее видна каждая жилка под бледной кожицей. Глаза серьезные и запавшие глубоко. На младшей уж совсем старенькое платьице и без единой пуговицы. Только у самого верха ворот был схвачен суровой ниткой.

Я попросил нож и от своей нательной казенной рубахи отрезал все пуговицы. Правда, они великоваты для детского платья, зато такие яркие, перламутровые, и девочка обрадовалась, стала пересыпать их из ладони в ладонь и тихо смеялась, когда они звенели.

Больше мне нечего было дать детям.

Они проводили меня до шоссе. Я пошел дальше, а мне вслед глядели сестры. Младшая одной рукой козырьком прикрывала глаза, а в другой зажимала мои солдатские пуговицы...

ДОМОЙ!

Весть о конце войны Ваня Власов встретил в желто-сером песчаном окопчике, где прятались они от минометного огня. Их осталось двое из оружейного расчета. Уши болели от разрывов мин, и солдаты не сразу поняли то, что кричал им лейтенант:

– Все! Конец войне! Капитуляция! Ко мне, славяне!

Утром на другой день Ваня Власов ликовал вместе со всеми, подставлял щеки для поцелуев чешским женщинам, чокался крышкой от котелка с заплетенной бутылкой вина, которую принес на площадь старый чех, и стрелял из автомата в небо. А оно чистое, и на земле солнечно, тепло.

Бесконечно долгой была война, и не так просто было сразу поверить, что она все же кончилась, еще железная скованность держала душу окопного солдата в напряжении. Так продолжалось, пока стояли за границей. И хотя не надо было стрелять, рыть окопы, прижиматься всем телом к земле во время бомбежки, спокойной радости не было.

И вот ему дали отпуск, одному из первых в дивизионе, и он едет домой вместе с демобилизованными по возрасту однополчанами.

Он слушает перестук вагонных колес и шепчет: «Неужели я еду домой!» Трогает рукой отпускные документы в кармане гимнастерки и, улыбаясь, думает о доме. Поезд все дальше увозит его от войны, все ближе к родной деревне.

Но раз он едет домой, значит, и в самом деле кончилась эта проклятая война. Душа за дорогу понемногу отходила, и новое настроение наполняло ее.

Не дано даже на войне человеку в двадцать лет задумываться о том, что его могут убить или искалечить. Это уже потом, когда он проживет еще столько, вдруг однажды холоднее ледяного холода обдаст мысль: а ведь и меня могло бы вот так же убить, как тех, кто в неглубокой придорожной могилке наспех присыпаны сухой комковатой глиной. Могло бы быть. И так гулко тогда застучит сердце, чуткое к памяти. А память эта все виденное и пережитое накрепко сохранила до самой малой царапины.

Проезжали Румынию. Поезд остановился на небольшой станции. У самого перрона прибоем шумит разноцветный базар.

Ваня Власов вышел из вагона. Синело небо, пригревало уже солнышко, пахло влажной осенней зеленью. Он вдохнул во всю грудь свежего утреннего воздуха и сладко потянулся.

Любо ему глядеть на далекие горы в легком тумане, на белые домики под красными черепичными крышами, потемневшими после сырой ночи. И вспоминается ему его степная деревушка и домик с дерновой крышей, над которой на длинном шесте покачивается старый скворечник... Громкоголосие праздничного скопища людей напомнило ему одно летнее утро, когда они с матерью шли на сельскую ярмарку в большое село. Денег у матери немного, но она все же уважила его просьбу и купила ему матросскую бескозырку, и завидовали тогда ему все сверстники... Интересная картина отвлекла его от дум. Два цыгана ругались до хрипоты и тянули хромовый сапог каждый к себе. Чем же кончится эта сцена? Ваня подошел ближе и, открыв по-детски рот, разглядывал цыган.

Сквозь базарную сутолоку пробирался к русскому солдату мальчик лет двенадцати. На маленьком румыне

изношенная куртка, грязные штанишки, из которых он давно вырос. В руках у него старенькая скрипка.

Подойдя ближе, мальчик спросил по-русски:

– Что вам сыграть, товариш?

Мальчику, разумеется, надо было заработать на хлеб. Ваня хотел дать ему денег, дать и пусть идет себе дальше. Но увидел глаза, мальчика и глубокую и гордую печаль, устоявшуюся там, увидел и не посмел дать милостыню, не хотелось обидеть человека. Что ж, пусть играет.

Первые звуки заставили Ваню вздрогнуть, будто к сердцу прикоснулись длинные тонкие пальцы музыканта. Что же такое случилось с ним? Ведь он молод и здоров, едет домой в отпуск, где его ждут родные, и сердце его переполнено победным счастьем. Почему же не может он оторвать взгляда от старенькой скрипки, чем, какой силой очаровала она его?

Мальчик водил смычком по струнам, они то печально стонали, то рыдали, раздирая душу знакомой болью. Эта боль приходила всякий раз, когда видел он человеческое горе, и тогда гневу не было предела. Вот так же болела душа, когда на его глазах осколком немецкого снаряда убило девочку во дворе дома в литовской деревне. Вот так же болела она, когда он видел в белорусском городке взорванную карателями школу с крестьянами, помогавшими партизанам продовольствием. Обломки бревен, кирпича, досок, валявшиеся то кучами, то вразброс, а между ними живые и неживые изуродованные человеческие тела... Долго потом не находил он покоя.

Музыкант, крошечный, невымытый, не щадил солдатское сердце, наболевшее своей и чужой болью. И Ване тяжело видеть рваный рукав куртки, что опустился до локтя и обнажил худую ручонку с потеками засохшего пота, уже не оторвать взгляда от этих черных глаз, где застыла трепетная сосредоточенность на чем-то недетском...

У Вани похолодела спина, когда увидел босые ноги мальчика, они тонули в грязи, посиневшие пальцы шевелились от осеннего холода, а между пальцами чернела языками свежая грязь.

Вновь пережитая боль переходила в жалость ко всему живому и к себе. И он решил... Это решение было внезап-

ным и горячо взволновало его. Он поднял голову и увидел сквозь влажную пелену, затуманившую его глаза, что их окружала толпа, не базарная, а своя, русская, фронтовая. Это ободрило его, он повернулся и поспешил в вагон.

Мальчик перестал играть, устало вздохнул, и опустил голову и руки, и ветерок шевельнул его густые волосы над бледным лбом.

Было тихо, ни звука не было слышно. Только чавкала грязь под ногами юного музыканта.

В тишине раздался звонкий Ванин голос:

– Посторонись, славяне, пропустите!

Он протиснулся сквозь живой круг, подошел к мальчику и без всяких слов поставил перед ним совсем новые солдатские сапоги, застеснялся вдруг и скрылся в толпе рядовой Власов, орудийный номер третьей батареи, молодой курносый, конопатый паренек из степной сибирской деревушки.

Живая стена шевельнулась и посыпались от солдат в руки мальчика, румынского музыканта, банки консервов от дорожного пайка, новые портянки, румынские деньги – словом, все, что вынесли солдаты для базарного обмена. Мальчик оторопело совал все это в сумку, за пазуху, в карманы. Кто-то принес вещмешок и стал помогать складывать туда оставшееся.

Подошел старый рабочий, смазчик вагонов, с масленкой, постоял, посмотрел на мальчика, на вещмешок у его ног и нетвердо сказал:

– О, русский солдат я знаю... я бил плену Самара. Да, в шашнацатый год. Русский корошо. Да.

Музыкант посмотрел на сапоги, кирзовые, связанные за петельки веревочкой, переступил с ноги на ногу и стал торопливо вытирать о траву свои грязные ноги. Потом неумело, смешно навернул портянки, обулся. Потопал ногами. И засмеялся... Солдаты заулыбались – спало напряжение.

– О, я много буду играть на вас, – радостно говорил взволнованный мальчик, – я много знаю русский песни, я учил у русский солдат в комендатура.

– Давай русские, паренек.

– Как звать тебя?

- Михай. Ми-хай.
- Миша, значит. Режь, Мишка, русское. Давай!
- О, я много давай играй. Много!

И совсем по-другому запели струны старенькой скрипки: они с веселой грустью рассказывали о далеком огоньке у девушки на окошке, о фронтовой землянке с пачуркой, о темной ночи с гудящими проводами...

Поезд уходил на восток, в Россию. И пока набирал он скорость, рядом с вагонами бежал мальчик, часто спотыкаясь в больших солдатских сапогах. Одной рукой он прижимал к боку зеленый вещмешок, в другой держал свою скрипку и махал нам ею на прощанье. И плакал, и улыбался...

Целый перегон Ваня Власов, отвернувшись от всех, смотрел в окно...

СЕРДЦЕ ЗНАЕТ

Рано утром легкий ветерок приносит в палату свежий запах росяного настоя зрелых трав и спелых ягод, крепнет, постукивает рамой открытого окна, поднимает занавески, треплет их и, хлопнув дверью, отправляется по коридору, попутно сбрасывая со стола дежурной сестры бумаги.

Блаженно потягиваюсь на госпитальной постели после крепкого сна, лежу и слушаю, как листья на деревьях то тихо шепчутся, то шумно шелестят. Прилетели птички, беспокойно возятся, радостно поют на разные голоса. Хорошо! Только иногда на короткий миг холодком обдаст сердце ужас пережитого на фронте, но как услышу этот шум листвы и птичьи голоса, страшное забывается сразу. Забывается потому, что мне нет еще и девятнадцати, потому, что я живу, вижу небо, слышу за окном жизнь, и мою душу врачует солнышко...

Шли дни, заживали наши раны, и мы спокойно жили в довоенном доме отдыха. Лишь ночью иногда закричит кто-нибудь, кому во сне пришлось пережить пережитое. Проснусь от крика, вспомню своих ребят из пулеметной роты, что сейчас на 3-м Белорусском в окопе на сырое дно усталостью и сном свалены, подумаю о них. Погрущу о доме. Но сам себе накажу, засыпая, обязательно прос-

нуться, когда рано утром в палату придет сестра Вера, красивая необыкновенно, молодая, и надо быть последним простаком, чтобы спать, когда она стоит над тобой и пристраивает тебе под мышку холодный градусник. Обидно, что она с нами почти не разговаривает, будто не замечает. Но все равно мы просыпаемся и откровенно пялим на нее глаза. Она молча собирает градусники, записывает нашу температуру, которая тут же поднимается, наверно, когда она уходит плавно и величаво, а мы провожаем ее взглядами, как царицу, и долго потом стоят перед глазами длинные девичьи косы.

На другой день дежурит Наташа, и мы крепко спим в этот ранний час, потому что таких рыжих и некрасивых повидали немало. Правда, голос у нее особенный, грудной, ласковый, тронет порой чем-то теплым сердце солдатское, напомним полузабытое, давнее. А посмотришь – ох и рыжая! И отвернешься.

Наташа дольше своей подруги задерживалась в палате: то одеяло поправит, то воду для цветов сменит, то с тумбочки крохи махорки на бумажку соберет... А все же – рыжая.

Вошли однажды в палату наши сестры и попросили помочь собирать малину на подсобном участке при госпитале. Мы шумно высыпали во двор. Девушки взяли корзины и пошли в разные стороны к участку. Все мы, разумеется, потянулись за красивой Верой, но потом, устыдясь, такой бестактности, с укором дергая один другого за рукав, разделились на две группы.

Отрадная эта работа – собирать ягоды. Вспугнешь сердитую пчелку, осторожно отделишь мягкий комочек в пупырышках – и в рот. Сначала наелись, потом наполнили корзину. И раньше вздыхателей – так мы из явной зависти назвали Верину группу.

Сели под орешником, обобраным ранеными раньше срока, повели солдатские разговоры...

К нам подошел Остапчук, наш товарищ по палате, но по сердечному велению приبلудившийся к вздыхателям.

– Ну что, – спросили мы, – везет?

– Хиба ж там повезе, як цилый взвод окружив дивчину. – Он сел и шумно вздохнул. Потом добавил: – Гарна дивчина, а очи, як угли, горять и спать по ночам мешають.

Наташа посмотрела на Остапчука и не сдержала досады:

– Есть же на свете такие счастливые. – Глаза девушки засветились обидным холодом.

Она отвернулась, обняла колени и склонила на них голову – сиротской такой казалась эта поза.

Нам было неловко: ведь это мы виноваты, что выделяли одну, обижая другую. Стали утешать, говорить привычное: мол, не в красоте дело, что сами топориком тесаны, не красавцы, да живем, не тужим. Наташа остановила наши речи:

– Все это слова. Так вы только говорите, а бегаете за теми, у кого красивые глаза да длинные косы. Меня вот никто не полюбит, потому что я рыжая. Что, правда? Ну вот ты, хохол, женился бы ты на мне?

Остапчук такого вопроса не ожидал, оторопел на миг и с удивлением стал разглядывать девушку. Потом принался:

– Гм... зараз мэни батько не дав бы, бо рокив мало, ось пидрасту – и подывлюсь на тэбэ: як нэ лядача и добра хозьяка, то и посватаюсь.

Наташа поднялась. Остапчук вскочил, встал рядом, взял девушку под руку, другой рукой поднял корзину на плечо и спросил:

– Як, хлопцы, добра пара будэ, га? – Все засмеялись, загалдели, повеселела и Наташа.

Такими мы возвратились в госпиталь.

В палате увидел я на койке у окна, что пустовала рядом с моей, новичка. Голова забинтована, оставлено отверстие для рта и носа. Молча и неподвижно лежал он на высоких подушках.

Прошел день, другой, а раненый молчит, не говорит ни слова. Ест мало, а если сестра настаивает, он сердито отводит еду в сторону.

На третий день сделали ему операцию, после нее он не знал ни минуты покоя. Но лишь у самой его койки можно было услышать скрип зубов и приглушенный стон.

Все так же по очереди приходили в нашу палату сестры, все так же молча совала градусники Вера, собирала их и уходила, оставляя горькую досаду в сердце. Лишь

один мой сосед не смотрел, как она уходила, потому что не видел. А Вера и с ним была такой же спокойной, и, когда он ронял градусник, она поднимала, не посмотрев на больного.

Зато Наташа все чаще задерживалась у койки новичка, то подушку приподнимет, то осторожно поправит бинты, а потом отойдет и смотрит, что бы еще сделать.

Как-то принесла Наташа книжку, и никто из нас не ушел из палаты до самого обеда, хотя и манила в сад чудесная погода. Мы слушали, как она читала. Редкостный голос был у нее, и ложились слова в душу, крепко западали туда...

Наташа часто прерывала чтение, уходила по своим делам, и тогда мой сосед ворочался, сдавливая стон.

Проснулся я однажды в полночь и слышу: у самого моего уха разговаривают. Из приоткрытой двери падала полоска света, и я увидел Наташу: она сидела на койке соседа и понуждала его что-то рассказывать, он тихо говорил и даже засмеялся.

Я отвернулся и постарался уснуть поскорее.

А утром услышал первые его слова:

– Ты не спишь? Как зовут? Где воевал? Куда ранен? – Я ответил и порадовался, что товарищу стало лучше.

После второй операции Алексей громко стонал и ругался, не спал всю ночь, мы тоже не спали.

Не спала и Наташа. Она успокаивала больного, поднимала его голову на подушки, которые мы собрали на койку больного. Подносила и терпеливо держала стакан воды у рта, пока пил.

Вот здесь я в первый раз понял, как много значит в жизни нашей женская доброта и кропотливая их забота, понял, почему человек так любит мать...

Больной метался, пытаюсь сорвать с головы бинты, Наташа гладила его руки, придерживала их.

К утру все мы уснули. Разбудила нас начальник отделения. Она вошла, оглядела палату и остановилась перед Наташей, которая спала, наклонившись на тумбочку. Всегда строгая с нами, врач теперь нежно, по-домашнему, приподняла голову сестры и взглядом велела мне подложить на тумбочку подушку.

Остапчук сказал:

– За це медалью наградять треба.

Шли дни, мы уже подумывали о выписке. Лучше стало и моему соседу. Копну бинтов заменила легкая повязка на глазах. Повеселел, часто рассказывал о своей Волге, окая и покряхтывая.

Изменилась и Наташа. Она чаще стала приходиться к нам в палату и дольше задерживалась. Для нее мы стащили у завхоза мягкое кресло, она садилась и рассказывала всякие истории из госпитальной жизни, а то читала маленькие книжки – приложение к «Огоньку». Мы так привыкли к ней, что скучали без нее.

И странно, я стал замечать, что не всякий раз, лежа в постели, торопился подняться, когда входила в палату красивая Вера.

В вестибюле висело объявление, что вечером состоится концерт, что кроме шефов в нем примут участие раненые и обслуживающий персонал госпиталя.

На слабо освещенную лампой сцену вышла высокая девушка и запела «В лесу прифронтовом». Зал затих, замер. Песня трогала, и непрошенная соль комом подкрадывалась к горлу, сушила его.

Вспомнил мать, которую недавно видел во сне, и все это время тревожился, не случилось ли чего с ней, не заболела ли моя старушка. Вспомнил – и сердце защемило, заволновалось. Нагнулся и увидел, что сидевший рядом Остапчук мнет до хруста пальцы и покашливает.

А девушка пела. Я смотрел на нее, и была она мне такой родной, что казалось, будто не для всех, а лишь для меня одного она так душевно поет, что мы только вдвоем...

Она кончила петь и растерянно смотрела на притихший зал, не знала, куда спрятать руки. Люди какое-то время молчали, потом пушечно грохнули в ладоши, и тусклый язычок пламени в закоптелом стекле керосиновой лампы, стоявшей на рояле, дрогнул и зачадил паровозом.

Девушка пела и пела. И что за голос такой дивный. Неровно, с какими-то чарующими перепадами, чисто звенел он и проникал в душу до самой глубины, в которую не часто заглядывает человек из-за суеты житейской.

Она пела наши любимые фронтовые песни. Те песни я помню и сейчас, и не забуду, как не забывается юность.

Меня толкнул Остапчук.

– Дивись, – заорал он, – та цэ ж Наташа, наша сестра!

Ее узнали теперь все даже в полумраке. Наша и не наша. Так хороша была она в своем зеленом темном платье. Узнали и кричали:

– Наташа! Наташа! – Она смутилась и убежала со сцены. Но вернулась по просьбе раненых и пела снова, улыбаясь устало, и была красива...

Вдруг резко открылась стеклянная дверь в нашей палате на втором этаже. Мы вздрогнули и повернулись на стук. Наташа охнула и умолкла, прижала к груди руки.

Алексей вышел из палаты, пошатываясь и разводя руки в стороны. Подошел к балюстраде, облокотился.

– Пой, Наташа, – сказал умоляюще, – я узнал твой голос. Что ж ты не поешь?

Мы смотрели на девушку. Освещенная лампой, она подавалась вперед и, ломая руки, смотрела на солдата с повязкой на глазах. И все видели, как она страдала за него в этот миг.

Алексей постоял немного и махнул рукой, выражая какое-то свое тяжелое чувство, резко повернулся. Няня увела его в палату.

Концерт продолжался, но Наташу мы не видели.

Она пришла утром. Услышав ее голос, Алексей приподнял ее на подушке. Раненые окружили Наташу, а рослый Остапчук приподнял ее, поставил на стул и восхищенно пробасил:

– Ось ты у нас яка! – И категорически потребовал: – Спи-вай! Цэ лучше всех лекарств.

Наташа смутилась, отказывалась, но пообещала, что споет вечером.

Остапчук разыскал баяниста из подсобных рабочих.

И повелось у нас так: после ужина Наташа пела, и трещали, и скрипели койки в нашей палате от насевших на них раненых из других палат. Приходили врачи, приходила старенькая кастелянша, выдававшая нам по своей доброте тайком пижамы для прогулок в город в запрещенное время.

А когда все расходились, когда в палате становилось тихо, Алексей расспрашивал меня о Наташе. Ему она ка-

залась такой же чудесной вся, как и ее голос. Хотелось ему знать, какие у нее глаза, как она ходит. Ведь знал он лишь одно: руки ее теплые. Да голос слышал.

Я расхваливал ее чистосердечно, только не сказал, что она рыжая, потому что сам не замечал этого.

Но вот Наташа перестала приходить на работу. День, другой, третий. Заболела она, но мой сосед по другой причине тревожится, не спит ночами, ворочается.

– Что с тобой? – спрашиваю.

– Эх, – отвечает, – крепко вошла она в мое сердце. Понимаешь?

– Так и скажи ей, – посоветовал я.

– Сказал, – тихо и горестно ответил он.

– А она?

– Заплакала и убежала. С тех пор и нет ее. Да кому нужен слепой. – Он крепко, по-окопному выругался и отвернулся к стене.

Мне сказали Наташин адрес, и я попросил у замполита увольнения в город.

Наташа встретила меня тревожным вопросом:

– Что-нибудь с Алексеем?

Успокоил ее и повел неловкий разговор.

Выслушала она молча. Встала, подошла к окну и долго смотрела на дорогу, на широкий луг за Окой. Я с удивлением заметил, как хороша она была в домашнем платице, каким милым было побледневшее от болезни лицо. Волосы отливали нежным цветом гаснущей за окном зари, шея белая и налита молодой розовой силой. И я с досадой подумал: какие раны медицина вылечивает, а веснушек обыкновенных вывести не может. Обидно.

Наташа отошла от окна, села на кровать. Прилегла на подушку и заплакала, слезы покатались по щекам.

– О чем ты? – удивился я.

– И мне он по душе. Умный. Ты послушал бы его. Сильный. Сколько вынес, страдает каждую минуту, а отпустит боль – и видна доброта его. Трудно жить ему, а не злобится на судьбу. Нам вот хорошо, все видим и радуемся, а ему с таких лет в темноте каково. Но его не сломишь. Ему бы человека хорошего рядом, который бы себя не пожалел. Чтоб душа в душу...

– Я не для лести, Наташа, скажу, что тебя очень раненые любят, вот ты бы с ним могла... Душа у тебя светлая. – Я крепко сжал ее руки.

– Боюсь я, понимаешь? Боюсь, что узнает, что я некрасивая, рыжая. Он же не видел меня. Что будет, если узнает? Тогда не любовь у него будет в сердце, а благодарность за заботу о нем.

Вернулся и тут же все рассказал Алексею о Наташе, черной краски подбавил и красной не пожалел да так густо, что стыдно стало, умолк. Алексей улыбался, покряхтывал, затем потянулся до сладкого хруста и твердо сказал:

– Не городи, парень. Я сердце свое слушаю. А у него свои законы. И не надо тут рассуждать.

НА ПАРТИЗАНСКОЙ ТРОПЕ

Обложили каратели партизанскую базу огненным полукольцом, били из минометов, злобствовали в слепой ярости, будто хотели расплатиться за все беды, что принесли им партизаны. Приходилось отряду уходить в глубь пинских болот, сдерживая натиск фашистов. В непроходимых местах мостили гати, это сильно задерживало движение.

Командир отряда Кулик, измазанный бурой болотной грязью, сбросил с плеча бревно, поторопил партизан:

– Нажмите, хлопцы, немного осталось.

И люди торопились, сновали по пояс в грязи с бревнами и хворостом.

– Василек! – позвал командир.

– Здесь я, – подбежал невысокий светловолосый паренек, помогавший женщинам увязывать хворост в снопы.

– Беги к Пархоменко и передай, чтобы хоть с часок продержались. Не удержат немцев – все погибнем. Так и скажи. Ходу пока нам нет. Только бы часок...

– Есть! – ответил паренек и скрылся в лесу, где партизанская рота прикрывала отход отряда.

Партизаны рубили, что можно было срубить, и стаскивали, что можно было тащить. А болото, жидкое и вонючее, все это глотало и глотало. И никто не видел конца работы. Над болотом курился теплый гнилой туман без просвета.

– Так мы его не накормим, – крикнул Хоменко, бородатый старик. – Прикажи, командир, плоты вязать, плот не сразу утопишь, если он из пяти-шести бревен. Вот так надо.

И раздалось по болоту:

– Плоты вяжите, сплывайте бревна!

Вытаскивали бревна из грязи, разворачивали их по ходу движения, прутьями связывали поперечные жерди. Получался хороший настил.

– Умный ты, дед, – похвалили старика. – Выручил.

– Доживешь до моей бороды – поумнеешь. Подсоби-ка.

Когда настил был готов, вернулся Василек. Он привел высокого худощавого немца со связанными за спиной руками.

– Зачем ты его? – сердито спросил командир.

– Пленный, может, спросить что надо.

– Как там Пархоменко?

– Вот-вот отступит.

– Потери большие?

– Полроты полегло.

– А это что у тебя? – Кулик показал на забинтованную руку связного.

– Царапнуло.

– Царапнуло! Я тебе сколько разов говорил, что связной не должен ввязываться в бой. Голова! Ты ж связь осуществляешь с подразделениями.

– Понял, товарищ командир.

– Веди своего фрица на ту сторону, там как-нибудь допросим.

Василек снял с женщины мешок, у другой взял корзину, связал их обмоткой, положил эту ношу на пленного.

– Наш хлеб жрал, пускай носит. Топай! – И пошел за колонной.

Партизаны Пархоменко отошли последними.

Немцы по настилу не решились идти.

Партизаны шли до вечера. Отдохнули часа три и снова шли до глубокой ночи, пока не свалились от усталости.

– Здесь будем жить, – сказал командир утром, и принялись готовить лагерь.

Допросив пленного, Кулик сказал командирам рот:

– Что с ним делать?

– Шлепнуть, – сразу высказался горячий Пархоменко, – будем тут с ним возиться. Форму только надо оставить, разведчикам пригодится.

– Вот что, Василек, – хмуро приказал Кулик, – ты привел, ты и уведи.

– Куда?

– В расход...

– Безоружного... как-то... – мялся партизан.

– Жалко! – вскипел Пархоменко. – А твою семью они пожалели? Может, это и есть убийца, из одного отряда он.

У Василька горело сердце гневом. Вспомнил он, как бился о дощатые нары партизанской землянки, когда услышал от односельчан, как немцы убивали семьи тех, кто ушел в партизаны. Его семью тоже убили. Поставили у стены хаты мать, пятилетнего братишку и деда. Он был старый, стоять не мог, сел на завалинку. Так и убили, сидячего. А мать как поняла, что смерть пришла, шепнула сынишке и подтолкнула к огороду, чтобы скрылся. А сама бросилась с кулаками на немцев, от сына хотела отвести автомат. Убили мать сразу, а ей еще и сорока не было. Братишку смерть настигла у капустной грядки, автоматная очередь прошла грудь, и упал он на кочан зрелой капусты. Утренняя роса приняла капельки его крови, растворила на прожилистых светло-зеленых листьях, чуть окрасила их. Так тот качан и не срубил никто, остался он в зиму, смерзся, почернел и пропал. Поклялся тогда Василек молча бить фашистскую погань, пока оружие руки держат.

Вспомнилось это белорусскому партизану, толкнул он винтовкой немца и повел.

– Хальт! – остановил фрица Василек, когда зашли они в чащу леса. Подвел он пленного к дереву, развязал руки, поставил лицом к себе. Отошел подальше, вскинул винтовку, стал целиться. И увидел Василек глаза, полные холодных слез и предсмертной тоски. Обыкновенные человеческие глаза, как у всех. Дрогнула рука молодого партизана, опустил он винтовку, потупился, не зная, что делать. Но клятву свою не забыл. Не забыл он последний день своей семьи. Увидел, будто наяву, как корчится на траве умирающая мать, как сползает с завалинки тело убитого деда, как падает в огороде братишка. Оцепенение

прошло. Прицелился – выстрелил. Немец неловко рухнул навстречу, дернул ногами и тут же стал подниматься. Привстал на колени, протянул руки. А из темной шеи красной струйкой текла кровь. Отвернулся Василек, вздохнул, сердце щемила неизведанная тоска, поташнивало. Услышал за спиной шорох, повернулся: немец полз к нему на коленях, одной рукой зажимал рану, а другой тянулся к партизану. Рука эта дрожала, а губы что-то шептали.

Отставил Василек винтовку, подвинул на ремне пистолет под руку, достал пакет и забинтовал немцу рану. Немец упал к его ногам, обнял их руками с прилипшими к ним ольховыми мокрыми листьями, прижался лицом.

Крикнул сердито Василек, немец встал и отправился обратно, куда было указано, а сзади брел конвоир, толком не понимая, что такое произошло, и когда немец оглядывался, Василек сурово хмурился.

– Что это значит? – спросил Пархоменко.

– Объясни, – приказал командир отряда.

Василек, сердясь на себя, рассказал все. Пархоменко негодовал.

– На, сам пристрели! – крикнул Василек. Пархоменко махнул рукой и отошел подальше.

Командир молчал, молчали и партизаны.

Так и остался немец в отряде. Рыл с Васильком землянок, помогал женщинам на кухне.

А кругом шла беспощадная война, гибли люди. Немец видел суровые глаза партизан и изо всех сил старался угодить. Но партизан это не трогало.

Больше всех боялся он бледной немолодой женщины, повара отряда. У него всегда подрагивали руки, когда он подносил к ее черпаку свой котелок. Она кормила его, но! наливала не сразу, а постоит, посмотрит на него холодно.

У нее никого из родных не осталось на свете. А была семья. До прихода немцев.

ГДЕ-ТО НА УРАЛЕ

Просьбу подполковника Чернова отправить его на фронт медицинская комиссия отклонила: кисть руки, про-

битая осколком, еще до конца не залечена. И ему было назначено командовать запасным полком на Среднем Урале.

Кончался последний день января 1943 года. Зима в этом году была бестолковой: то с Атлантики ветры приносили оттепель с дождями и мокрым снегом, то с севера накатывалась по горному хребту стужа, ледящая тело и душу.

Подполковник Чернов сидел за маленьким простеньким столиком и пил чай. У него была давняя смешная привычка: выпьет чашку чаю и расстегнет на гимнастерке пуговицу, сколько чашек выпито, столько и пуговиц расстегнуто.

Уже было расстегнуто три пуговицы, намеревался налить четвертую чашку, когда дежурный по части доложил по телефону, что в снайперской роте не оказалось на вечерней поверке молодого солдата.

– Командира роты и командира отделения – в штаб, – приказал командир полка и стал одеваться.

Рядовой Матвеев был из последнего пополнения. Местный, до его села шестьдесят километров. Служил неплохо. Но пять последних дней ходил чем-то сильно озаченный, удрученный.

– Что ж вы, сержант, не поговорили с ним, как должно быть, по душам?

– Замкнулся он, товарищ подполковник, никого к себе не подпускает.

– Дома ваш Матвеев, – сказал командир полка. – Сделаем так: если через двое суток не явится, пошлем сержанта с солдатом на подводе к нему домой. Без оружия. Там, на месте, никакой гласности, здесь разберемся.

Пять дней назад рядовой Матвеев получил письмо от матери. Водянистые капли расплылись и размыли корявые буквы, нацарапанные дрожащим химическим карандашом.

Начал читать – и холодом окатило его сердце: мать писала, что получила похоронку на отца. Писала, где убит и похоронен, но сын дальше первых строк уже ничего не понимал. Он почти не спал ночью, плохо ел и даже днем было такое ощущение, будто его толкнули в сторону от

дороги, он стоит там и не замечает, как проходят мимо люди.

Вспомнился отец. Ростом он невелик и не широк в плечах, но подвижен и работающ. Работал он скотником на колхозной ферме. Придет, бывало, с работы зимой, погремит у порога валенками и детей холодом попугает, снимет скоренько полушубок и сунет в уголок под лавку. От его одежды, от всего самого резко пахло мукой, силосом и теплом скотских помещений.

После ужина отец слесарил, паял и лудил посуду. Над ним висит керосиновая лампа со стеклом, и его склоненная голова над работой. Подойдет сын к отцу, стоит, смотрит. Отец оставит дело, положит руку на голову мальчика, вздыбит ему волосы и засмеется. Руки отцовские пахли остро и всегда по-разному. Федору кажется, что он и сейчас слышит тихий отцовский смех и чувствует запах его рук...

В эти думы об отце незаметно вплетались думы о матери: что она сейчас делает там, как управляется с колхозной и своей работой, как долгими вечерами сидит одна-одинешенька, горюет и торопится все зашить и заштопать, доделать вечно недоделанную работу...

Все это слилось в горький обжигающий ком и поселилось под самым сердцем. Вот уже пять дней прошло, а боль не утихает.

Он теперь часто перечитывает письмо. Запомнил, где похоронен отец. Мать досадовала, что никто не догадался прислать в письме щепотку земли с могилы, жалела, что не заведено так, и сын понимал ее.

Много думал о войне и проклинал ее, думал о немцах, убивших отца, и люто ненавидел их. Злоба и ненависть увеличивали сердечную боль до крайнего предела.

Он не помнил точно, во сне или наяву, ночью или днем пришла эта мысль: поехать самому на фронт. На тот самый фронт, где воевал и погиб отец. Отпроситься – не пустят одного, многие просились, велели ждать. Надо самому ехать. Посмотрит отцовскую могилку, поклонится ей, возьмет горсть земли и пошлет матери, а сам пристанет к какой-нибудь воинской части и – в бой. Солдаты там дороже золота, раз убивают их...

Ни о чем другом он уже не думал. Добраться до фронта, как он предполагал, совсем просто: сесть в вагон с маршевиками, которые каждый день едут мимо, показать письмо матери, солдаты поймут и укроют.

Вот только мать одну оставлять жалко, но ничего, он зайдет домой, все объяснит, успокоит, нарубит дровишек...

Собрал пять дневных пайков хлеба и сахару. Это матери, а себе засушил сухарей на первый случай. Только бы не забыть взять дома теплые носки и варежки, что связала мать и сулилась выслать. Надо не забыть, а то в окопах намного холодней, чем здесь. Маленький мешочек для могильной земли он сшил из куска новой портянки и положил в карман гимнастерки.

Ушел он сразу после обеда.

Мать только затопила печь и налаживала горшок с варевом.

Дверь распахнулась, и вслед за морозным паром в избу вкатилась заиндевелая фигура. Стоя у огня, мать не сразу узнала сына, а узнала – испугалась.

– Ты пошто пришел, Федор? – Спросила так тихо, словно боялась, услышат люди: что-то неладное почувствовала она сразу.

Сын прошел к столу и плюхнулся на лавку у стены. Вытянул ноги, опустил руки. С руки упала рукавица, казенная, солдатская, и мать увидела озябшую руку.

Сердце ее сжалось, заныло. Она помогла сыну раздеться и разуться, плеснула ковшиком воды из деревянной бадейки в большую миску и вместе с табуретом пододвинула воду сыну.

– Скорее опускай руки, вода холодная и лучше поможет отогреться. Господи, что ж это такое! – сокрушалась она и еще поспешнее принялась за свое дело.

Когда руки в воде немного отошли, сын забрался на печь, прилег там и заскулил от боли. И задрожал.

– Ты пошто, Федор, приплелся? – Сын молчал. – Картошков поешь, когда доспеют, а я побегу на ферму.

Она управилась с телятами, вернулась и сразу спросила:

– Што молчишь, Федор? Што удумал?

Федор, занятый своим, не ответил.

– Бумагу покажи.

– Каку бумагу?

– Что на тятю прислали.

Метнулась к божнице, вынула из-за иконы бумажный сверток в порыжевшей картонной папке, развязала те-семки. Достала листок и заплакала.

Всходившее солнце розово окрасило ледяное оконце с разлапистым морозным рисунком.

Федор взял синюю плотную бумажку со штампом во-инской части и печатью и стал читать. Мать смотрела на него, мучимая вопросом: что такое с сыном?

– Ты что удумал, Федор?

Сын слез с печи и сел за стол.

– Поеду на тятину могилку, посмотрю, оттуда на пере-довую.

– Своим умом придумал такое, что ль?

– Нечего мне тут делать, стрелять я и до службы умел: с тятей на охоту звон с каких лет ходить начал.

– Как же ты уедешь? Сам по себе или как?

– Эшелоны каждый день гремят мимо, сяду.

– Опомнись, что ты городишь! Ты не самовольничай, Федор. Я за тебя в ответе. Засудят. Вон Финоген пришел с трудармии больной, и то засудили. Минька Арбузов с фызыву сбежал – засудили. Глупые мысли выбрось. Ты ж дезинтир сичас. Тебя сразу же найдут и засудят.

– Не буду я тут – и все! Не с фронта бегу – это не счита-ется дезертирством.

– Глупая голова, много ты понимаешь! – закричала и заплакала мать. Спohватившись, умолкла вдруг и стала угощать сына: поставила горшок с парившей картошкой, придвинула миску с грибами. Хлеба не нашлось.

Сын встал, тяжело прошагал к порогу, вынул из вещ-мешка сверток из солдатского вафельного полотенца. По-ложил на стол.

– Это тебе: хлеб и сахар. – Мать не притронулась к свертку.

После завтрака Федор почувствовал сильную уста-лость и полез на печь. Уснул. А когда проснулся, было светло и тихо в избе, пахло сухим смородиновым листом.

– Поешь вот каши тыквенной. Ты любил ее. Чайку выпей. Поешь – и пойдем, – сказала сурово, решительно.

– Куда?

– Назадь, Федор. Надо поправить сделанное.

– Не пойду!

– Пойдешь, если мать велит. Глупая голова. Ишь, удумал. Нам, матерям, ишшо труднея, да не бежим от бремени своего, терпим.

Федор противился молча, кипел сердцем, но не мог не подчиниться материнской воле.

Вышли, когда стемнело, по огородам пробирались на дорогу.

– Ма, вернись, а?

– Не, я с тобой. Омманешь мать: глупой ишшо. Рано в солдаты идти.

– Не позорь, я один дойду.

– Молчи! Сама виновата: родила такого – и майся. Я за тебя в ответе.

Она пошла впереди.

– Пойдем ближней дорогой, через гору, верст пятнадцать мене будет, хотя и труднея.

Они шли медленно, с трудом пробирались по неторной дороге на подъем.

– Вернись, а?

– Засудят без меня. Дело-то не простое.

Лес прикрывал их ледяным сумраком, висело ночное небо с далекими и такими чужими звездами. Сумрачно и жутко было на душе у матери, но она надеялась на что-то, на какое-то свое, материнское везение.

Наконец мать обрадованно воскликнула:

– Перевал прошли, слава богу. Можно и отдохнуть ма-ненько.

Сын привычно быстро собрал сушняк и развел костер. Душу его наполняло до сих пор не изведенное чувство сыновней жалости к матери. Он понимал, что обидел ее крепко, и теперь раскаивался, что зашел домой, надо было идти прямо на станцию. От своего же намерения не отказался, лишь отложил его. На короткое время.

– Теперь под гору, намного легче. Да и ближе осталось.

Тепло костра согрело путников. Мать сняла валенок и долго грела ногу в полосатом чулке, поворачивая пяткой. Сын подремывал, привалясь к ели.

– На вот картошков и хлеба, поешь. Мне-то зачем принес? Разве мать станет есть кусок сына. Не выдумывай, мы перебьемся, а у вас служба тяжелая.

Перекусывали. Молчали.

– Как ты думаешь: тятю похоронили одного или со всеми?

– Где ж мне знать, как солдат хоронят, – ответила она тяжким вздохом.

Когда на рассвете вдали показалось расположение полка, мать пошла рядом с сыном, говорила:

– Ты вот что, Федор, ты не говори про фронт, сказывай, что домой пошел мать проведать, но озяб и не успел вернуться к утру. Про отца не скрывай, поймут, люди тоже.

Сын ничего не сказал матери и нагнул голову, мать снова пошла впереди.

Когда взошло солнце, сын долго смотрел в спину матери. И увидел на материном валенке дыру на пятке. Дыра немалая, оттуда виднелся чулок. Задник валенка от подошвы до самой середины густо запорошен снегом, и края дыры оледенели наплывом сосулек. Так и полоснула по сердцу уже знакомая жалость к матери и вскипятила ту ненависть, что породила его поступок. И он еще больше утвердился в своем намерении.

Подполковник Чернов быстро ходил за своим столом и улыбался. Сегодня особенно хорошее настроение. Еще бы: только что сообщили из политотдела дивизии о невиданном разгроме немцев под Сталинградом.

– Какой котел! – говорил он замполиту. – Вся 6-я армия Паулюса сварилась. Вот это победа! Не видать фрицам Волги вовеки. Теперь мы их погоним.

– Сегодня же соберем митинг, порадуем полк. – Капитану тоже не сидится, волнуется.

Вошел дежурный по части и доложил:

– Товарищ подполковник, беглец явился. Матвеев.

– Сам?

– И мать с ним.

– Давайте сюда солдата, а мать надо определить где потеплее, – приказал командир полка.

Вошел солдат, ворот шинели и шапка покрыты инеем, брови и ресницы в наледи. Доложил, что явился в часть.

– Откуда ж ты явился? И где твоя винтовка, солдат? – Молчит, гнет голову. На лице капельки влаги поблескивают.

Спешно вошел и попросил разрешения присутствовать молодой румяный лейтенант в новом обмундировании. На нем скрипели ремни португали, скрипели сапоги. Подполковник умолк и смотрел на новые блестящие хромовые сапоги, замполит наклонил голову и поглядывал на ноги вошедшего, и солдат повернулся с испугом.

Лейтенант был очень молод. Ему выпало работать в особом отделе, быть, как говорили, чекистом. Он гордился своей профессией и мечтал поймать много шпионов, диверсантов и дезертиров. До сих пор он не только никого не поймал, но даже не видел этих самых врагов. И вот такой случай: сам дезертир пришел в руки. Весь накал суровости чекиста должен обрушиться на этого дезертира.

– Весной, – голос подполковника строгий, – будем готовить маршевые роты. Знаю, что хорошо стреляешь, мог бы попасть в списки. Но теперь неизвестно, как пойдет дело. Так вот, бегун.

– Судить! Судить его трибуналом. – Тон лейтенанта выражает возмущение и приговор.

– Ну что ж, – выпрямляется солдат, – быстрее попаду на фронт. Трибунал-то не в тыл отправляет.

Командир полка нахмурился. Вызвал дежурного.

– Отвести солдата в роту, сдать командиру. Мать пригласить.

Вошла тяжело: устала. Остановилась у порога. Высокая, прямая. Смотрит смело и говорит внятно:

– Матвеева, Катерина. Виновата за сына головой.

Замполит поставил для нее стул поближе к столу, но она придвинула его к печи. Села и вздрогнула озябшим телом.

– Слушаю вас. – Командир полка тоже сел.

– Вот. – Она вынула из-за пазухи чистую белую тряпицу, развернула и подала синюю похоронку.

Подполковник прочитал бумагу, подержал в руке. Вернул.

– Продолжайте.

– Не надо бы мне писать письмо сразу, тревожить бы не надо парня, после бы можно сказать непрямо как-то...

– Зачем сын ушел из части?

Она замялась, покраснела и ответила не тая:

– Глупой ишшо: на фронт собрался, отцовскую могилку повидать и там воевать остаться. Глупой, совсем парнишонка.

– Ничего себе парнишонка! – Лейтенант беспощаден. – Не выдумывай.

– А ты помолчи, когда постарше тебя спрашивают. – Командир и замполит весело переглянулись.

– Судить будут твоего парнишонка. Трибуналом. – Лейтенант покраснел от возмущения.

– Не имешь права! – Она встала.

– Почему это? И тебя бы привлечь надо тоже.

– Меня стоит, а его не имешь права: он годами не вышел – ему пятнадцать всево тока.

– Ишь, придумала, старая, знаем мы это. Стыдно укрывать преступника.

– Ты меня не старь, – обиделась женщина, – и не придумала я.

– Отставить, лейтенант! – строго приказал подполковник. – Говори, мать.

– Вишь, како дело. Был у него брат, двумя годами старее. И помер мальцом. Родился этот. Назвали тоже Федором. А когда в сельсовете на призывников списки готовили, перепутали года. Вот и выпало Федору идти за брата на службу. Я – в сельсовет. Но Федор не захотел дома остаться. Уж я знаю: упрямый он, по отцу пошел. Надо бы, конечно, не пускать: глупой ишшо. Сама виновата. Судите. А его рано. Вот и метрики евонные. – Подала пожелтевшую бумажку с рваными перегибами.

Подполковник прочитал. Сидел молча. Подал бумажку замполиту. Спросил:

– Вы пешком?

– А кто ж нам даст лошадь для такого дела. Тайком мы. Варвару попросила за меня на ферме управиться, а дома и так обойдется.

– С вашим делом все ясно, мать. Дежурный, передайте в комендантский взвод снарядить подводку. До свидания.

Мать посмотрела на командира, на его руку в черной перчатке. Поклонилась ему молча и пошла.

ДВА ДЕТСТВА

У Черного моря живет мой хороший друг. Он все звал меня к себе. А в январе прислал розы из своего сада. Розы прихватило холодом в дороге, ваза им была не нужна, но они еще сохранили много живой силы. Лежали они на моем столе, их непривычный запах был слышен во всем доме.

У нас была зима, лютая стояла стужа. Стекла окон стали белыми от морозных узоров. Мы смотрели на стылые окна, на пахнущие розы, только о них говорили, и у всех моих домашних крепло давнишнее желание побывать в той чудесной стране, где цветы цветут даже зимой.

Дождались лета и поехали на юг.

Вот и Сочи. Остановились в домике друга, на склоне горы.

Как только раннее солнышко поднялось над горами и заглянуло в открытое окно комнаты, я проснулся. И сразу почувствовал свежий влажный воздух, густо налитый запахами сырой земли и зелени. Над окном свисают широкие, потемневшие от росы листья винограда. Они сплелись в густую сетку и шатром прикрывают террасу до самой улицы. Между листьями зреющие гроздья, они в глаза не бросаются, не навязываются вам, но любо глядеть, как налита живительным соком каждая ягода.

Из-под зелено-пестрого навеса выходим на дорогу, что ведет к морю, и нас тут же обдаёт, окатывает непривычным жаром. Влажное тепло с солнечным светом прямо-таки льется потоком.

Прошли немного и остановились, пораженные: внизу лежало светло-зеленое море и сливалось с синим небом у далекого горизонта. Через крыши домов, через деревья

смотрим на море, слышно, как оно шумит, словно дышит. И хочется сказать, как живому: «Здравствуй, море!»

Наш маленький отряд шагает к морю, оно веет на нас прохладой, мы вдыхаем ее и чувствуем море.

Впереди отряда идет Андрей, внук моего друга, мальчик лет десяти. Он всегда впереди, потому и назвали мы его командиром. Он строен, гибок, плечи широкие и красивая голова. На теле ровный загар.

Вот оно – море. Неспешно надвигается могучая волна, ударяется в скрытый пологий берег, не в силах подняться выше, она посылает на прибрежную гальку лишь легкий гребень, который и разливается тонко, будто блин по сковородке, но тут же откатывается волна, вся низко пригибается и, пенясь и шипя, устремляется вниз и пропускает поверх себя новую волну, похожую на катящийся прозрачно-зеленый вал...

Не успели мы выбрать на камнях место, а Андрей уже в воде. Он не так, как мы, сухопутные люди, осторожно и пугливо входим в воду, он ныряет с первого у берега камушка. И ныряет не так, как мы – плашмя да с брызгами, он воду режет наклоном своего тела, падения его не слышно. Словом, недаром он наш командир.

Вода у берега, прогретая солнцем до самого дна, распаривает тело и качает, словно на руках несет. Так и не выходил бы из нее до самого вечера. Но и на берегу славно: лежишь себе на горячих камнях, прогревает тебя снизу, а сверху проникновенно печет солнышко. Чудесно. Отдых для тела и души. Полнейшее блаженство.

Наш Андрей не выходит из воды. То там, то тут мелькает среди купающихся его аккуратная головка. Я поглядываю на Андрея, люблюсь им, но мне все время хочется вспомнить, на кого он похож, кого так навязчиво напоминает.

Усталые, но счастливые, тяжело бредем домой за своим командиром. Ну кого он напоминает? Кого? А... вспомнил. Он похож чем-то на того Андрея, белорусского хлопчика, что вел нас однажды по болотной тропе в немецкий тыл к партизанам.

Это было в 1944 году на Березине.

Между нашей и немецкой обороной лежала широкая нейтральная полоса. Она одним краем упиралась в боло-

то, которое тянулось до реки, а за рекой снова начиналось болото, затем лес. И хотя была зима, и болото подмерзшее, все равно мы с той стороны не ждали.

Но однажды наблюдатель доложил, что перед нашим участком обороны на нейтральной полосе кто-то ползает по заброшенному огороду. Это было на рассвете, а вечером опять ползал на склоне пригорка, обращенного в нашу сторону.

По приказу командира ночью сержант Голубев с двумя бойцами отправился на нейтральную полосу. Вернулись они только к рассвету и привели мальчика лет десяти, и принесли старика. Он был еще не стар, но ранен в ногу и потерял много крови – положение его было тяжелым.

Мальчик рассказал, что немцы прижали к болотам партизанский отряд, где собралось много детей и женщин из ближайших деревень, сожженных карателями. Людям грозила гибель: не было ни питания, ни боеприпасов. И командир отряда послал лесника через линию фронта за помощью, ибо только опытнейший человек мог пройти по такой топи. Старик не захотел оставить в отряде внука, взял с собой, как и делал часто.

Мальчик продолжал:

– Еще за Бяразиной немцы по нас стреляли. Мы спрятались в лясу, но дядусю ранили. Ползли и ползли. Наткнулись на блиндаж, там и просидели два дня. Дядуся совсем ослаб, а то б мы сами к вам прийшли. Он мяне одного посылав, да я боявся заблудиться: дороги на этой стороне я ня знаю. И дядусю оставить жалко было.

– Чем же вы питались? – спросил старшина.

– А ничем не питались. Трошки бульбы набрав на огороде, но она мерзлая шибко, не угрызешь. А костер няльзя: немцы радом.

– Ясно, – заключил старшина и стал кормить мальчика.

Он двумя руками, будто боялся, что отнимут, держал краюху хлеба у самого рта, старался как можно больше откусить, торопливо глотал, не успевая пережевывать.

Мальчик был худ, его тоненькая шейка торчала карандашом из жесткого ворота дедовой куртки. Волосы сваялись в космы и трудно было определить, какого они цвета.

Руки покраснели от холода, от этого на них еще сильнее темнела огородная бурая грязь.

Деда отвезли в госпиталь, и командир сказал внуку:

– Побудь пока здесь, партизан, потом тебя отправим в тыл, в школу. А дед твой поправится.

– А як жа люди, дяденька командир, яны ж памруть до единого. – Мальчик только что доел хлеб, и старшина одевал его в сухое.

– Дело плохое, – согласился командир. – Помочь надо, будем, искать проводника. Здесь непроходимые болота. Без проводника мы не пройдем. А проводника не скоро найдешь здесь.

– Я ж вас и повяду. – Мальчик выпрямился перед командиром. – Вот только трошечки погреюсь. Вы не думайте, я все тропки за Бяразиной знаю. Мене и в отряд дядуся посылав одного. Не заблужусь.

– Хорошо, мальчик, – сказал командир и положил руку на плечо юного партизана.

– Как звать тебя?

– Андрей.

– Поведешь нас, Андрей.

И Андрей повел две сотни бойцов с автоматами и пулеметами. Они из лыж скрепили сани, положили на них боеприпасы и продукты и повезли.

Была темная сырая ночь. Бойцы тянулись друг за другом, а впереди командира шел Андрей. Он осторожно прощупывал палкой каждое подозрительное место, ставил ногу в большом солдатском сапоге, что выдал ему старшина, и тогда за ним двигались остальные.

Рассвет застал отряд уже далеко за Березиной, в сыром лесу. Позавтракали сухим пайком, отдохнули. И пошли дальше.

Андрей устал, ослаб, его мучил озноб: простудился, видно. Идти он уже не мог, но идти надо. Тогда сержант Голубев взял мальчика на спину и пошел с ним впереди. Андрей, крепясь из последних своих силенок, вглядывался в только ему понятные бурые пятна болота и направлял отряд. А бойцы, сменяясь, несли своего проводника.

Однажды боец, несший мальчика, споткнулся, и они оба упали в ледяную болотную жижу, присыпанную сне-

гом. Когда им помогли выбраться, Андрей заплакал от обиды за свою беспомощность.

И все же Андрей привел бойцов на партизанскую базу. Накормили голодных, вооружили всех, кто мог сражаться.

В бою Андрей был со всеми, не отставал от сержанта Голубева. Голубев бил из ручного пулемета, а Андрей помогал таскать санки с патронными дисками.

Голубева убило под большой сосной. Мальчик тряс его плечо и кричал: «Дяденька Голубев! Дяденька Голубев!» Он стоял на коленях и старался поднять сержанта. Понял, что тот убит. Сердце его разрывалось от горя, и он заплакал.

Показались немцы, они подвигались цепью прямо к ручному пулемету. И тогда Андрей встал во весь рост и закричал:

– Пулеметчика убили! Дяденьку Голубева убили! Идите сюда, стрелять некому!

Он знал, конечно, что в бою надо беречься, но забыл об этом в минуту горя.

Бойцы услышали его крик и прибежали к пулемету. Но мальчик был уже мертв. Он лежал на спине, одна рука откинута.

После боя собрали убитых, положили их на поляне, на снег. Сюда же принесли сержанта Голубева и Андрея.

Море сегодня синее вчерашнего, будто небо опрокинулось и вылило в него всю свою синеву. И на эту гладкую чашу синевы с самого утра щедро обрушивает солнце потоки света, там, где перемешиваются две стихии – солнечный свет и морская вода, – радостно горят изумрудные искры, и смотреть на них больно.

ВАСИЛИСА

Наш стрелковый полк, измотанный летним наступлением, в августе был остановлен на краткий отдых и формирование. Стояли на окраине маленького городка в редкой сосновой рощице.

Нас во взводе осталось всего шесть человек. Мы были молодые, очень скучали о доме, потому и потянуло нас в

город, напоминавший большую деревню. Попросились в увольнение.

Идем по крайней улице, она успела до войны отстроиться лишь в один ряд. У многих домов наглухо забиты окна досками, на нетоптанном подворье густо вырос бурьян. В иных домах окна выбиты и зияют темными дырами, двери открыты настежь... Кто знает, при каких обстоятельствах оставлено жилье и вернутся ли сюда хозяева.

У одного двора женщина чинила забор. Боком прижимала доску, левой рукой придерживала гвоздь и била правой по шляпке молотком. Неверным взмахом молотка стукнула по пальцам, бросила молоток, непривычно для нас выругалась солдатским матом и стала дуть на пострадавшие пальцы.

Мы весело засмеялись. Женщина повернулась к нам и покаялась:

– Простите Василису грешную. Больно ведь. – И продолжала дуть на полусогнутые пальцы.

Мы тут же починили ей забор, закопали стояки к воротцам, поправили их. И стали смотреть на дом.

Во двор рядом с домом упала бомба. Была она небольшая, а потому разрушила лишь половину дома. Бревна валялись тут же. Печь, стоявшая в дальнем от взрыва углу, сохранилась и сейчас дымила, как и полагается. Штукатурка на ней была повреждена, но восстановлена, и печь, и труба теперь сияли новизной. Крыши над печью не было, там сердито выгнулась кошка, глядя на незнакомых людей зелеными глазами.

Хозяйка метнулась к печи, подбросила дровец и закрыла заслонкой.

– Тяга-то какая, – улыбнулась она, – хорошо, всякие дрова сгорят.

Заметила у сарая открытую калитку.

– Антонина, выгони козу скорей, опять на капусту направились.

Вышла из уцелевшей горницы девочка лет девяти, худенькая, и побежала в огород. Вернулась с козой и огурцами в ведре.

Василиса подошла к нам и просто сказала:

– Заходите, солдатики, я вас картошкой молодой угощу. С огурцами.

– Не заработали, – отказались мы.

– Заслужили, – возразила Василиса, – что тут говорить, заходите.

Мы переглянулись, сняли гимнастерки, рубахи и принялись за работу. Все разобрали, уложили, подмели.

Работали старательно и успевали поглядывать на хозяйку. Ну и проворная была эта женщина: успела приготовить и задвинуть в печь ведерный чугунок с картошкой, следила за проказливой козой, давала поручения дочери и нет-нет да и поможет нам то бревно повернуть, то доску отнести.

Нельзя было назвать ее красавицей, да и не нужно ей было это название, она и без того обвораживала нас своей живой прелестью. Эта прелесть исходила от ее чистого худощавого лица с остреньким носиком, от серых веселых глаз, белой открытой шеи, ладной фигурки, босых ног и маленьких рук. Все, что было надето: темная юбчонка, вылинялая кофточка, даже небрежно сдвинутый на волосах платок – очень шло к ней и выгодно подчеркивало ее необъяснимое обаяние. В работе она раскраснелась, отдохнуть ни разу не присела, словно силы не убывали, а множилось. И не тридцать пять лет было ей, а на десять меньше.

О многом родном напомнила нам эта славная женщина, и мы повеселели, словно на празднике побывали или сон хороший увидели.

К забору подошла старуха, жалкая, осунувшаяся, тихо спросила:

– Может, тебе, Василисушка, помочь надо, так мой Никита завсегда с душой.

– Не надо мне вашей помощи и вашей души. Ну-ка, проваливай. – И намахнулась на старуху щепкой. Старуха ушла.

– За что вы ее так, она такая прибитая судьбой? – удивились мы.

– Притворяется. Она на год меня моложе. Видели бы ее, когда муж полицаем служил у немцев. Барыней ходила. Да от меня и тогда ласки не получала.

Лицо Василисы сделалось суровым, брови насупились и в глазах появился холодный блеск презрения. Постояла над ямой, где была когда-то половина дома, вздохнула, запечалилась.

Неведомо откуда налетела туча, косматая и темно-синяя. При солнце посыпался крупный дождь, воздух поспежел, стало легче дышать. Вымокли мы в миг. Василиса тоже вымокла. Сняла платок и радостно говорила:

– Слепой дождь недолог. Зато и пойдет все расти в огороде. Хорошо!

Во дворе поставили стол, придвинули мокрые скамейки. Их солнышко сразу же высушило.

Молодая картошка, высыпанная Василисой из чугуна в миску, была желтоватая, с белыми точками глазков и парила прозрачными клубами. Хлеба не было, зато была соль и огурцов вдоволь.

Василиса хозяйкой сидела у края стола. Она переоделась во все сухое и была все так же мила. Есть почти не ела. Настроение у нее постоянно менялось: то грусть тяжелой тенью обволакивала светлое лицо, то светилась на нем радость. К плечу матери прислонилась дочь. Она походила на мать, только была красивее и спокойнее, постоянная недетская грусть не оставляла ее глаз.

Мы спросили, как они спаслись от бомбы.

– Коза нас спасла. А где ж она? Беги, Антонина, в огород. Видите, какая пройда... В тот день коза наша ушла со двора. Мы с Антониной отправились в лес искать. Плетемся домой, а знакомая женщина кричит издали: «Беги, Василиса, домой, в твой двор бомба попала». Холодом смертельным меня окатило. Потом в жар бросило. Прибежали домой, а тут, видите...

Она сложила руки на груди, помолчала. Но ее живая натура создана не для печали, посветлело лицо, руки зашмыгались, стала угощать нас снова.

– А что за старуха подходила к забору? – спросили мы.

– Да все и началось с козы вот этой. Она ж нас кормила, надо было и о ней заботиться. До войны, бывало, навезут в город сена – выбирай любого. А тут не стало. Серпом да мешком готовили. Но случилось лето сухое, травы нет. Немцы же навезли на станцию награбленные

скирды для Германии. Охраняли его немцы и полицаи. Вместе.

Недалеко от станции выемки земли заросли бурьяном. И вот мы, бабы, под вечер сходились в эти ямы. Уйдет часовой за угол, а мы выскочим, возьмем по тюку сена – и опять в бурьян. Подождем до ночи – и домой.

Про то узнала вот та ведьма, что подходила, сказала мужу. Задумал он поймать нас, выслужиться захотелось перед немцами. Зашел он за угол, следит за нами. Мы к сену. А он выходит из-за скирды и немца часового с собой ведет.

Мы испугались, конечно. Потом я опомнилась и говорю: «Повторяйте за мной, бабы, что я буду говорить, то и вы». Да как закричу и пальцем на Никиту показываю: «Партизан это! Партизан!» Господи, пусть партизаны простят нас, грешных, за кощунство такое. И бабы мои кричат. А на немца это слово пуще кипятка подействовало. Выхватил он винтовку у полицай да как стукнет в грудь прикладом, повел. А я советую бабам: «Берите сено, прячьте, больше его нам не взять».

Василиса встала за столом и рукой махнула призывно. Смелая, решительная, она была в этот миг еще прекрасней, и мы любовались и гордились этой женщиной.

– Спрятали сено в огороде, – продолжала хозяйка, – сами там скрывались до утра. А утром в лес отправились козу погнать, да и спрятаться. Вернулись вечером и видим: Никита с винтовкой на крыльце сидит.

– Арестую тебя, Василиса, собирайся. Вы меня очернили перед властью. Меня били в комендатуре. Грозили выгнать. Что ж я из-за вас должен куска хлеба лишаться?.. А может, и жизни.

Человек восемь баб посадили. Кто плачет, кто богу молится. Утром и говорю своим товаркам: «Будем, бабы, просить главного, дурами прикинемся. Скулите пожалостливей. Солдатки, чай, выкручиваться надо».

Вызвали к начальнику полиции на допрос, а мы все и затащили Лазаря, захныкали, зашмурыгали носами. Беденьких представили.

Тут телефон зазвонил. Взял трубку главный, вскочил, выпрямился. Слушает и фуражку надевает.

– Я пошел к коменданту, – говорит дежурному.
– А с бабами что делать, господин начальник?
– Выпороть их хорошенько и отпустить. Пусть уважают
новый порядок.

Остались с нами двое полицаев, Никита за старшего распоряжается. Поставили полицаи посреди комнаты скамейку. Никита послал напарника за вожжами, а сам пристроил в углу винтовку, подошел к скамейке и говорит: «Ложись, Василиса, первая, ты самая горластая».

Опустилась перед ним на колени, ползу и показываю, будто ноги его хочу обнять, пощады выпросить, а сама плачу и господом богом молю. Он в угол пятится. Я ползу, причитаю жалобно, а сама глаз не свожу с винтовки в углу. Вот и она, рукой достать. Как схвачу винтовку – и в сторону от полица. Говорю строго: «В угол, проклятый, стой и не двигайся. Стрелять я умею, сам знаешь, что перед войной учили молодых всех». А в это время второй полицай входит. Шел он быстро, бабы подставили ему ногу, он и брякнулся. Навалились кучей, связали. Лежи!

– А ну ложись, Никита, на скамейку, – велю полицаю.

Василиса стояла за столом и показывала, как она полица под винтовкой держала. Русская грозная женщина, не баб тебе водить по бурьяну за тюками сена для козы, а командовать партизанской ротой при налете на немецкую комендатуру.

– Стал просить Никита пощады, даже слезу уронил. Но мы его уложили и ну стегать. Да что за битье бабье! Спрашиваем у связанного другого полица: «Будешь бить своего, так жив останешься?» Тот и согласился.

Крепко побил полицай полица. Неплохо бы переменить роли, да нам спастись надо, пока не вернулся начальник полиции. Связали обоих и разбежались. А опозоренных полицаев комендант приказал выгнать со службы.

Вечером мы рассказали командиру роты о Василисиной беде, наутро старший лейтенант, человек молодой, бедовый, привел на Василисино подворье роту – семнадцать человек.

Увидев старшего лейтенанта, Василиса разволновалась, сказала:

– У меня муж тоже офицер, только на погонах крестики.

– Не крестики, а стволы пушек, – возразила дочь.
Нашлись у нас и добрые плотники, и к вечеру мы поставили сруб.

– Завтра крышу наведем, – сказал командир роты.

Но больше не пришлось помогать: ночью пришло пополнение, и нам приказали погрузиться в вагоны и следовать на фронт, где и закончить формирование.

Мне приказано предупредить Василису. Старшина дал ведро, там была крупа насыпью, булка хлеба, кружка соли, а на дужке висела пара солдатских ботинок.

Я подошел к знакомому забору. Во дворе не было угнетающей разрухи, дом почти готов. Василиса перебирала овощи. Лицо печальное, строгое.

– Вот вам принес, а нам надо ехать на Запад.

Василиса вынула все из ведра. Подняла и подержала так ботинки, засмеялась:

– Что ж, подрасту, тогда впору будут. Спасибо. Дай бог вам всем вернуться домой.

Пришла с огорода Антонина, принесла подол огурцов. Я дал ей кусок сахара. Она тут же скрылась в горнице.

– Ваш муж офицер, – сказал я, – как же вас немцы не тронули?

– Никто не знал этого, даже мы. Ушел солдатом, а пока мы под немцем были, воевал и стал офицером. Как только освободили нас, дней через восемь пришла телеграмма: «Буду проездом, встречайте на станции».

Наварили мы с Антониной картошки, собрали огурцов побольше. Себе на пропитание. Подарки приготовили. А козу в сарай заперли, ворох листьев капустных оставили. Два дня сидели на вокзале. Измучились, ожидаючи. Прикорнем на диване, а услышим гудок и бежим. А поезд или товарный, или в другую сторону идет. И помечтаем, и поплачем. Три года не виделись.

На третьи сутки пришел утром эшелон. Из вагонов высыпали солдаты и разбрелись по станции, бегут то за тем, то за другим, нас закрывают собой. Сердце так и горит, чувствует: тут он. Стараемся быть на виду, у входа в вокзал. Слышим звуки трубы сигнальной, солдаты отхлынули с перрона, одни мы остались. И тут бежит к нам офицер. Погоны золотые, одежда новая, ордена на утреннем

солнышке полыхают на груди. Нет, не он, наш-то солдатом уходил. И в сторону поворачиваюсь, уже бояться начинаю, что не встретим своего. А офицер как крикнет:

– Василиса! – Я и обмерла от знакомого голоса. Гляжу на него и от слез ничего не вижу. А он уже поднял дочь на руки и меня целует. Ни погон золотых, ни орденов не вижу. Голос слушаю:

– Тоня наша как выросла, красавица какая. Худенькие вы у меня, настрадались.

– Да и ты бледный, без загара лицо.

– В госпитале на Урале три месяца лежал. Как вы там дома?

– Все хорошо, – скрыла я свое горе. У меня так: горе горем, радость радостью, не смешиваю их вместе, не сходные они.

Вышел мужчина в фуражке, подходит к колоколу.

– Пора, товарищ военный, даю отправление.

– Дайте одну минуту, – просит муж.

– Одну минутку можно, – отвечает добрая душа.

Мы побежали к вагону, а оттуда солдаты приготовленные мужем вещи подают. Минута пролетела вздохом одним. Ударил колокол. Повисли мы на родненьком своем обе, а колеса уже катятся.

Вынул муж деньги из карманов, часы снял, платок носовой и расческу подал. Все в руки нам сует – на память.

Поезд тронулся, покатился. А мы по шпалам за ним бежим и плачем. До семафора добежали. Узел свой с подарками вручить забыли. Эка досада!

Василиса увидела, что я на часы поглядел, умолкла.

– Пора. Всего вам доброго. Вернется ваш муж обязательно.

А когда уходил, Василиса всполошилась.

– Огурчиков вот в ведро накладу вам, дорогие мои.

– Не надо, ведро мы вам оставляем на память.

– Господи, и без того не забуду добро ваше! – И стала накладывать мне в руки огурцов.

Уже издали сказала:

– Может, мужа увидите. Степанов фамилия. Старший лейтенант.

ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ ШУМИЛОВ

Родился 5 октября 1919 года в селе Ильинка Павловского (ныне – Шелаболихинского) района Алтайского края. После окончания семилетки учился в Барнаульском торгово-кооперативном техникуме, работал бухгалтером в селе Ключи.

Был призван в армию, встретил Великую Отечественную войну в приграничном округе недалеко от города Молодечно. В июле 1941 года попал в плен под городом Гродно, совершил побег вместе с двумя товарищами. Партизаном воевал с фашистами, возглавлял штаб партизанского отряда «Сибиряк» в Барановичской области Белоруссии, затем стал его командиром. За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, медалями.

С 1946 года работал в селе Ильинка учителем, завучем и директором школы. В 1960 году переехал с семьей в село Павловск, был сотрудником районной газеты «Новая жизнь».

Первый рассказ И.Л. Шумилова опубликован в 1948 году в литературном альманахе «Алтай». Он – автор романа «Жажда», записок партизана «В тылу врага», повестей, рассказов.

Член Союза писателей СССР с 1979 года.

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «В ТЫЛУ ВРАГА»

(ЗАПИСКИ ПАРТИЗАНА)

Мы отступаем. Еще ранним утром наш полк жил мирной лагерной жизнью. Бойцы весело плескались в тихом Немане, вспоминали вчерашнюю кинокартину, смеялись... И вдруг боевая тревога.

Сначала подумалось: маневры. Но лицо Верховинского, командира роты, было необычайно серьезным и взволнованным.

– Товарищи! Получено боевое задание: занять оборону на том берегу Немана. – Шаго-ом марш!

Последние сомнения исчезли, когда за рекой загремели первые артиллерийские выстрелы, а вслед за тем над Гродно закружились немецкие самолеты. Первый, сделав разворот, пошел в пике, и черные болванки бомб посыпались на город. За первым пикировал второй, третий. Гродно заволокло дымом.

Война началась.

Нашу роту усилили пулеметами и выдвинули вперед для встречи танков противника.

Окопались по обеим сторонам дороги. Ждем.

Хотя я числился разведчиком при командире роты, на этот раз взял «станкач» и окопался с расчетом на правом фланге. Пулеметные ленты набиты, вода в кожух залита, ориентиры намечены...

Уже темно, а танков противника нет.

По цепи передают приказание: сниматься. Рота получила новую боевую задачу: подойти к Неману и помешать возможным попыткам противника переправиться через реку.

Взошла луна, когда рота вместе с какими-то другими отделениями расположилась на крутом обрыве, поросшем мелким кустарником. Под обрывом – долина, а за ней чернеет полоска леса. Это берег Немана.

Ко мне подходит Верховинский.

– Со мной в разведку!

– Есть!

Втроем спускаемся по склону: Верховинский, командир соседней роты и я. Зрение и слух напряжены до крайности: ухо отмечает каждый трепет листа, каждый шорох, хлопок крыльев или посвист птицы... Идем осторожно, медленно, часто останавливаемся. Кругом – тишина, если не считать далекого артиллерийского гула за Неманом.

Спустившись в долину, останавливаемся. Луг без единого бугорка. Луна светит прямо в лицо.

Слева, совсем недалеко от нас, мелькнула черная фигура и скрылась в кустах орешника.

– Разведка противника...

Мы тихонько окружили кустик. Мои спутники выхватили револьверы и направили их на черную массу куста.

– Бросайся с кинжалом прямо в куст и коли, – шепчет Верховинский.

Мне страшновато, но я все же вытаскиваю из чехла штык-кинжал, с ожесточенным видом делаю рывок вперед и, конечно, никого не нахожу.

Вернувшись из разведки, я свалился в окоп и сразу же заснул. Разбудили меня перед рассветом.

– Отходим...

– Как отходим? Куда отходим?

Долго не верилось в это, но когда рассвело и мы увидели, как по широкому шляху тянулись нескончаемые вереницы отступающих, и военных, и гражданских, не верить было нельзя...

Какое это тяжкое зрелище! Утешала одна только твердая мысль: скоро вернемся.

В это верили горячо, убежденно.

А над колоннами с визгом, с пулеметной дробью то и дело пролетали чернокрестные самолеты. В это утро я впервые прошел мимо убитого русского артиллериста, молодого здорового паренька. Он лежал в луже крови рядом с издыхающей храпящей лошадью. Больно сжалось сердце от сознания, что первый увиденный мною труп был трупом товарища, а не врага...

Отойдя километров на тридцать, полк снова расположился в обороне, окопался. Весь остаток дня и всю ночь ждали противника. Появился он только утром.

Мы встретили его атакой, заставили отойти, захватили пленных.

Около полудня немцы совсем замолкли – видимо, ждали подкреплений.

Комроты послал меня на командный пункт батальона.

Только я дошел до бора, где расположился командный пункт, ударила немецкая артиллерия.

Помню, спрыгнул в ближайший одиночный окопчик, где уже сидел боец нашего батальона. Артиллерийский налет с каждой минутой усиливался.

Тут я узнал, что значит впервые сидеть под артобстрелом.

Над нами творилось что-то невообразимое. Один за другим, противно завывая, над головами неслись невидимые страшилища, оглушительно рвались где-то совсем рядом. Визжали осколки, земля тряслась, окоп осыпался. Казалось, очередной снаряд с грозным ревом устремляется именно в наш окоп. Вот он уже близко, вот падает на нас, на нас... Но снаряд разрывается где-то недалеко, – и опять визг, опять ходуном ходит земля, обрушивается окоп...

Не знаю, сколько времени прошло до той поры, когда я в перерыве между двумя очередными взрывами услышал спокойный уверенный голос. Он доносился откуда-то сверху.

– На левом фланге десять танков противника... Передайте командиру полка: на левом фланге десять танков!

Выглянув из окопа, я увидел на высокой сосне лейтенанта Цыкункова, начальника штаба батальона.

– Сообщите командиру левофланговой роты: танки движутся в обход его фланга! – передавал Цыкунков.

Почти рядом с моим окопом оказался КП батальона. Над бруствером я увидел вторую фигуру – младшего лейтенанта Ахлюстина, склонившегося над телефоном. Фуражку с малиновым околышем он надвинул на самые брови, черный ремешок ее перекинул вниз, за подбородок, чтобы фуражку не сдуло взрывной волной...

– Взводу ПТО вести наблюдение за танками! – кричит Ахлюстин в телефонную трубку. – Брать на прицел. Огонь – по моему приказу!

Эти два командира меня словно переродили. По-прежнему над головой визжали мины и снаряды, со страшной силой рвались вокруг, но страха уже как будто не было.

С этого дня бои уже не прекращались. Бои и марши. Рота наша таяла на глазах. Но и враг нес огромные потери. Значительно превышая нас численно, он устилал горами трупов каждый свой шаг вперед.

На всю жизнь запомнились эти дни. Запомнились сотни примеров самоотверженности, терпения, выносливости.

Один раз мы оказались прижатыми к Неману. Выход оставался только один: немедленно перебираться через реку.

Немецкие танки гудели на дороге, скрытой леском в сотне метров от нас. У нас осталось очень мало патронов, а гранат уже не было совсем. Надо было перебираться. Но как? И что нас ждет на том берегу? Видим раскинувшуюся там деревушку, лодки на причале. И все. На нашем берегу лодок нет. Река широка.

Командир вызвал охотников переплыть реку и доставить сюда лодки... И сейчас же один из бойцов вышел вперед.

– Я готов, товарищ командир!

Он быстро разделся и с разбегу бросился в волны. Глаза бойцов прикованы к его загорелым плечам и стриженной голове. Наша судьба в умении и силе этого паренька: переплывет, доставит лодки – переправимся. Он это чувствует. Видим, что выбивается из сил, но плывет.

Вот он проплыл середину, лег на спину и почти погрузился в воду.

– Тонет, тонет, – тревожно говорят бойцы.

– Не тонет, а отдыхает...

– Доплывет! Такой парень огонь и воду пройдет...

Уже несколько бойцов разделись, чтобы плыть на выручку смельчаку. Но он снова взмахивает руками – вперед, к берегу, где качаются у причала лодки.

Из-за плетней деревушки показался человек. Он направился к берегу. Кто он? Зачем идет? Возможно, в де-

ревне немцы? Может быть, нашего героя, голого, безоружного, ожидает смерть? Бойцы приготовились – залегли, взяли неизвестного на мушку.

Однако все обошлось хорошо. Человек из деревни помог бойцу отчалить лодку, сам сел в другую – двое приплыли за нами. Рота быстро переправилась.

С остатками полка движемся по тылам врага – на восток. Нас не больше полутора человека, в том числе немало бойцов, потерявших свои части. Командует полком лейтенант Цыкунков – тот, который так смело командовал во время артралета.

Ни артиллерии, ни обоза. Безостановочное движение днем и ночью, с боями, под обстрелом и бомбежкой изнурило бойцов. На привалах засыпали немедленно, будить людей приходилось чувствительными пинками, и никто на это не обижался.

Помню нашу последнюю атаку. Солнечное утро. Впереди зеленеет лес, с опушки которого бьют немецкие пулеметы...

В атаку двинулся не только наш полк, но и бойцы других дивизий и полков, соединившиеся с нами. Слева и справа – на три километра по фронту – усталые, измотавшиеся бойцы и командиры молча шли, изредка стреляя. Многие падали, ползли обратно, истекая кровью. Но остальные шли во весь рост, не обращая внимания на свист пуль.

Не поддержанная артиллерией (снарядов не было), атака захлебнулась. Мы вернулись на исходную позицию, в низенький кустарник, и сразу же по нам ударила артиллерия, откуда-то появилось проклятое стальное коршунье...

В огромной воронке от бомбы собралась группа бойцов. Подходит старший лейтенант-артиллерист.

– Приказ: выходить из окружения по группам. Кто со мной, становись!

Встали все, кто был в воронке.

– Сейчас мы пойдем на правый фланг противника, – продолжал старший лейтенант. – При встрече с врагом открывать самый беспощадный огонь. Патронов нет? Штыком пробиваться! Только вперед!

Жгучее июльское солнце. Горячее марево с серебристыми чуть заметными потоками струится над высокой рожью. Покинутые жителями, сиротливо молчат разбросанные по полям хутора.

Мы знаем: слева в лесу – немцы, на них мы ходили в атаку, справа в лесу – тоже немцы, бьют из пушек и минометов. Путь один – по открытому полю, зажатому между лесами.

Шли, прячась в посевах, петляя по низинам. Не доходя до бугра с тремя соснами, остановились.

– Вот хороший ориентир! Он, конечно, уже пристрелян, – сказал старший лейтенант. Решаем не огибать высоту – очень далеко, – а идти прямо на нее. Но лишь только мы приблизились к высоте, в воздухе закипело: тюф, тюф-тюф. Снаряд. Залегли. На высоте, около сосен, – взрыв.

– Придется через высоту перебежками, – говорит старший лейтенант, хотя знает, что бегать уже никто не в силах. Разрывы учащаются. Переходим бугор по одному. Подходит моя очередь. Еще не дошел до сосен, слышу зловещее тюфканье. Лег. Оглушительный взрыв, визг осколков, и какой-то непонятный укол в ногу. Вскочил, бегу дальше. Только перебежал высоту, увидел: ботинок разорван, весь в крови. Значит, ранен.

Третью ночь тащимся лесами, проселочными и глухими дорогами. Я часто отстаю, задерживаю товарищей. Стыжусь своей беспомощности.

Сегодня безлунная ночь. Впереди темнеет лесок. Дорогу пересекает ручей. Все перепрыгивают. Я прыгать не могу, мочить больную ногу тоже не хочется. Ни слова не сказав, иду в обход. Каких-нибудь пятьдесят шагов лишних! Однако пока обходил ручей, товарищи уже скрылись. Спешу догнать их и встречаю развилку. По какой же дороге они пошли – по правой или по левой? Пробую свистеть. Наконец негромко кричу. Ответа нет. Отстал. Невеселые думы поползли одна за другой. Чего только не придет в голову в такую минуту, когда ты одиноко плетешься по тылам врага. Побывал на линии фронта, потом в родной Сибири, селе. В семье меня считали счастливым: видите ли, у меня родинка на правой щеке.

«Вот тебе и счастье!». Но не рано ли я делаю такое заключение? Я жив, в руках у меня винтовка, в подсумке остались патроны. А главное – в глубине души горело чувство гордости, что ли: как бы ни было сейчас тяжело, подлый враг неминуемо будет уничтожен.

Вечером следующего дня решился потихоньку войти в деревню. Немцев здесь еще не было. Около маленького уютного домика с палисадником сидит группа женщин.

– Хозяюшки, кто из вас покормит меня?

Самая молодая из них поднимается и приглашает в домик. Вскоре на плитке шипят кусочки сала, а потом аппетитно шкварчит глазунья.

Я умылся и осмотрелся. Крашеный пол, кафельные печи, штукатуренные стены, узорные занавески, этажерка с книгами...

Все это наводит на мысль о далеком прошлом.

Должно быть, у меня очень усталый вид. Хозяйка смотрит на меня сострадальческими глазами, но ни о чем не спрашивает.

За ужином спрашиваю сам:

– Кто здесь живет?

– Семья учителей... Не убежали, некуда было бежать. Ждем теперь своей участи. Немцы к нам в деревню еще не заглядывали. Сидим и трясемся. Мой отец – директор школы, а муж – преподаватель русского языка. Что теперь будет? Боже мой, почему наши отступают?

Я растолковал ей, как умел, и, в свою очередь, спросил:

– А где же ваши отец и муж?

Она испытующе смотрит на меня.

– Вам доверять можно?

– Дело ваше... я не могу требовать...

– Отец и муж днем прячутся, а к ночи приходят. Прибрав со стола, хозяйка предлагает мне чистое белье и бинт.

– Отдохните у нас. Куда идти на ночь глядя?..

– Но ведь я подвергаю вас опасности...

– Знаю... Везде разбросаны эти немецкие листовки: если у кого-нибудь обнаружат советского военного, рас-

стрел и ему, и хозяину. Так что ж теперь? Не пускать никого, не кормить, не поить?

В сумерках приходят отец и муж хозяйки. Следом за ними на пороге появляются еще две фигуры: черноволосый мужчина в очках и его жена с ребенком на руках. Это – родственники хозяев, бежавшие из Новогрудка.

Завязывается невеселая беседа: о войне, о немцах, о будущем. Потом идем на гумно спать: беженцы из Новогрудка и я.

Утром я просыпаюсь от грохота. Колонна танков движется в пяти шагах от меня, за стеной гумна, по узкой мощеной улочке. Запах бензина, дыма и гари. Ворота гумна чуть приоткрыты. Осторожно выглядываю в щель: немцы.

Нет ни беженца, ни его жены. Когда они успели уйти?

И почему не разбудили меня?

Кто-то посапывает на постели. Приоткрываю одеяло – ребенок. Не успели взять. Спит, безмятежно причмокивая пухлыми губками. Для него не существует ни войны, ни немцев.

Прогрохотали танки. За ними пошли грузовики с горланящей пехотой в кузовах. Одна из машин остановилась как раз напротив гумна. Солдаты, гремя о булыжник коваными сапогами, пошли по хатам. Несколько человек проходят в домик учителей. Я слышу, как стучат их подковы по ступенькам крыльца. Слышу голоса, похоже не то на команду, не то на ругань. И вдруг слабый оклик:

– Товарищ боец...

Резко оборачиваюсь. От противоположных ворот гумна идет беженка из Новогрудка. Она простоволоса, испугана, говорит тревожным шепотом:

– Простите, не успели вас разбудить... Муж едва скрылся... А вы не хотите кушать?

Недоуменно смотрю на нее. Но она, словно не замечая моего недоумения, вытаскивает из-под кофточки кружочек колбасы, завернутый в тряпицу, и торопливо сует мне в руки. Потом наклоняется над ребенком.

– Спит? Не плакал? Вы успокойте, если заплачет. И на случай, если немцы обнаружат, запомните: вы – мой муж...

Поцеловав и прикрыв ребенка, женщина быстро вышла. А в домике творится что-то неладное. Крики, ругань,

женский плач. Затем шаги по булыжнику. Идут сюда, к гумну. Сейчас откроют ворота... Приготовился стрелять. Но немцы открывают двери хлева, пристроенного к гумну. Что-то говорят между собой. Раздается выстрел – и пронзительный, истошный визг свиньи. Впрочем, визг быстро смолкает. Мастера все-таки немцы на такие дела. Вытаскивая свинью из хлева, они весело хохочут.

Через минуту снова скрипнули задние ворота гумна и появилась та же женщина. На этот раз с большим узлом.

– Скорее надевайте, – шепчет она, бросая мне кучу одежды, – и выходите отсюда. У нас обыск.

Напяливая на себя гражданскую одежду, слышу, как у самых ворот гумна точат ножи, пыхтят и о чем-то шепчутся мясники, разделявающие свинью. Но мне выходить не в эти ворота. Прячу винтовку под кули жита с мыслью, что скоро вернусь за ней.

В ОКРУЖЕНИИ

– Куда ты меня ведешь? Фронт, фронт. А где он, фронт? Целый месяц идем – ста верст не прошли... Дальше не пойду! Понимаешь? Не пойду! Все равно не сегодня, так завтра сдохну, как пес...

Мой новый знакомый, Чубчик, действительно истощен. Он только что перенес тяжелую болезнь, которая чуть не свела его в могилу. Болел он на ногах, в пути. Я, как мог, ухаживал за ним. Собирал в лесу ягоды, чтобы делать из них взвар. Помогало. Один сердобольный хозяин не поскупился на самогон – налил полную фляжку. А его жена приготовила такую смесь, что у Чубчика перекашивало все лицо и глаза закатывались под лоб. Однако смесь творила чудеса, и Чубчик сейчас здоров, только страшно слаб. Лицо приняло какой-то землистый оттенок, зеленоватые глаза смотрят из-под нависших бровей невесело, хотя и цепко. Иногда он смеется, и между верхними обнаженными резцами виднеется узенькая щель. Это придает его лицу немного детское и беспомощное выражение. Кстати, и волосы у него по-детски непослушны, никакого чубчика нет, а вместо него щетинится «фаланга».

Настоящее имя моего товарища по скитаниям – Николай Иванников. Мы встретились с ним в городе Столбцы, через который я проходил, направляясь на восток. Столкнулись мы у ограды немецкой комендатуры, где толпился народ за пропусками. Пропуска выдавали тем, кто живет на территории, занятой фашистами. Я присоединился к толпе. И в самом деле, человек пятьдесят получили какие-то талоны, а остальных немцы построили, окружили конвоем и... «Шагом марш!» Тут только мы поняли, что это была за махинация: попали на вражескую удочку. Но деваться было некуда – кругом конвой...

– Вот тебе и пропуск, – жалобно сострил парень, шедший рядом со мной. Это и был Чубчик.

Потом нам пришлось восемнадцать дней просидеть вместе в четырехугольной каменной коробке. Лишь на девятнадцатый день мы бежали, выпрыгнув из вагона поезда, тащившего нас на запад.

И вот мы снова идем к фронту. Идем ночами, а днем сидим в лесу, в стогах, на гумнах...

На этих вынужденных остановках Чубчик рассказывал мне свою «одиссею».

– Ты знаешь, один раз я ротой командовал. Не веришь? А случилось так. Вышли мы на большую поляну. Кругом строчат немецкие автоматчики, бьют минометы, люди мечутся и не знают, куда дальше двигаться, – нет командира. Одни повернут туда, другие сюда. А я как раз оказался на бугорке. Вот бы, думаю, дать всем одно направление. И кричу, размахиваю наганом: «Сюда! За мной! На прорыв!» Сам не верю, что меня послушают, а все-таки кричу. Смотрю, бегут ко мне. Это, понятно, придаст мне духу. Я уже командую: «Что вы, как овцы, бродите!» Делаю такие командирские жесты. И сам чувствую, что я командир. Кричу: «Вперед! Ура!» Я бегу – все бегут. И ведь прорвались. Вот видишь! И повару приходится иногда командовать ротой.

В другой раз Чубчик рассказал мне эпизод попроще, но для его природы примечательный.

– Едем это мы ночью с дружкой из нашего же полка. Едем верхами. Скучно. Молчим. Курева нет. По дороге тянутся люди, по сторонам – стрельба, ракеты, самолет с

огоньками кружится. Прямо душу выворачивает от всего этого. Я и говорю дружку: «Знаешь, брат, давай-ка песню споем». Он сначала удивился: «Не до песен теперь да и себя будем демаскировать». А потом согласился: «Ну давай, – говорит, – только чтобы песня была настоящая». Вот мы с ним и гаркнули. Так гаркнули, что все кругом притихли, заслушались: «По лесам, по дорогам скитались два удалых лихих молодца...» Хорошая песня! – заключил Чубчик...

А сейчас этот смельчак и певун лежал напротив меня, и его усталое желтовато-землистое лицо выражало только страдание и озлобленность.

– Не пойду дальше... Надо отдохнуть хоть немного. Свернем вон на те хутора. Отдохнем, а потом снова в путь.

Ясное осеннее утро. Голубое, чистое небо. Первозданная тишина.

Я не могу противиться настойчивым просьбам товарища.

– Ну что же, пойдем, отдохнем...

Долги томительные дни, беспокойные ночи... Рассчитывали отдохнуть на хуторах с неделю, а отдыхаем уже месяц.

С Чубчиком видимся каждый день, он все свои чувства выражает в песнях. Что-нибудь делает – поет, отдыхает – поет, идет ко мне – поет... Что за певучая натура!

Тема разговоров у нас одна: о фронте. А фронт, говорят, под Москвой. Здесь немцы чувствуют себя уже хозяевами. Вошли в роль и полицейские из местных, старшины в деревнях. Работают какие-то управы. В Барановичах создана какая-то «Белорусская самопомощь» – фашистское детище. Выходит газета, а в ней сводки: «Наши войска уничтожили столько-то самолетов, гармат (орудий), столько-то большевистских дивизий» и прочая и прочая брехня.

Чубчик – натура непосредственная, на него эти сводки действуют.

– Долго придется нам воевать, – вздыхает он.

– А как ты насчет леса, чтобы оттуда бить немцев?

– Хоть сегодня. Только что же вдвоем-то? Говорят, что есть партизаны, но где-то в Восточной Белоруссии. Далеко, а места незнакомые.

– Надо, чтобы и здесь были...

– Мужички здесь тугие... И сердцем наши, и любят нас, и немцев ненавидят, а в партизаны... Семьи, хозяйства... За живое пока не задело...

– Но зато наши ребята, окруженцы, пойдут. Некому только организовать...

На всякий случай договариваемся готовить оружие. Мобилизовали пастушков-ребятишек, и те охотно приносят затвор, ствол с прикладом, патроны...

Мы тщательно это прячем.

– Не сплю ночами, – признается в другой раз Чубчик. – Все думаю, как это случилось, что мы долга своего не выполнили. Не в ладах я теперь с совестью... Не в ладах.

Я его отлично понимаю, но ничем не могу утешить, когда и самому нелегко. Приходится молча слушать, как Чубчик вспоминает Волгу, Каспий, где он когда-то рыбачил с отцом. Но все чаще и чаще он говорит о родных советских людях. С Волги он незаметно переходит на Москву, на всю любимую страну.

Да, я его понимаю, и мы тоскуем вместе. Мы оба сейчас не в ладах со своей совестью.

Наши хутора называются Самарцами. На них, да и на других, разбросанных вокруг, живет много бойцов, оказавшихся, как и мы, в тылу. Я давно присматриваюсь к ним. Особенно мне нравится Николай Кулаков. Высокий, сутуловатый, красивый туляк лет двадцати двух, он смахивает на цыгана. Мы с Чубчиком договорились «прощупать» его и, если подойдет, пригласить в свою компанию.

Сегодня Кулаков сам пришел ко мне. Достал кисет, медленно завернул сигарку, угостил меня. Долго молчал, и только на прощанье сказал:

– Приходи сегодня на Негничи, тебя вызывает капитан.

– Что за капитан? Откуда он взялся?

– Обыкновенный, наш капитан. Живет на хуторе у Марожинского. Тоже окруженец.

Под вечер иду к Чубчику. Оказывается, и его «вызывают».

Смеемся над этим словом. А в душе рождаются радость, надежда. Неужели начали раскачиваться? Неужели скоро «шагом марш!»?

Вечером все трое идем к капитану. Он нас, конечно, не «вызывал», а просил прийти познакомиться. Его фамилия Яценко. С ним живет молоденький белобрысый лейтенант, называют его просто Ваней.

Садимся за карты, долго играем в «козла». Поздно ночью, провожая нас, Яценко говорит в темных сенях:

– Родина истекает кровью, а мы сидим, сложа руки... Надо уходить в леса. Собирайтесь ко мне через денек в это же время. А сейчас займитесь оружием.

Он не знает, что у меня уже есть небольшой запас патронов да две полностью собранных винтовки. Храню их в земле, достаю иногда по ночам, долго люблюсь ими, чуть не целую ржавую сталь. Но о своем секретном складе пока молчу. Считаю, осторожность в таком деле – вещь не лишняя.

Нашего полку прибывает. Нас уже двадцать пять человек. Все мы собираемся у Яценко, но в разные дни или в разное время дня и ночи. На случай провала это хорошо. А такие случаи уже были... В одной из ближних к нам деревень арестовали шестнадцать окруженцев. Трех публично расстреляли, остальных увезли.

Из нашего подпольного отряда я знаю только Яценко, лейтенанта Ваню, которого мы избрали начальником штаба, и еще пятерых. Кто остальные – неизвестно.

Сегодня мы идем на последнее совещание: Чубчик, Кулаков, Федосеев и я. У ограды яценковского хутора нас встречает часовой Чужанов, в дубленом кожухе, низенький, плотный.

– Проходите, проходите, – говорит он густым басом.

Яценко встречает нас в тех же темных сенцах. На нем длинный тулупчик, крытый сукном. Здесь же стоит немного знакомый мне боец с соседнего хутора. В голосе Яценко слышится тревога.

– Хозяин соседнего хутора уехал в Жуховичи, возможно предательство. Будьте наготове. В случае облавы постарайтесь скрыться.

– Почему бы сейчас же не выйти в лес?

– До лесу – двадцать пять километров. Идти можно только двумя дорогами: на Мир или на Еремичи, а там – немецкие гарнизоны. Значит, выходить надо раньше, как

начнет темнеть, чтобы проскочить мимо гарнизона до рассвета... Сегодня идти уже поздно... Итак, товарищи, – заключает Яценко, – завтра сбор на моем хуторе. В полной боевой готовности. К вам на Самарцы я, пожалуй, вышлю связного.

Возвращаемся ускоренным шагом. Лунная ночь. Весело хрустит под ногами снег. Морозец совсем маленький и приятный.

– Сказывал жуховичский мужичок – он ездил в Барановичи, – фронт под Москвой. Стоит, как железная стена, – говорит Кулаков.

– А все-таки трудное дело – остановить немцев на таком огромном фронте... И при таком их движении.

– Говорят, Москву защищают сибирские дивизии, – сообщает Кулаков.

– Весь народ защищает, – громко и возбужденно говорит Чубчик, убыстряя шаг.

В эту ночь мы не сомкнули глаз. Хозяева уснули или притворились, что спят, и мы открыли в комнате настоящую оружейную мастерскую. Начали сборку и чистку винтовок, нагана, патронов. Хозяйский парнишка, большеголовый белесый Колька, сначала долго смотрел на нас из темного квадрата, что за чуланом, потом подошел к столу.

– Вы когда пойдете?

– Завтра, – не скрывая, отвечает Федосеев.

– Вы, напэвно, здрасу на жуховичску полицию налет зробите? Вот бы гада Попокова поймали. Я бы его сам вот из этого нагана – лясь!

– Что же он тебе плохого сделал? – шутливо спрашивает Федосеев.

– Людей колотит, обирает... стягивает все для немцев, – серьезно говорит мальчик. – Войта Бересневича еще поймать бы. Да его-то легко... Ему не утечи, ен пузатый, бегать не может. Его бы по пузяке прикладом, як по барабану... – Колька заразительно хохочет.

Жуховичская полиция от нашего хутора – в четырех километрах. Коля знал всех полицейских и потому так живо рисовал картины расправы над ними.

Чудесный парнишка! Всем своим детским разумом и сердцем он был за нас.

На рассвете мы заканчиваем работу. Ложусь, но не спится.

Мысленно забегаю вперед. Днем мы соберемся у Яценко, познакомимся друг с другом. Должно быть, у нас замечательные ребята. Под вечер двинемся в лес. Войдем в него ночью, построим шалаш. Начнется боевая жизнь. Посты, дозоры, разведка, налеты на гарнизончики. Радиоприемник отвоюем – будем слушать Москву. Вышлем связных за фронт. «Помогайте, товарищи, партизаны...» Самолет запросим. Обязательно прилетит, сбросит на парашютах гранатки, пулеметиков два-три, патрончиков, каждому автомат...

Меня будит Чужаков.

– Спать не время...

– Пора идти? – Я соскакиваю с лавки.

– Иди! – грубо передразнивает он. – Ты не знаешь, что случилось? Яценко и начальник штаба арестованы...

– Когда?

– Сегодня ночью. Их уже увезли в Мир, в жандармерию. Я долго не могу прийти в себя, собраться с мыслями.

– Что же теперь делать? Да ты, может быть, ошибся?

Как же так?.. Не может быть... все наготове – и вдруг...

Вскоре приходят Кулаков, Федосеев, Чубчик.

– С минуту на минуту жди «гостей»... Надо что-то предпринять.

– Занять оборону на наших хуторах и встретить немцев по-партизански! – предлагает Чубчик.

– Сейчас же выходить в лес.

– Нет, надо занять оборону! – настаивает Чубчик. Хозяйка возится в кухне, но, видимо, прислушивается к нашему разговору. Открывает дверь:

– Хлопцы, вы не выдумляйте, чего не треба. Десять раз с хуторов стрелите, а за это все наши хутора спалят. Вы уж робите по-людски, чтоб народ на вас не обиделся...

Решаем: пока что, припрятав оружие, скрываться на ближайших хуторах.

Расходимся, условившись о встрече.

Я несколько дней скрываюсь на хуторах у Мошка, у Василя. Немцы не проявляют никакого интереса ни к Негни-

чам, ни к Самарцам. С момента ареста Яценко и начштаба они даже не появлялись в этих местах. Видимо, на допросах товарищи держатся стойко, не выдают никого.

Сегодня мне крайне нужно попасть на Самарцы: первое – намечена встреча с Чубчиком и Кулаковым, второе – надо переправить винтовки и еду с попутчицей. Мосластый рыжий мерин еле трусит: недавно выпал снег, испортил дорогу.

Справа и слева бугры. Они тянутся далеко, куда хватает глаз. Впереди меж ними видны верхушки деревьев. Это Самарцы. До них остается каких-нибудь двести метров. Вдруг слева из лощины выезжают санки, другие, третьи – двенадцать подвод. Немцы. Едут наперерез нам и тоже на Самарцы.

Останавливаю коня. От него идет пар. До вражьего обоза не больше ста метров. Жду, когда подводы поедут и скроются за холмом. Но немцы вдруг тоже останавливаются. Проходит долгая томительная минута. Немцы стоят, и я стою. Попутчица моя бледнеет, робко предлагает:

– Поедем, а то хуже будет. Все равно теперь не схватимся...

Я не отвечаю. Не отрываясь, гляжу на вооруженных людей в шинелях. Чувствую, как под шубой колотится сердце.

Что делать? Повернуть коня и галопом помчаться обратно? Конишка паршивый – сразу догонят, схватят. Ехать на них – самому лезть в лапы.

И вдруг трогается первая подвода, за ней остальные. Вскоре все двенадцать скрываются за холмиком. Я заворачиваю коня и гоню. Комья снега вырываются из-под копыт, высоко взлетая над возком. Хлещу коня кнутом, вожжами. Ему, наверное, передается моя тревога, и он бежит, сколько хватает сил. Спутница закрыла от снега лицо воротом тулупа. Мы так мчимся километр или два. Тряхни стариной, коняга!

– Ездили когда-нибудь так быстро? – спрашиваю я.

– Не... этому коню уже двадцать годов... Ен сегодня издохнет – николи так не бегал.

Прощаемся, и я снова иду на хутор Василия.

Вечером все же прихожу на Самарцы. Меня встречают Кулаков и Чубчик. Узнаю от них: немцы увезли Федосеева.

Кулаков и Чубчик успели убежать в поле, а потом в Долматовскую дуброву.

– Он сидел у нас, – рассказывает хозяйский мальчишка, – и не убачил, як подъехали немцы. Схватился было утекать, да поздно. Сидит в хате, побелел весь. Отпирается дверь, и высовывается рука с револьвером. Входит комендант жуховичской полиции Мацук. «Руки в гору!» За комендантом входит тот боец, что у Теслюка жил. «Этот?» – пытается Мацук у бойца. «Этот», – отвечает боец. Тогда Мацук командует Коле: «Выходи!»

Сидим молча, много курим. Еще одна потеря...

– Будем так без цели мотаться, все ни за что пропадем...

– Надо что-то предпринимать...

Но что? Зима. О партизанах ничего не слышно. Есть где-то в Восточной Белоруссии. Разве туда махнуть?

– Вот что, хлопцы, – говорит Чубчик. – Пойдемте за фронт. Шестьсот километров – полмесяца ходьбы. Конечно, надо лыжи достать, без них не пройти... Думаю, через линию фронта проскочим как-нибудь ночью... А погибнем – и то дело! В бою все-таки, долг выполняли...

Долго обсуждаем этот вариант и на нем останавливаемся.

Достать лыжи, оказывается, не так-то легко. Две ночи безрезультатно ходили по ближайшим хуторам, просили, спрашивали, убеждали. И только на третью ночь на одном из хуторов нам удалось обнаружить пару настоящих беговых лыж. Кулаков поспешно взял их. При свете луны видны его оскаленные белые зубы: доволен!

Идем с Чубчиком за лыжником и завидуем. Он едет по твердому насту, высокий и какой-то величавый.

– Вот сторонка! – ругается Чубчик. – У нас у каждого школяра лыжи найдутся: в одной деревне можно на целый взвод набрать. А тут... Эх, Волга-Астрахань! Когда я до тебя доберусь?

А я вспоминаю Алтай, необозримые степи, колышущее море пшеницы, пойму Оби...

– Придется все-таки этот план отложить, – перебивает мои мысли Чубчик. – На одной паре лыж втроем не поедешь.

– Да... Не везет нам...

К утру приходим на Самарцы.

Кулаков решил идти за фронт. Еще вчера соглашался остаться с нами, а сегодня категорически заявил:

– Иду один.

Нам не хочется его отпускать. Но он стоит на своем. Общими силами достали мешочек, две буханки хлеба. Я все еще не верю, жду, что в самую последнюю минуту Кулаков скажет: «Остаюсь, куда ж я от товарищей...»

Но вот наступила эта самая последняя минута. Все трое выходим из хаты. Луны нет, метель. Ветер свистит в верхушках деревьев, а где-то подальше, на бугре, неистово воет.

За двориком немного тише. Кулаков встал на лыжи, молча застегнул ремешки, распрямился, взялся за палки, выжидающе посмотрел на нас.

– Так что, товарищи, прощайте...

У меня в запасе последний аргумент. Пускаю его в ход.

– Прилетай к нам в партизанский отряд... Оружия вези больше... А может быть, останешься? Организовывать отряд кому-то надо...

Он молчит, обдумывает, потом тихо, чуть слышно говорит:

– От своих решений отступать не могу. Характер такой пакостный... Прощайте, товарищи...

Мы поочередно обнимаем его, целуемся по русскому обычаю. Я едва удерживаюсь от слез.

– Ну, езжай! Езжай!

Кулаков с силой отталкивается палками и скоро скрывается в мутной метели.

Проходит несколько дней, и мы узнаем невероятную новость: Яценко освобожден. Ему приказано жить на Самарцах, никуда не отлучаться, каждую неделю ходить на Жуховичи – регистрироваться в полиции.

– Как думаешь, не провокатора ли сделали из Яценко? А?

Минуту назад почти то же самое спрашивал у меня Чубчик. Я тогда ему отвечал: «Не может быть». Теперь отвечает он:

– Едва ли. Не такой, чтоб...

Так рассуждая, идем к Яценко. Теперь мы не очень опасаемся: коли уж организатора нашего выпустили, нам-то, наверное, пока ничего не угрожает.

– Если он шпион и провокатор, он снова начнет нас организовывать, а потом продаст. Но если он вышел из лап немцев по-честному, то на первых порах будет тише воды, ниже травы, – вслух рассуждает Чубчик.

– Трудно гадать...

Подходим к знакомому домику.

Яценко сидел за столом. Отмечаю про себя, что он сильно похудел и постарел, но жесткая густая шевелюра вьется так же молодо. Он встает навстречу нам, крепко жмет руки, тепло улыбается.

– Как видите, здоров... Цел и невредим.

Испытующе смотрю ему в лицо. Ничего подозрительного не нахожу: ни притворства, ни заискивания. Тот же Яценко. Значит, все в порядке...

Мы ждем, что он начнет рассказывать об ужасах немецкого застенка, но сами ничего не спрашиваем. Молчит и Яценко. Не хочет строить из себя мученика – это хорошо.

– Не верится, что выпустили... Сижу здесь, смотрю в окно и не могу привыкнуть к тому, что это действительность.

– Ну а как с Колей Федосеевым? Жив?

– Едва ли. У него наган обнаружили, а за это в живых не оставят... Немцы знают, что оружие держится не для забавы.

Запомнился и еще один радостный вечер. Прихожу как-то на Самарцы. Открываю двери – и передо мной взволнованный, радостный Колька.

– Ты ничего не ведаешь?

– Нет.

– Ничего, ничего?

– Ничего, – в тон отвечаю я.

Колька улыбается. Щеки его горят, глаза задорно смеются.

– Угадай, кто у нас за печкой? – А сам не пускает меня к ней. – Ну, угадай?

– Не знаю, что там за чудо... Чубчик? Чужанов? Коля Федосеев?

– Не...

– Батька твой?

– Нет...

– Ну пусти же, не балуй!

Врываюсь в комнату и сразу – за печку.

– Кулаков! Цыган этакий!

Мы крепко обнимаемся. Тискаем друг друга долго.

– Вот уж не ожидал! Кого-кого, а тебя не ожидал!

Он сдержанно улыбается черными цыганскими глазами.

– Ты, конечно, знаешь новости: пришел Яценко. Кое-как выпутался. Говорит: представился неграмотным, расписывался на листах допроса каракулями. А хозяйка хутора взятку дала жандарму – ведь и хозяина арестовали... А главное – улики против Яценко не было. Пистолет свой он не показывал тому бойцу, который выдал начальника штаба и Федосеева... Но били его крепко. И сейчас на спине рубцы...

– Все это я уже слышал: видел Чужанова, Чубчика.

– Тогда рассказывай свою историю.

– Да чего там... – Давай, давай, расписывай все по порядку.

Но ему и в самом деле почти нечего рассказывать. Уйдя от нас, он несколько дней продвигался на восток. Мешали бураны. В одном месте едва не попал в руки немцев и решил вернуться. Будь что будет, только бы с товарищами вместе. Вернулся и живет недалеко, в деревне Долматовщине. Там у него есть два товарища, хоть сегодня пойдут партизаны. Теперь решил известить нас.

– Когда будете выходить, непременно сообщите.

Сегодня мне надо снова перепрятать винтовки. Снег растаял, и мальчишки увидели их. Об этом рассказал мне Колька.

Как только стемнело, осторожно открываю дверь и выхожу на улицу. Долго стою, прислушиваюсь к звукам ночи, жадно втягиваю в себя холодный воздух. На хуторах лают собаки, где-то по мерзлой дороге стучит телега, где-то далеко урчит самолет. А над всем этим черное небо со спокойной звездной россыпью. Как много сегодня звезд!

Беру заранее припасенную лопату, иду в поле. Нахожу между высокими будылины – ориентир. Иду с ними к облюбованному месту за сосняком. Наперерез по дороге мед-

ленно движется чья-то фигура. Приседаю, чтобы лучше видеть и не выдать себя. Неизвестный останавливается.

– Ну, чего молчишь? Думаешь, не заметил? Ходи сюда, не бойся – это я.

По голосу узнаю Владимира Синько, крестьянина с Самарцев. Ему лет тридцать. Человек огромного роста, сажень в плечах, кулачище с пудовую гирию. Умеет делать все: лечить скот, сапожничать, плотничать, не говоря уж о работах по хозяйству. Однако живет плохо. Семья большая, жена второй год болеет...

Откуда он так поздно возвращается?

Подхожу.

– Я тебя сразу убачил... Ну, кажи, что за дубэльтов-ки у тебя? Не ховай...

– Откуда ты взялся, Володя?

– Ходил жита подкупить... Кушать нима чего... По-хозяйски ощупал ложу, ствол, щелкнул затвором.

Попросил вторую винтовку.

– Добрые штучки... В землю опять заховывать? А когда же открыто носить? Палить?

– Будет время... Ты бы, Володя, помог гранаток достать, патрончиков...

– Гранаты у меня есть. Как треба будет – отдам. А теперь пойдем эти штуки закапывать... Не бойся, не выдам... Пойдем, знаю хорошее место.

Иду с ним. И верю в него, лохмононогого медведя, и опасаюсь. Все равно перепрячу!

Но перепрятывать не пришлось; вскоре наступил незабываемый счастливейший день, день выхода в лес для вооруженной партизанской борьбы с заклятым врагом моей Родины.

ОТРЯД РАСТЕТ

Ночные совещания, явки на хуторах, кропотливые поиски оружия – все это уже позади.

Впереди боевая жизнь.

В Мирский лес мы вошли на рассвете. На полях таяло, кое-где даже подсохло, а здесь, в лесу, еще держится снег.

Идти тяжело: ноги проваливаются в напоенную влагой снежную кашу. Иногда приходится по пояс тонуть в холодных лужах.

Нас всего восемь человек. Но когда остановились, что-бы передохнуть, переобуться, покурить, первым делом заговорили о командире.

– Кто же будет нами командовать?

– Нечего долго думать – капитан Яценко был заповедной делю, пусть и теперь командует.

– Конечно!

С этой минуты мы стали боевой партизанской единицей.

А через два дня с помощью связных из населения мы встретились с группой Балабанова.

Балабанов – брюнет с немного вздернутым носом и маленькими усиками. Тщательно побрит, недавно пострижен. Шевелюра прикрыта новенькой комсоставской фуражкой со звездой. Серый военный плащ, широкий пояс, ремни крест-накрест. Сапоги хромовые, с блеском. Откуда такой чистый явился? Уж не десантник ли?

Балабанов заговорил первым:

– Товарищи! Немецко-фашистские варвары трепещут от народного гнева... Мы будем громить и уничтожать... Мы не пощадим своих жизней и своей крови... Мы...

– Нельзя ли покороче? – бросил из толпы Чубчик. Балабанов, поморщившись, переходит к делу.

– Я создал партизанскую группу из двадцати пяти человек. Предлагаю товарищу Яценко присоединиться ко мне. У меня скоро будет два пулемета, радиоприемник. Мы сделаем налет на местечко Мир. Разгромим жандармерию, захватим склад оружия, освободим заключенных...

– Слушай, друг, – шепчет Чубчик рядом сидящему бойцу балабановской группы, – скажи, откуда у вас такой «боевой» командир?

– Черт его знает. Говорят, сидел в плену в Мире, был у немцев холуем, бил пленных, а потом как-то выпутался. Я недавно в его группе.

Балабанов тем временем продолжал ораторствовать.

– Хотелось бы послушать вашу биографию, товарищ командир, – перебил его Чубчик.

– Я старший лейтенант. Служил на границе. Остался в тылу, сами знаете, как это произошло. Был в лагере пленных в местечке Мир. Потом освободили, послали работать. Жил несколько месяцев у пана. Вопросы будут?

– Говорят, ты в плену был командиром сотни и бил бойцов палками? – снова отозвался Чубчик.

Усики Балабанова нервно дернулись. Холодные глаза впились в Чубчика.

– Это ложь! Кто подтвердит? Кто? Тут есть бойцы, которые были со мной, – пусть скажут. Скажи, Петька!

Петька нехотя встает и говорит как-то в сторону:

– Нет, не был...

Отряд растет. Каждый день приходят местные комсомольцы, окруженцы, пленные. Однако рост этот только численный. Боевого роста нет. Толчемся в лесу, у костров. Иногда митингуем, обсуждаем перспективы. Чубчик убежден, что виноват во всех проволочках Балабанов. И своего мнения он ни перед кем не скрывает. А Балабанов, кажется, ищет случая свести с Чубчиком счеты.

Однажды на марше мой друг приотстал переобуться. Балабанов подошел к нему, вынул из кобуры револьвер. Но на защиту Чубчика из строя вышел Кулаков и остановился в двух-трех шагах от командира.

– По уставу я имею право тебя расстрелять на месте, – сурово говорит Балабанов. – Ты нарушаешь дисциплину.

– А ты немца хоть одного убил? Своего пристрелить не велико геройство. Ты вот немца убей! Честь тебе и слава будет, – резко бросает Чубчик.

Балабанов молча отошел.

Однако немцы нас заметили. В Мирские леса прибыла колонна автомашин. Прочес. Балабанов растерялся, ходит бледный, небритый. Понял ли он, что значит быть командиром? Пока все его руководство сводится к тому, чтобы уклониться от боя с приехавшими немцами. Нелегко, что все партизаны настроены против Балабанова. Он это почувствовал и на одном из привалов отказался от командования.

Командиром был избран Яценко.

Капитан Яценко принял отряд, в котором насчитывалось уже более ста человек. Он сразу же повел нас на

боевую операцию. Предполагалось разбить гарнизон местечка Старины.

Мое отделение идет в разведку. Темнота такая плотная, что, кажется, руки ее ощущают. Продвигаемся медленно. Входим в местечко. Ни звука. Проходим его из конца в конец – даже собаки не тявкнули. Местечко будто вымерло. Из конечного пункта высылаю связных к Яценко. Ждать их пришлось довольно долго. Не знаю, как дотерпел до той минуты, когда услышал их шаги.

– Где вы там пропали? В чем дело?

– Все в порядке, – отвечает один из связных.

– Где отряд?

– Отряд уже в местечке, да немцев нет. Вот в чем завываю... Казармы пустые. Собирались, собирались, готовились, готовились... – Связной раздраженно плюнул. – Яценко приказал сниматься!

Около комендатуры выстроился весь отряд. Яценко с несколькими бойцами жгут бумаги в комендатуре и выбрасывают ящики яиц.

Говорят, немцы готовились к какому-то празднику, подзапаслись яйцами...

– А мы им приготовили яичницу, – сострил кто-то.

Но острота не вызвала смеха. Все досадуют, что операция прошла впустую. Из Старины выходим в подавленном настроении. Слышится ропот:

– Ясно, что немцам кто-то донес.

Настроение понизилось еще больше, когда на пути в одной из деревень ранили партизана. Выяснить, кто стрелял, не удалось.

К утру, когда мы вернулись в свой лес, стихийно возникло собрание. Высказывались многие, и все стояли за разделение отряда. Попутно выяснили, что перед операцией в разведку ходил Балабанов с одним из бойцов. Вместо разведки они весь день пробыли в соседней со Стариной деревне и выпивали на квартире у старосты. Они-то, наверное, и выболтали наш план. Но доказать это было трудно.

Яценко пытался сохранить отряд.

– Я накажу виновных! Наведу в отряде порядок. Неудачу первой операции загладим боевыми делами... Первый блин, как говорят, всегда выходит комом, товарищи!

Но его усилия не привели ни к чему. К вечеру отряд разбился на мелкие группы. Но ни одна из этих групп не оставляла мысли: организовать новый большой отряд.

Мы во главе с Яценко двинулись в Налибокскую пущу.

В НАЛИБОКАХ

В Налибокской пуще мы оказались первыми. От жителей узнали, что здесь не раздавалось еще ни одного партизанского выстрела. В деревнях прочно сидели старосты. В центре пущи, в местечке Налибоки, работал бургомистр, гражданский начальник над всем районом, и охраняла «новый» гитлеровский «порядок» полиция.

На вторую ночь, узнав, что в селе Нивном есть небольшой маслозаводик, мы разрушили его. С тех пор немцы не получали из Нивного масла, а окрестные хутора освободились от молокопоставок.

Через два-три дня крестьяне деревни Нестеровичи пожаловались нам, что деревенский староста выслуживается перед немцами, выдает людей, преданных Советской власти. Мы арестовали старосту. Весть об его исчезновении быстро разнеслась по окрестным деревням. Многие из старост отказались от своих должностей, и «вакантные» места никто не хотел занимать.

Но эти робкие шаги нас, конечно, не устраивали. Хотелось настоящих боевых действий.

Как-то мы подошли к озеру Кромань. Здесь стояло несколько хуторов. В беседе кроманцы сообщили, что комендант налибокской полиции недавно проехал на велосипеде в местечко Щорсы, очевидно, скоро будет возвращаться обратно в Налибоки. Решаем поймать коменданта. По очереди дежури́м в засаде у дороги. День, другой... На третий слышим на дороге выстрелы.

– Наконец-то проклятый комендант попался! – говорит на бегу Чужанов.

Добегаем до места засады, встречаем Чубчика и его молодого приятеля Олега.

– Где же комендант? Убили? Утек?

Чубчик смеется:

– Мы его и не видали.
– Не шутите, показывайте труп.
– Серьезно – не видели. Не проезжал. Думаете, он дурак? Поедет этой дорогой? Да он давно другим путем вернулся!

– В кого же стреляли?

– По соснам.

– Зачем? Патроны лишние, что ли?

– Проверяли бой винтовок, – объясняет Чубчик. – Я с пятидесяти метров не мог попасть в толстую сосну. Но-сишь ее за плечом, а коснись дела – толку мало! – Чубчик немного помолчал и с жаром предложил:

– Ребята, есть у меня предложение: сегодня же разбить Налибоки!

– Ни раньше ни позже, а именно сегодня?

– Именно сегодня. Захватим оружие! Увеличим отряд! Пойдем к Яценко! – Все более горячился Чубчик. – Скажем ему: долго ты нас будешь водить по лесу? Не сосны надо считать, а убитых немцев! Веди, скажем, на Налибоки!

Упреки по адресу Яценко были отчасти справедливы. После неудачи в Старине он проявлял чрезмерную осторожность.

Придя к нему, мы сразу заговорили о Налибоках.

– Только сегодня же, сегодня... – настаивал Чубчик. К вечеру отряд вышел к Налибокам.

– Какое-то безумие, – шагая рядом со мной, тихо говорит недавно пришедший к нам партизан Яша. – Их больше двадцати человек, а нас восемь. У них пулеметы и гранаты, у нас ржавые винтовки и два пистолета. Что может получиться?

– А ты не так думай, Яша. Ты думай, что в руках храбрца и палка стоит винтовки! Нас же – целое отделение! Мы решительны, злы и будем драться как черти.

Впереди шел Яценко, сосредоточенный и молчаливый. На лице его появилось выражение суровой энергии. Сейчас он действительно походит на командира.

К Налибокам подошли затемно. На отшибе заметили хутор. Заходим. Застаем мать с сыном. Постепенно сводим разговор к численности гарнизона, к размеще-

нию постов. Юноша охотно рассказывает все, что ему известно.

– А можешь ты провести на квартиру бургомистра? – Прямо приступает к делу Яценко.

– Могу. А если бы дали зброю – бить бы их рядом с вами пошел...

– Но провести надо так, чтобы миновать всякие посты.

– Понимаю, – отвечает юноша.

Мать возражает. У нее единственный сын, и она боится за него.

– Мама, да ведь я только покажу и сразу вернусь, – упрощает сын.

– Геройский у тебя сын, мамаша, – говорит Яценко старушке. – Гордиться надо таким. Не бойся за него.

– Ну, с богом, – прощается мать, когда мы выходим из хаты.

Над пушей уже ночь. В Налибоках иногда раздаются одиночные выстрелы – это караульные подбадривают самих себя.

Юноша ведет нас околицей, по-за гумнами. Идем тихо. В ограду усадьбы бургомистра вошли с огородов. Яценко постучал в дверь сенок:

– Пане вуйт, отчините, важная справа.

Там, в избе, зашептались. Шепот тревожный, панический. На пороге стоял сам бургомистр, весь в белом: не успел одеться.

– Руки вверх! – тихо скомандовал ему Яценко.

Несколько секунд толстяк не двигается с места. Яценко приказал ему одеться. Входим в дом.

Жена и дочь бургомистра догадались, кто мы, – плачут. Женщина порывается целовать сапоги Яценко. Он отстраняет ее.

– Если хозяин благополучно доведет нас до комендатуры – оставим его в живых, – говорит он. – Слово партизана! (Кстати, мы его выполнили.)

– Ты подведешь нас к зданию комендатуры с тылу, – тихо дает задание бургомистру капитан, когда мы вышли из дому.

Снова идем околицей. Впереди – гитлеровское районное начальство, исполняющее на сей раз обязанности партизанского проводника.

– Не вздумай бежать, – предупреждает Яша, показывая ему пистолет.

Но до побега ли толстому, испуганному, тяжело дышащему бургомистру! Он едва переставляет ноги.

Когда подошли к комендатуре, «проводник» остановился и таинственно зашептал:

– Теперь надо идти тихо, чтобы шагов не слышно было.

Подходим к зданию вплотную. Никто нас не окликает. Где-то невдалеке ходит часовой.

Во двор смотрят два ярко освещенных окна.

– Сейчас бы по гранатке в каждое, – шепчет Яша, – потом ворваться...

Но гранат нет.

– Ваня, – шепчет мне Яценко, – ты пойдешь в комендатуру.

– Есть.

– И ты, Володя, – приказывает капитан Чужанову.

– Есть.

– Остальным окружить дом!

Мы шагнули вперед, подталкивая вконец перетрусившего бургомистра. Поднялись на крыльцо, вошли в пустую комнату. На правой стене висит огромный портрет Гитлера. Налево – зеркало. Осмотрелись и увидели дверь во вторую комнату. Попробовали тихонько открыть ее – не поддается: закрыта на крючок изнутри. Знаками показываем бургомистру, чтобы он постучал в дверь и попросил разрешения войти. Он повинуется.

В ответ на стук доносятся приглушенные голоса. Бургомистр называет свою фамилию, говорит еще что-то на польском языке. Вскоре брякнул крючок, и дверь отворилась.

Следом за бургомистром в комнату входим мы с винтовками наперевес. За столом два гитлеровца – в полной форме. Один из них держит трубку телефона.

– Ни с места! Хэнде хох!

Гитлеровцы словно пристыли к стульям. Не встают и рук не поднимают. Я беру со стола карабин, оставляю его к стенке, потом толкаю в грудь гитлеровца стволом своей винтовки. Он нехотя встает, вяло поднимает руки. А в комнату уже входит Яценко. Быстро срывает с того, который у

телефона, личное оружие вместе с ремнями, рвет провода. Наган отдает Чужанову.

– Что там? – сурово бросает Яценко бургомистру, показывая на следующую дверь.

Склад.

Оставив меня стеречь гитлеровцев, Яценко с Чужановым уходят в склад. Через минуту возвращаются с винтовками.

– Там муки несколько мешков. А ну-ка, за мукой! – приказывает Яценко бургомистру и арестованным. – Сопровождай их, Володя!

Яценко посылает меня на улицу сторожить вход. Выхожу на освещенное крыльцо. В местечке тишина. Иногда хлопнет выстрел, залает собака. Вражеские караулы не подозревают, что в комендатуре орудут партизаны. Из-за угла показывается Чубчик, спрашивает:

– Ну что там, скоро? Поймали кого?

– Скоро, скоро. А поймали только двоих. Чубчик ворчит на Яценко:

– Ведь просился первым войти в дом. Не разрешил. Это за мою прямоту...

Он снова скрывается за углом: нельзя оставлять свой пост.

По улице движется человек. Приближается ко мне. За плечом у него винтовка. Зову: «Ходи сюда!» Вот он подходит ко мне вплотную, и я хватаюсь за его оружие.

– Отдай!

Через несколько секунд винтовка оказывается в моих руках, а сам караульный предстает перед капитаном Яценко.

– Бог троицу любит, – смеется Чужанов.

А пленный еще не может понять, что с ним произошло.

– Я часовой, – серьезно заявляет он, – полицейский.

– Сами видим, что за птица, – обрывает его Яценко.

К капитану подходит Чужанов. Он вертит в руке наган и просит:

– Товарищ командир, разрешите опробовать трофейное оружие...

Пленные вздрагивают.

...Рассвет.

На подводы, дежурившие у пожарки (что неподалеку от комендатуры), погружены трофеи – четырнадцать винтовок, ручной пулемет, ящик патронов, несколько мешков крупчатки, шапирограф. Но мы еще не уезжаем: в двух или трех домах ищем коменданта полиции, но ищем безуспешно. И на этот раз он ускользнул.

Наконец мы трогаемся. Едем через все местечко на рысях. В окнах кое-где показываются удивленные лица.

За Налибоками Чубчик как-то особенно торжественно восклицает:

– Вот бы дать салют в честь первой нашей победы!

Мы останавливаемся, сходим с повозок и даем внушительный залп.

На другой день в Налибоки нахлынули каратели и устроили на нас облаву. Появились они и на озере Кромань, на «наших» хуторах. Но мы успели уйти в лес. А найти маленькую партизанскую группу в таком огромном лесном массиве, как Налибокская пуца, – дело почти невозможное... Постреляв, враги уехали.

После облавы капитан Яценко направил меня с двумя товарищами в Мирский район. Там у нас оставалось много спрятанных патронов, надо было их принести в отряд.

Вернувшись в пуцу через десяток дней, мы нашли своих на хуторе Трасянка. В группу за это время прибыло около десяти новых бойцов. Провели новую боевую вылазку. Прибавился еще один пулемет – танковый, то есть с танка. Нам, понятно, очень обрадовались. Чужанов потчевал мясом дикого кабана, только что им убитого, а капитан наливал в маленький стаканчик трофейного спирту.

– Где же Чубчик и Аланин? – поинтересовался я.

– Пятый день в отлучке, ищут десантников.

– Каких?

– На хутор к Михасю приходила группа неизвестных. Михась предположил, что это советские десантники. Чубчик, ясно, загорелся и сразу начал проситься на поиски. Теперь он не вернется, пока не узнает все досконально.

– Может быть, это немецкие провокаторы?

– Возможно.

В этот самый момент в дверях показались Чубчик и Аланин. Легки на помине!

– Да здравствуют советские десантники! – крикнул Чубчик прямо с порога. – Москва живет!

– Что, нашли? Связались? – наперебой спрашиваем его.

– Что за вопрос! Конечно!

Качнув следопытов, принялись расспрашивать их о подробностях.

– Ну что рассказывать? Ребята свои, родные, советские...

– А есть у них радио? – интересуется Яша.

– Да разве без радио может быть десант? Эх ты, вояка. Я уже слушал Москву. Назавтра договорились с ними о встрече. Сами увидите!

Увидеть людей, только что прилетевших с Большой земли, разве это не радость? Почти с первого дня войны мы ничего не знали о том, что делается на фронтах, как живет родная страна за фронтовой линией. Сообщения немецких газет мы не могли принимать всерьез. Слухи, ходившие вокруг нас, были самыми противоречивыми и часто не вязались со здравым смыслом. Достать исправный радиоприемник до сих пор не удалось. Попадались испорченные, мы их кропотливо и подолгу ремонтировали, но ничего не добивались. В конце концов, наш радиолобитель Олег безнадёжно махнул рукой и больше к ним не подходил.

И вот завтра мы не только услышим Москву, но увидим людей, прилетевших оттуда, будем разговаривать с ними!

Назавтра на одном из хуторов мы встретились с десантниками. Они были в гражданских костюмах, только командир в полной военной форме.

– Старший лейтенант Цыганков, – отрекомендовался он.

С интересом смотрим на людей с Большой земли. Нам были в диковинку и их новые автоматы ППШ, и финки, и «лимонки». Но еще больше нас интересовали рассказы Цыганкова.

– Зимой немцев стукнули по-русски под Москвой. Бежали, как осатанелые. Наша конница едва за ними поспевала. Отогнали на триста километров... Великая победа!

Рассказывал он о танках, орудиях, самолетах, – безостановочно идущих к фронту, о женщинах, юношах и девочках, работающих на заводах и фабриках. Его рассказы восхищали нас, вливали новые силы.

После долгой беседы десантники повели нас в свой лагерь. Цыганков, правда, отказался взять всю нашу «делегацию» из десятка человек, а пригласил только капитана Яценко и трех партизан (в числе которых оказался и я).

Шли долго. Цыганков с компасом в руках вел нас по азимуту. Когда подходили к какому-нибудь отмеченному дереву, азимут менялся.

– Однако вас не только немцу, но и своим не найти.

– Так надо. Рация у нас – самая дорогая вещь. Без нее мы не вояки.

Наконец подходим к белой палатке, сшитой из парашютов.

– А я ведь обманывал вас, что слушал Москву, – Шепчет мне на ухо Чубчик. – Цыганков не водил нас сюда.

Это я сейчас и без тебя вижу.

В палатке перезнакомились со всеми десантниками. Стреляли из бесшумной винтовки, опробовали термитный Шарик.

Потом радист Костя, сообразив, чего мы еще ждем, включил Москву. Мы с Яценко припали к наушникам. Другие жадно смотрели на нас, дожидаясь своей очереди. Из столицы передавали концерт – легкий, веселый. И спокойная уверенность родной страны в своих силах передалась каждому из нас.

Уходили мы от десантников в непередаваемо радостном, приподнятом настроении. Было такое чувство, словно за плечами выросли крылья. А вскоре, вооруженные толом и электробатарейками, мы шли к железной дороге подбивать эшелон. Началась наша диверсионная работа.

ПЕРВЫЕ БОИ

С группой Цыганкова у нас установилась прочная боевая дружба. Через немного дней старший лейтенант дал нам несколько килограммов тола для подрыва двух железнодорожных составов.

Самое слово «диверсант», которое раньше воспринималось только применительно к врагу и потому вызывало отвращение, теперь приобрело новый значительный

смысл. Диверсант во вражьем тылу – что может быть почетнее этого? Он должен быть хитер и осторожен, смел и решителен. Требуется от него и еще одно качество – исключительное хладнокровие при работе со взрывчатыми веществами.

Обо всем этом рассказывал Цыганков, провожая нас на первую диверсию.

Теперь у моих товарищей то и дело срывается с губ «диверсия», «диверсант», «взрыв», «крушение». Полюбились эти слова.

На первую диверсию вышли две группы по пять человек. Одной руководил Яценко (с ним был и я), другой – Николай Кулаков. Когда мы вернулись с задания, Кулаков со своими бойцами был уже в лагере. Чубчик с чувством рассказывал мне о своем первом взрыве:

– И вот подходим мы к железной дороге. Скоро рассвет. Немного подождали, слышим – эшелон стучит. Мы с Кулаковым скорей на полотно. Грунт твердый. Кинжалом подкапываем под рельсом ямку для рапиды. Вдруг два немца идут – проверяют дорогу. Спрятались мы за насыпь. Не заметили, прошли. Разговаривают громко, страх отгоняют. А поезд уж совсем близко – кажется, вот-вот подойдет. Я тороплю Кулакова, а он и ухом не ведет. Тихонько, вежливенько настраивает рапиду, провода проверяет, в батарейке копается. Будто не на полотне сидит, а в классе, подрывное дело изучает. Пень – не человек! Я даже рассердился. И чуть мы успели отбежать от насыпи, как эшелон наскочил на заряд. Вот было шуму! Грохот, вой, крики... Состав был пассажирский – воинский эшелон. Уцелевшие фрицы минут через десять опамятавались и открыли стрельбу. Жарят по лесу из пушек, из пулеметов. А мы как раз отошли не в лес, а в поле...

В пуцу пришел отряд имени Сталина. Организованный талантливым командиром Рыжаком, он в короткий срок вырос в грозную силу. Немало славных дел было уже на его счету. Но в бою на станции Кайданово погиб любимый бойцами командир, и теперь отрядом руководил коммиссар Жуховец.

Партизаны разместились в Налибоках. Не успели бойцы освоиться с новым местоположением, как в местечко въехало несколько автомашин с немцами.

Произошел короткий бой, и скоро партизаны праздновали победу: на захваченных автомашинах возили по местечку напоказ пленных немецких офицеров.

Пришли в пушу и еще две группы партизан. Одной из них командовал наш старый знакомый Балабанов.

Вскоре в наш лагерь приехали гости – командир сталинцев Жуховец и старший лейтенант Цыганков.

Знакомимся. Гости без обиняков переходят к делу: надо бы из трех групп – нашей, Балабанова и «Щорса» – создать один отряд. Как на это смотрит Яценко?

Яценко согласен, но у него вопрос: кто будет командовать отрядом? Он спрашивает об этом не потому, что сам хочет стать командиром, а потому, что боится отдать руководство в руки Балабанова – хвастуна и пустомели, если не хуже.

– Командира выберете на общем собрании... Проверим его на деле, негоден будет – снимем, другого поставим...

– Коли так, мы люди не гордые. Будем соединяться, – говорит Яценко.

Назавтра наш отряд слился с двумя остальными.

Собрание открыл Жуховец. Вопрос один: формирование отряда, выборы командира, комиссара, начальника штаба.

Командиром избрали Балабанова (в его группе было больше людей). Комиссаром – Склемина, начальником штаба – Яценко. Отряду присвоили имя Чапаева.

Но командование наше продержалось недолго. Через несколько дней снова приехали Жуховец и Цыганков. Они арестовали Балабанова. Созвали отряд.

– Товарищи! – начал Жуховец. – Я должен со всей резкостью поставить вопрос о вашем командире. Мы готовили силами двух отрядов – вашего и нашего – операцию по разгрому местечка Мир. Велась уже разведка, была назначена примерная дата нападения. Но сегодня я узнал, что все наши планы стали известны немцам. И выболтал их ваш командир Балабанов! Он напился в лесничестве и

рассказал всем, что завтра мы разгромим Мир. Его слова, конечно, уже переданы в гарнизон, потому что в лесничестве были люди из Мира. Я ставлю, товарищи, на ваше обсуждение вопрос о Балабанове. Решайте, что с ним делать...

Собрание с минуту молчало. И вдруг в тишине раздаётся голос Чубчика:

– Расстрелять!

– Правильно! Нечего с ним валандаться, – поддерживают его из первых рядов.

– Дать ему смертельное задание – пусть оправдает...

– Отдать под суд.

Последние слова принадлежат ближайшему собутыльнику Балабанова и только подливают масла в огонь.

– Какой может быть суд? Тюрьму для вас строить, что ли? Один может быть суд: продал – получай пулю.

Балабанов уже под стражей. Его приводят на собрание. Он бледен, но в глазах затаенная злоба.

– Я, товарищи, три месяца командую отрядом...

– Плохо командуешь!

– Короче! – вмешивается Жуховец, – дайте, товарищи, сказать ему...

– Прошу пощадить, – тихо выдавливая из себя Балабанов. – Любое задание выполню. Не посчитаюсь с жизнью...

Избираем нового командира – Климова.

Назавтра Балабанов ушел с подрывной группой на боевое задание. Впрочем, это задание он не выполнил, струсил. Пригрозив подрывникам, он доложил командованию отряда, что пустил под откос два эшелона. Ложь вскрылась. Балабанова расстреляли.

Местечко Рубежевичи стоит на юго-восточной окраине Налибокской пуши. Гарнизон его невелик, шестьдесят-семьдесят человек, располагается в двухэтажном здании школы.

С тактической точки зрения Рубежевичи имеют то значение, что связывают между собой два других гарнизона, в Столбцах и Ивенце, создавая таким образом замкнутую цепь, которая пересекает дороги, выходящие из пуши на юго-восток.

Командование партизанских отрядов решило разорвать эту цепь, нанеся удар по ее центральному звену – Рубежевичам.

...Сладко спится немцам под утро. Ночь прошла, опасность нападения партизан миновала. Можно спокойно отдохнуть: караулы почти не нужны.

Но как раз в это время мы и явились.

Сигналом к общей атаке был артиллерийский выстрел. Как только разорвался снаряд, в местечко со всех сторон хлынули наши подразделения. Вражеский пулемет, дежуривший на колокольне костела, попробовал было задержать нас, но быстро умолк, уничтоженный метким огнем нашего «максима».

Подразделения расчистили себе путь к центру вражеской обороны – к двухэтажному белому зданию – и взяли его в кольцо.

Слева от местечка грохнул взрыв, вслед за ним взрыв такой же силы раздался справа. Это десантники Цыганкова уничтожили мосты на шоссе, ведущем в Рубежевичи. Путь для немецких подкреплений был отрезан. Вся мощь нашего огня обрушилась на школу. Черные кружочки – следы пуль – облепили белую штукатурку вокруг окон. Около стен рвались мины. Но ни пули, ни мины не причиняли вреда врагам, засевшим за каменными стенами.

Немцы обложили окна мешками с песком, выставили пулеметы и не подпускали нас к зданию. Так продолжалось более часа.

Мой взвод, разместившись за деревянным сараем, вел огонь по окнам вражьего укрытия.

– Неправильно мы воюем, – резко заявил Чубчик, подходя ко мне. – Надо, как в Налибоках. Из-под земли появиться, да за горло сразу. А так – только патроны портим. Треску много, а толку мало.

И тотчас Чубчик бросился к зданию, увлекая за собой кучку бойцов. Он бегал около стен, выпуская по окнам очереди из автомата, потом начал проверять прочность дверей. Их было много, и в каждую Чубчик стучал ногами, на каждую налегал всем телом, пробуя открыть или выломать, чтобы первому ворваться в здание и взять врага «за горло».

Из окон летели гранаты, но Чубчик ловко лавировал между взрывами, заражая храбростью остальных партизан.

Вскоре удалось выломать одну из дверей. Ворвавшись в коридор, мы увидели неожиданную картину: в затылок друг другу выстроились люди в одном нижнем белье с поднятыми вверх руками. Это были полицейские.

– Выходи на улицу! – кричал Чубчик.

– Мы не воевали, – наперебой оправдывались полуголые люди. – Это немцы... Они и сейчас сверху стреляют: туда осторожней входите, товарищи!

– Ваши товарищи на верхнем этаже!..

Полицейские потому и были в одном белье, что не хотели надевать свои мундиры. Некоторые из них выдавали себя за крестьян, случайно попавших в здание.

Ворвавшись на верхний этаж, мы захватили там еще немало пленных. Среди них я заметил человека, лицо которого показалось мне знакомым. Где я его видел? Ага, вспомнил: это же косарь! Приходил к нам в отряд, с косой, назывался крестьянином из какой-то деревни, надоедливо говорил о своем сочувствии... Но тогда он был заросший, грязный, теперь – чисто выбрит, лицо пухлое...

Взяв его за ворот рубашки, направляю вниз по ступенькам, крикнув: «Ребята! Знакомый!» Кто-то еще опознал «косаря», и не успел я распорядиться, чтобы его доставили к командиру, как он уже лежал с разможенным черепом. Партизанский суд короток.

Когда пленных вывели на улицу, а трофейное оружие и боеприпасы уложили на повозки, Чубчик, Чужанов и я спустились в подвал. Кроме сена, толстым слоем лежавшего на полу, там ничего не было. Топчемся на сене. Вдруг Чужанов вскрикнул:

– Э, да тут что-то живое есть! Пружинит! Вылазь! – прикрикнул он, направив на шевелящееся сено винтовку.

Выкарабкался немец. Взъерошенные волосы, бледное, перекошенное страхом лицо.

– Завоеватель! – иронически протянул Чубчик и вытащил из его кармана револьвер.

По замыслу командования после налета на Рубежевичи наш отряд должен был напасть на железнодорожный

эшелон. Но к вечеру со всех сторон загудели автомашины: немцы подтягивали к Рубежевичам значительные силы. Командование отряда, опасаясь окружения, решило отойти в пущу. Чубчик, однако, пристал к командиру:

– Отпустите. Честное слово, эшелон, как бритвой, сбреем... Дайте мне с десяток человек... Командир задумался. Чубчик бросился ко мне.

– Ну чего ты молчишь? Проси командира. Главное – железная дорога недалеко... Завтра же ковырнем состав...

Командир в конце концов уступил.

– В добрый путь! – сказал на прощанье комиссар Склемин. – Если придете с успехом, устроим добрую встречу! Сам буду угощать!

...Мы подошли к дороге Барановичи – Минск в районе станции Койданово. Впереди – свистки паровозов и пулеметные очереди. Идем с Чубчиком в разведку. Лес приводит к самому полотну дороги. Замаскировавшись на опушке, долго наблюдаем за движением поездов, за немцами на полустанке. Они ходят по линии метрах в десяти от нас. Рука так и тянется к затвору – хлопнуть бы двоих-троих... Но нельзя: для успеха дела приходится терпеть.

Когда стемнело, снова подходим к дороге – на этот раз всей группой. Горят костры, разложенные охраной. Светятся окна сторожевой будки. Эшелона нет. Долго стоим в молчаливом ожидании. Наконец справа, с запада, послышался стук колес, но стук этот какой-то особенный, легковатый, со звоном.

– Дрезинка, – догадывается кто-то.

Гудя мотором, дрезина проносится мимо нас. В освещенных окнах вагончика на секунду мелькают черные силуэты. Наша группа на этой дороге взорвала уже несколько эшелонов, и теперь немцы перед составом стали пускать дрезины.

С востока подул сильный ветер, и, словно дожидаясь только его, показался паровоз. Ставить заряд, пожалуй, поздно: поезд может раздавить подрывника.

– Дай-ка мне! – крикнул Чубчик и вырвал из рук бойца-подрывника связку шашек. В несколько прыжков он оказался на линии и почти сейчас же снова вырос перед нами.

– Готово!

Всей группой отбежали в лес. За спиной раздался невероятной силы взрыв. Сердце бешено колотилось и от бега, и от сознания большого успеха.

Налибокская пуца стала все чаще привлекать внимание немцев. В Налибоки прибыл батальон карателей. Фрицы заняли кирпичное здание – бывший помещичий дом – и укрепились в нем. Мы напали на батальон, но неудачно. Пришлось отойти в пуцу. Однако немцы и здесь не оставили нас в покое. Ранним июньским утром над хуторами Борки, где размещался наш отряд, появилась эскадрилья легких бомбардировщиков. Два часа она бомбила и обстреливала нас. Хутора запылали.

Отряд понес потери. Смертельно ранена семнадцатилетняя партизанка Яда. Она совсем недавно пришла в отряд вместе с отцом – старым Юзефом. Энергичная, веселая, красивая, девушка уже побывала в боях, узнала радости побед, горечи неудач... Осколком бомбы Яде оторвало обе ноги. Молча стоял над ней отец с винтовкой за плечами. Лицо его каменно-строго. Губы сжаты... Всю жизнь мечтал он видеть дочь счастливой и цветущей – и вот она лежит перед ним с оторванными ногами. К старику подходят партизаны. Его все любили за скромность, за честность и за выдающуюся храбрость. В местечке Ивенец он вошел в немецкую столовую и из русской трехлинейки застрелил четырех гитлеровцев, остальные бежали через окно. Каждому хотелось сказать Юзефу что-то ласковое, ободряющее, каждый чувствовал силу отцовского горя.

ПОСЛЕДНИЕ БОИ

Последние полмесяца нашей партизанской борьбы были совсем не похожи на все прежние. Как только мы узнали о наступлении Красной Армии на нашем направлении, вся бригада вышла на железную дорогу и разрушила ее на громадном участке.

Потом настали и вовсе горячие дни. Каждый партизан превратился в охотника за перепуганными, грязными, вшивыми фрицами.

Дядя Егор звал их паутами.

– У нас в Сибири в этот месяц много паута летает. Не дает паут покою ни человеку, ни скотине... И вот скотина отмахивается от него хвостом, мотает головой, бьет ногами, а человек когда уж очень злится на этого гнуса – поймает его и казнит.

«Пауты» двигались на запад группами по десять-пятнадцать, а то и больше человек. Партизанские отряды, стоявшие в Налибокской пуще, ловили их, а если те оказывали сопротивление, уничтожали.

Между бойцами и подразделениями развернулось даже что-то вроде соревнования: кто больше наловит фашистов. Помню, как один боец после стычки с немцами приставал к товарищу, ведшему пленного:

– Отдай! «Мой» немец!

...Далеко на востоке – отблеск пожаров, гул боев. В пуще тоже беспокойно: то в одном, то в другом месте поднимается стрельба.

Отряд не спит. Люди – в засадах, в секретках, на постах. Вот в густом сосняке затрещал валежник. Ближе, ближе. Немцы! Засада подпускает их почти вплотную и бьет залпом. Уцелевшие сдаются в плен или скрываются в темноте, чтобы вскоре напороться на новую засаду.

Пленных ежедневно и еженощно приводят в штаб.

Спрашиваешь: «Куда идете?» – «Нах вест, нах Лида...» Часто и тяжело вздыхают. Очевидно, вздохи эти надо понимать так: «Ох, не легок путь из России!»

Смотрят заискивающе, часто твердят:

– Партизан – гут, гут...

Насколько жестоки в победе, настолько же трусливы в поражении!

Недавно мы захватили фашиста и отобрали у него большой печатный список «Почетных граждан Кенигсберга». Его фамилия в списке была подчеркнута жирной линией. Он, видимо, хранил этот список, как святыню.

Теперь он сидел перед нами обросший, осунувшийся, в солдатской форме, которую успел напялить на себя. На крупном теле солдатский мундир трещал по швам.

Как все меняется в жизни – к лучшему!

В местечке Ивье наш подпольный райком уже работает по восстановлению советской власти. Создается ис-

требительный батальон. В него наш отряд выделил группу лучших бойцов. А через несколько дней решилась судьба и остальных бойцов. Я получил приказ выводить отряд в Ивье. Жить в пуще больше нет надобности – движение немецких групп почти прекратилось.

Когда я объявил приказ перед строем, с людьми сделалось что-то неопишное. Кричали «Ура!», тискали друг друга в объятиях, плясали...

Партизанские сборы коротки. Через час-полтора мы отошли от землянок. Выезжая на дорогу, я повернул коня, чтобы еще раз взглянуть на свой лагерь. Снял фуражку и помахал всему тому, что пережито и пережито здесь.

– Прощай!

Вскоре отряд вышел на шоссе, ведущее в Ивье. День знойный. Небо чистое. Серебрится, переливаясь над полями, марево июльской жары.

На дороге и в полях валяются исковерканные пушки, танки, повозки, автомашины – мертвые свидетели панического отступления врага и победного шествия наших войск. На большом щите, воткнутом на обочине шоссе, призыв: «Воины Красной Армии! Победа близка. Нарацивайте удары!»

Отряд нагоняет колонна армейских грузовиков с пехотинцами. Лица запылены так, что видны лишь глаза да зубы. Грузовики идут нескончаемым потоком. Солдаты подолгу машут нам пилотками, что-то кричат. Некоторые машины останавливаются, соскочившие с них бойцы подходят к нам, крепко кого-нибудь обнимают, трясут руки. Расспрашивают о землянках, обмениваются на память несложными вещичками, личным оружием.

Незабываемый день! По израненной белорусской земле идут советские воины. Окрыленные славой, несущие на запад большую человеческую правду, они смело смотрят вперед, в будущее, имя которого – Победа и Мир.

В Минске, в Штабе партизанского движения, куда нас командиров, вызвали для отчетов, неожиданно встречаю знакомое, слишком знакомое лицо.

Пристально смотрю на профиль. Человек оборачивается ко мне.

– Цыкунков!

Да, это он, начальник штаба нашего батальона, командовавший остатками полка. Мы расстались с ним в день последней атаки – три года тому назад...

Цыкунков долго вглядывается в мое лицо, напрягает память, морщит лоб.

– Нет, нет, не говори свою фамилию! Я вспомню.

И он действительно вспомнил. Да и как не вспомнить, когда больше года служили в одном полку, вместе воевали...

Сначала Цыкунков требует отчета от меня, а затем рассказывает о себе. Он тоже все это время партизанил. Командовал отрядом. Сейчас сдал отчет и получил назначение в Гродненский обком партии...

Вскоре мы получили газеты с Указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза белорусским партизанам. Среди других имен в Указе было названо и знакомое имя комбрига Бориса Адамовича Булата.

Среди награжденных орденами и медалями нахожу десятки фамилий старых боевых друзей.

Где они теперь?

Я этого не знаю. Но знаю, что они и сейчас так же честно служат своей Родине, как служили ей на полях партизанской славы.

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ВТОРУШИН

Родился 9 мая 1938 года в городе Новосибирске. Вырос на Алтае. Окончил Змеиногорскую среднюю школу, Алтайский политехнический институт, отделение журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

С 1965 года работал на Алтайском заводе агрегатов, в газетах «Алтайская правда» (Барнаул), «Красное знамя» (Томск), с 1974 по 1994 годы – собственным корреспондентом газеты «Правда» в Тюмени, Новосибирске, Барнауле, Праге (Чехословакия). С 1997 по 2015 годы – главный редактор журнала «Алтай». Заместитель председателя и председатель редакционно-издательских советов книжных серий «Библиотека «Писатели Алтая»» (1998 – 2004) и «Библиотека журнала «Алтай»» (издавалась с 2003 – 2008).

Первая книга – сборник стихов «Девчонки» – вышла в Барнауле в 1964 году. Публиковался в журналах: «Молодая гвардия», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Алтай», «Начало века», «Гало собота» (Прага, на чешском языке). Автор романов «Средь бела дня» («Дым над тайгой»), «Посланец», «Литерный на Голгофу», повестей, рассказов, стихов.

В 1997 году С. В. Вторушин избран членом-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург).

Награжден медалями Алтайского отделения Петровской Академии наук и искусств (2000, 2001), серебряной медалью Международного фонда славянской письменности (2005), медалью «За служение литературе» (2011); лауреат Международной премии им. А. Толстого (2009).

Член Союза писателей России с 1995 года.

ПЕРЕПРАВА

Повесть

1

Командир полка Глебов, голый по пояс, стоял у колодца и, отфыркиваясь, сильными ладонями стирал с тела воду, которую лил на него из ведра ординарец Ванюшин. Брызги летели на землю, рассыпаясь серебряным бисером по зеленой траве. Ванюшин неудобно переступил с ноги на ногу, ведро качнулось и тонкая струйка влаги, холодея тело, попала командиру полка за пояс галифе.

– Ты там поаккуратней,.. – резко повернув голову и глядя исподлобья на ординарца, произнес Глебов. – А то скоро портянки выжимать придется.

– А вы нагнитесь пониже, товарищ подполковник, – сказал Ванюшин, – тогда вода в штаны затекать не будет.

Глебов не ответил. Утреннее купанье доставляло удовольствие, и он не хотел портить настроение ни себе, ни ординарцу. Но тот, неожиданно вытянувшись в струнку и щелкнув каблуками так дернулся, что ведро со всей оставшейся в нем водой опрокинулось на спину Глебова. Глебов охнул, резко выпрямился, но выругаться не успел. Вывернув из-за угла, во двор дома въехал «виллис» командира дивизии. Глебов схватил полотенце и попытался промокнуть им галифе, уже впитавшими воду. Ванюшин, стоя рядом, в одной руке держал гимнастерку командира полка, в другой – широкий ремень с увесистой медной пряжкой со звездой посередине. Генерал Бобков неторопливо оглядел дворик и дом, в котором разместился штаб полка, подождал пока Глебов оденется и подойдет к нему.

– Не ожидал? – спросил он, протягивая Глебову руку.

– Никак нет, товарищ генерал-майор, – сказал Глебов, прищелкивая каблуком. – Разведка не донесла.

– Значит, такая у тебя разведка.

– Мои разведчики меня еще ни разу не подводили, товарищ генерал, – с обидой произнес Глебов.

Командира дивизии он действительно не ждал. Тот должен был ехать не к нему, а в соседний полк к Онищенко, куда прибыло большое пополнение, в том числе артиллерией и самоходными установками. Дивизия готовилась перейти в наступление, и ее укрепляли средствами прорыва. Ожидал подкрепление и Глебов, но его пока не давали. Может, о нем и приехал сообщить командир дивизии?

– Ни разу не подводили, а сегодня подвели, – покачивая головой, сказал Бобков.

– Отдыхают они, товарищ генерал. Только что от немцев пришли, языка с собой притащили.

Оба они понимали, что разведчики здесь не причем. О передвижениях командира дивизии сообщают штабы. Бобков не предупредил об изменении маршрута и сейчас его разыскивают в штабе дивизии и в штабе соседнего полка. Комдив знал об этом, поэтому сказал:

– Пойдем к тебе, сообщишь соседям, где я. И поговорить надо.

Бобков любил неожиданно приезжать к своим подчиненным. Внезапность имела то преимущество, что к приезду начальства не успевали подготовиться. Опытным глазом он отмечал сразу все недостатки. И в охране, если она была плохо организована, и в подготовке тыла, и маскировке позиций, да и в работе штаба полка. Склонный к сарказму, он умел так говорить о недостатках, что тот, кого это касалось, готов был провалиться сквозь землю. И Глебов, шагая вслед за командиром дивизии, еще раз мысленно окидывал взглядом свои позиции, думая о том, за что может зацепиться Бобков. Командир дивизии достал из кармана носовой платок, вытер им потную шею за воротником гимнастерки и ворчливо сказал:

– Ты тут купанье разводишь, а мне об этом даже подумать некогда.

– А давайте сейчас, – предложил Глебов. – В нашем колодце вода как в сказке. Окатишься и будто вновь народился.

Бобков остановился, окинул взглядом ладную, подтянутую фигуру Глебова и спросил:

– Тебе сколько лет?

– Двадцать девять, товарищ генерал.

Глебов смущенно улыбнулся.

– А мне пятьдесят три, – вздохнув, сказал Бобков. И уже ступив на порог штабного дома, спросил: – Радикулитом не мучился?

– Никак нет, товарищ генерал, – ответил Глебов.

– Вот когда доживешь до моих лет, узнаешь, что это такое. Пленный где?

– Отправили к вам, в штаб дивизии.

– Допрашивали? – Бобков мягко, по-отечески посмотрел на командира полка.

Глебов воевал хорошо, и разведчики его славились на всю дивизию. И то, что командир полка даже в суровых условиях войны старался выглядеть опрятным и подтянутым, тоже говорило о его характере. У такого командира в каждом взводе порядок. Командир дивизии с симпатией относился к Глебову.

Когда вошли в штаб и остановились у стола, на котором была расстелена только что подготовленная оперативная карта, Бобков, бегло скользнув по ней взглядом, тяжело опустился на стул и спросил:

– Что показывал пленный?

– Немцы ждут подкрепления, чтобы усилить оборону. Они думают, что наступление начнет наша дивизия. В частности соседний полк, куда сегодня ночью подошла артиллерия. Они засекли ее.

– А на твоем участке?

– На моем участке не ждут, хотя и окопались основательно.

– Кто взял пленного?

– Демидов, товарищ генерал.

– Это тот самый сибиряк, который перед последним наступлением засек немецкие огневые точки за скатом высотки?

– И танки, врытые в землю, – добавил Глебов. – Мы их тогда первым залпом «катюш» накрыли.

– Отдыхает, говоришь?

– Спит, наверное. Разведчики после задания всегда отсыпаются.

– Придется разбудить. Пошли кого-нибудь за ним, – сказал Бобков и, поднявшись со стула, стал внимательно рассматривать карту местности, которую занимал полк. Глебов тоже уставился на карту.

– Понимаешь, – Бобков повернулся к командиру полка. – Пленный правильно показал: немцы ждут наступления на участке Онищенко. И артиллерию нашу там засекли. Срок наступления мы перенести не можем, не в наших силах. А вот другое место для прорыва поискать можем.

Глебов понял, что командир дивизии решил начать наступление на его участке. Он и сам думал об этом. Немцы стояли здесь на узкой полосе левого берега реки. Стояли давно, нашу оборону знали наизусть и ничего неожиданного для себя на этом участке не видели. Но взять эту полоску будет невероятно трудно. Отдавать ее немцы не собираются ни при каких обстоятельствах. Она нужна им для того, чтобы не пустить наши войска на правый берег, который они основательно укрепили. Там стояла их артиллерия и резервы. Прорвать такую оборону можно было только внезапно. Чуть застрянешь, немцы размолотят тебя в пыль.

– О чем задумался? – спросил Бобков. – Боишься не справиться?

– Бояться мы уже давно перестали, – сказал Глебов. – А вот подумать надо.

– Для того и голова, чтобы думать. – Бобков поднял глаза на Глебова и замолчал, ожидая, что командир полка скажет дальше.

Дверь широко распахнулась и через порог, оправляя гимнастерку у пояса, перешагнул лейтенант в сдвинутой набекрень пилотке, из-под которой выбивался коротенький светлый чубчик. Щелкнув каблуками, он поднял руку к пилотке, не зная, кому рапортовать. Потом сказал:

– Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу командиру полка. – И, повернувшись к Глебову, произнес: – Товарищ командир полка, лейтенант Демидов по вашему приказанию прибыл.

Бобков с нескрываемым интересом посмотрел на разведчика, который вовсе не выглядел богатырем. Демидов был чуть выше среднего роста, сухощав и как-то очень интеллигентен. Интеллигентным было его лицо с умным и как бы все время прощупывающим взглядом удивительно чистых голубых глаз, интеллигентной казалась тонкая фигура, перехваченная широким ремнем с тяжелой медной пряжкой, но более всего командира дивизии поразили руки Демидова, его узкие ладони с тонкими, длинными, как у пианиста, пальцами. Бобков с минуту молча разглядывал разведчика, потом жестом позвал его к столу:

– Идите сюда, лейтенант. Вам эта местность знакома?

– Бобков провел пальцем по кривой линии на карте, обозначающей реку.

– Мы вчера были там, товарищ генерал, – ответил Демидов.

– И на том берегу были? – спросил Бобков.

– И на том были.

– Значит, там есть брод? – Бобков уперся взглядом в Демидова.

– Мы вплавь перебирались, товарищ генерал, – сказал Демидов, опуская глаза.

Командир дивизии на некоторое время замолчал, сосредоточенно глядя на карту, потом перевел взгляд на Глебова.

– Брод надо дальше искать, товарищ генерал, – поняв мысль командира дивизии, сказал разведчик. – В этом месте левый берег крутой. А под крутым берегом всегда глубоко.

– Где дальше? – спросил Бобков и тут же пояснил: – Нам нужен такой брод, по которому могли бы пройти танки и самоходки.

– Немцы там вчера понтонный мост наводили.

– Какой мост? – резко повысив голос, спросил Бобков и повернулся к разведчику. – Почему я об этом не знаю?

Демидов подошел к карте, склонившись над столом, провел по ней рукой и ткнул пальцем:

– Вот здесь они его строят.

– Почему не доложили? – В голосе генерала начинал звенеть металл. – Почему в дивизии до сих пор не знают об этом?

– Донесение отправили вместе с сопровождением пленного, – ответил Глебов.

– Значит, еще больше укрепляют плацдарм, – неожиданно смягчившись, сказал Бобков. – Хотят перевести на этот берег часть артиллерии. – Он на минуту задумался и произнес, словно выносил окончательное решение: – Значит, времени у нас нет совсем.

Бобков выпрямился, прошел вдоль стола и остановился около разведчика. По сравнению с грузным генералом Демидов показался еще тоньше.

– Берите с собой группу разведчиков и обязательно рацию, – медленно, выделяя каждое слово, сказал Бобков. – До завтрашнего утра вам надо найти брод, по которому могут пройти наши танки. Останетесь там до их подхода. Если потребуется, будете корректировать огонь нашей артиллерии.

– А если попытаться захватить мост? – спросил Демидов. – Они там еще не успели как следует окопаться.

– Вы думаете, они его вам так просто отдадут?

– Не отдадут, но все-таки?.. – Разведчик вопросительно посмотрел на командира дивизии.

– Если захватите мост, буду лично ходатайствовать о том, чтобы вам присвоили звание Героя.

– Я воюю не за звания, товарищ генерал, – сказал Демидов с ноткой обиды.

– Готовь группу и выходи, – командир дивизии протянул разведчику руку. – Ни пуха тебе, лейтенант.

Когда за разведчиком закрылась дверь, Бобков сказал, повернувшись к молчавшему у стола Глебову:

– Наступать будем на участке твоего полка. Немцы ждут нас у Онищенко. У Онищенко мы отвлечем их, а наступать будем здесь. – Командир дивизии ткнул пальцем в то место, где немцы по показаниям разведчика начали наводить переправу.

– Когда начнем наступление? – спросил Глебов.

– Завтра утром, – ответил Бобков. – О точном времени сообщу дополнительно. А сейчас скажи, где лучше всего сосредоточить группу прорыва?

- Там, где будем форсировать реку.
- У нас нет времени ждать пока разведчики найдут переправу. Ты же понимаешь это.
- Хорошая разведка – основа успеха, товарищ генерал.

Бобков, нахмутив брови, исподлобья посмотрел на Глебова. Об этой истине он сам постоянно говорил своим подчиненным. И вот теперь командир полка, в сущности, еще мальчишка, пытается учить его, генерала Бобкова тому, как надо воевать. Но Глебов стоял непринужденно, даже расслаблено, и смотрел на командира дивизии бесстрастно, не моргая и не напрягаясь, уверенный в своей правоте. И Бобков понял, что в гражданской жизни Глебов и может еще выглядеть мальчишкой, но здесь, на войне, где жизнь и смерть сталкиваются каждую секунду, и даже Бог не знает, какой день из отведенных тебе на земле может стать последним, человек и в двадцать девять лет уже мудрее мудрого. И то, что он так бесстрастно смотрит на командира дивизии, говорит лишь о твердости его убеждения.

– У меня одно плохо, – сказал Глебов. – Радистки опытной нету.

– А куда она делась? – спросил Бобков.

– Рожать отправил.

И Бобков вспомнил, что командир полка совсем недавно подавал ему об этом рапорт. Он даже вспомнил темноволосую радистку с круглым лицом и маленькими ямочками на щеках, когда она вместе с ранеными садилась в кузов полуторки, чтобы уехать в тыл. У нее был уже довольно большой живот, и ей было трудно забираться на скамейку через борт грузовика.

Радистка закрутила роман с командиром батальона Богдановым. Когда и где они находили время встречаться, никто не знал. Но растущий ее живот заметили сразу. Богданов пришел к Глебову и сказал, что они с Валею уже давно решили оформить свой брак. И он просит командира полка выдать справку, что она является женой его, капитана Богданова. Он хочет отправить Валею к своим родителям в оренбургскую деревню, а без такой справки они ее не примут.

– Ну и что, ты до сих пор не нашел ей замену? – удивившись, спросил Бобков.

– Нашел, но она еще ни разу не ходила за линию фронта. Не обстрелянная, товарищ генерал.

– Мы все были когда-то необстрелянными, – отрезал командир дивизии. – Готовь группу и высылай на разведку.

– А может нам накрыть этот понтонный мост, чтобы немцы не смогли подбросить по нему подкрепление? – спросил Глебов. – Для этого двух штурмовиков хватит.

– Накрыть мы всегда успеем, – подняв на Глебова глаза и немного помедлив, ответил командир дивизии. – Подождем, что донесут разведчики. Нам этот мост самим позарез нужен.

Бобков направился к двери. Стоявшие у входа автоматчики пропустили его, подождали, пока он усядется на переднем сидении «виллиса» и ловкими, пружинистыми движениями заскочили в машину за спину генерала. Глебов подождал, пока командир дивизии скроется за углом штабного дома, и направился к разведчикам. От одной мысли о том, что с группой Демидова ему придется послать радистку Женю, у него заныло сердце.

2

Женя прибыла во взвод связи неделю назад. Глебов в это время был в батальоне на левом фланге своего полка и ему об этом не доложили. Утром он пошел умываться и неожиданно для себя увидел у колодца незнакомую девушку в солдатской форме с перекинутым через плечо полотенцем. Она чистила зубы. Гимнастерка ее была расстегнута, обнажая краешек лифчика и белую ложбинку на груди, пилотка и круглая коробочка с зубным порошком аккуратно лежали на срубе колодца. Заметив командира полка, она резко выпрямилась и торопливо, с нескрываемым волнением начала застегивать пуговицы. Сделать это ей мешала зубная щетка, которую она машинально продолжала держать в руке, да и петли гимнастерки оказались не разношенными, пуговица никак не хотела вставать на

место. У девушки было красивое лицо, большие карие глаза и тонкие, словно ниточка, брови. От напряжения лицо ее покраснело, волосы рассыпались по плечам, чуть припухлые губы нервно вздрагивали. Она никак не ожидала встретить здесь командира полка и явно растерялась.

За всю войну Глебов ни разу не видел такой красивой девушки и в первое мгновение даже застыл от неожиданности. Никак не мог поверить своим глазам. Но тут она улыбнулась, посмотрев на него таким открытым и доверчивым взглядом, что Глебов и вовсе растерялся. Он вдруг ощутил, как горячая волна захлестнула сердце, лицо вспыхнуло, в голове все смешалось. Ему показалось, что он начинает тонуть в ее глазах. Война, надрывно гудящие в соседнем леске «студебеккеры», пробирающиеся по непролазной грязи с тяжелыми пушками на прицепе, обрывки разговоров солдат, доносящиеся из-за штабного дома, – все перестало существовать. Осталась одна девушка с удивительно красивым лицом и доверчивым взглядом. Она первой пришла в себя и торопливо сказала:

– Извините, товарищ подполковник. Я сейчас уйду.

Но Глебову меньше всего хотелось, чтобы она ушла. Сделав шаг в сторону, он сказал:

– Умывайтесь, пожалуйста, я подожду. У меня еще есть время.

Девушка уже застегнула гимнастерку, взяла с края колодезного сруба зубной порошок, но не двинулась с места, а все также смотрела на Глебова. Он почувствовал, что у него отнимается язык. Еще мгновение и он навсегда онемевает. Пересиливая себя, Глебов спросил, едва выталкивая застревающие в горле слова:

– Кто вы и когда к нам прибыли?

– Вчера вечером, товарищ подполковник. Я ваша новая радистка. – И тут же, поправившись, добавила: – Рядовой Чистякова, товарищ подполковник.

– Откуда прибыли?

– С новым пополнением из Москвы.

– Прямо из самой Москвы? – удивился Глебов.

– Так точно, товарищ подполковник.

– Хорошо, идите, – сказал, начиная приходить в себя, Глебов. – Как только освобожусь, зайду к вам.

Радистка, взяв пилотку и коробочку с зубным порошком, пошла к себе, а Глебов, нагнувшись над колодцем, искоса, чтобы никто не заметил, провожал ее взглядом. Ему казалось, что в ней все было прекрасно. Даже ноги в грубых хлопчатобумажных коричневых чулках и тяжелых кирзовых сапогах выглядели необыкновенно стройными.

Зайти на пункт связи, хотя он и находился всего лишь через стенку от штаба полка, ему удалось только вечером. Чистякова вскочила из-за стола и замерла, вытянув руки по швам.

– Садитесь, – сказал Глебов и, пробуравив взглядом дежурившую у телефонного коммутатора связистку Захарову, добавил: – пожалуйста.

Захарову в одно мгновение сдуло от коммутатора, Глебов услышал, как хлопнула за ней дверь. Чистякова села, Глебов, взяв табуретку, присел у края стола недалеко от нее.

– Как же это вас из Москвы занесло к нам сразу на передовую? – спросил он.

– Я давно хотела попасть на передовую, – сказала Чистякова и наклонила голову. Глебов заметил, что у нее розовели щеки.

– Почему давно?

– Все воюют, а я молодая и здоровая сижу в тылу.

Она посмотрела на него тем открытым, искренним взглядом, какой он увидел утром у колодца. От этого взгляда на Глебова снова накатила неожиданная волна нежности. Война войной, а женскую красоту замечаешь и перед самым началом боя. В эту минуту она очаровывает с особой силой. Помолчав несколько мгновений, он спросил:

– Родители остались в Москве?

– Мама, – ответила Чистякова. – Она на заводе работает. Мины делает.

– Отец воюет? – снова спросил Глебов.

– Отец погиб в августе сорок первого под Смоленском. А брат в прошлом году под Курском.

У Глебова кольнуло сердце. «И эта отправилась мстить за близких», – подумал он. Люди, стремящиеся как можно сильнее отомстить немцам за смерть родных, приходили с

каждым новым пополнением. Многие из них гибли в первых же боях, потому что ожесточение не самый лучший помощник в борьбе с врагом, оно иногда лишает разума.

Глебов посмотрел в глаза Чистяковой. В ее взгляде не было ожесточения и это немного успокоило. Он не мог представить смерти такой красивой девушки. Самой большой мстью за отца и брата, которую могла бы совершить Чистякова по отношению к немцам, подумал Глебов, было бы родить пятерых детей. Доказать врагу, что русские неистребимы.

– Где вы научились работать на рации? – спросил Глебов. – Закончили курсы? И вообще, как вас зовут? А то уже почти сутки знакомы, а я не знаю вашего имени.

– Меня Женей зовут, – сказала Чистякова, и глаза ее посветлели. – Курсы радистов я действительно закончила. Но радиодело изучала еще до войны, в клубе ОСОВИАХИМА. Так что я опытная. С любой рацией умею обращаться. Даже немецкой.

– Сколько же вам лет, если до войны радиодело изучали? – с недоверием спросил Глебов. Тоненькая, узкоплечая Чистякова походила на девочку-старшеклассницу.

– Девятнадцать.

– А в Москве где живете? – ему хотелось знать об этой девушке все.

– На Масловке. Это между Ленинградским проспектом и Савеловским вокзалом. Знаете, где это?

Глебов кивнул. Он вспомнил Москву, холодное и низкое темное небо, сыпавшее на землю снегом, который хрустел под ногами, и тяжелую, шаркающую поступь молчаливых солдат, отправлявшихся через Красную площадь на фронт. В этом тяжелом шарканье, гулко отдававшемся от стен Кремля, была решимость каждого солдата отстоять Москву или лечь на поле боя, но не пропустить немцев в столицу. Глебов со своей ротой был в одной из колонн, прошагавших в то утро по площади. Это утро он не забудет никогда, прежде всего потому, что в тот день впервые увидел Сталина. Тот стоял на трибуне мавзолея вместе с другими руководителями государства и поднятой рукой провожал идущие в бой войска. Сталин был в шинели и фуражке, хотя было холодно и дул пронизывающий ветер. И

эта его не соответствующая наступившей зиме форма тоже подбадривала солдат. «Интересно, как сейчас выглядит Москва?» – подумал Глебов. Он хотел задать Жене еще несколько вопросов, но в комнату, как заполошенная, влетела Захарова и срывающимся голосом прокричала с порога:

– Товарищ командир полка, вас командир дивизии разыскивает!

– Я с ним отсюда поговорю, – сказал Глебов.

Захарова, подскочив к столу, подала ему наушники, протянула микрофон.

– Слушаю вас, товарищ первый, – произнес Глебов, натягивая на голову наушники.

– Ты знаешь, что немцы против тебя кулак собирают? – прокричал командир дивизии. – Мне об этом летчики доложили.

– Знаю, товарищ первый. Только я их кулаком им же сопатку разобью.

– Ты сильно-то нос не задирай, – уже мягче произнес Бобков. – А к отпору приготовься.

– Я готов, товарищ первый.

– Чтобы через два часа твои соображения были у меня, – сказал командир дивизии и отключил связь.

Позицию, которую занимал полк, на правом фланге разрезало болото. Оно мешало как Глебову, так и немцам. И те, и другие хотели оставить его у себя в тылу, чтобы создать непрерывную линию обороны. Но ни тем, ни другим это пока не удавалось. Вот и сейчас немцы снова накапливались с двух сторон болота, пытаясь обхватить его и отбросить наши позиции за лес, в чистое поле. Там бы уж они не дали высунуть головы, держа каждого нашего солдата под прицелом. Разведчики во время засекли сосредоточение немцев, Глебов передвинул часть артиллерии и боги войны только ждали, когда немцы вылезут из окопов. В этот момент и решено было накрыть их плотным огнем. Но если командир дивизии обеспокоен складывающейся ситуацией, значит надо на месте еще раз проверить свою готовность. Для Глебова это было правилом. Он поднялся из-за стола, чуть улыбнулся Жене, и, коротко бросив: «Договорим потом», – быстро вышел из комнаты связистов.

Через день он снова встретился с Женей у колодца, на этот раз вечером. Стояла удивительная тишина. Только над передовой, рассыпая по черному небу искры, время от времени взлетали ракеты, освещая мертвенным светом ничейную полосу и колючую проволоку по обе стороны ее. Да похожие на падающие звезды трассирующие пули беззвучно прочерчивали свою траекторию. И вдруг в лесочке, через который вчера утром «студебеккеры» тянули артиллерию, защелкал соловей. Сначала неуверенно, останавливаясь и прислушиваясь к тишине после каждого колена, потом все смелее и смелее, пока не запел в полный голос.

– Что это? – удивившись, спросила Женя.

– Соловей, – ответил Глебов.

– Никогда не думала, что на войне могут петь соловьи.

Она сказала это так легко, словно выдохнула, и Глебов в который уже раз поблагодарил Бога за то, что тот послал ему в полк эту девушку. Он уже начал ревновать ее ко всем офицерам, которые неожиданно по делу и без дела вдруг зачастили к нему в штаб. Тут и догадываться не надо было о причине посещений. За годы войны мужские сердца до одурения истосковались по женской ласке. В такой обстановке красивую одинокую девушку умыкнуть не долго. Но Глебов уже решил, что никому не отдаст Женю... А соловей, словно торопясь, все пел и пел, пользуясь короткой паузой тишины, подаренной ему войной. Глебов видел как, затаив дыхание, Женя слушала это пение, и глаза ее светились в темноте, словно две маленькие звездочки. Он протянул руку и осторожно накрыл своей ладонью узкую, тонкую, немного прохладную ладонь Жени. То, что произошло потом, едва не повергло его в шок.

Женя порывисто дернулась, резко встала и сказала зло, отчеканивая каждое слово:

– Извините, Сергей Иванович, – она впервые назвала его не по должности и званию, а по имени, – но больше никогда не позволяйте себе этого. Я солдат и относитесь ко мне как к солдату. Походно-полевой женой я никогда не буду. Не создана для этого.

Она круто повернулась и торопливо зашагала к себе, в комнату связистов.

– Женя, – позвал ее Глебов.

Она остановилась. От напряженного дыхания грудь ее ходила ходуном, ноздри нервно расширились. Такой возбужденной Глебов ее еще не видел. Удивительно, но в это мгновение она показалась ему еще красивее.

– Простите, – примирительно сказал он и наклонил голову. – Я не хотел вас обидеть... Честное слово...

Женя молча посмотрела на него и также молча скрылась за дверью своей комнаты.

... Все эти мгновения раз за разом прокручивались в голове Глебова, пока он шел к разведчикам. В его сознании не укладывалось, как он может послать Женю с ними за линию фронта. Ведь ее там в любой момент могут убить, еще хуже, захватить в плен и потом измываться в какой-нибудь землянке или прямо в траншее. От одной мысли об этом Глебов приходил в ярость. Он бы без колебаний послал с разведчиками Захарову, не раз бывавшую за линией фронта, но той две недели назад сделали операцию аппендицита. Она за столом-то сидела скрючившись, как улитка, ей не только в тыл к немцам, до туалета дойти было трудно. Глебов понимал, что у него не было выбора и от этого не находил себе места.

Разведчики расположились в блиндаже, вырытом в скате небольшого овражка. Брезент, закрывавший вход в блиндаж, был откинут, и в его проеме Глебов сразу увидел Демидова. Командир взвода разговаривал с кем-то, находившимся в глубине блиндажа. Услышав шаги, Демидов оглянулся и тут же скомандовал:

– Встать, смирно!

– Вольно, – сказал Глебов, останавливаясь у входа.

Он прошел в блиндаж, оказавшийся просторным, с нарами вдоль обеих стен и длинным столом посередине, на котором лежали куски хлеба и несколько пустых банок из-под немецкой тушенки. На нарах стояли раскрытые вещмешки, рядом с ними автоматные диски. Было видно, что разведчики собирались на задание.

– Определили, кто пойдет? – спросил Глебов, обращаясь к Демидову.

– Так точно, товарищ комполка. Двенадцать человек.

– Включая радистку? – спросил Глебов и, представив уходящую через линию фронта Женю, снова почувствовал, как заняло сердце.

– Включая радистку. А кто с нами пойдет: Захарова или эта новенькая?

У Демидова хитровато блеснули глаза, и Глебову это не понравилось. Он решил испортить настроение разведчику.

– Захарова просится. Как узнала, что вы собираетесь к немцам и с вами надо посылать радистку, сразу обратилась ко мне.

– Куда же нам с ней, товарищ подполковник, – обиженно сказал Демидов, лицо которого сразу стало постылым. – Она здесь-то ходит скрючившись, а там и по болоту идти, и столько страху увидеть придется. Нам не задание выполнять надо будет, а ее отхаживать.

– А с новенькой возиться не надо будет? – спросил Глебов. – Она страха не ведает и немцев не боится?

– Она шустрая, товарищ подполковник, – неожиданно откликнулся сидевший на нарах старший сержант Гудков. – Она где угодно пройдет, ее только прикрывать надо будет.

Глебов понял: разведчики про себя уже вычислили, что с ними на задание пойдет Женя. Он искоса посмотрел на Гудкова. Тот, насыпав в кисет махорки, деловито сворачивал в маленькие квадратики газету, чтобы из нее удобно было мастерить самокрутки.

– Сигареты не куришь? – спросил Глебов.

– От них кашель забивает, товарищ подполковник. – Наш табак привычнее.

Разведчики постоянно приносили из-за линии фронта немецкие сигареты и многие перешли на них. С ними удобнее. Не надо заботиться о бумаге для самокрутки, не надо тратить время на то, чтобы изладить себе папиросу. Но сигареты нравились не всем. Гудков сунул в кисет газету и осторожно положил его в карман гимнастерки. «Чтобы не замочить, когда будет переходить болото», – подумал Глебов и его мысли тут же перекинулись к Жене.

После вечерней встречи у колодца он видел ее много раз, но они только кивали друг другу. Времени на разго-

воры не было. Сначала Женя отвечала на кивки казенно, потом при каждой встрече стала потаенно улыбаться краешками губ. И эти молчаливые улыбки говорили Глебову о том, что она не только простила его, но и приняла в свое сердце. И от этого в душе командира полка еще больше разливалась горечь. Он не должен был посылать ее за линию фронта, чтобы не сходить с ума до возвращения разведчиков. Глебов уже и так извелся, хотя с обреченной неизбежностью понимал – другого выхода в данной ситуации нет. На войне не существует ни личных отношений, ни личных целей. Здесь все подчинено одной общей задаче – победить врага.

– Где будете переходить линию фронта? – спросил Глебов, переведя взгляд с Гудкова на Демидова. Тот поставил на стол ящик с патронами и начал набивать ими диск автомата.

– По болоту. Где же еще? – ответил Демидов, подняв голову. – Нам же надо выходить прямо сейчас, а днем к немцам можно попасть только по болоту.

– Девушку там не утопите?

– Мы ее на руках понесем, товарищ подполковник, – сказал сидевший на нарах у стенки сержант Гуляев.

Все знали его как самого веселого балагура среди разведчиков, но Глебов не был настроен на шутки.

– Я вас серьезно спрашиваю, – строго произнес он. – Вдруг она плавать не умеет, а там ведь и в яму угодить недолго.

– Мы это болото как Отче наш знаем, товарищ подполковник, – сказал Гудков.

– А немцы его не знают? – спросил Глебов.

– Знают, – ответил Демидов и внимательно посмотрел на командира полка. – Только мы с ними по нему разными дорогами ходим.

Демидов понял, что Глебов переживает за радистку больше, чем за обычного солдата. Может, ему было жаль отправлять за линию фронта необстрелянную девчонку, а, может, влюбился и переживает за нее сильнее, чем за самого себя. Но на войне нельзя одного жалеть, а другого посылать на смерть. Перед смертью все равны и командир полка, вне всякого сомнения, понимает это. На войне

и любовь совсем не такая как в мирной жизни. Глебов исподлобья посмотрел на Демидова и сказал, тяжело роняя слова:

– Провожать вас за линию фронта приду сам. Радистка Чистякова прибудет к вам через полчаса.

3

Когда Глебов зашел к связистам, Женя сидела за столом и ела из котелка перловую кашу. Увидев командира полка, соскочила со стула, но Глебов жестом усадил ее. Она отодвинула котелок и вопросительно посмотрела на Глебова.

– Не обращайтесь на меня внимание, ешьте, – сказал Глебов.

– Я уже поела, товарищ подполковник, – ответила Женя и скосила глаза на котелок.

– Как же поели, когда еще чай не пили, – Глебов кивнул на полную кружку, стоявшую на столе.

– Это не чай, товарищ подполковник. Это компот, – ответила Женя.

– Тем более надо допить.

– Вы меня куда-то посылаете? – спросила Женя, и он увидел блеснувшую тревогу в ее глазах.

– Почему вы так думаете? – спросил он.

Глебову показалось, что она уже узнала о предстоящем задании и заранее начинает нервничать. Солдатский телефон работает оперативно и безотказно. Но Женя испугалась не задания, о котором даже не догадывалась, а того, что ее могут перевести из полка в другое место. Если Глебов заставляет плотно пообедать, значит ей надо куда-то отправляться. А Жене этого не хотелось. Ей нравилась ее служба, и нравился командир полка, хотя она еще не призналась в этом самой себе.

– Да, посылаю, – глухим голосом сказал Глебов. – Пойдете с разведчиками за линию фронта. Через полчаса надо быть у них, поэтому советую как следует подкрепиться.

Женя сначала побледнела, потом ее лицо начала заливать краска.

– Боитесь? – спросил Глебов.

– Нет, – тут же ответила она. – Просто волнуюсь. Никогда не была в тылу у немцев и не знаю, как это выглядит.

– А в спецшколе вам разве не рассказывали об этом?

– Одно дело рассказы и совсем другое увидеть собственными глазами. – Лицо Жени стало розовым, она не могла сдержать волнения.

– Лучше этого не видеть, – сказал Глебов. – Но обстоятельства складываются так, что кроме вас мне послать некого.

– Я справлюсь, – торопливо произнесла Женя, боясь, что Глебов может переменить решение. – Я с любой рацией обращаться умею.

Ей уже ни за что не хотелось, чтобы сейчас ее заменили кем-то другим. Ни о тяжелом переходе через линию фронта, ни о смертельной опасности, которая будет сопровождать там каждую минуту, она не думала. Ей хотелось пойти с разведчиками, и самым большим ударом для нее было бы, если бы этот поход вдруг сорвался. Ей казалось, что Глебов еще не принял окончательного решения, и она с напряженной тревогой посмотрела на него. Но он, тяжело вздохнув, повторил:

– Будьте готовы через полчаса. Мой связной отведет вас к разведчикам. – Он задержался на пороге, еще раз окинул взглядом Женю и добавил: – Прикажу старшине, чтобы выдал вам брюки. В юбке, хотя она и солдатская, ползать через линию фронта не совсем сподручно.

Женя опустила глаза на свои приоткрытые колени и еще больше покраснела. Ей и в голову не приходило, что юбка может помешать выполнить боевое задание.

В штабной комнате, куда Глебов зашел от связистов, находились начальник штаба полка майор Евглевский и начальник оперативного отдела капитан Рощин. Они о чем-то негромко разговаривали. Увидев на пороге командира полка, замолкли и повернулись к нему.

– Что у нас в группе прорыва? – спросил Глебов, подходя к столу, на котором была расстелена карта участка фронта, занимаемого полком.

– Батальон Алтухова сосредоточен, как мы и наметили, вот здесь, – Евглевский достал из кармана гимнастер-

ки немецкую самописную ручку и показал ее кончиком место на карте. – Артиллерия пристреляла огневые точки противника. Как только Алтухов прорвет линию обороны, в прорыв войдут танки. Думаю, нам удастся сбросить немцев в реку.

– Нам надо не в реку их сбросить, а выйти на другой берег и закрепиться там, – сказал Глебов.

– Мост они будут защищать до последнего. – Евглевский оторвал глаза от карты и, выпрямившись, посмотрел на Глебова. – Если мы захватим его, немцы будут обречены, и они это понимают.

– Ты же знаешь меня, – улыбнулся Глебов. – Я всегда был максималистом. А максимальная задача – уничтожить врага.

– Посмотрим, что донесут разведчики, – сказал Евглевский. – Без точных разведанных планировать новую операцию трудно. А группу прорыва можем нацелить и на мост. На правом фланге тогда нанесем только вспомогательный удар.

Глебову почудилось, что при слове «разведка» кто-то осторожно царапнул его по сердцу. Перед глазами снова встала Женя. Он посмотрел на Рощина и спросил:

– В поведении противника ничего нового не замечено?

– Пока нет, – ответил Рощин. – Две небольшие группы сосредоточились по краям болота, но никакой активности до сих пор не проявляют.

– Очевидно, ждут подкрепления, – заметил Глебов.

– По всей видимости, так, – подтвердил Рощин.

– А что у Онищенко?

– У Онищенко пока тихо, – сказал Евглевский. – Так тихо, что это начинает беспокоить. Только что говорил с их начальником штаба. Он мне и сказал это.

– Для нас сейчас главное не то, что у Онищенко, а то, что донесут наши разведчики. Разведгруппа слишком велика, чтобы пройти незамеченной. Болото-то шириной всего километр. Немцы следят за ним днем и ночью. – Глебов сделал паузу и добавил: – Как, впрочем, и мы тоже. Я вот что думаю. Как только разведгруппа выйдет на линию нашей передовой, надо будет ударить по немцам,

скопившимся по обе стороны болота. Отвлекь их. Иначе мы ни за что потеряем разведгруппу и никаких данных о переправе на другой берег реки не получим.

– Я тоже об этом подумал, – сказал Евглевский.

– Свяжись с артиллеристами, – приказал Глебов. – Пусть будут готовы. А я сейчас пойду к разведчикам.

Женя уже прибыла к ним. Вся разведгруппа находилась в овражке около своего блиндажа, и Глебову сразу бросилась в глаза ее тоненькая фигурка, казавшаяся особенно незащищенной по сравнению с крепкими, широкоплечими фигурами разведчиков. Демидов что-то объяснял ей, но, увидев Глебова, замолк и повернулся к нему. Когда Глебов приблизился к краю овражка, Демидов командовал: «Смирно!» и доложил:

– Товарищ командир полка! Разведгруппа готова к выполнению боевого задания. Командир группы лейтенант Демидов.

– Вольно, – махнул рукой Глебов и спросил: – Все проверили? Все обговорили?

Он встретился взглядом с Женей, скользнул глазами по ее фигуре в узких, новеньких бриджах, выданных старшиной, и сказал совсем не командирским тоном:

– Никогда не провожал вас, а сегодня провожаю. Такой большой группой среди бела дня за линию фронта вы еще не ходили. Как только выйдете на линию нашей передовой, артиллерия ударит по немцам с обеих сторон болота. Перейдите на ту сторону и замрите. Никаких активных действий до наступления темноты не предпринимайте. Замаскируйтесь и наблюдайте за поведением противника. На связь выйдете только тогда, когда найдете переправу. Окопайтесь около нее и ждите нас. Если во время прорыва выявите не вскрытые огневые точки противника, тут же сообщите их координаты. – Он снова посмотрел на Женю, которая вся подтянулась при его взгляде, и спросил: – Кто понесет рацию?

– Младший сержант Сукачев, – ответил Демидов.

– За рацию отвечаете головой, – сказал Глебов, оглядывая Сукачева, и, повернувшись к Демидову, добавил: – А вы за радистку.

– Мы ее немцам не отдадим, – произнес Сукачев и нехорошо улыбнулся.

И эта улыбка не понравилась Глебову. Она походила на ухмылку, за которой скрывалась лежащая на поверхности корысть. У Жени дернулись губы, и Глебов понял, что ухмылка не понравилась и ей. Но показывать командирскую власть он не захотел. Наоборот, смягчившись, сказал:

– С такой девушкой вы полетите на крыльях. – И тут же, посуравев, добавил: – Если с ее головы упадет хоть один волос, полк вам этого не простит.

– Ну что вы, товарищ командир полка, – с ноткой обиды произнес Гудков. – Мы ее с той стороны в запазухе вынесем.

Женя посмотрела на Гудкова и на ее щеках появились еле заметные ямочки. Очевидно, представила, как Гудков будет выносить ее в запазухе из-за линии фронта.

– Разрешите строиться? – обратился к Глебову Демидов, и он заметил, как сразу посерьезнела Женя. «Храни тебя, Господь», – глядя на нее, мысленно произнес Глебов и сказал:

– Стройтесь!

Группа построилась в шеренгу, Демидов медленно пошел вдоль нее, внимательно оглядывая каждого разведчика, остановился около радистки и, ничего не сказав, прошел дальше. Потом скомандовал:

– Направо, шагом марш!

Разведчики строем направились по оврагу. У каждого на плече был автомат, а за спиной вещмешок, в котором лежали запасные диски, гранаты, индивидуальный перевязочный пакет и немного еды. Женя шла пятой, между Гудковым и Сукачевым. За ее спиной тоже был вещмешок, правда, на плече не было автомата. Зато на широком ремне, перепоясывавшем тонкую талию, висел тяжелый пистолет ТТ в старенькой, местами вышарканной добе-ла кобуре, которую, по всей видимости, ей подарил кто-то из разведчиков. Женя шла, не оглядываясь, и Глебову показалось, что она не бросила ему прощального взгляда только потому, что стеснялась разведчиков. Подождав, пока отряд скроется за поворотом оврага, Глебов направился в штаб. Евлевский уже ждал его.

– Звонили из штаба дивизии, – сказал он. – Спрашивали, когда вышли разведчики.

– Ну и что ты им сказал? – Глебов насупился, ему не понравилось, что за действиями его разведки так пристально следят из дивизии.

– Сказал, что только что вышли.

– Больше ни о чем не спрашивали?

– Ни о чем.

– Позвони в батальон Алтухову, скажи, чтобы, как только у него появятся разведчики, тут же сообщил нам. Мы дадим команду артиллеристам на огонь. Вот тогда он пусть и переправляет разведчиков через свою передовую.

Евглевский начал звонить, а начальника оперативного отдела Рощина в это время вызвал к телефону штаб дивизии. Там снова спрашивали о том, когда ушли разведчики. Глебов понял, что все надежды дивизии на успешный прорыв связаны сейчас с ними. Он мысленно представил группу разведчиков, цепочкой идущих по дну оврага, Женю в солдатских бриджах и тяжелых кирзовых сапогах, с пистолетом на поясе, и подумал, что никогда не простит себе, если с ней случится несчастье. Ведь если бы он очень постарался, мог вместо нее послать кого-то другого. Глебов не знал кого, но ему казалось, что для такого задания можно было выпросить у командира дивизии опытного радиста. Бобков бы не отказал, но эта мысль пришла ему только сейчас, а не тогда, когда командир дивизии давал задание найти брод. И от сознания того, что ничего исправить уже нельзя, на сердце ложилась непомерная тяжесть.

Глебов вышел из штабной комнаты. Светившее с утра солнце закрыли тучи, небо, казалось, опустилось до земли и у Глебова возникло чувство, что оно начало физически давить на плечи. Такое чувство иногда возникает перед грозой. И он подумал, что если бы сейчас началась гроза, она бы принесла пользу разведчикам. Чем хуже погода, тем легче пройти в тыл врага незамеченным. Но тучи были серыми и ровными, а не черными и клубящимися, как перед грозой, и это означало только то, что ни грома, ни молнии, ни хлесткого ливня не будет, а вместо

этого будет бесконечно длинный и тоскливый серый день.

Из штабной комнаты выглянул Роцин и сказал:

– Товарищ подполковник, звонит Алтухов.

Глебов вскинул голову, оторвавшись от размышлений, скользнул взглядом по вытянувшемуся в струнку щеголеватому Роцину и прошел в штаб. На столе у аппарата лежала черная, тяжелая телефонная трубка. Глебов взял ее, помедлив, поднес к уху и произнес:

– Слушаю.

– Демидов у меня, – сказал Алтухов.

– Сейчас начнут работать боги войны, – Глебов сморщился, ему не нравилось штампованное выражение фронтовых газетчиков, называющих так артиллеристов, но ничего другого в этот момент не пришло в голову, а называть вещи своими именами он не имел права. – Выжди небольшую паузу и потом отправляй Демидова. Ты понял, почему это надо?

– Все понял, – ответил Алтухов, но ему можно было не задавать подобного вопроса. Опыт войны и без того подсказывал, что для такой большой группы разведчиков требовалось хорошее прикрытие.

Крутанув ручку телефонного аппарата, Глебов тут же позвонил артиллеристам. И уже через мгновение услышал грохот выстрелов и тяжелый, шипящий гул проносащихся через линию фронта снарядов. Артиллерия стояла в пятистах метрах от штаба полка, за небольшим леском и создавалось впечатление, что пушки стреляли рядом. С минуту Глебов постоял у стола с Евглевским и Роциным и снова вышел на улицу. Пушки остервенело стреляли, воздух наполнился отдаленным гулом разрывов, доносящихся с немецкой стороны, и Глебов снова увидел перед глазами цепочку разведчиков, уходящих на задание. Только теперь они шли не по дну оврага, а по топкому, заросшему буро-зеленым мхом и островками хилого кустарника болоту. Пятой в этой цепочке между широкоплечим и высоким Гудковым и прыщеватым, вихлястым Сукачевым шла Женя. Глебов почему-то вспомнил, что когда Сукачев улыбался, с правой стороны рта на его зубах блестели две белые металлические коронки, которые в блатном мире называют фиксами.

Женя машинально сжалась, услышав грохот рвущихся по обе стороны болота снарядов, даже зажмурилась, так как ей показалось, что все осколки, свистя и срезая шлепающиеся на землю ветки, летят прямо в нее. Но, заставив себя подавить страх, она открыла глаза и увидела, как Демидов подал группе рукой команду двигаться вперед. Снаряды уже рвались дальше и осколки не свистели над головой. В колючей проволоке был проделан проход, разведчики по одному миновали его и тут же скрылись в мелком кустарнике. Ноги тонули во мхе и черной болотной жиже, но Женя, как учил ее Демидов, старалась ступать след в след за разведчиками. Это давалось с трудом потому, что шаги у разведчиков были широкими, она никак не могла приспособиться под размеренный темп их хода. Один раз, споткнувшись о корни кустарника, она полетела прямо в болотную жижу, инстинктивно вытянув вперед руки, но вдруг почувствовала, как кто-то сильным рывком схватил ее за висевший за спиной вещмешок и одним резким движением поставил на ноги. Женя, невольно ойкнув, сделала сначала шаг вперед, потом оглянулась. Позади нее стоял Сукачев и, приложив палец к губам, делал знак, чтобы она молчала. А шагающие впереди разведчики, не останавливаясь, двигались дальше.

Один раз Демидов сделал привал. Посреди болота был небольшой сухой островок, группа вышла на него и разведчики, тяжело дыша, попадали на землю, расслабленно раскинув руки и ноги. Женя присела на траву, обхватила руками колени и уронила в них голову. Ей казалось, что дальше она уже не сможет сделать ни шагу. Все силы остались на переходе через болото к этому островку. И вдруг она почувствовала на плече чью-то руку. Женя подняла глаза и увидела перед собой Демидова. Он взял ее вещмешок за лямку, снял его сначала с одного плеча, потом с другого. Жене показалось, что ее освободили от придавившей горы. Она с благодарностью посмотрела на командира группы. Он молча передал вещмешок Гудкову и дал команду двигаться дальше.

Когда разведчики вышли к концу болота, они были уже в тылу у немцев. Найдя в кустарнике сухое место, переобулись, вылив из сапог воду и сменив портянки. После этого Демидов с Гудковым и рядовым Стариковым пошли разведать местность, оставив группу отдыхать. Вернулись они через час.

– Прямо с края болота у немцев минометная батарея, – негромко сказал Демидов. – А впереди батарееи все перемешано с землей. Наши артиллеристы хорошо поработали. Немцы до сих таскают оттуда убитых и раненых. – Он сел на землю, вытянул ноги и потер ладонями колени. В последнее время они постоянно ныли. По всей видимости, оттого, что, находясь в разведке, по целым суткам приходилось, не переобуваясь, то ползать по мокрой траве, то лежать в болоте. – От батарееи тропинка к реке, немцы ходят туда брать воду. Надо быть осторожнее, чтобы не столкнуться там с ними. Берег везде крутой, подходов к нему нет до самого моста. Будем искать переправу правее.

Демидов приказал развернуть рацию и передать в штаб полка короткое донесение об этом. В том числе и координаты минометной батарееи, которой до сих пор не было на нашей карте. Сукачев помог Жене растянуть антенну. Когда она передавала сообщение, ей почему-то представилось как бережно и внимательно держит его в руках Глебов. Зашифрованные точки и тире казались ей посланием о любви. Женя даже покраснела, подумав об этом. Нет, полюбить она не успела. Для этого не было времени. Но Глебов ей, несомненно, нравился. Теперь она, не скрывая, признавалась в этом самой себе.

После передачи донесения разведчики перекусили и, выставив посты, стали дожидаться темноты. Идти сейчас на поиск брода было слишком рискованно. Демидов присел рядом с Женей и, подняв на нее свои красивые голубые глаза, негромко спросил:

– За линию фронта еще не ходила?

– Нет, – мотнула головой Женя.

Демидов знал, что в разведку она пошла впервые и, как бы ни крепилась, сердце ее сейчас полно страха. Страх невольно накапливается в человеке и в самый неподхо-

дящий момент может вырваться наружу. Тогда человек теряет голову. В разведке это означает неминуемую гибель.

– Вот видишь, не так это страшно, как кажется в штабной комнате, – сказал Демидов, улыбнувшись одними краешками губ.

– Я не в штабной комнате, я служу в связи полка, – немного засмущавшись, поправила его Женя.

Демидов, конечно же, знал, где она служила, но специально сказал о штабе, чтобы окончательно отвлечь ее мысли от страха. Женя была красивой, она понравилась ему сразу, как только он увидел ее. Демидов любил красивых женщин и считал, что таких, как Женя, нельзя посылать на фронт, тем более в разведку. От красивых женщин рождаются красивые дети. Не зря на Женю положил глаз командир полка Глебов. До ее появления в полку побывало немало женщин, в том числе и красивых. Но ни о ком Глебов не заботился так, как о ней. Демидов поднял голову, посмотрел на плывущие по небу белые, похожие на скамочные фигуры облака, и сказал:

– Красиво-то как. Небо везде одно. Что на нашей стороне, что за линией фронта. Потому что это тоже наша земля. И небо наше.

– Да, – сказала Женя, почувствовав облегчение. – Небо тоже наше.

От последних слов Демидова у нее словно спал с сердца обруч, который его сжимал до сих пор. Страх начал отпускать. «На родной земле под родным небом всегда можно найти защиту», – неосознанно пронеслось в ее голове.

Когда стемнело, Демидов выслал вперед группу из двух человек и лишь после того, как она вернулась, не обнаружив впереди ничего подозрительного, все разведчики отправились на поиск. Они спустились к реке и шли, прижимаясь к крутому берегу. Он порос травой и мелким кустарником и в случае опасности здесь можно было спрятаться. Двигались неслышно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь к тому, что делается у воды и над головой, над берегом. Иногда Демидов посылал наверх разведку, как правило, двух человек, они поднимались по крутому откосу и исчезали в темноте. А группа, не

торопясь, продвигалась вперед, обследуя берег. Никакого брода здесь не было. По такому яру спуститься к воде было невозможно. И танки, и самоходки просто попадали бы в воду.

Женя шла вместе с остальными, находясь в полном оцепенении. Она осознавала, что со всех сторон на расстоянии вытянутой руки ее подстерегает смертельная опасность, но куда движется группа и, главное, зачем, если берег везде оказался неприступным, она не понимала. Сколько может продолжаться это движение? Ведь чем дальше они идут, тем большая вероятность наткнуться на немцев. Завяжется бой, и тогда выбраться назад к своим вряд ли кому удастся.

Внезапно группа остановилась. Вернулись высланные вперед Никулин и Коваленок и сказали, что недалеко отсюда находится небольшая лощинка, полого спускающаяся к реке. Но берег там вязкий, сапоги тонут по самые голенища. Демидов приказал группе наблюдать за местностью, а сам, взяв с собой трех разведчиков, пошел обследовать лощинку.

Ждать его пришлось почти час. Когда он вернулся и подошел к Жене, ей показалось, что от него пахнет какой-то особой свежестью. Запах был до боли знакомым, но она не могла понять, чем он вызван. Наконец, вспомнила, что такой запах идет от человека, искупавшегося в реке. Это запах чистого и здорового тела.

– Вы купались? – спросила она и дотронулась кончиками пальцев до гимнастерки Демидова. Гимнастерка была сухой, значит, он снимал ее с себя.

– Плавал на ту сторону, – сказал он. – Там глубина сумасшедшая.

Демидов осмотрел собравшихся вокруг него разведчиков, повернулся к Жене и приказал:

– Готовьтесь передавать донесение.

– Надо выносить антенну наверх и укреплять на какой-нибудь мачте, – сказала Женя. – Из-под берега нам не связаться со штабом.

– На берег подняться можно, – медленно произнес Демидов. – А вот мачту здесь не найдешь.

Он на минуту задумался и спросил, чуть улыбнувшись:

- Гудков сгодится вместо мачты?
- Думаю, да, – тут же ответила Женя.

Демидов послал наверх трех разведчиков, чтобы еще раз проверили, нет ли поблизости немцев. Вскоре они вернулись и доложили, что противника рядом нет.

– Пошли, – сказал Демидов Жене и начал подниматься по склону.

Женя полезла наверх, сзади нее с рацией на спине, цепляясь руками за корни травы, полез Сукачев, за ним – Гудков. На берег вылезли на четвереньках, но разогнуться и встать во весь рост не разрешил Демидов. Край берега даже в темноте просматривался хорошо как с реки, так и со стороны поля, по которому проходила передовая линия немцев. Она была далеко отсюда, но немцы наблюдали не только за нашей передовой, но и за своим тылом. Метрах в тридцати от берега рос конский щавель, его высокие метелки поднимались почти в рост человека. Гудков спрятался в нем, держа на вытянутой руке конец медного провода, выполняющего роль антенны.

Демидов накрыл рацию вместе с Женей плащ-палаткой, чтобы замаскировать свет от сигнальной лампочки и заглушить писк зуммера. Работать пришлось на ощупь. Но Женя сумела включить и настроить рацию и передать донесение Демидова, в котором сообщалось о том, что брод найти не удалось, поэтому группа направляется на разведку моста и попытается выяснить возможность его захвата. В это время справа от разведчиков раздался звук мотора и в двухстах метрах от них на фоне черного неба возник силуэт двух грузовиков с потушенными фарами. Демидов носком сапога подтолкнул Женю и коротко командовал:

– Сворачивайся!

Но Глебов, находившийся у рации в штабе полка, требовал подробностей. Ему хотелось знать, почему не удалось найти брод. Демидов, не отрывая взгляда от грузовиков, шедших параллельно берегу, продиктовал:

– Нет подхода к реке, глубина свыше двух метров.

И снова носком сапога поторопил Женю. Он боялся, что на одном из грузовиков может стоять радиопеленгатор. Если немцы засекут рацию, скрыться негде – впе-

реди чистое поле с редкими кустиками высокой травы, позади – река. Умирать геройской смертью Демидову не хотелось. Он привык выполнять задание и возвращаться живым.

Неделю назад Демидов с Гудковым, Сукачевым и ефрейтором Колывановым ходили в глубокий тыл немцев выяснять, куда пропали их танки. За рекой стояла танковая дивизия, и вдруг она исчезла. Сто пятьдесят «тигров» провалились, как сквозь землю. Их или перебросили на другой участок, или так хорошо замаскировали, что наша авиаразведка не могла обнаружить. Демидов выяснил: танки отправили на другой участок фронта. Разведчики установили это по следам гусениц и по тому, что танкисты оставили после себя в лесу, где маскировались. Задание было выполнено, но когда группа возвращалась домой, напоролась на немецкий патруль. Бой разведчики принимать не стали потому, что никаких шансов выиграть его не было. Решили отойти в лес и там укрыться. Но при отходе тяжелое ранение в бедро получил Колыванов. Демидов больше километра тащил его на себе. Гудков с Сукачевым помочь не могли, они прикрывали отход.

Перевязку Колыванову сделали только тогда, когда оторвались от патруля. Он потерял много крови и постоянно впадал в забытие. До своей передовой было еще четыре километра. Утащить на себе здорового мужика на такое расстояние и в мирных условиях было выше человеческих сил. А тут кругом смертельная опасность. Каждую минуту можно было нарваться на автоматную очередь. Это понимал не только Демидов, но и Колыванов. Придя в себя, он прошептал спекшимися губами:

– Оставьте меня. Следующей ночью придете с подкреплением. Если доживу, тогда и унесете.

Сукачев тут же согласился на это. Но Демидов, зыркнув на него сердитыми глазами, зло прошипел:

– А если бы тебя здесь решили оставить, что бы ты сказал?

Сукачев молча взялся за край плащ-палатки, на которой лежал Колыванов, и дальше разведчики понесли его втроем. Перед утром вышли к своим. Колыванов был без единой кровинки в лице, и Алтухов, первым увидевший

его, подумал, что он мертв. Но разведчик оказался живучим. В медсанбате пришел в себя и сейчас находится на излечении в госпитале.

Демидов не оставил за линией фронта ни одного своего разведчика. Может, поэтому люди без страха уходили на задание с ним. Разведчики любили своего лейтенанта, и Демидов знал, что может рассчитывать на каждого из них, как на самого себя...

Передний грузовик притормозил, и Демидов, грозно прошипев Жене: «Немедленно сворачивайся!» – сорвал с шеи автомат и направил его ствол в сторону немцев. Больше всего он боялся сейчас быть обнаруженным. Он не мог потерять кого-то из разведчиков и не выполнить задания. Самой неопытной в группе была Женя, поэтому он и опекал ее больше всего. Демидов напряженно ждал развязки, но в это время машина двинулась дальше. Очевидно, шофер просто притормозил у знакомой ямы на левой дороге.

Женя выключила рацию и сдернула с головы плащ-палатку. Она была в наушниках и не слышала гула машин, поэтому страха не ощущала. Но по нервным жестам Демидова поняла, что где-то рядом подкрадывается опасность. Женя попыталась подняться, но Демидов, положив на ее голову свою тяжелую ладонь, придавил к земле. Сукачев в это время уже смотал антенну и начал запихивать рацию в вещмешок. Из зарослей конского щавеля показался Гудков. Все это время он пристально следил за машинами, готовый прикрыть разведчиков, если немцы пойдут на них.

– Что случилось? – шепотом спросила Женя и только тут услышала гул удаляющейся машины.

Ее словно прострелило электрическим током. Сердце почти остановилось от страха, она почувствовала такую слабость, что не могла пошевелить рукой.

– Все передала? – наклонившись к ней, спросил Демидов.

Женя не смогла ответить, лишь кивнула головой. Он взял ее под локоть и потащил к берегу. И только оказавшись на краю обрыва, с которого виднелась расстилавшаяся внизу светлая полоса воды, она пришла в себя.

– Не тащите меня, – сказала она Демидову, выдергивая из его руки локоть, – я пойду сама.

Он отпустил ее и она, держась за траву, начала спускаться вниз. Разведчики, притаившись, ждали их у края обрыва. Услышав гул машин, они поднялись наверх и приготовились прикрывать товарищей. Когда подошел Демидов, они встали. Он оглядел их и тихо произнес:

– Будем пробираться к мосту.

Никто не ответил. Растянувшись цепочкой, группа неслышно пошла по склону берега, стараясь не приближаться к воде, на фоне которой хорошо вырисовываются ночные силуэты. У минометной батареи, которую обнаружили разведчики, перейдя болото, громко разговаривали немцы. Сердитый голос выкрикивал какие-то резкие слова, не опасаясь, что его услышат. Плотный и влажный ночной воздух далеко разносил их. Демидова это обрадовало. Если немцы разговаривают так громко, значит хорошей охраны у них здесь не организовано. Очевидно, уверены в том, что так далеко к ним в тыл русские пробраться не могут.

Демидов передал по цепочке, чтобы все спускались ближе к воде. Это была единственная возможность обойти немцев. Но когда группа стала приближаться к реке, по цепочке пробежал приказ залечь и не двигаться. Все это время Женя не могла избавиться от жуткого, нахлынувшего на нее страха. Ей никогда не доводилось видеть немцев так близко. Они разъезжали на машинах, громко разговаривали и в любой момент могли открыть огонь по разведчикам, в том числе и по ней. Для этого было достаточно одного неосторожного движения, которое могло привлечь их. И тогда уже ничто не было в силах спасти ни ее, ни Демидова, ни всех остальных. «Неужели жизнь может закончиться так скоро?» – бессознательно думала она, и от этой навязчивой мысли становилось еще страшнее.

Из этого состояния ее вывел недалекий плеск воды. Женя осторожно подняла голову из травы и увидела в каких-нибудь тридцати метрах силуэты двух голых немцев, купающихся в реке. Один из них, разгребая впереди себя руками воду, начал выходить на берег, другой продолжал купаться. Они о чем-то негромко разговаривали. Когда

первый немец уже почти оделся, из воды вышел второй. Женя прижалась щекой к земле, закрыла глаза и замерла. Она готова была превратиться хоть в таракана, хоть в мошку, лишь бы немцы не заметили ее. Женя перестала дышать. И сразу услышала над ухом тонкое гудение комара. Он сел на щеку, и Женя почувствовала, как он прокусил своим острым хоботком кожу. Но она даже не дернулась от боли. Комар пил ее кровь, а она не шевелилась. В другой раз она бы шлепнула этого комара прямо на щеке, а сейчас лежала, боясь дышать, и слушала как немцы, одеваясь, разговаривают между собой. Сколько так продолжалось, она не знала. Ей показалось, что прошла целая вечность. Наконец, по цепочке передали команду подняться и перескочить тропинку, по которой немцы ходили к реке.

Женя вспомнила слова Демидова о том, что если надо пройти неслышно, передвигаться следует на цыпочках. Когда наступаешь на всю ступню, невольно возникает звук тяжелого топота. Это он говорил ей у блиндажа, когда они только строились перед выходом на задание. «Какой же все-таки хороший Демидов», – подумала она, осторожно поднимаясь с земли. Согнувшись, чтобы как можно больше слиться с высокой травой, почти не дыша, она вслед за другими проскочила тропинку и перевела дух лишь тогда, когда группа оказалась за двумя кустами тальника, росшего у самой воды.

Тяжелые тучи, закрывавшие небо, раздвинулись, на нем появилось несколько бледных звездочек, и все вокруг сразу посветлело. Речные струи, натываясь на берег, жалобно зажурчали. Где-то далеко, то ли на середине реки, то ли у противоположного берега крикнула утка. Природа вдруг обрела спокойствие, тем самым еще более усложнив задачу разведчикам. В этом спокойствии свой лад, любой посторонний звук или, наоборот, внезапное молчание сразустораживают.

Демидов приложил ладони к губам и негромко крикнул. Утка отозвалась. Он крикнул еще раз. Ответа не последовало. Выждав длинную паузу, он снова крикнул. Никто не откликнулся и на этот раз. Очевидно, утка распознала подвох и перестала отвечать. Демидов дал команду дви-

гаться дальше и на всем пути, пока они шли вдоль берега, время от времени кричал. В конце концов, не выдержав, с другого берега ему отозвалась другая утка. Это означало только то, что у воды было спокойно.

Вскоре далеко впереди показалась черная ниточка моста, пересекавшая реку. Берег, под которым шли разведчики, становился все ниже и перестал скрывать их. Дальше идти было опасно, и группа остановилась. Демидов снова выслал вперед Никулина и Коваленка. Они легли на кромку обрыва и неслышно, как ужи, исчезли в уже покрывшейся росой траве. Все затаились в молчаливом ожидании. Женя никак не могла унять свое сердце. Ей казалось, что его стук слышат все разведчики, а в такой напряженной тишине могут услышать и немцы. Сидя на мокрой траве, она согнулась, уткнув лицо в колени. Ей хотелось пить, но для этого надо было спуститься к воде, а это опасно.

Женя исподлобья смотрела на темные силуэты находившихся рядом с ней людей, и только сейчас начинала понимать, каким невероятным усилием воли дается каждому из них видимое спокойствие. К смертельной опасности нельзя привыкнуть. Ведь не зря так бешено колотится сердце, которое не удается унять. Очевидно и у них такое же состояние. Только они, в отличие от нее, научились загонять свой страх внутрь.

Ее внимание привлек легкий шорох. С обрыва сканулись разведчики и шепотом доложили Демидову, что недалеко отсюда параллельно берегу проходит дорога, связывающая минометную батарею с мостом. В километре от моста стоит хорошо уцелевший кирпичный дом с примыкающими постройками. По всей видимости, бывший хутор. Около него слышна работа мотора, скорее всего грузового автомобиля. Мост охраняют два дзота, к которым ведут траншеи. Часовых не видно. Но на развилке дороги, ведущей к хутору, стоит пост. Миновать его нельзя.

Во время донесения Демидов не произнес ни слова, продолжал он молчать и после того, как разведчики выложили все, что увидели собственными глазами. Надо было принимать решение, а оно оказалось трудным.

– А может нам перейти реку и попытаться захватить мост с другой стороны? – осторожно спросил Коваленок.

– Ты думаешь, он с той стороны не охраняется? – Демидов посмотрел на противоположный берег реки, покрытый густыми кустами ракитника.

– Должно быть, охраняется, – ответил Коваленок. – Но немцы там не такие бдительные.

Демидов уже сам давно думал об этом. Теперь эта же мысль посетила и других. Значит, она правильная. Он поднял голову кверху. Темные тучи почти расползлись, небо все больше серело, а это означало, что скоро начнет светать. И тогда не удастся не только захватить мост, но и уйти назад к болоту, чтобы спрятаться там. Немцы обязательно обнаружат группу. Демидов снова перевел взгляд на реку и видневшуюся вдали тонкую ниточку моста. Вода, натыкаясь на берег, журчала, но на середине реки как раз от того места, где купались немецкие минометчики, начала выстилаться узкая полоска тумана.

– Гудков и Коростылев, ко мне, – передал по цепочке Демидов.

Через мгновение оба разведчика оказались около командира.

– Отправляйтесь на тот берег, – попросил, а не приказал Демидов. – Разведайте, что там за кустами. Если можно по их краю пройти к мосту, крикнете два раза.

Гудков и Коростылев были самыми высокорослыми в группе, и Демидов надеялся, что им не придется перебираться через реку вплавь. Так оно почти и случилось. Раздевшись и сложив обмундирование в вещмешки, они осторожно спустились в воду и направились к противоположному берегу. Туман, между тем, сгущался, заполняя все пространство от берега до берега. Мост уже давно исчез из виду, и это обрадовало Демидова. Если они не видят немцев, значит, и немцы не видят его группу. Но силуэты разведчиков, перебиравшихся через реку, с берега были видны.

Вода доходила им сначала до пояса, потом до груди и только у самых кустов разведчикам пришлось проплыть с десяток метров. Женя с напряженным вниманием следила за ними. Ее не пугала глубина, она умела хорошо плавать.

Она боялась, что ей вместе с разведчиками придется раздеваться. Женя не представляла, как она может оказаться в одном нижнем белье среди одиннадцати мужиков. Ей казалось, что она сгорит со стыда, еще не ступив в воду.

Между тем, Гудков и Коростылев, выбравшись на берег, скрылись в кустах. Вскоре с противоположного берега раздалось кряканье.

– Всем раздеваться и в воду, – приказал Демидов.

Женя застыла на месте, увидев, как разведчики начали стягивать с себя сначала сапоги, а потом снимать гимнастерки и галифе. Они аккуратно сворачивали все это и укладывали в вещмешки. Ей показалось, что с особым удовольствием раздевался перед ней Сукачев. Он специально повернулся к ней лицом, заставляя Женю наблюдать всю картину стягивания с себя одежды. Она перевела взгляд на Демидова. Тот пока еще был в одежде. Их глаза встретились и Демидов, по всей видимости, только сейчас понял, в какой ситуации оказалась радистка.

– Всем в воду! – тихо скомандовал он.

Разведчики спустились в реку, каждый держа в одной руке автомат, в другой вещмешок с запасными дисками к нему и одеждой.

– Раздевайтесь! – приказал Жене Демидов. – В мокрой одежде вы не дойдете до моста. Вода в сапогах не позволит. А заодно выдадите всех нас своим хлюпаньем.

Демидов снял сапоги, размотал и сунул в них портянки. Затем начал стягивать с себя галифе. Женя нерешительно взялась двумя пальцами за верхнюю пуговицу на гимнастерке. Разведчики, между тем, были уже на середине реки.

– Отвернитесь, – сказала она Демидову и, оказавшись в одних трусиках и лифчике, встала позади него.

– Нет уж, голубушка, вы пойдете впереди меня, – шепотом, в котором звенели металлические нотки, произнес Демидов. – Если начнете хлебать воду, вас и за волосы вытаскать некому будет.

Женя, насупившись, прошла мимо него и осторожно ступила в реку одной ногой. Вода оказалась холодной. Задержавшись на мгновение, Женя ступила второй ногой и медленно побрела к противоположному берегу.

Демидов, шедший сзади на расстоянии вытянутой руки, невольно остановился. За последние три года он ни разу не видел перед собой обнаженной женщины. И вот сейчас она медленно, нащупывая ногой дно, шла перед ним, поигрывая бедрами и ослепляя невероятно красивым телом. На ее бедрах были только тонкие белые трусики. Он невольно глотнул воздух открытым ртом, наблюдая, как с каждым шагом Женя все больше погружается в воду. Сначала вода скрыла ее по щиколотку, потом дошла до колена, затем скрыла и колени. У Демидова гулко застучало сердце. Еще мгновение и она скроется совсем. Ему вдруг захотелось с шумом броситься к девушке, схватить ее, стиснуть сильными руками горячее, вздрагивающее тело и раствориться в нем до такой степени, чтобы не ощущать себя. Ни война, ни шедшие впереди разведчики не имели в этот миг для него никакого значения. Были только Женя и он. Демидов уже вытянул руки, чтобы броситься к ней, но в это время Женя, тихонько ойкнув, ухнула в омут и над водой осталась только ее голова с поднятыми руками.

Демидов мгновенно пришел в себя, лихорадочно соображая, что предпринять, чтобы, не поднимая шума, спасти девушку. Но она повернулась к нему лицом, улыбнулась и поплыла к берегу. Сначала на боку, подгребая под себя воду одной рукой и держа в другой тяжелый вещмешок, потом на спине. Когда она коснулась ногами дна, увидела одевающихся разведчиков. Женя по воде отошла в сторону и вышла на берег так, чтобы они не видели ее. Быстро одевшись, она вышла к группе. И только сейчас, представив, как бы она выходила из реки в одежде, с которой ручьями стекала вода, с благодарностью подумала о Демидове. В сухом обмундировании было тепло и комфортно.

А Демидов, увидев Женю в солдатской форме, ошеломленно смотрел на нее. Несколько мгновений он не мог понять, куда исчезло то небесное создание, из-за которого всего минуту назад он потерял рассудок. И только после того, как вся группа снова оказалась вместе, его сознание переключилось с радистки на задание командира дивизии. Демидов тряхнул головой, выходя из оцепенения. За всю войну с ним еще ни разу не происходило ничего подобного.

Сразу за кустами в сторону моста шла старая полевая дорога. Туман, окончательно закрывший реку, выполз и на нее. Демидов построил разведчиков в шеренгу по два и маршем направился к мосту. Его расчет строился на том, что немцы, даже увидев группу, будут принимать ее за своих до тех пор, пока не столкнутся с разведчиками нос к носу. А это значит, что он сможет нанести удар первым. В таких схватках внезапность является главным преимуществом. Вскоре впереди показался выезд на мост. Разведчики пошли осторожнее, стараясь быть как можно дольше не обнаруженными.

Перед мостом стоял часовой. Увидев выплывающую из тумана группу солдат, он даже обрадовался, шагнув им навстречу. Достал из кармана портсигар, вытащил из него сигарету и протянул руку, в которой ее держал, в сторону Демидова. Очевидно, у него кончился бензин в зажигалке, и он просил огонька. Но, разглядев перед собой русско-го, в ужасе раскрыл рот и, не веря самому себе, произнес трясущимися губами: «Русишь?» Все остальное произошло в одно мгновение.

Демидов ладонью обхватил его лицо, зажав рот, развернул к себе спиной и молниеносным движением повернул голову. Женя услышала хруст шейных позвонков и увидела, как сник и повис на руках Демидова немецкий часовой. Выждав несколько мгновений и все так же прижимая немца к себе, Демидов осторожно опустил его на землю, снял с него автомат и столкнул труп в кювет. Затем вытер рукавом гимнастерки лицо и кивком головы приказал группе двигаться к мосту.

Женю охватил ужас. Ей никогда не доводилось видеть, как убивают человека. Причем так расчетливо, хладнокровно и по-звериному жестоко. Когда Демидов схватил часового, тот не издал ни одного звука, только широко раскрыл глаза, полные застывшего страха. Женю удивило, что он даже не пробовал сопротивляться. Очевидно, осознал свою обреченность. И еще ее удивило, что разведчики даже не посмотрели в сторону немца, оказавшегося в кювете. словно это был не человек, а какой-то хлам, мешавший им на дороге. Ей подумалось, что они привыкли к таким смертям.

Но разведчики думали не о немецком часовом, а том, как захватить мост, оставшись при этом живыми. Им предстояло выполнить главную задачу, ради которой командир дивизии Бобков послал их сюда.

Демидов решил, что по мосту безопаснее всего будет идти тоже строем. Если на этом берегу немецкий часовой принял их за своих, почему на другом должны думать иначе? Правда, дал команду идти осторожнее, не печатая шага. Деревянный настил далеко разносил топот и мог заранее насторожить часовых. А к ним, не вызывая подозрений, надо было подойти как можно ближе. Перед тем, как ступить на мост, сказал Гудкову, чтобы тот брал правый дзот и перестроил для этого колонну. Гудков вместе с пятью разведчиками оказался в правой шеренге, Демидов возглавил левую. Женю он поставил предпоследней, со спины ее должен был прикрывать Сукачев, в вещмешке которого все так же находилась тяжелая рация. После захвата моста весь расчет был только на нее. Рация давала единственную возможность связаться с полком и доложить обстановку.

Женя почувствовала, как у нее снова бешено застучало сердце. Мост представлял собой поставленные борт к борту большие железные лодки, через которые от берега до берега был проложен прочный деревянный настил. Но каким бы прочным он не был, когда группа ступила на него, мост закачался. Он показался Жене дорогой в ад потому, что на другом его конце по обе стороны уже четко проступали две шапки дзотов. Ее удивляло лишь то, что немцы до сих пор не заметили приближение группы. Ведь не могли же они не слышать, как по мосту движется целый отряд солдат. Наконец она увидела, как сначала около одного дзота, потом около другого, выпрыгнув из траншеи, появились темные фигуры часовых. Они повернулись в сторону реки и молча ждали приближения группы. Очевидно, и здесь они приняли разведчиков за своих. Женя поняла это потому, что сбоку часовых, на уровне живота, виднелись силуэты стволов автоматов. Если бы они нацелили их на разведчиков, автоматов не было бы видно.

И тут Женя почувствовала, что страх охватил каждую ее клетку. Такого страха она еще не переживала. Ей хоте-

лось прыгнуть с моста, забраться под лодку, только бы не видеть часовых, напряженно всматривающихся в нее и других разведчиков, ровным строем вышагивающих им навстречу по качающемуся мосту. Ей казалось, что часовые уже разглядели ее. Сейчас они спросят, кто она такая и, не услышав ответа, откроют огонь. Спрятаться здесь можно только за спину шагающего впереди Коваленка. Как только он упадет, она окажется беззащитной, словно раздетой перед немцами донага. И от этого ей становилось еще страшнее.

Мост еще не закончился, но Женя почувствовала, как напряглись разведчики. Коваленок вдруг сдвинул локтем приклад автомата так, что он чуть не уперся ей в живот, и замедлил шаг. И в этот же момент раздалась две хлесткие автоматные очереди. Часовые упали и разведчики, разделившись на две группы, кинулись к дзотам. Женя увидела, как Демидов достал гранату и, не добегая до дзота, бросил ее в узкую щель. Другую гранату бросил туда же Коваленок. Гранаты полетели в траншеи, затем в них прыгали разведчики.

Жене показалось, что и ей надо прыгать вслед за ними. Тем более, что Сукачев, бывший все время за ее спиной, теперь оказался впереди. Она кинулась за ним, но, налетев на что-то жесткое и непреодолимое, со всего размаху упала на землю. Сразу же заныло колено, она сморщилась от боли, но рядом шел бой, и ей нельзя было отставать от своих. Женя подняла голову и тут же услышала, как у самого уха жикнула пуля. Она прижалась лицом к земле и постаралась не дышать. Стрельба продолжалась в траншеях, но пули над землей уже не свистели. И вдруг наступила такая тишина, что Женя различила стук собственного сердца. Он отдавался в ушах, словно сердце переместилось из груди в голову. Она открыла глаза и тут же услышала требовательный, властный голос Демидова:

– Чистякова, ты где?

Женя поднялась на четвереньки, отряхивая землю с колен и локтей. Демидов увидел ее, спросил:

– Живая?

Женя кивнула.

– Немедленно иди в блиндаж, – приказал он и, когда она подошла к краю траншеи, протянул руки, чтобы помочь ей спуститься.

В траншее лежали убитые немцы. Коваленок и Коростылев поднимали их и выбрасывали через бруствер. Это уже не удивляло Женю. Демидов провел ее в блиндаж, она прошла туда, запинаясь о звякающие автоматные гильзы, повсюду валявшиеся под ногами. За брезентовым пологом блиндажа на столе, сделанном из таких же прочных досок, из каких сооружали настил моста, горела самодельная лампа. Немцы расплющили конец гильзы артиллерийского снаряда, налили туда керосин и вставили фитиль. Лампа чадила, распространяя по блиндажу запах керосина. Рядом с ней стояла рация, Сукачев уже размотал и прикрепил к ней антенну.

– Передавай командиру полка, – подталкивая Женю ладонью к рации, сказал Демидов.

Женя спрятала под пилотку выбившиеся из-под нее волосы, включила рацию, подождала, пока нагреются лампы, настроилась на нужную волну. И только после этого подняла глаза на Демидова.

– Готова? – спросил он. Медлительность радистки начала вызывать у Демидова плохо скрываемое раздражение.

Женя кивнула.

– Передавай. – Демидов наклонился, но смотрел уже не на Женю, а на рацию. – «Мост захватили. Потерь нет. С минуты на минуту ждем атаку. Будем держаться до последнего. Надеемся на ваш скорый прорыв». Передала?

– Да, – сказала Женя.

– Сиди тут, рацию не выключай. Мы должны быть все время на связи с Глебовым.

Демидов выпрямился, кивнул Сукачеву, и они вместе вышли из блиндажа. Женя сняла с головы наушники, положила их перед собой на стол и повернулась, оглядывая блиндаж. И тут же вздрогнула от неожиданности. В углу блиндажа, прижавшись спиной к бревенчатой стене, сидел немец, вытянув на полу ноги и подняв руки. Лицо его было белым, как лист мелованной бумаги, нижняя губа тряслась, руки дрожали. Он смотрел на нее стеклянными глазами,

очевидно, еще не сообразив, что рядом с ним в блиндаже никого, кроме хрупкой девушки-радистки, нет. Женя поняла это, машинально положив руку на кобуру пистолета и не сводя глаз с немца. Оружия при нем не было. Но на другом столе, который только сейчас в полутьме разглядела Женя, стоял пулемет с высунутым в амбразуру стволом. Из его замка свешивалась набитая патронами лента. Рядом со столом на земляном полу стояли два ящика с патронами и ящик гранат с длинными деревянными ручками. Из-за этих ручек гранаты походили на толкушки. Из пулемета немец не мог стрелять по нашим, но забросать гранатами траншею, в которой сейчас находились разведчики, ему не составляло труда. Женя не понимала, как не подумал об этом Демидов. Она приподнялась, чтобы выйти из блиндажа и сказать ему об этом, но тут же испугалась, что тогда немец останется совсем безнадзорным.

Женя села и снова посмотрела на немца. Он опустил одну руку, но другую продолжал держать поднятой вверх. И тут она услышала в наушниках писк морзянки. Жене пришлось взять их двумя руками, чтобы надеть на голову. А для этого надо было убрать ладонь с кобуры пистолета. Но немец, не двигаясь, сидел в углу. Он настолько обомлел от страха, что, по всей видимости, потерял способность соображать.

Из штаба полка запрашивали об обстановке. Женя не знала о том, что происходит за стенами блиндажа, но, судя по тому, что там не стреляли, атака немцев еще не началась. И Женя передала, что их пока не атакуют.

– Держитесь, – передали из штаба, – подмога к вам придет.

Откинув брезент, закрывавший вход, в блиндаж вошел Сукачев. Он тяжело дышал, его потное лицо было красным.

– Только что из штаба запрашивали о том, что у нас происходит, – с облегчением сказала Женя, которой уже становилось страшно находиться в одном помещении с немцем.

– Ничего не происходит, – сказал Сукачев. – Добили последних и выбросили за бруствер, а потом в канаву. Оказалось, что в траншее прятались двое живых.

– А с этим что делать? – кивая на немца, спросила Женя. И тут же пожалела о своих словах. Ей не хотелось видеть убийства еще одного человека. С появлением в блиндаже Сукачева у нее сразу прошел страх перед сидящим в углу немцем.

Сукачев посмотрел на него и коротко бросил:

– Наверно, шлепнуть.

– А может, взять в плен? – спросила Женя, увидев, как немец съежился от колючего взгляда Сукачева.

– Он и так в плену, – ответил Сукачев.

Снаружи начинало светать. За краем отогнутого у входа брезента уже хорошо просматривалась траншея и валившиеся в ней гильзы. Крови не было видно, ее успела впитать земля.

– А где Демидов? – спросила Женя. – Где остальные? Почему их не слышно?

– Демидов с Коростылевым пошли разминировать мост. Коваленок с Подкользиным готовятся отбивать атаку. Гудков с остальными в своем дзоте. Меня послали сюда, к пулемету. – Сукачев говорил так, словно докладывал командиру.

– Ты знаешь, как с ним обращаться? – Женя уставилась на немецкий пулемет с холодно поблескивающими патронами в длинной ленте, один конец которой находился в замке, другой лежал на столе.

– Знаю, – кивнул Сукачев.

Немец зашевелился, поудобнее устраиваясь в своем углу. Он уже не держал руки поднятыми, и теперь ему захотелось сменить позу.

– Свяжу-ка я его, – сказал Сукачев. – Чтоб не мешал, когда заварушка начнется.

Он подошел к немцу, поднял рукой за шиворот и повернул к стене лицом. Вытащил из его брюк ремень с белой квадратной алюминиевой пряжкой, крепко связал им руки и снова посадил в угол.

– Так будет надежней, – сказал Сукачев и, повернувшись к Жене, спросил: – Не перетрухала?

– Да нет, – Женя пожала плечами. – Некогда было.

Ей не хотелось рассказывать Сукачеву о том, какие страхи она пережила, пока группа захватывала мост. Да и сейчас ей было страшно. К войне, наверное, нельзя при-

выкнуть. Даже если тебя не задела пуля, ты каждый день видишь убитых людей. Своих ли, чужих ли, не имеет значения. Человеческая смерть всегда страшна.

Снаружи раздались несколько коротких автоматных очередей. Сукачев на мгновение замер, определяя, откуда идут выстрелы, и тут же подскочил к пулемету. Взялся за его ручки, повел стволом.

– Никого не видно, – сказал он, вприщур рассматривая пространство перед дзотом. – Наверно немцы разведку послали.

Снова наступила тишина. Потом Женя услышала, как в траншею кто-то спрыгнул, и в блиндаж вошел Демидов. В одной руке у него был автомат, в другой – немецкий котелок с водой.

– Принес на всякий случай вам, – сказал Демидов и поставил котелок на стол. И тут же, повернувшись к Жене, спросил: – Из штаба полка никаких вестей не было?

– Только что запрашивали об обстановке, – Женя кивнула на лежавшие на столе наушники. – Я сказала, что пока все спокойно. Ждем атаки.

– Не спокойно. – Демидов покосился на пулемет, перевел взгляд на ящики с патронами. – Немцы высылали разведку. Не могут определить, сколько нас здесь. Одно-го Гудков уложил, другому удалось смыться. Притворился, гад, мертвым, ребята и поверили. Отвернулись-то все-го на секунду. А когда посмотрели, на земле только один. Второго уже нету. Теперь жди целую группу. Немцам без этого моста хана. Отойти на другой берег они могут только по нему. Они это понимают.

– У Гудкова все целы? – спросил Сукачев.

– Слава Богу, все. Не верится даже, что так легко взяли этот мост. Не ожидали нас немцы. – Демидов засунул ладонь за воротник, помассировал шею и вдруг неожидан-но спросил: – Пожрать тут у них ничего нету?

– Не смотрел, – ответил Сукачев. – Может и найдем. Они запасливые.

Сукачев разглядел в углу блиндажа ранец, вытряхнул его содержимое на стол. Из ранца вывалились пачка сигарет, две пачки галет, письма с фотографиями и мужское нижнее белье.

– Наверно в баню собирался, – сказал Сукачев, поднимая двумя пальцами черные хлопчатобумажные трусы. Он повернулся к сидевшему в углу немцу и строго спросил: – Не твой?

Немец зажмурился и отрицательно покачал головой. Сукачев засунул белье в ранец, бросил его в угол и, разорвав пачку галет, высыпал их на стол.

– С паршивой овцы хоть шерсти клок, – сказал он, очевидно пожалев, что в ранце не оказалось ни колбасы, ни тушенки, которые иногда в качестве трофеев доводится брать у немцев.

Демидов взял галету, с хрустом откусил и мечтательно произнес:

– Хлеба бы сейчас деревенского. Прямо из печки. А?

Сукачев поднял на него глаза, подождал, пока он прожует сухую галету, и протянул руку к своему вещмешку. Неторопливо развязал его, достал оттуда ароматно пахнущую буханку белого деревенского хлеба и завернутый в чистую тряпочку здоровенный кусок сала. Даже через тряпочку от сала шел такой дразнящий запах чеснока, что Демидов невольно сглотнул слюну.

– Откуда у тебя это добро? – не скрывая удивления, спросил Демидов, когда Сукачев большим, хорошо отточенным ножом начал резать сало на тонкие ломтики.

– Обмен небольшой произвел, – сказал Сукачев и протянул Демидову ломоть хлеба с салом. Затем таким же бутербродом угостил Женю.

– Какой обмен? – допытывался Демидов. Он никак не мог понять, откуда в вещмешке у Сукачева оказался такой первоклассный провиант.

– Движимость на недвижимость променял, – сказал Сукачев и его глаза хитровато заблестели.

– Ту движимость, которую разыскивал интендант? – спросил Демидов, нахмурившись.

– Какая разница, – усмехнулся Сукачев. – Главное, что у нас есть харч. Остальным ребятам тоже скажи. У меня на всех хватит.

Два дня назад с немецкой стороны в расположение полка вышла лошадь. Огромный битюг-тяжеловоз, у которого на одной ноге была пута. По всей видимости, нем-

цы отпустили его на ночь пастись. Но спутали плохо и он, пользуясь затишьем на передовой, отправился за сочной травкой, которая росла прямо за окопами. Немцы хватились его, когда он оказался на нейтральной полосе. Пристрелить пожалели, и битюг перешел на нашу сторону. Целый день он бесхозно пасся в нашем расположении. Кто-то донес об этом интенданту полка и посоветовал использовать лошадь по назначению, как тягловую силу. Хорошего коня можно было пристроить и на кухне, и в медсанбате. Но когда интендант послал за ним двух своих подчиненных из рядового состава, коня не нашли. Облазили и ближайший лесок, и лощинку, но тяжеловоз как сквозь землю провалился.

Интендант прислал своего зама к разведчикам, около которых битюга видели в последний раз. Смастерив самодельную уздечку, на нем верхом без седла ездил Сукачев. Но Сукачев сказал, что, покатавшись на коне, отпустил его пастись. Демидов тоже коня не видел. В шутку сказал заму интенданта, что надо бы спросить у немцев. Может быть, битюг ушел домой? А теперь оказывается, что конем по своему усмотрению распорядился Сукачев.

– Где это ты его обменял? – спросил Демидов.

– В деревне, что в трех верстах от расположения полка. У них на весь колхоз одна мосластая кобыла, которая на ногах еле стоит. Ты не поверишь, как обрадовались. Они на этом битюге теперь и пахать, и сеять смогут.

– Всего за булку хлеба и это сало? – спросил Демидов, с аппетитом откусывая кусок бутерброда.

– Я у них бабу просил. – Сукачев ослабил, обнажив фиксы, и так откровенно посмотрел на Женю, что она невольно съезжилась от его взгляда. – Председатель не дал. Выматерил даже. Такой трухлявый старичок с виду, а оказался ядовитым. За салом и хлебом, говорит, приходи. А бабами не торгуем. Они у нас своих мужей с фронта ждут.

– Хороший старичок, – заметил Демидов.

– Для кого как, – ответил Сукачев и, снова посмотрев на Женю, спросил: – Мост-то разминировали?

– Разминировали, – ответил Демидов. – Они в один понтон целый ящик тола заложили. Кое-как в проводах

разобрались. Тол выбросили в реку. А за салом к деду, как только домой вернемся, еще сходишь. Сало у него отменное.

Снаружи снова раздались автоматные очереди. Демидов резко поднялся и сказал Сукачеву:

– Ты становись к пулемету и, ни на миг не отрываясь, смотри на дорогу. Как только появятся немцы, стреляй. Но когда открывать огонь, решай сам. Патроны у нас все при себе. Сильно не расшвыривайся. – Потом повернулся к Жене: – А ты будь все время при рации. Сейчас вся надежда на тебя.

Демидов вышел, а Сукачев кинулся к пулемету. Стрельба слышалась не только от выхода из блиндажа, но и с другой стороны дороги, из дзота, в котором засел со своими разведчиками Гудков. Сукачев припал к прицелу и дал длинную очередь. Выждал паузу, потом начал стрелять снова. Затем наступила такая тишина, что Женя услышала из траншеи голос Демидова:

– А ну-ка, Миша, дай очередь по лежачим.

Женя поняла, что Демидов обращался к Коваленку. И тут же выругался Сукачев.

– Вот ведь суки, – зло, с нескрываемой ненавистью сказал он. – Попадали на дорогу все, как мертвые. А когда Коваленок выстрелил, двое зашевелились. Один даже бежать попытался.

Жене до жути захотелось посмотреть на валяющихся на дороге немцев, которых разведчики не пустили к мосту, но тут снова началась автоматная стрельба. А потом вдруг издали донеслась канонада и послышались разрывы тяжелых снарядов. Из щелей в накатах блиндажа с сухим шелестом посыпалась земля. Так могла стрелять только наша артиллерия. И сразу же в наушниках раздались позывные штаба полка. Женя ответила. У штабной радиостанции находился Глебов.

– Слышите? – открытым текстом спросил он.

– Да, слышим, – передала Женя, понимая, что Глебов имел в виду артиллерию.

– А как у вас? – спросил Глебов.

– Одну атаку отбили, ждем вторую.

– Держитесь, – передал Глебов. – Я хочу тебя видеть живой.

От этой фразы Женю обдало жаром. На передовой во всю гремел бой, к мосту приближалась новая группа немцев, а Глебов хотел видеть ее живой. Это было больше, чем, если бы он сказал ей: «Я люблю тебя». Это было, как люблю навеки и ни за что не хочу потерять. У Жени шевельнулось сердце. У нее возникло чувство, что она давно и преданно любит Глебова и тоже ни за что не хочет потерять его. Он вдруг стал ей до того дорог, что Жене захотелось заплакать оттого, что она не может увидеть его сейчас. И тут же появилось щемящее чувство безысходности. От моста до передовой было всего два километра, но Жене показалось, что эта фраза пришла из такой далекой дали, что ни ей, ни Глебову никогда не преодолеть расстояние, разделяющее их.

5

Потеряв около десятка человек убитыми и не отбив у разведчиков мост, немцы изменили тактику. Они пошли не вдоль дороги, подставляя себя под собственные пулеметы, поставленные в дзотах, а решили подойти к мосту вдоль берега реки. Правда, пулеметы доставали своим огнем и берег, но немцы, очевидно, надеялись, что главное внимание разведчиков будет сосредоточено на дороге. Они уже поняли, что мост захватила не очень большая группа, которую надо было немедленно уничтожить. Судя по артиллерийскому огню, русские перешли в наступление и главной целью их атаки будет полный контроль над мостом. Кто владеет мостом, тот владеет и ситуацией.

Берег был голым, спрятаться на нем не представлялось возможным, но в одном месте его перерезала скатывающаяся к реке небольшая ложбинка. Немцы решили сосредоточиться в ней, а потом одним рывком проскочить простреливаемое пространство до мертвой зоны, куда уже не доставал огонь пулемета. Оттуда до дзота подать рукой, его можно будет забросать гранатами.

Первая группа немцев из трех человек незаметно пробралась до ложбинки и затаилась там. Все внимание разведчиков было сосредоточено на хуторе и дороге, ве-

дущей от него к мосту. Демидов хорошо видел в бинокль как большая группа немцев, рассевшись в двух грузовиках, направилась к линии фронта, откуда доносились непрерывные разрывы артиллерийских снарядов. Потом с передовой к хутору подъехал броневик. Около него тут же выстроились около полутора десятков солдат. «Откуда же они берутся?» – с тоской подумал Демидов, глядя на строящихся немцев. И впервые пожалел о том, что не попросил Глебова накрыть огнем артиллерии хутор. Ему показалось, что именно там сейчас готовится главная атака на дзоты.

Броневик, не спеша, двинулся к дороге, солдаты, на ходу поправляя амуницию, строем направились за ним.

– Коростылев! – крикнул Демидов, не отрывая взгляда от бинокля. – Иди в блиндаж и передай радистке, чтобы попросила наших накрыть артиллерией хутор. Там этих фашистов еще может быть тьма тьмушая.

Демидову подумалось, что, потеряв хутор, немцы могут запаниковать. Хотя уничтожать собственное добро всегда было жалко. Ведь на хуторе наверняка и сейчас еще могли жить наши люди. А если и не живут, то он мог пригодиться тем, кто придет сюда, когда выгонят немцев. Демидову всегда было больно смотреть на наши сожженные дотла деревни, в которых на месте бывших домов торчали одни, неведомо каким способом уцелевшие, печные трубы. Но мимолетная жалость, промелькнувшая в глубоком подсознании, тут же уступила место опасности, которая шла от хутора. Немцы уже давно превратили его в мощный опорный пункт, и будут безжалостно расстреливать из-за толстых кирпичных стен наших солдат, которые станут рваться к мосту.

Коростылев, тоже следивший за немцами, поднялся во весь рост и уже повернулся, чтобы идти в блиндаж, но вдруг ударился спиной о стенку траншеи, словно его кинула на нее неведомая сила, и, выронив из рук автомат, стал сползать на землю. И только тут Демидов услышал визг пуль над головой. Кто-то стрелял из автоматов по разведчикам длинными очередями. Он инстинктивно бросил взгляд на Коростылева и увидел над его правой бровью круглое отверстие, из которого, растекаясь по лицу, бежа-

ла струя крови. Судя по звуку автоматов, стреляли от реки с близкого расстояния. Поднять голову и разобраться в обстановке было невозможно – пули, пересекая траншею, вонзались в бруствер, поднимая пыль.

Демидов машинально приставил автомат к стенке траншеи, отцепил от пояса гранату и, выдернув чеку, размашисто бросил ее в сторону реки. Тут же туда полетела граната, брошенная Коваленком. Схватив автомат, Демидов высунулся из траншеи и увидел припавших к земле трех немцев, оказавшихся всего в двадцати метрах от блиндажа. Гранаты упали одна справа, другая слева, не задев их. Демидов дал длинную очередь из автомата. Один немец перевернулся на спину, другой, скрючившись, и судорожно перебирая ногами, – на бок, третий, припав лицом к земле, даже не пошевелился.

Демидов почувствовал острый холодок под ложечкой. Он видел немцев, наступающих вдоль дороги, но как они оказались сзади, не мог понять. Ясно было одно – теперь бой придется вести в окружении. И уже есть первая потеря. С Коростылевым они воевали вместе больше года, это был хороший разведчик, надежный и опытный боевой товарищ. У Демидова заныло сердце. За два с лишним года войны он видел немало смертей своих боевых товарищей, но привыкнуть к этому не мог. Да и можно ли привыкнуть к гибели человека, если вместе с ним из жизни уходит целый мир.

Два дня назад Коростылев получил письмо из дому, в конце которого была маленькая приписка, сделанная детской рукой: «Папа, береги себя. Мы очень по тебе соскучились».

– Смотри, – радостно улыбаясь, говорил Коростылев, показывая исписанный листок Демидову. – Дочка написала. В армию уходил, читать еще не умела. А вернись, поди, и не узнаю. Взрослой станет. Как думаешь, долго нам еще воевать?

– Пока Берлин не возьмем, немцы не сдадутся, – ответил Демидов.

Сейчас ему стало так плохо, словно в груди засела неразорвавшаяся граната. Спазмы сжали горло, грудь распирало от боли, но он все же пересилил себя. Надо было

не только жить, но и продолжать воевать. Готовиться отбивать следующую атаку, которая начнется через несколько минут. Никаких сомнений в том, что она начнется, не было.

Демидов бросил взгляд на траншею. Коваленок стоял, высунувшись над ней, и наблюдал за берегом. В двадцати метрах от него с автоматом в руках, тоже высунувшись из траншеи, стоял рядовой Подкользин, пришедший в разведку совсем недавно. Рисковым был человеком Подкользин, но и фартовым до невероятности. Последнего языка вытащил прямо из траншеи.

Немец сидел на корточках и, закрывая огонек ладонями, курил сигарету. Подкользин определил его местонахождение по вспышке зажигалки. А когда подполз ближе, уловил острый запах табака. Осторожно, чтобы земля, не дай Бог, не посыпалась в траншею, он подполз к ее краю, высунул голову и увидел под собой немца. Тот в это время сделал такую большую затяжку и выпустил столько дыма, что Подкользин чуть не раскашлялся. Немец был в каске. Подкользин опустил руку и очень интеллигентно постучал по ней пальцем. Немец поднял голову и даже в кромешной темноте разглядел над собой лицо русского солдата. Им овладел такой испуг, что, вскочив на ноги, он вытянулся в струнку и замер по стойке «Смирно!» Подкользин одной ладонью закрыл ему рот, другой схватил за мундир, оторвал от земли и вытащил из траншеи. И только потом вырубил его из сознания. Этого немца и притащили разведчики к себе в то утро, когда в расположение их полка прибыл командир дивизии Бобков.

Сейчас Подкользин внимательно следил за броневиком, направлявшимся к мосту. При этом постоянно поворачивал голову к речному берегу, где неожиданно появились немцы.

– Подкользин! – крикнул Демидов и когда тот обернулся к нему, приказал подойти. – Давай унесем Коростылева.

Демидов взял Коростылева подмышки, Подкользин – за ноги и они осторожно, словно боясь неловким движением причинить боль, внесли его в блиндаж. Женя кинулась к ним, на ходу развязывая свой вещмешок, чтобы достать индивидуальный пакет. Увидев кровь на лице Ко-

ростылева, она хотела перевязать его. Но Демидов, подняв руку, остановил ее.

– Не надо, – сказал он, – Ему это уже не поможет.

Они бережно положили Коростылева у стенки блиндажа прямо у входа. Женя смотрела на него и не верила, что Коростылев убит. Это сразу понял пленный немец. Опустив голову в колени, он отвернулся в угол и затих. Но разведчикам было сейчас не до него.

– Немедленно свяжись со штабом полка, – приказал Демидов Жене, – и передай, чтобы уничтожили хутор. Если его не накрыть, нам своих не дожждаться.

Женя тут же кинулась к рации, вызвала штаб и передала то, что ей приказал Демидов. Но артиллерийские снаряды все также рвались на передовой, артиллеристы пока не думали переносить огонь на хутор. А может и не получили приказ. Немцы фанатично защищались и с ходу прорвать их оборону, по всей видимости, не удалось.

– Сейчас вся надежда на твой пулемет, – сказал Демидов, повернувшись к Сукачеву. – К мосту под прикрытием броневика идет целая группа.

– Я их уже заметил, – ответил Сукачев.

– Тогда держись. Передала? – Демидов перевел взгляд на Женю.

– Да, передала, – кивнула она.

– Ну, вот и хорошо, – сказал Демидов, словно успокаивая самого себя.

Он выпрямился, автоматическим движением поправив ремень на гимнастерке, посмотрел на скорчившегося в углу немца, перевел взгляд на лежавшего у входа окровавленного Коростылева и молча вышел. Женя обхватила голову руками, стараясь не смотреть на убитого разведчика. Так близко сталкиваться с гибелью своего товарища ей еще не приходилось. У нее возникло ощущение, что смерть прикоснулась к ней самой. Но сейчас ей не было страшно никакой смерти и это казалось странным.

Снаружи снова раздались выстрелы. Это стрелял из своего пулемета броневик. Он вел огонь сначала по траншеям, потом по дзотам. Женя увидела, как сразу налилось злостью лицо Сукачева, он схватился за ручки пулемета и нажал на гашетку. По стенам блиндажа, оглушая и застав-

ляя забыть обо всем остальном, заметалось грохочущее эхо выстрелов. Сукачев бил прицельно и короткими очередями, но попадал ли он в кого-нибудь, Женя не знала. Ей хотелось заткнуть пальцами уши, чтобы не слышать этого оглушающего эха. Женя ждала, когда закончится грохот выстрелов, чтобы перевести дух, но Сукачев все стрелял и стрелял, и ей казалось, что стрельба никогда не кончится.

В блиндаж вдруг, тяжело дыша и никого не видя, влетел Коваленок. Остановившись у входа, он пробежал глазами по стенам, задержался взглядом на рации, при этом Жене показалось, что он даже не заметил ее, и кинулся к ящику с гранатами. Торопливо хватая за длинные ручки, он сложил их на руку, словно охапку дров, и выскочил наружу, откуда доносился непрерывный автоматный огонь. Жене подумалось, что вслед за этим должны раздаться взрывы гранат, но стрельба вдруг прекратилась. Однако Сукачев не отпускал пулемет, пристально наблюдая за тем, что творилось на дороге перед дзотом. И Женя почувствовала, что над ней и всеми разведчиками нависла смертельная опасность.

Прикрываясь броневиком и огнем его пулемета, немцы вышли на дорогу, постепенно приближаясь к мосту. Тактика их была верной. Они хотели захватить траншею хотя бы около одного дзота. Взять сам дзот после этого не составляло никакого труда. Траншея находилась вне его огня, и дзот оказывался беззащитным. Это хорошо понимали и Демидов, и Гудков, находившийся со своей группой разведчиков во втором дзоте. Демидов с тоской смотрел на траншею Гудкова, не зная, кто у него еще цел, а кто уже погиб или ранен. Между двумя группами, хотя они и находились друг от друга всего в пятидесяти метрах, не было связи и это не давало возможности координировать действия. Каждая группа защищалась самостоятельно и, хотя разведчики готовы были прийти на помощь друг другу, но в бою для этого надо выбрать самый нужный момент. Тот, который решит его исход. А для этого важно знать ситуацию на всей линии боя. Демидов и Гудков знали только то, что происходило на их участках.

Броневик остановился, немцы залегли за ним, и Демидов подумал, что немецкую машину подбил или Сукачев,

или пулеметчик Гудкова. Это давало небольшую передышку. По открытому участку немцы не решатся на атаку, они сразу попадут под огонь. Правда, если они начнут наступать одновременно и от реки, и с дороги, защищаться будет трудно. Слишком не равны силы. К тому же немцы в состоянии подбросить атакующим подкрепление, а у разведчиков могут быть только потери.

Демидов лихорадочно искал выход из положения. У разведчиков почти не оставалось патронов, экономить приходилось на каждом выстреле. Он оторвал взгляд от дороги и повернулся к реке. Там было спокойно. Три немца, пытавшиеся прорваться к дзоту, лежали в тех же позах, в каких их застал огонь разведчиков. Война для них уже закончилась. Очевидно, после этой потери их командир не решился на повторную атаку. И это уже облегчало задачу. Когда нет угрозы с тыла, смелее смотришь вперед.

Демидов снова повернулся к дороге. Ему почему-то захотелось узнать, видят ли немцы своих убитых на берегу реки. Но кромка берега от броневика не просматривалась. Кроме того, ее прикрывал бруствер траншеи. И Демидову пришла в голову мысль запастись дополнительным оружием.

– Подкозьин, – негромко крикнул он и когда тот повернулся к нему, приказал: – Иди сюда.

Подкозьин, пригнув голову, подошел к Демидову.

– Сползай к тем немцам, – Демидов кивнул в сторону реки, – и принеси их оружие. Оно нам сейчас очень пригодится.

Подкозьин, не говоря ни слова, словно уж, перевалился через край траншеи и пополз к берегу. И в это время на дороге, чихнув черным дымом, зарокотал броневик. Немцы или исправили повреждение, или останавливались для того, чтобы перезарядить пулемет. В бруствер траншеи, визжа и поднимая фонтанчики пыли, стали вонзаться пули. Они летели непрерывно, не давая поднять голову, чтобы проследить за дорогой. И это было самым страшным. Немцы в любую минуту могли оказаться около траншеи и забросать ее гранатами. Невидимый враг во много раз опаснее того, который находится перед глазами. От невозможности что-то сделать Демидов

сжал зубы и мысленно выругался самыми нехорошими словами.

Сукачев словно услышал его. Из амбразуры дзота застучал пулемет и Демидов почувствовал, что немецкие пули уже не вонзаются в бруствер, заставляя сгибаться и прижиматься к стенке траншеи. Он поднял голову и осторожно выглянул из-за бруствера. Броневики находились в пятидесяти метрах от него. Теперь он поливал огнем не траншею, а дзот. Но Сукачев отвечал ему, и броневики не ехали, а ползли, как улитки. Он боялся оторваться от солдат, шедших вслед за ним, потому что без него они оказывались беззащитными. Они уже и так находились под огнем. Подойдя ближе к мосту, немцы невольно изменили угол обстрела, открыв тех, кто оказался в самом хвосте группы. Демидов увидел, как два солдата упали, словно налетев на невидимый барьер. Это стрелял Коваленок. Он бил короткими очередями, точно прицеливаясь и экономя патроны. Именно его огонь изменил ситуацию. Броневики сначала остановились, а затем, все так же отстреливаясь, начали пятиться назад. Демидов вздохнул, но вместо облегчения почувствовал вдруг навалившуюся на него безумную усталость. Такую усталость, что тяжело было пошевелить рукой. Не хотелось ни двигаться, ни говорить.

Звякая тремя автоматами, которые держал за ремни в широкой ладони, в траншею свалился Подкозьин.

– Вот, возьми, – сказал он, протягивая Демидову «Шмайссер».

Затем засунул руку за пазуху, достал оттуда два рожка и тоже отдал их командиру. Вытер рукавом измазанной в земле гимнастерки лоб и направился к Коваленку. Тот взял автомат, покрутил его, словно видел первый раз, перед глазами и положил около ног. Подкозьин достал из-за пазухи еще два рожка и тоже протянул их Коваленку.

Немцы перестали стрелять, под прикрытием броневика они откатились назад, захватив с собой убитых или раненых. Подкозьин даже поднялся на цыпочки, провожая их взглядом. Впервые за это длинное утро в траншее можно было стоять, не боясь выстрелов.

– Ну что, командир, может, переведем дух? – сказал Подкользин, глядя на Демидова. Глаза его хитровато блестя.

– Кому отдыхать, а кому готовиться к новому бою, – сухо ответил Демидов. – Ты думаешь, они на этом остановятся?

– Да хрен с ними, с немцами, – сказал Подкользин. – Нам о себе думать надо.

Он снова засунул руку за пазуху и достал оттуда фляжку. Побулькала ей около уха, но фляжка не издала ни одного звука.

– Полная, – удовлетворенно сказал Подкользин, отвинтил пробку и, зажмурившись, понюхал. – Чуть было не прозевал. Уже отползать стал, когда увидел ее под одним немцем. Они, видать, пьяные в атаку шли.

Подкользин отпил из фляжки небольшой глоток, чмокнул и, облистав губы, утвердительно произнес:

– Ром! – Затем протянул фляжку Демидову: – Пей!

Тот понюхал ром и сказал Коваленку, чтобы сходил в блиндаж к Сукачеву, проверил как у него дела, а заодно принес закуски.

– У этого куркуля хлеба с салом полный вещмешок, – сказал Демидов.

– Может и его позвать? – спросил Коваленок.

– Пусть у пулемета сидит. Мы ему во фляжке оставим.

Утро окончательно разведрилось. Тонкие, легкие, словно перышки, облака бесследно растворились в небе. Из-за ракитника, росшего на другой стороне реки, выскользнули первые, осторожные лучики солнца, начавшие несмело ощупывать землю. Роса на траве вспыхнула, озаряя перламутровой радугой пространство между траншеей и ведущей к мосту дорогой. И если бы не дальний бой, гремевший на передовой, новому, светлому дню можно было только улыбаться.

Коваленок принес из блиндажа полбулки хлеба и кусок сала. Демидов постелил плащ палатку и, достав большой складной нож, порезал им на куски и хлеб, и сало. Подкользин передал ему фляжку. Демидов открутил пробку, несколько мгновений молча подержал фляжку в руке, затем запрокинул голову и, громко булькая, отпил

пару хороших глотков. Подкользин тут же протянул ему хлеб с салом. Демидов передал фляжку Коваленку. Тот, прежде, чем сделать глоток, понюхал сало, зажмурился и, покачав головой, сказал:

– У нас в деревне, когда кололи свинью, столько всякого добра из нее делали. И колбаски, и зельц, а уж сало копченое – во всей Беларуси такого не было. – Он положил сало на плащ палатку, повернулся к Демидову и спросил: – Как думаешь, прорвутся наши к мосту?

– Почему ты об этом спрашиваешь? – насторожился Демидов. Ему показалось, что в голосе Коваленка звучала непривычная нотка.

– Если не прорвутся, на кой хрен нам его удерживать? Может уйти, пока еще есть возможность?

Демидов понял, что Коваленок не зря терзается сомнениями. Если наши не прорвутся к мосту, его ни за что не удержать. Слишком уж неравны силы. Демидов не понимал, почему немцы до сих пор атакуют их только с одной стороны. Почему никто не приходит им на помощь с другого берега реки? Ведь там находятся все их резервы. Может они, боясь наказания, не сообщили руководству о том, что мост захвачен русскими? Надеются сами, причем в самое ближайшее время, восстановить положение? Первый раз атака не удалась, и они готовят сейчас вторую? Однако делиться своими размышлениями с разведчиками Демидов не стал. Они и без него прекрасно разбираются в ситуации.

– Куда ты сейчас уйдешь? – рассмеялся Демидов, и смех его был совершенно искренним. – Ведь кроме этих дзотов и траншей, – Демидов обвел пространство рукой, – мухе спрятаться негде.

Он не стал говорить о том, что если бы пришлось отступить, надо было захватить с собой тело Коростылева. Разведчики никогда не оставляли своих товарищей на поругание врагу. Кроме того, не исключено, что у Гудкова тоже могли быть убитые или раненые. Да и не затем брали этот мост, чтобы, постреляв на нем, снова вернуть фашистам.

Коваленок приложил фляжку к губам, отпил несколько глотков и, потряхнув головой, протянул ром Подкользину. Прожевав хлеб с салом, сказал:

– Я это спросил потому, что ни наших, ни немцев у моста до сих пор нету. Пауза затянулась. А это всегда плохая примета.

– А ты, как старая бабка, в приметы не верь, – снова усмехнулся Демидов. – Ты лучше подкрепишь поплотнее. У нас скоро такая горячая работа начнется, что о сале и подумать некогда будет.

И словно в ответ на его слова вздрогнула земля на хуторе. Черепичная крыша дома приподнялась и разлетелась на куски, подняв столб дыма и пыли. Демидов схватил бинокль и, прильнув к нему, направил его на хутор. Тот походил на развороченный муравейник. Снаряды падали один за одним, но немцы выскакивали из-под развалин и бежали подальше от разрывов. Первым из-под рушащихся строений выскочил броневик. Промчавшись метров триста, он остановился около развилки дороги, ведущей на немецкую передовую и мост. Демидов подумал, что броневик ожидает пехоту, без нее он много сделать не может. Так оно и оказалось. Когда к броневикам подтянулись человек двадцать солдат, он двинулся вперед. «Только бы не к нам», – с тревогой подумал Демидов. Ему показалось, что немцы должны пойти к передовой, чтобы помочь своим, где наши, по всей видимости, прорвали оборону. Но броневик, не задержавшись на развилке, свернул в сторону моста.

Двигался он не спеша, но уверенно, стараясь, чтобы пехотинцы не отставали от него, и выглядел, скорее всего, не броневиком, а головным солдатом в колонне. Это совсем не походило на тот торопливый наскок, который немцы сделали во время первой атаки. И Демидов подумал, что на этот раз отбиться будет намного труднее.

Он посмотрел на дзот, из амбразуры которого торчал вороненый ствол чуть покачивающегося сукачевского пулемета, затем повернул голову налево, чтобы увидеть Коваленка и Подколызина. Оба они, положив автоматы на бруствер траншеи, так же как и Сукачев в дзоте, с нескрываемым нервным напряжением следили за приближающимся броневиком. Обычно спокойный Коваленок раскачивался то приподнимаясь на носках, то опускаясь на всю ступню своих тяжелых, заляпанных речной грязью сапог.

Все знали, что Коваленок очень следил за обмундированием, но времени на то, чтобы почистить обувь сегодняшним утром у него не было. Демидов машинально перевел взгляд на свои сапоги. Они были такими же грязными, как у Коваленка. Да по-другому и быть не могло. Разведчики приводят себя в порядок только после того, как вернуться с задания. А когда наступит это время, никто из них не только не знал, но и не думал об этом.

Немцы начали обстрел дзотов издалека. Они уже пристрелялись по ним и сейчас били гораздо точнее, чем во время первой атаки. Демидов увидел, как полетели щепки от верхнего бревна, прикрывавшего амбразуру. У него защемило сердце. Если пулеметчик броневика возьмет чуть пониже, Сукачеву не сдобровать. И он бы взял, если бы по броневика не открыл огонь пулемет Гудкова. Пули, с дробным стуком визжа и рикошета о броню, начали высекают искры. Броневик дернулся, на мгновение остановившись, но тут же двинулся дальше. Теперь он поливал огнем дзот Гудкова, стараясь подавить его пулемет. И Демидову подумалось, что им и на этот раз удастся отбиться.

Но тут заговорил еще один немецкий пулемет. Сначала Демидов не мог понять, откуда он стреляет. И только внимательно обшарив биноклем пространство за наступающими немцами, увидел, что они успели оборудовать огневую точку на краю кювета. Отрыли небольшой окоп и установили на его бруствер ручной пулемет. Во время первой атаки у них его не было. Значит, прихватили с собой сейчас. Когда они успели отрыть окоп, ни Демидов, никто из других разведчиков не заметили. Этот пулемет начал бить по дзоту Сукачева. Тот, по всей вероятности, не видел его, продолжая поливать огнем броневик. Но пули не причиняли ему вреда и броневик, а за ним и пехота продолжали медленно приближаться к мосту.

Демидов не открывал огня из автомата, стараясь беречь патроны. Надо было подпустить немцев ближе, когда их пехота не сможет прятаться за броневиком и тогда уж бить наверняка. Но у Подколызина, очевидно, сорвались нервы. Он сначала дал короткую очередь, потом стал стрелять, не останавливаясь. Судя по тому, что бро-

невик продолжал двигаться, его огонь не причинял немцам вреда.

Демидов лихорадочно соображал, каким образом отсечь пехоту от броневика. Если этого не сделать, ситуация может стать критической. И в это время замолк пулемет Сукачева. В первое мгновение Демидов не понял, что случилось, хотя подсознательно ощутил, что вся обстановка резко изменилась в худшую сторону. Потом до него дошло, что огонь ведут только немцы и дзот Гудкова.

– Подкользин! – как можно сильнее напрягая голос, крикнул Демидов, но тот не слышал его.

На крик обернулся Коваленок. Демидов жестами показал ему, чтобы он позвал Подкользина. Подкользин нервно сдернул автомат с бруствера и, не скрывая досады, подскочил к командиру.

– Бегом в блиндаж! – приказал Демидов. – Проверь, что случилось с Сукачевым. Если ранен, становись на его место.

Подкользин, пригнувшись, кинулся в блиндаж. То, что он увидел там, заставило его остолбенеть.

6

Окровавленный Сукачев без гимнастерки и нижней рубахи полулежал на столе, пленный немец, до этого безмолвно сидевший в углу со связанными руками и остекленевшими от страха глазами, поддерживал его за голову и плечи, а радистка бинтовала раны. Сукачев был ранен дважды. Одна пуля со скользом прошла ему бок, раздробив ребро, другая прошла сквозь предплечье, но кость, по всей вероятности, не задела. Об этом можно было судить потому, что Сукачев на весу держал руку, чтобы она не мешала бинтовать бок. Обе раны сильно кровоточили. Сукачев был бледен и, по-видимому, еще не совсем сообразил, что с ним произошло.

Зато Подкользин сразу оценил всю ситуацию. Достав из-за пазухи недопитую фляжку рома, он открутил крышку и поднес фляжку к губам Сукачева. Тот сначала мотнул головой и попытался отвернуться, но потом сделал ма-

ленький глоток. И только поняв, что во фляжке не вода, а ром, жадно припал к горлышку.

Радистка накладывала бинты умело, и Подкользин понял, что его помощь здесь не потребуется. Тем более, что ей помогал немец. Снаружи раздавался треск выстрелов, теперь уже автоматных, и Подкользин кинулся к пулемету. Броневи́к стоял на дороге, но к траншее, непрерывно стреляя на ходу, бежало около десятка немцев. Подкользин схватился за ручки пулемета и нажал на гашетку. Два немца, словно споткнувшись, сразу упали на землю, остальные залегли в кювет. Очевидно, они не ожидали, что замолчавший пулемет разведчиков снова заговорит.

Но перевести дух Подкользину не удалось. По дзоту, мгновенно развернувшись, ударил пулемет броневика. От бревна, прикрывавшего сверху амбразуру, отлетело несколько щепок. И если бы в этот миг броневик не двинулся вперед, пристрелявшийся по цели немецкий пулеметчик наверняка срезал бы Подкользина. Но броневик рванулся к мосту, и пулеметная очередь ударила вхолостую. Пули только подняли фонтанчики пыли сбоку от амбразуры. И тут Подкользин увидел, что у него кончается пулеметная лента. Сукачев расстрелял их все, вставив в пулемет последнюю. Деревянный ящик, в котором лежал ее конец, оказался пустым.

Немцы поднялись из кювета и снова пошли в атаку, но Подкользин понимал, что он может дать по ним только одну, последнюю очередь. Подкользин отвернулся от амбразуры и в бессилии обвел взглядом блиндаж. Радистка закончила бинтовать грудь Сукачева и теперь перевязывала ему руку. Сукачев сидел на столе рядом с рацией, он уже пришел в себя, мертвенная белизна отлила от его щек. Около него стоял немец, готовый в любую минуту помочь и Сукачеву, и радистке. А недалеко от немца у стены стоял ящик, полный патронов. Ими можно было зарядить не одну ленту.

– Комен зи мир! – закричал Подкользин, обращаясь к немцу.

Если бы кто-то спросил, откуда он знает эти слова, Подкользин бы не ответил. В школе он два года учил немецкий, но самой высшей оценкой по этому предмету у

него была тройка. В разведке выучил только «Хенде хох!» С такими словами разведчики обращаются к немцам, когда берут их в плен. А тут он требовательно приказал пленному подойти. И тот, впервые за все это время, услышав обращенные к нему на родном языке слова, сначала вытянулся в струнку, затем подскочил к Подкользину. Но остальных слов, способных объяснить немцу, чего от него хотят, Подкользин не знал. Да и времени на объяснение не было. Цепь атакующих приближалась, снаружи по ней били из автоматов Демидов с Коваленком. Подкользин схватил пустую пулеметную ленту, протянул ее немцу и показал рукой на ящик с патронами. Пленный оказался понятливым. Он взял ленту и, встав на одно колено около ящика, торопливо начал набивать ее патронами. При этом искоса все время поглядывал на Подкользина.

Подкользин схватился за ручки пулемета и, прищурившись, посмотрел сквозь прицел на поле боя. Немцы шли в атаку цепью, автоматы Демидова и Коваленка не причиняли им вреда. И Подкользину показалось, что у разведчиков нет сил, чтобы остановить их. Броневики двигались уже без сопровождения, поливая огнем дзот Гудкова. Второй пулемет немцев молчал, боясь задеть вставших в рост атакующих. Подкользин прицелился в самого высокого, шагающего в середине цепи чуть впереди остальных. Немец шел вызывающе нагло, прижав к правому боку автомат и непрерывно поливая из него огнем траншею, в которой сидели Демидов и Коваленок. Подкользин обратил внимание на короткие, всего по щиколотку, сапоги немца. Ему показалось, что они до блеска начищены кремом. И это тоже выглядело вызывающе. Немец напоказ выставлял свою спесь, давая понять, что не боится русских. Даже в атаку он идет в начищенных сапогах. Подкользин подождал, пока немец сделает очередной шаг и, задержав дыхание, нажал на гашетку.

Немец замер на месте, чуть качнулся и, не сгибаясь, со всего размаху грохнулся на спину. Подкользин выдохнул, прицелился в другого, шедшего справа, и тот, словно споткнувшись, сначала упал на колени, потом повалился на бок. Но цепь все шла и шла, не считаясь с потерями. Подкользин занервничал и дал длинную очередь, уже не

целясь. Как оказалось, она была последней, пулемет замолчал. А немцы все шли, хотя из цепи выпал еще один, убитый Демидовым или Коваленком. Подкользин почувствовал, как в груди собирается неприятный ноющий холодок охватывающего все тело страха и, не отрывая взгляда от поля боя, нервно протянул руку в сторону ящика с патронами. И тут же почувствовал, как кто-то вложил в его ладонь конец пулеметной ленты. Он мгновенно повернул голову и столкнулся взглядом с пленным немцем. Тот смотрел на него спокойно и бесстрашно. Подкользин откинул другой рукой замок пулемета, вставил в него ленту и снова припал к прицелу.

Немцы были уже совсем рядом, можно было даже различить их лица. Подкользин нажал на гашетку, но поскольку бил торопливо и почти не целясь, никто из атакующих не упал, даже не остановился. Цепь приближалась, уже готовая ворваться в траншею, но в это время на дороге, по которой двигался броневик, раздался взрыв. Броневик дернулся и, задымив, остановился, его пулемет тут же замолчал. Подкользин догадался, что кто-то из разведчиков Гудкова, незаметно пробравшись в кювет, бросил под броневик связку гранат. На немцев это подействовало сильнее пулеметного огня. Лишившись поддержки с тыла, они по инерции сделали еще несколько шагов вперед, потом начали разворачиваться и побежали к кювету. Подкользин, уже не торопясь, стал стрелять им в спины и достал своим огнем еще одного. Наконец, все немцы залегли в кювете, и теперь огонь не доставал их. Но Подкользин все еще держался за ручки пулемета, готовый дать очередь, как только кто-то из немцев попытается поднять голову.

От пулемета его оторвал Сукачев. Когда Женя забинтовала ему руку, он, сморщившись от боли, встал со стола, подошел к Подкользину и положил ладонь на его спину. Тот нервно обернулся, но, увидев Сукачева, отпустил пулемет и рукавом рубахи вытер тонкую струйку пота, сбегавшую по щеке. Сукачев жестом показал ему, чтобы возвращался к Демидову.

– Ну, как ты? – спросил Подкользин, окидывая беглым взглядом перебинтованного товарища.

Сукачев взял здоровой рукой фляжку, запрокинув голову, отпил несколько больших глотков и, протянув ее Подкользину, сказал:

– Иди! Я здесь управлюсь без тебя.

Подкользин нехотя отошел от пулемета, остановился около Жени, долго и пристально разглядывая ее, потом сунул фляжку за пазуху и молча вышел из блиндажа. Демидов и Коваленок, навалившись грудью на край траншеи, осторожно выглядывали из-за бруствера, пытаясь разгадать действия немцев. Те продолжали лежать в кювете, не делая попыток подняться. Броневики дымил и, хотя погода была тихой и безветренной, запах тяжелой машинной гари доносился до траншеи.

Услышав рядом с собой шаги, Демидов обернулся. Около него, держа в одной руке немецкий автомат, остановился Подкользин.

– Что с Сукачевым? – спросил Демидов и снова через край бруствера посмотрел на дорогу, по обе стороны которой затаились изготовившиеся к атаке немцы.

– Ранен, – ответил Подкользин, набрасывая на плечо ремень автомата.

– За пулеметом стоять может? – все так же наблюдая за дорогой, спросил Демидов и подумал, что как только появится затишье, надо будет обязательно попроведовать Сукачева.

– Говорит, что может, – Подкользин неопределенно пожал плечами.

– Куда ранен? – Демидов повернулся к Подкользину и внимательно посмотрел на него.

– В бок и левую руку, – сказал Подкользин. – Радистка перевязала. – Подкользин чуть улыбнулся и добавил: – Ее бы в нашу группу на постоянно зачислить медсестрой. Классно бинтует.

– Слишком много захотел, – ответил Демидов. – Нам ее дали только на эту операцию. Сегодня же должны вернуть в штаб полка.

– До этого еще дожить надо, – сухо заметил Подкользин и, стараясь не высовываться из траншеи, направился на свое место, где у него была оборудована огневая точка.

Коваленок достал бинокль и стал разглядывать в него то, что осталось от хутора. Дом и расположенные рядом дворовые постройки горели, выбрасывая к небу густые клубы тяжелого черного дыма. Около пожарища копошились немцы, по всей видимости, вытаскивая из-под обломков раненых и убитых. Глядя на них, Коваленок не хотел верить своим глазам. Артиллерия плотно накрыла хутор, и, казалось бы, после такого удара там не должно остаться ничего живого. Все, кто уцелел, пошли в атаку на мост. Но около хутора находилось не меньше сотни немцев. Они или где-то прятались, или подошли туда уже после артиллерийского налета. И Коваленок с тоской подумал, что и эти немцы пойдут сейчас штурмовать мост. Иного выбора у них нет. Чтобы спастись, им надо перебраться на другой берег.

Коваленок повернулся к Демидову. Тот тоже следил за немцами, но, почувствовав на себе взгляд товарища, встал во весь рост и, кивнув в сторону дороги, спросил:

– Ну и что ты скажешь?

– Хреново дело, Гриша, – опустив голову, произнес Коваленок. – Не пойму, почему до сих пор нет наших. Неужели не прорвали оборону?

– Стой здесь и следи за теми, что залегли в кювете, – сказал Демидов. – А я схожу в блиндаж за гранатами. Там их еще целый ящик.

Демидов накинул на плечо ремень автомата и, нагнувшись, направился в блиндаж. Он словно почувствовал, что нагнуться надо именно в это мгновение. Из окопчика у дороги ударила длинная пулеметная очередь. Она прошла сначала над траншеей, потом пулеметчик перенес огонь на дзот. Сукачев не отвечал, и Демидов подумал, не зацепил ли его немец снова. Но пули не попадали в амбразуру.

В дзоте был полусумрак. Перешагнув порог, Демидов на несколько мгновений задержался около него и только после этого осмотрелся. На столе стояла рация, радистка сидела рядом с ней с наушниками на голове. Очевидно, ей что-то передавали из штаба полка. Сукачев стоял у пулемета, рядом с ним, припав на колено, немец набивал патронами пулеметную ленту. Увидев

Демидова, Сукачев повернулся к нему, а немец еще ниже наклонил голову.

– Видишь? – спросил Демидов, кивнув на амбразуру.

У Сукачева были туго перебинтованы грудь и предплечье левой руки. На боку и руке сквозь бинты проступала кровь. Но держался Сукачев вполне нормально, на лице не было белизны, и если бы на нем была гимнастерка, никто бы не определил по его внешнему виду, что он ранен.

– Вижу, – как-то слишком безучастно ответил Сукачев. – И не завидую.

– Кому не завидуешь? – Демидов подумал, что Сукачев имеет в виду немцев.

– Себе. Кому же еще? – ответил Сукачев.

– А я не завидую им, – сказал Демидов, глядя в широкий просвет амбразур.

– Товарищ лейтенант! – вдруг обратилась к нему Женя.

– Из штаба полка запрашивают, как у нас дела и в чьих руках находится мост.

– Кто запрашивает? – резко повернулся к ней Демидов.

– Евглевский.

– Мост в наших руках, но если не получим сейчас же подкрепления, нам его не удержать.

– Какого подкрепления? – спросила Женя.

– Хотя бы пару танков.

– Евглевский говорит, держитесь. Подкрепление будет.

Сукачев, все время смотревший в амбразуру и не слушавший разговор, нажал на гашетку. Демидов бросил торопливый взгляд на Женю, оттолкнул локтем немца и, схватив ящик с гранатами, кинулся в траншею. Там уже стреляли Коваленок с Подкозьиным. Немцы поднялись из кювета и шли в атаку сразу на оба дзота. Пулемет Гудкова бил короткими очередями, Сукачев же, наоборот, почему-то замолчал. Демидов понимал, что патронов надолго не хватит, поэтому пытаться остановить немцев за счет плотного огня не имеет смысла. Еще несколько очередей и никакого огня с нашей стороны не будет вообще.

Он выбрал немца, который был ближе всего к траншее, прицелился в грудь и выстрелил одиночным патроном. Немец продолжал идти, как ни в чем не бывало. До

того, как ворваться в траншею, ему осталось пройти всего метров сорок. Автомат при стрельбе всегда забирает выше, поэтому во второй раз Демидов прицелился немцу между ног и, задержав, как учили, дыхание, нажал на спусковой крючок. Немец, как подкошенный, рухнул на землю. «Интересно, куда я ему попал?» – мельком подумал Демидов, ловя на прицел следующего. Через несколько мгновений упал и второй. Еще одного выбили Коваленок с Подкользиным. Цепь потеряла стройность. А когда на земле оказался еще один, гитлеровцы легли на землю, не пытаясь отползти в кювет. И тут же по траншее ударил пулемет. Пули впились в бруствер, визжа, пролетали над самой траншеей. Демидов пригнулся, не понимая, почему немцу не отвечает Сукачев. Наверное, тоже бережет патроны. Но именно в это мгновение, словно услышав его, заговорил пулемет Сукачева. Он дал всего одну короткую очередь, после которой наступила неестественная тишина. Разведчики Гудкова тоже не стреляли, и сначала Демидов не понял, что произошло. Потом догадался: Сукачев срезал немецкого пулеметчика.

Он поднял голову из траншеи и увидел на поле только убитых немцев. Остальные каким-то образом успели отойти и залечь в кювет. Очевидно, под прикрытием огня своего пулемета, пока он еще работал. Демидов мысленно поблагодарил Сукачева, хотя понимал, что его короткая, но точная очередь дала разведчикам только маленькую передышку. От хутора к немцам подходила большая подмога.

Их было не сотня, как показалось вначале, а гораздо больше. Они шли открыто, не боясь попасть под пулеметный или автоматный огонь, и это только подчеркивало их отчаянную решимость. И Демидов понял, что эти немцы готовы лечь у моста все до одного или смять его разведчиков и прорваться на другую сторону. На этом берегу для них уже не было спасения.

Немцы начали стрелять еще до того, как огонь их автоматов мог серьезно угрожать разведчикам. Они не жалели патронов. Огонь был плотным и вскоре пули завизжали над бруствером, вонзаясь в него и поднимая фонтанчики пыли. А когда поравнялись с теми, что залегли в кювете,

снова заговорил их пулемет. Кто-то из наступавших заметил убитого пулеметчика.

Демидов не ощущал страха, у него не было предчувствия близкого конца. В полку его считали везунчиком, и это действительно было так. Хотя не раз приходилось попадать в такие переделки, из которых, казалось, невозможно выйти живым. Полгода назад они с Коваленком ходили в глубокий немецкий тыл. Задание было простым. Надо было наблюдать за противником, передвижением его войск, строительством линии обороны.

Сразу за позициями немцев, на краю лесной опушки, вдоль которой проходила дорога, они оборудовали маленькую землянку, хорошо замаскировали ее, и два дня вели наблюдения, нанося на карту артиллерийские позиции, расположение резервов, устанавливая порядок несения службы. Все это надо было передать в штаб армии. Но на третий день их обнаружили. К опушке леса, окружая разведчиков, выдвинулась целая рота. Кольцо окружения было таким плотным, что, казалось, сквозь него не пробиться и полевой мыши. Демидов с Коваленком, прижавшись спиной друг к другу, отстреливались до самой темноты. Немцы ждали, когда у разведчиков закончатся патроны, чтобы взять их живыми.

Ночью по дороге к линии фронта двинулась целая колонна тяжелых, крытых брезентом грузовиков. Один из них остановился в двухстах метрах от того места, где находились Демидов с Коваленком. У него что-то случилось с мотором. Дорога была узкой, и остальные грузовики начали объезжать сломавшуюся машину. Первый из них сразу же застрял в придорожной грязи. Через минуту оттуда донеслись громкие приказы и солдатская ругань. Очевидно, машину пытались вытолкать из кювета руками. Демидов молча кивнул Коваленку и они, не говоря ни слова, поползли к дороге на крики немцев. Единственная надежда была на то, что, переключив внимание на застрявшую машину, они на минуту забудут о разведчиках. Те подползли вплотную почти к самым немцам, обогнули пулемет, хозяин которого копошился у машины, сползли в кювет и забрались в кузов последнего грузовика. В нем лежали ящики со снарядами, которые немцы везли на

передовую. На этой машине они добрались до немецких артиллерийских позиций. А оттуда к утру перешли линию фронта и оказались у своих. Когда добрались до нашей траншеи, Демидов, все еще нервно поглядывая на Коваленка, произнес:

– Вот и скажи, что мы с тобой родились не в рубашках.

– Рубашки нам с тобой подарил Господь Бог, – ответил неразговорчивый Коваленок.

Сейчас Демидов непроизвольно повернул голову в тот конец траншеи, где изготовились к бою Коваленок с Подкользиным. Положив перед бруствером на край траншеи четыре гранаты, Коваленок напряженно смотрел на приближающихся немцев. Он нервно держал в одной руке автомат и походил на приготовившегося к прыжку затаившегося зверя. Подкользин, наоборот, казался спокойным. Лишь машинально поправил на голове каску, снятую с убитого немца. А затем, расставив пошире ноги и опершись локтем о край траншеи, положил на ладонь автомат и стал целиться в приближающихся немцев. Но первыми выстрелили не они с Коваленком.

Из амбразуры дзота, как и в прошлый раз, раздалась короткая очередь. И снова, как и тогда, тут же смолк немецкий пулемет. «Молодец, Сукачев, пристрелялся», – обрадовано подумал Демидов. Но это не дало разведчикам передышки. В отличие от предыдущей атаки, немцы на этот раз не остановились. Наоборот, они ускорили шаг и неотвратимым валом покатались к траншее. Первым не выдержали нервы у Подкользина. Он начал торопливо стрелять и тут же попал в одного, но это не остановило атакующих. Они шли и шли, не обращая внимания на свистящие пули.

Вслед за Подкользиным открыл огонь Коваленок. Он бил короткими очередями, тщательно выцеливая жертву, и сразу выбил из цепи двух или трех немцев, но и это не остановило их. Они вели плотный встречный огонь и, чтобы не попасть под их пули, Демидов по самый лоб вжался в траншею. Ниже опускаться было нельзя потому, что тогда он терял из виду поле боя. Он тоже начал стрелять, но после каждого выстрела опускался в траншею, поэтому не видел, попадал ли в кого-нибудь или его пули пролетали

мимо. Стрелял и Сукачев. Каждой очередью он выбивал из цепи сразу по несколько немцев, а они все шли и шли.

У дзота Гудкова начали рваться гранаты, и Демидов понял, что там немцы подошли вплотную к траншее. Он приподнялся над бруствером и в пяти метрах перед собой увидел огромного рыжего фельдфебеля, без каски, с короткими, торчащими в разные стороны волосами и автоматом у самого живота, из которого он вел непрерывный огонь. Рукава серого, замусоленного мундира фельдфебеля были засучены по локоть, обнажая крупные, сильные руки. От таких рук, если они ухватят за шею, не отбиться.

Демидова спасло то, что в первое мгновение фельдфебель не заметил его. Он стрелял по Сукачеву, который продолжал косить немцев. Демидов вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Фельдфебель повернулся к траншее и на долю секунды их взгляды встретились. У немца были светлые, небесной голубизны глаза и большие белые ресницы. Падая и продолжая стрелять, правда, уже в землю, фельдфебель смотрел на Демидова полным недоумения взглядом. Он не мог понять, откуда тот взялся и почему выстрелил. В его глазах не было ни ненависти, ни презрения, ничего такого, что в иной ситуации могло вызвать неприязнь другого человека. С этим удивлением во взгляде он и рухнул на землю.

Немцы были уже совсем рядом. Демидов торопливо нажимал на спусковой крючок, но автомат почему-то не стрелял. Раздумывать было некогда и Демидов, отшвырнув его в сторону, схватил гранату с длинной деревянной ручкой, выдернул чеку и, широко размахнувшись, бросил прямо в немецкую цепь. Затем схватил другую гранату и только после этого услышал разрыв первой. Коваленок с Подкользиным тоже начали швырять гранаты. Разрывы следовали один за другим, потом наступила тишина. Демидов осторожно выглянул из-за бруствера и увидел, что немцы побежали назад. Он машинально протянул руку к автомату, нажал на спусковой крючок, но выстрела опять не последовало. Демидов рывком отсоединил рожок, глянул в него и понял, что патроны кончились.

Еще раньше кончились патроны у Сукачева. Он бесполезно жал на гашетку пулемета, стараясь достать бегущих немцев, а когда пришел в себя и понял, что стрелять нечем, матерно выругался. Женя, съезжившись и зажав уши пальцами, чтобы не оглохнуть от стрельбы, сидела около рации. Немец тоже сел в свой угол, обхватив руками колени и уставившись взглядом в земляной пол. Он выглядел совершенно безучастным.

Сукачев следил за отступающими фашистами до тех пор, пока те не отошли к повороту дороги. Над полем боя и в дзоте установилась неестественная тишина. Хутор все также продолжал гореть, выбрасывая к небу клубы черного дыма. Дымил и броневик, остановленный разведчиками Гудкова в нескольких десятках метров от моста. Запах горелой резины и машинного масла доносился до дзота, и Сукачев только сейчас уловил его. До этого все его внимание было поглощено боем. Он внимательно наблюдал за немцами, оставшимися на поле между дзотом и дорогой. Их было около полутора десятков. Все они лежали в тех позах, в каких их свалила на землю смерть, но часто среди убитых оказывались и только притворившиеся такими. При следующей атаке они начинали стрелять, и их огонь был особенно опасен. Ведь разведчики были уверены в том, что мертвые не стреляют и не ожидали огня с этой стороны.

Сукачев неторопливо ощупал взглядом каждого немца и, как ему показалось, живых среди них не было. Когда начнется следующая атака, никто не знал, но пауза была как нельзя кстати. У Сукачева болели бок и рука, во время стрельбы приходилось сильно напрягаться. Он повернулся к Жене. На ее губах застыла настороженная извиняющаяся улыбка. Ей казалось, что она тоже должна была участвовать в бое, а не наблюдать за ним, молчаливо и отстраненно сидя у стола с рацией.

– Все, – сказал Сукачев, – отвоевались.

– Немцы ушли? – спросила Женя, и улыбка на ее лице просветлела. Ей подумалось, что самое страшное закончилось, теперь надо только дождаться, пока подойдут наши.

– Воевать больше нечем, – сказал Сукачев.

– Как нечем? – спросила Женя, оглядываясь. Ее улыбка сменилась испуганной растерянностью.

– Патроны кончились. Не видишь, что ли? – Сукачев кивнул на пустой ящик, в котором еще недавно находились ленты с патронами.

– И что же теперь делать? – Женя уже не скрывала страха. Она даже забыла о том, что на ее ремне висела кобура с заряженным пистолетом.

– Надеяться на Бога, – сказал Сукачев и, развязав свой вещмешок, достал оттуда лимонку. Подержал ее в ладони, глянул на немца и положил гранату на стол. – Есть хочешь? – он тряхнул вещмешок, в котором еще остались хлеб с салом.

– Нет, – сказала Женя.

– И я не хочу. – Сукачев сел на лавку, положил на стол локти. Вся его левая рука до самых пальцев была выпачкана засохшей кровью.

– Больно? – Женя показала глазами на забинтованную руку.

– Даже не знаю, – ответил Сукачев. – Саднит шибко. А теперь и морозить начинается.

– Может гимнастерку надеть? – спросила Женя.

– Какую? – Сукачев обвел глазами блиндаж. – Разве что с Коростылева снять?

Пробитая пулями гимнастерка Сукачева лежала у стены и была похожа на небольшую кучку хлама. Она была вся залита еще не высохшей кровью, и Жене стало неудобно за то, что предложила надеть ее. Она перевела взгляд на мертвого Коростылева, о котором вспомнила только сейчас. В пылу боя было не до него, в эти мгновения забывают и о мертвых. Ей до боли в сердце стало жаль Коростылева – сильного и улыбчивого человека, все время с нескрываемой симпатией бросавшего на нее мимолетные взгляды. Она замечала их, и ей было приятно внимание опытного разведчика. И вот теперь Коростылев закончил свою дорогу к победе у моста, который вместе с другими захватил у немцев. Гимнастерка ему, конечно, уже не нужна, но Женя ни за что не стала бы стягивать ее с мертвого человека. Тем более со своего товарища. Ей казалось это верхом кощунства.

– Потерпи немного, – пытаюсь успокоить Сукачева, сказала Женя. – Я думаю, что наши уже вот-вот будут здесь.

– Тебя как звать-то? – спросил Сукачев, осторожно перекладывая раненую руку со стола на колени. – А то уже сутки вместе, а как звать не знаю.

– Чистякова, – ответила Женя. – А что?

– Да не по фамилии, я имя спрашиваю.

Сукачев повернулся к Жене и посмотрел на нее такими глазами, словно старался разглядеть что-то такое, чего не замечал раньше. В его взгляде были и доброта, и тепло, и простое мужское любопытство, и еще много других невысказанных чувств, отчего Женя даже смутилась. Она опустила глаза и, понизив голос, сказала:

– Женя.

– А меня Костя, – сказал Сукачев. – Я из Ростова. В армию забрали летом сорок второго. Как раз перед тем, как немцы взяли город. А ты откуда?

– Из Москвы.

– Да ну? – на лице Сукачева отразилось искреннее удивление.

– Правда, – Женя исподлобья посмотрела на Сукачева, стараясь понять, зачем ему нужны эти подробности. – Сама попросилась.

– В Москве женихов, что ли, не хватает? – Сукачев улыбнулся, обнажив две белых металлических коронки на верхних зубах.

– Причем тут женихи? – Женя невольно покраснела и опустила голову еще ниже. – У меня отца и брата на фронте убили.

– Ты хоть знаешь, что их убили. А я своих родителей никогда не видел, – сказал Сукачев. – Я детдомовский.

– И никаких родных не осталось? – спросила Женя.

– Никаких. Даже жениться не успел.

– Почему? – Сукачев показался Жене таким одиноким, что ей захотелось высказать свое сочувствие хотя бы на словах. – Немцы помешали?

– Сам себе помешал, – сказал Сукачев. – Перед тем, как пойти в армию, два года в тюрьме сидел. Из нее меня и забрали. Сначала в штрафбат, а потом в разведчики.

– А за что сидел? – все с тем же сочувствием спросила Женя. – Подрался с кем-нибудь?

– Да нет, хуже, – Сукачев криво усмехнулся: – В разбойном нападении участвовал. А ты замужем не была?

Женя не расслышала вопроса. Она не могла понять, как храбрый и дисциплинированный разведчик Сукачев, тащивший на своей спине через линию фронта, а потом еще несколько километров по немецким тылам ее рацию, мог участвовать в разбойном нападении. Неужели в мирной жизни он мог совершать что-то плохое? Ведь у него такие добрые и внимательные глаза. Еще мгновение назад он так ласково смотрел на нее, что ей стало неудобно. Как же можно доверять ему после того, что он сказал? Если бы знала это раньше, никогда не пошла с ним в разведку. С разбойниками ей еще не доводилось общаться.

Женя откинула голову и еще раз внимательно посмотрела на Сукачева. Но сколько ни всматривалась, ничего подозрительного увидеть не смогла. У Сукачева было большое, круглое и с виду очень добродушное лицо. Его карие глаза смотрели открыто и ласково, не пряча в своей глубине ничего такого, что могло бы насторожить. Глядя в его глаза, ей даже казалось, что они знакомы уже давным-давно и знают все друг о друге. И то, что он сидел в тюрьме, оказалось для нее не полной неожиданностью, как вышло сейчас, а, скорее всего, неудачной шуткой.

– Замужем, говорю, не была? – снова спросил Сукачев, выводя ее из минутного оцепенения.

– Нет, – мотнула головой Женя.

– И мужика никогда не было?

– Какого мужика? – не поняла Женя.

– Обычного. Какого же еще? – усмехнулся Сукачев, и на этот раз его улыбка не понравилась ей. – С каким бабы спят.

– Я ни с кем не спала, и спать не собираюсь.

Женя вдруг вся залилась краской. Ей было стыдно поднять глаза на Сукачева потому, что еще никто никогда не разговаривал с ней о подобных вещах и таким тоном. Тем более мужчина. Ей хотелось соскочить и выбежать из блиндажа, и она бы сделала это, если бы не рация. Штаб полка мог каждую минуту запросить об обстановке у мо-

ста и она должна была немедленно ответить. Она отодвинулась подальше и еще ниже наклонила голову. Женя сгорала от стыда, и никто не заставил бы ее сейчас поднять глаза на Сукачева.

– Жалко будет если такая деваха, как ты, попадет к немцам, – сказал Сукачев и положил ладонь ей на колено.

Женя вздрогнула и, соскочив как ошпаренная, со стола, прижалась спиной к стене. Сукачев попытался схватить ее за гимнастерку, но не успел. Раны сковывали движения. Женя хотела крикнуть, но вдруг увидела немца, который с любопытством смотрел на них. В его взгляде было что-то плотоядное и ей показалось, что в это мгновение и Сукачев, и немец были заодно. Она стала судорожно шарить ладонями по стене и только тут вспомнила о пистолете. Рывком расстегнула кобуру и, положив ладонь на его рукоятку, сказала, отчеканивая слова:

– Если сунешься хоть на полшага, пристрелю!

– Вот это баба, – засмеялся Сукачев. – Не зря тебя послали с нами в разведку.

Он подтянул к себе вещмешок, достал хлеб и сало и начал есть, не глядя на Женю. Но, ощутив на себе взгляд немца, повернулся к нему. Долго и пристально смотрел на него, по всей видимости, специально делая паузу, чтобы успокоить Женю, потом спросил, показывая на хлеб:

– Есть хочешь?

Немец отрицательно покачал головой и, протянув руку к котелку, произнес: «Вассер». Сукачев пододвинул котелок к краю стола. Немец осторожно взял его двумя руками и начал пить. Пил он торопливо, большими глотками, вода, стекая по подбородку, лилась ему за отвороты френча. Очевидно, жажда мучила его давно, но испросить воды он не решался.

Женя смотрела на Сукачева и думала о том, что между ними теперь уже никогда не будет таких отношений, какие были раньше. Теперь он для нее не только товарищ по оружию, но и мужчина, который не прочь воспользоваться ей, как женщиной. И это угнетало больше всего. Даже сама мысль об этом переворачивала все ее существо. И она с горечью подумала, почему у всех женщин такая судьба. Почему их все время помогают муж-

чины, почему мужчина и женщина не могут быть просто друзьями?

Ей вспомнилось как на заводе, куда она пошла работать в самом начале войны, мастер цеха, зажав ее в углу, начал целовать мокрыми губами сначала в щеки, а потом и в губы, и пытался тискать грязной ладонью ее грудь. Все это было настолько противно, что не вызвало у нее ничего, кроме омерзения. Женя вырвалась из его объятий, отскочила на несколько шагов в сторону, презрительно плюнула и, не оборачиваясь, пошла на свое рабочее место. Больше мастер к ней не приставал.

И еще один такой же случай произошел с ней во время обучения на курсах радистов. Там к ней попытался приставать инструктор. Но Женя, уже получившая первый опыт, резко сказала ему:

– Еще раз сунешься, доложу начальству и загремишь на фронт.

Сейчас и докладывать было некому. Да и сама мысль об этом приводила в трепет. Женя не могла представить, как бы она могла смотреть после этого в глаза Глебову. Ведь он сейчас со своими бойцами пробивается к ней. Его слова: «Я хочу видеть тебя живой», – до сих пор звучали в ее сердце, как туго натянутая струна. И хотя Женя не со знавалась себе самой, но она тоже хотела видеть Глебова. И если бы он попытался поцеловать ее, она бы не отстранилась.

Снаружи снова началась стрельба, но на этот раз далекая, доносившаяся не то с передовой, не то из-за хутора. Сукачев резко отодвинул вещмешок и подскочил к амбразуре. Выглянув в нее, он сначала схватился здоровой рукой за голову, потом присел и произнес только два слова:

– Мать моя!

Женя никогда не видела его таким испуганным.

– Что случилось? – спросила она, но Сукачев не ответил.

Женя уже сделала шаг, чтобы подойти к амбразуре и самой выяснить обстановку, но вдруг увидела, как в ее просвете показалась граната на длинной деревянной ручке, затем раздалась автоматная очередь, граната выпала, ударилась о край амбразуры и взорвалась. Чудовищ-

ная сила бросила Женю на стену, она почувствовала как острая, жгучая боль пронзила бок, ей сразу стало трудно дышать и она, скользя вдоль стены, опустилась на землю. Ни Сукачева, ни пленного немца она не видела, взрыв затмил все. А в амбразуре вместо гранаты свешивалась изуродованная, окровавленная рука в немецком френче.

Ни Демидов, ни Коваленок не заметили, как этот немец подкрался к дзоту. Они перестали следить за рекой потому, что гитлеровцы атаковали с фронта. А когда их атака не удалась, разведчики были озабочены тем, как запастись патронами. Демидов сам сползал к убитому им фельдфебелю и забрал у него из подсумка два полных рожка. Заодно прихватил и автомат фельдфебеля.

Спрыгнув в траншею, он кинул один рожок Коваленку, а автомат фельдфебеля с неполным рожком передал Подкользину. Затем занялся своим оружием. Именно в этот момент немец, пробравшийся по берегу реки, подполз к дзоту. Атакующие понимали, что пока у разведчиков работает пулемет, отбить мост и снова завладеть переправой не удастся. Подкользин увидел немца, когда тот уже приготовился бросать гранату в амбразуру. Он выстрелил, почти не целясь, но очередь прошла лазутчика. Граната выпала из его руки и тут же взорвалась.

Услышав рядом с траншеей неожиданный взрыв, Демидов вскочил, пытаясь выяснить, что произошло. А когда увидел у амбразуры немца, понял, что теперь они остались без пулемета. О том, что у Сукачева кончились патроны, он не знал. Как не знал и о том, остались ли живы после взрыва Сукачев и радистка. Он уже сделал шаг в сторону блиндажа, чтобы выяснить это, но его остановил Коваленок.

– Гриша, ты посмотри, что там делается! – крикнул он, показывая рукой в сторону хутора.

От линии фронта по дороге и по обе стороны от нее катилась черная лавина. Наши прорвали борону, и немцы бежали, пытаясь любой ценой проскочить на другую сторону реки. Не было сомнений в том, что эта лавина сметет все на своем пути. Остановить ее могла только хорошо организованная оборона с артиллерией и инженерными сооружениями. У разведчиков же кроме автоматов да не-

скольких гранат ничего не было. Но эта мысль посетила Демидова лишь мимолетно. Первое, о чем он подумал, это то, что еще до тех пор, пока немцы докатятся до моста, он успеет помочь Сукачеву, если тот ранен. И, оставив автомат на бруствере, кинулся в блиндаж.

В первое мгновение Демидов не узнал его. Рация была перевернута и искорежена осколками гранаты. Радистка лежала у стены и хрипло сипела. Сукачев прислонился окровавленной головой к пулемету и, похоже, не дышал. Немец тоже был ранен и смотрел на Демидова глазами, полными невыносимой боли. Демидов подскочил к Жене, взял ее за руку и спросил:

– Живая?

Она чуть приоткрыла глаза и тут же закрыла их. Демидов увидел большое кровавое пятно на ее правом боку.

– Держись за меня, – сказал Демидов и, приподняв Женю, посадил ее на стол. Затем начал снимать с нее гимнастерку.

– Не надо, – сказал Женя, вялым движением пытаюсь оттолкнуть его.

Но Демидов убрал ее руку и стянул окровавленную гимнастерку. Лифчик был разорван и тоже окровавлен. Когда Демидов снимал его, Женя уже не сопротивлялась. От потери крови она впала в полузабытье. Осколок гранаты вошел в бок рядом с правой грудью и, по всей видимости, засел в легком. Женя тяжело дышала, на ее губах появились кровавые пузырьки. Рана сильно кровоточила. Демидов разорвал индивидуальный пакет, достал марлевый тампон, наложил его на рану и начал туго бинтовать. Женя открыла глаза и попыталась снова оттолкнуть его. Ей было неудобно, что Демидов не только видит ее обнаженную грудь, но и дотрагивается до нее руками. Но он сказал тихо и повелительно: «Сиди и не двигайся!» – и она перестала сопротивляться.

Перебинтовав, он надел на Женю ее окровавленную гимнастерку и подошел к Сукачеву. Положил руку на шею, стараясь нащупать артерию, и сразу почувствовал удары пульса. Сукачев тоже был жив, хотя и находился без сознания. Осколок гранаты попал ему в голову. Демидов топорливо начал перевязывать и его и в это время услышал

шум моторов. Он выглянул в амбразуру и увидел танки, которые на полной скорости неслись по дороге к мосту. Немцы разбегались от них, но все также плотной массой двигались к реке. Танки были наши, и Демидов понял, что вместе с ними пришло спасение.

Перевязав Сукачева, он осторожно положил его на пол и скосил глаза на немца. Тот лежал на земляном полу, вытянув окровавленные ноги и сложив на груди руки, и был похож на мертвеца. Почувствовав на себе взгляд Демидова, немец медленно открыл глаза. Демидов достал из кармана упакованный в вощенную бумагу бинт, бросил его немцу и вышел из блиндажа.

Танки, разрезав отступающих гитлеровцев на две части, вышли к мосту. Два из них, съехав с дороги, развернулись и направили свои пушки на немцев. Остальные по одному, громыхая и раскачивая понтоны, перебрались на другой берег и тут же начали стрелять. Очевидно, с той стороны к передовой шло подкрепление. Но было уже поздно. К мосту на «студебеккерах», не обращая внимания на немцев, ехала пехота. Те сначала двигались за ней, потом остановились. Демидова удивило, что с немецкой стороны не прозвучало ни одного выстрела. По всей видимости, они уже поняли, что обречены.

Первая группа немцев, не доходя до моста, остановилась между дорогой и траншеей рядом с поляной, где лежали убитые. Они словно боялись перешагнуть через них. Разведчики, поднявшись во весь рост, следили за их действиями. Несколько немцев опустили на землю. Двое из них, вытянувшись, легли на спину, остальные сели, обхватив колени руками. По всей видимости, они были ранены или выбились из сил, убегая с передовой. Потом, как по команде, сели все остальные.

– Я пойду к ним, – сказал Демидов и одним рывком выскочил на бруствер.

Взяв на изготовку автомат, он медленным шагом двинулся вперед. Коваленок с Подкозьиным с напряженным вниманием следили за ним, готовые тут же открыть огонь, если кто-то из немцев начнет стрелять. Но они не стреляли. Демидов подошел к сидевшим, жестом поднял одного на ноги и так же жестом приказал ему собрать оружие и

сложить в кучу шагах в десяти от группы. Тот молча выполнил приказание. Оружие было не у всех, некоторые бросали его во время бегства.

А через мост на другую сторону реки все шли и шли наши войска. Между «студебеккерами», тянувшими пушки, Демидов увидел два «виллиса». Не доезжая до моста, они развернулись и направились к дзоту. В первой машине рядом с водителем сидел командир полка Глебов, сзади примостились трое автоматчиков. Во второй машине ехали особысты. Увидев Демидова, Глебов приказал свернуть к нему, а, подъехав, выскочил из машины, не дожидаясь, пока она остановится. Подбежав к Демидову, сначала обнял его, затем, пожимая руку, сказал:

– Молодец! Все-таки удержал мост. Ты знаешь, скольких людей ты нам спас? – Он снова обнял Демидова, прижимаясь к его колючей, небритой щеке. – Век тебе этого не забуду.

И Демидов понял, что прорыв немецкой обороны недешево обошелся полку. Если бы еще пришлось брать мост, потери бы возросли в несколько раз. На войне каждая победа добывается кровью. «Когда же она кончится?» – с горечью подумал Демидов, оглядывая поле, на котором лежали убитые немцы. Сейчас ему было жалко и их.

Глебов тоже обернулся, словно ища кого-то. Потом, повернувшись к дзоту, спросил:

– А где остальные?

– Коростылев убит, – сказал Демидов. – Коваленок с Подколызиным живы. Остальные ранены.

– А Женя? – не произнес, а выдохнул Глебов, и Демидов почувствовал в его вопросе и страх, и боль одновременно.

– Ранена, лежит в блиндаже. – Демидов опустил голову. – А что у Гудкова?

– Сейчас поедем к Гудкову, – сказал Глебов и приказал шоферу возвращаться на дорогу и останавливать первую санитарную машину. А сам вместе с автоматчиками бегом направился к блиндажу.

Женя сидела на земляном полу, свесив голову и привалившись левым боком к стене. Лицо ее было бледным и покрыто испариной. Женя тяжело дышала. Глебов схватил ее на руки, осторожно прижал к себе, уткнулся лицом

в рассыпавшиеся волосы. Ему казалось, что еще никогда в жизни у него не было никого дороже этой девушки. Он осторожно вынес ее из блиндажа, приказав автоматчикам вынести Сукачева.

– А что делать с пленным? – спросил один из автоматчиков, показывая на раненого немца.

– Отведите его к тем, что сидят у дороги.

Женя открыла глаза и впервые за последние сутки увидела над собой солнце. Оно поднялось из-за реки и освещало наших солдат, двигавшихся через мост на другой берег, туда, куда переместился бой. Для нее он уже закончился. Глядя на солнце, она поняла, что будет жить. Да и как не жить, если ее нес на своих руках к стоявшей на обочине дороги санитарной машине командир полка Глебов. Она хотела крепче обхватить его рукой за шею, но не могла пересилить боль, которая не давала даже пошевелиться. Но ей все равно было хорошо.

Пока грузили раненых, к санитарной машине подошел Демидов. Особисты уже построили пленных в колонну и погнали их в тыл. Демидов хотел помочь санитарам, но Глебов сказал:

– Здесь они управятся без тебя, а ты собери своих мертвых. У тебя погиб Коростылев, а у Гудкова трое. Все остальные ранены. Командир дивизии приказал всех представить к награде, а тебя, как и обещал, – к Золотой Звезде.

Но Демидова не обрадовало это сообщение. Он чувствовал невероятную усталость, охватившую все тело. Не хотелось ни говорить, ни думать. Было одно желание – упасть на землю и заснуть. И еще одно мучило его. Коростылев просил написать письмо жене, если вдруг погибнет. Она осталась одна с тремя детьми. Он словно предчувствовал свою смерть. Но как сообщить семье эту страшную новость, Демидов не знал. Где найти слова, которые могут успокоить вдов и сирот? Да и есть ли они в человеческом словаре? Сгорбившись и опустив голову, Демидов побрел через дорогу к другому взводу, где его поджидал Гудков. Демидов заметил, что его левая рука была перебинтована до локтя и висела на перевязи.

А войска, громяхая по настилу моста, все шли и шли туда, где рвались снаряды и продолжался бой.

ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ШЕВЧЕНКО

Родился 20 октября 1922 года в селе Рашевка Полтавской области Украины. В 1940 году окончил среднюю школу в городе Гадяч.

Великая Отечественная война застала В.С. Шевченко на Дальнем Востоке, где он служил в кавалерийских войсках. Закончил ускоренное военное училище в городе Комсомольске-на-Амуре, занимался подготовкой и отправкой на фронт маршевых рот. В 1945 году участвовал в военных действиях против японских милитаристов. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

После увольнения в запас приехал на Алтай. В 1965 году заочно окончил Бийский педагогический институт. Работал в газете «Бийский рабочий», городской телестудии, собственным корреспондентом краевой газеты «Алтайская правда» по городу Бийску, редактором республиканского книжного издательства в Ташкенте (1969–1977).

В течение почти 20-летней службы в армии печатался в военной периодике. Автор книг прозы и поэзии «Когда воскресают солдаты», «Соленые тропы», «Последний тайфун», «Земное напряжение», «Все неповторимо», «Напряжение», «Гнездо ветров», «Какого цвета счастье» и других.

Удостоен премии Союза журналистов Узбекистана за книгу «Когда воскресают солдаты», лауреат алтайской краевой литературной премии им. В. М. Шукшина за сборник стихов «Какого цвета счастье».

Член Союза писателей СССР с 1977 года.

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНИЙ ТАЙФУН»

В ДЕНЬ ШТУРМА

Когда душа растревожена, оглушена, тогда и память, как вода в решете: вроде и была она, и нет ее – только влажный след на траве. Попробуй потом определи, сколько чего ушло в песок...

Олег никак не мог вспомнить лицо штабного майора, подорвавшегося на mine. Зато сумасшедший рывок конного разведвзвода врезался крепко, прошелся по памяти, как резец по камню. Обошли заминированную дорогу и рванули, понеслись по холмистой земле сквозь свинцовую свистопляску и орудийный грохот в район взорванных мостов.

Разгорячив коня, Олег не заметил, как обскакал разведчиков безоглядным наметом. Он хорошо видел арку над железобетонным мостом, три наших танка на том берегу и потому нисколько не сомневался в том, что по ту сторону уже наши...

Если бы не эти танки, он наверняка не решился бы опрометчиво сунуться под арку, влететь на мост. Но он не оглянулся. А разведвзвод за его спиной по команде «коней в укрытие!» скрылся за стайкой затопленных фанз.

И все-таки отрезвление должно было прийти, и оно пришло – перед проломом в железобетонном пролете, когда пришлось резко осадить коня. Мысль заработала теперь четко. Мгновенно определил, что танки наши – мертвы, а японская артиллерия все еще бьет по мосту, долбит предмостную насыпь. Угрожающе повизгивают пули над местом сорванной переправы. Передовой отряд корпуса если и сумел частью своих сил прорваться, проскочить через мост, то тут же и поплатился за это... Несколько наших машин только подтверждали догадку, дымясь на той стороне. Уцелевшие танкисты, поди, удерживают подход к мосту, ждут подмоги.

Конь отчужденно захрапел перед проломом. И было отчего: японские подрывники сделали свое дело. Правда,

только не довели его до конца: дыра была, как говорится, не смертельной. Олег успел заметить ребристые прутья стальной арматуры под жиденьким настилом и солдата – одного из тех, кто с этими досками здесь, под огнем, возился. Наш боец лежал на животе, голова его свисала между досок, словно любовался он мутноватой зыбью реки. Остальных, кто лал эту прореху, унесла, наверное, взрывная волна.

Олегу только сейчас шибануло в нос гарью жженого металла – продолжали чадить танки. Раздумывать было некогда, советоваться не с кем. Мост на крепких быках крупно вздрагивал, а доски над арматурой подпрыгивали, как живые. «Бьют справа, значит, за аркой влево подамся: насыпь прикроет», – сообразил Олег.

Он развернул коня, и тот проворно и легко в два прыжка проскочил мимо пролома, миновал затем массивную кирпичную арку на излете моста и, повинуясь всаднику, начал спускаться по склону предмостной насыпи мимо все еще чадящих «тридцатьчетверок». Разорванные траки ближней машины поблескивали поперек дороги. Почти вплитык к первому стоял второй, и рядом – третий танк... Конь не кинулся очертя голову вниз, а засеменял наискосок по склону насыпи, смягчая его крутизну.

Поравнявшись с первой из подбитых «тридцатьчетверок», Олег невольно вздрогнул: пуля вжикнула у самого уха. Вторично оглянулся, когда пуля шевельнула на голове пилотку. Явственно была слышна барабанная дробь свинцовых поклевков о закопченную броню. По характеру рикошетов от предмостной арки определил: бьют с той стороны, куда он со своим конем суется. По нему бьют...

Но оглядываться было уже поздно, пятиться некуда. Пули сердито гундели совсем-совсем рядом. Вот уже и очередная слегка обожгла плечо, располосовала правый погон. «Снайперская работа. Поди, в башку метят...»

Эта догадка будто подстегнула Олега. Соскочил с лошади, проворно, не выпуская поводьев, рывком нырнул вниз, к подножию насыпи. Конь смелее рванулся вслед за человеком, съезжая кое-где на подогнутых ногах. Так и добрались они до ровного пустынного клочка земли, упирающегося одним концом в реку, другим – в кукурузное поле. Сочные стебли вымахали возле воды почти в полто-

ра человеческого роста. Они-то на время и заслонили Олега от снайперского oka.

Прижался к земле, чтобы оглядеться, увидел, что конь тоже ложится, опускается на передние ноги. Не поверил своим глазам: неужели ученый? По-пластунски подполз к умному животному и... заметил перебитую пулей шпагатику на веревочной подпруге трофейного седла. Конец ее болтался против лошадиного сердца... Крови под конем почти не было: запеклась. Подумалось: на учебном полигоне, при стрельбе по силуэту например, подобная меткость японско-го стрелка прошла бы по высшему баллу.

А рядом – ни души. Только стена кукурузы с одной стороны да река с другой. В любой момент можно получить из засады и нож в спину, и пулю в лоб. Стало неуютно одному, потянуло к людям. А они – свои! – должны быть на той стороне предмостной насыпи. Олег не сомневался в этом, как и в том, что разбудит он еще себе коня у разведчиков. Значит, седла нельзя оставлять...

Он стянул седло с убитого коня, ухватился за широкую пряжку подпруги с крепким кожаным ободком (в кожу были дратвой вшиты все десять шпагатинок), настороженно огляделся перед броском. В это время и споткнулся глаз о малоподвижные фигуры под самым мостом. Зелеными пятнами липли они к массивным железобетонным быкам, заглядывали под фермы, объяснялись между собой жестами и были почему-то обвязаны широкими массивными поясами.

«Наверное, саперы. Разминируют», – взбодрила догадка и будто обострила зрение Олега. Только теперь он заметил вихляющую нить хорошо замаскированных окопов на стыке береговой линии и кукурузного поля. Подполз еще ближе, наткнулся на убитого японца и наконец-то сообразил: сегодня тут шел бой. Русские ребята из передового отряда удерживали подходы к мосту до последнего. Теперь они лежали недвижимые в густой траве.

«Рановато уходить! Надо прикрывать тех, кто под мостом», – по-новому оценил обстановку Олег и переметнулся в одиночный окопчик. Почувствовав себя увереннее, огляделся еще раз и не сразу поверил глазам своим: под мостом копошились не советские саперы, а японские смертники. На

каждом висел тяжелый толовый пояс. «Да это они, «живые снаряды»... И не случайно облюбовали всего одну ферму, стягиваются в одну точку. Чтобы наверняка... Нельзя им позволить собраться! Доконают же мост!»

С этого момента Олег уже не думал ни о медпункте, которым пренебрег, ни о седле, ни о кукурузном поле, из которого действительно можно было ожидать любого подвоха. Он вскинул автомат и одиночным огнем стал деловито вышибать из-под моста японских смертников. Когда плюхнулся третий по счету «толовый мешок», огонь по ним открыли с другой стороны предмостной насыпи. «Значит, действительно там свои!» – обрадовала догадка. От огня товарищей, которых Хуторенко из-за насыпи не мог видеть, бултыхнулось в реку еще несколько «мешков». Олег хотел было сосчитать уцелевших, но не успел: рвануло...

Когда рассеялся дым, стало ясно, что мост все же устоял, выдержал. Взрывная волна начисто слизала лишь смертников. Зря старались...

Ниже закопченных пятен и стреловидных полос на теле моста поверх вскипевших водяных бугров всплыла стайка дохлых рыбешек. И всё.

Стало почему-то муторно одному среди мертвых. Покоился на насыпь, решил все же перемахнуть через нее. И про седло не забыл, подхватил за подпругу, рванулся изо всех сил и юзом поволок его за собой, петляя, чтобы не угодить на мушку японского снайпера. Сгоряча, на одном дыхании взлетел к подбитым машинам. Когда огибал закопченные танки, явственно слышал суматошный стукоток свинцовых горошин о броню. Седло при этом волочило за ним, поднимая пыль.

– Эй, сюда давай! Сюда рули! – донесся снизу хрипловатый голос.

Тот, кто окликал, был в шлеме. «Танкисты из подбитых машин... Держат оборону», – подтвердилась догадка.

Олег прыгнул в свеженькую, еще дымящуюся воронку и столкнулся носом к носу с Васей Огневым.

– Живой! Они же тебя за смертника приняли с этой «бандурой», – не то с упреком, не то с восхищением проворчал Огнев, тыча пальцем в седло. – Это черт знает что!

– Седло – мое спасение... Коня потом раздобуду.

Олег едва узнал Васю: обгорелая челка, чумазое лицо, прожженный в нескольких местах комбинезон. Оказывается, его танковый батальон был брошен (за несколько часов до штурма) на усиление передового отряда. Среди подбитых и его танк...

– Зачем гарцевал на мосту? Глупо действовал, – донесся из соседнего окопа сердитый голос лейтенанта Ложечкина. Когда и как лейтенант со своим спешившимся взводом проскочил сюда, Олег не заметил.

– Не глупо, а рискованно! Главное, вовремя подоспел... – возразил разведчику Огнев.

– При чем тут я? – вспыхнул Хуторенко. – На той же стороне насыпи никого нет. Дыра в обороне. Прикрытие бы туда... Обязательно!

Олег это говорил Огневу, но засуетился Ложечкин со своими бойцами. В считанные минуты с двумя отделениями предводитель разведчиков перемахнул через насыпь. Свое третье отделение оставил на месте.

Хуторенко облегченно вздохнул, кивнул в сторону насыпи:

– Твои танки?

Вася поморщился:

– Были танки...

Тем временем японцы засобирались в контратаку.

– Похоже, опять шевелятся... – доложил наблюдатель.

Все, кто оборонял мост, насторожились.

– Верно! – подтвердил Огнев, прильнув к биноклю. – Ну подходи, подходи, кому к богу в рай охота...

Олег поглядел в ту сторону и увидел довольно шустрых японских солдат. Знакомая картина: сейчас они залягут, потом повскакивают, завопят «банзай!», потом...

– Без команды не палить! – предупредил Огнев, когда передние рванулись в атаку.

Поднявшись на колени, чтобы лучше видеть атакующих, Олег выплеснул короткими очередями весь диск. Патронов он не жалел. Увлечшись, не заметил, как подошло подкрепление – на мосту показались танки. С ходу ударили они из пулеметов и орудий.

Японцы, будто споткнувшись, прижались к земле. Многие так и остались на ней. Остальные, попятившись, распознали по окопам.

Низко прошли ИЛы, взрывы потрясли землю. Дымные султаны с треском дыбились над Муданьцзяном.

– Вперед!

Но что такое человеческий голос среди орудийного грохота, гусеничного лязга, гула самолетов в небе и бомбовых сотрясений на земле?

Все тонуло в этом вихре...

Назревал разгар штурма.

Если бы в этот день и час Олег мог обозреть все поле боя, то увидел бы, что вслед за внешним оборонительным обводом Муданьцзяна дрогнул кое-где и его внутренний оборонительный обвод.

Прочные предместные укрепления, превратившие в опорные пункты каждую мало-мальски заметную «кочку» на восточном берегу реки, были смяты одновременно в нескольких местах. Три линии траншей, в пять колеьев «колючка», заминированные дороги, противотанковые рвы, угловатые железобетонные доты, густая россыпь дзотов вдоль берегов – ничто не задержало наших «тридцатьчетверок».

К девяти ноль-ноль две танковые бригады во взаимодействии с пехотой взяли станцию Эхэ. Передовые подразделения с ходу начали переправу в районе взорванных мостов. Через бетонный мост пошли даже танки после того, как саперы подлатали пролом.

Остановить наступающих было уже трудно. Но замедлить, сбить темп нашего напора все-таки удалось главной группировке квантунцев, оборонявшей город*.

Когда стало очевидным, что взятие города подзатянулось, маршал Мерецков повернул на штурм Муданьцзяна корпус соседней 5-й армии. Этой же армии предстояло частью своих сил обойти город с юга и двинуться на соединение с войсками Забайкальского фронта.

Не бездействовали и японские военачальники – искали способ любой ценой удержать Муданьцзян. Решили срочно сколотить из смертников живые, подвижные противотанковые минные поля и заслониться ими на решающих участках.

* В боях за г. Муданьцзян только убитыми противник потерял около 40 тысяч человек.

Особенно возросло напряжение вокруг моста. Только подавив наконец вражескую артиллерию в этом районе, прорвавшиеся танки смогли развернуться на захваченном плацдарме и ударить по тылам тех, кто непосредственно оборонял город. Справа от танкистов дымились окраины Муданьцзяна, слева упорно огрызались те японские части, которые засели в опорных пунктах вдоль укрепленного берега. После нашего прорыва в их тыл они уже не могли все-ръем помешать нашим войскам форсировать реку.

Сразу в нескольких местах (от станции Хуалинь до Эхэджаня) на массивных плотях и с помощью легких подручных средств хлынули вплавь наши стрелковые части.

Батальон капитана Балабаша лишь к десяти ноль-ноль пробился к месту переправы – южнее взорванных мостов. К этому времени боевые машины двух танковых бригад, действующие вместе с нашими стрелковыми частями, вышибли противника из пригородной станции Эхэ и изрядно потрепали позиции внешнего оборонительного обвода японцев. Позади остались вдавленные в землю орудия и пулеметы, развороченные бронированные колпаки дотов, смятые проволочные заграждения, обойденные минные поля, преодоленные противотанковые рвы... Впереди плескалась река. Вздутая после ливней, она была мутной и казалась взъерошенной, злой. Отчаянно огрызался тот, противоположный, берег.

Лейтенант Плотников, глядя на солдат, отрыл и себе неглубокий окоп в прибрежном кустарнике. Ему подсоблял сержант Ильин. Пока вгрызались в грунт, Яша вспомнил об Олеге Хуторенко – искусном мастере вязать плоты.

– Знать бы где теперь наш лейтенант со своей раненой ногой...

– Не дошел он до медсанбата. Сам узнавал, – неожиданно разоткровенничался Плотников.

– А почему молчали, товарищ лейтенант? – с укором спросил Ильин.

– Не хотелось расстраивать... Да и нам здесь не легче: с нашими вьюками только нырять сподручно...

Очень близко ухнул разрыв очередного снаряда. Перелет. Еще разрыв...

– Плот надо сооружать, – поднял голову Плотников и по-манил к себе сержанта Ильина.

– Будет плот, товарищ лейтенант. Вон оно, наше «корыто», наш ковчег, – и сержант показал на почерневшую от времени бревенчатую будку. Кто ее срубил, для какой надобности – разбираться было недосуг.

– Ломик бы раздобыть, пару топоров...

Выручили, однако, сами японцы, угодив снарядом в угол халупы. Взрывом ее перевернуло, разворошило, растрясло.

Минометчики стали подтягивать к берегу спасительные бревна, торопливо растащили все, что способно было держаться на воде.

Плот соорудили в два счета и не кое-как... Выкладывались из последних сил, пока спустили на воду. Там, прикрываясь густыми камышами, крепко приторочили к бревнам минометные вьюки, громоздкие вещмешки.

Остальные в это время тоже готовились к переправе: старательно набивали сухотравьем плащ-палатки, потуже зашнуровывали их, чтобы меньше набухали в воде, надежней держали...

Трудились ребята до пота. О готовности переправляться Плотников доложил капитану Балабашу.

– Жди! – с напряженной сдержанностью ответил ему комбат. – В небо гляди, сейчас начнется...

И действительно началось...

Вначале все содрогнулось вокруг, когда над головой пронеслись наши бомбардировщики. Заход за заходом, не спеша кружились они над укреплениями внутреннего оборонительного обвода, оглушая землю бомбовыми ударами. Город затянуло дымом. Он поднимался все выше, наводя на цели штурмовиков; которые показались над укреплениями японцев вслед за бомбардировщиками.

Смертельным гребнем прочесывали они высокий, еще не взятый левый берег. Под таким огневым прикрытием веселее заработали и те наши саперы, которые устанавливали в это время паромную переправу в районе Эхэджана – в трех километрах южнее города. Именно она должна была выдерживать тяжесть нашей тяжелой техники, особенно танков.

И они вскоре появились, лязгая гусеницами и поднимая пыль от самой станции Эхэ до берегового среза.

Танки шли вдоль берега к парому. Наши артиллеристы прямой наводкой ударили по ожившим огневым точкам на том берегу. Под эту «музыку» сразу в нескольких местах и начала переправляться пехота.

Спротивление с противоположной стороны постепенно стало ослабевать. Особенно после того, как с тыла ударил по обороняющимся передовой отряд корпуса.

Ни Плотников, ни Ильин не могли, разумеется, и предполагать, что (вместо больничной койки) лейтенант Хуторенко раньше их оказался на той стороне, в самом пекле...

Олег покинул воронку и переметнулся в окоп к Васе Огневу. Тот в это время говорил с кем-то по рации.

– Чему радуешься? – поинтересовался Олег, когда Вася снял наушники.

– Полный порядок! Наша берет! Всем на броню! – И Огнев первым вылетел из окопа. За ним по склону насыпи, на которой уже показались наши танки, кинулись и остальные.

За мостом, там, где насыпь сходила на нет, упираясь в мунданьцзянские окраины, вновь вспыхнула ружейно-пулеметная перепалка. Над открытым пространством между еще не взятым городом и рекой клубилась после бомбежки пыль, полз по обожженной земле тяжеловатый чад. С предмостной насыпи высокого левого берега Олегу было видно, как на плотках, лодках, подручных средствах и по парому устремились с правого берега на левый войска 1-й Краснознаменной армии. Трудно шла переправа, кое-где все еще огрызался враг... Значит, нужно поощутимей ударить по тылам левобережного оборонительного обвода японцев, помочь ребятам. В передовом отряде это понимали все. У Олега же была и другая забота: соединиться именно здесь, на переправе, со своим батальоном. И он без колебания взобрался вслед за Васей Огневым на самую шуструю, как ему показалось, «тридцатьчетверку».

Командовал танком старший лейтенант Дудкин.

...Прижавшись к башне, бойцы задыхались от густой пыли, пропахшей перегаром солярки. Временами машины делали рывок, и тогда в душных завихрениях взлетали к небу ключья пережеванной гусеницами травы.

Казалось, ничто не могло остановить эту грохочущую лавину.

Танк, на котором Олег с десанниками врезался в боевые порядки ближайшего опорного пункта квантунцев, уже начал было утюжить вражеские окопы, когда стало ясно, что противник предпринял отчаянный контрманевр. Душа противилась верить собственным глазам. Но это был не мираж: около двухсот смертников, перегородив путь танкам, ползли по траве в громоздких толовых поясах. Живое, подвижное, противотанковое минное поле! Так вот до чего они дожили, сыны человеческие?! Прокопченные духом бусидō, прижатые к земле грубой муштрой, в своем сероватом одеянии люди показались Олегу стаей дрессированных овчарок. Как четвероногих и перестреляли их танкисты – из пулеметов, десантники – из ППШа. Однако, даже мертвые, смертники оставались минным полем. И тогда передовой отряд развернулся вправо и пошел на таран городских окраин. Следом, прямо с переправы, двинулись в прорыв танковая бригада и стрелковые части, уже форсировавшие реку.

Завязались уличные бои.

Вместо двенадцати только к пяти часам дня удалось овладеть Муданьцзяном...

В ШТАБЕ ФРОНТА

Прошла без малого неделя с начала войны, а о майоре Хуторенко словно забыли в штабе фронта. Тем временем наши войска, имея на всех направлениях сильные передовые отряды, почти в три раза быстрее, чем планировалось в штабах, прорубались сквозь вражеские оборонительные заслоны.

Напор наших фронтов, а также армии Монгольской Народной Республики с нарастающим ускорением сжимал кольцо окружения вокруг квантунского воинства. Рухнули семнадцать японских укрепрайонов вдоль наших границ. Оказались разобщенными целые японские армии. Дрогнули полки правителя Внутренней Монголии князя Дэ Вана, потеряли боеспособность армия Маньчжоу-Го и войска Суйюаньской армейской группы.

Замкнуться кольцо окружения должно было в Чанчуне, где располагался штаб Квантунской армии.

Степан Мефодьевич сразу почувствовал, что эта война не затянется на долгое время, потому решил без промедления, любой ценой, под любым предлогом вырваться в одну из действующих армий. Своими глазами хотелось видеть, как вместе с крахом Квантунской армии будет гаснуть и агонизировать война – этот чудовищный, возможно, последний тайфун на планете...

Моросил нудный дождь в то утро. Свежесрубленный домик маршала Мерецкова ничем не отличался от других, но все здесь двигалось и вертелось именно вокруг него.

Майор распрямылся над ручьем, в котором по утрам умывался, и увидел группу генералов. Они торопливо пересекли поляну и скрылись за массивной дверью штабной избышки. Следом туда же подходила группа офицеров. Среди них майор Хуторенко узнал своего начальника и друга полковника Забегина.

– Что-нибудь случилось? – насторожился майор.

– Кажется, да... – Забегин задержался у двери, приглушил голос. – Маршал Василевский на подлете. Жаль, разминемся мы с ним...

– Ничего не понимаю. Извини!

– Сейчас поймешь. Вперед! – И полковник пропустил майора впереди себя. Пока рассаживались и ждали маршала Мерецкова, Забегин торопливо забубнил собеседнику в самое ухо:

– На фронте осложнения. Слышал? Японцы в глубоком тылу роют окопы и убежища, уничтожают склады, документы. Приказано позаботиться о десантах. В первую очередь на Харбин...

– Откуда известно?

– Спрашиваешь! Доверили, представь, именно мне командовать харбинским десантом. Подчинен генералу Шелахову. Ищем подходящего переводчика. А чего его искать? Или ты китайскую грамоту зря одолел?

– Я и с японской в ладу, а что толку?

– Тем лучше! Беру тебя – ты способен это понять?!

Маршал Мерецков появился из боковой двери без головного убора с тонкой папкой в руках. Он прошел мимо карты, остановился возле стола и оглядел присутствующих.

– Четырнадцатого августа, – неторопливо заговорил командующий, – японское правительство сообщило правительствам США, Советского Союза, Великобритании и Китая, что император Японии Хирохито издал рескрипт о принятии условий безоговорочной капитуляции. Он благоразумно призвал своих подданных «строжайшим образом воздерживаться от выражения эмоций», избегать «ненужных осложнений» и не впадать «в братоубийственную смуту». Любопытен финал этой речи. Я цитирую: «...пусть весь народ живет единой семьей от поколения к поколению, будучи всегда твердым в своей вере в вечность своей священной земли, памятуя о тяжком бремени ответственности и долгой дороге, которая лежит перед ними. Объедините все силы для строительства будущего. Укрепляйте честность, развивайте благородство духа и напряженно работайте с тем, чтобы увеличить великую славу империи и идти рука об руку с прогрессом всего мира».

Вполне, как видите, благоразумная речь. Однако не о капитуляции мы услышали на второй день, а о милитаристском путче в Токио. В ночь на 15 августа поступил телеграфный приказ японским войскам: «Знамена, портреты императора, императорские указы и важные секретные документы немедленно сжечь». До этого, правда, у них не дошло. Путч подавлен. Но самурайские амбиции в войсках сильны. По всей Японии свирепствует на этой почве эпидемия самоубийств, особенно среди высших чинов. Покончили с собой военный министр Анами, бывший премьер-министр Канозэ, член Высшего военного совета генерал-лейтенант Синодзука, военный атташе в Швейцарии Окамото и кое-кто из министров только что павшего кабинета Судзуки.

Странно ведет себя командующий Квантунской армией генерал Ямада. Он до сих пор не принимает никаких мер для связи с нами. Между тем не далее как вчера с участием американских дипломатов между Чан Кайши и генералом Окамурой* уже начались переговоры. О чем бы вы думали?! О сотрудничестве в поддержании порядка в Китае и о совместных действиях против вооруженных сил КПК... Каково?! Вы понимаете теперь, почему японские соединения рвутся

* Командующий японской экспедиционной армией в Китае.

на юг, где возможна весьма своеобразная капитуляция: поражение без сдачи в плен?

Наша задача – молниеносно организовать десанты и парализовать противника на большую глубину. Телеграмма товарища Сталина и приказ Ставки уже получены на этот счет. У меня все. Вопросы?

Маршал распотрошил пачку «Беломора», постучал мундштуком папиросы по ногтю.

– Тогда у меня вопрос. Что сделано, Георгий Акимович, по десанту на Харбин?

Поднялся генерал-майор Шелахов, облизал сухие полные губы.

– На аэродроме, товарищ командующий, заканчиваются последние приготовления. Время вылета...

– Знаю! – перебил Шелахова Мерецков. – Время вылета мы поставили в зависимость от ответа на нашу радиограмму, адресованную командующему Квантунской армией. Прошу огласить ее текст, – повернулся он в сторону члена Военного совета фронта.

Генерал-полковник Штыков понимающе кивнул и распахнул лежавшую перед ним папку. Текст радиограммы выслушали молча. Вот он.

«Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу советских войск на Дальнем Востоке с предложением прекратить военные действия, причем ни слова не сказано о капитуляции японских вооруженных сил в Маньчжурии. В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков советско-японского фронта.

Предлагаю командующему Квантунской армией с двенадцати часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдать в плен. Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск. Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят действия».

Пока член Военного совета знакомил собравшихся с этим документом, из боковой двери бесшумно подошел к Мерецкову седовласый полковник с гвардейским знаком на груди.

– Срочная информация, товарищ командующий! Разрешите?

Маршал энергично перелистал поданную папку, положил перед собой всего два документа и углубился в чтение.

Напряженное ожидание, пока он читал, возрастало. Чувствовалось, что сейчас что-то должно произойти...

Наконец, командующий фронтом поднялся, всех молча оглядел, остановил взгляд на генерал-майоре Шелахове. Тот встал.

– Ну так что будем делать, Георгий Акимович? Ждать визитной карточки от Ямады?

– Долечу и без нее, Кирилл Афанасьевич! Привезу вам этого молчуна прямо в штаб... Разрешите?

– Не разрешаю, голубчик, а приказываю! – Командующий шагнул к Шелахову, положил руку на его плечо. – Желаю удачи! Да, есть добрая весть, – добавил он. – Можешь для поднятия духа передать десантникам, что к оккупированному японцами Пекину с юга подтягиваются части Народно-освободительной армии Китая. По приказу Чжу Дэ они намерены начать контрнаступление, образовать с нами единый фронт... Не знаю, правда, успеют ли они нам помочь до капитуляции Японии. Но мы непременно окажем всяческую поддержку китайским товарищам в их дальнейшей борьбе...

Аэродром кишел. Погода была летная.

– Летим! – Майор Хуторенко возбужденно потирал руки. Десантники в это время строились возле самолетов. Выглядели они молодцевато.

– Не все ты знаешь, Степан... – В задумчивой интонации Забегина чувствовалась недосказанность. – В Харбине тьма самураев, сам черт-дьявол им не брат... Строят на улицах баррикады, валят деревья, расчищая секторы обзора, уничтожают движимое и недвижимое, роют противотанковые рвы... Что у них на уме?..

– Да, риск, конечно, большой! – согласился майор Хуторенко.

– Только не для тебя: ты, брат, остаешься. И не по моей воле – имей в виду. Сам тут разбирайся...

От невзрачного тесноватого аэровокзала в это время отделилась и торопливо рассыпалась по аэродрому группа штабных офицеров во главе с генерал-майором Шелаховым. Полковник Забегин вышел из-под крыла транспортного самолета ЛИ-2, доложил генералу о готовности десанта к выполнению боевой задачи. Предстояло захватить в Харбине вокзал, радиостанцию, главпочтамт, телеграф, банки, склонить японское командование к немедленной капитуляции, не допустить уничтожения материальных ценностей до подхода наших войск.

Семь серебристых «сигар», как семь стрел, швырнула в небо взлетная полоса хорольского аэродрома. Они еще не успели набрать высоту, когда к ним пристроились (для сопровождения) два наших «ястребка».

Полковник Забегин смотрел в окно иллюминатора. Совсем рядом, будто привязанное, плыло краснозвездное крыло воздушного телохранителя. Истребитель шел без натуги, ЛИ-2 трясло. Под его вздрагивающей обшивкой далеко внизу медленно тянулись застывшие темно-зеленые валы хребта Пограничный. Отчетливо был виден горный перевал, таежные пади. В самых глубоких из них уже собирались и густели лиловые тени – предвестники близкой ночи.

Забегин не отрывается от иллюминатора, определяет по ориентирам место самолета в пространстве, делает пометки на карте. Устают глаза, натываясь на ослепительный диск закатного солнца. С каждой минутой густеющие тени на земле все туже обволакивают угрюмую красоту маньчжурских сопок. Впрочем, недосуг любоваться ими. Скоро посадка. На свой риск и страх. Никто на харбинском аэродроме не выставил десантникам гладкой дорожки. А приземлиться им необходимо. Любой ценой. Возможно, даже ночью. Не зря перед вылетом лично Шелахов поинтересовался исправностью мощных фар. Правда, они могут обернуться демаскировкой, если противнику вздумается встретить десант снарядами при подлете, штыками на земле...

Забегин все реже заглядывает в карту, все чаще принимает к иллюминатору. Уже кончилась тайга, мелькнуло серебристое русло полноводной Мулинхэ, показались извивы реки Муданьцзян. Земля преобразилась внизу, резко облы-

сев. Будто кто посдувал деревья с горных склонов, сделав их похожими на горбы отдыхающих верблюдов. Тени от них становились все длиннее. Мрачными мазками затушевывали сумерки земную твердь.

Скоро посадка. Забегин отрывает взгляд от окна и впервые за время полета разворачивает подробную карту Харбина.

Теперь ясно полковнику, почему генерал Шелахов предусмотрительно сел в другой самолет. Наверное, о том же подумал: вряд ли обойдется без осложнений на харбинском аэродроме... Но именно этого (самого главного!) никто пока не знает, и потому все сосредоточенно молчат, готовятся ко всему...

Сумерки еще не успели сгуститься, когда под крылом показался Харбин. Разглядывая его сверху, десантники удивлялись: привычная, будто даже знакомая планировка улиц и площадей, целая россыпь золотистых куполов – сплошь православные церкви.

Сделали первый круг. Город внизу безмолвствовал. Лишь кое-где тускло вспыхивали окна добротных особняков. Показался (вслед за базарной площадью) овал ипподрома. И везде какое-то неестественное безлюдье, словно замерла в этом городе жизнь.

Аэродром тем более зловеще затаился: ни одного «светлячка» на посадочных полосах.

Когда после первого круга пилоты сделали второй, а потом и третий примерочный круг, Забегин понял, что лучшее в его жизни осталось, пожалуй, позади: явно затягивалась «примерка»...

– Пристегнуть ремни! Идем на посадку! – донесся наконец до десантников голос из пилотской кабины.

– Оружие к бою! – скомандовал полковник, ощущая, как часто и резко вздрагивает машина, как немилосердно ее трясет перед касанием с враждебно-молчаливой землей. Потянулись мучительно-тягучие мгновения, каждое из которых – судьба...

А земля все еще молчит. Неужели хитрят японцы? Неужели специально поджидают, чтобы захлестнуть потом как в западню?

Полковник приподнялся. Подал условный знак остальным:

– Приготовиться!

И сразу заоглядывались десантники, стали ощупывать гранаты. Настрой теперь был один: смерть лучше плена...

Колеса вначале отскочили от бетонной полосы, а потом будто прикипели к ней в отчаянном торможении.

Выскакивали из самолета, не ожидая полной остановки.

Аэродром был очищен сразу. Заняты ангар, мастерские, несколько каменных массивных зданий. В одном из них и захватили наши бойцы начальника штаба Квантунской армии генерал-лейтенанта Хата, а заодно и группу военачальников из его свиты.

Все преобразилось с этого момента. Помощник начальника штаба 1-го Дальневосточного фронта генерал-майор Шелахов сдержанно встретился с Хатой. Слишком резкая все же смена обстановки: после суматошной перепалки на аэродроме – поразительная покорность высших чинов. Японские штабисты стояли перед Шелаховым навывтяжку, но с достоинством, без унижения: спокойные лица, опрятные мундиры, маленькие с кургузыми козырьками фуражки, бутылочные икры в начищенных сапогах, мишура разбойных наград... Сутулясь, генерал Хата поднял на Шелахова прищуренные глаза.

– Повиновение вам – приказ императора, – почтительно объясняет он причину собственной покорности и протягивает руку, обнажая ровный ряд крепких зубов. Но Георгий Акимович не спешит замечать вымученной улыбки. Так «улыбается» рысь, прихваченная капканом...

– Я уполномочен, – поясняет Шелахов, – предъявить вам ультиматум о безоговорочной капитуляции, а также выяснить все сопутствующие вопросы... Императорский рескрипт, например, не вяжется с сопротивлением ваших армий.

– Не армий, а отдельных разобщенных групп, – мягко поправляет Хата и тут же невозмутимо поясняет: – Кое-где японские гарнизоны и воинские части потеряли связь со штабом...

– Сколько войск в Харбине? Объекты? Вооружение? – спрашивает Шелахов.

– О, это сложно! Для точного ответа требуется время...

– Даю два часа! – говорит Шелахов и смотрит на часы. – К двадцати двум ноль-ноль доложить не только о суммарном составе войск в харбинской зоне, но и представить именной список генералов, приложить к нему перечень соединений, указать количество всех видов оружия.

Хата на сей раз отрицательно мотает головой:

– Мы должны посоветоваться...

– Попутно прошу, – продолжает Шелахов, – в удобных для транспортировки местах собрать всю технику, орудия, боеприпасы.

Хата не возражает, однако и не кивает в знак согласия. Лицо его кажется серым, подпухшие веки тяжелыми, но в глазах ясность, напряжение четко работающей мысли.

– Нам нужно посоветоваться, – упорно настаивает Хата.

Советовались японские генералы недолго. Хата больше слушал, чем говорил, делая пометки в блокноте. Потом поднял голову, выпрямился, насупил не очень густые брови:

– Два часа мало. Нам нужно три часа для подготовки обстоятельного ответа.

Шелахов согласно кивнул, искренне сомневаясь в душе, что за эти три часа успеют они разобраться в таком невообразимом хаосе. Об этом же думал и час спустя, когда, объехав на трофейной автомашине ближайшие посты, направился к центру города в комфортабельный «Ямато-отель». Нет, не отдыхать торопился он после трудного дня. Война продолжалась, и ему, Шелахову, надлежало действовать. Хлопот навалилось с избытком. Надо было усилить охрану важнейших объектов, договориться с Мерцковым о времени встречи главкома Василевского с японскими военачальниками, а главное – целехонькими и без опоздания доставить их в штаб фронта.

С досадой и тревогой в душе стоял посреди аэродрома майор Хуторенко, когда самолет Забегина оторвался от земли. Там, в небе, таяла его последняя, как ему казалось, надежда... Другие, а не он, собственными глазами увидят то, что потом будет называться концом второй мировой войны, крахом «Кантокуэна», последним тайфуном над планетой. Все может быть в мире, где уже все было... И все-таки обидно, когда, подготовившись к штурму горы, обнаруживаешь перед собой кочку...

Правда, и здесь не заскучаешь. Ожидается, например, встреча с пленными японскими генералами в штабе фронта, и он, Хуторенко, как переводчик будет участником этой встречи. Лично главкому Василевскому понадобился.

Это уже кое-что...

Кто-то осторожно сжал плечо майора Хуторенко тяжелой рукой. Вздрыгнул от неожиданности. Перед ним стоял член Военного совета генерал-полковник Штыков, понимающе улыбался.

– Слушаю вас, товарищ...

– Слушать будешь потом. А теперь ответь, почему нос повесил?

– Хотелось бы на передний край, товарищ член Военного совета. Честное слово, есть на это причина! Я же все-таки журналист...

– О-о! Это я учту. По-моему, еще не поздно.

В день вылета десанта оставшееся до ночи время майор Хуторенко провел около связистов. Болела душа, за судьбу товарищей, тревожило воспоминание о сыне. Как там он? Жив ли? Ведь на самое кровопролитное направление занесло его в этой войне...

А еще подслушал Хуторенко-отец, о чем говорят связисты между собой, какие страсти разыгрались в эфире по случаю атомных бомбардировок Японии.

Американские радиостанции, оказывается, все еще фанфарят на весь мир о своих сверхбомбах. Чем хвастаются? Ведь слизали-то гиблым смерчем не укрепрайоны, а мирные города. Младенцев сожгли...

«Это начало нового века – века атомной энергии»*, – заявил президент Трумэн.

По-иному на то же творение человеческих рук отозвался Герберт Уэллс. Он омрачен и встревожен. Опаса-

* «Бомба дает нам возможность продиктовать наши условия в конце войны», – заявил по этому же поводу госсекретарь США Бирнс президенту Трумэну.

А еще через 36 лет Дж. Кеннан (бывший посол США в СССР), выступая на церемонии вручения ему премии мира Альберта Эйнштейна, скажет в Вашингтоне: «Давайте не вводим себя в заблуждение, возлагая всю вину на СССР. Именно мы, американцы, на каждом шагу шли первыми в разработке этого вида оружия, именно мы первыми произвели и испытали это оружие, именно мы первыми подняли его разрушительную силу на новый уровень, создав водородную бомбу, именно мы отвергаем любое предложение об отказе применения первыми ядерного оружия, именно мы, наконец, применили это оружие против десятков тысяч беспомощных мирных жителей».

ется, что атомная бомба «знаменует собой конец человечества...».

«В общем, никогда еще так не отличалась Америка: сразу на несколько Эверестов приподняла на планете планку смертоубийства», – в свою очередь рассудил майор Хуторенко.

Когда радист, высокий белобрысый сержант, затряс над головой долгожданной радиограммой, все облегченно вздохнули. Всего-то несколько слов, а какой триумф! Авиадесант, оказывается, благополучно приземлился в Харбине и приступил к выполнению задачи...

Не прошло и часа, как в штаб фронта пришла вторая весть из Харбина, настораживающая: японские генералы попросили дополнительного времени для подготовки окончательного ответа...

И вот ждут теперь наши десантники, ждет штаб фронта. Что же там зреет? Чем закончится этот дерзкий прыжок в пасть дракона?

Как ни успокаивал себя майор Хуторенко, а душе было ознобно от тяжелых дум: «Что там с Забегиним? Каким будет ответ японских военачальников через три часа?»

Проснулся среди ночи, словно от тычка в бок. Прислушался. Верховой ветер по-прежнему теребил тайгу, раскачивал макушки сосен, и они что-то шептали людям задумчиво и тревожно.

«Так что же все-таки деется в Харбине?»

Не выдержал – опять подался к связистам. А там новостей ворох. В Харбине – успех! Маршал Василевский ждет появления начальника штаба Квантунской армии и его свиты. Японские генералы сдержали слово: в советское консульство, куда (под охрану десантников) перешел Шелахов, точно через три часа командующий 4-й японской армией и его начальник штаба доставили письменное согласие на все наши условия и перечень соединений, именной список генералов, сведения о количестве всех видов оружия и численности частей харбинского гарнизона – свыше сорока тысяч человек! Генерал Хата вот-вот будет доставлен в указанное для встречи место...

Вслед за добрыми вестями из Харбина потянулись уско-ряющие развязку действия: на подмогу Шелахову по суше

подоспел мобильный отряд генерала Максимова, по воздуху – десантники 1-й Краснознаменной, а по воде – Амурская речная флотилия.

Почти в одночасье сильные подвижные десанты были высажены и в других местах скопления японских войск.

Ветер в Приморье порою, как заправский чабан: ночью гонит тучные отары облаков со стороны моря, днем поворачивает их обратно. Живо было очищено небо и на этот раз. При отличной видимости садился на хорольский аэродром наш самолет с японскими военачальниками на борту.

...Так вот он какой, этот Хата: тяжеловатый взгляд, подвижные брови, лоб с залысинами, ворот рубахи расстегнут. На внимательном, чисто выбритом лице генерала, в его движениях, жестах, осанке деловитая напряженность. Передалась она и его немногочисленной свите. Только консул Макиява до испарины на лбу пытался удержать улыбку. Хата не рисуется. Глаза у него несуетливые, настроженные. В их глубине, если приглядеться, простая человеческая усталость. Он первым снял фуражку с кургузым козырьком и поклонился в ту сторону, где за массивным столом, кроме Василевского и Мерецкова, сидели главный маршал авиации Новиков, генерал-полковник Штыков, офицеры штаба. И тотчас вся свита переломилась в дружном холодноватом поклоне.

Василевский сидит на простом жестком стуле, по-хозяйски облокотился на разостланную карту, задумался. Рядом по правую руку от главкома молча постукивает карандашом по листу бумаги Мерецков.

Хата присел напротив, на самом углу стола. Перед ним два стакана на подносе, бутылка с минеральной водой... Но именитый генерал, вчерашний вершитель судеб квантунского воинства, не прикасается к воде. Он внимает. Напряженно прислушиваются и остальные, делая временами беглые пометки в своих миниатюрных карманных книжицах. Только Хата пытается все запомнить, и ему, наверное, это удастся, если судить по сосредоточенному лицу и частым кивкам головой.

Майору Хуторенко нравится, как говорит Василевский: уверенно, без надрыва. И переводчика чувствует – с марша-

лом легко работать, интересно. Вряд ли японское командование сомневается теперь в том, что наш главком и его штаб продумали и предусмотрели массу мелочей, прежде чем вести эти нелегкие переговоры. Хата изменяет наконец своему правилу и достает блокнот, записывает название дорог, направления, по которым предписано двигаться сотням тысяч японских военнопленных к местам сборных пунктов.

– Мы против бессмысленного кровопролития, – говорит Василевский. – У нас нет ненависти к японскому народу, несомненно трудолюбивому, самобытному, талантливому.

Понимающе кивает Хата, бесшумно шевелит губами консул, выжидающе сосредоточены лица остальных.

– И тем не менее, – повышает голос главком, – сопротивление целых японских частей все еще не редкость. Кроме того, – продолжает он, – нам известны случаи порчи военного имущества, уничтожения материальных ценностей, в том числе боеприпасов...

Хата снова кивает головой и опять (в какой уж раз!) говорит о нарушениях связи между его штабом и войсками.

– Мы и сейчас, – признается Хата, – в затруднительном положении и надеемся на вашу помощь не только в налаживании связи. Пленные японские солдаты крайне нуждаются в медицинской помощи, в обеспечении их одеждой и продуктами...

Каждое слово Хата выталкивает с почтительным шипением, сквозь зубы.

Маршал одобрительно осматривает собеседника. Василевскому по-человечески понятна эта забота пленного военачальника о своих побежденных солдатах.

– Советское командование разделяет ваше беспокойство, – заверил Василевский. – Ваши солдаты будут снабжаться не хуже, чем в Квантунской армии.

– Для восстановления связи с войсками японской стороне тоже понадобится ваша помощь, – честно признался Хата. – Позвольте кое-что уточнить...

Василевский не против и уточнить. Он сдержанным жестом приглашает Хату подойти к развернутой карте, вооружается указкой. С этого момента Хата следит только за ее острием. Делая угловатые пометки в блокноте, изредка что-то бормочет рядом стоящему полковнику из своей свиты.

В прошлом военный атташе Японии в СССР, генерал Хата без посторонней помощи отлично понимает Василевского, но не отказывается и от переводчика: так лучше обдумывать, ориентироваться, оценивать обстановку, запоминать. А запомнить надо многое. Вот уже и о судьбе высших чинов зашла речь. Они должны сдаваться в плен вместе со своими адъютантами, иметь при себе все необходимое...

– Нам некогда будет потом разбирать их претензии о дискомфорте, — заключает Василевский. – Хорошее отношение со стороны Советской Армии гарантируется! Все ли ясно японской стороне?

Хата опять отрицательно мотает головой. Другие – тоже. Нет, не все ясно. Японская сторона нуждается в уточнении деталей. Появляются вопросы, неожиданные просьбы. Иные из них просто удивительны. Надо же: японцы, оказывается, более всего опасаются вовсе не советских солдат, а китайского и корейского мирного населения... Помнит дракон, на чьей земле наследил...

– Ненадежное здесь население, – смущенно бормочет Хата и просит нашего главкома разрешить (до подхода Советской Армии) в отдельных районах Маньчжурии и Кореи оставить у японских солдат оружие. – Иначе, сами понимаете, не всем будет суждено дожидаться прихода наших войск...

И еще:

– Нельзя ли позаботиться, господин маршал, о спасении наших семей, об отправке их в Японию? На худой конец, разрешите им сопровождать нас в плену.

– Мы почти не встречаем, не видим здесь ваших семей!

– О нет, господин маршал, они есть. Они прячутся в лесах, бегут на юг, теряют ориентировку, гибнут в пути. – Эти слова, как вопль, выплеснулись из свиты высокопоставленного японского генерала. Хуторенко показалось, что он не впервые видит автора реплики – сутулого с короткой толстой шеей лысоватого офицера.

– А кто внушал вашим семьям страх перед советским солдатом? – тихо, но с нескрываемой укоризной спросил маршал.

Молчание.

– То-то же! – шевельнул бровью Василевский. – Дети ваши, конечно, не виноваты. Семьям обязательно поможем.

Получив из рук главнокомандующего ультиматум о немедленном прекращении сопротивления, генерал Хата суетливо спохватился.

– Прошу вашего разрешения... Очень это важно! Прошу оставить в распоряжении японского командования необходимый транспорт.

Глаза их встретились, и японский военачальник понял, что мотивировок и дальнейших разъяснений не требуется.

– И эту просьбу учтем, – услышал Хата в ответ.

В Харбин японский генерал со свитой вернулся на том же самолете. Одновременно на его борту отбыла группа советских офицеров – уполномоченных по приему военнопленных. С ними улетел и майор Хуторенко. Ему предписывалось действовать в районе Муданьцзяна при штабе 1-й Краснознаменной армии.

БЕЛЫЕ ФЛАГИ

Всю ночь монотонно скрипело заднее колесо армейской повозки. В слабом зареве и густом дыму тонул взятый город. Потеряв на мосту коня и сменив после боя жесткий танк на конную повозку, Олег с трудом распрямил ногу.

В медсанбат он так и не попал. Пренебрег медсанбатом. И своих минометчиков не так-то просто догнать. Зря на коня понадеялся. А рана на ноге между тем беспокоила все сильнее, расплывшийся синяк вокруг нее стал чернее и тупо ныл. Гнула усталость, отяжеляла веки, брала свое. Сквозь тревожную дрему монотонный колесный скрип преображался в задиристую ружейно-пулеметную пальбу, а встряски на колдобинах – в артиллерийскую канонаду. Даже во сне не переставала гудеть внутри разбитого тела туго натянутая тетива. Нервы. Вздрагивая, Олег с трудом открывал глаза, невольно вспоминая пережитое. Какое-то сумбурное мельтешение в голове, пляска огня.

Вот, стараясь удержаться в городе, японцы опять прикрываются «живыми снарядами», их ни в коем разе нельзя подпускать близко...

Ранен Вася Огнев, и десантников на «тридцатьчетверке» возглавляет он, лейтенант Хуторенко.

Отрываясь от подвалов кирпичных домов, обороняющиеся пытаются контратаковать...

Тесно в городе тяжелой машине, неудобно. Кишат засадами подвалы, огрызаются чердаки. Особенно настырно бьет пулемет из слухового окна высокого особняка на перекрестке. И тогда десантники наводят башенного стрелка на цель. Танк разворачивается на прямую наводку и первым делом сносит вместе с чердаком тот самый пулемет, от которого не уберется Вася...

Пороховая гарь, оглушающий треск, рухнувшие здания, перегородившие улицу груды каменных торосов...

Чтобы объехать завал, забаррикадировавший вход на городскую площадь, танк рискнул пробиться в обход, сунулся в узкий переулок. Вася Огнев только поморщился, когда на канаве тряхнуло. Здоровой левой рукой он цепко держался за скобу. Предплечье правой было туго перебинтовано.

– Главное – глаза целы, рано списывать Огнева, – бормотал Вася, чтобы не стонать от боли.

– Мы шибко оторвались от своих, – предупредил Олег автоматчиков. – Смотрите теперь в оба. Гранаты беречь для подвалов.

Воспользовавшись затишьем, вынырнул из верхнего люка командир танка.

– Старший лейтенант Дудкин, – представился он, и Олег вспомнил Яшу Рубинчика: не тот ли самый это офицер (только повышенный в звании), который песочил Яшу за краденые недоуздки?

– Верно, лейтенант, – подбодрил Олега Дудкин, – оторвались мы. Нужен маневр, чтобы не исчезнуть...

– Что предлагаешь, старшой?..

– В обход рванем – в тыл главной площади. Оттуда и подержим пехоту.

– Лады! – согласился Олег. – Действуй!

Круто развернулись из одного переулка в другой, проресали огнем главную улицу, снова напоролись на щебеночный вал, стали объезжать его и... угодили в хорошо замаскированную противотанковую ловушку. Западня стала теперь окопом для десантников, укрытием для машины. Пока танкисты исправляли повреждения в моторе, автоматчики с Оле-

гом отбивались от атакующих. Чувствовалось, однако, что вот-вот подоспеет подмога.

Когда кончились снаряды у Дудкина, в живых из десантников остался только Олег Хуторенко. Дудкин открыл верхний люк, швырнул сразу три гранаты в три разные стороны, пока грохотало вокруг, затянул Олега в танк.

– Спасибо, братец! Помог! Повреждение мы устранили. Сейчас начнем их давить...

И действительно: взревел двигатель, напряглись траки, задрожал танк, заметался в крутых стенах каверзной ловушки. Но – ни с места.

– Да ты газуй! Газуй! – горячо задышал Дудкин в самое ухо механика-водителя, круглолицего, в конопушках сержанта. – Это же танк! Крепость!..

– Была крепость, товарищ старший лейтенант. Теперь мы – мухи в паутине, – вздохнул водитель и заглушил мотор.

– А вот и «пауки», – подхватил в тон Олег, когда сверху затопало по броне сразу несколько пар ботинок. Чужая, резковатая речь долбала сверху в какой-то вопросительной интонации. Было ясно, что японцы предлагали экипажу сдаться в плен из-за бессмысленности сопротивления.

Дудкин поглядел вверх, ухватился за плечо водителя:

– А может, попробуешь их скинуть, Миша? Рвани!

Водитель оторвался от смотровой щели, отрицательно покачал головой.

– Поглядите, товарищ старший лейтенант: они тягач приволокли с пушкой. Может, в упор хотят...

Дудкин долго не отрывался от щели. Теперь топот над головой экипажа не пугал – успокаивал. Не будут же они палить по своим? Отшатнулся он лишь после того, когда под танком заскрежетало. Что замыслили враги?

Дудкин снова потеснил механика-водителя, заглянул в смотровую щель. В это время все в танке услышали натужное тарыхтение тягача. Но никто, кроме Дудкина, не мог видеть, как натянулся стальной трос, предвещаая спасение, волю...

– Гляди, чтоб не лопнул он! – резко подтянул Дудкин Мишу к рычагам управления. Но тот ничего не понял с рычага – схватился за ключ зажигания.

– Погоди заводить! – не своим голосом предупредил Дудкин. – Следи за тросом! Они не знают, что мы на ходу. Втыкай скорость, когда выволокут нас, и дави...

– Поглядим, чья перетянет, – процедил сквозь стиснутые зубы Миша, и его конопушки потонули в густо выступившем румянце. Танк к этому времени успел занять то положение на крутом склоне ямы, из которого уже замаячила надежда.

«Японцы считают нас подбитыми и волокут к себе», – определил Олег, обозревая тягач через прицел бокового пулемета.

– Заводи! Рви! Дави орудие! – приказал Дудкин.

Какое-то мгновение танк словно раздумывал: заводиться или не заводиться? Кровь, прихлынувшая к щекам Миши, отхлынула в этот миг. Выступившие на побледневшей коже конопушки покрылись от напряжения градинами пота.

И словно от этого напряжения танк завелся.

Враги растерялись от неожиданности: им казалось, что взяли танк «на поводок», а тут как-то сразу сами оказались «на поводке».

Передней лобовой броней Миша легко спихнул в яму пушку, круто развернулся на месте и поволок за собой японский тягач.

Так они и добрались к своим, отстреливаясь из пулеметов...

Трос отцепили за массивными стенами какого-то старомодного с гофрированными жалюзиями магазина. Там же и трофейный тягач оставили, будто камень с шеи сняли... И опять потом утюжили улицы, подминали пушки, били из пулеметов по мансардам...

Все это помнит Олег. Вылетело из головы только одно: как он оказался на конной повозке. Неужели терял сознание?

И вот он лежит на охапке сена, видит звезды на небе и слышит скрип колес на земле. С тяжестью в теле лежит, как разбитый. И не понять в этом полузабытьи, где сон, где явь, где граница между ними.

Дорога вела на Харбин. Разбитая колесами и солдатскими каблуками, она успела высохнуть и дымилась под ногами едкой желтоватой пылью. Кое-где попадались на пути раздавленные мосты, болотистые участки и объезды, объезды, бесконечные объезды... Возле одного из таких участков движение застопорилось.

Пересиливая боль в ноге, Олег сполз с повозки и, разминаясь, пошкандылял в голову колонны. Пригляделся. Зарос-

шие кустарником склоны сопок, перед которыми застыло движение, пестрели белыми полотнищами. Словно кто белье поразвесил на просушку по обе стороны горного распадка.

По колонне от бойца к бойцу покатались всяческие догадки:

- Похоже на приманку...
- Подпустили вплотную...
- Развернуться негде...
- Западня...

И правда, местность была вполне подходящей для западни. Только ткнись туда – мешок... Но тихо вокруг. И колонна – ни с места. В самый раз догонять свой полк, батальон, свою роту.

Олег поправил автомат на груди, попрощался с артиллеристами, подсобившими ему прокоротать ночь, и подался в сторону распадка.

О медсанбате почему-то и не вспомнил.

Колонна уже сдвинулась с места, когда он настиг тылы своего полка. Начали попадаться знакомые, и среди них взмокший под минометной опорной плитой, отставший от роты Рубинчик. Олег возликовал, подхватил сгоряча тяжелый вьюк, помог Яше догнать своих.

Радость встречи подогревалась торжеством победы. Здесь, среди заросших склонов, квантунцы организованно сдавались в плен. Неторопливо, с каким-то отрешенным отчуждением расставались они с оружием. Гора трофейных карабинов росла на глазах. Ближе к дороге жались друг к другу пулеметы, поодаль – пушки. Еще дальше, на пятачке величиною с футбольное поле, виднелся на опушке дубняка дощатый навес, несколько ветхих домишек, обглоданная лошадьми коновязь. Около десятка верховых скакунов стояли вдоль нее, помахая хвостами. Возле них змеилась горка конской сбруи.

«Вану бы эти штабеля! Поди, уже сколотил отряд».

Олегу захотелось с кем-нибудь поделиться своими впечатлениями от встречи с товарищем Ваном и его друзьями, рассказать о нехватке оружия для китайских ополченцев, об их симпатиях к советским бойцам.

Мысль передать трофейное оружие в руки таких, как Ван, показалась Олегу настолько значительной, что он заговорил об этом с замполитом батальона.

Зайцев терпеливо выслушал, почесал за ухом, хлопнул Олега по плечу:

– Не волнуйся! Не растеряем трофеи. Об этом без нас есть кому позаботиться. А вот свои минометы вы подрастеряли. Помнишь, не забыл, поди, засады? Особенно четвертую... Ну так вот... Материальную часть собрать надо. Вернуться на то место и собрать. Так и передай Плотникову. Это приказ! Срок – сутки.

Плотников, успевший к этому времени принять минорту, дал Олегу только двадцать часов на «туда и обратно».

– Успеешь! – подбодрил он Олега. – Кони есть, амуниции навалом. Кого в напарники возьмешь?

– Яшу дашь?

Пока Олег, выбирая коней, возился у коновязи, Рубинчик рылся под навесом в ворохе седел. Было ясно, что не только крепкой армейской повозки, но даже захудалой арбы им не раздобыть.

Заседлав коней, Яша подвел их к лейтенанту. Тот сидел под приземистым ветвистым дубом неторопливо дозряжал рожковый магазин к ППШа. Пальцы механически делали свое дело, а глаза метались по узкой, зажатой крутоватыми склонами пади. Поднималось солнце над сопками, и в его лучах Олега вторично ослепило обилие белых флагов на ветвях молодых дубов и гибкой лещины. Японцев, как муравьев, в этом ущелье. И по одному, и скопом выходят из зарослей, о чем-то гомонят, деловито строятся, угрюмо расстаются со своим оружием, складывая его все в новые и новые штабеля.

Лейтенант Хуторенко уже сидел в седле, когда по разбитой дороге, поднимая красноватую пыль, резко тормознул тяжелый японский «ниссан» с белыми флагами по обе стороны ветрового стекла. Следом, почти вприкрыт, остановились штабной «додж» и грузовая японская автомашина с тупорылой кабиной и длинным мелким кузовом.

К запаху солдатского пота в застойном воздухе примешивался приторно-сладковатый дух тления. Пыль в этот душноватый, безветренный полдень оседала медленно, неохотно.

Когда подъехали на лошадях поближе, увидели, что японские солдаты в грузовике сидят поверх грубого теса. В «ниссане» обосновалось начальство: японский генерал и два полковника. «Додж» был набит более мелкой сошкой. О чем молчат эти люди? Никакого вроде интереса не проявляют к происходящему вокруг. И лица, и одежда пленных были одного цвета – цвета дорожной пыли.

Впереди на «ниссане» рядом с японцем-водителем сидел майор Хуторенко. Он первым выскочил на дорогу, когда машины остановились.

– Отец! – Олег спешился, бросил повод Яше.

– Сынок!

Они никогда еще так не радовались встрече. Отец не сразу заметил хромоту сына.

– Ты ранен?

– Не беспокойся – легкий ушиб...

Хуторенко-старший тронул сына за плечи, слегка попятился и внимательно (с ног до головы) его оглядел.

– А кровь чья? – показал на пятно повыше колена.

– Да чепуха тут у меня – царапина. Лучше о себе расскажи... Куда ты с ними? – и Олег кивнул в сторону машин, откуда уже доносились прерывистые гудки.

– Принимаем капитуляцию... Времени – в обрез. Это ведь мне сигналият. Извини, сын, мне пора...

Они обнялись.

– Счастливо, отец!

Сигналила машина командира корпуса. Наш генерал нетерпеливо расхаживал перед открытой дверцей. Японское начальство все так же отрешенно сидело на своих местах. Головы будто туго привинчены, руки на эфесах сабель. Всем видом своим – безучастным и несуетливым – они как бы иллюстрировали древнейшую из истин: «Бесполезно высматривать маяк после того, как произошло кораблекрушение». Однако глаза пленных военачальников прилипчивые, настороженные. «Наверняка и видят, и замечают все...» – подумал Олег, с недобрым предчувст-

вием провожая взглядом отца. Тот поднял руку, поманил Олега к себе и сам шагнул навстречу:

– Прости, если что не так... Ищи меня в штабе армии в Муданьцзяне. Может, помощь какая нужна?

– Нужна, отец. В армейский полевой госпиталь загляни, пожалуйста. Там – Мариша...

– Обещаю... И матери подсоблю – ты не беспокойся.

Отец и сын, хотя и по разным делам, направлялись в одну сторону – к Муданьцзяну. Войска, штурмовавшие этот город, наоборот, все еще тянулись оттуда. Мощный встречный поток затирал «ниссан» и «додж», однако эти две машины все-таки держались вместе. Грузовик же оказался не столь изворотливым и сразу отстал.

Устроив скачку по обочинам дороги, Олег и Яша на первых же километрах пути обогнали машины. Майор Хуторенко забеспокоился: «Не увязнуть бы в дорожной толчее...» Но японский водитель, выслушав упрек, с такой виртуозностью повел «ниссан», что появилось и крепло уважение к нему: «Успеем».

Пленные вели себя сдержанно, переговаривались тихо. Майору Хуторенко хотелось понять, о чем там у них речь, но оглушал рокот мотора.

Невольно вспомнилось посещение японского гарнизона, завтрак в стане врага. О, это было весьма своеобразное застолье. Начальник штаба 5-й Квантунской армии генерал-майор Кавакоэ после переговоров с советскими парламентарями (в своем штабе на станции Хэньдаохэды) действительно расщедрился. Пили кто с радости, кто с горя. Вот тут-то и не хватило выдержки побежденным.

– Если бы не рескрипт императора, – услышал майор Хуторенко раздраженный голос, – мы говорили бы с вами языком пушек. Какая же это капитуляция? Мы прекращаем сопротивление, подчиняясь высшей воле...

Степан Мефодьевич интуитивно почувствовал, как сам воздух накаляется вокруг него, потому резко поднялся, отбросив палочки «хаси», из-за которых так и не отведал риса.

– Благодарствую за угощение, господин генерал. Время, однако, не ждет. Готовы ли вы немедленно выехать в Муданьцзян для окончательного уточнения спорных вопросов?

Кавакоэ тоже поднялся. За ним – остальные. Некоторые из японских офицеров стали поглядывать в окна, выходящие на плац, который в это время шумно заполняли солдаты только что прибывшей части. Воздух сотрясали русские песни.

Резковато хлопнула дверь, и в банкетный зал вошло сразу несколько наших офицеров во главе с худощавым полковником.

– Командир стрелкового полка, – представился он. – Имею полномочие принять капитуляцию гарнизона. Хотел бы уточнить общую численность войск, пункты дислокации, подлежащие охране объекты.

Майор Хуторенко объяснил полковнику, с каким заданием от штаба армии находится здесь, и переадресовал заданный вопрос японскому генералу.

– Здесь три тысячи двести, – ответил Кавакоэ. – А всего двадцать тысяч штыков. Карта дислокации имеется, оружие по приказу императора мы сдаем, условия сдачи в плен известны...

– Условия капитуляции, – твердо поправил майор Хуторенко.

На этот раз ему никто не возразил.

Жгло полуденное солнце. Даже слабые порывы ветра на закопченной станции Хэньдаохэдзы поднимали клубы пыли. Возле «ниссана» майор Хуторенко повернул к генералу:

– Офицеры вашего гарнизона должны представиться командованию прибывшей части и действовать в дальнейшем согласно инструкции. Повиновение – прежде всего. Прошу распорядиться...

Кавакоэ понимающе склонил голову, энергично подождал к себе стоящих рядом. Те слушали с почтением, но без энтузиазма.

Так же резко, как начал, генерал оборвал свою речь. Он сел на заднее сиденье «ниссана», оставив переднее нашему парламентарю.

Из «доджа» офицеры, а из грузовика японские солдаты исподволь следили за происходящим.

– Муданьцзян! – легонько подтолкнул наш майор японского водителя. Но тот оглянулся сперва на своего генерала,

перехватил его утвердительный кивок, сам кивнул в ответ и лишь после этого машина тронулась.

Хуторенко не думал тогда, что по дороге на Муданьцзян встретит сына. И вот повезло: одно направление, одна дорога... Разные только задачи. И неизвестно еще, чья сложнее. Во всяком случае, вряд ли сыну было легче обшарить неостывшее поле боя в районе вражеских засад, собрать недостающие минометы и любой ценой (хоть на горбу) доставить их в часть.

ПАМЯТЬ

Дни текли, как в полусне. Мариша понимала, что находится в госпитале, послушно глотала таблетки, не в силах, однако, ничего вспомнить. Лишившись памяти о прошлом, она не проявляла интереса и к будущему.

А потом пришло письмо, которое все разворошило. Писал не отец, как обычно, а мать. Судя по почерку, дрожала рука у мамы. Маришу тоже заколотила дрожь, когда начала оттаивать память...

«Дорогое дитя мое! – заговорил материнским голосом листок из ученической тетрадки. – Получила я весточку от добрых людей, которые тебя выхаживают, лечат. Пишут, что получше лекарства помогут тебе мои каракули. Дай-то бог! Только засомневалась я, потому как сама после их весточки чуть жива. Что там делается с тобой? Не верю я, чтобы не вспомнила ты родной своей мамы. У меня уже силы нету ждать вас с отцом. Как уплыл в Корею, так вроде пропал. И ты туда же... Напиши хоть словечко в ответ. Твоя пуля в моем сердце теперь. Поскорее выздоравливай, не молчи, дитяtko мое, а то выкрутит меня горе...»

Мариша не сразу осознала, как трудно маме. Да и о себе не вдруг задумалась, не сразу забеспокоилась об отце, Олеге. Тревога просачивалась в душу, как вода под запруду, Но вот прорвало, и вздрогнули худенькие плечи. Память возвращалась к Марише вместе с болью...

«А может, это сон, – успокаивает она себя. – Бывают же такие сны: тайфунит вокруг тебя, сечет, а откроешь глаза – утро свежее, день ясный».

Да, исцеление действительно оборачивалось болью. Вновь обретенная память словно обострила Марише зрение, и она по-другому увидела и себя, и вздыбленный мир вокруг... Захотелось выплакаться в подушку.

Капитан Андрианов – суховатый, с озабоченными глазами доктор – присел на краешек койки, коснулся ладонью вздрагивающего плеча.

– Ну вот и хорошо! Вот и прекрасно! Считай, что гроза миновала...

Не вытирая слез, она приподнялась на локте.

– Отпустите меня! Я умру здесь...

Врач взял ее руку, пощупал пульс.

– Поплачь, дочка, поплачь. После слез солнышко ярче светит. Скоро мужа увидишь. Помнишь, поди, Олега?!

– Зачем так шутить, доктор?

– Не шучу! Он уже был здесь. Вот вещественное доказательство. – И капитан протянул ей записку.

«Дорогая Мариша! Наконец-то отыскал тебя! Кричу «ура» и желаю тебе одного: поправляйся! Жди меня...»

После ухода Андрианова снова перечитала записку. Вслед за мамой вспомнила Олега, вслед за Олегом – Южную бухту, передовой отряд. Потом исчезло все, будто в омут окунулась. Потом вынырнула из него...

Сны у нее стали путаться с явью.

АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КИРИЛИН

Родился 24 сентября 1947 года в городе Барнауле.

После окончания средней школы работал корреспондентом молодежной редакции в краевом комитете по телерадиовещанию. Отслужив в армии, продолжил работать на радио. Заочно окончил в 1982 году Барнаульский педагогический институт, получив специальность учителя русского языка и литературы.

Трудился радио-, а затем тележурналистом до перехода к профессиональной литературной деятельности. Работал в Алтайской краевой писательской организации литературным консультантом, заместителем ответственного секретаря, редактором отдела публицистики, заместителем главного редактора журнала «Алтай», редактором отдела культуры краевой газеты «Алтайская правда». Был одним из ведущих, а затем – директором первой независимой телекомпании в Сибири «ТВ – Сибирь», директором телекомпании АТН, совмещая должность руководителя с авторством и ведением собственных программ. С 2012 года – ответственный секретарь общественной Алтайской краевой писательской организации. В 2013 году избран секретарем правления Союза писателей России.

Издal более десяти книг прозы и публицистики в Барнауле, Новосибирске, Москве.

А. В. Кирилин – лауреат Всероссийской литературной премии «Имперская культура» (2011), Всероссийской Большой литературной премии (2012), краевой премии в области литературы (2012), Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края за книгу прозы «После гонга» (2014).

Член Союза писателей СССР с 1988 года.

ПОД НЕБОМ АПРЕЛЯ

Повесть

Палата выкрашена светло-серой безжизненной краской. Дверь открыта, через нее видна такого же цвета коридорная стена и окно. За ним опять стена – дома, стоящего напротив, – и снова серая краска. В палате пятеро, лишь один помоложе, лет сорока – сорока пяти, остальным за шестьдесят. Тихий час. За исключением высокого, астенического склада старика, все спят. Иван Петров сидит, привалившись к спинке кровати, вяжет сеть. Когда она удлиняется настолько, что мешает работать, Иван обматывает готовый кусок вокруг металлических прутков спинки и продолжает неторопливо стягивать узлы, подгонять ячейки. Руки у него непрерывно дрожат – следствие контузии, оттого работа идет медленно, движения кажутся неуверенными. У Ивана нервное, подвижное лицо с крупными чертами, жесткий седой ежик, острый взгляд. Сейчас он в очках, потому кажется добрее, в остальное же время на лице смесь нескончаемой обиды с желанием посчитаться.

– Иван! – тихонько окликает его проснувшийся сосед. – Ты почто ячейку-то крупную такую делаешь?

– Шестиперстка, – удовлетворенно кивает тот.

– Неужто у нас еще где большая рыба ловится?

– Та бог ее знает, не ловлю, запрещено.

– Чудак, зачем же сети?

– Трудотерапия. Чтобы руки не разучились работать. Вишь, какие они у меня?

– Ну и вязал бы тогда помельче, дольше хватит...

– Обижаешь! На мелочовку такую нить изводить, гляди, крутка-то какая – на заводе специально для этого дела крутят. В ночную смену, когда большого начальства нет, договорятся с кем надо, перестроят машину – и только шум стоит.

– Как же выносят потом?

– Эка трудность! Через забор покидают, а там уже их ждут. Я эти нитки на барахолке покупал, дерут, черти, по

три червонца за катушку. Ворованные же, говорю. А твое какое дело? Не хошь – не бери. Обложил я его всяко, но нитки взял, не удержался.

– Отдашь кому?

– На черта? Браконьеров и без того не переловишь...

Сосед, недоуменно пожав плечами, откинулся на подушку. Его, самого молодого в палате, зовут Анатолием. Двадцать с лишним лет работает монтажником, ветрами, дождями, всякой непогодой дубленый, а поди ж ты, сдался организм, и привычка не помогла. У него жестокий радикулит, плохо поддающийся лечению. Врачи, пытаясь добраться до истины, спрашивают что-нибудь вроде: «Не было ли в детстве травмы головы?» – а он злится: «Причем тут голова, если зад не шевелится?» Ходит Анатолий мелкими шажками, с трудом передвигая ноги, а больше лежит, читает или радио слушает через наушники. Ложе у него специальное, вместо сетки – деревянный настил – для жесткости. Днем ничего, а ночью – залежится в одном положении – бок немеет, просыпаться приходится. Высокий лоб с расплывающимися залысинами, толстые стекла очков делают его похожим на учителя математики. Все в палате одеты в бледно-зеленые больничные пижамы, только он один в принесенном из дому спортивном костюме, мягких домашних шлепанцах.

Тихий час закончился, мимо открытой двери потянулись к туалету курильщики, где-то заиграл пронесенный контрабандой транзистор, нетерпеливые доминошники рассыпали по столу костяшки. В этой палате никто не обращал внимания на общую побудку, не расшевелил их и крик из коридора.

– Нервное отделение! Полдничать!

В палату стремительно вошла массажистка Ирина.

– У-у, лежебоки! Там булочками так вкусно пахнет! Что новенького, дядя Саша?

Она села в ногах у деда Крутикова, которого и больные, и медперсонал звали дядей Сашей. Старожил, уже полтора месяца здесь, он в палате самый тяжелый, на фронте позвоночника передавило. Мало того что ноги ходить отказываются, стопы сковало в таком положении, будто он все время пытается привстать на цыпочки. Передвигается

дядя Саша с помощью костылей, мучительно переставляя изуродованные ноги в ортопедических ботинках. И на костыли, видно, надежда плохая, совсем ослаб за долгие годы болезни – кабы одни-то ноги!.. В коридоре он всегда держится поближе к стене: если падать, чтобы не оказаться без опоры...

Массажистка, дурашливо счастливая от избытка молодости, завитая под казачью папаху, наманикюренная, забросила ногу на ногу, высоко оголив колени: кого стесняться?

– Я же вас передала утренней сменщице, а та не успела, новенькая. Приходится сейчас беспокоить, – щебечет она, втирая крем. – Ух, синяки-то какие! Сосуды близко, сегодня потише буду.

Безжалостно сильные пальцы забегали по изможденной плоти.

– Что, больно?

– Нет, это я так...

– Он у нас молодец.

Анатолий, приподняв голову, наблюдал за уверенными действиями сестры. «Молодец» лежал, тяжело глядя перед собой, руки за головой цепко ухватили спинку кровати, дрожат, на лбу испарина.

– Ой, мне бы недельку хотя б вот так полежать, выпалась бы!

– А что, – опять подал голос Анатолий, – мы с Иваном на одной койке уляжемся, а вы здесь... Как там погода сегодня?

– Хорошо, тает даже немного, а к ночи, обещают, заметет.

– То-то, гляжу, спину ломает, спасу нет.

Закончив, массажистка укрыла дядю Сашу, пометила что-то у себя в блокнотике.

– Так, кто у нас следующий? – Она повернулась к соседней койке, где постель напоминала воронье гнездо. Во все стороны торчали простыни, одеяло, перекрученный матрас, подушка, а посередине покоился маленький старичок, утонувший в пижаме. – Ну и накрутил!

Сестра осторожно, чтобы не разбудить больного, расправила матрас, подоткнула простыню.

– Смелей, сестренка, он вчера «расторможку» получил, на три дня теперь хватит.

– А массаж?

– Какой массаж? Пускай спит, хоть мы-то отдохнем маленько.

Заглянула дежурная сестра.

– Стуков, к вам пришли.

Федор Стуков давно уже не спит, лежит с открытыми глазами, отвернувшись к стене, делает специальные упражнения для лица. Инсульт обезобразил его, рот повело набок, отчего речь стала невнятной, с пришептыванием. После кровоизлияния вся правая сторона тела плохо повинуется ему, но Федор не сдаётся. По нескольку раз в день занимается зарядкой: ходит, приседает, мнет тугой резиновый мячик. Бредется Федор безопаской, ему бы поменять ее теперь на электрическую – сподручней, но он все решил оставить как есть, даже не стал перекладывать свой старый, с войны, скребок в левую, здоровую руку, хотя резался каждый день. В отделении выдержке Федора все поражались: за время, пока он здесь, давление ни разу не опускалось ниже двухсот, а от него ни жалоб, ни нытья, только молчаливое, сердитое на болезнь упрямство да еле слышные команды самому себе. Раз-два, раз-два... Точно взводный Стуков готовит молодежь к строевому смотру.

Федор набросил поверх пижамы теплый халат, вышел.

– Уже шесть, наверно? – забеспокоился Крутиков.

– Пятый только доходит, – Анатолий внимательно посмотрел на него.

– Э-эх! – прошелестел по палате вздох.

– Ничего, дядя Саша, перезимуем как-нибудь, в сад ко мне поедем, а там кра-сота-а!

– Не перезимуем, видать...

Вернулся Федор Стуков.

– Жена приходила. Яблоки будете?

– Свои бы куда девать, носят и носят, то ли я здесь другим человеком стал, дома-то сроду их не ел.

Петров для наглядности открыл тумбочку, целая полка забита малиновощекиим апортом.

– Точно, – поддержал Анатолий, – хоть сушить начинать. – Потянулся к своей тумбочке, да неудачно, зашиб

руку о деревянный настил. – У, чертовы дрова! Надоели хуже тещи! – Тут же усмехнулся миролюбиво: – И грех серчать-то, сроднились вроде с этой деревягой, кому еще так подфартило – на одной койке по третьему заходу селиться? Фантастика! Скоро табличку прибью, дескать, собственность такого-то, не трогать.

– Хм, собственность! – Стуков отложил яблоко. – У нас в госпитале парень лежал, бедро раздробило. Ему на операцию надо, а боится, глазищи огромные, жутью исходят. Вцепился в кровать – и ни в какую, пальцы аж побелели. Уговаривать бесполезно, давай его за руки тащить, вчетвером, однако, управлялись. Сначала все твердил: не пойду, не пойду, а потом, как пальцы-то стали отцеплять от кровати, заорал дурниной – моя! Подумать – вроде о койке печалится. Глупость, какая там койка! Поди, в ту минуту ему взошло, будто от самой жизни отдирают... Койка что, с тех пор и по сегодня не изменилась почти, такая же. Сколько их по больницам, всем хватит.

– В жизни, как у нас в пехоте, – продолжил разговор Иван Петров, – меньше возьмешь – дальше уйдешь.

– Все мы начинали налегке, – сказал Стуков, – а потом обростешь незаметно так и подумаешь: отдал бы все, чтобы как раньше, в молодости, есть ли – нету, болит – не болит, ерунда.

– Во! – Палец Анатолия назидательно вознесся над подушкой. – Теперь и расплачиваемся за легкомыслие, молодому оно, конечно, нечувствительно. Вот скажи, на кой надо было мне горбушку свою проветривать, с железяками всю жизнь ломаться? Жена в парикмахерской работает, ножничками чикает – больше меня зарабатывает.

– Да кто ж нас спрашивал, в цирюльню идти или на пашню? – вмешался в разговор дядя Саша. – А там, – он сделал движение рукой, и она произвольно обратилась в сторону запада, – тоже не выбирали, что съесть, куда сесть. Что дадут, куда прикажут. Я-то ладно, на танке, а пехота? Посмотришь, в грязи, в снегу, так, Иван?

– Всяко приходилось, грелись зимой у домов горящих, спали тут же на снегу – с одной стороны хоть тепло. В деревне останутся один-два дома – туда всех детишек и ста-

риков соберут, и без нас тесно... А ты, Александр, на какой должности-то служил?

– И механиком-водителем был, и радистом, и командиром экипажа. Кто погибнет, того и меняю, в какой машине пол-экипажа пропало, где один человек – пошел на замену.

– Когда призывался-то?

– Да аккуратно в сорок первом, в апреле. Поучили месяц в Омске и отправили к Бресту на строительство укреплений. Там она нас и застала... Шли пешком, оружия нет, немец впереди нас давно, мы за ним, выбираться-то надо. Ничего, помаленьку набрали немецких автоматов, патронов только мало было... Старшина, помню, хороший парень из Красноярска... Так и шли лесами... После уже на танке учили...

Дядя Саша устало откинул голову, поморщился, недовольный собой: иной раз за неделю столько не наговорит, а тут – на тебе, разобрало.

– У нас в девятой палате старик лежал, семьдесят лет, – Анатолий нашаривал ногой тапок, курить собрался, – всю войну из конца в конец прошел, так он сейчас только военные мемуары читает. Смотри-ка, говорит, все правильно пишут. Я у него брал, интересно. Достаньте, там все написано, как было.

– Ты по книгам знаешь, – проворчал Петров, – а у нас эти мемуары каждый день читали: что сдали, что взяли.

– Уж вы как со мной ни спорьте, до солдата все сведения не доходили. Сейчас вон только стали писать, как там в верхах было.

В палате повисла тишина, будто каждый зацепился мыслью за что-то неожиданное и оттого замер. Нарушил молчание Иван Петров, хмыкнул:

– Милиционер родился!

– Почему милиционер-то? – въедливо поинтересовался Анатолий.

– Не знаю, так говорят, если вдруг тихо станет.

– Слышал, что говорят, а все-таки почему? Нелепость ведь какая-то, при чем тут милиционер?.. Э-эх! – Он смешал во вздохе укоризну и непонятно откуда взявшуюся грусть. – Чеховские герои говорили в таких случаях: тихий ангел пролетел... А тут – милиционер!

– Иди-ка ты, книжная душа! – беззлобно ругнулся Иван.

Анатолий доковылял до встроенного шкафчика, нащупал в тайнике за дверью сигареты. Оставлять их в тумбочке или прятать под матрас бесполезно, больничное начальство ведет непримиримую борьбу с курильщиками. Поймают – выписка с нарушением режима, иди тогда жалуйся. Единственное место, где можно курить без опаски – туалет, он закрывается изнутри, и выпускают туда только по условному стуку.

– Что ж, пошли подышим. – Петров с видимой неохотой оторвался от сетей.

Из всей палаты курили только они двое. Федор Стуков бросил недавно из-за невыносимых головных болей и сейчас мучился, каждый раз проводя куряк страдальческим взглядом. И Петрову врачи настоятельно советовали бросить эту вредную привычку, сам уж сколько раз обещал себе: сегодня докурю на прощанье, а завтра все, баста! Но духу решиться окончательно не хватало, как-никак сорок лет не расставался с табаком. Сестра, единственный родной Ивану человек, не могла прибавить решимости, хотя и напоминала чуть не каждый день: «Вань, бросил бы ты эту заразу». Но очень уж не настойчиво звучало предложение: добрая душа, в ней вместе с заботой о здоровье брата поднималось беспокойство, как же он без привычного-то, хуже бы не стало. Когда Петрову сделали пункцию и он не мог несколько дней ходить, сестре разрешили подняться в палату. Среди кульков и свертков со съестным в руках у нее были сигареты «Прима», как просил.

– Что ж ты, – с деланным неудовольствием поднял брови Иван, – может, я курить попробовал бы здесь бросить?

– Давай назад! – спохватилась она.

– Ладно уж, приду домой – брошу, а то завянешь тут совсем. Оно ведь как, после обеда все курить бегут, я не хочу, иду исключительно для компании. Подумаю – и не буду ходить, зачем? Не хочу же. Глядишь, постепенно так и брошу: час после обеда, час после ужина, да и занят если чем, не до курева... – Он повертел пачку, вздохнул: – И хорошие сигареты стали редко бывать, – посмотрел на соседей, – в деревне-то я «Север», иногда «Беломор» курил,

этим не баловался. Ты бы пока это, – опять сестре, – ну, не бросил курить, купила бы немного в запас, знаешь, чтобы не бегать в случае чего.

Она виновато опустила глаза, поправила на коленях халат для посетителей и вздохнула – точь-в-точь как ее брат только что.

– Да я уж и так купила, пятьдесят пачек...

Пришло время вечерней уборки.

– Здравствуйте, родненькие мои! Устали, поди, болейте? Ничего, от нас больных не отпускают, домой все здоровые уйдете.

Сегодня дежурит тетка Катя – так сама представляется. Немолодая уже, с тяжелыми, вспухшими от воды и дезинфицирующих растворов руками, она всегда что-нибудь рассказывает за делом. Замполит – по-доброму окрестил ее Иван Петров.

– Это что у нас тут такое красивое? – Она показала на яркую бутылочку «Фанты» возле спящего.

– Напиток такой, дочка у него проводником работает, из Москвы привезла, – объяснил Стуков.

– Вона куда люди ездят! И денег платить не надо... И-эх! – Тетка Катя сокрушенно обратила ладони вверх, будто удостоверилась, что в руках ничего нет. – Работала я в колхозе звеноводкой, мы три года подряд на свекле первые были, по двести двадцать – двести пятьдесят процентов сдавали. А свекла, сами знаете, с ней надо весь год работать: зимой удобрения вози, снег задерживай, летом – тут и говорить не приходится. Тракторист у нас был, Федя, один-то что он сможет, так мы зимой ему помогали. Первый год получила я премию семьсот рублей, на другой поехала на сельхозвыставку, сюда, в область. А на третий мы уже двести пятьдесят процентов получили – нас троих, Полю, Нюру и меня, в Москву назначили. Порадовалась, да недолго, корове как раз приспело телиться. Мужик мой говорит: куда я с ней, вдруг не растелится, первотелок ведь. Девчонки у меня, – одна тогда в шестом, другая в пятом классе, – что с них спросишь? По хозяйству, конечно, помогут, а тут – такое дело... Нам тогда на выбор предложили или в Москву, или шубу покупай... Так и поехала вместо меня Шура из второго звена, а я взяла шубу и

стиральную машину. На ту шубу потом – поверишь, нет – смотреть не могла, висела она, висела, покуда моль жрать не начала. Мужика до сих пор пилю: из-за тебя нигде не была...

Она быстро управилась со своими, на первый взгляд, нехитрыми обязанностями, однако, эта быстрота не мешала ей забираться с тряпкой в такие углы, куда другие редко заглядывали. «Бездельницы!» – между делом ругала она своих сменщиц.

– Ну вот и все, пойду к другим. Вы уж тут не скучайте, через пару деньков увидимся. Может, принести чего? У меня капуста нонче – прямо удивление, люди жалуются, мягкая уже, оно и правильно, апрель на носу, а нашей хоть бы что, хрустит и такая ядреная! Принести?

– Спасибо. Куда нам, тумбочки ломаются. Выйдем – тогда, может, в гости нагрянем, так под твою капусту-то... куда с добром, а, мужики?

Федор Стуков неумело улыбнулся окривевшим ртом.

– Ух вы, озорники, вам бы только...

Тетка Катя не смогла договорить, у нее самой губы потянуло судорогой и в горле стало, точно от дикой груши. «Что ж ты, милая, всех убогих жалеть – надорвешься», – подумал Стуков вслед выбежавшей из палаты санитарке и, выбрав самое крупное яблоко, пошел за ней...

– Девять, верно, уже? – спросил вернувшегося из курилки Анатолия Крутиков.

– Без десяти восемь. И куда это ты, дядя Саша, все топишься у нас?

– Доживать пора, муторно.

Вечером, когда расходились по домам врачи, заканчивались процедуры и оставалась одна дежурная сестра, отделение немного напоминало жилище, где собрались после работы уставшие за день домочадцы. Из палат доносится спокойный говор, шелест переворачиваемых страниц, на посту уютно зеленеет абажур настольной лампы. Но ощущение домашнего покоя обманчиво, нет-нет и пронесется по отделению стон, и все головы обернутся в его сторону, или гроыхнет стулом в дальнем закутке спрятавшийся от всех старый человек, заново на-

чинающий учиться ходить. «Успеть бы, – думает он, – жить-то осталось всего ничего...»

Спать ложились рано, Крутиков за день смертельно устал бороться с собственной немощью, у Стукова к вечеру подскакивало давление, и от электрического света болела голова, Анатолию – утро, вечер – все едино, спать готов сутками, у Петрова бессонница, не поддающаяся никакому снотворному, ему тоже безразлично, девять сейчас или двенадцать. Если же и забудется ненадолго, старый кошмар, который год мучающий его, заставит открыть глаза. Сон этот стал неотделимой частью существования Ивана, как родимое пятно, как шрам. Сначала на него наступает падающий лес, затем деревья исчезают куда-то, и Иван оказывается на краю рва. Начинает перебираться через него, а следом – не то волки, не то собаки. И вдруг слышит, за рвом мужик голосит: спасите, помогите! Ну, думает, обирают человека. Перемахнул через ров – никого, а собаки, те все не отступают. Изловчился Иван, поймал одну, изорвал в клочья, так нет, опять целая, бежит, за ноги хватает. Потом приходит к болоту и видит, из камышей кто-то в него целится. Иван за винтовку – не стреляет. Кинулся в камыши, придавил изо всей силы того, кто целился, а он лежит неподвижно и только смотрит на Ивана, в глазах ни боли, ни страха, ни просьбы. И вдруг Ивана осеняет: глаза-то удивительно знакомые! Чьи, ни разу не смог вспомнить, знал только, смотрят они на него издали, из той, довоенной, жизни...

Он опускает ноги с кровати и долго сидит, разглядывая темноту.

Деревня, где жили Петровы, в войну сгорела дотла. Маленькую, дворов на двадцать, слизнуло ее краем огромного пожара, и История, вполне возможно, не заметила этого. Возвращаясь с фронта, пришел он на родную землю. Точно незаживающая рана болела она без привычных деревень, людей и посевов, и вместе с ней кровоточила душа Ивана. Бежал он от этой боли в Сибирь, там жила сестра, единственная уцелевшая из всей родни. И не было в нем стыда за свою слабость, были горечь и злость, отданные работе, а вернее сказать – утопленные в ней.

Валить деревья – наука нехитрая, Иван быстро совладал с ней, находя в лесу забвение и блаженную усталость. Сестра жила в городе, неподалеку, он ездил в гости, но не так часто, как хотелось ей. Звала перебираться насовсем, однако, он не захотел тогда окончательно расстаться с землей, с деревней. Около года прожил в леспромхозовском общежитии на краю Рожневки, а потом женился на печальной и одинокой женщине, готовившей лесорубам обед – Анастасии. Беднее ее дома в деревне не было, стены – плетень, обмазанный глиной, на крыше – заросли бурьяна. Когда весной шел тот бурьян в рост и ожившие корни будоражили землю, она просыпалась сквозь ветхий настил, падая на стол, на постель. Иван за лето срубил новый дом, соединил его с прежним, сносить не стал, уважая чье-то трудное время: не в радости, видать, строили такую ветхость и не в достатке – вон сколько леса под боком, а взять не могли... Обжились потихоньку, обзавелись хозяйством, Иван день ото дня все крепче прирастал к новому месту. Одно плохо, детей у них не было. К сорока годам Анастасия заболела, хворь у нее случилась какая-то загадочная, врачи беспомощно разводили руками и всякий раз делали новые назначения. Вся жизнь Ивана проходила в работе, где он двойной тягой рвал себе хрип, чтобы прочно стать на ноги, – не давала покоя обида за поруганную землю, за разоренный родительский очаг, – в хлопотах по дому, огороду, в заботах о больной жене. Не было места в его жизни праздникам, людям, которые могут украсить любое бытие лучше всякой хозяйственной радости. Но с одним человеком Иван все-таки сошелся и стал со временем все больше и больше дорожить его дружбой. Это был дед Матвей. Трудно сказать, что связывало этих людей, в деревне считали, не пара старик Ивану, хозяйством не занимается, часто весел без причины, разговорчив не в меру, живет, сколько помнит его Рожневка, один. Справедливости ради надо сказать, что веселость деда Матвея не была шутовской и не длилась бесконечно. Иногда он неожиданно замыкался в себе, днями бродил в одиночестве по берегу реки, потом стаскивал на воду лодку и уплывал вверх по течению. Возвращался через неделю, посветлевший, будто трава, умытая росой.

Анастасия чувствовала себя все хуже. Разъезды по больницам совсем расстроили хозяйство Петровых; дед Матвей в отсутствие Ивана приходил кормить живность и замечал, что ее становится все меньше. А тут врачи какой-то курорт порекомендовали, как знать, глядишь, поможет... Но свозить Анастасию на курорт они не успели, умерла она в самом начале лета. Хозяин был в огороде, сажал картошку, так и не услышал, что сказала жена напоследок.

Дед Матвей сделал гроб из досок, сложенных у него в сарае несколько лет назад для новой лодки. После похорон дед сел напротив Ивана, помолчал, горестно крутнул головой и вышел. Назавтра, едва рассвело, он отвязал свою лодку.

Вернулся на этот раз недели через две. У хозяев весело разрасталась первая окрошечная зелень, вода освободила и матвеевский огород, ниже других спускавшийся к реке, и он выделялся в прибрежной полосе серым потрескавшимся пятном. Дед Матвей посмотрел на свою усадьбу пустыми глазами и опять отправился на реку. Так в тот год и не посадил картошку.

Осенью Иван мешками перетаскивал к деду половину своего урожая.

Произошло неожиданное. Иван, всегда одинокий на людях, видевший в последнее время весь смысл своей жизни в единственном человеке, жене, устоял, начал помаленьку копошиться по хозяйству, приходиться в себя. А дед Матвей слег. Не то чтобы больнее задела его беда Ивана – стар он уже, а старому человеку любой удар – двойная тяжесть... Иван полностью принял на себя заботу о больном Матвее, целыми днями сидел у него. Молчали оба. Дед Матвей уставится в одну точку и лежит так часами. Взгляд удивленный и насмешливый одновременно, будто бы говорит: эх, ты, голова, столько прожил на белом свете и не знаешь, что даже самое долгое плаванье когда-нибудь подходит к концу.

Нескончаемо тянулась зима. Дед Матвей почти не поднимался, хотя говорил Ивану, будто чувствует себя хорошо, и просил узнать, не надо ли кому сделать лодку.

– Ищи заказчика с зимы, – поучал, – это тебе что те сани, наперед думать надобно.

Заказчиков не было, и Иван пошел на хитрость: выпи-сал доски в леспромхозе, оплатил вместе с доставкой.

– Порядок, скоро строить начнем.

Лучше деду Матвею не стало. Однажды он окликнул Ивана, кивнул на окно и попросил:

– Весна скоро. Помоги-ка подняться.

С трудом добрались до сенок, где были сложены до-ски. Дед погладил одну, приложил к ней ухо, притих. Слов-но и не доска это, а большая ракушка, в которой всегда слышен шум моря.

– Ну вот, пора и мне.

После смерти деда Матвея жил Иван как бы в неве-сомости: ни рук, ни ног не чувствовал, ни земли под со-бой. Что делал, о чем думал, спроси кто – не знает. Иной раз вспомнит: неужели я теперь совсем один? – и тут же мысль эта уплывет куда-то, вроде не было ее вовсе...

Однажды он обратил внимание на старый лодочный о-стов, чуть выглядывающий из земли; еще одно полово-дье – и его совсем затянет илом, замочет. И вдруг до Ивана дошел весь смысл происшедшего, маленьким и беспо-мощным почувствовал он себя на этой земле. Надо же, столько раз осиротеть в течение одной-единственной жизни! Он теперь казался себе выбитым из последнего окопа в цепи оборонительных сооружений... Вот и деда Матвея не стало, человека, который всегда уносил с собой чужое горе. Иван знал, куда плавал Матвей, на Мыльни-ковскую яму – так называется единственное глубокое ме-сто на реке, там с одного берега почти не видно другого. На середине дед бросал весла и подолгу сидел, глядя на воду.

Ничто больше не держало Ивана Петрова здесь, на чу-жой земле, вернувшей против его воли все, с чем когда-то пришел он сюда – боль, разочарование... Не было только злости, сгорела за три десятка лет.

– Температурку! Температурку мерять!

Сестра бесцеремонно включает свет. Шесть часов утра, начинаются первые процедуры. Каждому на тумбоч-ку она ставит баночку с таблетками.

– Какие-то новые, что это?

Стуков с любопытством разглядывает розовую пилюлю.

– Врач назначил, у него и спрашивайте.

– А где вот такие маленькие, мне их все время давали?

– Странные люди, почему я-то знаю? Что написали, то и положила.

Через час сестре меняться, она устала, глаза кажутся неестественно большими от глубоких теней, окружавших веки. Стукову жалко сестру.

– Что, Оля, не пришлось поспать?

– Да чего там! – сразу оттаивает она. – Дома выплусь...

Ну, счастливо оставаться. Свет-то выключить?

После завтрака начинается обход. Сначала заведующая отделением, высокая властная женщина, пролетает по коридору со свитой медперсонала, затем врачи расходятся по своим палатам. Сергей Петрович – самый молодой врач отделения, может, потому он всегда подчеркнuto строг, сосредоточен. На нем модные вельветовые брюки, красивые заграничные туфли, на руке предательской новизной поблескивает обручальное кольцо – женился совсем недавно.

– Вставал? – кивает на спящего.

– Нет, – отвечают хором.

– Надо поднимать, хватит.

Врач потрогал больного за плечо, но тот, промычав что-то невнятное, поглубже зарылся в спутанную постель.

– Теперь, думаю, сам встанет, заставьте его на обед сходить обязательно... Итак, что у вас новенького?

Он подсел к Крутикову, откинул одеяло. Молоточком обстучал конечности дяди Саши, чиркнул острым хвостиком рукоятки по животу – никакой реакции.

– Хорошо, прекрасно, – фальшиво приговаривает доктор, – теперь попробуем встать.

Дядя Саша, приподнявшись, с трудом подтягивает к себе стул для опоры. Большие руки его с широко разведенными тяжелой работой казанками кажутся еще сильными, но сейчас они дрожат от напряжения, едва справляясь со столь простым делом. Доктор обходит его, чиркает молоточком по спине, по икрам.

– Ходить надо больше, двигаться.

– Сколько можно ходить-то? Находился... Всю Европу прошел и проехал... Вот в Геленджике дочь у меня живет, поеду на все лето. Восемь лет назад ездил, хорошо было, думал даже, сам пойду, без костылей.

Сергей Петрович рассеянно смотрит мимо больного, похоже, не верит в Геленджик.

– Дело нужное, отдохнете, погрееетесь.

Следующий – Федор Стуков. «Сейчас опять начнем от печки», – думает он без энтузиазма, потому что врач постоянно расспрашивает обо всем на свете, пытаюсь добраться до корней болезни. Интересно, что нового он узнать хочет? Все тут ясней ясного.

– Простужались часто?

– Как не простужаться? Под Ленинградом бои – Ижора, Колпино – нас в пилоточках застали, налегке. Кругом сырость, болота, двое спят, третий из-под них воду вычерпывает. Не вычерпал – и так спим. Потом в госпитале лежал, по тридцать чирьев было.

Врач пишет что-то в пухлой истории болезни, затем меряет у Стукова давление.

– Вы мне раньше все таблеточки маленькие такие давали, по-моему, хорошие...

Сергей Петрович сделался строже обычного, сейчас, наверно, скажет: больной, мне виднее, что назначать, что отменять! Но, видно, передумал и ответил с простой человеческой досадой:

– Кончились, будь они неладны! У жены (тоже медик) спрашивал, нет и у них.

– Как называются-то? – поинтересовался Анатолий и тут же записал.

С Петровым у доктора разговор не получается. Тот не доверяет его молодости и первым делом обидно спрашивает:

– Вы учиться-то кончили, Сергей Петрович?

Доктор не удостоил его ответа, прошелся по костистым Ивановым ногам, померял давление – все молча.

– Домой-то скоро?

– Как сочтем нужным, – сухо отчеканил Сергей Петрович.

– Чего тут зазря валяться?

Едва доктор скрылся за дверью, из кучи белья показался маленький сухой старичок с легким седым пухом на голове.

– Здоров же ты спать, Ефим! – поприветствовал его Петров.

– Первый раз и выспался, а ты уж и позавидовал, неплохо.

– Кому завидовать, у тебя жизнь хуже собачьей, обижают все.

Ефим с любопытством вытянул шею, не разыгрывают ли? Но Иван, не поднимая головы, сосредоточенно занимался своими сетями.

– И правда ведь, всю жизнь мучился. В молодости жрать нечего было, сейчас вот в больницу попал.

– Брось прибедняться, – одернул его Стуков, – в шестьдесят пять лет, можно сказать, заболел впервые по-настоящему – на жизнь он жалуется!

– А что ж, и жить-то стал, когда к шестидесяти подошло. Дети работать пошли. Раньше как – в зарплату долги отдашь и опять в долг.

– Ну, ты горазд! Кто говорил, боится, что без него деньги пропадут? А оказывается, у тебя и денег-то отродясь не бывало! Наверно, потому и не было, что складывал, машину, поди, собирался покупать?

– Какая там машина? На гараж не хватит.

– Что ж, не научился, значит, воровать... А теперь какие с нас вору, руки, смотри, трясутся.

Петров отложил сеть и внимательно посмотрел на свои длинные пальцы.

– Теперь и пожить бы, – продолжал Ефим, – да куда там – хромой, слепой... Знаешь, как я мучился? Я бы себя застрелил, честное слово!

– Ты бы себя не застрелил, – спокойно возразил Петров.

– Знаешь, Иван, когда шутки, я понимаю, а тут... Я ведь серьезно, так мучился! Кровоизлияние – не шутка. А жена ничего путного принести не может. Возьму и не пуцу ее больше сюда, мне хватит, что дают покушать.

– Кто же тебе яблоки принесет?

– Дочери принесут.

– Нет, что ни говори, жена есть жена.

– Дурак я, деньги на нее переписал, теперь жалко, останусь без копейки. А подумаешь – на кого еще? Дети на золото пустили бы, видел, все в золоте ходят?

– Ох, Ефим! Выйдешь из больницы – Христом-Богом просить будешь: носочки постирай.

– Что ты, Иван! Я сам все стираю. Дети приходят: ты что, папа, простыни новые купил? Во как отстирываю!

Появилась массажистка, она сегодня была не в настроении, работала молча. Ефим не мог лежать спокойно, и Ирина то и дело сердитым движением руки заставляла его не шевелиться. Как всегда, тяжело переносил массаж дядя Саша, кряхтел, давил руками неотзывчивый металл кровати. Ефим посочувствовал:

– Ты, Александр Иваныч, накали на сковороде соли, погрей больное место, а потом намажь тигровой мазью, понял?

– Понял, кедровой, – морщась, неправильно повторил глуховатый Крутиков.

Все заулыбались, и Ефим, слышавший не лучше дяди Саши, решил, что ему не доверяют.

– Точно, все испытано. И еще на жестком надо лежать, там косточки есть, одна за другую зашла, следует их на место поставить. На курорте даже растяжку делают.

– Ты научишь! – вмешался Стуков. – Может, у него совсем другое заболевание, позвоночник-то передавлен. Вдруг еще хуже будет?

Крутиков тяжело вздохнул и покачал головой – не то соглашался, не то возражал.

– Ничего, Александр, – успокоил Петров, – у нас тут скоростное отделение, все, однако, побежим.

– Как это? – не понял Ефим.

– А посмотри, на заднице «НО» написано, погоняют, чтобы скорее бегали.

– Ну да? – Седенький нимб недоверчиво склонился над казенными штанами. – Это значит – нервное отделение.

– Много ты понимаешь!

– Побежишь тут, как же! Лечат всех одинаково, одни и те же капли дают.

– Ты не наговаривай на врачей, Ефим, – заступился Стуков, – не то разуверишься, лечиться плохо будет. Все на медицину жалуемся, а идем опять же к врачам. Такие уж мы есть. На милицию тоже обижаемся, а чуть что – милиция!

– Ну, тебе нравится, я вижу, наш доктор, мне – не очень. – Петров почесал дужкой очков за ухом. – Может, он и человек хороший, но как специалист – не по мне.

– Откуда ему быть специалистом? – обрадовался поддержке Ефим. – Я читал, за границей на врача семь лет учат, а потом отдают в практиканты опытным докторам еще на пять лет. И даже никакого документа сразу не положено, только после практики смотрят, что из него будет.

– Видишь ли, дорогой, раньше четыре класса кончали или семь и специалисты были – куда с добром, потому что не ленились, вникали во все тонкости дела. Врачи ладно, ты возьми кого другого, учатся для диплома. Кончает институт тяжелой индустрии, а работать идет в лесную промышленность: нанюхался, попробовал во время учебы, не захотел. Тот же, кто учился на лесника, затосковал в лесу, пошел в цех. Вот тебе и специалисты...

После переезда к сестре Иван Петров разболелся не на шутку. Недомогание, вызванное проснувшимися к старости ранами, контузией, не рождало жалости к себе, одно лишь глухое раздражение. Главное, пожалуй, что мешало Ивану бороться с болезнями – душевный надлом, с которым уехал он из деревни. Иван называл себя никчемным человеком, нарочно умаляя при этом свои фронтовые заслуги. «Ну, воевал, эка важность, война – воробьиный скок по сравнению со всей прочей жизнью, а она, вишь ты, – псу под хвост». Если б ему сказали, бывает, мол, не везет, он бы спросил: кто? или кого? – и был бы искренен в этом вопросе. Несмотря ни на что, он не признавал власти обстоятельств над человеком. Это Иванов спасительный противовес. «От безделья все болячки», – ворчал он, но дела стоящего найти не мог: куда годится инвалид с трясущимися руками?

Вокруг непривычно близко друг к другу жили люди, много людей. В одном их доме, считай, полторы деревни

уместилось, но ближе от того сосед соседу не становится. Ему и самому ни разу не пришло в голову взять да и зайти к кому-нибудь. «Ну, я-то, допустим, бирюк известный, – ду- мал он, – а эти что? – И тут же объяснял себе, надо сказать, без особой убежденности. – Стены здесь дуже толстые, не чуется человек человека». Со свалившимся на него обилием свободного времени в Иване проснулось необычайно въедливое любопытство ко всему происходящему вокруг. Его поколению, у которого лучшие годы отняла война и нескончаемая работа, зачастую приходилось заполнять свою жизнь как бы с другого конца. Один вместе с внуком штудирует школьную литературу, не по обязанности, са- мому интересно, другой безуспешно пытается сдать на водительские права, – как раз к пенсии скопил на маши- ну, – третий, проклиная на чем свет стоит себя и старуху, толчется в очереди за новым мебельным гарнитуром... Иван удивляется, что никто – и он в том числе – не хочет мириться с самым бесспорным: пустые хлопоты все это, мишура, а жизнь все равно уходит, и ничто не задержит ее. Как знать, иной раз и мишура – жизнь... Все время теперь он думал об этом, стал много читать, смотрел телевизор с утра до ночи, изо всех сил стараясь понять занятую, «крутую», как сам говорит, а главное – совсем новую для него современность. И все же кое-что не понимал. Оттого с особым вниманием слушал своих городских соседей по палате, вставляя иногда собственные замечания.

Федор Стуков жил по соседству с Ефимом, через дом, правда, узнали они оба об этом лишь здесь, в больнице. И работали, оказывается, недалеко друг от друга: Ефим на заводе, где изготавливают двигатели, Федор – за оградой, на комбинате стеновых материалов. Стуков уже несколько лет был на пенсии, но на свою бывшую работу похажи- вал частенько, тосковал. Сосед же его, если б не болезнь, работал бы по сей день.

– А чего тебе не работать, – подзуживал его Федор, – знай себе деньги получай, делать-то ничего не надо.

– Да я два года только на окладе, всю жизнь сдельно вкалывал: сколько сделаю – столько получу. Не бойся, свою норму всегда выполнял.

– Норму он выполнял! А то я не знаю вашу наладку, отродясь туфту подписывают. Сам, поди, и подписывал, когда мастером был?

– Я не подпишу – другие подпишут.

– Правильно, кому-то надо премию получать, а сделал ты станок или нет – вопрос второй.

– Таких, как ты, Федор, я вот честно скажу, не больно-то на производстве терпят, выгоняют и нигде потом не берут. Были у нас такие люди...

– Производство! Тьфу ты, господи! С вашим-то производством я знаком, – вступил в разговор долго молчавший Анатолий. – Ни одного агрегата не поставили без дополнительной наладки. На монтаже раз были – хорошо, куратор с вашего завода присутствовал. Ставлю я двигатель – патрубок смотрит не в ту сторону, кручу и так, и этак – без толку. Подхожу к мастеру, такие вот дела, говорю. Не может быть! Побежали за куратором, смотрят – чтоб тебе пусто было! Это ж двигатель с другой системы, его в Усолье-Сибирском ждут не дождутся. Или еще помню. Закрываем турбины, гайки осталось закрутить, глядь – а они не те, гайки-то, резьба другая. И что ты думаешь? Самолет снарядили за этими гайками! Там ящичек – в одной руке унесешь, а за ним самолет. Вот он, ваш завод!

– При чем тут производство, это все сбыт. Я, например, свои станки знаю как пять пальцев: токарный, фрезерный, сверлильный...

– Да ты пять-то пальцев знаешь? Какой вот этот?

– Не вижу, мне зрачки закапали.

– Ну вот, не видишь! Не знаешь!

Шутка развеселила лишь самого Анатолия, Петров тем временем настроился на серьезный разговор.

– Выйду – сразу же отправлюсь на прием к директору химкомбината, письмо понесу. Пусть в письменном виде ответит, почему у них металл с реконструкции цехов идет в отвал? Я рядом живу, все вижу. Там и листовое железо, и швеллера, и свинец, и алюминий... Пускай ответит. А нет – в Москву пошлю копию, вон у Ефима дочка проводником работает, увезет. В ЦК напишу, министру черной металлургии, химическому министру. Мне бояться нечего, на войне не такого набоялся.

– Обидно, – поддержал его Стуков, – мы когда «Запорожсталь» восстанавливали, по земле винтики, гаечки собирали, все в дело. Америка говорила, что нам не меньше двадцати лет понадобится, чтобы восстановить, а мы его через три года запустили... Сталинград заново отстраивали – все котлованы вокруг города чистые, а они там ой какие! Зато у нас все завалено битыми плитами. Сутками на комбинат щебенку везут, обратно – бракованные плиты. Я сейчас там в народном контроле, ну, по партийной линии – поручение. Мишку-то Войленко знаешь, наверно, Ефим? Сосед твой? Старший мастер, едрена корень! Прижучили мы его за качество, за перерасход материалов – так на нас же и поднялся, пугает, наглец этакий! Будто мы государственное добро переводим, а не он.

– У-у, Миша твой живет кум королю. Сколько уж домов в пригороде отстроил! Один сделает – продаст тысяч за пять, потом другой. Плиты бракованные ему ничего не стоят, для большого дома они, может, и не годятся, а для деревни – самый раз.

– Не свое, – заворочался дядя Саша, – потому и не жалко... До войны мы мясо сдавали, молоко. Нас заставляли скот держать, чтобы не ленились. Так мы ж не в колхозе были... С его же, с колхозника, и молоко, и мясо, и яйца, он и в колхозе, и дома – везде успевал. У нас в Торках – городишко небольшой – помню, одиннадцать пастухов было, это, значит, одиннадцать гуртов. Сейчас понастроили – город стал – бродит один-единственный гурт. Сказать, подалее в селе скотины много – нет, не скажешь. Кой-кто объясняет, мол, скотину дома не держим, потому что кормить нечем, а куда он девался, корм этот? У нас за речкой луга какие, годами не выкашивают, знать, и корма хватает, не нужон если...

Дядя Саша устал, полез за таблеткой и затих, плохо думая про себя, завидуя Стукову, который мог ходить на завод в народный контроль и говорить вору, что он есть вор.

В том городе, где жил Крутиков до войны, была большая железнодорожная станция. Крутиков, благодаря ей, стал пролетарием, сознательно строящим на земле ком-

мунизм. Он ни минуты не сомневался, что построит его, потому-то не было в довоенной жизни дяди Саши места отчаянью и бессильным слезам. Он насыпал песок и щебенку под будущие рельсы, строил станционные здания, с каждым годом укрепляясь в своей силе и уверенности. Война закончила его строительство, а с ним и всю его жизнь, оставив, точно в насмешку, огромные рабочие руки, чтобы передвигал он свое немощное тело. Так теперь думал он о себе. Последний раз Крутиков помнил себя здоровым, когда они рядом с войной помогали гражданскому населению убирать урожай. Было наслаждением смотреть, как женщины ловко управлялись со снопами, одним движением схватывая их перевяслом. Он увлекся работой и знакомым чувством, повторяющимся каждый год по весне, когда у него, пролетария первого поколения, через рабочие башмаки зудились и горели пятки от ощущения пашни, в которую клали семена хлеба многие поколения Крутиковых. Потому ему было стыдно и хорошо перед строем от слов командира: «Ну кто такие снопы вяжет? Тебя же бабы прокляли, поднять не могут...»

Крутиков болел и корил себя за это. В больницу шел неохотно, в тех крайних случаях, когда было уж совсем невмоготу. Зачем, думал, зря людей беспокоить, пусть лечатся, кому на пользу. В Геленджике у дочери он был всего один раз и теперь говорил о предстоящей поездке, зная, что никуда не поедет. Однажды достали ему путевку и чуть не силой выпроводили на курорт, в Горячий Ключ, что под Краснодаром. На второй день после приезда он наблюдал, как экскаватор копает траншею под теплотрассу для нового корпуса. За ковш зацепился какой-то ящик, треснул в воздухе, и из него посыпались мины. Экскаваторщик выскочил из машины – бежать, а он долго еще стоял рядом, мучаясь старой ненавистью к войне, жившей в нем постоянно и не нуждающейся в напоминаниях. «Свои мины-то, – определил дядя Саша, – видно, спрятали и забыли». В тот же день он уехал домой.

К Крутикову пришла старшая дочь, усталая сорокалетняя женщина с серьезным лицом и грустными глазами.

Посетителей к нему и Ефиму пускали в палату. Ефим, хотя и передвигался без посторонней помощи довольно бойко, вниз спускаться категорически отказался: боюсь на лестнице разбиться, глаза плохо видят... Гостя поправила постель у отца, заглянула в тумбочку.

– Опять ничего не тронул, пропадет же все, папа!

– Я и говорю, не носи.

Покачав головой, она стала выкладывать новые свертки, на постель положила три больших апельсина.

– Это еще зачем? Отнеси назад, ребятишкам.

– Можно подумать, у них нет, ешь давай.

– Что я, апельсинов этих не видел?

– Много ты у нас видишь, как же! – с неожиданной досадой на себя возразила дочь. Тут же задумалась ненадолго и потеплела лицом. – Вспомнила, когда у нас первый раз появились апельсины. Уже после войны, лет пять, больше прошло, мы тогда в бараке жили, помнишь? Какой-то праздник был, дядя Веня принес большие часы с маятником и дверцей стеклянной, а в часах апельсины. Ты и тогда их есть не стал...

Они еще немного посидели, тихо поговорили о семейных делах, затем дочь, попрощавшись со всеми, ушла. Следом появилась одна из дочерей Ефима. У него их три, и все настолько похожи друг на друга, что никто в палате никак не мог запомнить, которую как зовут, хотя Ефим каждый раз громко объявлял: «Глядите-ка, это моя»... – и он называл имя. На этот раз пришла Дина, проводница. Прической она напоминала массажистку Ирину, ростом невелика, в отца, глаза быстрые, цепкие. С порога она обстреляла взглядом всю палату и, не найдя ничего стоящего внимания, обернулась к отцу.

– Очки принесла?

– Вот, возьми.

– О, господи прости! Зачем мне эти? Темные надо, говорил же!

– Где я их возьму, мои, что ли? Разобьешь, фирменные.

– Во! Видали? Фирменные!.. Ладно, – Ефим быстро успокоился, – ты мне тогда коробку конфет достань. Для дела. Надо будет с массажисткой договориться, чтобы домой ходила, когда выпишусь. Массаж, говорят, сейчас

самое главное. Дам ей тридцать рублей в месяц, пускай массирует.

– Будет она за такие деньги ходить, держи карман!

– Ты думаешь, она сильно много здесь зарабатывает?

Девяносто рублей – не хочешь?

– Девяносто здесь да на стороне триста, а ты... Какие это нынче деньги?

– Давай коробку тащи, остальное мое дело.

– Пойду, мать там внизу, халатов не хватает.

Перед приходом жены Ефим сделался как-то особенно недовольным. Она вошла неуверенно, боком, робко поздоровалась.

– Плохо лечат, – сразу заявил Ефим со слезой в голосе.

– Ну-ну, ты не будь бабой Симой, будь Верой Ивановной, – точно ребенка, увещевала его жена. – Говори, что ты не больной, а здоровый.

– Я ведь и не хотел сюда идти, в больницу-то...

– Ничего, скоро выпишут, дома долечимся.

– Дома! Там девчонка эта сверху с утра топтать начинает, из садика заберут в пять часов – и до одиннадцати грохот, с ума сойти можно... Как твой кашель? – вспомнил он вдруг.

– Ничего. Врач говорит, воспаление легких, а я так думаю – ерунда. Мне надо быть здоровой, пока ты болеешь.

– Ты отдыхай, гуляй на улице.

– Некогда все, сейчас еще за Тимофеевну убирать приходится, разболелась старушка. Ну, давай прощаться, на работу надо.

Она прижала его к себе, погладила по затылку. Всем показалось, будто Ефим тихонько всхлипнул. Попрощавшись с женой, он начал деловито разбирать авоську.

– Нет, вы видели, а? Сколько денег на нее перевел, на пенсии, а работал, так она в благодарность вот какие яблоки принесла. Чужой человек давеча был, с работы, принес – это я понимаю. Тут же гниль одна.

– Ну ты, Ефим, даешь! Яблоки как яблоки, – заметил со своего места Анатолий. – Не стыдно, она тебе трех девок родила, а ты? Больная совсем ходит, это ж понимать надо.

– Да, молодец она, мужик на такое не способен, – продолжил Стуков, – кишка тонка. В Ленинграде, в сорок пер-

вом, все больше мужчины мерли, женщины в сорок втором стали погибать, они к жизни способнее.

– Как она бегала, чтобы меня в больницу засадить! – гнул свое Ефим.

– Дурак ты, истинный бог! – скучно сказал Крутиков.

Неожиданно Ефим нашел поддержку у Петрова.

– Чего там, все они кобры, женщины эти.

– Во, Иван, точно, умница ты, Иван!

– Именно. А ты – удав.

Ефим опешил.

– Есть у хохлов такая поговорка, – не давал ему опомниться Иван. – Очи бачили, что брали? Бачили. Ишьти тогда, чтоб вам повылазило! Ты ж, поди, доволен был, когда молодую брал?

– Да она не хозяйка сроду, приду с работы – посуда грязная...

– Знаешь, Ефим, когда ты ошибку сделал?

– Знаю, конечно. Когда женился.

– Нет. Когда родился.

Неискренне хихикнув, Ефим закончил опасную тему. «Заклюют», – решил.

После ужина Анатолий сходил куда-то и, вернувшись, протянул Стукову коробочку с лекарством.

– С утра всех своих на ноги поднял, достали черти!

Федор, встав столбом, задергал больными веками, попытался и не смог отчетливо произнести «спасибо» своими и без того непослушными губами. Будучи человеком добрым, Федор Стуков от доброты других становился слабым.

Женился Стуков на ленинградке, познакомился с ней по возвращении с войны здесь, в Сибири, куда она была эвакуирована вместе со стариками. Так совпало, что дважды породнился с Ленинградом – через фронт и через жену. В первую же ночь их свадебная кровать рухнула, едва присели с краешку. И весу-то в обоих было всего ничего, а поди ж ты, не выдержала, такой рухлядью оказалась. Однако жить стали хорошо, потому как им теперь, без войны, и нельзя было иначе. Родилось у них трое детей, старшая – дочь и два сына. Между детьми большая

разница в возрасте, младший только нынче должен школу заканчивать. Учится на тройки, дальше получать образование не хочет, токарем, говорит, пойду, хватит мне на пропитание, а ты, отец, ничего в современной жизни не понимаешь. «Бог с тобой, – думает Федор, опасаясь за свою неумелую науку. – Старшего научил музыке – тот взял и уехал в другой город, и добро бы за чем – в ресторанном оркестре играет. Вот и вся современность им», – огорчается Федор. Сам он играет почти на всех инструментах, от отца перешло. Жили они раньше на самой окраине города, по-деревенски, держали хозяйство. Отец был первым человеком на гулянках, на струнных играл. Старший брат Федора, едва окрепнув в самостоятельной жизни, корову продал – гармонь купил, тальянку. На ней Федор и учился попервости.

Если у Стуковых все дома, в прихожей ступить некуда из-за невероятного количества обуви. Башмакам здесь тесно, а люди ничего, уживаются. В небольшой квартире помещаются хозяин с женой, сын и дочь со своей десятилетней девочкой, внучкой Стукова. У дочери есть своя квартира, но она не любит оставаться там без мужа. Геолог он, отсутствует подолгу. А приезжает – все равно неделями живут у Федора. Соседи за спиной их крутят пальцем у виска, понимая очевидную ненормальность перенаселения. Удивляется и зять: тянет туда, ничего не могу поделать. Год назад пришлось еще потесниться. Верхний сосед поинтересовался у Федора: пианино не купишь? Стуков перетащил инструмент с пятого этажа на третий, надеясь, что внучка, как существо, обладающее от природы большим разумом, чем их брат, мужчина, распорядится будущим умением лучше своего дяди.

Однажды к Федору пришли пионеры из школы, попросили рассказать, как воевал. Стуков считал, что ничего особенного на войне не совершил, но не удивился, понимая, что все меньше их остается. Вот и его черед пришел ребятишкам про войну рассказывать. Говорить начал – самому стало скучно. Не умеет. Пионеры попросили фронтовые фотографии для школьного музея, и Федор, как ни жалко было, не смог отказать – дело нужное. Одну, правда, особенно понравившуюся школьникам, оставил себе,

а потом долго переживал: нехорошо получилось. На той фотографии он держит баян почему-то вверх ногами, рядом старшина Смирнов и хороший товарищ Стукова тезка Федя Приставкин. Ребят, наверно, привлек смирновский иконостас – такого набора во всей роте не было. Стуков подумал, пожалел – и понес карточку в школу. Пришлось долго ждать, пока нашли ключ от комнаты, где хранятся все военные документы. Захотелось самому положить фотографию рядом с другими своими. На стенах комнаты умело вычерченные боевые пути наших армий, много фотодокументов – все больше копии с известных журнальных снимков. «Ищите», – учительница придвинула три больших коробки из-под детских игр. Федор открыл одну и увидел горой лежащие фотографии, в точности, как у него. Сколько тут Смирновых, Приставкиных, и награды есть почище, чем у ротного старшины. «Да, братцы, тесновато вам живется, – посочувствовал Федор и обернулся к учительнице: – У вас уже есть похожие, я, пожалуй, оставлю эту себе». – «Как хотите». – Она пожала плечами и первой подошла к дверям.

Болезнь свалила Федора неожиданно. К тому времени он уже не работал, помаленьку занимался домашними делами, гулял. В одну из прогулок и скрутило его. Врачи потом спрашивали, как, что, почему, нервами интересовались.

– Вам никогда не хотелось в переполненном транспорте толкнуть кого-нибудь, ну, кто сильно напирает, допустим?

– Зачем? – не понимал он.

– А в кино не бывает, чтобы вы плакали?

– В кино? Нет.

Среди ночи внезапно загорелся свет, все поднялись.

– Что случилось?

Ефим стоял возле выключателя, зло всхлипывал.

– Не могу больше, это кошмар какой-то, они храпят и храпят, – указал он на Анатолия и Стукова. – Домой хочу, я там лучше себя чувствовал. Лежишь себе спокойно, девчонка эта, так она в шесть из садика придет, в девять уже ложится. Убегу-у!

Со сна не сразу поняли, в чем все-таки дело. Первым опомнился Крутиков.

– Сколько я по госпиталям провалялся, – побагровел он, – таких себялюбив, как ты, не видел. Ты, брат, свинья, и разговаривать я с тобой не буду.

– Вы тоже нервный, зачем лишнего нервничаете? Если я не могу, что теперь? Вот кто-нибудь пройдет, стукнет – я прямо вздрагиваю весь.

– Нипередкемятакнеговорил,никтоне скажет, сколько здесь лежу, а вот тебе говорю: в военном госпитале тебя за такие дела костылем бы прибили. Пришел только что и уже порядок свой устанавливаешь. Ты подумал, что он головой мучается, Федор-то? Он пять минут похрапел и перестал. А если в доме восемь человек, что, будить всех?

– Не знаете, а я даже из санатория убежал на десять дней раньше из-за этого.

Крутиков не стал продолжать разговор, начал одеваться, натягивать ортопедические ботинки, что всегда давалось ему с большим трудом. Наконец придвинул к себе костыли, глянул на Ефима, будто плюнул, и вышел.

– Нехорошо, Ефим. – Стуков прикрыл глаза от света рукой. – Тебе шестьдесят пять, ему столько же, ты ходишь, а он нет...

– Да он нервный, у него работа тяжелая была, кочегар.

– Ерунду говоришь, он на железной дороге работал, и то почти сорок лет назад, при чем тут это?

– А я не могу, меня ярость от всякого шума берет.

– Тебе и луковица упадет – в ярость? На каждого человека, Ефим, палату не сделаешь... А ты, извини, глуховат не только на ухо.

На утреннем обходе врач сказал Крутикову:

– Скоро выписывать будем. Немного поддержали, остальное, увы, от медицины не зависит. Но вы у нас молодцом, я таких больных не часто встречал.

Все ждали, что сейчас Ефим начнет проситься домой, но он промолчал. С самого подъема лежал, отвернувшись к стене, должно быть, обижался.

– Ты не спи, Ефим, – побеспокоил его Стуков, – что ночью-то делать будешь?

– Я не сплю, я как ты меня учил.

– Мечтаешь?

– Ага. Про детдом мечтаю, как за черникой ходили, ко-ней воровали.

– Ефим – конокрад, надо же! – Петров даже протер очки.

– Воровали. В Одессе у нас привоз большой, рынок то есть, там и кормились. Раньше частники конфеты делали, стоят, по корыту конфет у каждого. А у нас, детдомовцев, рукава длинные, широкие, пойдём – копейки две в кармане – а приспособились, по целому рукаву набирали. Один раз я попался – отколотили. Или в бочках с вином дыры сверлили, по ведру нацеживали, потом продавали. Ничего так жили, только зимой плохо ходить, пара ботинок на троих. Кто постарше, сажает на плечи кого помо-ложе.

– Ишь ты, детдомовский значит? – с каким-то уважени-ем даже спросил Крутиков.

Ефим неожиданно широко улыбнулся и подтвердил:

– Детдомовский. Я сначала в Шепетовке был, потом в Одессу привезли. Слыхали про Шепетовку?

– Конечно слышал.

– Воевали, наверно, там?

– Нет, я рядом прошел, стороной.

– А меня вот не взяли, с завода не отпустили...

Ефим пожал плечами, задумался. Стуков тут же под-нялся со своего места.

– Эх, Ефим, а ну дадим ходу! – И сделал вид, что пля-шет. – Можешь так, а? Тра-та-тушки-и-и! Выпишусь к пят-надцатому, погуляем на дне рождения. Придете ко мне? Посидим, потом к тебе пойдём, Ефим, я теперь адрес пом-ню.

– Точно, заявимся, – заинтересовался предложением Петров.

– Смотри, Ефим, у него ноги длинные, раз махнет – и у тебя дома.

– Он сразу после дяди Саши выйдет, да, Ефим? – спро-сил Анатолий. – Вот и подготовится к гостям. Федору нель-зя пока, давление высокое, Иван сети еще не довязал, так что твоя очередь. Что молчишь-то?

– Он задумался, где водки брать, чтобы напоить всех.

– Ха! Две получки домой носит, денег – море! – Стуков попытался показать, сколько у Ефима денег. – Потому и ходят к нему чаще, любят. Еще бы, две получки! А тут одна – и та...

Ночью опять не спали, плохо было дяде Саше.

Он сидел бледный, комкал испуганными руками запачканную постель. Анатолий сходил за сестрой, но та, едва вошла, зажала рукой рот и тут же выскочила. Федор и Иван, поднявшись, молча начали убирать около дяди Саши, Анатолий принес швабру тряпкой, ведро, потом взяла сестры чистое белье, постелил.

– Может, прогуляемся? – предложил дяде Саше.

– Спасибо, уже ничего, поплю вот...

Когда все успокоились, Анатолий, как всегда, уснул быстрее других. И приснилось ему утро, теплое весеннее утро конца апреля. Только что рассвело, во дворе пусто, лишь возле открытых ворот гаража сидит человек. Это Андрей Андреич, пенсионер и чудака. Целыми днями он возится с чужими машинами, говорят, лучшего специалиста по двигателям не сыскать. Часто мужики, воровато оглядываясь, – не дай бог жена увидит, – по одному заскакивают к Андреичу и запираются изнутри. Выпивают, про жизнь разговаривают. Гаражная зараза, что домино, а то и хуже – бич для семейной жизни, потому хозяйки не любят Андреича. А что на него обижаться, ему не питье, другое важно: лишний раз с человеком обнюхаться – так и говорит. В ранний час, как сегодня, Андреич выходит птичек послушать. Прислушался и Анатолий. Поют. Как-то спешно, по-шаловному, не то что в лесу, где птицы подают голоса размеренно, с фиоритурами, дожидаются ответа, не боясь всеобщей суеты и беспокойства... И не свежесть утра, не аромат новорожденной листвы, а именно этот дурноватый хор заставил настолько остро почувствовать силу пробуждающегося дня, что Анатолий проснулся. Встал тихонько, вышел в коридор, посмотрел в окно. Там чернела ночь и лежали снега; апрель нынче небывало холодный.

Анатолий считал себя человеком бесхарактерным, а попросту – размазней. Все время он шарахается из одной крайности в другую и всегда под влиянием каких-то обстоятельств. Квартиру начали обставлять – дошли до

такого идиотизма, что по дому ходить стало страшно, музеей – руками не трогать! Жену обвинил: мещанство развела в доме, а что ее винить, в парикмахерской все покупают модную мебель – она не хуже. Сам хорош – и деньги с книжки снимал и возился с этими деревяшками – не возражал. Только отошли от мебельной страсти – давай коврами стены увешивать. И опять опомнился не сразу. Постепенно Анатолий начал терять к себе уважение. Ну, что такое, купила жена ему на день рождения золотой перстень с вензелем, понравился, взял на работу, похвастать. А там ребята на смех подняли. Подумал – и правда, кто он, рабочий человек или купчишка какой, приказчик из бакалейной лавки – тоже подходит. Совсем плохо стало Анатолию. Взять да пресечь все разом – как? Жена книги приносит, подписку любую достать может, задаром, что ли? Какую-нибудь колбасу взамен подавай, прическу опять же вне очереди. А без книг нельзя, это настоящее, это детям, это даже он понимает. Пропади все пропадом! Жена говорит, что ковры тоже детям. Он вспоминает свой армейский вещмешок, с которого начал жизнь, и недоумевает...

Анатолий теперь подолгу сидел во дворе – думал. Нет-нет и подойдет к старому тополю, вспомнит, как в детстве лазил по нему. Растет дерево необычно, метрах в пяти над землей могучий ствол разветвляется, образуя розетку, в которой они в давние времена устраивали нечто вроде шалаша – штаб. Не проходило дня, чтобы мальчишки не собирались на своем тополе решать что-нибудь очень важное. Теперь тополь казался осиротевшим, Анатолий ни разу не замечал, залазят ли на него ребяташки нынче. «А им же никто не рассказал! – неожиданно открыл для себя. – Сами не догадались и теперь, наверно, ищут и найти не могут, где бы спрятаться от посторонних глаз и заклеить позором Сашку из шестой квартиры, предателя и ябеду...»

Потом появился старый американский фотоаппарат, который Анатолий приобрел по случаю у вдовы деревенского фотографа. Оптика отличная, «рисует» – за несколько километров провода на столбах видны. С крыши пробовал снимать – весь город как на ладони. Тогда и пришла

ему мысль сконструировать телескоп. В журналах отыскал необходимые сведения и принялся за работу. Витка, сын, не помогал, мал еще, видимо, чтобы заинтересоваться серьезным делом, зато от помощников постарше, ребят восьмого, девятого классов, отбоя не было. Уходя, Анатолий давал им задание, и в мастерской, оборудованной на чердаке, утром и вечером не стихала работа. Все настолько увлеклись, что Анатолия даже в школу вызывали, за двойки; родители показали на него: вот, дескать, виновник плохой успеваемости. Один из его подопечных умудрился схватить двойку по астрономии, ему, разумеется, вынесли на чердаке всеобщее порицание. Стыдно, кругом карты звездного неба, схемы перемещения небесных тел 483 – в общем, завалиться на школьной программе – позор.

В апреле состоялось торжественное открытие их маленькой обсерватории. Всем желающим разрешалось подняться на крышу и посмотреть в телескоп. Любопытные прошли недолгой чередой, после остались только те, кто вместе с Анатолием работал в мастерской. «Это у нас кружок теперь или как?» – поинтересовался кто-то. Анатолий задумался и заявил с важностью: «Общество. Общество любителей неба». Вечерами они собирались наверху и, гордясь, говорили, что для всех прочих привычнее крыши над головами, а вот они ходят по этим самым крышам, над головой же у них только небо – без края, без границ...

Через год общество распалось. Кто, заканчивая школу, готовился к выпускным экзаменам, кто просто потерял интерес к астрономии – в такие годы увлечения меняются часто. Анатолий пошел в школу, предложил заниматься астрономией у него на крыше, но там от предложения отказались. Одно, правда, разрешили: можете принести в школу ваш телескоп, если больше не нужен. Так Анатолий и сделал, посетовав про себя на людей, которым больше подходит смотреть на небо в узкое пространство между домами.

Сейчас он видел из окна черное небо без звезд и привычной апрельской глубины. Думал об ушедших от него юных звездочетах. Они, конечно, когда-нибудь найдут

свою дорогу – в небе ли, на земле... Жаль только, что он не очень помог в этом, не сумел. Может, потому, что сам начал взрослеть слишком поздно? Думал и о тех, кто теперь находится рядом с ним, страдает от болезней головы и сердца, израненных жизнью, войной. «Вот мы и пришли на смену им, не так уж плохи, а все-таки не те...» Давно уже не с кем ему поделиться самым дорогим, что было в его жизни, и вот сейчас, как никогда, захотелось сделать это. Чтобы чье-то больное сердце, напивавшись апрельским небом, задышало с новой силой. Но как это сделать, он не знал...

За дядей Сашей приехала дочь. Он стал раздавать пироги, вафли, молоко. Все подходили по очереди, прощались.

– Ты чего, отец, никак, расплакался. – И дочь пояснила остальным. – Это ему от вас уходить жалко.

Петров долго смотрел вслед дяде Саше и покачивал головой в такт своим невеселым мыслям.

Молчаливую пустоту в палате заполнили звуки извне. Медсестра Ольга в дальнем конце коридора разговаривала по телефону.

– Кто это, ты, Сережа? Андрей? Ну, кто же?

На место Крутикова положили молодого парня. Его сопровождал весь незамужний персонал отделения: красив до неприличия. Ироничная усмешка притушевана болью, но все же не сходит окончательно. У парня не движется шея и сильно болит голова.

– Температура около сорока, – шепнула одна из сестер.

Несколько раз в день у него брали кровь на анализы. Молоденькие сестрички из лаборатории подсаживались к нему на кровать с видимым удовольствием. Петров не выдержал, возмутился:

– Всю кровь у парнишки высосете, ненасытные!

Отлежавшись немного, парень представился куда-то в потолок:

– Сергей.

– Ну вот, уже разговаривать начал, дело на поправку, – обрадовался Иван.

Сергею поставили капельницу, и он, скосив глаза, с недоверием смотрел, как капля по капле в него вливается какая-то чужая жидкость; ему бы уснуть, а поди усни!

– Непривычен болеть-то, – констатировал Федор Ступков, – оно и хорошо, это дурная привычка.

Поначалу дело у Сергея вроде пошло на поправку, через день уже сам ходил в туалет. Но еду пока что носили в постель. Каждый день приходила его жена, совсем юная, похожая на десятиклассницу, с мальчишеской стрижкой и испуганными глазами, такими огромными, что казалось, у нее не лицо, а сплошной испуг.

– Алешка к тебе просился, – рассказывала она, – говорю, к папе нельзя, ты маленький еще, чтобы в больницу ходить, а он в рев.

Сергей слушал ее, глядя в потолок, прощался каждый раз небрежным взмахом руки, точно отгонял.

– Плохо живем, – говорил Анатолию, наверно, потому, что тот моложе других. – Был бы у нее характер поспокойнее, помягче, нет, максималистка, она думает, если семья, значит только ты и я. А у меня работа такая, на такси, могу и задержаться. Попробуй задержись – сразу начинается. Что ты, думаю, песни-то мне поешь, знаю я вашего брата. Встретил недавно одноклассницу, – жена, кстати, тоже в нашем классе училась, – замуж вышла за парня одного, свадьбу только что сыграли. Начала мне глазки строить, дескать, не прочь бы встретиться... Не успел, в больницу попал.

Петров что-то напутал в своих сетях, плюнув с сердцем, отбросил нитки в сторону.

– Слушай, молодой, ты в армии был?

– Был, как же, два года отдубасил.

– Два года – срок. Женатый уже уходил?

– Угу.

– И как, скучал?

– По жене-то? Приходилось. Там интересная штука вышла. Сколько девок на гражданке было, а когда по второму году служба пошла, веришь, не то что имена, лица забывать стал. Одна будто бы и осталась – жена. Приехал – ничего, всех вспомнил.

– А я вот неженатый ушел. Говорили нам, человечество защищаем. Это понятно, долг, только трудно мне

было представить то самое человечество. Ну, ясно, большое, а что еще? И я, помню, все про мать думал, когда начинали про человечество, вроде понятнее становилось... Защитили, значит, и сам, слава богу, жив. Только одна со мной неутрастка получилась: что тогда, что теперь – жизнь прожил – никого, ни жены, ни детей. Там, видно, все мое потомшнее осталось, сгорело вместе с деревней... Так что тебе, парень, и повезло, может. Кроме человечества, еще и за жену с твоим Алешкой пойдешь, ежели что.

Сергей неопределенно хмыкнул.

– У меня сосед, в годах уже, жизнь свою семейную войной называет, дерутся с женой чем попадая, потом по неделе на работу не ходят, синяки замачивают.

– Оно и так бывает: по мирному делу хоть с бабой повоевать. Эх, люди!.. Мы Борьку кололи, помню, поросенка. Грыжа у него вылезла, пришлось до срока. Соседа пригласил, ловок до этого дела, так и он кое-как унял нашего Борьку, активный был поросенок. И что ты думаешь, Машка – вместе их на выкорм брали – чуть не подохла следом. Десять дней ничего не ела, пожует маленько – и отходит. Привыкла, вместе все время. То свиньи, брат...

Петров остался недоволен разговором. «Вишь, – думал, – до коих пор в человеке дурь бродит...» После обхода он ушел из палаты и дожидался в коридоре, когда придет жена Сергея. Едва они простились, вернулся и с порога сделал страшные глаза.

– Ну, брат, что я тебе скажу-у! Язык-то умеешь держать за зубами?

– В чем дело? – забеспокоился Сергей.

Иван прошел к своему месту, маяча из-за спины Сергея Стукову: поддержи, дескать, врать буду.

– Так ты уж, парень, не выдай старика, договорились? Спустился я, значит, позвонить сестре, смотрю, жинка твоя стоит, дожидается, когда халат дадут – очередь там, – а рядом знакомая ее какая, что ли, может, вместе приходили, разговаривают. Меня-то им не видать, телефон за углом аккурат. Твоя и говорит: «Я от него совсем уж было уходить собралась, да заболел вот, жалко такого оставлять. А поправится – надо будет расходиться, не могу, – гово-

рит, – больше этот обман терпеть – гуляет. Лешку заберу – и к старикам».

– Шутишь! – Сергей приподнялся на локтях. – Откуда она что узнает?

– Эка штука! Они, брат, женщины-то с виду только простые, а так хитрющие – куда нам! Опять же город наш – и велик вроде, да что тебе та деревня: улица с улицей перемигиваются.

– Тут в самую точку, – авторитетно подтвердил Стуков.

– Вот оно как оборачивается... – Петров сокрушенно развел руками. – Пацан вырастет, родителям спасибо не скажет, без батьки-то – ох-хо-хо!..

Стуков продолжил:

– Не пропадут, понятно, и поодиночке, молодые еще, только тут беда какая: надо ж заново кого-то искать, а вдруг попадет, что сама гулять наладится – не загадаешь ведь. И вообще, менять их, жен-то, – вон мужики жалуются, – одно на одно под расчет получается. До полной бесштанности этак доменяться можно...

Сергей ничего им не ответил, молчал до самого вечера, чем озадачил Анатолия, отсутствовавшего во время разговора.

На следующий день Сергей Петрович первым делом подошел к новенькому.

– Что-то температурка у нас, тетка, держится, а? Ну-ка, попробуем приподнять голову. Та-ак, ладненько, а если так? Хорошо. Сегодня пункцию сделаем, – как бы между прочим заметил он. – Надо исключить один маленький вопросик.

У Сергея сразу же расширились глаза.

– Я не дам, не имеете права без согласия.

– Вот еще глупости, наслушаются бабкиных сказок. Спроси у них, опасно это или нет? Сколько раз вам пункцию делали, Стуков?

– Два.

– Видите – и ничего.

– Н-нет, я не знаю, – Сергей закусил губу. – С женой надо посоветоваться.

– Советуйтесь побыстрее, – с каким-то холодком сказал доктор, – мне лечение проводить надо. Сами же мешаете.

Петров поманил Стукова из палаты.

– Видал старого дурака, а? Думал, на поправку у парня пошло – с такими разговорами лез. Насочинял! Поди, из-за меня и хуже теперь стало, как считаешь?

– Вряд ли, у него не хуже и не лучше, не знают еще, от чего лечить, доискиваются.

– Не-е, правду говорят, захочет господь наказать – последнюю полушку из башки вытянет. Дур-рак!

– Не переживай, придумаем что-нибудь. Подкараулив доктора в коридоре, Стуков обратился к нему:

– Полежать что-то хочется, Сергей Петрович.

– В чем же дело?

– Денька бы так три, не вставая, от процедур этих отдохнуть, от гимнастики.

– Давайте-ка яснее, Стуков, что у вас приключилось?

– Сколько уж физкультурой здесь занимаюсь – а толку? Полежу – может, оно и скажется.

– Значит, вы решили внести поправки в мои назначения, понятно.

Доктор сделал движение в сторону ординаторской, но Стуков придержал его за локоть.

– Понимаете, парню нашему нужна пункция, так ведь? А он боится. Вот вы за компанию меня и уложите, дырку делать не надо, а так, для видимости – пластырь на позвоночник – и в койку.

– Так-так, – Сергей Петрович широко улыбнулся, хлопнул Стукова по плечу, – занимайтесь-ка своими проблемами, помощнички! – И, пройдя несколько шагов, расхохотался: – Спасибо, Стуков, век не забуду!

Часа через два в палату влетела жена Сергея. Анатолий звонил по его поручению.

– Не вздумай, Сережа! – горячо стала убеждать сурово и недоверчиво поглядывающего на нее мужа. – Калекой останешься. И так все пройдет.

– Ага! Мой главный консультант прибыл. – В дверях стоял Сергей Петрович. – Что ж, попрошу в кабинет.

Сергею все-таки сделали пункцию, врач убедил жену, сказав, наверно, то, что больному говорить нельзя. Да и сам тот, похоже, согласился больше от противного: что-то слишком настойчиво жена отговаривала.

– Во! всю жизнь я возил, теперь и меня повезли, – с нехорошей дрожью в голосе пошутил таксист, когда его доставили на каталке в палату.

Доктор строго предупредил:

– Три дня лежать и никаких резких движений. А то и вправду калекой останетесь.

Усмехнулся, подмигнул Петрову и вышел.

– Как себя чувствуешь? – поинтересовался Анатолий.

– Нормалек, – Сергей поднял вверх большой палец.

– Тогда давай разговаривать, не то эти три дня долгими покажутся. Слышал я, вам недавно план набавили, тянете?

– За счет посадок выезжаем, а так не очень, поувольнялись многие.

– Будет приbedняться-то, все равно, однако, хватает и детишкам на молочишко и себе на толстый бутерброд?

– Вот-вот, все вы так. Если таксист, значит, у него карманы трещат от денег. Не больно-то! Забываете, что мне ее никто не сделает, машину. Смену на ней, вторую – под ней, так и работаем. Она у меня давно уж на капитальный ремонт набегала, только успевай – ладошки отмывать.

Сергей, похоже, устал от разговора, затих, прикрыл глаза. Переглянувшись, Иван Петров с Анатолием пошли курить. Потом долго гуляли по коридору, не решаясь заходить в палату: пусть поспит, надо. Остановились у окна, Анатолий приложил руку к едва заметной щели. Дует.

– Надо же, снег вроде и не думает таять.

– На Егорьев день мороз – жди еще сорок холодов.

– Это что, до середины мая?

– Считай, так. А еще говорят: на Егорьев день снег на крышах – на Благовещенье на полях... Припозднилось нынче тепло. Когда вернулись, Сергей уже лежал с открытыми глазами.

– Поспал маленько?

– Было. Как провалился, даже сон увидел. Будто к дому приторговываюсь, а дом какой-то странный: сруб барачного типа, внутри ни перегородок, ничего. За домом пустой огород. И стоит у самой дороги...

– Это твой дом про себя напоминает, – убежденно сказал Петров. – Видишь, он хотя и на глазах у всех, а без хозяина пустой, сиротствует.

Заглянула женщина из соседней палаты.

– Здесь Сергей, – она назвала фамилию. – В окно выгляните, пришли к вам.

– Кой черт в окно! – рассердился Иван. – Ему двигаться нельзя.

Сергей дернулся было, но тут же откинулся на подушку.

– Посмотри, дядь Вань.

Петров оперся на высокий подоконник, придвинулся к самому стеклу.

– Женщина какая-то, может, мать или теща, а с ней пациан. Машут.

– Форточку открой, достанешь?

Иван подставил стул, кое-как дотянулся. С улицы неожиданно громко прозвенел ребячий голос:

– Папа! Папочка! Это я пришел!

Лицо Сергея напряглось, сошла ироничная усмешка, может, от боли после неосторожного движения? Туго заходил кадык, словно Сергей силился проглотить что-то и не мог. Иван помахал гостям, затем сложил ладони и прижал их к щеке, спит, мол, ваш отец. Малыш понятиво закивал головой, посмотрел на бабушку и, помахав в ответ, крикнул:

– Мы еще придем!..

К Федору Стукову пришла гостья из глазного отделения, соседка по дому, Валентина.

– Федечка, дорогой, с днем рождения тебя!

– Мать честная! Пятнадцатое, все проспали! – стукнул себя по лбу Петров. – Поздравляю, Федя, сейчас микстуры принесут, чокнемся.

– Когда выписываешься, Федя?

– Через пару дней, Валюша, хватит, належался.

– Ой, я же тебе тут рыбки красной принесла на рождение.

– Спасибо, Валя, нельзя мне, такое дело.

– Федечка, Федечка, как же ты уходишь, подождал бы, кто меня после операции водичкой напоит? Ты ведь мне лучше брата родного... Помнишь, как за грибами ездили? Даст бог, все будет хорошо, опять поедем.

– Какой из меня теперь грибник, Валя?

– Ничего, придешь домой, возьмешь своего Иннокентия Федорыча, гулять будешь, – пояснила соседям: – Собака у него, болонка черная, веселая такая. А птицы – знаете, сколько? Кенари. Поют.

Сергей пролежал уже больше недели, но болезнь все не отступала. Болеть он, действительно, не привык, сейчас начал всерьез беспокоиться. Смотрит на передвигающихся с трудом своих соседей, на их согнутые спины, непослушные конечности и думает, что жизнь часто несправедлива к людям. Они, крихтя, ковыляют за сестрой, когда кончается раствор в капельнице, есть заставляют – Петров не отвяжется... И себя жалко: что, если шея так и останется деревянной? Весна, гляди, нынче не торопится, точно ждет, чтобы он поправился и вышел отогреваться на солнышке. Вспомнилось, как год назад с приятелями ходили встречать весну в лес. Уже зеленела трава, листочки кое-где появлялись: стоял один из тех дней, когда все оживает на глазах. Они набрали с собой пива, водки и, крепко выпив, начали гонять белку, которую заметили на одной из трех берез, стоявших в отдалении от других деревьев. Должно быть, зверек привык к людям, здесь никто его не беспокоил, подкармливали при случае. Белка перепрыгивала с ветки на ветку, с березы на березу, не решаясь спуститься. Они усердно раскачивали деревья, не оставляли ее ни на секунду в покое. В конце концов белка до того обессилела, что не рассчитала очередной прыжок и застряла в узкой развилке между ветками. Она повисла в неудобной позе, глядя на людей остекленевшими в ужасе глазами, изо рта тянулась, поблескивая на солнце, тоненькая ниточка слюны. Приятели посмотрели на свои ладони – все в кровавых мозолях, – с таким усердием налитые весенней силой руки мучили несчастного зверька. Но парни тогда не подумали о судьбе белки, о своей жестокости, только посетовали: как же теперь крутить банку?

Иногда он вспоминал ту прогулку, но так, между прочим – хорошо весной в лесу. А тут вдруг до него дошел весь смысл той горестной забавы. Неужели надо почувствовать собственную беспомощность, чтобы понять, как слаб другой?

Иван Петров придумал необычные солнечные часы. Когда солнце заглядывало в их высокое окно, прямоугольник яркого света, разделенный переплетом надвое, ложился на пол. Постепенно свет перетекал из одной половины в другую – как в песочных часах. Который теперь час, Иван, конечно, сказать не мог, но одно видел безусловно: время идет.

– Проклятая погода! – ругается массажистка Ирина. – Пока до больницы дошла, ноги чуть не отморозила. Весна! Что-то творится с нашей планетой.

– Однако бережем плохо, – солидно заметил Петров. – Дома своего не чувствуем. Я тут недавно читал про Венеру, температура пятьсот градусов, грунт весь сварился – планета любви! А у нас-то на Земле как все удачно устроено. Мокрую тряпку брось в угол – через неделю там мокрица образуется. Гадость, конечно, а живая! Она, может, Земля наша, во всем мире единственная такая и есть, и мы на нее попали!

Иван замолк, но на лице его продолжало расти счастливое изумление, которое дальше уже он объяснить не мог – ни другим, ни себе...

В тихий час никто не спал, один Сергей лежал с закрытыми глазами: непонятно, то ли дремлет, то ли просто отдыхает от света. Перед тем он слушал какую-то передачу, да так и остался в наушниках. И вдруг плечи его затряслись, он зарылся головой в подушку и, комкая одеяло, судорожно вздрагивал уже всем телом. Стуков забеспокоился:

– Плачет, никак?

– А чего ему плакать-то? – Анатолий пожал плечами. – Вон как живет, все у человека есть, всем доволен...

Иван Петров приподнялся на локте, внимательно посмотрел на Сергея, подумал: «Мало ли, из-за чего может печалиться человек». И, улыбнувшись чему-то, стал разматывать свою сеть.

СОДЕРЖАНИЕ

Помни войну! (вступительное слово).....	5
Георгий Егоров. Главы из «Книги о разведчиках»	8
Николай Дворцов. Главы из романа «Море бьется о скалы»	76
Петр Старцев. Повесть «В подвале»	147
Евгений Федоровский. Рассказ «Хлеб и порох»	189
Нестор Козин. Главы из книги «Гвардейцы в боях»	205
Александр Гусев. Повесть «Окруженцы»	242
Степан Згорышев. Рассказы	290
Иван Шумилов. Отрывки из книги «В тылу врага» (записки партизана).....	357
Станислав Вторушин. Повесть «Переправа».....	401
Виталий Шевченко. Главы из книги «Последний тайфун».....	483
Анатолий Кирилин. Повесть «Под небом апреля»	518

НАША ВЗЯЛА

СБОРНИК ПРОЗЫ
(О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)

Оформление В. Котеленец
Редактор А. Кирилин
Корректор Г. Петрова
Верстка Т. Афанасьева

Подписано в печать 28.10.2015 г. Формат 84x108/32
Гарнитура Myriad Pro. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 4805

Отпечатано в типографии ОАО «Алтайский дом печати»
656043, г. Барнаул, Б. Олонская, 28

НАША ВЗЯЛА

Алтайская краевая писательская организация образована в 1951 году. Первым ее руководителем был поэт Иван Фролов. Ядро организации формировалось из писателей-фронтовиков, ставших впоследствии литературной славой Алтая. Многим известны книги Николая Дворцова, Петра Старцева, Георгия Егорова, Льва Квина, Марка Юдалевича. Позднее Алтай подарил читателям таких замечательных авторов, как Владимир Башунов, Леонид Мерзликин, Евгений Гуцин. Третье тысячелетие краевая писательская организация встретила, имея в своем составе 29 членов Союза писателей России. Сейчас их число выросло до 57. Но дело не в количестве. Любовь к литературе, творчеству не иссякает, Алтайский край не скудеет талантами, которые следуют традициям нравственности и правды.